This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Acquired through the
HOOVER INSTITUTION

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Моему дорогому пацiенту въ воспоминанiе 1895 г.

М. Приклонск.

8/20 Февр. 96.

Понять Россию — уже полюбить ее

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

И

ВОСПОМИНАНІЯ

С. Т. Аксакова.

ВОСЬМОЕ ИЗДАНІЕ.

МОСКВА.
Изданіе А. А. Карцева.
1895.

DK 379.
A 4007
1895

Типо-литографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., домъ Прянишникова.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА.

Первый отрывокъ изъ «Семейной Хроники». Стр.

Степанъ Михайловичъ Багровъ 1
Переселеніе . . . . . —
Оренбургская губернія 11
Новыя мѣста 14
Добрый день Степана Михайловича 19

Второй отрывокъ изъ «Семейной Хроники».

Михайла Максимовичъ Куролесовъ 31

Третій отрывокъ изъ «Семейной Хроники».

Женитьба молодого Багрова 67

Четвертый отрывокъ изъ «Семейной Хроники».

Молодые въ Багровѣ 119

Пятый отрывокъ изъ «Семейной Хроники».

Жизнь въ Уфѣ 165

II.

ВОСПОМИНАНІЯ.

Гимназія. Періодъ первый 209
Годъ въ деревнѣ 257
Гимназія. Періодъ второй 279
Университетъ 327
Собираніе бабочекъ. Разсказъ изъ студентской жизни 363

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Оглавленіе четырехъ нумеровъ журнала: „Аркадскіе Пастушки“ . 423
„ трехъ нумеровъ „Журнала нашихъ занятій“ . . . 431

Первый отрывокъ изъ Семейной Хроники.

Степанъ Михайловичъ БАГРОВЪ.

Переселеніе.

Тѣсно стало моему дѣдушкѣ жить въ Симбирской губерніи, въ родовой вотчинѣ своей, жалованной предкамъ его отъ царей московскихъ; тѣсно стало ему, не потому, чтобъ въ самомъ дѣлѣ было тѣсно, чтобъ не доставало лѣсу, пашни, луговъ и другихъ угодьевъ,—всего находилось въ излишествѣ, а потому, что отчина, вполнѣ еще прадѣду его принадлежавшая, сдѣлалась разнопомѣстною. Событіе совершилось очень просто: три поколѣнія сряду въ роду его было по одному сыну и по нѣскольку дочерей; нѣкоторыя изъ нихъ выходили за-мужъ, и въ приданое имъ отдавали часть крестьянъ и часть земли. Части ихъ были небольшія, но уже четверо чужихъ хозяевъ имѣли право на общее владѣніе неразмежеванною землею,—и дѣдушкѣ моему, нетерпѣливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашнія кляузы, сдѣлалась такая жизнь несносною. Съ нѣкотораго времени сталъ онъ часто слышать объ Уфимскомъ намѣстничествѣ, о неизмѣримомъ пространствѣ земель, угодьяхъ, привольяхъ, неописанномъ изобиліи дичи и рыбы и всѣхъ плодовъ земныхъ, о легкомъ способѣ пріобрѣтать цѣлыя области за самыя ничтожныя деньги: носились слухи,

что стоило только позвать къ себѣ въ гости десятокъ *родичей отчинниковъ* Картобынской или Кармалинской тюбы [1]), дать имъ два-три жирныхъ барана, которыхъ они по своему зарѣжутъ и приготовятъ, поставить ведро вина, да нѣсколько ведеръ крѣпкаго ставленаго башкирскаго меду, да лагунъ корчажнаго крестьянскаго пива, такъ и дѣло въ шляпѣ: неоспоримое доказательство, что Башкирцы были не строгіе магометане и въ старину. Говорили, правда, что такое угощеніе продолжалось иногда недѣлю и двѣ; да съ Башкирцами и нельзя вдругъ толковать о дѣлѣ, и надо всякій день спрашивать: „А что, знакомъ, добрый человѣкъ, давай говорить объ мой дѣла“ [2]). Если гости, ѣвшіе и пившіе буквально день и ночь, еще не вполнѣ довольны угощеніемъ, не вполнѣ наѣлись своихъ монотонныхъ пѣсенъ, наигрались на чебызгахъ [3]), наплясались, стоя и присѣдая на одномъ мѣстѣ въ самыхъ каррикатурныхъ положеніяхъ, то старшій изъ родичей, пощелкавши языкомъ, покачавъ головой и не смотря въ лицо спрашивающему, съ важностью скажетъ въ отвѣтъ: „Пора не пришелъ—еще баранъ тащи“. Барана, разумѣется, притащатъ, вина, меду нальютъ, и вновь пьяные Башкирцы поютъ, пляшутъ и спятъ, гдѣ ни попало... Но всему въ мірѣ есть конецъ; придетъ день, въ который родичъ скажетъ, уже прямо смотря въ глаза спрашивающему: „Ай, бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?“ Тутъ, какъ водится, съ природною русскому человѣку ловкостью и плутовствомъ, покупщикъ начнетъ увѣрять Башкирца, что нужды у него никакой нѣтъ, а наслышался онъ, что Башкирцы больно добрые люди, а потому и пріѣхалъ въ Уфимское намѣстничество и захотѣлъ съ ними дружбу завести и проч. и проч.; потомъ рѣчь дойдетъ нечаянно до необъятнаго количества башкирскихъ земель, до неблагонадежности припущенниковъ [4]), которые годъ-другой заплатятъ деньги, а тамъ

---

1) Тюба—волость.

2) Русскіе обитатели Оренбургской губерніи до сихъ поръ, говоря съ Башкирцами, стараются точно такъ же ломать русскую рѣчь, какъ и сами Башкирцы.

3) Чебызга—дудка, которую Башкирецъ беретъ въ ротъ какъ кларнетъ и, перебирая лады пальцами, играетъ на ней двойными тонами, такъ что вы слышите въ одно и то же время какихъ-то два разныхъ инструмента. Мнѣ сказывали музыканты, что чебызга чудное явленіе въ мірѣ духовыхъ инструментовъ.

4) Припущенниками называются тѣ, которые за извѣстную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на извѣстное число

и платить перестанутъ, да и останутся даромъ жить на ихъ земляхъ, какъ настоящіе хозяева; а тамъ и согнать ихъ не смѣешь и надо съ ними судиться;—за такими рѣчами (сбывшимися съ поразительною точностью) послѣдуетъ обязательное предложеніе избавить добрыхъ Башкирцевъ отъ нѣкоторой части обременяющихъ ихъ земель... и за самую ничтожную сумму покупаются цѣлыя области и заключаютъ договоръ судебнымъ порядкомъ, въ которомъ, разумѣется, нѣтъ и быть не можетъ количества земли: ибо кто же ее мѣрилъ? Обыкновенно границы обозначаются урочищами, напримѣръ, вотъ такъ: „отъ устья рѣчки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропѣ, а отъ сухой березы прямо на Общій Сыртъ, а отъ Общаго Сырта до лисьихъ норъ, отъ лисьихъ норъ до Солтамраткиной борти“ и прочее. И въ такихъ точныхъ и неизмѣнныхъ межахъ и урочищахъ заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысячъ десятинъ земли! И за все это платилось какихъ-нибудь сто рублей (разумѣется цѣлковыми), да на сто рублей подарками, не считая частныхъ угощеній. — Полюбились дѣдушкѣ моему такіе разсказы; и хотя онъ былъ человѣкъ самой строгой справедливости, и ему не нравилось надуванье добродушныхъ Башкирцевъ, но онъ разсудилъ, что не дѣло дурно, а способъ его исполненія, и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовыхъ своихъ крестьянъ и переѣхать самому съ семействомъ, то-есть достигнуть главной цѣли своего намѣренія: ибо съ нѣкотораго времени до того надоѣли ему безпрестанныя ссоры съ мелкопомѣстными своими родственниками за общее владѣніе землей, что бросить свое родимое пепелище, гнѣздо своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, сдѣлалось любимою его мыслью, единственнымъ путемъ къ спокойной жизни, которую онъ, человѣкъ уже не молодой, предпочиталъ всему.

Итакъ, накопивши нѣсколько тысячъ рублей, простившись съ своей супругою, которую звалъ Аришей, когда былъ

лѣтъ, живутъ на башкирскихъ земляхъ. Почти ни одна деревня припущенниковъ, по окончаніи договорнаго срока, не оставила земель башкирскихъ; изъ этого завелись сотни дѣлъ, которыя обыкновенно оканчиваются тѣмъ, что припущенники оставляются на мѣстахъ своего жительства съ нарѣзкой имъ пятнадцати-десятинной пропорціи на каждую ревизскую душу по пятой ревизіи... и вотъ какъ перешло огромное количество земель Оренбургской губерніи въ собственность Татаръ, Мещеряковъ, Чувашъ, Мордвы и другихъ казенныхъ поселянъ.

веселъ, и Ариной, когда бывалъ сердитъ; поцѣловавъ и благословивъ четырехъ малолѣтнихъ дочерей и особенно новорожденнаго сына, единственную отрасль и надежду стариннаго дворянскаго своего дома, ибо дочерей считалъ онъ ни за что: „что въ нихъ проку! вѣдь онѣ глядятъ не въ домъ, а изъ дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда—Алексѣй...“ сказалъ на прощанье мой дѣдушка, и отправился за Волгу въ Уфимское намѣстничество.

Но не сказать ли вамъ напередъ, что за человѣкъ былъ мой дѣдушка?

Степанъ Михайловичъ Багровъ [1]), такъ звали его, былъ не только средняго, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкія плечи, жилистыя руки, каменное, мускулистое тѣло, обличали въ немъ силача. Въ разгульной юности, въ молодецкихъ потѣхахъ, кучу военныхъ товарищей, на него нацѣплявшихся, стряхивалъ онъ, какъ брызги воды стряхиваетъ съ себя коренастый дубъ послѣ дождя, когда его покачнетъ вѣтеръ. Правильныя черты лица, прекрасные большіе темноголубые глаза, легко загоравшіеся гнѣвомъ, но тихіе и кроткіе въ часы душевнаго спокойствія, густыя брови, пріятный ротъ — все это вмѣстѣ придавало самое открытое и честное выраженіе его лицу; волосы у него были русые. Не было человѣка, кто-бы ему не вѣрилъ; его слово, его обѣщаніе было крѣпче и святѣе всякихъ духовныхъ и гражданскихъ актовъ. Природный умъ его былъ здравъ и свѣтелъ. Разумѣется, при общемъ невѣжествѣ тогдашнихъ помѣщиковъ, и онъ не получилъ никакого образованія, русскую грамоту зналъ плохо; но служа въ полку, еще до офицерскаго чина, выучился онъ первымъ правиламъ ариѳметики и выкладкѣ на счетахъ, о чемъ любилъ говорить даже въ старости. Вѣроятно, онъ служилъ не очень долго, ибо вышелъ въ отставку какимъ-то полковымъ квартирмейстеромъ. Впрочемъ, тогда дворяне долго служили въ солдатскомъ и унтеръ-офицерскомъ званіяхъ, если не проходили ихъ въ колыбели и не падали всѣмъ на голову изъ сержантовъ гвардіи капитанами въ армейскіе полки. О служебномъ поприщѣ Степана Михайловича я мало знаю; слышалъ только,

---

[1]) Т.-е. Степанъ Михайловичъ Аксаковъ. Сынъ его назывался не Алексѣемъ, а Тимоѳеемъ (отецъ автора Семейной Хроники). *И. А.*

что онъ бывалъ часто употребляемъ для поимки волжскихъ разбойниковъ, и что всегда оказывалъ благоразумную распорядительность и безумную храбрость въ исполненіи своихъ распоряженій; что разбойники знали его въ лицо и боялись какъ огня. Вышедъ въ отставку, нѣсколько лѣтъ жилъ онъ въ своемъ наслѣдственномъ селѣ Троицкомъ, Багрово тожъ [1]), и сдѣлался отличнымъ хозяиномъ. Онъ не торчалъ день и ночь при крестьянскихъ работахъ, не стоялъ часовымъ при ссыпкѣ и отпускѣ хлѣба; смотрѣлъ рѣдко, да мѣтко, какъ говорятъ русскіе люди, и, ужъ прошу не прогнѣваться, если замѣчалъ что дурное, особенно обманъ, то уже не спускалъ никому. Дѣдушка, сообразно духу своего времени, разсуждалъ по-своему: наказать виноватаго мужика тѣмъ, что отнять у него собственные дни,—значитъ вредить его благосостоянію, то-есть своему собственному; наказать денежнымъ взысканіемъ—тоже; разлучить съ семействомъ, отослать въ другую вотчину, употребить въ тяжелую работу—тоже, и еще хуже, ибо отлучка отъ семейства—несомнѣнная порча; прибѣгнуть къ полиціи... Боже помилуй! да это казалось такимъ срамомъ и стыдомъ, что вся деревня принялась бы выть по виноватомъ, какъ по мертвомъ, а наказанный счелъ-бы себя опозореннымъ, погибшимъ. Да и надо сказать, что дѣдушка мой былъ строгъ только въ пылу гнѣва: прошелъ гнѣвъ, прошла и вина. Этимъ пользовались: иногда виноватый успѣвалъ спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли въ такое положеніе, что было не на кого и не за что разсердиться.

Приведя въ порядокъ свое хозяйство, дѣдушка мой женился на Аринѣ Васильевнѣ Неклюдовой, небогатой дѣвицѣ, также изъ стариннаго дворянскаго дома. При этомъ случаѣ кстати объяснить, что древность дворянскаго происхожденія была конькомъ моего дѣдушки, и хотя у него было 180 душъ крестьянъ, но производя свой родъ, Богъ знаетъ по какимъ документамъ, отъ какого-то варяжскаго князя, онъ ставилъ свое семисотъ-лѣтнее дворянство выше всякаго богатства и чиновъ. Онъ не женился на одной весьма богатой и прекрасной невѣстѣ, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадѣдушка ея былъ не дворянинъ.

---

[1]) Троицкое, Аксаково тожъ, или Старое Аксаково (Симбирской губерніи), принадлежитъ нынѣ племяннику автора Сем. Хроники, одному изъ сыновей его меньшаго брата Аркадія. *И. А.*

Итакъ вотъ каковъ былъ Степанъ Михайловичъ; теперь возвратимся къ прерванному разсказу.

Переправившись чрезъ Волгу подъ Симбирскомъ, дѣдушка перебилъ поперекъ степную ея сторону, называемую луговою, переѣхалъ Черемшанъ, Кандурчу, чрезъ Красное поселеніе, слободу селившихся тогда отставныхъ солдатъ, и пріѣхалъ въ Сергіевскъ, стоящій на горѣ, при впаденіи рѣки Сургута въ Большой Сокъ. Сергіевскъ нынѣ заштатный городъ, давшій свое имя находящимся въ 12 верстахъ отъ него сѣрнымъ источникамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Сергіевскихъ сѣрныхъ водъ. Чѣмъ дальше углублялся дѣдушка въ Уфимское намѣстничество, тѣмъ привольнѣе, изобильнѣе становились мѣста. Наконецъ въ Бугурусланскомъ уѣздѣ, около Абдуловскаго казеннаго виннаго завода, показались лѣса. Въ уѣздномъ городѣ Бугурусланѣ, расположенномъ на высокой горѣ, надъ рѣкою Большой Кинель, про которую долго пѣвалась пѣсня:

Кинель рѣка
Не быстра, глубока,
Только тиниста—

въ Бугурусланѣ остановился Степанъ Михайловичъ, чтобъ поразспросить и поразузнать поближе о продающихся земляхъ. Въ этомъ уѣздѣ уже мало оставалось земель, принадлежавшихъ Башкирцамъ: всѣ заселялись или казенными крестьянами, которымъ правительство успѣло раздать земли, описанныя въ казну за Акаевскій бунтъ, прежде всеобщаго прощенія и возвращенія земель отчинникамъ — Башкирцамъ, или были уже заселены ихъ собственными припущенниками, или куплены разными помѣщиками. Изъ Бугуруслана дѣдушка дѣлалъ поѣздки въ Бугульминскій, Бирскій и Мензелинскій уѣзды (изъ нѣкоторыхъ частей двухъ послѣднихъ составленъ нынѣ новый Белебеевскій уѣздъ); побывалъ онъ на прекрасныхъ берегахъ Ика и Демы. Мѣста очаровательныя! И въ старости Степанъ Михайловичъ съ восторгомъ вспоминалъ о первомъ впечатлѣніи, произведенномъ на него изобильными, плодоносными окрестностями этихъ рѣкъ; но онъ не поддался обольщенію, и узнавъ покороче на мѣстѣ, что покупка башкирскихъ земель неминуемо поведетъ за собою безконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали правъ своихъ и числа

настоящихъ отченниковъ, — дѣдушка мой, ненавидящій и боявшійся, какъ язвы, слова тяжбы, рѣшился купить землю, прежде купленную другимъ владѣльцемъ, *справленную и отказанную за него* судебнымъ порядкомъ, предполагая, что тутъ уже не можетъ быть никакого спора. Казалось, что сужденіе его было справедливо, но на дѣлѣ вышло совсѣмъ другое, и меньшой внукъ его, уже будучи сорока лѣтъ, покончилъ послѣдній споръ. Съ сожалѣніемъ воротился съ береговъ Ика и Демы дѣдушка мой въ Бугурусланъ, и въ двадцати-пяти верстахъ отъ него купилъ землю у помѣщицы Грязевой по рѣчкѣ Большой Бугурусланъ, быстрой, глубокой и многоводной. На сорокъ верстъ протяженія, отъ города Бугуруслана до казеннаго селенія Красный Яръ, оба берега его были не заселены: что за угодье, что за приволье было тогда на этихъ берегахъ! Вода такая чистая, что даже въ омутахъ, сажени въ двѣ глубиною, можно было видѣть на днѣ брошенную мѣдную денежку! Мѣстами росла густая *урема* [1]) изъ березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмѣля и обвѣшанная палевыми кистями его шишекъ; мѣстами росла тучная высокая трава съ безчисленнымъ множествомъ цвѣтовъ, надъ которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спѣсь), скорлазубецъ (царскія кудри) и кошечья трава (валеріана). Бугурусланъ течетъ по долинѣ; по обѣимъ сторонамъ его тянутся, то тѣснясь, то отступая, отлогія, а иногда и крутыя горы; по скатамъ и отрогамъ ихъ изобильно росъ всякій черный лѣсъ; поднимешься на гору,—тамъ равнина—не початая степь, черноземъ въ аршинъ глубиною. По рѣкѣ и окружающимъ ее индѣ болотамъ, всѣ породы утокъ и куликовъ, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнѣзда и разнообразнымъ крикомъ и пискомъ наполняли воздухъ; на горахъ же, сейчасъ превращавшихся въ равнины, покрытыя тучною травою, воздухъ оглашался другими особенными свистами и голосами; тамъ водилась во множествѣ вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лѣсистымъ отрогамъ жила бездна тетеревовъ; рѣка кишѣла всѣми породами рыбъ, которыя могли сносить ея студеную воду: щуки, окуни, головли, язи, даже кутема и лохъ изо-

[1]) Уремой называется лѣсъ и кусты, растущіе около рѣкъ.

бильно водились въ ней; всякаго звѣря и въ степяхъ и лѣсахъ было невѣроятное множество; словомъ сказать: это былъ—да и теперь есть—уголокъ обѣтованный.... Дѣдушка купилъ около пяти тысячъ десятинъ земли и заплатилъ такъ дорого, какъ никто тогда не плачивалъ, по полтинѣ за десятину. Двѣ тысячи пятьсотъ рублей въ то время была великая сумма. Совершивъ купчую крѣпость и принявъ землю во владѣніе, то-есть справивъ и отказавъ ее за собою, весело воротился онъ въ Симбирскую губернію къ ожидавшему его семейству, и живо, горячо принялся за всѣ приготовленія къ немедленному переселенію крестьянъ: дѣло очень хлопотливое и трудное, по довольно большому разстоянію, ибо отъ села Троицкаго до новокупленной земли было около четырехъ сотъ верстъ. Въ ту же осень двадцать тяголъ отправились въ Бугурусланскій уѣздъ, взявъ съ собою сохи, бороны и сѣмянной ржи: на любыхъ мѣстахъ взодрали они дѣвственную почву, обработали двадцать десятинъ озимаго посѣва, то-есть, переломали не пареный залогъ и посѣяли рожь подъ борону; потомъ подняли нови еще двадцать десятинъ для ярового сѣва, поставили нѣсколько избъ и воротились на зиму домой. Въ концѣ зимы другіе двадцать человѣкъ отправились туда же, и съ наступившею весною посѣяли двадцать десятинъ ярового хлѣба, загородили плетнями дворы и хлѣвы, сбили глиняные печи и опять воротились въ Симбирскую губернію; но это не были крестьяне, назначаемые къ переводу; тѣ оставались дома и готовились къ переходу на новыя мѣста: продавали лишній скотъ, хлѣбъ, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконецъ, въ половинѣ іюня, чтобы поспѣть къ Петрову дню, началу сѣнокоса, нагрузивъ телѣги женами, дѣтьми, стариками и старухами, прикрывъ ихъ согнутыми лубьями отъ дождя и солнца, нагромоздивъ необходимую домашнюю посуду, насажавъ дворовую птицу на верхи возовъ и привязавъ къ нимъ коровъ, потянулись въ путь бѣдные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь съ *стариною*, съ церковью, въ которой крестились и вѣнчались, и съ могилами дѣдовъ и отцовъ. Переселеніе, тяжкое вездѣ, особенно противно русскому человѣку; но переселяться тогда, въ неизвѣстную бусурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрыхъ слуховъ, гдѣ, по отдаленности церквей, надо было и умирать безъ испо-

вѣди и новорожденнымъ младенцамъ долго оставаться не крещенными,—казалось дѣломъ страшнымъ!... За крестьянами отправился и дѣдушка. Новоселившуюся деревню назвалъ Знаменскимъ, давъ обѣтъ, современемъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, построить церковь во имя Знаменія Божія Матери, празднуемаго 27 ноября, что и было исполнено уже его сыномъ [1]). Но крестьяне, а за ними и всѣ окружные сосѣди, назвали новую деревеньку Новымъ Багровымъ, по прозванію своего барина и въ память Старому Багрову, изъ котораго были переведены; даже и теперь одно послѣднее имя извѣстно всѣмъ, а первое остается только въ дѣловыхъ актахъ: богатаго села Знаменскаго съ прекрасною каменною церковью и высокимъ господскимъ домомъ не знаетъ никто. Неусыпно и неослабно смотрѣлъ дѣдушка за крестьянскими и за господскими работами: во-время убрался съ сѣнокосомъ, во-время сжалъ яровое и ржаное и во-время свезъ на гумно. Урожай былъ неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. Къ ноябрю мѣсяцу у всѣхъ были построены избы, и даже поспѣлъ небольшой господскій флигель. Разумѣется, дѣло не обошлось безъ вспоможенія сосѣдей, которые, не смотря на дальнее разстояніе, охотно пріѣзжали на *помочи* къ новому разумному и ласковому помѣщику,—попить, поѣсть и съ звонкими пѣснями дружно поработать. Зимой дѣдушка отправился въ Симбирскую деревню и перевезъ свое семейство. На слѣдующій годъ уже не такъ трудно было перевесть еще сорокъ душъ и обзавести ихъ хозяйствомъ. Первымъ дѣломъ дѣдушки было въ этотъ же годъ построить мельницу, ибо молоть хлѣбъ надо было ѣздить верстъ за сорокъ. Итакъ, выбравъ заранѣе мѣсто, гдѣ вода была не глубока, дно крѣпко, а берега высоки и также крѣпки, съ обѣихъ сторонъ рѣки подвели къ ней плотину изъ хвороста и земли, какъ двѣ руки, готовыя схватиться, а для большей прочности оплели плотину плетнемъ изъ гибкой ивы; оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. Съ одной стороны, гдѣ берегъ казался пониже, заранѣе устроенъ былъ мельничный амбаръ на два мукомольные постава съ толчеей. Всѣ снасти были готовы и даже смазаны; на огромныя водяныя колеса,

[1]) Село Знаменское, Новое Аксаково тожъ, находится и нынѣ въ Бугурусланскомъ уѣздѣ Самарской губерніи и принадлежитъ племянникамъ С. Т. Аксакова, сыновьямъ его меньшаго брата Аркадія. *И. А.*

[illegible] трубы [illegible]*), должна была броситься [illegible] природномъ руслѣ, [illegible] выше два кауза. [illegible] дубовыя сваи [illegible] дно Бугуруслана, [illegible] сдѣлалъ помочь на два [illegible] съ лошадьми, телѣгами, лопа[illegible]. Въ первый день огромныя кучи [illegible] лѣса и кустовъ, копны [illegible] были нагромождены по обѣ[illegible] Бугуруслана, до сихъ поръ вольно, неприко[illegible] свои воды. На другой день, на восходѣ [illegible] *заимку*, [illegible] рѣку. На всѣхъ лицахъ было что-то за[illegible]; всѣ къ чему-то готовились; вся [illegible] эту ночь. Дружно, въ одно и то же [illegible] въ рѣку съ обо[illegible] связаннаго пучками; [illegible] воды, но много его, задер[illegible] рѣчнаго дна; связанныя [illegible] туда же, за ними слѣ[illegible] хворостъ, и опять [illegible] слои дерна. Когда [illegible] выше поверхности [illegible], вско[illegible] утаптывать и уминать ее [illegible]. Все это производилось съ такою быстротою, съ та[illegible] безпрерывнымъ шумомъ, что всякій [illegible] испугался бы, услыхавъ его, еслибъ [illegible]: одни дикія [illegible] пространство оглашались [illegible] работниковъ, къ которымъ присоединялось множество голосовъ женскихъ и еще больше [illegible] принимало участіе въ такомъ важномъ [illegible]. Не скоро сладили [illegible] долго она рвала и уносила хворостъ, [illegible] но наконецъ люди одолѣли, вода [illegible] болѣе, остановилась, какъ бы задума-

*) [illegible] деревянный ящикъ, по которому вода бѣжитъ [illegible]; около Москвы зовутъ его *дверца* (дверецъ), а въ [illegible].

лась, завертѣлась, пошла назадъ, наполнила берега своего русла, затопила, перешла ихъ, стала разливаться по лугамъ, и къ вечеру уже образовался прудъ, или лучше сказать всплыло озеро, безъ береговъ, безъ зелени, травъ и кустовъ, на нихъ всегда растущихъ: кое-гдѣ торчали верхи затопленныхъ погибшихъ деревъ. На другой день затолкла толчея, замолола мельница—и мелетъ и толчетъ до сихъ поръ....

Оренбургская губернія.

Боже мой, какъ, я думаю, была хороша тогда эта дикая, дѣвственная, роскошная природа!.. Нѣтъ, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазналъ тебя—свѣжею, цвѣтущею, неизмятою отвсюду набѣжавшимъ разнороднымъ народонаселеніемъ! Ты не та, но все еще прекрасна, такъ же обширна, плодоносна и безконечно разнообразна, Оренбургская губернія!.. Дико звучатъ два эти послѣднія слова! Богъ знаетъ, какъ и откуда зашелъ тутъ *бунтъ!*.. Но я зазналъ тебя, благословенный край, еще Уфимскимъ намѣстничествомъ!

Чудесный край, благословенный,
Хранилище земныхъ богатствъ,
Не вѣчно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паствъ!
И люди набѣгутъ толпами,
Твое приволье полюбя,
И не узнаешь ты себя
Подъ ихъ нечистыми руками:
Помнутъ луга, порубятъ лѣсъ,

Взмутятъ въ водахъ лазурь небесъ!
И горы соляныхъ кристалловъ
По тузлукамъ твоимъ найдутъ,
И руды дорогихъ металловъ
Изъ нѣдръ глубокихъ извлекутъ!
И тукъ земли неистощенный
Всосутъ чужія сѣмена;
Чужія снимутъ племена
Ихъ плодъ сторицей возвращенный;
И въ глубь лѣсовъ и въ даль степей
Разгонятъ дорогихъ звѣрей!

Такъ писалъ о тебѣ, лѣтъ тридцать тому назадъ, одинъ изъ твоихъ уроженцевъ [1]), и все это отчасти уже исполнилось или исполняется съ тобою; но все еще прекрасенъ ты, чудесный край! Свѣтлы и прозрачны, какъ глубокія, огромныя чаши, стоятъ озера твои—Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыбъ твои рѣки, то быстротекущія по долинамъ и ущельямъ между отраслями Уральскихъ горъ, то свѣтло и тихо незамѣтно-катящіяся по ковылистымъ степямъ твоимъ, подобно яхонтамъ, нанизаннымъ на нитку. Чудны эти степныя рѣки, всѣ изъ безчисленныхъ, глубокихъ водоеминъ, соединяющихся узкими и мелкими протоками, въ которыхъ только и примѣтно теченіе воды. Въ твоихъ быстрыхъ родниковыхъ ручьяхъ, прозрачныхъ и холодныхъ какъ ледъ, даже въ жары знойнаго лѣта, бѣгущихъ подъ тѣнью деревъ и кустовъ — живутъ всѣ породы форелей, изящныхъ по вкусу и красивыхъ по наружности, скоро пропадающихъ, когда человѣкъ начнетъ прикасаться нечистыми руками своими къ дѣвственнымъ струямъ ихъ свѣтлыхъ прохладныхъ жилищъ. Чудесной растительностью блистаютъ твои тучные черноземные, роскошные луга и поля, то бѣлѣющіе весной молочнымъ цвѣтомъ вишенника, клубничника и дикаго персика, то покрытые лѣтомъ, какъ краснымъ сукномъ, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, зрѣющею позднѣе и темнѣющею къ осени. Обильною жатвой награждается лѣнивый и невѣжественный трудъ пахаря, коекакъ и кое-гдѣ всковырявшаго жалкою сохою или неуклюжимъ сабаномъ твою плодоносную почву! Свѣжи, зелены и могучи стоятъ твои разнородные черные лѣса, и рои дикихъ пчелъ шумно населяютъ нерукотворныя борти твои, занося ихъ душистымъ липовымъ медомъ. И уфимская куница, болѣе всѣхъ уважаемая, не перевелась еще въ лѣсистыхъ верховьяхъ рѣкъ Уфы и Бѣлой! Мирны и тихи патріархальные первобытные обитатели и хозяева твои, кочевыя башкирскія племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны конскіе табуны, и коровьи, и овечьи стада ихъ. Еще по прежнему, послѣ жестокой, буранной зимы, отощалые, исхудалые, какъ зимнія мухи, Башкирцы съ первымъ весеннимъ теплomъ, съ первымъ подножнымъ кормомъ,

---

[1]) Самъ авторъ Семейной Хроники. *И. А.*

выгоняютъ на привольныя мѣста на половину передохшіе отъ голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними, съ женами и дѣтьми... И вы никого не узнаете черезъ двѣ или три недѣли! Изъ лошадиныхъ остововъ явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребецъ гордо и строго пасетъ косякъ кобылицъ своихъ, не подпуская къ нему ни звѣря, ни человѣка!.. Раздобрѣли тощія, зимнія стада коровъ, полны питательной влагой вымя и сосцы ихъ. Но что Башкирцу до ароматнаго коровьяго молока! Уже поспѣлъ живительный кумысъ, закисъ въ кобыльихъ *турсукахъ* [1]), и все, что можетъ пить, отъ грудного младенца до дряхлаго старика, пьетъ до-пьяна цѣлительный, благодатный, богатырскій напитокъ, и дивно исчезаютъ всѣ недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одѣваются осунувшіяся лица, румянцемъ здоровья покрываются блѣдныя, впалыя щеки.—Но страшный и грустный видъ представляютъ покинутыя селенія! Наскачетъ иногда на нихъ, ничего подобнаго невидавшій, заѣзжій путешественникъ, и поразится видомъ опустѣлой, какъ будто вымершей деревни! Дико и печально смотрятъ на него окна разбросанныхъ юртъ съ бѣлыми трубами, лишенныя пузырчатыхъ оконницъ, какъ человѣческія лица съ вытянутыми глазами... Кое-гдѣ лаетъ на привязи сторожевой голодный песъ, котораго изрѣдка навѣщаетъ и кормитъ хозяинъ, кое-гдѣ мяучитъ одичалая кошка, сама промышляющая себѣ пищу,—и никого больше, ни одной души человѣческой...

Какъ живописны и разнообразны, каждая въ своемъ родѣ, лѣсная, степная и гористая твоя полоса, особенно послѣдняя, по скату Уральскаго хребта, всѣми металлами богатая, золотоносная полоса! Какое пространство отъ границъ Вятской и Пермской губерніи, гдѣ по зимамъ не рѣдкость замерзаніе ртути, до Гурьева городка на границѣ Астраханской губерніи, гдѣ растетъ мелкій виноградъ на открытомъ воздухѣ, чихиремъ котораго прохлаждаются въ лѣтніе жары, грѣются зимою и торгуютъ Уральскіе казаки! Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное и по вскусу добываемой *красной рыбы* [2]), и по своему исполненію. Багреньемъ называется это рыболовство, и ждетъ оно горя-

1) Турсукъ—мѣшокъ изъ сырой кожи, снятой съ лошадиной ноги.
2) Красной рыбой называется бѣлуга, осетръ, севрюга, шипъ, бѣлорыбица и другія.

чей и вѣрной кисти, чтобъ возбудить общее вниманіе... Но виноватъ, заговорился я, говоря о моей прекрасной родинѣ. Посмотримъ лучше, какъ продолжаетъ жить и дѣйствовать мой неутомимый дѣдушка.

Новыя мѣста.

Ну, отдохнулъ Степанъ Михайловичъ, и не разъ отъ души перекрестился, когда перебрался на просторъ и привольe береговъ Бугуруслана. Не только повеселѣлъ духомъ, но и поздоровѣлъ тѣломъ. Ни просьбъ, ни жалобъ, ни ссоръ, ни шума! Ни Воейковыхъ, ни Мошенскихъ, ни Сущевыхъ [1])! Ни лѣсныхъ порубокъ, ни хлѣбныхъ потравъ, ни помятыхъ луговъ! Одинъ полный господинъ, не только надъ своей землей, но и надъ чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова — никто и слова не скажетъ. Крестьяне тоже какъ-разъ привыкли къ новому мѣсту, и полюбилось имъ оно. Да и какъ не привыкнуть, какъ не полюбить! Изъ безводнаго и лѣсного села Троицкаго, гдѣ было такъ мало луговъ, что съ трудомъ прокармливали по коровѣ да по лошади на тягло, гдѣ съ незапамятныхъ временъ пахали одни и тѣ же загоны, и, не смотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю, — переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человѣка, на быструю, свѣжую и здоровую воду со множествомъ родниковъ и ключей, на широкій, проточный и рыбный прудъ, и на мельницу у самаго носа, тогда какъ прежде таскались они за двадцать пять верстъ, чтобы смолоть возъ хлѣба, да и то случалось нѣсколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, можетъ быть, что я назвалъ Троицкое безводнымъ? Обвините стариковъ, зачѣмъ они выбрали такое мѣсто? Но дѣло было не такъ въ началѣ, и стариковъ винить не за что. Троицкое нѣкогда сидѣло на прекрасной рѣчкѣ Майнѣ, вытекавшей версты за три отъ селенія изъ-подъ Моховыхъ озеръ; да сверхъ того вдоль всего селенія тянулось, хотя не широкое,

---

[1]) Помѣщики, жившіе съ дѣдушкой въ Старомъ Багровѣ и владѣвшіе вмѣстѣ съ нимъ неразмежеванной землей.

но длинное, свѣтлое и въ серединѣ глубокое озеро, дно котораго состояло изъ бѣлаго песка; изъ этого озера даже бѣжалъ ручей, называвшійся *Бѣлый ключъ*. Такъ было въ старину; давно, правда, очень давно. По преданію извѣстно, что Моховыя озера были нѣкогда глубокими, лѣсными, круглыми провалами съ прозрачною, холодною какъ ледъ водою и топкими берегами, что никто не смѣлъ близко подходить къ нимъ, ни въ какое время, кромѣ зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкаго нарушителя неприкосновеннаго царства водяныхъ чертей. Но человѣкъ—заклятой и торжествующій измѣнитель лица природы! Старинному преданію, не подтверждаемому новыми событіями, перестали вѣрить, и Моховыя озера мало-по-малу, отъ мочки коноплей у береговъ и отъ пригона стадъ на водопой, позасорились, съ краевъ обмелѣли и даже обсохли отъ вырубки кругомъ лѣса; потомъ заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла мохомъ и скрѣпилась жилообразными корнями болотныхъ травъ, покрылась кочками, кустами и даже сосновымъ лѣсомъ, уже довольно крупнымъ; одинъ провалъ затянуло совсѣмъ, а на другомъ остались два глубокія, огромныя окна, къ которымъ и теперь страшно подходить съ непривычки, потому что земля, со всѣми болотными травами, кочками, кустами и мелкимъ лѣсомъ — опускается и поднимается подъ ногами, какъ зыбкая волна. Отъ уменьшенія, вѣроятно, Моховыхъ озеръ, рѣчка Майна поникла въ верху, и уже выходитъ изъ земли нѣсколько верстъ ниже селенія, а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось въ грязную вонючую лужу; песчаное дно, на сажень и болѣе, затянуло тиной и всякой дрянью съ крестьянскихъ дворовъ; Бѣлаго ключа давно и слѣдовъ нѣтъ, скоро не будетъ о немъ и памяти.

Переселясь на новыя мѣста, дѣдушка мой принялся, съ свойственными ему неутомимостью и жаромъ, за хлѣбопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духомъ, такъ привыкли работать настоящимъ образомъ, что скоро обстроились и обзавелись какъ старожилы, и въ нѣсколько лѣтъ гумна „Новаго Багрова“ занимали втрое больше мѣста, чѣмъ самая деревня, а табунъ добрыхъ лошадей и стадо коровъ, овецъ и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому и богатому селенію.

Съ легкой руки Степана Махайловича переселеніе въ Уфим-

скій или Оренбургскій край начало умножаться съ каждымъ годомъ. Со всѣхъ сторонъ потянулись Луговая Мордва, Черемисы, Чуваши, Татары и Мещеряки; Русскихъ переселенцевъ, казенныхъ крестьянъ разныхъ вѣдомствъ и разнокалиберныхъ помѣщиковъ также было не мало. Явились и сосѣди у дѣдушки: шуринъ его, Иванъ Васильевичъ Неклюдовъ, купилъ землю въ двадцати верстахъ отъ Степана Михайловича, перевелъ крестьянъ, построилъ деревянную церковь, назвалъ свое село Неклюдовымъ, и самъ переѣхалъ въ него съ семействомъ, чему дѣдушка совсѣмъ не обрадовался: до всѣхъ родственниковъ своей супруги, до всей *Неклюдовщины*,—какъ онъ называлъ ихъ,—Степанъ Михайловичъ былъ большой неохотникъ. Помѣщикъ Бахметевъ купилъ землю еще ближе, верстахъ въ десяти отъ Багрова, на верховьѣ рѣчки Совруши, текущей параллельно съ Бугурусланомъ, на юго-западъ; онъ также перевелъ крестьянъ и назвалъ деревню Бахметевкой. Съ другой стороны, верстахъ въ двадцати по рѣкѣ Насягай или Мочагай, какъ и до сихъ поръ называютъ ее туземцы, также завелось помѣщичье селеніе, Полибино, впослѣдствіи принадлежавшее С. А. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзинымъ. Насягай больше и лучше Бугуруслана: полноводнѣе, рыбнѣе, и птица на немъ водилась и водится гораздо изобильнѣе. По дорогѣ въ Полибино, прямо на востокъ, верстахъ въ восьми отъ Багрова, заселилась, на небольшомъ ручьѣ, большая мордовская деревня Нойкино; верстахъ въ двухъ отъ нея построилась мельница на рѣчкѣ Боклѣ, текущей почти параллельно съ Бугурусланомъ на югъ; недалеко отъ мельницы впадаетъ Бокла въ Насягай, который діагоналемъ съ сѣверо-востока торопливо катитъ свои сильныя и быстрыя воды прямо на юго-западъ. Верстахъ въ семнадцати отъ Новаго Багрова, принимаетъ онъ въ себя нашъ Бугурусланъ, и усиленный его водами, недалеко отъ города Бугуруслана, соединяется съ Большимъ Кинелемъ, теряя въ немъ знаменательное и звучное свое имя.

Наконецъ появился мордовскій выселокъ, подъ названіемъ Кивацкаго, уже только въ двухъ верстахъ отъ дѣдушки, внизъ по Бугуруслану; это была Мордва, отдѣлившаяся отъ селенія Мордовскій Бугурусланъ, сидѣвшаго на рѣчкѣ Малой Бугурусланчикъ, верстахъ въ девяти отъ Багрова. Степанъ Михайловичъ сначала поморщился отъ близкаго

сосѣдства, напоминавшаго ему старое Троицкое; но тутъ вышло совсѣмъ другое дѣло. Это были добрые, смирные люди, уважавшіе дѣдушку, не менѣе какъ своего волостного начальника. Въ нѣсколько лѣтъ Степанъ Михайловичъ умѣлъ снискать общую любовь и глубокое уваженіе во всемъ околоткѣ. Онъ былъ истиннымъ благодѣтелемъ дальнихъ и близкихъ, старыхъ и новыхъ своихъ сосѣдей, особенно послѣднихъ, по ихъ незнанію мѣстности, недостатку средствъ и по разнымъ надобностямъ, всегда сопровождающимъ переселенцевъ, которые нерѣдко пускаются на такое трудное дѣло, не принявъ предварительныхъ мѣръ, не заготовя хлѣбныхъ запасовъ и даже иногда не имѣя на что купить ихъ. Полные амбары дѣдушки были открыты всѣмъ—бери что угодно. „Сможешь—отдай, при первомъ урожаѣ; не сможешь—Богъ съ тобой“: съ такими словами раздавалъ дѣдушка щедрою рукою хлѣбные запасы на *сѣмена* и *пѣмена*. Къ этому надо прибавить, что онъ былъ такъ разуменъ, такъ снисходителенъ къ просьбамъ и нуждамъ, такъ неизмѣнно вѣренъ каждому своему слову, что скоро сдѣлался истиннымъ оракуломъ вновь заселяющагося уголка обширнаго Оренбургскаго края. Мало того, что онъ помогалъ, онъ воспитывалъ нравственно своихъ сосѣдей! Только правдою можно было получить отъ него все. Кто разъ солгалъ, разъ обманулъ, тотъ и не ходи къ нему на господскій дворъ: не только ничего не получитъ, да въ иной часъ дай Богъ и ноги унести. Много семейныхъ ссоръ примирилъ онъ, много тяжебныхъ дѣлъ потушилъ въ самомъ началѣ. Со всѣхъ сторонъ ѣхали къ нему за совѣтомъ, судомъ и приговоромъ—и свято исполнялись они! Я зналъ внуковъ, правнуковъ тогдашняго поколѣнія, благодарной памяти которыхъ въ изустныхъ разсказахъ переданъ былъ благодѣтельный и строгій образъ Степана Михайловича, не забытаго еще и теперь. Много слыхалъ я простыхъ и вмѣстѣ глубокихъ воспоминаній, сопровождаемыхъ слезами и крестнымъ знаменіемъ объ упокоеніи души его. Неудивительно, что крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при немъ служившіе, часто переносившіе страшныя бури его неукротимой вспыльчивости. Впослѣдствіи нѣкоторые изъ молодыхъ слугъ его доживали свой вѣкъ при внукѣ Степана Михайловича, уже стариками; часто разсказывали они о строгомъ, вспыльчивомъ, справедливомъ

и добромъ своемъ старомъ баринѣ, и никогда безъ слезъ о немъ не вспоминали.

И этотъ добрый, благодѣтельный и даже снисходительный человѣкъ омрачался иногда такими вспышками гнѣва, которыя искажали въ немъ образъ человѣческій и дѣлали его способнымъ на ту пору къ жестокимъ, отвратительнымъ поступкамъ. Я видѣлъ его такимъ въ моемъ дѣтствѣ, что случилось много лѣтъ позднѣе того времени, про которое я разсказываю,—и впечатлѣніе страха до сихъ поръ живо въ моей памяти! Какъ теперь гляжу на него: онъ прогнѣвался на одну изъ дочерей своихъ, кажется за то, что она солгала и заперлась въ обманѣ; двое людей водили его подъ руки; узнать было нельзя моего прежняго дѣдушку; онъ весь дрожалъ, лицо дергали судороги, свирѣпый огонь лился изъ его глазъ, помутившихся, потемнѣвшихъ отъ ярости! „Подайте мнѣ ее сюда!“ вопилъ онъ задыхающимся голосомъ. (Это я помню живо: остальное мнѣ часто разсказывали). Бабушка кинулась было ему въ ноги, прося помилованія, но въ одну минуту слетѣлъ съ нея платокъ и волосникъ, и Степанъ Михайловичъ таскалъ за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тѣмъ, не только виноватая, но и всѣ другія сестры и даже братъ ихъ съ молодою женою и маленькимъ сыномъ убѣжали изъ дома и спрятались въ рощу, окружавшую домъ; даже тамъ ночевали; только молодая невѣстка воротилась съ сыномъ, боясь простудить его, и провела ночь въ людской избѣ. Долго бушевалъ дѣдушка на просторѣ, въ опустѣломъ домѣ. Наконецъ, уставши колотить Танайченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился онъ въ изнеможеніи на постель и наконецъ впалъ въ глубокій сонъ, продолжавшійся до ранняго утра слѣдующаго дня. — Свѣтелъ, ясенъ проснулся на зарѣ Степанъ Михайловичъ, весело крикнулъ свою Аришу, которая сейчасъ прибѣжала изъ сосѣдней комнаты съ самымъ радостнымъ лицомъ, какъ будто вчерашняго ничего не бывало. „Чаю! гдѣ дѣти, Алексѣй, невѣстушка? Подайте Сережу“, говорилъ проснувшійся безумецъ, и всѣ явились, спокойные и веселые, кромѣ невѣстки съ сыномъ [1]). Это была женщина сама съ сильнымъ

[1]) Невѣстка съ сыномъ Сережей, жена Тимоѳея Степановича, Марія Николаевна Аксакова, урожденная Зубова, мать автора Семейной Хроники. Во всей первой половинѣ Хроники она выступаетъ подъ названіемъ Софьи Николаевны, урожденной Зубиной. *И. А.*

характеромъ, и ни какія просьбы не могли ее заставить такъ скоро броситься съ ласкою къ вчерашнему дикому звѣрю, да и маленькій сынъ безпрестанно говорилъ: „боюсь дѣдушки, не хочу къ нему“. Чувствуя себя въ самомъ дѣлѣ не хорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Всѣ пришли въ ужасъ, ждали новой грозы. Но во вчерашнемъ дикомъ звѣрѣ сегодня уже проснулся человѣкъ. Послѣ чаю и шутливыхъ разговоровъ, свекоръ самъ пришелъ къ невѣсткѣ, которая дѣйствительно была нездорова, похудѣла, перемѣнилась въ лицѣ и лежала въ постели. Старикъ присѣлъ къ ней на кровать, обнялъ ее, поцѣловалъ, назвалъ красавицей-невѣстынькой, обласкалъ внука и наконецъ ушелъ, сказавши, что ему „безъ невѣстыньки будетъ скучно“. Черезъ полчаса невѣстка, щегольски, по городскому разодѣтая, въ томъ самомъ платьѣ, про которое свекоръ говорилъ, что оно особенно идетъ ей къ лицу, держа сына за руку, вошла къ дѣдушкѣ. Дѣдушка встрѣтилъ ее почти со слезами: „Вотъ и больная невѣстка себя не пожалѣла, встала, одѣлась и пришла развеселить старика“, сказалъ онъ съ нѣжностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, всѣ не любившія невѣстку, которая почтительно и весело отвѣчала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующіе взгляды на своихъ недоброхотокъ.... Но я не стану болѣе говорить о темной сторонѣ моего дѣдушки; лучше опишу вамъ одинъ изъ его добрыхъ, свѣтлыхъ дней, о которыхъ я много наслышался.

Добрый день Степана Михайловича.

Въ исходѣ іюня стояли сильные жары. Послѣ душной ночи, потянулъ на разсвѣтѣ восточный, свѣжій вѣтерокъ, всегда упадающій, когда обогрѣетъ солнце. На восходѣ его проснулся дѣдушка. Жарко было ему спать въ небольшой горницѣ, хотя съ поднятымъ на всю подставку подъемомъ старинной оконной рамы съ мелкимъ переплетомъ, но за то въ пологу изъ домашней рѣдинки. Предосторожность необходимая: безъ полога заѣли бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими въ тонкую преграду крылатые музыканты, и всю ночь

пѣли ему докучныя серенады. Смѣшно сказать, а грѣхъ утаить, что я люблю дишкантовый пискъ и даже кусанье комаровъ; въ нихъ слышно мнѣ знойное лѣто, роскошныя безсонныя ночи, берега Бугуруслана, обросшіе зелеными кустами, изъ которыхъ со всѣхъ сторонъ неслись соловьиныя пѣсни; я помню замираніе молодого сердца и сладкую, безочетную грусть, за которую отдалъ бы теперь весь остатокъ угасающей жизни.... Проснулся дѣдушка, обтеръ жаркою рукою потъ съ крутого, высокаго лба своего, высунулъ голову изъ подъ полога и разсмѣялся. Ванька Мазанъ и Никанорка Танайченокъ храпѣли въ растяжку на полу, въ каррикатурно-живописныхъ положеніяхъ. „Экъ храпятъ собачьи дѣти!“ сказалъ дѣдушка и опять улыбнулся. Степанъ Михайловичъ былъ загадочный человѣкъ: послѣ такого сильнаго словеснаго приступа, слѣдовало бы ожидать толчка калиновымъ подожкомъ (всегда у постели его стоявшимъ) въ бокъ спящаго, или пинка ногой, даже привѣтствія стуломъ: но дѣдушка разсмѣялся, просыпаясь, и на весь день попалъ въ добрый стихъ, какъ говорится. Онъ всталъ безъ шума, разъ-другой перекрестился, надѣлъ порыжѣлыя, кожаныя туфли на босыя ноги, и въ одной рубахѣ изъ крестьянской оброчной льняной холстины (ткацкаго тонкаго полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышелъ на крыльцо, гдѣ пріятно обхватила его утренняя, влажная свѣжесть. Я сейчасъ сказалъ, что ткацкаго холста на рубашки Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякій читатель вправѣ замѣтить, что это не сообразно съ характерами обоихъ супруговъ. Но какъ же быть, прошу не прогнѣваться, такъ было на дѣлѣ: женская натура торжествовала надъ мужскою, какъ и всегда! Не разъ битая за толстое бѣлье, бабушка продолжала подавать его и, наконецъ, пріучила къ нему старика. Дѣдушка употребилъ однажды самое дѣйствительное, послѣднее средство: онъ изрубилъ топоромъ на порогѣ своей комнаты все бѣлье, сшитое изъ оброчной льняной холстины, не смотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтобъ Степанъ Михайловичъ „билъ ее, да своего добра не рубилъ....“ но и это средство не помогло: опять явилось толстое бѣлье—и старикъ покорился.... Виноватъ, опровергая мнимое замѣчаніе читателя, я прервалъ разсказъ про „добрый день моего дѣдушки“. Никого не безпокоя, онъ самъ досталъ войлочный потникъ, лежавшій всегда въ чуланѣ, подослалъ его подъ

себя на верхней ступени крыльца и сѣлъ встрѣчать солнышко по всегдашнему своему обычаю.—Передъ восходомъ солнца бываетъ весело на сердцѣ у человѣка какъ-то безсознательно; а дѣдушкѣ сверхъ того весело было глядѣть на свой господскій дворъ, всѣми нужными по хозяйству строеніями тогда уже достаточно снабженный. Правда, дворъ былъ не обгороженъ, и выпущенная съ крестьянскихъ дворовъ скотина, собираясь въ общее мірское стадо, для выгона въ поле, посѣщала его мимоходомъ, какъ это было и въ настоящее утро и какъ всегда повторялось по вечерамъ. Нѣсколько запачканныхъ свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на которомъ сидѣлъ дѣдушка, и, хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объѣдками, которые безъ церемоніи выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы и овцы; разумѣется, отъ ихъ посѣщеній оставались неопрятные слѣды; но дѣдушка не находилъ въ этомъ ничего непріятнаго, а напротивъ любовался, глядя на здоровый скотъ, какъ на вѣрный признакъ довольства и благосостоянія своихъ крестьянъ. Скоро громкое хлопанье длиннаго пастушьяго кнута угнало посѣтителей. Начала просыпаться дворня. Дюжій конюхъ Спиридонъ, котораго до глубокой старости звали „Спирькой“, выводилъ, одного за другимъ, двухъ рыжепѣгихъ и третьяго бураго жеребца, привязывалъ ихъ къ столбу, чистилъ и проминалъ на длинной коновязи, при чемъ дѣдушка любовался ихъ статями, заранѣе любовался и тою породою, которую надѣялся повести отъ нихъ, въ чемъ и успѣлъ совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребицѣ, вышла изъ погреба, сходила на Бугурусланъ умыться, повздыхала, поохала (это была ея неизмѣнная привычка), помолилась Богу, оборотясь къ солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились въ небѣ, щебетали и пѣли ласточки и косаточки, звонко били перепела въ поляхъ, разсыпались въ воздухѣ пѣсни жаворонковъ, надсѣдаясь, хрипло кричали въ кустахъ дергуны; подсвистываніе погонышей, токованье и блеянье дикаго барашка неслись съ ближняго болота, варакушки въ запуски передразнивали соловьевъ,—выкатывалось изъ-за горы яркое солнце!... Задымились крестьянскія избы, погнулись по вѣтру сизые столбы дыма, точно вереница рѣчныхъ судовъ выкинула свои флаги; потянулись мужички въ поле.... Захотѣлось дѣдушкѣ

умыться студеной водою и потомъ напиться чаю. Разбудилъ онъ безобразно спавшихъ слугъ своихъ. Повскакали они, какъ полоумные, въ испугѣ, по веселый голосъ Степана Михайловича скоро ободрилъ ихъ: „Мазанъ, умываться! Танайченокъ, будить Аксютку и барыню,—чаю!“ Не нужно было повторять приказаній: неуклюжій Мазанъ уже летѣлъ со всѣхъ ногъ съ мѣднымъ, свѣтлымъ рукомойникомъ на родникъ за водою; а проворный Танайченокъ разбудилъ некрасивую молодую дѣвку Аксютку, которая, поправляя свалившійся на бокъ платокъ, уже будила старую дородную барыню Арину Васильевну. Въ нѣсколько минутъ весь домъ былъ на ногахъ, и всѣ уже знали, что старый баринъ проснулся веселъ. Черезъ четверть часа стоялъ у крыльца столъ, накрытый бѣлою браною скатерткой домашняго издѣлья, кипѣлъ самоваръ въ видѣ огромнаго мѣднаго чайника, суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, съ Степаномъ Михайловичемъ, не охая и не стоная, что было нужно въ иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровьѣ: „какъ почивалъ, и что во снѣ видѣлъ?“ Ласково поздоровался дѣдушка съ своей супругой и назвалъ ее Аришей; онъ никогда не цѣловалъ ея руки, а свою давалъ цѣловать въ знакъ милости. Арина Васильевна разцвѣла и помолодѣла: куда дѣвалась ея тучность и неуклюжесть! Сейчасъ принесла скамеечку и усѣлась возлѣ дѣдушки на крыльцѣ, чего никогда не смѣла дѣлать, если онъ не ласково встрѣчалъ ее. —„Напьемся-ка вмѣстѣ чайку, Ариша!“ заговорилъ Степанъ Михайловичъ, „покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спалъ я крѣпко, такъ что и сны всѣ заспалъ. Ну, а ты?“ Такой вопросъ былъ необыкновенная ласка, и бабушка поспѣшно отвѣчала, что которую ночь Степанъ Михайловичъ хорошо почиваетъ, ту и она хорошо спитъ; но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старикъ любилъ ее больше другихъ дочерей, какъ это часто случается; онъ обезпокоился такими словами и не приказалъ будить Танюшу до тѣхъ поръ, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вмѣстѣ съ Александрой и Елизаветой Степановнами, и она уже одѣлась; но объ этомъ сказать не осмѣлились. Танюша проворно раздѣлась, легла въ постель, велѣла затворить ставни въ своей горницѣ, и хотя заснуть не могла, но пролежала въ потемкахъ часа два; дѣдушка остался доволенъ, что Танюша

хорошо выспалась. Единственнаго сынка, которому было девять лѣтъ, никогда не будили рано. Старшія дочери явились немедленно. Степанъ Михайловичъ ласково далъ имъ поцѣловать руку и назвалъ одну Лизынькой, а другую Лексаней. Обѣ были очень не глупы; Александра же соединяла съ хитрымъ умомъ отцовскую живость и вспыльчивость, но добрыхъ свойствъ его не имѣла. Бабушка была женщина самая простая и находилась въ полномъ распоряженіи у своихъ дочерей; если иногда она осмѣливалась хитрить съ Степаномъ Михайловичемъ, то единственно по ихъ наущенію, что, по неумѣнью, рѣдко проходило ей даромъ и что старикъ зналъ наизусть; онъ зналъ и то, что дочери готовы обмануть его при всякомъ удобномъ случаѣ, и только отъ скуки, или для сохраненія собственнаго покоя, разумѣется будучи въ хорошемъ расположеніи духа, позволялъ имъ думать, что онѣ надуваютъ его; при первой же вспышкѣ, все это высказывалъ имъ, безъ пощады, въ самыхъ нецеремонныхъ выраженіяхъ, а иногда и бивалъ; но дочери, какъ настоящія Евины внучки, не унывали: проходилъ часъ гнѣва, прояснялось лицо отца, и онѣ сейчасъ принимались за свои хитрые планы, и не рѣдко успѣвали.

Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячинѣ съ своей семьей, дѣдушка собрался въ поле. Онъ уже давно сказалъ Мазану: „лошадь!“ — и старый бурый меренъ, запряженный въ длинныя крестьянскія дроги или роспуски, чрезвычайно покойныя, переплетенныя частою веревочной рѣшеткою, съ длиннымъ лубкомъ по срединѣ, накрытымъ войлокомъ, уже стоялъ у крыльца. Конюхъ Спиридонъ сидѣлъ кучеромъ въ незатѣйливомъ костюмѣ, то есть, просто въ одной рубахѣ, босикомъ, подпоясанный шерстянымъ, тесемочнымъ краснымъ поясомъ, на которомъ висѣлъ ключъ и мѣдный гребень. Въ предъидущій разъ Спиридонъ ѣздилъ въ такую же экспедицію даже безъ шляпы; но дѣдушка побранилъ его за то, и на этотъ разъ онъ приготовилъ себѣ что-то въ родѣ шапки, сплетенной изъ широкихъ лыкъ: дѣдушка посмѣялся надъ его *шлычкой*, и надѣвъ *полевой* кафтанъ изъ небѣленаго домашняго холста да картузъ, и подостлавъ подъ себя про запасъ отъ дождя армякъ, сѣлъ на дроги. Спиридонъ также подложилъ подъ себя сложенный втрое свой обыкновенный зипунъ, изъ крестьянскаго бѣлаго сукна, но окрашенный въ ярко-красный цвѣтъ марены, которой много родилось въ

поляхъ. Этотъ красный цвѣтъ былъ въ такомъ употребленіи у стариковъ, что багровскихъ дворовыхъ сосѣди звали „маренниками“; я самъ слыхалъ это прозвище, лѣтъ пятнадцать послѣ смерти дѣдушки. Въ полѣ Степанъ Михайловичъ былъ всѣмъ доволенъ. Онъ осмотрѣлъ отцвѣтавшую рожь, которая, въ человѣка вышиною, стояла какъ стѣна; дулъ легкій вѣтерокъ, и синія лиловыя волны ходили по ней, то свѣтлѣе, то темнѣе отражаясь на солнцѣ. Любо было глядѣть хозяину на такое поле! Дѣдушка объѣхалъ молодые овсы, полбы и всѣ яровые хлѣба; потомъ отправился въ паровое поле и приказалъ возить себя взадъ и впередъ по вспареннымъ десятинамъ. Это былъ его обыкновенный способъ узнавать доброту пашни; всякая цѣлизна, всякое нетронутое сухое мѣстечко сейчасъ встряхивало качкія дроги, и если дѣдушка бывалъ не въ духѣ, то на такомъ мѣстѣ втыкалъ палочку или прутикъ, посылалъ за старостой, если его не было съ нимъ, и расправа производилась немедленно. Въ этотъ разъ все шло благополучно; можетъ быть и попадались цѣлизны, только Степанъ Михайловичъ ихъ не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣтить. Онъ заглянулъ также на мѣста степныхъ сѣнокосовъ и полюбовался густой высокой травой, которую чрезъ нѣсколько дней надо было косить. Онъ побывалъ и на крестьянскихъ поляхъ, чтобы знать самому, у кого уродился хлѣбъ хорошо и у кого плохо; даже паръ крестьянскій объѣхалъ и попробовалъ, все замѣтилъ и ничего не забылъ. Проѣзжая чрезъ залежи и увидѣвъ поспѣвавшую клубнику, дѣдушка остановился и, съ помощью Мазана, набралъ большую кисть крупныхъ, чудныхъ ягодъ и повезъ домой своей Аришѣ. Не смотря на жаръ, онъ проѣздилъ почти до полденъ. Только завидѣли спускающіяся съ горы дѣдушкины дроги—кушанье уже стояло на столѣ, и вся семья ожидала хозяина на крыльцѣ. „Ну, Ариша, весело сказалъ дѣдушка, какіе хлѣба даетъ намъ Богъ! Велика милость Господня! А вотъ тебѣ и клубничка“. Бабушка растаяла отъ радости; „на половину поспѣла“, продолжалъ онъ: „съ завтрашняго дня посылать по ягоды.“ Говоря эти слова, онъ входилъ въ переднюю; запахъ горячихъ щей несся ему на встрѣчу изъ залы. „А, готово!“ еще веселѣе сказалъ Степанъ Михайловичъ: „спасибо“; и не заходя въ свою комнату, прямо прошелъ въ залу и сѣлъ за столъ. Надобно сказать, у дѣдушки былъ обычай: когда онъ возвращался съ поля, рано или позд-

но,—чтобъ кушанье стояло на столѣ, и Боже сохрани, если прозѣваютъ его возвращеніе и не успѣютъ подать обѣда. Бывали примѣры, что отъ этого происходили печальныя послѣдствія. Но въ этотъ блаженный день все шло, какъ по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый парень, Николка Рузанъ, сталъ за дѣдушкой съ цѣлымъ сучкомъ березы, чтобы обмахивать его отъ мухъ. Горячія щи, отъ которыхъ русскій человѣкъ не откажется въ самые палящіе жары, дѣдушка хлебалъ деревянной ложкой, потому-что серебряная обжигала ему губы; за ними слѣдовала ботвинья со льдомъ, съ прозрачнымъ балыкомъ, желтой какъ воскъ соленой осетриной и съ чищенными раками, и тому подобныя легкія блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасомъ, также со льдомъ. Обѣдъ былъ превеселый.... Всѣ говорили громко, шутили, смѣялись; но бывали обѣды, которые проходили въ страшной тишинѣ и безмолвномъ ожиданіи какой-нибудь вспышки. Всѣ дворовые мальчишки и дѣвченки знали, что старый баринъ весело кушаетъ, и всѣ набились въ залу за подачками; дѣдушка щедро одѣлялъ всѣхъ, потому что кушанья готовилось впятеро болѣе, чѣмъ было нужно. Послѣ обѣда, онъ сейчасъ легъ спать. Вымахали мухъ изъ полога, опустили его надъ дѣдушкой, подтыкали кругомъ края подъ перину; скоро сильный храпъ возвѣстилъ, что хозяинъ спитъ богатырскимъ сномъ. Всѣ разошлись по своимъ мѣстамъ также отдыхать. Мазанъ и Танайченокъ, предварительно пообѣдавъ и наглотавшись объѣдковъ отъ барскаго стола, также растянулись на полу въ передней, у самой двери въ дѣдушкину горницу. Они спали и до обѣда, но и теперь не замедлили заснуть; только духота и упёка отъ солнца, ярко свѣтившаго въ окна, скоро ихъ разбудила. Отъ сна и отъ жара пересохло у нихъ въ горлѣ; захотѣлось имъ прохладить горячія гортани господской бражкой съ ледкомъ, и вотъ на какую штуку пустились дерзкіе лежебоки: въ непритворенную дверь достали они дѣдушкинъ халатъ и колпакъ, лежавшіе на стулѣ у самой двери. Тайначенокъ надѣлъ на себя барское платье и сѣлъ на крыльцо, а Мазанъ побѣжалъ со жбаномъ на погребъ, разбудилъ ключницу, которая, какъ и всѣ въ домѣ, спала мертвымъ сномъ, требовалъ поскорѣе проснувшемуся барину студеной браги, и когда ключница изъявила сомнѣніе, проснулся ли баринъ,—Мазанъ указалъ ей на фигуру Танайченка, сидящаго на крыльцѣ въ халатѣ и колпакѣ; нацѣдили

браги, положили льду, проворно побѣжалъ Мазанъ съ добычей. Жбанъ выпили по-братски, положили халатъ и колпакъ на старое мѣсто, и цѣлый часъ еще дожидались, пока проснется дѣдушка. Еще веселѣе утрешняго проснулся баринъ, и первое его слово было: „студеной бражки“. Перепугались лакеи: Танайченокъ побѣжалъ къ ключницѣ, которая сейчасъ догадалась, что первый жбанъ выпили они сами; она отпустила пойла, но вслѣдъ за посланнымъ сама подошла къ крыльцу, на которомъ сидѣлъ уже въ халатѣ настоящій баринъ. Съ первыхъ словъ обманъ открылся, и дрожащіе отъ страха Мазанъ и Танайченокъ повалились барину въ ноги, и что-жъ, вы думаете, сдѣлалъ дѣдушка?.... Расхохотался, послалъ за Аришей и за дочерьми, и, громко смѣясь, разсказалъ имъ всю продѣлку своихъ слугъ. Отдохнули бѣдняги отъ страха, и даже одинъ изъ нихъ улыбнулся. Степанъ Михайловичъ замѣтилъ и чуть-чуть не разсердился; брови его начали было морщиться, но въ его душѣ такъ много было тихаго спокойствія отъ цѣлаго веселаго дня, что лобъ его разгладился, и, грозно взглянувъ, онъ сказалъ: „ну, Богъ проститъ на этотъ разъ; но если въ другой“.... договаривать было не нужно.

Нельзя не подивиться, что у такого до безумія горячаго и въ горячности жестокаго господина люди могли рѣшиться на такую наглую шалость. Но много разъ я замѣчалъ въ продолженіи моей жизни, что у самыхъ строгихъ господъ прислуга пускалась на отчаянныя проказы. Съ дѣдушкой жемоимъ это былъ не единственный случай. Тотъ же самый Ванька Мазанъ, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумалъ понѣжиться, полежать на барской кровати, легъ, да и заснулъ. Дѣдушка самъ нашелъ его, крѣпко спящаго въ этомъ положеніи, и — только разсмѣялся! Правда, онъ отвѣсилъ ему добрый разъ своимъ калиновымъ подожкомъ; но это такъ, ради смѣха, чтобъ позабавиться испугомъ Мазана. Впрочемъ, съ Степаномъ Михайловичемъ и не то случилось: во время его отсутствія, выдали замужъ четырнадцати-лѣтнюю дѣвочку, двоюродную его сестру П. И. Багрову [1]), круглую, но очень

[1]) Т. е. Надежду Ивановну Аксакову. Это происшествіе разсказано въ слѣдующемъ отрывкѣ Семейной Хроники. *И. А.*

богатую сироту, жившую у него въ домѣ и горячо имъ любимую—за такого развратнаго и страшнаго человѣка, котораго онъ терпѣть не могъ. Конечно, это дѣло устроили близкіе родные его сестры съ материнской стороны, но съ согласія Арины Васильевны и при содѣйствіи ея дочерей. Объ этомъ я разскажу послѣ, теперь же возвратимся къ доброму дню моего дѣдушки.

Онъ проснулся часу въ пятомъ по полудни, и, послѣ студеной бражки, не смотря на палящій зной, скоро захотѣлъ накушаться чаю, вѣруя, что горячее питье уменьшаетъ тягость жара. Онъ сходилъ только искупаться въ прохладномъ Бугурусланѣ, протекавшемъ подъ окнами дома, и, воротясь, нашелъ всю свою семью, ожидающую его у того же чайнаго стола, поставленнаго въ тѣни, съ тѣмъ же кипящимъ чайникомъ-самоваромъ и съ тою же Аксюткою. Накушавшись до-сыта любимаго потогоннаго напитка, съ густыми сливками и толстыми подрумянившимися пѣнками, дѣдушка предложилъ всѣмъ ѣхать для прогулки на мельницу. Разумѣется, всѣ съ радостью согласились, и двѣ тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли съ собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. Въ одну минуту запрягли двое длинныхъ дрогъ: на однихъ сѣлъ дѣдушка съ бабушкой, посадивъ промежъ себя единственнаго своего наслѣдника, драгоцѣнную отрасль древняго своего дворянскаго рода; на другихъ дрогахъ помѣстились три тетки и парень, Николашка Рузанъ, взятый для того, чтобъ нарыть на плотинѣ червяковъ и насаживать ими удочки у барышень. На мельницѣ бабушкѣ принесли скамейку, и она усѣлась въ тѣни мельничнаго амбара, неподалеку отъ кауза, около котораго удили ея меньшія дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько изъ угожденія къ отцу, столько и по собственному расположенію къ хозяйству, пошла съ Степаномъ Михайловичемъ осматривать мельницу и толчею. Малолѣтный сынокъ то смотрѣлъ, какъ удятъ рыбу сестры (самому ему удить на глубокихъ мѣстахъ еще не позволяли), то игралъ около матери, которая не спускала съ него глазъ, боясь, чтобъ ребенокъ не свалился какъ-нибудь въ воду. Оба камня мололи: однимъ обдирали пшеницу для господскаго стола, а на другомъ мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дѣдушка былъ знатокъ всякаго хозяйственнаго дѣла; онъ хорошо разумѣлъ мельничный уставъ и толковалъ

своей умной и понятливой дочери всѣ тонкости этого дѣла. Онъ мигомъ увидѣлъ всѣ недостатки въ снастяхъ или ошибки въ уставѣ жернововъ: одинъ изъ нихъ приказалъ опустить на пол-зарубки, и мука пошла мельче, чѣмъ помолецъ былъ очень доволенъ; на другомъ поставѣ по слуху угадалъ, что одна цѣвка въ шестернѣ начала подтираться; онъ приказалъ запереть воду; мельникъ Болтуненокъ соскочилъ внизъ, осмотрѣлъ и ощупалъ шестерню, и сказалъ: „Правда твоя, батюшка Степанъ Михайловичъ! одна цѣвка маленько пообтерлась.“—„То-то маленько“, безъ всякаго неудовольствія возразилъ дѣдушка; „кабы я не пришелъ, такъ шестерня-то бы ночью сломалась.“—„Виноватъ, Степанъ Михайловичъ, не доглядѣлъ.“—„Ну, Богъ проститъ, давай новую шестерню, а у старой подтертую цѣвку перемѣнить, да чтобы новая была не толще, не тоньше другихъ—въ этомъ вся штука.“ Сейчасъ принесли новую шестерню, заранѣе приложенную и пробованную, вставили на мѣсто прежней, смазали, гдѣ надобно, дегтемъ, пустили воду не вдругъ, а понемногу (тоже по приказанію дѣдушки), — и запѣлъ, замололъ жерновъ безъ перебоя, безъ стука, а плавно и ровно. Потомъ пошелъ дѣдушка съ своей дочерью на толчею, захватилъ изъ ступы горсть толченаго проса, обдулъ его на ладони и сказалъ помольщику, знакомому Мордвину: „чего смотришь, сосѣдъ Васюха? Видишь, ни одного неотолченнаго зернышка нѣтъ. Вѣдь перепустишь, такъ пшена-то будетъ меньше.“ Васюха самъ попробовалъ и самъ увидѣлъ, что дѣдушка говоритъ правду; сказалъ спасибо, поклонился, то-есть, кивнулъ головой, и побѣжалъ запереть воду. Оттуда прошелъ дѣдушка съ своей ученицей на птичный дворъ; тамъ все нашелъ въ отличномъ порядкѣ: гусей, утокъ, индѣекъ и куръ было великое множество, и за всѣмъ смотрѣла одна пожилая баба съ внучкой. Въ знакъ особенной милости, дѣдушка далъ обѣимъ поцѣловать ручку и приказалъ, сверхъ мѣсячины, выдавать птичницѣ ежемѣсячно по полупуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степанъ Михайловичъ къ Аринѣ Васильевнѣ, всѣмъ былъ онъ доволенъ: и дочь понятна, и мельница хорошо мелетъ, и птичница Татьяна Горожана [1]) хорошо смотритъ за птицею.

---

[1]) Прозванье „Горожаны“ она имѣла потому, что нѣсколько времени съ-молоду жила въ какомъ-то городѣ.

Жаръ давно свалилъ, прохлада отъ воды умножала прохладу отъ наступающаго вечера, длинная туча пыли шла по дорогѣ и приближалась къ деревнѣ, слышалось въ ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотинѣ, любовался Степанъ Михайловичъ на широкій прудъ, какъ зеркало неподвижно лежавшій въ отлогихъ берегахъ своихъ; рыба играла и плескалась безпрестанно; но дѣдушка не былъ рыбакомъ. — „Пора, Ариша, домой; староста, чай, ждетъ меня“, сказалъ онъ. Меньшія дочери, видя его въ веселомъ расположеніи, стали просить позволенія остаться поудить, говоря, что на солнечномъ закатѣ рыба клюетъ лучше, и что черезъ полчаса онѣ придутъ пѣшкомъ. Дѣдушка согласился и уѣхалъ съ бабушкой домой на своихъ дрогахъ, а Елизавета Степановна съ маленькимъ братомъ сѣла на другія дроги. Степанъ Михайловичъ не ошибся: у крыльца ожидалъ его староста, да и не одинъ, а съ нѣсколькими мужиками и бабами. Староста уже видѣлъ барина, зналъ, что онъ въ веселомъ духѣ, и разсказалъ о томъ кое-кому изъ крестьянъ; нѣкоторые, имѣвшіе до дѣдушки надобности или просьбы, выходящія изъ числа обыкновенныхъ, воспользовались благопріятнымъ случаемъ, и всѣ были удовлетворены: дѣдушка далъ хлѣба крестьянину, который не заплатилъ еще стараго долга, хотя и могъ это сдѣлать; другому позволилъ женить сына, не дожидаясь зимняго времени, и не на той дѣвкѣ, которую назначилъ самъ; позволилъ виноватой солдаткѣ, которую приказалъ было выгнать изъ деревни, жить по прежнему у отца, и проч. Этого мало: всѣмъ было поднесено по серебряной чаркѣ, вмѣщавшей въ себѣ болѣе квасного стакана, домашняго крѣпкаго вина. Коротко и ясно отдалъ дѣдушка хозяйственныя приказанія старостѣ и поспѣшилъ за ужинъ, нѣсколько времени его уже ожидавшій. Вечерній столъ мало отличался отъ обѣденнаго, и вѣроятно кушали за нимъ даже поплотнѣе, потому что было не такъ жарко. Послѣ ужина Степанъ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе еще съ полчаса посидѣть въ одной рубахѣ и прохладиться на крыльцѣ, отпустя семью свою на покой. Въ этотъ разъ, нѣсколько долѣе обыкновеннаго онъ шутилъ и смѣялся съ своей прислугой; заставлялъ Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки, и такъ ихъ поддразнивалъ, что они, не шутя, колотили другъ друга и вцѣпились даже въ волосы; но дѣдушка, до-сыта насмѣ-

явшись, повелительнымъ словомъ и голосомъ заставилъ ихъ опомниться и разойтись.

Лѣтняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угасъ свѣтъ вечерней зари и не угаснетъ до начала сосѣдней утренней зари! Часъ отъ часу темнѣла глубь небеснаго свода, часъ отъ часу ярче сверкали звѣзды, громче раздавались голоса и крики ночныхъ птицъ, какъ-будто они приближались къ человѣку! Ближе шумѣла мельница и толкла толчея въ ночномъ сыромъ туманѣ.... Всталъ мой дѣдушка съ своего крылечка, перекрестился разъ-другой на звѣздное небо и легъ почивать, не смотря на духоту въ комнатѣ, на жаркій пуховикъ, и приказалъ опустить на себя пологъ.

Второй отрывокъ изъ Семейной Хроники.

Михайла Максимовичъ КУРОЛЕСОВЪ [1].

Я обѣщалъ разсказать особо объ Михайлѣ Максимовичѣ Куролесовѣ и его женитьбѣ на двоюродной сестрѣ моего дѣдушки, Прасковьѣ Ивановнѣ Багровой [2]. Начало этого событія происходило въ 1760 годахъ, прежде того времени, о которомъ я разсказывалъ въ первомъ отрывкѣ изъ Семейной Хроники, а конецъ гораздо позже. Исполняю мое обѣщаніе.

Степанъ Михайловичъ былъ единственный сынъ Михайла Петровича Багрова, а Прасковья Ивановна — единственная дочь Ивана Петровича Багрова. Дѣдушка мой очень любилъ ее, какъ единственную женскую отрасль рода Багровыхъ и какъ единственную свою двоюродную сестру. Прасковья Ивановна лишилась матери еще въ колыбели, а десяти лѣтъ потеряла отца. Мать ея была изъ рода Бактеевыхъ, и очень богата: она оставила дочери 900 душъ крестьянъ, много денегъ и еще болѣе драгоцѣнныхъ вещей и серебра; послѣ отца также получила она 300 душъ; и такъ она была богатая сирота и — будущая богатая невѣста. Послѣ смерти отца, она

[1] Т. е. Мих. Максим. Куроѣдовъ.
[2] Т. е. Надеждѣ Ивановнѣ Аксаковой.

сначала жила у бабушки Бактеевой, потомъ пріѣзжала и гостила подолгу въ Троицкомъ, и наконецъ Степанъ Михайловичъ перевезъ ее на житье къ себѣ. Любя не менѣе дочерей свою сестричку-сиротку, какъ называлъ ее Степанъ Михайловичъ, онъ былъ очень нѣженъ съ ней по-своему; но Прасковья Ивановна, по молодости лѣтъ, или лучше сказать по дѣтскости своей, не могла цѣнить любви и нѣжности своего двоюроднаго брата, которыя не выражались никакимъ баловствомъ, къ чему она уже попривыкла, поживши довольно долго у своей бабушки; итакъ не мудрено, что она скучала въ Троицкомъ и что ей хотѣлось воротиться къ прежней своей жизни у старушки Бактеевой. Прасковья Ивановна была не красавица, но имѣла правильныя черты лица, прекрасные, умные, сѣрые глаза, довольно широкія, длинныя темныя брови, показывающія твердый и мужественный нравъ, стройный высокій ростъ, и въ четырнадцать лѣтъ казалась осьмнадцатилѣтнею дѣвицей; но, несмотря на тѣлесную свою зрѣлость, она была еще совершенный ребенокъ и сердцемъ, и умомъ: всегда живая, веселая, она рѣзвилась, прыгала, скакала и пѣла съ утра до вечера. Голосъ имѣла чудесный, страстно любила пѣсни, качели, хороводы и всякія игрища, и когда ничего этого не было, то цѣлый день играла въ куклы, непремѣнно сопровождая свои игры всякаго рода русскими пѣснями, которыхъ и тогда знала безчисленное множество.

За годъ до переѣзда ея къ Степану Михайловичу, пріѣхалъ въ Симбирскую губернію, въ отпускъ, молодой человѣкъ, лѣтъ 28-ми, родовой тамошній дворянинъ, Михаилъ Максимовичъ Куролесовъ, служившій въ военной службѣ; онъ былъ, какъ говорится, молодецъ собой. Многіе называли его даже красавцемъ; но иные говорили, что онъ, не смотря на свою красивость, былъ какъ-то непріятенъ, и я въ ребячествѣ слыхалъ объ этомъ споры между бабушкой и моими тетками. Съ пятнадцатилѣтняго возраста онъ находился въ службѣ въ какомъ-то извѣстномъ тогда славномъ полку и дослужился уже до чина майора. Въ отпускъ пріѣзжалъ рѣдко, да и пріѣзжать было не къ чему, потому что у него родового имѣнія всего было душъ съ полтораста, и то малоземельныхъ, находившихся въ разнопомѣстномъ селеніи Грачовкѣ. Разумѣется, онъ не имѣлъ настоящаго образованія, но былъ боекъ на словахъ и писалъ также бойко и складно. Я имѣлъ

въ своихъ рукахъ много его писемъ, изъ которыхъ очевидно, что онъ былъ человѣкъ толковый, ловкій и въ то же время твердый и дѣловой. Не знаю, какъ онъ былъ родня нашему безсмертному Суворову, но въ перепискѣ Куролесова я нашелъ нѣсколько писемъ геніальнаго полководца, которыя всегда начинались такъ: „Милостивый государь мой, братецъ Михаилъ Максимовичъ“ и оканчивались: „съ достодолжнымъ почтеніемъ къ вамъ и милостивой государынѣ сестрицѣ Прасковьѣ Ивановнѣ, честь имѣю быть и проч.“ Михаила Максимовича мало знали въ Симбирской губерніи, но какъ „слухомъ земля полнится“, и притомъ, можетъ быть, онъ и въ отпуску позволялъ себѣ кое-какіе *дебоши*, какъ тогда выражались, да и пріѣзжавшій съ нимъ деньщикъ или крѣпостной лакей, не смотря на строгость своего командира, по секрету, кое-что пробалтывалъ, — то и составилось о немъ мнѣніе, которое вполнѣ выражалось слѣдующими афоризмами: что „майоръ шутить не любитъ“, что „у него ходи по струнке и съ тропы не сваливайся“, что онъ солдата не выдастъ и, коли можно, покроетъ, а если попался, такъ ужъ помилованья не жди, что слово его крѣпко, что если пойдетъ на ссору, то „ему и чортъ не братъ“, что онъ „лихой, бѣдовый“, что онъ „*гусь лапчатый, звѣрь полосатый...*“ [1]); но всѣ единогласно называли его отличнымъ хозяиномъ. Носились также слухи, вѣроятно вышедшіе изъ тѣхъ же источниковъ, что майоръ большой гуляка, то-есть охотникъ до женскаго пола и до хмѣльного, но знаетъ всему мѣсто и время. Первая охота покрывалась поговоркою, что „быль молодцу не укоръ“; а вторая, что „выпить мужчинѣ не бѣда“ и что „кто пьянъ да уменъ,—два угодья въ немъ“. И такъ майоръ Куролесовъ не имѣлъ положительно дурной репутаціи, а напротивъ въ глазахъ многихъ имѣлъ репутацію выгодную. Къ тому же былъ искателенъ, умѣлъ приласкаться и приласкать, оказывалъ уваженіе старшимъ и почтеннымъ людямъ, и потому приняли его всѣ радушно и съ удовольствіемъ. Будучи близкимъ сосѣдомъ Бактеевыхъ, которымъ приходился дальнимъ родственникомъ по мужу дочери Бактеевой, А. А. Курмышевой (да, кажется, и крестьяне ихъ жили въ одномъ селѣ), онъ умѣлъ такъ сыскать ихъ распо-

[1]) Двумя послѣдними поговорками, несмотря на видимую ихъ неопредѣленность, русскій человѣкъ опредѣляетъ очень много, ярко и понятно для всякаго.

ложеніе, что всѣ его любили и носили на рукахъ. Сначала дѣлалъ онъ это безъ особенныхъ видовъ, а вслѣдствіе своего неизмѣннаго правила „добиваться благосклонности людей почтенныхъ и богатыхъ“; но потомъ, увидѣвъ тамъ живую, веселую и богатую Прасковью Ивановну, по наружности совершенную уже невѣсту,—онъ составилъ планъ жениться на ней и прибрать къ рукамъ ея богатство. Съ этой опредѣленной цѣлью онъ удвоилъ свои заискиванья въ бабушкѣ и теткѣ Прасковьи Ивановны и добился до того, что онѣ въ немъ, какъ говорится, души не чаяли; да и за молодой дѣвушкой началъ такъ искусно ухаживать, что она его полюбила, разумѣется, какъ человѣка, который потакалъ всѣмъ ея словамъ, исполнялъ желанія и вообще баловалъ ее. Михайла Максимовичъ открылся роднымъ Прасковьи Ивановны, прикинулся влюбленнымъ въ молодую сироту, и всѣ повѣрили, что онъ ею *смертельно заразился*, грезитъ ею во снѣ и на яву, сходитъ отъ нея съ ума; повѣрили, одобрили его намѣреніе и приняли бѣднаго страдальца подъ свою защиту. При такомъ благосклонномъ покровительствѣ родныхъ, не трудно было ему успѣть въ своемъ намѣреніи: онъ угождалъ дѣвочкѣ доставленіемъ разныхъ удовольствій, каталъ на лихихъ своихъ коняхъ, качалъ на качеляхъ и самъ качался съ ней, мастерски пѣвалъ съ нею русскія пѣсни, дарилъ разными бездѣлушками и выписывалъ для нея затѣйливыя дѣтскія игрушки изъ Москвы.

Зная, что для полнаго успѣха необходимо получить согласіе двоюроднаго брата и опекуна невѣсты, Михаилъ Максимовичъ попробовалъ втереться къ нему въ милость. Подъ разными предлогами, съ рекомендательными письмами отъ родныхъ Прасковьи Ивановны, пріѣзжалъ онъ къ Степану Михайловичу въ деревню — но не понравился хозяину. Съ перваго взгляда это можетъ показаться страннымъ: отъ чего бы не понравиться? У молодого майора были нѣкоторыя качества, которыя какъ-будто бы симпатизировали со свойствами Степана Михайловича; но у старика, кромѣ здраваго ума и свѣтлаго взгляда, было это нравственное чутье людей честныхъ, прямыхъ и правдивыхъ, которое чувствуетъ съ перваго знакомства съ человѣкомъ неизвѣстнымъ—*кривду и неправду* его, для другихъ незамѣтную; которое слышитъ зло подъ благовидною наружностью и угадываетъ будущее его развитіе. Ласковыя рѣчи и почтительный тонъ не обманули

Степана Михайловича, и онъ сразу отгадалъ, что тутъ скрываются какія-нибудь плутни. При томъ дѣдушка былъ самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшіе до него, такъ легко извиняемые другими, о безпутствѣ майора, поселили отвращеніе къ нему въ цѣломудренной душѣ Степана Михайловича, и хотя онъ самъ былъ горячъ до бѣшенства, но недобрыхъ, злыхъ и жестокихъ безъ гнѣва людей—терпѣть не могъ. Вслѣдствіе всего этого принялъ онъ Михайлу Максимовича холодно и сухо, несмотря на умные и дѣльные разговоры обо всемъ и особенно о хозяйствѣ; когда же гость, увидѣвъ Прасковью Ивановну, уже переѣхавшую въ то время къ моему дѣдушкѣ, сталъ любезничать съ нею, какъ старый знакомый, и она слушала его съ удовольствіемъ, то у дѣдушки, по обыкновенію, покривилась голова на сторону, посдвинулись брови и покосился онъ на гостя не ласково. Напротивъ, Аринѣ Васильевнѣ и всѣмъ дочерямъ гость очень приглянулся, потому что съ первыхъ минутъ онъ умѣлъ къ нимъ подольститься, и онѣ пустились-было съ нимъ въ разныя ласковыя рѣчи; но вышесказанные мною зловѣщіе признаки грозы на лицѣ Степана Михайловича всѣхъ обдали холодомъ, и всѣ прикусили язычки. Гость попытался возстановить общественное спокойствіе и пріятность бесѣды, но напрасно: отъ всѣхъ началъ онъ получать короткіе отвѣты, отъ хозяина же и не совсѣмъ учтивые. Дѣлать было нечего, надо было уѣхать, хотя уже наступало позднее ночное время и слѣдовало бы гостю, по деревенскому обычаю, остаться ночевать. „Дрянь человѣкъ и плутъ, авось въ другой разъ не пріѣдетъ“, сказалъ Степанъ Михайловичъ семьѣ своей, и, конечно, ничей голосъ не возразилъ ему, но за то потихоньку долго хвалили браваго майора, и охотно слушала и разсказывала про его угодливости молодая дѣвочка, богатая сирота.

Похлебавъ не солоно, отъѣхалъ Михайла Максимовичъ отъ Степана Михайловича и воротился къ Бактеевой съ извѣстіемъ о своей неудачѣ. Дѣдушку моего хорошо знали, и съ первой минуты потеряли всякую надежду на его добровольное согласіе. Долго думали, но ничего не придумали. Отважный майоръ предлагалъ пригласить молодую дѣвушку въ гости къ бабушкѣ и обвѣнчаться съ ней безъ согласія Степана Михайловича, но Бактеева и Курмышева были увѣрены, что дѣдушка мой не отпуститъ свою сестру одну, а

если и отпуститъ, то очень не скоро, а майору оставаться долѣе было нельзя. Онъ предлагалъ отчаянное средство: уговорить Прасковью Ивановну къ побѣгу, увезти ее и сейчасъ гдѣ-нибудь обвѣнчаться; но родные и слышать не хотѣли о такомъ зазорномъ дѣлѣ—и Михайла Максимовичъ уѣхалъ въ полкъ. Пути Провидѣнія для насъ непостижимы, а потому мы не можемъ судить, отчего судьбѣ было угодно, чтобъ это злое намѣреніе увѣнчалось успѣхомъ. Черезъ полгода, вдругъ получила старуха Бактеева извѣстіе, что Степанъ Михайловичъ, по весьма важному дѣлу, уѣзжаетъ куда-то далеко и надолго. Куда и зачѣмъ уѣзжалъ онъ—не знаю, только куда-то далеко, въ Астрахань или въ Москву, и непремѣнно по дѣлу, потому что бралъ съ собой повѣреннаго Пантелея Григорьевича. Сейчасъ послали грамоту къ Степану Михайловичу и просили позволенія, чтобъ внучка, во время отсутствія своего опекуна и брата, пріѣхала погостить къ бабушкѣ, но получили короткій отвѣтъ: „что Парашѣ и здѣсь хорошо, и что если желаютъ ее видѣть, то могутъ пріѣхать и погостить въ Троицкомъ сколько угодно“. Послалъ такой положительный отвѣтъ и пригрозивъ строго на-строго своей, всегда покорной, супругѣ, чтобъ она берегла Парашу, какъ зеницу своего ока, и никуда изъ дома не отпускала, Степанъ Михайловичъ отправился въ путь.

Бактеева пересылалась и переписывалась съ Прасковьей Ивановной и съ семействомъ моего дѣдушки. Сейчасъ по полученіи извѣстія, что онъ уѣхалъ, Бактеева увѣдомила объ этомъ Михайлу Максимовича Куролесова, прибавя, что Степанъ Михайловичъ уѣхалъ надолго, и что не можетъ-ли онъ пріѣхать, чтобъ лично хлопотать по извѣстному дѣлу; а сама старуха Бактеева, съ дочерью, немедленно отправилась въ Троицкое. Она всегда была въ дружескихъ отношеніяхъ съ Ариной Васильевной; узнавъ, что Куролесовъ и ей очень понравился, она открылась, что молодой майоръ безъ памяти влюбленъ въ Парашеньку; распространилась въ похвалахъ жениху и сказала, что ничего такъ не желаетъ, „какъ пристроить при своей жизни свою внучку-сиротинку, и увѣрена въ томъ, что она будетъ счастлива; что она чувствуетъ, что ей уже не долго жить на свѣтѣ, и потому хотѣла бы поторопиться этимъ дѣломъ“. Арина Васильевна, съ своей стороны, совершенно одобрила такое намѣреніе, но выразила сомнѣніе, чтобы Степанъ Михайловичъ на это

согласился, и что „Богъ знаетъ почему, Михаилъ Максимовичъ хотя всѣмъ взялъ, но ему больно не понравился“.— Призвали на совѣтъ старшихъ дочерей Арины Васильевны, и подъ предсѣдательствомъ старухи Бактеевой и ея дочери Курмышевой, особенно горячо хлопотавшей за майора, положено было: предоставить улаживаніе этого дѣла родной бабушкѣ, потому что она внучкѣ всѣхъ ближе, но такимъ образомъ, чтобъ супруга Степана Михайловича и ея дочери остались въ сторонѣ, какъ будто онѣ ничего не знаютъ и ничему не причастны. Я уже сказалъ прежде, что Арина Васильевна была женщина добрая и очень простая; дочери ея были совершенно на сторонѣ Бактеевой, а потому и не мудрено, что ее могли уговорить способствовать такому дѣлу, за которое Степанъ Михайловичъ жестоко будетъ гнѣваться. Между тѣмъ беззаботная и веселая спрота и не подозрѣвала, что рѣшаютъ судьбу ея. Объ Михайлѣ Максимовичѣ часто говорили при ней, хвалили изо всѣхъ силъ, увѣряли, что онъ любитъ ее больше своей жизни, что день и ночь думаетъ о томъ, какъ-бы ей угодить, и что если онъ скоро пріѣдетъ, то вѣрно привезетъ ей множество московскихъ гостинцевъ. Прасковья Ивановна слушала съ удовольствіемъ такія рѣчи и говорила, что она сама никого на свѣтѣ такъ не любитъ, какъ Михаила Максимовича. Пока гостила старуха Бактеева въ Троицкомъ, ей привезли изъ деревни письмо отъ Куролесова, который увѣдомлялъ, что какъ скоро получитъ отпускъ, то немедленно пріѣдетъ. Наконецъ Бактеева и Курмышева, условившись съ Ариной Васильевной, что она ни о чемъ къ своему супругу писать не станетъ и отпуститъ къ нимъ Парашеньку, несмотря на запрещеніе Степана Михайловича, подъ предлогомъ тяжкой болѣзни родной бабушки,—уѣхали въ свое помѣстье. Прасковья Ивановна плакала и просилась къ бабушкѣ, особенно узнавъ, что майоръ скоро пріѣдетъ: но ее не пустили изъ уваженія къ приказанію братца, Степана Михайловича. Куролесовъ не могъ получить немедленно отпуска и пріѣхалъ мѣсяца черезъ два. Вскорѣ послѣ его пріѣзда, отправили гонца съ письмомъ въ Троицкое къ Аринѣ Васильевнѣ; въ письмѣ Курмышева увѣдомляла, что старуха Бактеева сдѣлалась отчаянно больна, желаетъ видѣть и благословить внучку, а потому проситъ прислать ее съ кѣмъ-нибудь; было прибавлено, что безъ сомнѣнія Степанъ Михайловичъ не будетъ

гнѣваться за нарушеніе его приказанія, и конечно-бы отпустилъ внучку проститься съ своей родной бабушкой. Письмо очевидно было написано на показъ, для оправданія Арины Васильевны передъ строгимъ супругомъ. Вѣрная своему обѣщанію и обезпеченная такимъ письмомъ, Арина Васильевна немедленно собралась въ дорогу и сама отвезла Парашеньку къ ея мнимо-умирающей бабушкѣ; прогостила у больной съ недѣлю и воротилась домой совершенно обвороженная ласковыми рѣчами Михайлы Максимовича и разными подарками, которые онъ привезъ изъ Москвы не только для нея, но и для дочери ея. Прасковья Ивановна была очень довольна; бабушкѣ ея стало сейчасъ лучше; угодникъ майоръ привезъ ей изъ Москвы игрушекъ и разныхъ гостинцевъ, гостилъ у Бактеевой въ домѣ безвыѣздно, разсыпался передъ ней мелкимъ бѣсомъ, и скоро такъ привязалъ къ себѣ дѣвочку, что когда бабушка объявила ей, что онъ хочетъ на ней жениться, то она очень обрадовалась и, какъ совершенное дитя, начала бѣгать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встрѣчному, что „она идетъ замужъ за Михаила Максимовича, что какъ будетъ ей весело, что сколько получитъ она подарковъ, что она будетъ съ утра до вечера кататься съ нимъ на его чудесныхъ рысакахъ, качаться на самыхъ высокихъ качеляхъ, пѣть пѣсни или играть въ куклы, не маленькія, а большія, которыя сами умѣютъ ходить и кланяться“... Вотъ въ какомъ состояніи находилась голова бѣдной невѣсты. Мѣшкать не стали, опасаясь, чтобъ не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали сосѣдей, сдѣлали помолвку, обручили жениха съ невѣстой, заставили поцѣловаться, посадили рядочкомъ за столъ и выпили ихъ здоровье. Невѣста соскучилась было длинной церемоніей, множествомъ поздравленій и сидѣньемъ на одномъ мѣстѣ, но когда позволили ей посадить возлѣ себя свою новую московскую куклу, то сдѣлалась очень весела, объявляла всѣмъ гостямъ, что это ея дочка, и заставляла куклу кланяться и вмѣстѣ съ ней благодарить за поздравленія. Черезъ недѣлю жениха съ невѣстой обвѣнчали съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей, показавъ новобрачной вмѣсто пятнадцатаго, семнадцатый годъ, въ чемъ по ея наружности никто усомниться не могъ.—Хотя Арина Васильевна и ея дочери знали, на какое дѣло шли, но извѣстіе, что Парашенька обвѣнчана, чего они такъ скоро не ожидали, привело ихъ въ ужасъ: точно спала пелена съ ихъ глазъ,

точно то случилось, чего они и не думали, и онѣ почувствовали, что ни мнимая смертельная болѣзнь родной бабушки, ни письмо ея—не защита имъ отъ справедливаго гнѣва Степана Михайловича. Еще прежде извѣстія о свадьбѣ отправила Арина Васильевна письмо къ своему супругу, въ которомъ увѣдомляла, что по такимъ-то важнымъ причинамъ отвезла она внучку къ умирающей бабушкѣ, что она жила тамъ цѣлую недѣлю, и что хотя Богъ далъ старухѣ Бактеевой полегче, но Парашеньку назадъ не отпустили, а оставили до выздоровленія бабушки; что дѣлать ей было нечего, насильно взять нельзя, и она поневолѣ согласилась и поспѣшила уѣхать къ дѣтямъ, которыя жили одни-одинехоньки, и что теперь опасается она гнѣва Степана Михайловича. На это письмо онъ отвѣчалъ, что Ариша сдѣлала глупо, чтобъ она ѣхала опять къ старухѣ Бактеевой и во что бы то ни стало привезла Парашу домой. Арина Васильевна вздыхала, плакала надъ письмомъ и не знала, что дѣлать. Молодые Куролесовы не замедлили пріѣхать къ ней съ визитомъ. Парашенька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя уже не такъ дѣтски рѣзвою. Мужъ ея также казался вполнѣ счастливымъ, и въ же время былъ такъ спокоенъ и разсудителенъ, что успокоилъ бѣдную Арину Васильевну своими умными рѣчами. Онъ убѣдительно доказалъ, что весь гнѣвъ Степана Михайловича упадетъ на родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опасной болѣзни, хотя ей теперь, благодаря Бога, лучше, имѣла достаточную причину не испрашивать согласія Степана Михайловича, зная, что онъ не скоро бы далъ его, хотя конечно бы со временемъ согласился; что мѣшкать ей было нельзя, потому что она, какъ говорится, на ладонъ дышала, и тяжело было бы ей умирать, не пристроивъ своей родной внучки, круглой сироты, потому что не только двоюродный, но и родной братъ не можетъ замѣнить родной бабушки. Много было наговорено подобныхъ успокоительныхъ разсужденій, сопровождаемыхъ богатыми свадебными подарками, которые были приняты съ большимъ удовольствіемъ, смѣшаннымъ съ нѣкоторымъ страхомъ. Оставлены были подарки и для Степана Михайловича. Михайла Максимовичъ посовѣтовалъ Аринѣ Васильевнѣ, чтобъ она погодила писать къ своему супругу до полученія отвѣта на извѣстительное и рекомендательное письмо молодыхъ, и увѣрилъ, что онъ вмѣстѣ съ Прасковьей

гнѣваться за нарушеніе его приказанія, и конечно-бы отпустилъ внучку проститься съ своей родной бабушкой. Письмо очевидно было написано на показъ, для оправданія Арины Васильевны передъ строгимъ супругомъ. Вѣрная своему обѣщанію и обезпеченная такимъ письмомъ, Арина Васильевна немедленно собралась въ дорогу и сама отвезла Парашеньку къ ея мнимо-умирающей бабушкѣ; прогостила у больной съ недѣлю и воротилась домой совершенно обвороженная ласковыми рѣчами Михайлы Максимовича и разными подарками, которые онъ привезъ изъ Москвы не только для нея, но и для дочери ея. Прасковья Ивановна была очень довольна; бабушкѣ ея стало сейчасъ лучше; угодникъ майоръ привезъ ей изъ Москвы игрушекъ и разныхъ гостинцевъ, гостилъ у Бактеевой въ домѣ безвыѣздно, разсыпался передъ ней мелкимъ бѣсомъ, и скоро такъ привязалъ къ себѣ дѣвочку, что когда бабушка объявила ей, что онъ хочетъ на ней жениться, то она очень обрадовалась и, какъ совершенное дитя, начала бѣгать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встрѣчному, что „она идетъ замужъ за Михаила Максимовича, что какъ будетъ ей весело, что сколько получитъ она подарковъ, что она будетъ съ утра до вечера кататься съ нимъ на его чудесныхъ рысакахъ, качаться на самыхъ высокихъ качеляхъ, пѣть пѣсни или играть въ куклы, не маленькія, а большія, которыя сами умѣютъ ходить и кланяться“... Вотъ въ какомъ состояніи находилась голова бѣдной невѣсты. Мѣшкать не стали, опасаясь, чтобъ не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали сосѣдей, сдѣлали помолвку, обручили жениха съ невѣстой, заставили поцѣловаться, посадили рядочкомъ за столъ и выпили ихъ здоровье. Невѣста соскучилась было длинной церемоніей, множествомъ поздравленій и сидѣньемъ на одномъ мѣстѣ, но когда позволили ей посадить возлѣ себя свою новую московскую куклу, то сдѣлалась очень весела, объявляла всѣмъ гостямъ, что это ея дочка, и заставляла куклу кланяться и вмѣстѣ съ ней благодарить за поздравленія. Черезъ недѣлю жениха съ невѣстой обвѣнчали съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей, показавъ новобрачной вмѣсто пятнадцатаго, семнадцатый годъ, въ чемъ по ея наружности никто усомниться не могъ.—Хотя Арина Васильевна и ея дочери знали, на какое дѣло шли, но извѣстіе, что Парашенька обвѣнчана, чего они такъ скоро не ожидали, привело ихъ въ ужасъ: точно спала пелена съ ихъ глазъ,

точно то случилось, чего они и не думали, и онѣ почувствовали, что ни мнимая смертельная болѣзнь родной бабушки, ни письмо ея—не защита имъ отъ справедливаго гнѣва Степана Михайловича. Еще прежде извѣстія о свадьбѣ отправила Арина Васильевна письмо къ своему супругу, въ которомъ увѣдомляла, что по такимъ-то важнымъ причинамъ отвезла она внучку къ умирающей бабушкѣ, что она жила тамъ цѣлую недѣлю, и что хотя Богъ далъ старухѣ Бактеевой полегче, но Парашеньку назадъ не отпустили, а оставили до выздоровленія бабушки; что дѣлать ей было нечего, насильно взять нельзя, и она поневолѣ согласилась и поспѣшила уѣхать къ дѣтямъ, которыя жили одни-одинехоньки, и что теперь опасается она гнѣва Степана Михайловича. На это письмо онъ отвѣчалъ, что Ариша сдѣлала глупо, чтобъ она ѣхала опять къ старухѣ Бактеевой и во что бы то ни стало привезла Парашу домой. Арина Васильевна вздыхала, плакала надъ письмомъ и не знала, что дѣлать. Молодые Куролесовы не замедлили пріѣхать къ ней съ визитомъ. Парашенька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя уже не такъ дѣтски рѣзвою. Мужъ ея также казался вполнѣ счастливымъ, и въ же время былъ такъ спокоенъ и разсудителенъ, что успокоилъ бѣдную Арину Васильевну своими умными рѣчами. Онъ убѣдительно доказалъ, что весь гнѣвъ Степана Михайловича упадетъ на родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опасной болѣзни, хотя ей теперь, благодаря Бога, лучше, имѣла достаточную причину не испрашивать согласія Степана Михайловича, зная, что онъ не скоро бы далъ его, хотя конечно бы со временемъ согласился; что мѣшкать ей было нельзя, потому что она, какъ говорится, на ладонъ дышала, и тяжело было бы ей умирать, не пристроивъ своей родной внучки, круглой сироты, потому что не только двоюродный, но и родной братъ не можетъ замѣнить родной бабушки. Много было наговорено подобныхъ успокоительныхъ разсужденій, сопровождаемыхъ богатыми свадебными подарками, которые были приняты съ большимъ удовольствіемъ, смѣшаннымъ съ нѣкоторымъ страхомъ. Оставлены были подарки и для Степана Михайловича. Михайла Максимовичъ посовѣтовалъ Аринѣ Васильевнѣ, чтобъ она погодила писать къ своему супругу до полученія отвѣта на извѣстительное и рекомендательное письмо молодыхъ, и увѣрилъ, что онъ вмѣстѣ съ Прасковьей

Ивановной будетъ немедленно писать къ нему; но писать онъ и не думалъ и хотѣлъ только отдалить грозу, чтобъ успѣть, такъ сказать, утвердиться въ своемъ новомъ положеніи. Послѣ женитьбы Михайла Максимовичъ послалъ немедленно просьбу объ увольненіи его въ отставку, которую и получилъ очень скоро. Первымъ его дѣломъ было объѣздить съ молодой своей женой всѣхъ родственниковъ и всѣхъ знакомыхъ, какъ съ ея стороны, такъ и съ своей. Въ Симбирскѣ же, начиная съ губернатора, не было забыто ни одно служебное, ни одно сколько-нибудь значительное лицо. Всѣ не могли довольно нахвалиться прекрасною парочкой молодыхъ; во всѣхъ такъ умѣли найти они благосклонное расположеніе, что одобреніе этого брака сдѣлалось общимъ мнѣніемъ. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ.

Степанъ Михайловичъ, не получая давно писемъ изъ дому, видя, что дѣло его затянулось, соскучившись въ разлукѣ съ семействомъ, вдругъ, въ одинъ прекрасный день, воротился въ свое Троицкое. Задрожали и руки, и ноги у Арины Васильевны, когда она услыхала страшныя слова: „баринъ пріѣхалъ“.—Степанъ Михайловичъ, узнавъ, что всѣ живы и здоровы, свѣтелъ и радостенъ вошелъ въ свой господскій домъ, расцѣловалъ свою Аришеньку, дочерей и сына, и весело спросилъ: „да гдѣ-же Параша?“ Ободрившись ласковостью супруга, Арина Васильевна отвѣчала ему съ притворной улыбкой: „гдѣ, доподлинно не знаю; можетъ у бабушки. Да вѣдь ты, батюшка, давно изволишь знать, что Парашенька замужемъ“. Не стану описывать изумленія и гнѣва моего дѣдушки; гнѣвъ этотъ удвоился, когда онъ узналъ, что Прасковья Ивановна выдана за Куролесова. Степанъ Михайловичъ принялся было за расправу съ своей супругой, но она, повалившись ему въ ноги со всѣми дочерьми и представивъ письма старухи Бактеевой, успѣла увѣрить его, что „знать ничего не знаетъ и что она была сама обманута“. Бѣшенство Степана Михайловича обратилось на старуху Бактееву; онъ приказалъ себѣ приготовить другихъ лошадей и, отдохнувъ часа два-три, поскакалъ прямо къ ней. Можно себѣ представить, какую схватку *учинилъ* онъ съ бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпѣвъ первый потокъ самыхъ крѣпкихъ ругательствъ, пріосанилась и, разгорячившись въ свою очередь, сама напала на моего дѣдушку. „Да что-жъ это ты развоевался, какъ надъ своей крѣпостной

рабой, сказала она, развѣ ты забылъ, что я такая-же столбовая дворянка, какъ и ты, и что мой покойный мужъ былъ гораздо повыше тебя чиномъ. Я поближе тебя къ Парашенькѣ, я родная бабушка ей и такая же опекунша, какъ ты. Я устроила ея счастіе, не дожидаясь твоего согласія, потому что была больна при смерти и не хотѣла ее оставить на всю твою волю; вѣдь я знаю, что ты бѣшеный и сумасшедшій; живя у тебя, пожалуй, она бы въ иной часъ и палки отвѣдала. Михайла Максимовичъ ей по всему пара, и Парашенька его сама полюбила. Да и кто-же его не полюбитъ и не похвалитъ. Тебѣ только онъ не угодилъ, а ты спроси-ка твою семью, такъ и узнаешь, что она имъ не нахвалится".—„Врешь ты, старая мошенница! вопилъ мой дѣдушка; ты обманула мою Аришу, прикинулась, что умираешь... Ты продала свою внучку разбойнику Мишкѣ Куролесову, который приворотилъ васъ съ дочкой къ себѣ нечистой силой..." Старуха Бактеева вышла изъ себя и въ запальчивости выболтала, что Арина Васильевна и ея дочери были съ нею заодно и заранѣе приняли разные подарки отъ Михайлы Максимовича. Такія слова обратили опять весь гнѣвъ Степана Михайловича на его семейство. Погрозивъ, что онъ разведетъ Парашу съ мужемъ по ея несовершеннолѣтію, онъ отправился домой, но заѣхалъ по дорогѣ къ священнику, который вѣнчалъ Куролесовыхъ. Онъ грозно потребовалъ у него отчета, но тотъ очень спокойно и съ увѣренностью показалъ ему обыскъ, подпись бабушки и невѣсты, рукоприкладство свидѣтелей и метрическое свидѣтельство изъ Духовной Консисторіи, что Прасковьѣ Ивановнѣ семнадцатый годъ. Это былъ новый ударъ для моего дѣдушки, лишившій его всякой надежды къ расторженію ненавистнаго ему брака и несказанно усилившій его гнѣвъ на Арину Васильевну и дочерей. Я не буду распространяться о томъ, что онъ дѣлалъ, воротясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествіи тридцати лѣтъ тетки мои вспоминали объ этомъ времени, дрожа отъ страха. Я скажу только въ короткихъ словахъ, что виноватыя признались во всемъ, что всѣ подарки, и первые и послѣдніе и назначенные ему, онъ отослалъ къ старухѣ Бактеевой, для возвращенія кому слѣдуетъ, что старшія дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы, и что цѣлый годъ ходила она съ пластыремъ на головѣ. Молодымъ же Куролесовымъ онъ далъ знать, чтобъ они не смѣли къ нему и глазъ показывать, а у себя дома запретилъ поминать ихъ имена.

Ивановной будетъ немедленно писать къ нему; но писать онъ и не думалъ и хотѣлъ только отдалить грозу, чтобъ успѣть, такъ сказать, утвердиться въ своемъ новомъ положеніи. Послѣ женитьбы Михайла Максимовичъ послалъ немедленно просьбу объ увольненіи его въ отставку, которую и получилъ очень скоро. Первымъ его дѣломъ было объѣздить съ молодой своей женой всѣхъ родственниковъ и всѣхъ знакомыхъ, какъ съ ея стороны, такъ и съ своей. Въ Симбирскѣ же, начиная съ губернатора, не было забыто ни одно служебное, ни одно сколько-нибудь значительное лицо. Всѣ не могли довольно нахвалиться прекрасною парочкой молодыхъ; во всѣхъ такъ умѣли найти они благосклонное расположеніе, что одобреніе этого брака сдѣлалось общимъ мнѣніемъ. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ.

Степанъ Михайловичъ, не получая давно писемъ изъ дому, видя, что дѣло его затянулось, соскучившись въ разлукѣ съ семействомъ, вдругъ, въ одинъ прекрасный день, воротился въ свое Троицкое. Задрожали и руки, и ноги у Арины Васильевны, когда она услыхала страшныя слова: „баринъ пріѣхалъ“.—Степанъ Михайловичъ, узнавъ, что всѣ живы и здоровы, свѣтелъ и радостенъ вошелъ въ свой господскій домъ, расцѣловалъ свою Аришеньку, дочерей и сына, и весело спросилъ: „да гдѣ-же Параша?“ Ободрившись ласковостью супруга, Арина Васильевна отвѣчала ему съ притворной улыбкой: „гдѣ, доподлинно не знаю; можетъ у бабушки. Да вѣдь ты, батюшка, давно изволишь знать, что Парашенька замужемъ“. Не стану описывать изумленія и гнѣва моего дѣдушки; гнѣвъ этотъ удвоился, когда онъ узналъ, что Прасковья Ивановна выдана за Куролесова. Степанъ Михайловичъ принялся было за расправу съ своей супругой, но она, повалившись ему въ ноги со всѣми дочерьми и представивъ письма старухи Бактеевой, успѣла увѣрить его, что „знать ничего не знаетъ и что она была сама обманута“. Бѣшенство Степана Михайловича обратилось на старуху Бактееву; онъ приказалъ себѣ приготовить другихъ лошадей и, отдохнувъ часа два-три, поскакалъ прямо къ ней. Можно себѣ представить, какую схватку *учинилъ* онъ съ бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпѣвъ первый потокъ самыхъ крѣпкихъ ругательствъ, пріосанилась и, разгорячившись въ свою очередь, сама напала на моего дѣдушку. „Да что-жъ это ты развоевался, какъ надъ своей крѣпостной

рабой, сказала она, развѣ ты забылъ, что я такая-же столбовая дворянка, какъ и ты, и что мой покойный мужъ былъ гораздо повыше тебя чиномъ. Я поближе тебя къ Парашенькѣ, я родная бабушка ей и такая же опекунша, какъ ты. Я устроила ея счастіе, не дожидаясь твоего согласія, потому что была больна при смерти и не хотѣла ее оставить на всю твою волю; вѣдь я знаю, что ты бѣшеный и сумасшедшій; живя у тебя, пожалуй, она бы въ иной часъ и палки отвѣдала. Михайла Максимовичъ ей по всему пара, и Парашенька его сама полюбила. Да и кто-же его не полюбитъ и не похвалитъ. Тебѣ только онъ не угодилъ, а ты спроси-ка твою семью, такъ и узнаешь, что она имъ не нахвалится“.—„Врешь ты, старая мошенница! вопилъ мой дѣдушка; ты обманула мою Аришу, прикинулась, что умираешь... Ты продала свою внучку разбойнику Мишкѣ Куролесову, который приворотилъ васъ съ дочкой къ себѣ нечистой силой...“ Старуха Бактеева вышла изъ себя и въ запальчивости выболтала, что Арина Васильевна и ея дочери были съ нею заодно и заранѣе приняли разные подарки отъ Михайлы Максимовича. Такія слова обратили опять весь гнѣвъ Степана Михайловича на его семейство. Погрозивъ, что онъ разведетъ Парашу съ мужемъ по ея несовершеннолѣтію, онъ отправился домой, но заѣхалъ по дорогѣ къ священнику, который вѣнчалъ Куролесовыхъ. Онъ грозно потребовалъ у него отчета, но тотъ очень спокойно и съ увѣренностью показалъ ему обыскъ, подпись бабушки и невѣсты, рукоприкладство свидѣтелей и метрическое свидѣтельство изъ Духовной Консисторіи, что Прасковьѣ Ивановнѣ семнадцатый годъ. Это былъ новый ударъ для моего дѣдушки, лишившій его всякой надежды къ расторженію ненавистнаго ему брака и несказанно усилившій его гнѣвъ на Арину Васильевну и дочерей. Я не буду распространяться о томъ, что онъ дѣлалъ, воротясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествіи тридцати лѣтъ тетки мои вспоминали объ этомъ времени, дрожа отъ страха. Я скажу только въ короткихъ словахъ, что виноватыя признались во всемъ, что всѣ подарки, и первые и послѣдніе и назначенные ему, онъ отослалъ къ старухѣ Бактеевой, для возвращенія кому слѣдуетъ, что старшія дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы, и что цѣлый годъ ходила она съ пластыремъ на головѣ. Молодымъ же Куролесовымъ онъ далъ знать, чтобъ они не смѣли къ нему и глазъ показывать, а у себя дома запретилъ поминать ихъ имена.

Между тѣмъ время шло, залѣчивая всякія раны, и духовныя, и тѣлесныя, успокоивая всякія страсти. Черезъ годъ зажила голова у Арины Васильевны, утихъ гнѣвъ въ сердцѣ Степана Михайловича. Сначала онъ не хотѣлъ не только видѣть, но и слышать объ молодыхъ Куролесовыхъ, даже не читалъ писемъ Прасковьи Ивановны; но къ концу года, получая со всѣхъ сторонъ добрыя вѣсти объ ея житьѣ и о томъ, какъ она вдругъ сдѣлалась разумна не по годамъ, Степанъ Михайловичъ смягчился, и захотѣлось ему видѣть свою милую сестричку. Онъ разсудилъ, что она менѣе всѣхъ виновата, что она была совершенный ребенокъ,— и позволилъ пріѣхать ей въ Троицкое, но безъ мужа. Разумѣется, она сейчасъ прискакала. Въ самомъ дѣлѣ, Прасковья Ивановна такъ перемѣнилась въ одинъ годъ своего замужества, что Степанъ Михайловичъ не могъ надивиться. И странное дѣло, откуда вдругъ взялась у нея такая любовь и признательность къ своему двоюродному брату, какой она вовсе не чувствовала до замужества и еще менѣе, казалось, могла почувствовать послѣ своей свадьбы? Прочла ли она въ его глазахъ, полныхъ слезъ при встрѣчѣ съ нею, сколько скрывается любви подъ суровой наружностью и жестокимъ самовластіемъ этого человѣка? Было ли это темное предчувствіе будущаго, или неясное пониманіе единственной своей опоры и защиты? Почувствовала ли она безсознательно, что изъ всѣхъ баловницъ и потатчицъ ея ребяческимъ желаніямъ— всѣхъ больше любитъ ее грубый братъ, противникъ ея счастія, невзлюбившій любимаго ею мужа?... Не знаю, но для всѣхъ было поразительно, что прежняя легкомысленная, равнодушная къ брату дѣвочка, непонимавшая и непризнававшая его правъ и своихъ къ нему обязанностей, имѣющая теперь всѣ причины къ чувству непріязненному за оскорбленіе любимой бабушки,—вдругъ сдѣлалась не только привязанною сестрою, но горячею дочерью, которая смотрѣла въ глаза своему двоюродному брату, какъ нѣжно и давно любимому отцу, нѣжно и давно любящему свою дочь.... Какъ бы то ни было, но внезапно родившееся чувство прекратилось только съ ея жизнью. Что за чудная перемѣна сдѣлалась во всемъ существѣ Прасковьи Ивановны въ такія молодыя лѣта, въ одинъ годъ замужества? Пропало неразумное дитя и явилась, хотя веселая, но разумная женщина. Она искренно признавала всѣхъ виноватыми предъ Степаномъ Михайлови-

чемъ. Извиняла только себя неразумiемъ, а бабушку, мужа и другихъ—горячею и слѣпою къ ней любовью. Она не просила, чтобъ Степанъ Михайловичъ сейчасъ простилъ ея мужа, виноватаго больше всѣхъ, но надѣялась, что со временемъ, видя, какъ она счастлива, какой попечительный, неутомимый хозяинъ ея мужъ, какъ устроиваетъ ея состоянiе—братецъ проститъ Михаила Максимовича и позволитъ ему пріѣхать. Хотя дѣдушка мой ничего не сказалъ на такiя слова, но былъ совершенно побѣжденъ ими. Онъ не сталъ долго держать у себя свою умную сестрицу, какъ онъ сталъ называть ее съ этихъ поръ, и отправилъ немедленно къ мужу, говоря, что теперь *тамъ* ея мѣсто. Прощаясь, онъ сказалъ ей: „Если черезъ годъ ты будешь такъ же довольна своимъ мужемъ, и онъ будетъ такъ же хорошо съ тобою жить, то я помирюсь съ нимъ.“ И точно черезъ годъ, зная, что Михайла Максимовичъ ведетъ себя хорошо и занимается устройствомъ имѣнiя жены своей съ неусыпнымъ рвенiемъ, видя нерѣдко свою сестрицу здоровою, довольною и веселою, Степанъ Михайловичъ сказалъ ей: „привози своего мужа.“ Онъ принялъ Куролесова съ радушiемъ, прямо и откровенно высказалъ свои прежнiя сомнѣнiя и обѣщалъ ему, если онъ всегда будетъ такъ хорошо себя вести,—родственную любовь и дружбу. Михайла Максимовичъ держалъ себя очень умно; онъ не былъ такъ вкрадчивъ и искателенъ, какъ прежде, но такъ же почтителенъ, внимателенъ, предупредителенъ. Въ немъ слышалось больше самостоятельности и увѣренности; онъ былъ озабоченъ, погруженъ въ хозяйственныя дѣла, просилъ совѣтовъ у старика, понималъ ихъ очень хорошо и пользовался ими съ отличнымъ умѣньемъ. Онъ счелся съ нимъ въ дальнемъ родствѣ самъ по себѣ, и называлъ его дядюшкой, Арину Васильевну тетушкой, сына ихъ братцемъ, а дочерей сестрицами. Онъ оказалъ Степану Михайловичу какую-то услугу, еще до своего примиренiя или прощенiя; дѣдушка зналъ это, и теперь сказалъ ему спасибо, и даже поручилъ о чемъ-то похлопотать. Однимъ словомъ, дѣло уладилось превосходно. Казалось, всѣ обстоятельства говорили въ пользу Михайлы Максимовича, но дѣдушка повторялъ свое: „хорошъ парень, ловокъ и смышленъ, а сердце не лежитъ“.

Такъ прошелъ еще годъ, въ продолженiи котораго Степанъ Михайловичъ переселился въ Уфимское намѣстничество. Въ первые три года послѣ женитьбы, Куролесовъ велъ себя

скромно и смирно, или по крайней мѣрѣ такъ скрытно, что ничего не было слышно. Впрочемъ, онъ дома жилъ мало, и все время проводилъ въ разъѣздахъ. Одинъ только слухъ носился вездѣ и даже увеличивался, что молодой хозяинъ *строгонекъ*. Въ слѣдующіе два года Куролесовъ надѣлалъ чудеса по устройству имѣнія жены своей, что неоспоримо доказывало его неусыпную дѣятельность, предпріимчивость и желѣзную волю въ исполненіи своихъ предпріятій. Имѣніе Прасковьи Ивановны управлялось прежде очень плохо: оно было разстроено, запущено, крестьяне избалованы. Они давали очень мало дохода, не потому, чтобы мѣстность была невыгодна для сбыта хлѣба, но потому, что они, кромѣ того, что плохо работали, были малоземельны и находились отчасти въ общемъ владѣніи съ бабушкой Бактеевой и теткой Курмышевой. Михайла Максимовичъ съ того началъ, что принялся за переводъ крестьянъ на новыя мѣста, а старыя земли продалъ очень выгодно. Онъ купилъ степь въ Симбирской губерніи (теперь Самарской), въ Ставропольскомъ уѣздѣ, около семи тысячъ десятинъ, землю отличную, хлѣбородную, черноземъ въ полтора аршина глубиною, ровную, удобную для хлѣбопашества, по рѣчкѣ „Берля“, въ вершинахъ которой только росъ по отрогамъ небольшой лѣсокъ; да былъ еще заповѣдный „Медвѣжій Врагъ“, который и теперь составляетъ единственный лѣсъ для всего имѣнія. Тамъ поселилъ онъ 350 душъ. Это вышло имѣніе отмѣнно выгодное, потому что находилось во ста верстахъ отъ Самары, и въ 60 и въ 40 верстахъ отъ многихъ волжскихъ пристаней. Извѣстно, что удобный сбытъ хлѣба составляетъ у насъ все достоинство имѣнія [1]). Потомъ отправился Михайла Максимовичъ въ Уфимское намѣстничество и купилъ у Башкирцевъ примѣрно по урочищамъ болѣе 20,000 десятинъ, также черноземъ, хотя далеко не такъ богатаго, какъ въ Симбирской губерніи, но съ довольнымъ количествомъ дровянаго и даже строеваго лѣса. Земля лежала по рѣкѣ Усень и рѣчкамъ: Сююшъ, Мелеусъ, Кармалка и Белебейка; тогда, кажется, это былъ Мензелинскій уѣздъ, а теперь Белебеевскій, принадлежащій къ Оренбургской губерніи. Тамъ поселилъ

---

[1]) Это имѣніе, извѣстное подъ именемъ „село Вишенки, Куроѣдово тожъ“, Ставропольск. у. Самарской губ., раздѣлено теперь на двѣ половины, изъ которыхъ одна перешла къ сыновьямъ автора Сем. Хроники, а другая къ его брату Николаю Тимоѳеевичу. *И. А.*

онъ, на истокѣ множества ключей, составляющихъ рѣчку Большой Сююшъ, 450 душъ, да на рѣчкѣ Белебейкѣ 50 душъ. Большую деревню назвалъ „Парашино“ [1]), а маленькую— „Ивановка“. Симбирское же имѣніе называлось „Куролесово“, и всѣ три названія составляли имя, отчество и фамилію его жены. Эта романическая затѣя въ такомъ человѣкѣ, какимъ явится впослѣдствіи Михайла Максимовичъ, всегда меня удивляла. Впрочемъ, есть люди, которые находятъ, что подобныя выходки бываютъ часто. Резеденцію свою и своей супруги устроилъ онъ въ особомъ ея родовомъ материнскомъ имѣньи, состоящемъ изъ 350 душъ, въ селѣ Чурасовѣ [2]), находящемся въ 50 верстахъ отъ губернскаго города. Тамъ выстроилъ онъ, по тогдашнему, великолѣпный господскій домъ, со всѣми принадлежностями; отдѣлалъ его на славу, меблировалъ отлично, расписалъ весь красками внутри и даже снаружи; люстры, канделябры, бронза, фарфоровая и серебряная посуда удивляли всѣхъ; домъ поставилъ на небольшомъ косогорѣ, изъ котораго били и кипѣли болѣе двадцати чудныхъ родниковыхъ ключей. Домъ, косогоръ, родники— все это обхватывалось и заключалось въ богатомъ, плодовитомъ саду, на двѣнадцати десятинахъ, со всевозможными сортами яблоковъ и вишенъ. Внутреннее хозяйство дома, прислуга, повара, экипажи, лошади—все было устроено и богато и прочно. Окружные сосѣди, которыхъ было не мало, и гости изъ губернскаго города не переводились въ Чурасовѣ: ѣли, пили, гуляли, играли въ карты, пѣли, говорили, шумѣли, веселились. Парашеньку свою Михайла Максимовичъ одѣвалъ какъ куклу, предупреждалъ всѣ ея желанія, тѣшилъ съ утра до вечера, когда только бывалъ дома. Однимъ словомъ, въ нѣсколько лѣтъ во всѣхъ отношеніяхъ онъ поставилъ себя на такую ногу, что добрые люди дивились, а недобрые завидовали. Михайла Максимовичъ не забылъ и о церкви, и въ два года, вмѣсто ветхой деревянной, выстроилъ и снабдилъ великолѣпною утварью новую каменную церковь; даже славныхъ пѣвчихъ завелъ изъ своихъ дворовыхъ людей. На четвертомъ году замужества, Прасковья Ивановна, совершенно довольная и счастливая, родила дочь, а потомъ черезъ

[1]) Т.-е. Надежино, Куроѣдово тожъ. Это село (въ Белебеевскомъ уѣздѣ Уфимской губ.) принадлежитъ теперь одному изъ сыновей покойнаго автора. *И. А.*

[2]) Т.-е. Чуфаровѣ.

годъ и сына, но дѣти не жили: дѣвочка умерла на первомъ же году, а сынъ уже трехъ лѣтъ. Прасковья Ивановна такъ привязалась было къ нему, что эта потеря стоила ей дорого. Цѣлый годъ она не осушала глазъ, и даже необыкновенно крѣпкое ея здоровье очень разстроилось, и болѣе дѣтей она не имѣла. Между тѣмъ авторитетъ Михайлы Максимовича въ общественномъ мнѣніи росъ не по днямъ, а по часамъ. Съ мелкимъ и бѣднымъ дворянствомъ, правду сказать, поступалъ онъ крутенько и самовластно, и хотя оно его не любило, но за то крѣпко боялось, а высшее дворянство только похваливало Михайлу Максимовичу за то, что онъ не даетъ забываться тѣмъ, кто его пониже. Годъ отъ году становились чаще и продолжительнѣе отлучки Куролесова, особенно съ того несчастнаго года, когда Прасковья Ивановна потеряла сына и неутѣшно сокрушалась. Вѣроятно, ея супругу наскучили слезы, вздохи и тишина въ уединеніи, потому что Прасковья Ивановна цѣлый годъ не хотѣла никого видѣть. Впрочемъ, и самое шумное и веселое общество въ Чурасовѣ его къ себѣ не привлекало.

Мало-по-малу стали распространяться и усиливаться слухи, что майоръ не только строгонекъ, какъ говорили прежде, но и жестокъ, что, забравшись въ свои деревни, особенно въ Уфимскую, онъ пьетъ и развратничаетъ, что тамъ у него набрана уже своя компанія, пьянствуя съ которой, онъ доходитъ до неистовствъ всякаго рода, что главная бѣда: въ пьяномъ видѣ немилосердно дерется безо всякаго резону, и что уже два-три человѣка пошли на тотъ свѣтъ отъ его побой; что исправники и судьи обоихъ уѣздовъ, гдѣ находились его новыя деревни, всѣ на его сторонѣ, что однихъ онъ задарилъ, другихъ запоилъ, а всѣхъ запугалъ; что мелкіе чиновники и дворяне передъ нимъ дрожкой дрожатъ, потому что онъ всякаго, кто осмѣливался дѣлать и говорить не по немъ, хваталъ среди бѣла дня, сажалъ въ погреба или овинныя ямы и морилъ холодомъ и голодомъ, на хлѣбѣ да на водѣ, а нѣкоторыхъ безъ церемоніи диралъ немилосердно какими-то *кошками* [1]). Слухи были не только спра-

[1]) Кошки были любимымъ орудіемъ наказанія у Михайлы Максимовича. Это ничто иное, какъ ременныя плети, оканчивающіяся семью хвостами изъ сыромятной кожи, съ узлами на концѣ каждаго хвоста. Въ Парашинѣ даже послѣ смерти Куролесова, нѣкоторое время сохранялись въ кладовой, разумѣется, безъ употребленія, эти отвратительныя орудія, и я видѣлъ ихъ самъ. Когда имѣніе досталось сыну Степана Михайловича, кошки были сожжены.

ведливы, но слишкомъ умѣренны; дѣйствительность далеко превосходила робкую молву. Кровожадная натура Куролесова, воспламеняемая до бѣшенства спиртными парами, развилась на свободѣ во всей своей полнотѣ и представила одно изъ тѣхъ страшныхъ явленій, отъ которыхъ содрогается и которыми гнушается человѣчество. Это ужасное соединеніе инстинкта тигра съ разумностью человѣка.

Наконецъ слухи превратились въ достовѣрность, и никто изъ окружающихъ Прасковью Ивановну, родныхъ, сосѣдей и прислуги, никто уже не ошибался на счетъ Михайлы Максимовича. Когда онъ возвращался въ Чурасово послѣ своихъ страшныхъ подвиговъ, то велъ себя по-прежнему почтительно къ старшимъ, ласково и внимательно къ равнымъ, предупредительно и любезно къ своей женѣ, которая, выплакавъ свое горе, опять стала здорова и весела, а домъ ея по-прежнему былъ полонъ гостей и удовольствій. Хотя Михайла Максимовичъ ни съ кѣмъ въ Чурасовѣ не дрался, предоставляя это удовольствіе старостѣ и дворецкому, но всѣ по наслышкѣ дрожали отъ одного его взгляда; даже въ обращеніи съ нимъ родныхъ и короткихъ знакомыхъ было замѣтно какое-то смущеніе и опасеніе. Прасковья Ивановна ничего не замѣчала, а если замѣчала, то приписывала совсѣмъ другой причинѣ: невольному уваженію, которое внушалъ всѣмъ Михайла Максимовичъ своимъ диковиннымъ хозяйствомъ, своимъ умѣньемъ жить богато и разумной твердостью своихъ поступковъ. Люди разсудительные, любящіе Прасковью Ивановну, видя ее совершенно спокойною и счастливою, радовались, что она ничего не знаетъ, и желали, чтобъ какъ можно долѣе продолжалось это незнаніе. Конечно, и между тогдашними приживалками и мелкопомѣстными сосѣдками были такія, у которыхъ очень чесался язычекъ и которымъ очень хотѣлось отплатить высокомѣрному майору за его презрительное обращеніе, то-есть: вывести его на свѣжую воду; но кромѣ страха, который онѣ чувствовали невольно и который вѣроятно не удержалъ бы ихъ, было другое препятствіе для выполненія такихъ благихъ намѣреній: къ Прасковьѣ Ивановнѣ не было приступу ни съ какими вкрадчивыми словами о Михайлѣ Максимовичѣ; умная, проницательная и твердая Прасковья Ивановна сейчасъ замѣчала, не смотря на хитросплетаемыя рѣчи, что хотятъ ввернуть какое-нибудь словцо, невыгодное для Михайлы Макси-

мовича; она сдвигала свои темныя брови и объявляла рѣшительнымъ голосомъ, что тотъ, кто скажетъ непріятное для ея мужа, никогда уже въ домѣ ея не будетъ. Послѣ такого предупредительнаго и грознаго выраженія, разумѣется, уже никто не осмѣливался путаться не въ свое дѣло. Приближенная къ Прасковьѣ Ивановнѣ прислуга, особенно одинъ старикъ, любимецъ покойнаго ея отца, и старуха ея нянька, которыхъ преимущественно жаловала госпожа, но съ которыми, вопреки тогдашнимъ обычаямъ, не входила она въ короткія сношенія,—также ничего не могли сдѣлать. Старику и старухѣ, о которыхъ я сейчасъ сказалъ, была кровная нужда, чтобъ ихъ барыня узнала настоящую правду о своемъ супругѣ: близкіе родные ихъ, находившіеся въ прислугѣ у барина, невыносимо страдали отъ жестокости своего господина. Наконецъ старикъ и старуха рѣшились разсказать барынѣ все, и улучивъ время, когда Прасковья Ивановна была одна, вошли къ ней оба; но только вырвалось у старушки имя Михайлы Максимовича, какъ Прасковья Ивановна до того разгнѣвалась, что вышла изъ себя; она сказала своей нянѣ, что если она когда-нибудь разинетъ ротъ о барынѣ, то болѣе никогда ее не увидитъ и будетъ сослана на вѣчное житье въ Парашино. Такимъ образомъ прекращены были всѣ пути къ доносу на Михайлу Максимовича и заткнуты всѣ рты. Прасковья Ивановна вѣрила безусловно своему мужу и любила его. Она знала, что посторонніе люди охотно путаются въ чужія дѣла, охотно мутятъ воду, чтобы удачнѣе ловить въ ней рыбу, и она заранѣе приняла твердое намѣреніе, постановила неизмѣннымъ правиломъ: не допускать до себя никакихъ разсужденій о своемъ мужѣ. Правило очень мудрое, необходимое для сохраненія спокойствія въ семейной жизни; но нѣтъ правила безъ исключенія. Можетъ быть, что въ настоящемъ случаѣ твердый нравъ и крѣпкая воля Прасковьи Ивановны, сильно подкрѣпленные тѣмъ обстоятельствомъ, что все богатство принадлежало ей, могли бы въ началѣ остановить ея супруга, и онъ, какъ умный человѣкъ, не захотѣлъ бы лишить себя всѣхъ выгодъ роскошной жизни, не дошелъ бы до такихъ крайностей, не допустилъ бы вырости вполнѣ своимъ чудовищнымъ страстямъ и кутилъ бы умѣренно, въ тихомолку, какъ и многіе другіе.

Такъ протекло нѣсколько лѣтъ. Михайла Максимовичъ предавался на свободѣ своимъ наклонностямъ, быстро разви-

вался и наконецъ началъ совершать безнаказанно неслыханныя дѣла. Я не стану разсказывать подробно, какую жизнь велъ онъ въ своихъ деревняхъ, особенно въ Парашинѣ, а также въ уѣздныхъ городишкахъ: это была бы самая отвратительная повѣсть. Я скажу только то, что необходимо для полученія настоящаго понятія объ этомъ страшномъ человѣкѣ. Первые года, занимаясь устройствомъ женинныхъ имѣній, можно сказать, съ самозабвеніемъ, онъ могъ назваться самымъ умнымъ, дѣятельнымъ и попечительнымъ хозяиномъ. Всѣми безконечно разнообразными и тяжелыми заботами и хлопотами, соединенными съ дальнимъ переселеніемъ крестьянъ и водвореніемъ ихъ на мѣстахъ новаго жительства,— Михайла Максимовичъ неусыпно занимался самъ, постоянно имѣя въ виду одно: благосостояніе крестьянъ. Онъ умѣлъ не жалѣть денегъ, гдѣ было нужно, смотрѣлъ, чтобы онѣ доходили до рукъ во-время, въ мѣру, и предупреждалъ всякія надобности и нужды переселенцевъ. Самъ выпроваживалъ ихъ со *старины*, самъ ѣхалъ съ ними большую часть дороги и самъ встрѣчалъ ихъ на новосельи, снабженномъ всѣмъ для ихъ пріема и помѣщенія. Правда, онъ былъ слишкомъ строгъ, жестокъ въ наказаніи виноватыхъ, но справедливъ въ разборѣ винъ и не ставилъ крестьянину всякаго лыка въ строку; онъ позволялъ себѣ отъ времени до времени гульнуть, потѣшиться денекъ-другой, завернуть куда-нибудь въ сторонку, но хмѣль и буйство скоро слетали съ него, какъ съ гуся вода, и съ новой бодростью являлся онъ къ своему дѣлу.

Да, дѣло лежало у него на плечахъ, занимало всѣ его умственныя способности и не давало ему предаться пагубному пьянству, которое, отнимая у него умъ, снимало узду съ его страстей, чудовищныхъ, безчеловѣчныхъ. Да, дѣло спасало его. Когда же онъ привелъ въ порядокъ обѣ новыя деревни: Куралесово и Парашино, устроилъ въ нихъ господскія усадьбы съ флигелями, а въ Парашинѣ небольшой помѣщичій домъ, когда у него стало мало дѣла и много свободнаго времени,—пьянство, съ его обыкновенными послѣдствіями, и буйство совершенно овладѣли имъ, а всегдашняя жестокость мало-по-малу превратилась въ неутолимую жажду мукъ и крови человѣческой. Избалованный страхомъ и покорностью всѣхъ его окружающихъ людей, онъ скоро забылся и пересталъ знать мѣру своему бѣшеному своеволію. Онъ выбралъ себѣ изъ дворовыхъ и даже изъ крестьянъ десятка

полтора головорѣзовъ, достойныхъ исполнителей его воли, и образовалъ изъ нихъ шайку разбойниковъ. Видя, что барину все сходило съ рукъ, они повѣрили его могуществу, и сами, пьяные и развратные, охотно и смѣло исполняли всѣ его безумныя приказанія. Досаждалъ ли кто Михайлѣ Максимовичу непокорнымъ словомъ или поступкомъ, напримѣръ даже хотя тѣмъ, что не пріѣхалъ въ назначенное время на его пьяные пиры,—сейчасъ, по знаку своего барина, скакали они къ провинившемуся, хватали его тайно или явно, гдѣ бы онъ ни попался, привозили къ Михайлѣ Максимовичу, позорили, сажали въ подвалъ въ кандалы, или сѣкли по его приказанію. Михайла Максимовичъ очень любилъ хорошія вещи, хорошихъ лошадей, и любилъ, какъ украшеніе дома, хорошія, по его мнѣнію, картины. Если что-нибудь подобное нравилось ему въ домѣ своего сосѣда, или просто въ томъ домѣ, гдѣ ему случалось быть, то онъ сейчасъ предлагалъ хозяину помѣняться; въ случаѣ несогласія его, онъ предлагалъ иногда и деньги, если былъ въ хорошемъ духѣ; если и тутъ хозяинъ упрямился, то Михайла Максимовичъ предупреждалъ его, что возьметъ даромъ. Въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣсколько времени являлся онъ съ своей шайкой, забиралъ все, что ему угодно, и увозилъ къ себѣ; на него жаловались, предписывали произвесть слѣдствіе; но Михайла Максимовичъ съ перваго разу приказалъ сказать земскому суду, что онъ обдеретъ кошками того изъ чиновниковъ, который покажетъ ему глаза, и—оставался правъ, а челобитчикъ между тѣмъ былъ схваченъ и высѣченъ, иногда въ собственномъ его имѣніи, въ собственномъ домѣ, посреди семейства, которое валялось въ ногахъ и просило помилованія виноватому. Бывали насилія и похуже, и также не имѣли никакихъ послѣдствій. Черезъ нѣсколько времени Михайла Максимовичъ мирился съ обиженными, удовлетворяя ихъ иногда деньгами, а чаще привлекая къ миру страхомъ, но похищенное добро оставалось его законною собственностью. Пируя съ гостями, онъ любилъ хвастаться, что „вотъ эту красотку въ золотыхъ рамахъ“ отнялъ онъ у такого-то господина, а это бюро съ бронзой у такого-то,—и всѣ эти такіе-то господа нерѣдко пировали тутъ же и притворялись, что не слышатъ словъ хозяина или, скрѣпя сердце, сами смѣялись надъ собой. Михайла Максимовичъ имѣлъ удивительно крѣпкое сложеніе; онъ пилъ много, но никогда не

напивался *до положенія ризъ*, какъ говорится; хмѣль не валилъ его съ ногъ, а поднималъ на ноги и возбуждалъ страшную дѣятельность въ его отуманенномъ умѣ, въ его разгоряченномъ тѣлѣ. Любимымъ его наслажденіемъ было—заложить нѣсколько троекъ лихихъ лошадей во всевозможные экипажи, разумѣется, съ колокольчиками, насажать въ нихъ своихъ собесѣдниковъ и собесѣдницъ, дворню, кого ни попало, и съ громкими пѣснями и криками скакать во весь духъ по окольнымъ полямъ и деревнямъ. Имѣя съ собой всегда запасъ вина, онъ особенно любилъ напоить до-пьяна всякаго встрѣчнаго, какого бы званія, пола и возраста онъ ни былъ, и больно сѣкалъ того, кто осмѣливался ему противиться. Наказанныхъ привязывали къ деревьямъ, къ столбамъ и заборамъ, не обращая вниманія ни на дождь, ни на стужу. О болѣе возмутительныхъ насиліяхъ я умалчиваю. Въ такомъ расположеніи духа ѣхалъ онъ однажды черезъ какую-то деревню; проѣзжая мимо овиннаго тока, онъ замѣтилъ женщину необыкновенной красоты. „Стой!“ закричалъ Михайла Максимовичъ. „Петрушка! какова баба?“ „Больно хороша“, отвѣчалъ Петрушка. „Хочешь на ней жениться?“ — „Да какъ же жениться на чужой женѣ“, отвѣчалъ, ухмыляясь, Петрушка.—„А вотъ какъ! Ребята! бери ее, сажай ко мнѣ въ повозку....“ Женщину схватили, посадили въ повозку, привезли прямо въ приходское село, и хотя она объявила, что у ней есть мужъ и двое дѣтей—обвѣнчали съ Петрушкой, и никакихъ просьбъ не было, не только при жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ивановны. Когда же все имѣніе перешло въ руки ея племянника [1]), онъ возвратилъ эту женщину вмѣстѣ съ мужемъ и дѣтьми прежнему ея господину: первый мужъ давно уже умеръ. Наслѣдникъ, то-есть тотъ же племянникъ, роздалъ также нѣсколько разныхъ вещей прежнимъ хозяевамъ, которые предъявили свои требованія; многія же вещи долго валялись въ кладовыхъ, пока не истлѣли отъ ветхости. Трудно повѣрить, чтобъ могли совершаться такія дѣла въ Россіи, даже и за 80 лѣтъ; но въ истинѣ разсказа нельзя сомнѣваться.

Какъ ни была ужасна и отвратительна, сама по себѣ, эта преступная, пьянаго буйства исполненная жизнь, но она повела еще къ худшему, къ болѣе страшному развитію при-

[1]) Отца автора Сем. Хроники.

родной жестокости Михайлы Максимовича, превратившейся наконецъ въ лютость, въ кровопійство. Терзать людей сдѣлалось его потребностью, наслажденіемъ. Въ тѣ дни, когда случалось ему не драться, онъ былъ скученъ, печаленъ, безпокоенъ, даже боленъ, и потому часъ отъ часу становились рѣже его поѣздки въ Чурасово и короче пребыванія тамъ. За то, воротясь въ свое любимое Парашино, онъ спѣшилъ вознаградить себя. Обзоръ хозяйственныхъ заведеній представлялъ ему достаточное число жертвъ; тутъ уже всякая вина была виновата, а въ какомъ хозяйствѣ нельзя найти какихъ-нибудь мелочныхъ упущеній, если захочешь отыскать ихъ. Впрочемъ, отъ лютости Михайлы Максимовича страдали преимущественно дворовые люди. Онъ рѣдко наказывалъ крестьянъ, и то въ случаяхъ особенной важности или личной извѣстности ему виноватаго человѣка; за то старосты и прикащики терпѣли отъ него наравнѣ съ дворовыми. У него не было пощады никому, и каждый изъ его приближенныхъ, а иной и не одинъ разъ, бывалъ наказанъ насмерть. Замѣчательно, что когда Михайла Максимовичъ сердился, горячился и кричалъ, что бывало рѣдко,—онъ не дрался; когда же добирался до человѣка съ намѣреніемъ потѣшиться его муками, онъ говорилъ тихо и даже ласково: „Ну, любезный другъ, Григорій Кузмичъ (вмѣсто обыкновеннаго: Гришка), дѣлать нечего, пойдемъ, надобно мнѣ съ тобой разсчитаться“. Съ такими словами обращался онъ къ главному своему конюху, по прозванью Ковлягѣ, который, неизвѣстно почему, чаще другихъ подвергался истязаніямъ. „Поцарапайте его кошечками“, говорилъ съ улыбкой Михайла Максимовичъ окружающимъ, и начиналась долговременная пытка, въ продолженіи которой баринъ пилъ чай съ водкой, курилъ трубку и отъ времени до времени пошучивалъ съ несчастной жертвой, пока она еще могла слышать... Меня увѣряли достовѣрные свидѣтели, что жизнь наказанныхъ людей спасали только тѣмъ, что завертывали истерзанное ихъ тѣло въ теплыя, только что снятыя, шкуры барановъ, тутъ же зарѣзанныхъ. Осмотрѣвъ внимательно наказаннаго человѣка, Михайла Максимовичъ говорилъ, если былъ доволенъ: „ну, будетъ съ него, приберите къ мѣсту“... и дѣлался веселъ, шутливъ и любезенъ на цѣлый день, а иногда и на нѣсколько дней. Чтобы довершить характеристику этого страшнаго существа, я приведу его собствен-

ныя слова, которыя онъ не одинъ разъ говаривалъ въ кругу пирующихъ собесѣдниковъ: „Не люблю палокъ и кнутьевъ, что въ нихъ? Какъ разъ убьешь человѣка! То ли дѣло кошечки: и больно, и не опасно!“ Я разсказалъ десятую долю того, что знаю, но, кажется, и этого довольно. Замѣчательно, какъ необъяснимое явленіе и противорѣчіе въ искаженной человѣческой природѣ, что Михайла Максимовичъ, достигнувъ высшей степени разврата и лютости, ревностно занялся построеніемъ каменной церкви въ Парашинѣ; онъ производилъ эту работу экономически. Въ то время, на которомъ остановился мой разсказъ, церковь по наружности была отдѣлана, и наняты были мастеровые для внутренной отдѣлки; столяры, рѣщики, золотари и иконописцы уже нѣсколько мѣсяцевъ работали въ Парашинѣ, занимая весь господскій домъ.

Четырнадцать лѣтъ была за-мужемъ Прасковья Ивановна, и хотя замѣчала что-то странное въ своемъ супругѣ, котораго послѣдніе два года рѣдко и не надолго видала, но не только не знала, даже и не подозрѣвала ничего подобнаго. Она продолжала жить беззаботно и весело: лѣтомъ занималась съ увлеченіемъ своимъ плодовитымъ садомъ и родниками, которыхъ не позволяла обдѣлывать и очень любила сама расчищать, а все остальное время года проводила съ гостями и сдѣлалась большой охотницей играть въ карты. Вдругъ получаетъ она съ почты или съ нарочнымъ письмо отъ одной старушки, дальней родственницы ея мужа, которую она очень уважала. Въ письмѣ была описана вся жизнь Михайлы Максимовича и въ заключеніе сказано, что грѣшно оставлять въ невѣдѣніи госпожу тысячи душъ, которыя страдаютъ отъ тиранства изверга, ея мужа, и которыхъ она можетъ защитить, уничтоживъ довѣренность, данную ему на управленіе имѣніемъ. Что кровь ихъ вопіетъ на небо, что и теперь извѣстный ей лакей, Иванъ Онуфріевъ, умираетъ отъ жестокихъ истязаній и что самой Прасковьѣ Ивановнѣ нечего опасаться, потому-что Михайла Максимовичъ въ Чурасово не посмѣетъ и появиться, что добрые сосѣди и самъ губернаторъ защитятъ ее. Прасковья Ивановна была поражена какъ громомъ. Я слышалъ самъ, какъ она разсказывала, что въ первыя минуты совсѣмъ было сошла съ ума; но необычайная твердость духа и теплая вѣра подкрѣпили ее, и она скоро рѣшилась на такой поступокъ, на какой

едва ли бы отважился самый смѣлый мужчина: она велѣла заложить лошадей, сказавши, что ѣдетъ въ губернскій городъ, и съ одною горничной дѣвушкой, съ кучеромъ и лакеемъ отправилась прямо въ Парашино. Путь лежалъ дальній, надобно было проѣхать четыреста верстъ, и нашлось довольно свободнаго времени обдумать свой поступокъ. Прасковья Ивановна сама говорила, что не составляла въ головѣ своей никакихъ плановъ, какъ и что ей дѣлать. Она хотѣла только взглянуть своими глазами и удостовѣриться, что дѣлаетъ и какъ живетъ тамъ ея Михайла Максимовичъ. Она не вѣрила вполнѣ письму его родственницы, которая жила далеко и могла быть обманута ложными слухами, а спросить въ Чурасовѣ свою няню не захотѣла. Никакая опасность не входила ей въ голову: мужъ всегда съ нею былъ такъ нѣженъ и почтителенъ, что ей казалось самымъ естественнымъ и возможнымъ дѣломъ уговорить Михайлу Максимовича сѣсть съ ней въ коляску и увезть его въ Чурасово. Она пріѣхала въ Парашино нарочно вечеромъ, оставила свою коляску у околицы, а сама съ горничной и лакеемъ, никѣмъ неузнанная (да ее мало и знали), прошла до господскаго двора и черезъ заднія ворота пробралась до самаго флигеля, изъ котораго неслись крикъ, пѣсни и хохотъ, и твердою рукой отворила дверь... Судьба какъ нарочно собрала все, что могло однимъ разомъ показать ей, какую жизнь велъ Михайла Максимовичъ. Онъ пировалъ съ какими-то гостями пьяный, даже болѣе обыкновеннаго. Одѣтый въ шелковую красную рубаху съ косымъ воротомъ, . . .

. . . . съ стаканомъ пунша въ одной рукѣ, . . .

. . . . . .

. . . . . его полупьяные лакеи, дворовыя и крестьянскія бабы пѣли пѣсни и плясали. Прасковья Ивановна едва не упала въ обморокъ отъ такого зрѣлища; она все поняла, и никѣмъ незамѣченная, потому что горница была полна народа, затворила дверь и вышла изъ сѣней. На крыльцѣ встрѣтилась она лицомъ къ лицу съ однимъ изъ слугъ Михайлы Максимовича, человѣкомъ не молодымъ и не пьянымъ по счастію. Онъ узналъ барыню и закричалъ было „матушка Прасковья Ивановна, вы ли это?“... Но Прасковья Ивановна зажала ему ротъ и, отведя его подальше на средину широкаго двора, грозно сказала: „Такъ-то вы безъ меня поживаете? Конецъ вашему веселому житью“. Слуга повалился

ей въ ноги и со слезами сказалъ: „Матушка, развѣ мы ему рады? Развѣ это наша воля? Самъ Господь васъ принесъ!“... Прасковья Ивановна велѣла ему молчать и приказала вести себя къ Ивану Онуфріеву, узнавъ, что онъ еще живъ. На заднемъ дворѣ, въ скотной избѣ нашла она умирающаго Онуфріева. Онъ былъ очень слабъ, и отъ него она не могла ничего узнать; но родной его братъ, Алексѣй, молодой парень, только вчера наказанный, кое-какъ сползъ съ лавки, сталъ на колѣни и разсказалъ ей всю страшную повѣсть о братѣ, о себѣ и о другихъ [1]). Сердце Прасковьи Ивановны облилось кровью отъ жалости и ужаса, совѣсть терзала ее, и она твердо рѣшилась положить конецъ преступнымъ, злодѣйскимъ дѣйствіямъ Михайлы Максимовича, что казалось ей весьма легко. Она строго запретила сказывать о своемъ пріѣздѣ, и узнавъ, что въ новомъ домѣ, построенномъ уже нѣсколько лѣтъ и по какой-то странной причудѣ барина до сихъ поръ не отдѣланномъ, есть одна жилая, особая комната, не занятая мастеровыми, въ которой Михайла Максимовичъ занимался хозяйственными счетами,—отправилась туда, чтобъ провесть остатокъ ночи и поговорить на другой день поутру съ своимъ уже не пьянымъ супругомъ. Но тайна ея пріѣзда не вполнѣ сохранилась. Слухъ о немъ дошелъ до одного изъ самыхъ отчаянныхъ сподвижниковъ Михайлы Максимовича, который изъ преданности или изъ страха шепнулъ о томъ на ухо своему барину. Ошеломила эта вѣсть Михайлу Максимовича. Хмѣль вылетѣлъ у него изъ головы, онъ смутился и почуялъ грозу. Хотя онъ мало зналъ твердый и мужественный нравъ своей жены, потому что не было опытовъ еще ему проявиться, но онъ его угадывалъ. Онъ распустилъ свою пьяную бесѣду, вылилъ на себя два ушата холодной воды, освѣжился тѣломъ, укрѣпился духомъ, переодѣлся въ обыкновенное платье и пошелъ посмотрѣть, спитъ ли Прасковья Ивановна. Онъ успѣлъ уже обдумать и составить планъ своихъ дѣйствій. Онъ разсчиталъ очень вѣрно, что Прасковья Ивановна была кѣмъ-нибудь извѣщена объ образѣ его жизни, что она не повѣрила извѣстіямъ и пріѣхала удостовѣриться въ нихъ лично. Онъ узналъ, что она заглянула во флигель и видѣла мелькомъ его пирушку; но

[1]) Иванъ Онуфріевъ остался живъ и прожилъ лѣтъ до пятидесяти; братъ его захилѣлъ и умеръ черезъ годъ.

не зналъ, что она видѣла Онуфріева и что Алексѣй разсказалъ ей все. Въ пирушкѣ и гульбѣ онъ надѣялся кое-какъ извиниться, прикинуться раскаявшимся грѣшникомъ, умаслить нѣжностями свою жену и какъ можно скорѣе увезти ее изъ Парашина.

Между тѣмъ уже разсвѣтало и даже взошло солнце. Михайла Максимовичъ бережно подошелъ къ комнатѣ, въ которой находилась Прасковья Ивановна; онъ тихонько отворилъ дверь и увидѣлъ, что приготовленная ей дорожная постель на сундукѣ не была смята, что на нее никто не ложился. Онъ окинулъ глазами всю комнату; Прасковья Ивановна стояла на колѣняхъ и со слезами молилась Богу на новый церковный крестъ, который горѣлъ отъ восходящаго солнца, передъ самыми окнами дома: никакого образа въ комнатѣ не было. Постоявъ нѣсколько минутъ, Михайла Максимовичъ сказалъ веселымъ голосомъ: „Полно молиться, душа моя, Парашенька! Какъ это ты вздумала обрадовать меня своимъ пріѣздомъ!“ Прасковья Ивановна не смутилась, встала, не допустила мужа обнять себя, и, пылая внутренно справедливымъ гнѣвомъ, холодно и твердо объявила ему, что она все знаетъ и видѣла Ивана Онуфріева. Безпощадно и рѣзко высказала свое отвращеніе отъ изверга, который уже не можетъ быть ея мужемъ; объявила ему, чтобы онъ возвратилъ ей довѣренность на управленіе имѣніемъ, сейчасъ уѣхалъ изъ Парашина, не смѣлъ бы показываться ей на глаза и не заглядывалъ бы ни въ одну изъ ея деревень, и что если онъ этого не исполнитъ, то она подастъ просьбу губернатору, откроетъ правительству всѣ его злодѣйства— и онъ будетъ сосланъ въ Сибирь на каторгу. Не ожидалъ этого Михайла Максимовичъ. Пѣна выступила у него на губахъ отъ бѣшенства и злобы. „А, такъ ты такъ-то поговариваешь, лебедка! Такъ и я поговорю съ тобой другимъ голосомъ!“ заревѣлъ остервенившійся злодѣй: „ты не выѣдешь изъ Парашина, покуда не подпишешь мнѣ купчей крѣпости на все свое имѣніе, а не то я уморю тебя съ голоду въ подвалѣ“. Послѣ этихъ словъ, онъ схватилъ стоявшую въ углу палку, нѣсколькими ударами сбилъ съ ногъ свою Парашеньку и билъ до тѣхъ поръ, пока она не лишилась чувствъ. Онъ позвалъ нѣсколько благонадежныхъ людей изъ своей прислуги, приказалъ отнести барыню въ каменный подвалъ, заперъ огромнымъ замкомъ и ключъ по-

ложилъ къ себѣ въ карманъ. Грозенъ и страшенъ явился онъ передъ своей дворней, которую приказалъ собрать всю на лицо. Хотѣлъ было отыскать виноватаго, того, кто водилъ барыню въ скотную избу, но тотъ, предвидя бѣду, давно уже скрылся; съ нимъ бѣжали кучеръ и лакей, пріѣхавшіе съ Прасковьей Ивановной; за ними послали погоню. Горничная дѣвушка не рѣшилась покинуть своей госпожи. Михайла Максимовичъ ее не тронулъ, далъ ей нѣкоторыя наставленія, какъ уговаривать барыню въ покорности, и заперъ своими руками въ тотъ же подвалъ. Что же сдѣлалъ Михайла Максимовичъ потомъ? Запилъ и закутилъ болѣе прежняго. Но увы! напрасно онъ пилъ водку какъ воду, напрасно пѣла и плясала предъ нимъ пьяная ватага,—Михайла Максимовичъ сдѣлался угрюмъ и мраченъ. Это не мѣшало однакожъ ему дѣйствовать неутомимо къ достиженію своей цѣли. Онъ заготовилъ въ уѣздномъ городѣ на имя одного изъ своихъ достойныхъ друзей законную довѣренность отъ Прасковьи Ивановны на продажу Парашина и Куролесова (Чурасово изъ милости оставлялъ ей), и всякой день два раза спускался въ подвалъ къ своей женѣ и уговаривалъ подписать довѣренность; просилъ прощенья, что въ горячности такъ строго съ нею обошелся, обѣщался, въ случаѣ ея согласія, никогда не появляться ей на глаза, и божился, что оставитъ духовную, въ которой, послѣ своей смерти, откажетъ ей все имѣніе. Прасковья Ивановна, страдая отъ побоевъ, изнуряемая голодомъ и получившая даже лихорадку, не хотѣла и слышать ни о какой сдѣлкѣ. Такъ прошло пять дней. Чѣмъ все бы это кончилось — одному Богу извѣстно.

Между тѣмъ дѣдушка Степанъ Михайловичъ продолжалъ благополучно жить въ новомъ своемъ Багровѣ, которое отстояло отъ Парашина въ 120 верстахъ. Я уже сказалъ, что онъ давно искренно примирился съ Михайломъ Максимовичемъ, и хотя сердце его не лежало къ нему, но вообще онъ былъ имъ доволенъ. Куролесовъ съ своей стороны оказывалъ Степану Михайловичу и всему его семейству большое уваженіе, преданность и готовность на всякія услуги. Поселивъ Парашино и занимаясь его устройствомъ, онъ каждый годъ пріѣзжалъ въ Багрово, былъ постоянно ласковъ, искателенъ, просилъ у Степана Михайловича совѣтовъ, какъ у человѣка, опытнаго въ переселеніи крестъ-

янъ; съ большою благодарностью, точно и подробно записывалъ всѣ его слова, и въ самомъ дѣлѣ пользовался ими. Онъ упросилъ даже Степана Михайловича два раза пріѣхать въ Парашино, чтобы взглянуть: умѣлъ-ли онъ воспользоваться его совѣтами. Дѣдушка въ оба раза остался совершенно доволенъ новымъ хозяиномъ, и въ послѣднее свое посѣщеніе осмотрѣвъ пашню и всѣ хозяйственныя заведенія, сказалъ Куролесову: „ну, братъ Михайла, ты изъ молодыхъ да ранній, и тебя учить нечего.“ Въ самомъ дѣлѣ, всѣ хозяйственныя дѣла у Михайлы Максимовича были въ отличномъ порядкѣ. Само собою разумѣется, что онъ принималъ, угощалъ и чествовалъ старика, какъ родного отца. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, недобрые слухи о Куролесовѣ стали носиться въ Багровѣ. Сначала дѣдушкѣ совсѣмъ объ нихъ не говорили, потому что онъ не любилъ слушать дурныхъ вѣстей, но слухи росли годъ отъ году. Семейство Степана Михайловича знало ихъ, и Арина Васильевна рѣшилась сказать ему, что Михайла Максимовичъ „больно не хорошо живетъ“. Старикъ не повѣрилъ и отвѣчалъ, что „только развѣсь уши, такъ пожалуй и церковную татьбу взведутъ на человѣка. Знаю я, продолжалъ онъ, каковы были крестьяне и дворовые у Бактеевыхъ,—на подрядъ мошенники и лежебоки, да и братнины крестьяне также безъ хозяина избаловались. Что мудренаго, что настоящая работа и порядокъ показались имъ хуже медвѣдя? Можетъ статься, что Михайла и крутенько поворотилъ, ну да привыкнутъ. А что онъ погуляетъ, выпьетъ иногда послѣ трудовъ, такъ и то мужчинѣ не бѣда, лишь бы не забывалъ своего дѣла. Вотъ мерзкихъ дѣлъ не надо, да вѣдь пожалуй и солгутъ: а ты съ дочками любишь слушать бабьи сплетни!“ Послѣ такихъ словъ, долго ничего не говорили Степану Михайловичу. Наконецъ родовые багровскіе крестьяне, переведенные вмѣстѣ съ бактеевскими изъ Симбирской губерніи въ Парашино, имѣвшіе родственниковъ въ Новомъ Багровѣ, стали пріѣзжать туда и разсказывать про барина страшныя вѣсти. Арина Васильевна вторично доложила о томъ своему супругу и предложила ему, чтобы онъ самъ разспросилъ парашинскаго старика изъ багровскихъ, котораго честность и правдивость ему давно были извѣстны и который теперь находится у нихъ въ деревнѣ. Дѣдушка согласился. Призвалъ, разспросилъ старика и услышалъ та-

кую повѣсть, отъ которой встали у него дыбомъ волосы на головѣ. Какъ быть, что дѣлать, чѣмъ тутъ пособить—не умѣлъ онъ придумать: онъ получалъ изрѣдка письма отъ Прасковьи Ивановны, видѣлъ, что она была совершенно спокойна и счастлива, и заключилъ, что она о поведеніи своего супруга ничего не знала. Онъ самъ нѣкогда давалъ ей совѣты, чтобъ она никому не позволяла наушничать на своего мужа, и убѣдился, что она хорошо исполняетъ его совѣты. Онъ разсудилъ, что если она узнаетъ истину, то врядъ ли поправитъ дѣло, а будетъ только убиваться съ горя понапрасну. Итакъ надо желать, чтобъ она ничего не знала. Онъ терпѣть не могъ путаться въ чужія дѣла, да и считалъ это безполезнымъ въ отношеніи къ Михайлѣ Максимовичу. „Пусть сломитъ себѣ шею или попадетъ въ уголовную—туда ему и дорога. Этого человѣка одинъ только Богъ можетъ исправить. Крестьянамъ жить у него можно, а дворовые всѣ негодяи, пускай терпятъ за свои грѣхи. Не хочу мѣшаться въ эти поганыя дѣла.“ Такъ разсудилъ по своей логикѣ Степанъ Михайловичъ и удовольствовался только тѣмъ, что пересталъ отвѣчать на письма Куролесова и прекратилъ всякія съ нимъ сношенія; тотъ понялъ, что это значитъ, и оставилъ старика въ покоѣ; переписка же у Степана Михайловича съ Прасковьей Ивановной сдѣлалась какъ-то чаще и задушевнѣе.

Такъ оставались дѣла до того утра, когда вдругъ явились къ моему дѣдушкѣ передъ крыльцомъ трое бѣжавшихъ людей изъ Парашина. Въ первый день своего побѣга они скрывались въ непроходимомъ лѣсномъ болотѣ, которое упиралось въ парашинскія крестьянскія гумна; вечеромъ они кое-съ-кѣмъ повидались, узнали подробно всю исторію и пустились прямо къ Степану Михайловичу, какъ единственному защитнику и покровителю Прасковьи Ивановны. Можно себѣ представить, что такое было съ Степаномъ Михайловичемъ, когда онъ узналъ о случившемся въ Парашинѣ! Онъ любилъ свою единственную родную сестру не меньше, если не больше своихъ родныхъ дочерей. Параша, до полусмерти избитая разбойникомъ своимъ мужемъ, Параша, сидящая въ подвалѣ уже третій день, можетъ быть давно умершая, представлялась съ такой ясностью его живому воображенію, что онъ вскочилъ какъ безумный, побѣжалъ по своему двору, по деревнѣ, изступленнымъ голосомъ сзывая

дворовыхъ и крестьянъ. Всѣ сбѣжались, прискакали изъ полей, кого не было дома. Всѣ, сочувствуя отчаянному горю любимаго господина, кричали единогласно, что они всѣ ѣдутъ и пѣшкомъ идутъ выручать Прасковью Ивановну.... И вотъ черезъ нѣсколько часовъ, трое роспусковъ, запряженныхъ тройками лихихъ господскихъ коней, съ двѣнадцатью человѣками отборныхъ молодцовъ изъ дворовыхъ и крестьянъ и съ людьми, бѣжавшими изъ Парашина, вооруженными ружьями, саблями, рогатинами и желѣзными вилами, скакали по Парашинской дорогѣ. Къ вечеру выѣхали еще двое роспусковъ на лучшихъ крестьянскихъ лошадяхъ, съ десятью также вооруженными людьми, и поскакали по той же Парашинской дорогѣ на подмогу Степану Михайловичу. На другой день вечеромъ первый поѣздъ былъ уже въ семи верстахъ отъ Парашина; выкормили усталыхъ лошадей и, только начала заниматься лѣтняя заря, нагрянули на широкій господскій дворъ и подъѣхали прямо къ извѣстному подвалу, находившемуся возлѣ самаго флигеля, въ которомъ жилъ Куролесовъ. Степанъ Михайловичъ бросился въ подвалъ и началъ стучать кулакомъ въ деревянную дверь. Слабый голосъ спросилъ: „Кто тутъ?“ Дѣдушка узналъ голосъ сестры своей, прослезился отъ радости, что засталъ ее живою, и, крестясь, громко закричалъ: „Слава Богу! Это я, братъ твой, Степанъ Михайловичъ, ничего не бойся!“ Онъ послалъ кучера, лакея и стараго слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску, въ которой она пріѣхала изъ Чурасова, поставилъ шесть человѣкъ съ ружьями, саблями и рогатинами у входа въ выходъ, а самъ съ остальными, съ помощью топоровъ и желѣзнаго лома, принялся отбивать дверь. Въ одну минуту она была сломана: Степанъ Михайловичъ своими руками вынесъ Прасковью Ивановну, положилъ ее на роспуски, съ одной стороны посадилъ возлѣ нея вѣрную горничную, а съ другой сѣлъ самъ, и со всѣми людьми спокойно съѣхалъ со двора. Солнце начинало всходить, и опять ярко загорѣлся крестъ на церкви, когда Прасковья Ивановна проѣзжала мимо нея. Ровно за шесть сутокъ молилась она на этотъ крестъ.... помолилась и теперь, благодаря Бога за свое избавленіе. Коляска догнала ихъ уже въ пяти верстахъ отъ Парашина. Степанъ Михайловичъ пересадилъ сестру въ коляску и отправился съ нею въ Багрово.

Какъ же все это случилось? спросятъ меня. Неужели никто не видалъ этого происшествія? Куда дѣвался Михайла Максимовичъ и его вѣрные слуги? Неужели онъ ничего не зналъ, или его не было дома?.... Нѣтъ, многіе слышали и видѣли освобожденіе Прасковьи Ивановны; Михайла Максимовичъ былъ дома, даже зналъ, что происходитъ—и не осмѣлился показаться изъ своего флигеля.

Событіе совершилось очень просто: пропировавшіе съ барином весь вечеръ холопы были такъ мертвецки пьяны, что иныхъ нельзя было добудиться. Любимый и трезвый лакей, не пившій никогда вина, съ трудомъ разбудилъ хмѣльного барина; дрожа отъ страха, разсказалъ онъ про наѣздъ Степана Михайловича и про ружья, прямо нацѣленныя на флигель. „Гдѣ же всѣ наши?“ спросилъ Михайла Максимовичъ. „Одни спятъ; другіе попрятались“, отвѣчалъ холопъ и солгалъ, потому что пьяная ватага начинала собираться у господскаго крыльца. Михайла Максимовичъ подумалъ, махнулъ рукой и сказалъ: „Чортъ съ ней! Запри дверь и смотри въ окно, что будетъ дальше.“ Чрезъ нѣсколько минутъ лакей закричалъ: „Барыню увозятъ!.... увезли!....“ — „Ложись спать“, сказалъ Михайла Максимовичъ, завернулся въ одѣяло и заснулъ, или притворился заснувшимъ.

Да, есть нравственная сила праваго дѣла, передъ которой уступаетъ мужество неправаго человѣка. Михайла Максимовичъ зналъ твердость духа и безстрашную отвагу Степана Михайловича, зналъ неправость своего дѣла и не смотря на свое бѣшенство и буйную смѣлость — уступилъ свою жертву безъ спора.

Бережно повезъ Степанъ Михайловичъ свою, всегда горячо любимую, больную сестру, возбуждавшую теперь еще большую его нѣжность и глубокое состраданіе. Онъ не разспрашивалъ ее дорогой ни о чемъ, и когда привезъ благополучно въ Багрово, то запретилъ домашнимъ безпокоить ее разспросами. Благодаря необыкновенно крѣпкому тѣлосложенію и столько же сильному духу, Прасковья Ивановна, недѣли черезъ двѣ, оправилась; тогда Степанъ Михайловичъ рѣшился разспросить ее обо всемъ: ему необходимо было знать настоящую истину событія для того, чтобы знать, какъ дѣйствовать, а росказнямъ людей, своими глазами ничего не видавшихъ, онъ никогда не вѣрилъ. Прасковья Ивановна съ полною откровенностью сказала ему настоящую

правду; но въ то же время просила, чтобъ онъ не говорилъ о томъ своему семейству и чтобъ никто ее ни о чемъ не разспрашивалъ. Боясь горячаго нрава своего брата, отдавая себя въ полное его распоряженіе, она умоляла однако не мстить Михайлѣ Максимовичу, и съ твердостью объявила, что она одумалась и рѣшилась не позорить своего мужа, не безчестить имени, которое сама должна носить во всю свою жизнь. Она прибавила, что теперь раскаялась въ тѣхъ словахъ, которыя вырвались у нея при первомъ свиданіи съ Михайломъ Максимовичемъ въ Парашинѣ, и что ни подъ какимъ видомъ она не хочетъ жаловаться на него губернатору; но считая за долгъ избавить отъ его жестокости крѣпостныхъ людей своихъ, она хочетъ уничтожить довѣренность на управленіе ея имѣніемъ и проситъ Степана Михайловича взять это управленіе на себя; проситъ также сейчасъ написать письмо къ Михайлу Максимовичу, чтобъ онъ возвратилъ довѣренность, а если же онъ этого не сдѣлаетъ, то она уничтожитъ ее судебнымъ порядкомъ. Она желала, чтобъ все это написано было Степаномъ Михайловичемъ твердо, но безъ всякихъ обидныхъ словъ; для большаго же удостовѣренія хотѣла собственноручно подписать свое имя; надобно прибавить, что она плохо знала русскую грамоту. Степанъ Михайловичъ такъ любилъ сестру, что преодолѣлъ свой гнѣвъ и согласился на ея просьбу и желаніе. Онъ не хотѣлъ слышать только объ одномъ: объ управленіи ея имѣніемъ. „Не люблю путаться въ чужія дѣла, говорилъ онъ, не хочу, чтобы твои родные сказали, что я нагрѣваю руки около твоихъ тысячи душъ. Хозяйство пойдетъ скверно у тебя, это правда, но ты богата, съ тебя будетъ; теперь же такъ и быть напишу, что беру на себя все управленіе имѣніемъ, чтобы пугнуть твоего сахара медовича.... Прочее, о чемъ просишь, все будетъ сдѣлано.“ Вслѣдствіе того семейству былъ отданъ строгій приказъ ни о чемъ не разспрашивать Парашу. Письмо къ Михайлѣ Максимовичу написалъ дѣдушка собственной своей рукой; Прасковья Ивановна также приписала въ немъ, и гонецъ отправился въ Парашино. Въ то время, какъ они соображали, думали, гадали и писали—въ Парашинѣ уже все было рѣшено. На четвертый день воротился гонецъ съ извѣстіемъ, что, волею Божіею, Михайла Максимовичъ скоропостижно скончался и что его уже похоронили.... Невольно перекрестился Степанъ

Михайловичъ, получивъ первый это извѣстіе, и сказалъ: „Слава Богу“. То же сказала и вся его семья, которая, не смотря на свое прежнее благорасположеніе къ Куролесову, давно уже смотрѣла на него со страхомъ, какъ на ужаснаго злодѣя. Но не то было съ Прасковьей Ивановной. Судя по себѣ, всѣ думали, что она порадуется этому извѣстію, и поспѣшили сообщить его. Къ общему удивленію, она была поражена имъ до такой степени, что пришла въ совершенное отчаяніе, и снова захворала. Когда же крѣпкая натура преодолѣла болѣзнь, тоска овладѣла ею; нѣсколько недѣль не осушала она глазъ съ утра до вечера, и такъ исхудала, что напугала Степана Михайловича. Непонятно было для всѣхъ, изъ какого источника происходило такое глубокое сокрушеніе о смерти мужа, *изверга рода человѣческаго*, какъ всѣ его называли, котораго она не могла уже любить и который такъ злодѣйски поступилъ съ нею. Но вотъ объясненіе.

Нѣсколько десятковъ лѣтъ послѣ этого происшествія, моя мать, которую очень любила Прасковья Ивановна, спросила ее въ минуту сердечнаго изліянія и самыхъ откровенныхъ разговоровъ о прошедшемъ (которыхъ Прасковья Ивановна не любила): „Скажите пожалуйста, тетушка, какъ могли вы такъ убиваться по Михайлѣ Максимовичѣ? Я на вашемъ мѣстѣ сказала бы: царство ему небесное — и порадовалась бы.“ — „Ты дура, отвѣчала Прасковья Ивановна, я любила его четырнадцать лѣтъ, и не могла разлюбить въ одинъ мѣсяцъ, хотя узнала, какого страшнаго человѣка я любила, а главное, я сокрушалась объ его душѣ: онъ такъ умеръ, что не успѣлъ покаяться.“

Къ шести недѣлямъ разсудокъ нѣсколько овладѣлъ страждущею душою Прасковьи Ивановны, и она поѣхала, или, лучше сказать, согласилась поѣхать въ Парашино вмѣстѣ съ братомъ и со всѣмъ его семействомъ, чтобы отслужить панихиду и отправить сорочины на могилѣ Михайлы Максимовича. Къ общему удивленію, Прасковья Ивановна, во время пребыванія своего въ Парашинѣ и во время печальной церемоніи, не выронила ни одной слезинки, но можно себѣ представить, чего стоило такое усиліе ея растерзанной душѣ и еще больному тѣлу! По ея желанію пробыли въ Парашинѣ только нѣсколько часовъ, и она не входила во флигель, въ которомъ жилъ и умеръ ея мужъ.

Не трудно догадаться, отъ чего произошла скоропостижная кончина Куролесова. Когда Степанъ Михайловичъ выручилъ свою сестру изъ подвала, то всѣ въ Парашинѣ ободрились и ожидали, что пришелъ конецъ владычеству Михайлы Максимовича. Всѣ думали, что Багровскій баринъ, бывшій вмѣсто отца ихъ барынѣ, скрутитъ ея мужа и выгонитъ изъ имѣнія, ему не принадлежащаго. Никому и въ голову не входило, чтобъ молодая ихъ госпожа, такъ обиженная, избитая до полусмерти, сидѣвшая на хлѣбѣ и на водѣ въ погребу, въ собственномъ своемъ имѣніи,—не стала преслѣдовать судебнымъ порядкомъ своего мучителя. Всякой день ждали, что нагрянетъ Степанъ Михайловичъ съ капитанъ-исправникомъ и земскимъ судомъ, но прошла недѣля, другая, третья—никто не пріѣзжалъ... Михайла Максимовичъ пилъ, гулялъ и буйствовалъ; передралъ до полусмерти всю свою дворню, не исключая и того трезваго лакея, который будилъ его во время извѣстнаго событія — за то, что они его выдали, и хвалился, что получилъ отъ Прасковьи Ивановны крѣпость на все ея имѣніе. Мѣра терпѣнія человѣческаго преисполнилась; впереди не было никакой надежды, и двое изъ негодяевъ, изъ числа самыхъ приближенныхъ и—что всего замѣчательнѣе—менѣе другихъ терпѣвшіе отъ его жестокости, рѣшились на ужасное дѣло: они отравили его мышьякомъ, положа мышьякъ въ графинъ съ квасомъ, который выпивалъ обыкновенно Михайла Максимовичъ въ продолженіи ночи. Ядъ былъ положенъ въ такомъ количествѣ, что Куролесовъ жилъ не болѣе двухъ часовъ. Преступники не имѣли сообщниковъ, и потому такое страшное событіе поразило всѣхъ неописаннымъ ужасомъ. Всѣ подозрѣвали другъ друга, но долго не знали настоящихъ виновниковъ. Чрезъ полгода одинъ изъ нихъ сдѣлался отчаянно боленъ и предъ смертью признался въ своемъ преступленіи. Товарищъ его, котораго однако умирающій не назвалъ, бѣжалъ и пропалъ безъ вѣсти [1]).

Безъ сомнѣнія, скоропостижная смерть Куролесова повела бы за собой уголовное слѣдствіе, еслибъ въ Парашинѣ не было въ конторѣ очень молодого писца, котораго звали также Михайломъ Максимычемъ и который только недавно

[1]) Все это мѣсто о смерти Куролесова отъ словъ: „мѣра терпѣнія“ было опущено въ предшествовавшихъ изданіяхъ Семейной Хроники вслѣдствіе цензурныхъ соображеній. *И. А.*

былъ привезенъ изъ Чурасова. Этотъ молодой человѣкъ, необыкновенно умный и ловкій, уладилъ все дѣло. Впослѣдствіи онъ былъ повѣреннымъ, главнымъ управителемъ всѣхъ имѣній и пользовался полною довѣренностью Прасковьи Ивановны. Подъ именемъ Михайлушки, онъ былъ извѣстенъ всѣмъ и каждому въ Симбирской и Оренбургской губерніи. Этотъ замѣчательно-умный человѣкъ нажилъ себѣ большія деньги, долго держался скромнаго образа жизни, но отпущенный на волю послѣ кончины Прасковьи Ивановны, потерявъ любимую жену, спился и умеръ въ бѣдности. Кто-то изъ его дѣтей, какъ мнѣ помнится, вышелъ въ чиновники и наконецъ въ дворяне.

Не могу умолчать, что лѣтъ черезъ сорокъ, сдѣлавшись владѣльцемъ Парашина, внукъ Степана Михайловича нашелъ въ крестьянахъ свѣжую, благодарную память объ управленіи Михайлы Максимовича, потому что чувствовали постоянную пользу многихъ его учрежденій; забыли его жестокость, отъ которой страдали преимущественно дворовые, но помнили умѣнье отличать праваго отъ виноватаго, работящаго отъ лѣниваго, совершенное знаніе крестьянскихъ нуждъ и всегда готовую помощь. Старики разсказывали, улыбаясь, что у Куролесова была поговорка: „плутуй, воруй, да концы хорони, а попался, такъ не пеняй“.

Воротясь въ Багрово, Прасковья Ивановна, пригрѣтая самой нѣжной искренней любовью своего брата и заботливымъ ухаживаньемъ всей его семьи (которую однако она не очень любила), ожидавшей отъ нея великихъ и богатыхъ милостей, мало-по-малу отдыхала отъ удара, жестоко ее поразившаго. Крѣпкое ея здоровье возстановилось, душа успокоилась, и по прошествіи года она рѣшилась переѣхать въ свое Чурасово. Грустно было Степану Михайловичу разставаться съ сестрицей; по душѣ она пришлась ему всѣми своими свойствами, и привыкъ онъ къ ней чрезвычайно; во всю свою жизнь онъ ни разу не прогнѣвался на Прасковью Ивановну; но онъ не удерживалъ ее, а напротивъ самъ уговаривалъ къ скорѣйшему отъѣзду. „Ну что, сестрица, за-житье тебѣ съ нами? говорилъ Степанъ Михайловичъ. У насъ жизнь скучная, но мы уже къ ней привыкли. Ты человѣкъ еще молодой (ей былъ тридцатый годъ), ты богата, ты привыкла не къ такой жизни. Ступай въ свое Чурасово. Тамъ у тебя домъ барскій, диковинный садъ съ родниками, много бога-

тыхъ сосѣдей, всѣ тебя любятъ, всѣ живутъ весело; а можетъ быть Богъ пошлетъ тебѣ счастливую судьбу; охотниковъ будетъ много.“ Прасковья Ивановна со дня на день откладывала свой отъѣздъ—такъ было тяжело ей разстаться съ братомъ, ея спасителемъ и благодѣтелемъ съ малыхъ лѣтъ. Наконецъ день былъ назначенъ. Наканунѣ, рано поутру, пришла она къ Степану Михайловичу, который, задумавшись, печально сидѣлъ на своемъ крылечкѣ; она обняла его, поцѣловала, заплакала и сказала: „братецъ, я чувствую всю вашу ко мнѣ любовь и сама люблю и почитаю васъ, какъ родного отца. Конечно, Богъ видитъ мою благодарность; но я хочу, чтобъ и люди ее видѣли. Позвольте мнѣ укрѣпить вамъ все мое материнское имѣніе: отцовское и безъ того достанется Алешѣ. Мои родные, съ матушкиной стороны, богаты, и вы знаете, что мнѣ не за что награждать ихъ своимъ имѣніемъ. Замужъ я никогда не пойду. Я хочу, чтобъ родъ Багровыхъ былъ богатъ. Согласитесь, братецъ, успокойте, утѣшьте меня.“ И при этихъ словахъ она бросилась ему въ ноги и осыпала поцѣлуями его руки, которыми онъ старался поднять ее. „Слушай, сестра, сказалъ Степанъ Михайловичъ нѣсколько строгимъ голосомъ. Ты меня плохо знаешь! Чтобъ я покорыстовался чужимъ добромъ и взялъ имѣнье мимо законныхъ наслѣдниковъ.... нѣтъ, этому не бывать и никто про Степана Багрова этого не скажетъ. Смотри же, чтобъ и помину не было объ Бактеевскомъ имѣньи; а не то мы съ тобою поссоримся въ первый разъ въ жизни.“

На другой день Прасковья Ивановна уѣхала въ Чурасово и зажила своей особенною, самобытною жизнью.

Третій отрывокъ изъ Семейной Хроники.

Женитьба молодого БАГРОВА.

Много пронеслось годовъ, много совершилось событій: былъ голодъ, повальныя болѣзни, была Пугачевщина. Шайки Емели распугали помѣщиковъ Оренбургскаго края, и Степанъ Михайловичъ со своимъ семействомъ также бѣжалъ, сначала въ Самару, а потомъ, внизъ по матушкѣ по Волгѣ, въ Саратовъ и даже Астрахань. Но все прошло, все успокоилось, все забылось. Одни подросли, другіе возмужали, третьи постарѣли: разумѣется въ числѣ третьихъ былъ Степанъ Михайловичъ. Видѣлъ это онъ и самъ, да какъ-то не вѣрилъ. Нерѣдко говорилъ онъ: „много уплыло по вешней водѣ“, и говорилъ онъ это безъ огорченія, какъ будто рѣчь шла о другомъ человѣкѣ, а не о немъ.... въ самомъ дѣлѣ не тотъ уже былъ мой дѣдушка. Куда дѣвались его богатырскія силы, и проворство, и неутомимость? Дѣдушка дивился тому иногда, но продолжалъ жить по прежнему, по старинному: онъ такъ же, столько же ѣлъ и пилъ, сколько и чего хотѣла душа; такъ же одѣвался, не справляясь съ погодою, отъ чего начиналъ иногда прихварывать. Тускнѣли понемногу его ясные и зоркіе взгляды, слабѣлъ громкій голосъ; рѣже онъ

гнѣвался, рѣже бывалъ веселъ и свѣтелъ. Старшихъ дочерей своихъ онъ пристроилъ: первая, Веригина, уже давно умерла, оставивъ трехлѣтнюю дочь; вторая, Коптяжева, овдовѣла и опять вышла замужъ за Нагаткина; умная и гордая Елисавета какими-то судьбами попала за генерала Ерлыкина, который, между прочимъ, былъ старъ, бѣденъ и пилъ запоемъ; Александра нашла себѣ столбового русскаго дворянина, молодого и съ состояніемъ, И. П. Коротаева, страстнаго любителя Башкирцевъ и кочевой ихъ жизни,— Башкирца душой и тѣломъ; меньшая, Танюша, оставалась при родителяхъ; сынокъ былъ уже двадцати-семи лѣтъ, красавчикъ, кровь съ молокомъ: „кофту да юбку, такъ больше бы походилъ на барышню, чѣмъ всѣ сестры“, такъ говорилъ про него самъ отецъ. Не смотря на горькія слезы и постоянное сокрушеніе Арины Васильевны, Степанъ Михайловичъ, какъ только сыну минуло шестнадцать лѣтъ, опредѣлилъ его въ военную службу, въ которой онъ служилъ года три и по протекціи Михайлы Максимовича Куролесова находился почти годъ безсмѣннымъ ординарцемъ при Суворовѣ; но Суворовъ уѣхалъ изъ Оренбургскаго края, и какой-то нѣмецъ генералъ (кажется Трейблутъ) безъ всякой вины жестоко отколотилъ палками молодого человѣка, не смотря на его древнее дворянство. Бабушка чуть не умерла съ печали, да и дѣдушкѣ не понравилась эта штука: онъ взялъ Алешу въ отставку и опредѣлилъ въ Верхній Земскій Судъ, гдѣ онъ усердно и долго служилъ и былъ впослѣдствіи прокуроромъ.

Не могу пройти молчаніемъ замѣченную мною странность: большая часть этихъ господъ нѣмцевъ и вообще иностранцевъ, служившихъ тогда въ русской службѣ, постоянно отличались жестокостью и большою охотою до палокъ. Нѣмецъ-лютеранинъ, отколотившій безпощадно молодого Багрова, былъ въ то же время строгимъ соблюдателемъ церковныхъ русскихъ обрядовъ. Вотъ какъ случилось это историческое событіе въ Багровской семейной хроникѣ. Подъ какой-то неважный праздникъ приказалъ нѣмецъ-генералъ служить всенощную въ полковой церкви, что совершалось всегда въ его присутствіи и при собраніи всѣхъ офицеровъ. Время было лѣтнее, окошки отворены; вдругъ залилась въ воздухѣ русская пѣсня по Дворянской улицѣ города Уфы; генералъ бросился къ окошку; по улицѣ шли

трое молодыхъ унтеръ-офицеровъ, одинъ изъ нихъ пѣлъ пѣсню; генералъ приказалъ ихъ схватить и каждому дать по триста палокъ. Бѣдный мой отецъ, который не пѣлъ, а только вмѣстѣ шелъ съ другими унтерами, объявилъ, что онъ дворянинъ, но генералъ, злобно улыбаясь, сказалъ ему: „Дворянинъ долженъ быть съ большимъ благоговѣніемъ къ служба Господня“ — и въ своемъ присутствіи, въ сосѣдней комнатѣ съ церковью, при торжественномъ пѣніи божественныхъ славословій, звѣрски приказалъ отсчитать триста ударовъ невинному юношѣ, запрещая даже ему кричать, чтобъ: „не возмущать Господня служба“. Замертво отвезли наказаннаго въ лазаретъ. Тамъ должны были разрѣзать на немъ мундиръ, — такъ распухло его нѣжное молодое тѣло; два мѣсяца гнила у него спина и плечи. Каково было все это узнать матери, любившей единственнаго сынка до безумія! Дѣдушка жаловался кому-то, и еще до выхода изъ лазарета сынъ его, немедленно подавшій просьбу объ отставкѣ, былъ уволенъ изъ военной службы для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ чиномъ 14-го класса. Въ настоящее время было забыто это происшествіе; ему прошло уже восемь лѣтъ.

Алексѣй Степановичъ [1]) преспокойно служилъ и жилъ въ Уфѣ, отстоявшей въ 240 верстахъ отъ Багрова, и пріѣзжалъ каждый годъ два раза на побывку къ своимъ родителямъ. Ничего особеннаго съ нимъ не происходило. Тихій, скромный, застѣнчивый, ко всѣмъ ласковый, цвѣлъ онъ какъ маковъ цвѣтъ, и вдругъ... помутился ясный ручеекъ жизни молодого деревенскаго дворянина.

Въ городѣ Уфѣ, гдѣ постоянно находилась воеводская канцелярія, постоянно жилъ Товарищъ Намѣстника, коллежскій совѣтникъ, Николай Ѳедоровичъ Зубинъ [2]), человѣкъ умный и честный, но слишкомъ нѣжный и слабый. Онъ овдовѣлъ и у него осталось трое дѣтей: дочь Соничка [3]), двѣнадцати лѣтъ, и два малолѣтныхъ сына. Отецъ любилъ свою Соничку страстно, да и какъ было не любить такую красавицу и умницу, которая, не смотря на свой дѣтскій возрастъ, скоро сдѣлалась ему подругой и помощницей по домашнему хозяйству. Года черезъ полтора послѣ

[1]) Т. е. Тимоѳей Степановичъ, отецъ автора Сем. Хроники.
[2]) Т. е. Зубовъ.
[3]) Т. е. Марья, мать автора Сем. Хроники.

смерти первой своей жены, горячо имъ любимой, выплакавъ сердечное горе, Николай Ѳедоровичъ успокоился и влюбился въ дочь извѣстнаго описателя Оренбургскаго края, тамошняго помѣщика П. А. Рычкова, и вскорѣ женился. Молодая жена, Александра Петровна, умная, гордая и красивая, овладѣла совершенно нѣжнымъ сердцемъ вдовца и возненавидѣла его любимицу, свою молоденькую, но уже прекрасную, падчерицу. Дѣло весьма обыкновенное. Страшное слово мачиха, давно сдѣлавшееся прилагательнымъ именемъ для выраженія жестокости, шло какъ нельзя лучше къ Александрѣ Петровнѣ; но Соничку нельзя было легко вырвать изъ сердца отца: дѣвочка была неуступчиваго нрава, съ ней надо было бороться, и оттого злоба мачихи достигла крайнихъ предѣловъ; она поклялась, что дерзкая тринадцати-лѣтняя дѣвчонка, кумиръ отца и цѣлаго города, будетъ жить въ дѣвичьей, ходить въ выбойчатомъ платьѣ и выносить нечистоту изъ-подъ ея дѣтей... Она буквально сдержала свою клятву: черезъ два или три года Соничка жила въ дѣвичьей, одѣвалась какъ черная служанка, мыла и чистила дѣтскую, гдѣ поселились уже двѣ новыя сестрицы. Что же страстно любившій отецъ?.. Онъ не видѣлъ дочери по цѣлымъ мѣсяцамъ, и когда встрѣчалъ, одѣтую чуть не въ рубище,—отворачивался, вздыхалъ, плакалъ потихоньку и спѣшилъ удалиться. Таковы бываютъ по большей части немолодые вдовцы, влюбленные въ молодыхъ своихъ женъ. Я не знаю въ точности всѣхъ путей и средствъ, которыми достигла Александра Петровна своего торжества, и потому не стану говорить о нихъ; не стану также распространяться о томъ, какимъ жестокостямъ и мученіямъ подвергалась несчастная сирота, одаренная отъ природы чувствительною, сильною и непокорною душою; тутъ не были забыты самыя унизительныя наказанія, даже побои за небывалыя вины. Скажу только, что падчерица была близка къ самоубійству: она спаслась отъ него чудомъ. Вотъ какъ это случилось: рѣшившись прекратить невыносимую жизнь, бѣдная дѣвушка захотѣла въ послѣдній разъ помолиться въ своей коморкѣ на чердакѣ, передъ образомъ Смоленской Божіей Матери, которымъ благословила ее умирающая мать. Она упала передъ иконой и, проливая ручьи горькихъ слезъ, приникла лицомъ къ грязному полу. Страданія лишили ее чувствъ на нѣсколько минутъ и она какъ-будто забылась; очнувшись, она встала

и видитъ, что передъ образомъ теплится свѣча, которая была потушена ею наканунѣ; страдалица вскрикнула отъ изумленія и невольнаго страха, но скоро, признавъ въ этомъ явленіи чудо всемогущества Божьяго,—она ободрилась, почувствовала, неизвѣстныя ей до тѣхъ поръ, спокойствіе и силу, и твердо рѣшилась страдать, терпѣть и жить. Съ этого дня безпомощная сирота облеклась непроницаемою бронею терпѣнія къ вящему раздраженію своей мачихи. Она все исполняла, что ей приказывали; все переносила спокойно; никакія унизительныя наказанія не вырывали слезъ, не доводили ее до дурноты, до обморока, какъ это прежде бывало, и къ обыкновенному названію: „мерзкая дѣвчонка“ присоединился эпитетъ: „отчаянная и мерзкая дѣвчонка“. Но исполнилась мѣра долготерпѣнія Божьяго, и грянулъ громъ: великолѣпная Александра Петровна, въ цвѣтѣ лѣтъ, здоровья и красоты, родила еще сына и умерла въ десятый день послѣ родовъ. Она знала за сутки, что должна умереть и поспѣшила примириться со своею совѣстью: вдругъ ночью разбудили Соничку и позвали къ мачихѣ; Александра Петровна при свидѣтеляхъ покаялась въ своихъ винахъ передъ падчерицей, просила у нея прощенья и заклинала именемъ Божіимъ не оставить ея дѣтей; падчерица простила, обѣщалась не оставить ихъ, и сдержала обѣщаніе. Александра Петровна призналась такъ же своему мужу, что всѣ обвиненія, взводимыя на его дочь,—была выдумка и клевета.

Боже мой, какъ смерть перевернула все вверхъ дномъ! Николая Ѳедорыча разбилъ нервическій параличъ, послѣ котораго онъ жилъ еще нѣсколько лѣтъ, но уже не вставалъ съ постели. Загнанная, оборванная барышня, — которую подлое лакейство, особенно приданые мачихи, обижали сколько душѣ угодно, втоптали въ грязь,—вдругъ сдѣлалась полновластною госпожею въ домѣ, потому что больной отецъ отдалъ ей въ распоряженіе все. Объясненіе и примиреніе виновнаго отца съ обиженной дочерью — были умилительны и даже возмутительны для дочери и окружающихъ. Раскаяніе долго терзало больного старика, долго лились у него слезы и день и ночь, и долго повторялъ онъ только одни слова: „Нѣтъ, Соничка, ты не можешь меня простить!“ Не осталось ни одного знакомаго въ городѣ, передъ которымъ онъ не исповѣдовалъ бы торжественно винъ своихъ передъ дочерью, и „Софья Николаевна“ сдѣлалась предметомъ всеобщаго ува-

взгляда Софья Николаевна, которую онъ увидѣлъ у обѣдни, обворожила, какъ говорили тогда, его мягкое сердце. Узнавъ, что красавица принимаетъ всѣхъ чиновниковъ, пріѣзжающихъ къ ея отцу, Алексѣй Степановичъ (станемъ звать его полнымъ именемъ), какъ чиновникъ, служившій въ Верхнемъ Земскомъ Судѣ, сталъ постоянно являться съ поздравленіями по праздничнымъ и табельнымъ днямъ, въ пріемной Товарища Намѣстника; всегда видѣлъ Софью Николаевну и таялъ часъ отъ часу болѣе. Эти посѣщенія, слишкомъ точныя, слишкомъ продолжительныя, хотя почти безмолвныя, были скоро замѣчены всѣми, и вѣроятно,—первая замѣтила ихъ молодая хозяйка. Очарованные глаза, пылающія щеки, смущеніе, доходившее до самозабвенія, всегда были краснорѣчивыми объяснителями любви. Надъ искренней любовью обыкновенно всѣ смѣются, такъ положено испоконъ вѣка,—и весь городъ смѣялся надъ смиреннымъ, застѣнчивымъ и стыдливымъ, какъ деревенская дѣвушка, Алексѣемъ Степанычемъ, который въ отвѣтъ на всѣ шутки и намеки конфузился и краснѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ. Софья Николаевна, строгая и даже суровая ко всѣмъ свѣтскимъ любезникамъ, вопреки ожиданію всѣхъ, была снисходительна къ своему безмолвному обожателю. Я не знаю, жалко-ли ей стало молодого безотвѣтнаго человѣка, терпѣвшаго за любовь къ ней насмѣшки; поняла-ли она, что это не минутное увлеченіе, не шутка для него, а вопросъ цѣлой жизни—не знаю, но суровая красавица не только благосклонно кланялась и смотрѣла на Алексѣя Степаныча, но даже заговаривала съ нимъ; робкіе, несвязные отвѣты, прерывающійся отъ внутренняго волненія голосъ, не казались ей ни смѣшными, ни противными. Впрочемъ, надо сказать, что Софья Николаевна высоко себя держала передъ бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова.

Такъ тянулось дѣло довольно долго. Вдругъ дерзкая мысль озарила горящую голову Алексѣя Степаныча, мысль—жениться на Софьѣ Николаевнѣ! Онъ сахъ сначала перепугался такого смѣлаго и несбыточнаго желанія. Куда ему до Софьи Николаевны, перваго лица въ городѣ, первой умницы и красавицы въ цѣломъ свѣтѣ по его мнѣнію... и онъ совершенно отбросилъ такое намѣреніе. Но мало-по-малу, постоянная благосклонность и вниманіе, привѣтливые, какъ-будто ободряющіе

взгляды Софьи Николаевны (такъ ему казалось), а всего болѣе любовь, овладѣвшая всѣмъ существомъ его, снова вызвали отброшенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась съ его жизнью. Одна старая помѣщица, жившая по дѣлу въ Уфѣ, Алакаева, которая ѣзжала въ домъ къ Зубинымъ, дальняя родственница Алексѣя Степаныча, принимала въ немъ всегда особенное участіе; онъ сталъ чаще навѣщать ее, ласкаться къ ней, какъ умѣлъ, и наконецъ открылся въ своей любви къ извѣстной особѣ и въ своемъ намѣреніи искать ея руки. Любовь, какъ городская молва, была давно извѣстна Алакаевой; но намѣреніе жениться ее удивило. „Не пойдетъ, сказала старуха, качая головой, она преумная, прегордая, превоспитанная. Мало-ли въ нее влюблялись, но никто посвататься не осмѣлился. Ты, конечно, красавчикъ, старинnаго дворянскаго рода, имѣешь небольшое состояніе, а со временемъ будешь и богатъ: это всѣ знаютъ; но ты человѣкъ не ошлифованный, деревенскій, ничему не ученый, и больно ужъ смиренъ въ публикѣ“... Обо всемъ этомъ догадывался и самъ Алексѣй Степанычъ, но любовь совершенно помутила ему голову, и денно и ночно кто-то шепталъ ему въ уши, что Софья Николавна за него пойдетъ. Хотя надежды молодого человѣка казались Алакаевой неосновательны, но она согласилась на его просьбу съѣздить къ Софьѣ Николавнѣ и, не дѣлая никакихъ намековъ о его намѣреніи, завести рѣчь о немъ какъ-нибудь стороною, и замѣтить все, что она скажетъ. Алакаева поѣхала немедленно; Алексѣй Степанычъ остался у ней въ домѣ, ожидая ея возвращенія; старуха проѣздила довольно долго; на влюбленнаго напалъ такой страхъ, такая тоска, что онъ принялся плакать, и наконецъ, утомленный слезами, заснулъ, прислонясь головой къ окошку. Старуха, воротясь, разбудила его и съ веселымъ видомъ сказала: „Ну, Алексѣй Степанычъ, въ самомъ дѣлѣ что-то есть. Я стала о тебѣ говорить и немножко на тебя нападать, а Софья Николавна заступилась за тебя не на шутку и наконецъ сказала, что ты долженъ быть человѣкъ очень добрый, скромный, тихій и почтительный къ родителямъ, что такихъ людей благословляетъ Богъ и что такіе люди лучше бойкихъ говоруновъ“. Алексѣй Степанычъ опьянѣлъ отъ радости и самъ не помнилъ, что говорилъ тогда. Алакаева, давъ ему успокоиться, съ твердостью сказала: „Если это твое непремѣнное желаніе, то вотъ тебѣ мой совѣтъ.

Поѣзжай немедленно къ отцу и матери, разскажи имъ все и проси у нихъ согласія и благословенія, пока добрые люди не помѣшали. Если ты получишь и то и другое, то я не отказываюсь хлопотать за тебя. Только не торопись; умасли напередъ сестеръ, а мать противиться твоему желанію не станетъ. Разумѣется, первое дѣло согласіе твоего отца. Я его знаю, онъ больно крутъ, но разуменъ; поговори съ нимъ, когда онъ будетъ веселъ". Алексѣй Степанычъ удивился такому осторожному совѣту и такимъ околичностямъ, и возразилъ: „что родители его будутъ очень рады и что развѣ есть какой-нибудь порокъ въ Софьѣ Николавнѣ?"—„Пребольшой", отвѣчала умная старуха. „Она бѣдна, у нея ровно нѣтъ ничего, а ея дѣдушка былъ простой урядникъ въ казачьемъ Уральскомъ войскѣ". На Алексѣя Степаныча нисколько не подѣйствовали эти многозначительныя слова; но предчувствіе не обмануло старуху Алакаеву, и предостереженіе было слишкомъ поздно. Черезъ недѣлю Алексѣй Степанычъ взялъ отпускъ, раскланялся съ Софьей Николавной, которая очень ласково пожелала ему счастливаго пути, пожелала, чтобъ онъ нашелъ родителей своихъ здоровыми и обрадовалъ ихъ своимъ пріѣздомъ,—и полный радостныхъ надеждъ отъ такихъ пріятныхъ словъ, молодой человѣкъ уѣхалъ въ деревню къ отцу и матери. Старики обрадовались, но какъ-то не удивились несвоевременному пріѣзду сына и посматривали на него вопросительно; а сестры (которыя жили неподалеку и по увѣдомленію матери сейчасъ прискакали) цѣловали и миловали братца, но чему-то улыбались. Алексѣй Степанычъ былъ особенно друженъ съ меньшей сестрой и открылся ей первой въ своей страсти. Татьяна Степановна, нѣсколько романическая дѣвица, любившая брата больше, чѣмъ другія сестры, слушала его съ участіемъ и наконецъ такъ увлеклась, что открыла ему весь секретъ: семья знала уже объ его любви и смотрѣла на нее неблагопріятно. Вотъ какимъ образомъ происходило дѣло: мѣсяца за два до пріѣзда Алексѣя Степаныча, Иванъ Петровичъ Каратаевъ ѣздилъ зачѣмъ-то въ Уфу и привезъ своей женѣ эту городскую новость; Александра Степановна (я сказалъ о ея свойствахъ) вскипѣла негодованіемъ и злобой; она была коноводъ въ своей семьѣ и вертѣла всѣми, какъ хотѣла, разумѣется, кромѣ отца; она обратила въ шпіоны одного изъ лакеевъ Алексѣя Степаныча, и онъ сообщилъ ей всѣ

подробности объ образѣ жизни и о любви своего молодого барина; она нашла какую-то кумушку въ Уфѣ, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и написала ей длинную грамоту, съ помощью отставного подъячаго, составленную изъ городскихъ вѣстей и сплетенъ дворни въ домѣ Зубина, преимущественно со словъ озлобленныхъ приданыхъ покойной мачихи. Не трудно догадаться, какими красками была расписана Софья Николавна.

Дѣло извѣстное, что въ старину (я разумѣю старину Екатерининскую), а можетъ быть и теперь, сестры не любили, или очень рѣдко любили своихъ невѣстокъ, то есть женъ своихъ братьевъ, отчего весьма краснорѣчиво называются *золовками;* еще болѣе не любили, когда женился единственный братъ, потому что жена его дѣлалась безраздѣльною, полною хозяйкою въ домѣ. Въ человѣческомъ существѣ скрыто много эгоизма; онъ дѣйствуетъ часто безъ нашего вѣдома, и никто не изъятъ отъ него; честные и добрые люди, не признавая въ себѣ эгоистическихъ побужденій, искренно приписываютъ ихъ инымъ благовиднымъ причинамъ: обманываютъ себя и другихъ безъ умысла. Въ натурахъ недобрыхъ, грубыхъ и невѣжественныхъ обнаруживаются признаки эгоизма ярче и безцеремоннѣе. Такъ было и въ семействѣ Степана Михайловича. Женитьба брата, на комъ бы то ни было, непремѣнно досадила-бы всѣмъ. „Братецъ къ намъ перемѣнится, не станетъ насъ такъ любить и жаловать, какъ прежде, молодая жена ототретъ родныхъ, и домъ родительскій будетъ намъ чужой“: это непремѣнно сказали-бы сестры Алексѣя Степаныча, хотя бы его невѣста была—ихъ поля ягода; но невѣстки Софьи Николавны хуже нельзя было придумать для нихъ. Александра Степановна поспѣшила пригласить Елизавету Степановну въ Багрово, чтобы сообщить матери и сестрамъ, разумѣется, съ приличными украшеніями, всѣ полученныя ею свѣдѣнія о похожденіяхъ своего братца; всѣ повѣрили ей безусловно, и вотъ какое мнѣніе составилось о Софьѣ Николавнѣ. Во-первыхъ, Зубиха (такъ называли ее сестры и мать Алексѣя Степаныча въ своихъ тайныхъ засѣданіяхъ) — низкаго рода: дѣдушка у ней былъ Уральскій казакъ, по прозванію Зубъ, а мать (Вѣра Ивановна Кандалинцова) изъ купеческаго званія. Слѣдовательно низко было породниться съ ней старинному дворянскому дому. Во-вторыхъ, Зубиха—нищая: какъ умретъ отецъ или

отставятъ его отъ должности, то пойдетъ по міру, а потому и братцевъ и сестрицъ своихъ навяжетъ на шею мужу. Въ третьихъ, Зубиха—гордячка, модница, городская прощелыга, привыкшая повелѣвать всѣмъ городомъ; слѣдовательно на нихъ, на деревенскихъ жителей, даромъ что они старинные столбовые дворяне,—и плюнуть не захочетъ. Наконецъ въ четвертыхъ, Зубиха—колдунья, которая корнями приворачиваетъ къ себѣ всѣхъ мущинъ, бѣгающихъ за ней, высуня языкъ, и въ томъ числѣ приворотила бѣднаго братца ихъ, потому что пронюхала объ его будущемъ богатствѣ и объ его смиренствѣ, захотѣла быть старинной дворянкой и нарохтится за него замужъ... Александра Степановна, которая заправляла всѣмъ дѣломъ, съ помощью бойкаго и ядовитаго языка своего, всѣхъ смутила и доказала, какъ дважды два четыре, что такая невѣста, какъ Софья Николавна,—совершенная бѣда для нихъ; „что она, пожалуй, и Степана Михайловича приворотитъ, и тогда всѣ они пропали: слѣдовательно надо употребить всѣ усилія, чтобы Алексѣй Степанычъ не женился на Софьѣ Николавнѣ“. Очевидно, что всего нужнѣе было внушить Степану Михайловичу самыя дурныя мысли о Софьѣ Николавнѣ, но какъ это сдѣлать? Дѣйствовать прямо онѣ не рѣшались, потому что совѣсть была нечиста. Кой грѣхъ, отецъ заподозритъ ихъ въ умыслѣ, тогда ужъ не повѣритъ и правдѣ; онъ еще и прежде, когда старики пріискали было невѣсту своему сыну, далъ имъ почувствовать, что понимаетъ ихъ нежеланіе — видѣть брата женатымъ. — Итакъ устроили слѣдующую махинацію: одну изъ родныхъ племянницъ Арины Васильевны, пѣтую дуру, смертную вѣстовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Лупеневскую, научили пріѣхать какъ будто въ гости въ Багрово и, между прочими розсказнями, разсказать про любовь Алексѣя Степаныча, разумѣется, съ самой невыгодной стороны для Софьи Николавны. Долго Александра Степановна учила съ голосу Флену Ивановну, что говорить и какъ говорить. Наконецъ роль была по возможности вытвержена. Флена Ивановна явилась въ Багрово къ обѣду, послѣ котораго и хозяева и гости заснули часа три и потомъ собрались къ чаю. Старикъ былъ въ духѣ и самъ навелъ свою гостью на исполненіе роли. „Ну что, Флена пушка! (такъ звалъ ее Степанъ Михайловичъ по причинѣ толщины и малаго роста), разсказывай, что слышала о пріѣзжихъ изъ Уфы (ея сестра,

Катерина Ивановна Кальпинская съ мужемъ недавно оттуда воротились). Чай, вѣстей навезли съ три короба, ну да ты прилжешь четвертый...“ — „Охъ, шутникъ ты нашъ, шутникъ, дядюшка любезный, отвѣчала Флена Ивановна, что мнѣ лгать! вѣстей-то навезли много“. Тутъ она разсказала цѣлую кучу разныхъ былей и небылицъ и нелѣпыхъ сплетенъ, отъ которыхъ я пощажу моихъ читателей. Дѣдушка притворился, что ничему не вѣритъ, даже справедливымъ извѣстіямъ; онъ подтрунивалъ надъ разскащицей, путалъ ее въ словахъ, сбивалъ и такъ забавно дразнилъ, что вся семья валялась со смѣху. Глупой бабѣ, выпившей со сна добрую чарку настойки для бодрости, за досаду стало, и она съ нѣкоторою горячностью сказала старику: „Да что это, дядюшка, ты все смѣешься и ничему не вѣришь? погоди, я приберегла тебѣ вѣсточку на закуску; ты ей за неволю повѣришь, да и смѣяться не станешь.“ Семья переглянулась, а дѣдушка засмѣялся.—„Ну, вытряхивай, весело сказалъ онъ; повѣрить не повѣрю, а смѣяться не стану; ты ужъ мнѣ надоѣла.“—„Охъ, дядюшка, дядюшка, начала Флена Ивановна; ты вотъ объ братцѣ-то нашемъ любезномъ, Алексѣѣ-то Степановичѣ, ничего не знаешь. Вѣдь онъ высохъ съ тоски; приворотила его къ себѣ нечистой силой уфимская вѣдьма, дочка набольшаго тамошняго, воеводы что-ли, намѣстника ли—не знаю. Говорятъ, такая красавица, всѣхъ заполонила, и старыхъ и молодыхъ, всѣхъ корнями обвела. Всѣ за ней, прости Господи, какъ кобели за сукой, такъ и бѣгаютъ. А голубчикъ-то мой, братецъ-то Алексѣй Степанычъ, такъ врюхался, что ни ѣстъ, ни пьетъ и не спитъ. Все и сидитъ у ней, глазъ съ нея не сводитъ, глядитъ да вздыхаетъ, а по ночамъ все мимо ея дома ходитъ, съ ружьемъ да съ саблей, все караулитъ ее; она же, Зубиха-то, говорятъ, его приголубливаетъ; вѣдь онъ самъ красавчикъ и столбовой дворянинъ, такъ у ней губа-то не дура: хочетъ за него замужъ выйти. Да и какъ не хотѣть? вѣдь она нищая и отецъ ея изъ простыхъ, сынъ казака Уральскаго, Ѳедьки Зуба; хоть самъ и дослужился до чиновъ и при большихъ мѣстахъ былъ, а ничего не нажилъ: все протранжирилъ на столы да на пиры, да на дочкины наряды; старикъ еле живъ, на ладонъ дышетъ, а дѣтей-то куча: отъ двухъ женъ—шесть человѣкъ. Всѣ сядутъ на твою, дядюшка, шею, коли братецъ-то на ней женится; у ней

приданаго однѣ платья; на брюхѣ-то шелкъ, а въ брюхѣ-то щелкъ. А ужъ Алексѣй Степанычъ, говорятъ, на себя не похожъ—узнать нельзя, точно въ воду опущенный; ужъ и лакеи-то, глядя на него, плачутъ, а вамъ доложить не смѣютъ. Повѣрь, дядюшка, все правда до единаго слова; допроси своихъ лакеевъ, они не запрутся.“ Арина Васильевна принялась плакать, а дочки куксить глаза. Дѣдушка былъ немного озадаченъ, но скоро овладѣлъ собою и съ равнодушной улыбкой отвѣчалъ: „Прилгано много, а можетъ есть и правда. Я самъ слышалъ, что Зубина красавица и умница, вотъ въ чемъ и все колдовство [1]). Что мудренаго, если и у Алексѣя глаза разгорѣлись. Остальное все враки. Выйти замужъ за Алексѣя—Зубина и не думаетъ; она найдетъ себѣ получше и побойчѣе жениха. Онъ ей не пара.—Ну, теперь кончено. Больше объ этомъ не тарантить. Пойдемте пить чай на дворѣ.“—Разумѣется, Флена Ивановна и всѣ прочіе болѣе не смѣли и поминать объ уфимскихъ новостяхъ. Вечеромъ гостья уѣхала. Послѣ ужина, когда Арина Васильевна и дочери начали было безмолвно прощаться съ Степаномъ Михайловичемъ, онъ остановилъ ихъ слѣдующими словами: „Ну что, Ариша? что у тебя на умѣ бродитъ? Дура Флена, конечно, много привирала, а мнѣ сдается, что тутъ есть и правда. Письма Алексѣевы какъ-то стали другія. Надо бы это дѣло какъ-нибудь поразвѣдать. Да всего лучше позовемъ Алешу сюда: отъ него узнаемъ всю правду.“—Тутъ Александра Степановна вызвалась въ одну недѣлю спосылать нарочнаго въ Уфу, чтобы развѣдать объ этомъ дѣлѣ черезъ родственницу своего мужа, прибавя, что она женщина правдивая и ни за что не солжетъ. Старикъ согласился не вызывать сына до полученія новыхъ извѣстій. Александра Степановна сейчасъ ускакала домой въ свою Каратаевку (всего въ 50 верстахъ отъ Багрова) и ровно черезъ недѣлю воротилась къ старикамъ; она привезла то самое письмо, которое еще прежде получила отъ своей кумушки и о которомъ я уже говорилъ. Письмо показали и прочли Степану Михайловичу, и хотя

[1]) Дѣдушка вообще колдовству мало вѣрилъ. Даже стрѣлялъ одинъ разъ (вынувъ тихонько дробь) въ колдуна, который увѣрялъ, что ружье заговорено и не выстрѣлитъ; разумѣется, ружье выстрѣлило и крѣпко напугало колдуна, который однако нашелся и торжественно объявилъ, что дѣдушка мой „самъ знаетъ“, чему и повѣрили всѣ, разумѣется кромѣ Степана Михайловича.

онъ плохо вѣрилъ женскимъ справкамъ и донесеніямъ, но нѣкоторыя статьи въ письмѣ показались ему правдоподобными и произвели на него непріятное впечатлѣніе. Онъ рѣшительно сказалъ, что если въ самомъ дѣлѣ Зубина думаетъ выйти замужъ за Алешу, то онъ не позволитъ ему жениться на ней, потому что она не дворянскаго рода. „На этой же почтѣ пишите къ Алешѣ и зовите его домой.“—Черезъ нѣсколько дней, которые не были потеряны даромъ, потому что Арина Васильевна съ дочерьми успѣли напѣть въ уши старику много неблагопріятнаго для любви Алексѣя Степаныча, вдругъ, какъ снѣгъ на голову, явился онъ самъ, что мы уже знаемъ.

Услыхавъ отъ сестры все, сейчасъ разсказанное мною, Алексѣй Степанычъ крѣпко призадумался и оробѣлъ. Лишенный отъ природы твердой воли, воспитанный въ слѣпомъ повиновеніи къ семейству, къ отцу, — въ страхѣ онъ не зналъ, что ему дѣлать. Наконецъ, рѣшился поговорить съ матерью. Арина Васильевна, любившая единственнаго сынка безъ памяти, но привыкшая думать, что онъ все еще малое дитя, и предубѣжденная, что это дитя полюбило опасную игрушку,—встрѣтила признаніе сына въ сильномъ чувствѣ такими словами, какими встрѣчаютъ желаніе ребенка, просящаго дать ему въ руки раскаленное желѣзо; когда же онъ, слыша такія рѣчи, залился слезами, она утѣшала его, опять-таки, какъ ребенка, у котораго отнимаютъ любимую игрушку. Что ни говорилъ Алексѣй Степанычъ, какъ ни старался опровергнуть клеветы на Софью Николавну—мать его не слушала, или слушала безъ всякаго вниманія. Прошло еще два дня: сердце молодого человѣка разрывалось; тоска по Софьѣ Николавнѣ и любовь къ ней росли съ каждымъ часомъ, но вѣроятно онъ не скоро бы осмѣлился говорить съ отцемъ, если бы Степанъ Михайловичъ не предупредилъ его самъ. Въ одно прекрасное утро, послѣ ночи, проведенной почти безъ сна, Алексѣй Степанычъ, нѣсколько похудѣвшій и поблѣднѣвшій, рано пришелъ къ отцу, который сидѣлъ по своему обыкновенію на своемъ крылечкѣ. Старикъ былъ веселъ и ласково встрѣтилъ сына; но, взглянувъ пристально ему въ лицо, онъ понялъ, что происходило въ душѣ молодого человѣка. Давъ поцѣловать ему свою руку, онъ съ живостью, но безъ гнѣва, сказалъ ему: „послушай, Алексѣй! я знаю, что лежитъ у тебя на сердцѣ, и вижу,

что дурь крѣпко забралась къ тебѣ въ голову. Разсказывай же мнѣ всю подноготную безъ утайки, и чтобъ все до одного слова была правда.“ Хотя Алексѣй Степанычъ не привыкъ откровенно говорить съ отцомъ, котораго больше боялся, чѣмъ любилъ, но любовь къ Софьѣ Николавнѣ придала ему смѣлость. Онъ бросился сначала къ отцу въ ноги и потомъ разсказалъ ему со всѣми подробностями, ничего не скрывая, свою сердечную повѣсть. Степанъ Михайловичъ слушалъ терпѣливо, внимательно: кто-то изъ домашнихъ шелъ было къ нему поздороваться, но онъ издали выразительно погрозилъ калиновымъ подожкомъ своимъ, и никто, даже Аксинья съ чаемъ не смѣла подойти, пока онъ самъ не позвалъ. Разсказъ сына былъ безпорядоченъ, сбивчивъ, длиненъ и не убѣдителенъ; но тѣмъ не менѣе свѣтлый умъ Степана Михайловича понялъ ясно, въ чемъ состояло дѣло. По несчастію оно ему не понравилось, и не могло понравиться. Онъ мало понималъ романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, униженіемъ, дрянностью въ мужчинѣ; но въ то же время онъ понялъ, что Софья Николавна тутъ ни въ чемъ не виновата и что все дурное, слышанное имъ на ея счетъ, было чистою выдумкою злыхъ людей и недоброжелательствомъ собственной семьи. Подумавъ немного, вотъ что онъ сказалъ безъ всякаго гнѣва, даже ласково, но съ твердостью: „Послушай, Алексѣй! ты именно въ такихъ годахъ, когда красивая дѣвица можетъ приглянуться мужчинѣ. Въ этомъ бѣды еще никакой нѣтъ; но я вижу, что ты черезчуръ врѣзался, а это ужъ не годится. Я Софью Николавну ни въ чемъ не виню; я считаю, что она дѣвица предостойная, — только тебѣ не пара и намъ не съ руки. Во-первыхъ, она дворянка вчерашняя, а ты потомокъ самаго древняго дворянскаго дома. Во-вторыхъ, она горожанка, ученая, бойкая, привыкла послѣ мачихи повелѣвать въ домѣ и привыкла жить богато, даромъ что сама бѣдна; а мы люди деревенскіе, простые и наше житье ты самъ знаешь; да и себя ты долженъ понимать: ты парень смиренный; но хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнѣе себя — бѣда: будетъ командирша надъ мужемъ; а при томъ ты такъ ее любишь, что на первыхъ порахъ непремѣнно избалуешь. Ну, такъ вотъ тебѣ мое отцовское приказаніе: выкинь эту любовь изъ головы. Я же, признаться тебѣ, думаю, что

Софья Николавна за тебя не пойдетъ. Надо рубить дерево по себѣ. Мы поищемъ тебѣ какую-нибудь смирненькую, тихонькую, деревенскую родовую дворяночку, да съ состояніемъ. Выйдешь въ отставку, да и заживешь припѣваючи. Вѣдь мы, братъ, не широки въ перьяхъ; только что сыты, а доходовъ больно мало; объ Куролесовскомъ же наслѣдствѣ, которое всѣмъ глаза разодрало, я и не думаю. Это дѣло невѣрное; Прасковья Ивановна сама человѣкъ не старый, можетъ выйти замужъ и народить ребятъ. Ну, такъ смотри же, Алеша! чтобъ все съ тебя слетѣло, какъ съ гуся вода, и чтобъ помину не было о Софьѣ Николавнѣ...“ Степанъ Михайловичъ протянулъ милостиво руку своему сыну, которую тотъ поцѣловалъ съ привычною почтительностью. Старикъ велѣлъ подавать чай и звать къ себѣ семью. Онъ былъ необыкновенно ласковъ и веселъ со всѣми; но несчастный Алексѣй Степанычъ впалъ въ совершенное уныніе. Никакой гнѣвъ отца не привелъ бы его въ такое отчаяніе. Гнѣвъ Степана Михайловича проходилъ скоро и послѣ него являлись и снисхожденіе, и милость, а теперь онъ видѣлъ спокойную твердость, и потерялъ всякую надежду. Алексѣй Степанычъ вдругъ такъ измѣнился въ лицѣ, что мать испугалась, взглянувъ на него, и стала приставать къ нему съ вопросами: „что съ нимъ сдѣлалось? здоровъ-ли онъ?“—Сестры также замѣтили перемѣну, но, будучи похитрѣе, ничего не сказали. Степанъ Михайловичъ все видѣлъ и все понималъ. Покосившись на Арину Васильевну, онъ проворчалъ сквозь зубы: „Не приставай къ нему.“ Алексѣя Степаныча оставили въ покоѣ, не обращая на него вниманія — и деревенскій день покатился по своей обыкновенной колеѣ.

Разговоръ съ отцомъ глубоко поразилъ, сокрушилъ, можно сказать, сердце Алексѣя Степаныча. Онъ потерялъ сонъ, аппетитъ, сдѣлался совершенно ко всему равнодушенъ и ослабѣлъ тѣломъ. Арина Васильевна принялась плакать и даже сестры перетревожились. На другой день мать едва могла добиться, чтобы онъ сказалъ нѣсколько словъ о томъ, что говорилъ съ нимъ отецъ. На всѣ допросы Алексѣй Степанычъ отвѣчалъ: „Батюшкѣ не угодно, я человѣкъ погибшій, я не жилецъ на этомъ свѣтѣ.“ И въ самомъ дѣлѣ черезъ недѣлю онъ лежалъ въ совершенной слабости и въ постоянномъ забытьѣ: жару наружнаго не было, а онъ бредилъ и

день и ночь. Болѣзни его никто не могъ понять, но это просто была нервная горячка. Семья перепугалась ужасно; докторовъ по близости не было и больного принялись лечить домашними средствами; но ему становилось часъ отъ часу хуже и наконецъ онъ сдѣлался такъ слабъ, что каждый часъ ожидали его смерти. Арина Васильевна и сестры рѣвѣли и рвали на себѣ волосы. Степанъ Михайловичъ не плакалъ, не сидѣлъ безпрестанно надъ больнымъ, но едвали не больше всѣхъ страдалъ душою; онъ хорошо понималъ причину болѣзни. „Но молодость свое взяла“, и ровно черезъ шесть недѣль Алексѣю Степанычу стало полегче. Онъ проснулся къ жизни совершеннымъ ребенкомъ и жизнь медленно вступала въ права свои; онъ выздоравливалъ два мѣсяца; казалось, онъ ничего прошедшаго не помнилъ. Онъ радовался всякому явленію въ природѣ и въ домашнемъ быту, какъ новому незнакомому явленію; наконецъ совершенно оправился, даже поздоровѣлъ, пополнѣлъ и получилъ, уже болѣе года потерянный, румянецъ во всю щеку; удилъ рыбу, ходилъ на охоту за перепелами, ѣлъ и пилъ аппетитно и былъ веселъ. Родители не нарадовались, не наглядѣлись на него и убѣдились, что болѣзнь выгнала изъ молодой головы и сердца всѣ прежнія мысли и чувства. Можетъ быть оно и въ самомъ дѣлѣ было бы такъ, еслибъ его взяли въ отставку, продержали съ годъ въ деревнѣ, нашли хорошенькую невѣсту и женили; но старики безпечно обнадежились настоящимъ положеніемъ сына: черезъ полгода отправили его опять на службу въ тотъ же Верхній Земскій Судъ, опять на житье въ Уфу—и судьба его рѣшилась навсегда. Прежняя страсть загорѣлась съ новою, несравненною большею силой. Какъ возвратилась любовь въ сердце Алексѣя Степаныча, вдругъ или постепенно—ничего не знаю; знаю только, что онъ сначала ѣздилъ къ Зубинымъ изрѣдка, потомъ чаще и наконецъ такъ часто, какъ было возможно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, продолжала ѣздить къ Софьѣ Николавнѣ, тонкими разспросами вывѣдывала ея расположеніе и привозила благопріятные отзывы, утверждавшіе и въ ней самой надежду, что гордая красавица благосклонно расположена къ ея скромному родственнику. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ отъѣзда Алексѣя Степаныча изъ деревни, вдругъ получили отъ него письмо, въ которомъ онъ съ несвойственной ему твердостью, хотя всегда съ почтительной

нѣжностью, объявилъ своимъ родителямъ, что любитъ Софью Николаевну больше своей жизни, что не можетъ жить безъ нея, что надѣется на ея согласіе и проситъ родительскаго благословенія и позволенія посвататься. Старики вовсе не ожидали такого письма и были имъ поражены. Степанъ Михайловичъ сдвинулъ брови, но ни однимъ словомъ не выразилъ своихъ мыслей. Вся семья хранила глубокое молчаніе; онъ махнулъ рукой, и всѣ оставили его одного. Долго сидѣлъ мой дѣдушка, чертя калиновымъ подожкомъ какіе-то узоры на полу своей комнаты. Степанъ Михайловичъ скоро смекнулъ, что дѣло плохо и что теперь ужъ никакая горячка не вылѣчитъ отъ любви его сына. По своей живой и благосклонной натурѣ, онъ даже поколебался, не дать ли согласія, о чемъ можно было заключить изъ его словъ, обращенныхъ къ Аринѣ Васильевнѣ. „Ну что, Ариша (говорилъ онъ ей на слѣдующее утро, разумѣется, наединѣ), какъ ты мекаешь? Вѣдь не позволимъ, такъ намъ не видать Алексѣя, какъ ушей своихъ: или умретъ съ тоски, или на войну уйдетъ, или пойдетъ въ монахи — и родъ Багровыхъ прекратится.“ Но Арина Васильевна, уже настроенная дочерьми, какъ-то не испугалась за своего сынка и отвѣчала: „Твоя воля, Степанъ Михайловичъ, что тебѣ угодно, того и я желаю: да только какое же будетъ отъ нихъ тебѣ уваженіе, если они поставятъ на своемъ, послѣ твоего родительскаго запрещенія?“ Пошлая хитрость удалась: самолюбіе старика расшевелилось и онъ рѣшился подержаться. Онъ продиктовалъ сыну письмо, въ которомъ выразилъ удивленіе, что онъ принялся опять за прежнее, и повторилъ то, что говорилъ ему на словахъ. Короче, письмо содержало положительный отказъ.

Прошло двѣ-три недѣли — не было писемъ отъ Алексѣя Степаныча. Наконецъ, въ одинъ осенній ненастный день, дѣдушка сидѣлъ въ своей горницѣ, поперегъ постели, въ любимомъ своемъ халатѣ изъ тонкой армячины [1]), сверхъ рубашки-косоворотки, въ туфляхъ на босую ногу; подлѣ него пряла на самопрялкѣ козій пухъ Арина Васильевна и старательно выводила тонкія длинныя нити, потому что затѣяла выткать изъ нихъ домашнее сукно на платье своему сыночку,

[1]) Не знаю какъ теперь, а въ старые годы въ Оренбургской мѣнѣ такую покупали армячину, которая своей тониной и чистотой равнялась съ лучшими азіатскими тканями.

такъ чтобъ оно было ему легко, и тепло, и покойно; у окошка сидѣла Танюша и читала какую-то книжку; гостившая въ Багровѣ, Елизавета Степановна присѣла подлѣ отца на кровати и разсказывала ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство и недостатки. Старикъ печально слушалъ, положа руки на колѣни и опустивъ на грудь свою, уже посѣдѣлую, голову. Вдругъ дверь изъ лакейской отворилась; высокій, красивый молодой парень, Иванъ Малышъ, въ дорожной курткѣ, проворно вошелъ и подалъ письмо съ почты, за которымъ ѣздилъ онъ въ городъ за 25 верстъ. Очевидно было, что письма ожидали съ нетерпѣніемъ, потому что всѣ встрепенулись. „Отъ Алеши?“ спросилъ торопливо и неспокойно старикъ. „Отъ братца“, отвѣчала Танюша, подбѣжавшая къ Малышу, проворно взявшая письмо и прочитавшая адресъ. „Спасибо, что скоро съѣздилъ. Чарку водки Малышу. Ступай обѣдать и отдыхать.“ Ту-жъ минуту отворился поставецъ, барышня вытащила длинный штофъ узорнаго стекла, налила серебряную чарку и подала Малышу; тотъ перекрестился, выпилъ, крякнулъ, поклонился и ушелъ. „Ну, читай, Танюша“, сказалъ дѣдушка. Татьяна Степановна была его чтецомъ и писцомъ. Она помѣстилась у окошка; бабушка оставила прялку, дѣдушка всталъ съ кровати, и всѣ обсѣли кругомъ Татьяну Степановну, распечатавшую между тѣмъ письмо, но не смѣвшую предварительно заглянуть въ него. Послѣ минутнаго молчанія, началось медленное и внятное чтеніе вполголоса. Послѣ обыкновенныхъ тогда: „Милостивѣйшій государь батюшка и Милостивѣйшая государыня матушка“, Алексѣй Степанычъ писалъ почти слѣдующее: „На послѣднее мое просительное письмо, я имѣлъ несчастіе получить немилостивый отвѣтъ отъ васъ, дрожайшіе родители. Не могу преступить воли вашей и покоряюсь ей: но не могу долго влачить бремя моей жизни безъ обожаемой мною Софьи Николавны, а потому въ непродолжительномъ времени смертоносная пуля скоро просверлитъ голову несчастнаго вашего сына“ [1]). Эффектъ былъ сильный; тетки мои захныкали, бабушка, ничего подобнаго не ожидавшая, поблѣднѣла, всплес-

[1]) Письмо это я почти помню наизусть. Вѣроятно оно и теперь существуетъ въ старыхъ бумагахъ одного изъ моихъ братьевъ. Очевидно, что нѣкоторыя выраженія письма заимствованы изъ тогдашнихъ романовъ, до которыхъ Алексѣй Степанычъ былъ охотникъ.

нула руками и повалилась безъ памяти на полъ, какъ снопъ: въ старину также бывали обмороки. Степанъ Михайловичъ не шевельнулся; только голова его покосилась на одну сторону, какъ передъ началомъ припадка гнѣва, и слегка затряслась... она не переставала уже трястись до его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать матери и скоро привели ее въ чувство. Тогда, поднявши вой какъ по мертвому, Арина Васильевна бросилась въ ноги Степану Михайловичу. Дочери, слѣдуя ея примѣру, также заголосили. Арина Васильевна, не смотря на грозное положеніе головы моего дѣдушки, забывъ и не понимая, что сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу сына, громко завопила: „батюшка Степанъ Михайловичъ! сжалься, не губи родного своего дѣтища: вѣдь онъ у насъ одинъ и есть; позволь жениться Алешѣ! Часу не проживу, если съ нимъ что случится“. Старикъ оставался неподвижно въ прежнемъ положеніи. Наконецъ нетвердымъ голосомъ сказалъ: „полно выть. Выпороть надо бы Алешу. Ну-да, до завтра; утро вечера мудренѣе; а теперь уйдите и велите давать обѣдать“. Обѣдъ у старика служилъ успокоительнымъ средствомъ въ трудныхъ обстоятельствахъ. Арина Васильевна заголосила было опять: „помилуй, помилуй!“ Но Степанъ Михайловичъ громко закричалъ: „убирайтесь вонъ!“ и въ голосѣ его послышался ревъ приближающейся бури. Всѣ поспѣшно удалились. До обѣда никто не смѣлъ заглянуть въ комнату Степана Михайловича.—Что пролетѣло по душѣ его въ эти минуты, какая борьба совершилась у желѣзной воли съ отцовскою любовью и разумностью, какъ уступилъ побѣду упорный духъ?.. трудно себѣ представить; но когда раздался за дверью голосъ Мазана: „кушанье готово“, дѣдушка вышелъ спокоенъ, и ожидавшія его жена и дочери, каждая у своего стула, не замѣтили, на слегка поблѣднѣвшемъ лицѣ его, ни малѣйшаго гнѣва; напротивъ, онъ былъ спокойнѣе, чѣмъ поутру, даже веселѣе, и кушалъ очень аппетитно. Скрѣпя сердце, Арина Васильевна должна была подлаживаться къ его рѣчамъ, и, не смѣя не только спрашивать, но даже и вздыхать, напрасно старалась разгадать мысли своего супруга; напрасно устремляла вопрошающіе взгляды маленькихъ своихъ каштановыхъ глазокъ, заплывшихъ жиромъ,—темноголубые открытые и веселые глаза Степана Михайловича ничего не отвѣчали. Послѣ обѣда онъ уснулъ по обыкновенію; проснувшись, сдѣлался

еще веселѣе; но о письмѣ и о сынѣ ни полслова. Всѣ однако видѣли, что на умѣ у старика ничего недобраго не было. Прощаясь съ супругомъ послѣ ужина, Арина Васильевна осмѣлилась спросить: „не изволишь ли сказать мнѣ чего-нибудь объ Алешѣ?“ Дѣдушка улыбнулся и отвѣчалъ: „я уже сказалъ тебѣ: утро вечера мудренѣе. Почивай съ Богомъ“.

Утро въ самомъ дѣлѣ оказалось и мудро и благодатно. Дѣдушка всталъ въ четыре часа. Мазанъ вздулъ ему огня. Первыми словами Степана Михайловича были: „Танайченокъ, ты сейчасъ ѣдешь въ Уфу съ письмомъ къ Алексѣю Степанычу, соберись въ одну минуту; да чтобы никто не зналъ, куда и зачѣмъ ѣдешь. Въ корень молодого бураго, а на пристяжку свистуна. Возьми овса двѣ осьмины и каравай хлѣба. Спроси у ключника Петра два рубля мѣдныхъ денегъ на дорогу. Какъ я напишу письмо, чтобы все было готово. Сказано—сдѣлано“.—Эта поговорка исполнялась у дѣдушки безъ отговорокъ. Онъ отперъ дубовую шкатулку или шкафъ, нѣчто въ родѣ письменнаго бюро, досталъ бумаги, перо, чернилицу, и написалъ не безъ труда (потому что лѣтъ уже десять подписывалъ только свое имя), тяжелымъ старинным почеркомъ: „Любезный сынъ нашъ Алексѣй! Мы съ матерью твоей Ариной Васильевной позволяемъ тебѣ жениться на Софьѣ Николавнѣ Зубиной, если на то будетъ воля Божія, и посылаемъ тебѣ наше родительское благословеніе. Отецъ твой, Степанъ Багровъ“.

Черезъ полчаса, еще задолго до свѣту, вытянулъ Танайченокъ длинную гору мимо господскаго гумна и ѣхалъ бойко рысью по дорогѣ въ Уфу. Въ пять часовъ приказалъ Степанъ Михайловичъ подавать самоваръ той же Аксюткѣ, которая, изъ молодой и некрасивой дѣвчонки, сдѣлалась уже очень немолодой и еще болѣе некрасивой дѣвкой; но будить никого не приказалъ. Не смотря на то, старую барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давнымъ-давно уѣхалъ куда-то Танайченокъ съ письмомъ отъ барина, на парѣ господскихъ лошадей. Арина Васильевна не осмѣлилась вдругъ прійти къ своему супругу; она помѣшкала съ часъ времени и явилась, когда уже старикъ напился чаю и весело балагурилъ съ Аксиньей. „Ну зачѣмъ тебя разбудили? привѣтливо сказалъ Степанъ Михайловичъ, протягивая руку. Вѣдь ты чай плохо спала?“ — „Меня никто не будилъ, отвѣчала Арина Васильевна, почтительно цѣлуя руку старика; я сама

проснулась. Я слала ночь хорошо, въ надеждѣ на твою милость къ бѣдному нашему Алешѣ". Дѣдушка пристально посмотрѣлъ на нее, но ничего не увидалъ на привыкшемъ къ притворству лицѣ. „А коли такъ, я тебя порадую: я послалъ нарочнаго гонца въ Уфу, и написалъ Алексѣю отъ обоихъ насъ позволеніе жениться на Софьѣ Николаевнѣ".

Арина Васильевна,—не смотря на то, что, приведенная въ ужасъ страшнымъ намѣреніемъ сына, искренно молила и просила своего крутого супруга: позволить жениться Алексѣю Степанычу,—была не столько обрадована, сколько испугана рѣшеніемъ Степана Михайловича, или лучше сказать, она бы и обрадовалась, да не смѣла радоваться, потому что боялась своихъ дочерей; она уже знала, что думаетъ о письмѣ Лизавета Степановна, и угадала, что скажетъ Александра Степановна. По всѣмъ этимъ причинамъ, Арина Васильевна приняла рѣшеніе своего супруга, которымъ онъ надѣялся ее обрадовать, какъ-то холодновато и странно, что старикъ и замѣтилъ; Лизавета Степановна не изъявила ни малѣйшаго удовольствія, а только одну почтительную покорность волѣ отца; Танюша, вѣрившая письму брата искренно, обрадовалась отъ всего сердца. Лизавета Степановна даже и въ первую минуту не была встревожена намѣреніемъ брата; она плакала и просила за него только потому, что мать и меньшая сестра плакали и просили: нельзя же было ей такъ ярко розниться съ ними. Она выписала немедленно Александру Степановну, которая пришла въ бѣшенство, узнавъ о рѣшеніи дѣла, и сейчасъ прискакала; разумѣется, она сочла письмо братца за пустую угрозу, за штуку Софьи Николавны. Съ помощью Лизаветы Степановны, она скоро увѣрила въ этомъ мать и даже меньшую сестру, Танюшу. Но дѣло было кончено: явно возставать противъ него не представлялось уже никакой возможности. Мыслей же Степана Михайловича, будто Софья Николавна сама не пойдетъ за Алексѣя Степаныча, никто изъ семьи не раздѣлялъ. Оставимъ Багрово и посмотримъ, что дѣлается въ Уфѣ.

Я не беру на себя рѣшить положительно, имѣлъ ли Алексѣй Степанычъ твердое намѣреніе застрѣлиться, въ случаѣ отказа своихъ родителей, или, прочитавъ въ какомъ-нибудь романѣ подобное происшествіе, вздумалъ попробовать: не испугаются ли его родители такого страшнаго послѣдствія своей непреклонности? Судя по дальнѣйшему развитію

характера Алексѣя Степаныча, мнѣ хорошо извѣстному, я равно не могу признать его способнымъ ни къ тому, ни къ другому поступку. И такъ, я предполагаю только, что молодой человѣкъ не хитрилъ, не думалъ пугнуть своихъ стариковъ, напротивъ, искренно думалъ застрѣлиться, если ему не позволятъ жениться на Софьѣ Николавнѣ; но въ то же время я думаю, что онъ никогда не имѣлъ бы духа привесть въ исполненіе такого отчаяннаго намѣренія, хотя люди тихіе и кроткіе, слабодушные, какъ ихъ называютъ, бываютъ иногда способны къ отчаяннымъ поступкамъ болѣе, чѣмъ натуры живыя и бѣшеныя. Мысль о самоубійствѣ, безъ сомнѣнія, была почерпнута изъ какого-нибудь романа: она совершенно противорѣчитъ характеру Алексѣя Степаныча, его взгляду на жизнь и сферѣ понятій, въ которыхъ онъ родился, воспитался и жилъ. Какъ бы то ни было, пустивъ въ ходъ свою грамотку, Алексѣй Степанычъ пришелъ въ сильное волненіе, занемогъ и получилъ лихорадку. Покровительница его, Алакаева, знавшая все,—о послѣднемъ письмѣ ничего не знала; она навѣщала его ежедневно и замѣчала, что, кромѣ лихорадки простой и лихорадки любовной, молодой человѣкъ еще чѣмъ-то необыкновенно встревоженъ. Въ одинъ день сидѣла она у Алексѣя Степаныча, вязала чулокъ и разговаривала о всякой всячинѣ, стараясь занять больного и отвлечь его мысли отъ безнадежной любви. Алексѣй Степанычъ прилегъ на канапе, заложилъ руки за голову и смотрѣлъ въ окошко. Вдругъ онъ поблѣднѣлъ, какъ полотно: по улицѣ проѣхала телѣга парой и заворотила на дворъ; Алексѣй Степанычъ узналъ лошадей и Танайченка. Онъ вскочилъ на ноги и съ крикомъ: „отъ батюшки, изъ Багрова“ бросился въ переднюю. Алакаева схватила его за руку и съ помощью сидѣвшаго въ лакейской человѣка не допустила его выбѣжать на крыльцо, потому что на дворѣ стояла мокрая и холодная осенняя погода. Между тѣмъ Танайченокъ проворно вбѣжалъ въ комнату и подалъ письмо. Алексѣй Степанычъ дрожащими руками распечаталъ, прочелъ коротенькое письмо, залился слезами и бросился на колѣни передъ образомъ. Алакаева сначала не знала, что и думать; но Алексѣй Степанычъ подалъ ей родительскую грамотку и она, прочитавъ ее, также съ радостными слезами принялась обнимать обезумѣвшаго отъ восторга молодого человѣка. Тутъ онъ признался ей, какое письмо послалъ къ отцу и матери.

Алакаева покачала головой. Призвали Танайченка, распросили подробно объ его отправкѣ и увидѣли, что дѣло было рѣшено самимъ Степаномъ Михайловичемъ, безъ участія, безъ вѣдома своей семьи и вѣроятно противъ ея желанія. Когда прошли первыя минуты радостнаго волненія для Алексѣя Степаныча и совершеннаго изумленія для Алакаевой, которая, перечитавъ письмо, все еще не вѣрила глазамъ своимъ, потому что хорошо знала нравъ Степана Михайловича и хорошо понимала недоброжелательство семьи,— начали они совѣщаться, какъ приступить къ дѣлу. Когда оно казалось далекимъ, невозможнымъ со стороны семейства жениха, тогда они считали его благонадежнымъ со стороны невѣсты; но тутъ вдругъ напало на Алакаеву сомнѣніе: припомнивъ и сообразивъ всѣ благопріятные признаки, она почувствовала, что можетъ быть слишкомъ перетолковала ихъ въ пользу жениха. Какъ умная женщина, она поспѣшила охладить пылкія надежды молодого человѣка, благоразумно разсуждая, что, обольстившись ими, труднѣе ему будетъ перенесть внезапное разрушеніе радужныхъ своихъ мечтаній; отказъ вдругъ представился ей очень возможнымъ, и ея опасенія навели страхъ на Алексѣя Степаныча. Впрочемъ, Алакаева нисколько не отступилась отъ своего обѣщанія и на другой же день поѣхала съ предложеніемъ къ Софьѣ Николавнѣ. Она просто, ясно, безъ всякаго преувеличенія, описала постоянную и горячую любовь Алексѣя Степаныча, давно извѣстную всему городу (конечно и Софьѣ Николавнѣ); съ родственнымъ участіемъ говорила о прекрасномъ характерѣ, добротѣ и рѣдкой скромности жениха; справедливо и точно разсказала про его настоящее и будущее состояніе; разсказала правду про все его семейство, и не забыла прибавить, что вчера Алексѣй Степанычъ получилъ чрезъ письмо полное согласіе и благословеніе родителей искать руки достойнѣйшей и всѣми уважаемой Софьи Николавны, что самъ онъ отъ волненія, ожиданія отвѣта родителей и несказанной любви, занемогъ лихорадкой; но, не имѣя силъ откладывать рѣшеніе своей судьбы, просилъ ее, какъ родственницу и знакомую съ Софьей Николавной даму, узнать: угодно ли, не противно ли будетъ ей, чтобы Алексѣй Степанычъ сдѣлалъ формальное предложеніе Николаю Ѳедоровичу. Софья Николавна, давно привыкшая, какъ говорилось въ старину: „сама обивать около себя росу“, или къ самобытности, какъ

говорится теперь,—безъ смущенія, безъ всякихъ церемоній и дѣвичьихъ оговорокъ и жеманствъ, тогда неизбѣжныхъ, отвѣчала Алакаевой слѣдующее: „Благодарю Алексѣя Степаныча за честь мнѣ сдѣланную, а васъ, почтеннѣйшая Мавра Павловна, за участіе. Скажу вамъ откровенно: я давно замѣтила, что Алексѣй Степанычъ ко мнѣ не равнодушенъ и давно ожидала, что онъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе, не рѣшая, впрочемъ, вопроса: пойду ли я за него или нѣтъ. Послѣдняя поѣздка Алексѣя Степаныча къ отцу и къ матери, его внезапная, какъ сами вы мнѣ сказывали, опасная продолжительная болѣзнь въ деревнѣ, и перемѣна, когда онъ воротился, показали мнѣ, что родители его не желаютъ имѣть меня невѣсткой. Признаюсь, я этого не ожидала; скорѣе можно было опасаться несогласія со стороны моего отца. Потомъ я увидѣла, что Алексѣй Степанычъ возвратился къ прежнимъ чувствамъ, и теперь догадываюсь, что онъ успѣлъ склонить отца и мать къ согласію. Но разсудите сами, почтеннѣйшая Мавра Павловна, что теперь это дѣло принимаетъ совсѣмъ другой видъ: входить въ семейство противъ его желанія—рискъ слишкомъ опасный. Конечно, отецъ мой не сталъ бы противиться моему выбору; но могу ли я рѣшиться его обмануть? Узнавъ же, что его Соничку какой-то деревенскій помѣщикъ не вдругъ удостоилъ чести войти въ его семейство,—онъ ни за что не согласится и сочтетъ это униженіемъ. Я не влюблена въ Алексѣя Степаныча, я только уважаю его прекрасныя свойства, его постоянную любовь и считаю, что онъ можетъ составить счастіе любимой женщины. И такъ позвольте мнѣ подумать и притомъ, прежде чѣмъ я скажу объ этомъ моему больному отцу, прежде чѣмъ встревожу его такимъ извѣстіемъ, я хочу сама говорить съ Алексѣемъ Степанычемъ: пусть онъ пріѣдетъ къ намъ, когда выздоровѣетъ".

Алакаева съ точностью передала отвѣтъ жениху; ему показался онъ не предвѣщающимъ добра, но Алакаева, напротивъ, находила его весьма благопріятнымъ и успокоила Алексѣя Степаныча.

Долго сидѣла Софья Николавна одна въ гостиной, простившись очень дружески съ Маврой Павловной, и думала крѣпкую думу. Омрачились ея живые и блестящіе глаза, тяжелыя мысли пробѣгали по душѣ и отражались какъ въ зеркалѣ на ея прекрасномъ лицѣ. Все, что она сказала Алакаевой,

была совершенная правда, и вопросъ итти или нѣтъ за Алексѣя Степаныча—точно оставался не рѣшеннымъ. Наконецъ предположеніе сватовства обратилось въ дѣйствительность, и надо было рѣшить этотъ великій, роковой вопросъ для всякой дѣвушки. Необыкновенно ясная голова Софьи Николавны,—еще не омраченная страстностью ея натуры, тогда ничѣмъ глубоко не возмущаемой,—все понимала и все видѣла въ настоящемъ видѣ, въ настоящемъ свѣтѣ. Положеніе ея въ будущемъ было безотрадно: отецъ лежалъ на смертномъ одрѣ и, по словамъ лучшаго доктора Зандена [1]), не могъ прожить болѣе года; все состояніе старика заключалось въ двухъ подгородныхъ деревушкахъ: Зубковѣ и Касимовкѣ, всего 40 душъ съ небольшимъ количествомъ земли; наличныхъ денегъ у Николая Ѳедоровича было накоплено до десяти тысячъ рублей, и онъ назначилъ ихъ на приданое своей Соничкѣ. Выдать ее замужъ было постояннымъ, горячимъ его желаніемъ; но—бываютъ же такія чудеса: Софья Николавна не имѣла еще ни одного жениха, то-есть, не получила ни одного формальнаго предложенія. По смерти старика должны остаться шестеро сводныхъ дѣтей отъ двухъ браковъ; должны были учредиться двѣ опеки, и послѣднія трое дѣтей отъ Александры Петровны поступали къ родной бабушкѣ, Е. Д. Рычковой, подъ опеку сына ея, В. П. Рычкова. Материнское имѣніе ихъ заключалось также въ небольшой деревенькѣ, душъ въ 50; братья Софьи Николавны, отъ одной матери, находились въ Москвѣ, въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, и она оставалась совершенно одна, даже не было дальнихъ сродниковъ, у которыхъ могла бы она жить. Однимъ словомъ: некуда было приклонить голову! Нужда, бѣдность, жизнь изъ милости въ чужихъ людяхъ, полная зависимость отъ чужихъ людей—тяжелы всякому; но для дѣвушки, стоявшей въ обществѣ такъ высоко, жившей въ такомъ довольствѣ, гордой по природѣ, избалованной общимъ искательствомъ и ласкательствомъ, для дѣвушки, которая испытала всю странную тяжесть зависимости и потомъ всю прелесть власти,—такой переходъ долженъ былъ казаться невыносимымъ. И вотъ молодой, честный, скромный, пригожій собой мужчина, старинаго дворянскаго рода, единственный сынъ, у отца котораго

---

[1]) Ѳедоръ Ивановичъ Занденъ, докторъ весьма ученый, бывшій впослѣдствіи штадтъ физикомъ въ Москвѣ.

было 180 душъ, который долженъ былъ получить богатое наслѣдство отъ тетки, который любитъ, боготворитъ ее,—предлагаетъ ей руку и сердце: съ перваго взгляда тутъ нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишкомъ велико. Никто въ городѣ не могъ подумать, чтобъ Софья Николавна вышла за Алексѣя Степаныча. Она очень хорошо понимала справедливость общественнаго мнѣнія и не могла не уважать его. Невѣста—чудо красоты и ума; женихъ, правда бѣлый, розовый, нѣжный (что именно и не нравилось Софьѣ Николавнѣ), но простенькій, не дальній, по мнѣнію всѣхъ, деревенскій дворянчикъ; невѣста бойка, жива; женихъ робокъ и вялъ; невѣста по тогдашнему образованная, чуть не ученая дѣвица, начитанная, понимавшая всѣ высшіе интересы; женихъ совершенный невѣжда, ничего не читавшій, кромѣ двухъ-трехъ глупѣйшихъ романовъ, въ родѣ Любовнаго Вертограда или Аристея и Телазіи, да Русскаго пѣсенника,—женихъ, интересы котораго не простирались далѣе ловли перепеловъ на дудки и соколиной охоты; невѣста остроумна, ловка, блистательна въ свѣтскомъ обществѣ; женихъ не умѣетъ сказать двухъ словъ, неловокъ, застѣнчивъ, смѣшонъ, жалокъ, умѣетъ только краснѣть, кланяться и жаться въ уголъ или къ дверямъ, подалѣе отъ свѣтскихъ говоруновъ, которыхъ просто боялся, хотя по истинѣ многихъ изъ нихъ былъ гораздо умнѣе; невѣста съ твердымъ, надменнымъ, неуступчивымъ характеромъ; женихъ слабый, смирный, безотвѣтный, котораго всякій могъ загонять. Ему ли поддержать, защитить жену въ обществѣ и семействѣ?... Такія противоположныя мысли, взгляды и картины роились, мѣшались, тѣснились въ воображеніи молодой дѣвушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидѣла одна въ гостиной; наконецъ невыразимое смятеніе тоски, страшное сознаніе, что умъ ничего придумать и рѣшить не можетъ, что для него становится все часъ отъ часу темнѣе—обратили ея душу къ молитвѣ. Она побѣжала въ свою комнату молиться и просить свѣта разума свыше, бросилась на колѣни передъ образомъ Смоленской Божьей Матери, нѣкогда чуднымъ знаменіемъ озарившей и указавшей ей путь жизни; она молилась долго, плакала горючими слезами, и мало-по-малу почувствовала какое-то облегченіе, какую-то силу, способность къ рѣшимости, хотя не знала еще, на что она рѣшится; это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотрѣть на

заснувшаго больного своего отца, воротилась въ свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру, Софья Николавна проснулась безъ всякаго волненія; она подумала нѣсколько минутъ, бросила взглядъ на вчерашнія свои колебанія и смущенія, и спокойно осталась при своемъ намѣреніи поговорить сначала съ женихомъ и потомъ уже рѣшить дѣло окончательно, смотря по тому впечатлѣнію, какое произведетъ на нее разговоръ съ Алексѣемъ Степанычемъ.

Алексѣй Степанычъ, желая какъ можно скорѣе узнать рѣшеніе судьбы своей, позвалъ доктора и умолялъ вылѣчить его поскорѣе. Докторъ обѣщалъ и на этотъ разъ сдержалъ обѣщаніе. Черезъ недѣлю Алексѣй Степанычъ, правду сказать, худой, блѣдный и слабый, сидѣлъ уже въ гостиной у Софьи Николавны. Взглянувъ на тощую фигуру молодого человѣка, прежде цвѣтущаго румянцемъ здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не такъ рѣзко, не такъ строго, какъ хотѣла. Въ сущности невѣста сказала жениху все то же, что говорила Алакаевой, но прибавила, что она, во-первыхъ, не разстанется съ отцомъ, пока онъ живъ, а во-вторыхъ, что она не будетъ жить въ деревнѣ, а желаетъ жить въ городѣ, именно въ Уфѣ, гдѣ имѣетъ много знакомыхъ, достойныхъ и образованныхъ людей, въ обществѣ которыхъ должна жить съ мужемъ. Въ заключеніе она прибавила, что очень бы желала, чтобъ ея мужъ служилъ и занималъ въ городѣ, хотя не блестящее, но благородное и почетное мѣсто. На всѣ такія предварительныя условія и предъявленія будущихъ правъ жены, Алексѣй Степанычъ отвѣчалъ съ подобострастіемъ, что „всѣ желанія Софьи Николавны для него законъ, и что его счастіе будетъ состоять въ исполненіи ея воли...“ и этотъ отвѣтъ, недостойный мужчины, вѣрный признакъ, что на любовь такого человѣка нельзя положиться, что онъ не можетъ составить счастія женщины,— могъ понравиться такой умной дѣвушкѣ. Поневолѣ должно признать, что въ основаніи ея характера уже лежали сѣмена властолюбія и что въ настоящее время, освобожденныя изъ подъ тяжкаго гнета жестокой мачихи, они дали сильные ростки; что безъ вѣдома самой Софьи Николавны—любовь къ власти была тайною причиною ея рѣшимости. Софья Николавна захотѣла сама прочесть письмо, въ которомъ Алексѣй Степанычъ получилъ позволеніе своихъ родителей искать ея руки. Письмо было въ карманѣ у жениха, и онъ пока-

было 180 душъ, который долженъ былъ получить богатое наслѣдство отъ тетки, который любитъ, боготворитъ ее,—предлагаетъ ей руку и сердце: съ перваго взгляда тутъ нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишкомъ велико. Никто въ городѣ не могъ подумать, чтобъ Софья Николавна вышла за Алексѣя Степаныча. Она очень хорошо понимала справедливость общественнаго мнѣнія и не могла не уважать его. Невѣста—чудо красоты и ума; женихъ, правда бѣлый, розовый, нѣжный (что именно и не нравилось Софьѣ Николавнѣ), но простенькій, не дальній, по мнѣнію всѣхъ, деревенскій дворянчикъ; невѣста бойка, жива; женихъ робокъ и вялъ; невѣста по тогдашнему образованная, чуть не ученая дѣвица, начитанная, понимавшая всѣ высшіе интересы; женихъ совершенный невѣжда, ничего не читавшій, кромѣ двухъ-трехъ глупѣйшихъ романовъ, въ родѣ Любовнаго Вертограда или Аристея и Телазіи, да Русскаго пѣсенника,—женихъ, интересы котораго не простирались далѣе ловли перепеловъ на дудки и соколиной охоты; невѣста остроумна, ловка, блистательна въ свѣтскомъ обществѣ; женихъ не умѣетъ сказать двухъ словъ, неловокъ, застѣнчивъ, смѣшонъ, жалокъ, умѣетъ только краснѣть, кланяться и жаться въ уголъ или къ дверямъ, подалѣе отъ свѣтскихъ говоруновъ, которыхъ просто боялся, хотя по истинѣ многихъ изъ нихъ былъ гораздо умнѣе; невѣста съ твердымъ, надменнымъ, неуступчивымъ характеромъ; женихъ слабый, смирный, безотвѣтный, котораго всякій могъ загонять. Ему ли поддержать, защитить жену въ обществѣ и семействѣ?... Такія противоположныя мысли, взгляды и картины роились, мѣшались, тѣснились въ воображеніи молодой дѣвушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидѣла одна въ гостиной; наконецъ невыразимое смятеніе тоски, страшное сознаніе, что умъ ничего придумать и рѣшить не можетъ, что для него становится все часъ отъ часу темнѣе—обратили ея душу къ молитвѣ. Она побѣжала въ свою комнату молиться и просить свѣта разума свыше, бросилась на колѣни передъ образомъ Смоленской Божьей Матери, нѣкогда чуднымъ знаменіемъ озарившей и указавшей ей путь жизни; она молилась долго, плакала горючими слезами, и мало-по-малу почувствовала какое-то облегченіе, какую-то силу, способность къ рѣшимости, хотя не знала еще, на что она рѣшится; это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотрѣть на

заснувшаго больного своего отца, воротилась въ свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру, Софья Николавна проснулась безъ всякаго волненія; она подумала нѣсколько минутъ, бросила взглядъ на вчерашнія свои колебанія и смущенія, и спокойно осталась при своемъ намѣреніи поговорить сначала съ женихомъ и потомъ уже рѣшить дѣло окончательно, смотря по тому впечатлѣнію, какое произведетъ на нее разговоръ съ Алексѣемъ Степанычемъ.

Алексѣй Степанычъ, желая какъ можно скорѣе узнать рѣшеніе судьбы своей, позвалъ доктора и умолялъ вылѣчить его поскорѣе. Докторъ обѣщалъ и на этотъ разъ сдержалъ обѣщаніе. Черезъ недѣлю Алексѣй Степанычъ, правду сказать, худой, блѣдный и слабый, сидѣлъ уже въ гостиной у Софьи Николавны. Взглянувъ на тощую фигуру молодого человѣка, прежде цвѣтущаго румянцемъ здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не такъ рѣзко, не такъ строго, какъ хотѣла. Въ сущности невѣста сказала жениху все то же, что говорила Алакаевой, но прибавила, что она, во-первыхъ, не разстанется съ отцомъ, пока онъ живъ, а во-вторыхъ, что она не будетъ жить въ деревнѣ, а желаетъ жить въ городѣ, именно въ Уфѣ, гдѣ имѣетъ много знакомыхъ, достойныхъ и образованныхъ людей, въ обществѣ которыхъ должна жить съ мужемъ. Въ заключеніе она прибавила, что очень бы желала, чтобъ ея мужъ служилъ и занималъ въ городѣ, хотя не блестящее, но благородное и почетное мѣсто. На всѣ такія предварительныя условія и предъявленія будущихъ правъ жены, Алексѣй Степанычъ отвѣчалъ съ подобострастіемъ, что „всѣ желанія Софьи Николавны для него законъ, и что его счастіе будетъ состоять въ исполненіи ея воли...“ и этотъ отвѣтъ, недостойный мужчины, вѣрный признакъ, что на любовь такого человѣка нельзя положиться, что онъ не можетъ составить счастія женщины,— могъ понравиться такой умной дѣвушкѣ. Поневолѣ должно признать, что въ основаніи ея характера уже лежали сѣмена властолюбія и что въ настоящее время, освобожденныя изъ подъ тяжкаго гнета жестокой мачихи, они дали сильные ростки; что безъ вѣдома самой Софьи Николавны—любовь къ власти была тайною причиною ея рѣшимости. Софья Николавна захотѣла сама прочесть письмо, въ которомъ Алексѣй Степанычъ получилъ позволеніе своихъ родителей искать ея руки. Письмо было въ карманѣ у жениха, и онъ пока-

залъ его. Софья Николаевна прочла и убѣдилась, что ея догадки о первоначальномъ несогласіи родителей были совершенно справедливы. Молодой человѣкъ не умѣлъ притворяться, и притомъ такъ былъ влюбленъ, что не могъ противиться ласковому взгляду или слову обожаемой красавицы; когда Софья Николавна потребовала полной откровенности, онъ высказалъ ей всю подноготную безъ утайки, и, кажется, эта откровенность окончательно рѣшила дѣло въ его пользу. Мысль воспитать по своему, образовать добродушнаго молодого человѣка, скромнаго, чистосердечнаго, неиспорченнаго свѣтомъ,—забралась въ умную, но все-таки женскую голову Софьи Николавны. Ей представилась плѣнительная картина постепеннаго пробужденія и воспитанія дикаря, у котораго не было недостатка ни въ умѣ, ни въ чувствахъ, погруженныхъ въ непробудный сонъ, — который будетъ еще болѣе любить ее, если это возможно, въ благодарность за свое образованіе. Эта мысль овладѣла пылкимъ воображеніемъ Софьи Николавны, и она очень милостиво отпустила своего хвораго обожателя, обѣщала поговорить съ отцомъ и передать отвѣтъ черезъ Алакаеву. Алексѣй Степанычъ утопалъ въ восторгѣ, по тогдашнему выраженію. Вечеромъ Софья Николавна опять прибѣгла къ молитвѣ; опять молилась долго, восторженно, напряженно; она заснула очень утомленная и ночью видѣла сонъ, который растолковала, какъ слѣдуетъ, въ подтвержденіе своего рѣшенія. Умъ человѣческій все растолкуетъ такъ, какъ ему хочется. Я забылъ этотъ сонъ, но помню, что его можно было растолковать въ противоположную сторону, съ гораздо большимъ основаніемъ и гораздо меньшими натяжками. На слѣдующее утро Софья Николавна немедленно сообщила своему почти умирающему отцу о предложеніи Алексѣя Степаныча. Хотя Николай Ѳедоровичъ почти не зналъ жениха, но у старика какъ-то составилось понятіе о немъ, какъ о человѣкѣ самомъ ничтожномъ. При всемъ пламенномъ желаніи пристроить Соничку при своей жизни, этотъ женихъ (первый, надобно замѣтить) ему не нравился. Но Софья Николавна, съ обыкновенною пылкостью своего ума и убѣдительнымъ краснорѣчіемъ, доказала старику, что не должно пропускать такой партіи. Она высказала ему все, что мы уже знаемъ, въ пользу этого брака, и главное, что не только не разлучится съ нимъ, но и останется жить въ одномъ домѣ. Она такъ живо представила

свое безпомощное состояніе, когда Богу будетъ угодно оставить ее сиротой, что Николай Ѳедоровичъ прослезился и сказалъ: „другъ мой, умница моя Соничка! дѣлай, что тебѣ угодно: я на все согласенъ. Представь же мнѣ поскорѣе своего будущаго жениха; я хочу познакомиться съ нимъ поближе, и также хочу непремѣнно, чтобъ его родители сдѣлали намъ письменное предложеніе".

Софья Николавна написала записку Алакаевой и просила передать Алексѣю Степанычу, что Николай Ѳедоровичъ приглашаетъ его къ себѣ въ такомъ-то часу.

Алексѣй Степанычъ продолжалъ утопать въ блаженствѣ, раздѣляя его только съ покровительницей своей Маврой Павловной; но приглашеніе къ Николаю Ѳедоровичу въ назначенный часъ, приглашеніе, котораго онъ никакъ не ожидалъ, считая старика слишкомъ больнымъ и слабымъ, очень его смутило. Николай Ѳедоровичъ, за отсутствіемъ Намѣстника первое лицо, первая власть въ цѣломъ Уфимскомъ краѣ, Николай Ѳедоровичъ, къ которому онъ и прежде приближался съ благоговѣніемъ—теперь казался ему чемъ-то особенно страшнымъ. Ну, если ему не понравилось намѣреніе чиновника Верхняго Земскаго Суда, 14-го класса, жениться на его дочкѣ? Если онъ сочтетъ дерзостью такое предложеніе, да крикнетъ: „Какъ ты осмѣлился подумать о моей дочери? По тебѣ ли она невѣста? Посадить его подъ караулъ, отдать подъ судъ"... Какъ не дики кажутся такія мысли, но онѣ дѣйствительно пришли тогда въ голову молодому человѣку, о чемъ онъ самъ разсказывалъ впослѣдствіи.—Собравшись съ духомъ, ободряемый словами Алакаевой, Алексѣй Степанычъ напялилъ мундиръ, или вѣрнѣе сказать надѣлъ его на себя, какъ на вѣшалку, потому что очень похудѣлъ, и отправился къ Товарищу Намѣстника. Съ треугольной шляпой подъ мышкой, придерживая дрожащей рукой непослушную шпагу, вошелъ онъ, едва переводя духъ отъ робости, въ кабинетъ больного старика, нѣкогда умнаго, живого и бодраго, но теперь почти недвижимаго, изсохшаго какъ скелетъ, лежащаго уже на смертной постели. Алексѣй Степанычъ отвѣсилъ низкій поклонъ и сталъ у дверного косяка. Уже одинъ этотъ пріемъ заставилъ поморщиться больного хозяина. „Подойдите ко мнѣ поближе, господинъ Багровъ, сядьте возлѣ моей постели. Я слабъ, не могу говорить громко". Алексѣй Степанычъ, со многими поклонами,

присѣлъ на кресло, стоявшее у самой кровати. „Вы ищите руки моей дочери?“ продолжалъ старикъ... Женихъ вскочилъ съ креселъ, поклонился и сказалъ, что точно такъ, что онъ осмѣливается искать этого счастія... Я могъ бы передать весь разговоръ подробно, потому что много разъ слыхалъ, какъ пересказывалъ его изъ слова въ слово Алексѣй Степанычъ; но въ немъ отчасти есть повтореніе того, что мы уже знаемъ, и я боюсь наскучить читателямъ. Сущность дѣла состояла въ томъ, что Николай Ѳедоровичъ разспросилъ молодого человѣка объ его семействѣ, объ его состояніи, объ его намѣреніяхъ относительно службы и мѣста постояннаго жительства; сказалъ ему, что Софья Николавна ничего не имѣетъ, кромѣ приданаго въ 10 тысячъ рублей, двухъ семей людей и трехъ тысячъ наличныхъ денегъ для первоначальнаго обзаведенія; въ заключеніе онъ прибавилъ, что хотя совершенно увѣренъ, что Алексѣй Степанычъ, какъ почтительный сынъ, безъ согласія отца и матери не сдѣлалъ бы предложенія, но что родители его могли передумать и что приличіе требуетъ, что бы они сами написали объ этомъ прямо къ нему, и что до полученія такого письма онъ не можетъ дать рѣшительнаго отвѣта. Алексѣй Степанычъ привставалъ, кланялся, садился, во всемъ соглашался и обѣщалъ завтра же написать къ отцу и къ матери. Черезъ полчаса старикъ сказалъ, что усталъ (это была совершенная правда) и отпустилъ молодого человѣка довольно сухо. По выходѣ его, Софья Николавна въ ту же минуту вошла въ кабинетъ къ отцу: онъ лежалъ съ закрытыми глазами, лицо его выражало утомленіе и вмѣстѣ душевное страданіе. Услыхавъ приближеніе дочери, онъ бросилъ на нее умоляющій взглядъ, сжалъ руки на груди и воскликнулъ: „Соничка, неужели ты пойдешь за него?“ — Софья Николавна знала наперед, какое дѣйствіе произведетъ это свиданіе, и приготовилась даже къ худшему впечатлѣнію. „Я предупреждала васъ, батюшка, сказала она тихо, кротко, но съ твердостью, что по совершенному незнанію свѣтскаго обращенія, по неловкости и робости, Алексѣй Степанычъ съ перваго раза долженъ показаться вамъ дурачкомъ; но я видѣлась съ нимъ много разъ, говорила долго, узнала его коротко и ручаюсь вамъ, что онъ никого не глупѣе, а многихъ гораздо умнѣе. Я прошу васъ поговорить съ нимъ еще раза два, и увѣрена, что вы согласитесь со мною“. Старикъ, долго, пристально,

проницательно посмотрѣлъ на свою дочь, какъ-будто хотѣлъ прочесть что-то сокровенное въ ея душѣ, глубоко вздохнулъ и согласился: вызвать къ себѣ на-дняхъ и поговорить побольше съ молодымъ человѣкомъ.

Алексѣй Степанычъ съ первою почтою написалъ самое нѣжное, самое почтительное письмо къ своимъ родителямъ. Онъ благодарилъ ихъ за то, что они вновь даровали ему жизнь, и униженно просилъ, чтобы они написали поскорѣе письмо къ Николаю Ѳедоровичу Зубину и просили у него руки его дочери для своего сына, прибавляя, что это всегда такъ водится и что Николай Ѳедоровичъ безъ ихъ письма не даетъ рѣшительнаго отвѣта. Исполненіе просьбы столь обыкновенной затруднило стариковъ: они были не сочинители, въ подобныхъ оказіяхъ не бывали и не умѣли приступить къ дѣлу; осрамиться же въ глазахъ Товарища Намѣстника и будущаго свата, вѣрно ученаго дѣльца и писаки,— крѣпко имъ не хотѣлось. Цѣлую недѣлю сочиняли письмо; наконецъ кое-какъ написали и послали его къ Алексѣю Степанычу. Письмо точно было написано неловко, безъ всякихъ вѣжливостей и любезностей, необходимыхъ въ подобныхъ обстоятельствахъ.

Покуда Алексѣй Степанычъ дожидался отвѣта изъ деревни, Николай Ѳедоровичъ пригласилъ его къ себѣ еще два раза. Второе посѣщеніе не поправило невыгоднаго впечатлѣнія, произведеннаго первымъ; но при третьемъ свиданіи присутствовала Софья Николавна, которая, какъ-будто не зная, что женихъ сидитъ у отца, вошла къ нему въ кабинетъ, неожиданно воротясь изъ гостей ранѣе обыкновеннаго. Ея присутствіе все перемѣнило; она умѣла заставить говорить Алексѣя Степаныча, знала, о чемъ онъ можетъ говорить и въ чемъ можетъ выказаться съ выгодной стороны его природный, здравый смыслъ, чистота нравовъ, честность и мягкая доброта. Николай Ѳедоровичъ видимо былъ доволенъ, обласкалъ молодого человѣка и пригласилъ его пріѣзжать какъ можно чаще. Когда Алексѣй Степанычъ ушелъ, старикъ обнялъ свою Соничку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нѣжными именами, назвалъ между прочимъ чародѣйкой, которая силою волшебства умѣетъ вызывать изъ души человѣческой прекрасныя ея качества, такъ глубоко скрытыя, что никто и не подозрѣвалъ ихъ существованія. Софья Николавна была также очень довольна, потому что

и сама не смѣла надѣяться, чтобъ Алексѣй Степанычъ могъ такъ хорошо поддержать ея доброе мнѣніе и оправдать выгодные о немъ отзывы.

Наконецъ письмо, съ формальнымъ предложеніемъ стариковъ, было получено, и Алексѣй Степанычъ лично вручилъ его Николаю Ѳедоровичу. Увы! безъ волшебнаго присутствія и помощи Софьи Николавны, женихъ опять попрежнему не понравился будущему тестю, да и письмомъ остался онъ очень недоволенъ. На слѣдующій день онъ имѣлъ продолжительный разговоръ съ своею дочерью, въ которомъ представилъ ей всѣ невыгоды имѣть мужа ниже себя по уму, по образованію и характеру; онъ сказалъ, что мужнино семейство не полюбитъ ее, даже возненавидитъ, какъ грубое и злое невѣжество всегда ненавидитъ образованность; онъ предостерегалъ, чтобы она не полагалась на обѣщанія жениха, которыя обыкновенно рѣдко исполняются и которыхъ Алексѣй Степанычъ не въ силахъ будетъ исполнить, хотя бы и желалъ. На такія справедливыя замѣчанія и совѣты, почерпнутые прямо изъ жизни, Софья Николавна умѣла возражать съ удивительной ловкостью, и въ то же время умѣла такъ убѣдительно и живо представить хорошую сторону замужества съ человѣкомъ хотя не бойкимъ и не образованнымъ, но добрымъ, честнымъ, любящимъ и не глупымъ, что Николай Ѳедоровичъ былъ увлеченъ ея плѣнительными надеждами и далъ полное согласіе. Софья Николавна съ горячностью обняла отца, поцѣловала его изсохшія руки, подала ему образъ, стала на колѣни у кровати и, проливая ручьи горячихъ слезъ, приняла его благословеніе. „Батюшка! воскликнула съ увлеченіемъ восторженная дѣвушка, я надѣюсь съ Божьею помощью, что чрезъ годъ вы не узнаете Алексѣя Степаныча. Чтеніе хорошихъ книгъ, общество умныхъ людей, безпрестанные разговоры со мною вознаградятъ недостатокъ воспитанія; застѣнчивость пройдетъ и умѣнье держать себя въ свѣтѣ придетъ само собою.“—„Дай Богъ, отвѣчалъ старикъ. Пошли за священникомъ, я хочу помолиться о твоемъ счастьѣ вмѣстѣ съ тобою.“

Въ тотъ же день вечеромъ пригласили Алакаеву съ женихомъ, старинныхъ Зубинскихъ знакомыхъ, Аничкова и Мисайловыхъ, и дали Алексѣю Степанычу слово. Нѣтъ выраженій для описанія блаженства молодого человѣка! Софья

Николавна до глубокой старости вспоминала объ этихъ счастливыхъ для него минутахъ. Алексѣй Степанычъ бросился въ ноги Николаю Ѳедоровичу, цѣловалъ его руки, плакалъ, рыдалъ какъ дитя, едва не упалъ въ обморокъ отъ избытка счастія, которое до послѣдней минуты казалось ему недоступнымъ. Невѣста сама была глубоко тронута такимъ искреннимъ выраженіемъ пламенной, безграничной любви.

Чрезъ два дня назначили официальную помолвку и пригласили весь городъ. Городъ былъ удивленъ, потому что многіе не вѣрили слухамъ: будто Софья Николавна Зубина идетъ за Алексѣя Степановича Багрова. Наконецъ всѣ повѣрили и съѣхались; поздравляли, желали всякаго благополучія и всѣхъ возможныхъ благъ. Женихъ былъ радостенъ и свѣтелъ; онъ не замѣчалъ никакихъ двусмысленностей въ поздравленіяхъ, никакихъ насмѣшливыхъ улыбокъ и взглядовъ; но Софья Николавна все видѣла, все замѣтила, все слышала и понимала, хотя, говоря съ нею, были всѣ осторожны и почтительны. Она знала напередъ, какъ встрѣтитъ общество ея поступокъ, но внутренно не могла не огорчаться выраженіемъ мнѣнія этого общества, чего, конечно, никто не замѣтилъ. Она была весела, ласкова со всѣми, особенно съ женихомъ, и казалась совершенно счастливою и довольною своимъ выборомъ. Вскорѣ жениха съ невѣстою пригласили въ кабинетъ къ Николаю Ѳедоровичу и обручили тамъ при немногихъ свидѣтеляхъ. Старикъ плакалъ во все время, когда священникъ читалъ молитвы. По окончаніи обряда онъ приказалъ жениху съ невѣстою поцѣловаться, обнялъ ихъ горячо и сильно, сколько могъ, и, поглядѣвъ пристально въ лицо Алексѣю Степанычу, сказалъ: „люби ее и всегда такъ, какъ любишь теперь, Богъ даетъ тебѣ такое сокровище....“ Онъ не могъ договорить. Обрученные женихъ и невѣста вышли опять къ гостямъ, въ сопровожденіи присутствовавшихъ при обрученіи. Всѣ мужчины обнимали жениха и цѣловали руку у невѣсты; всѣ дамы обнимали невѣсту и у всѣхъ перецѣловалъ ручки женихъ. Наконецъ, когда кончилась эта суматоха, обрученныхъ посадили рядомъ на диванъ, упросили вновь поцѣловаться и съ бокалами въ рукахъ осыпали ихъ вторичными поздравленіями и добрыми желаніями. Между мужчинами хозяйничалъ С. И. Аничковъ, а между дамами—Алакаева. Алексѣй Степанычъ съ роду не пивалъ ничего кромѣ воды, но его

уговорили выпить бокалъ какого-то вина, которое сильно подѣйствовало на его непривычный организмъ, разстроенный недавнею болѣзнью и постояннымъ волненіемъ души. Онъ сдѣлался необыкновенно живъ, смѣялся, плакалъ и много наговорилъ для потѣхи общества и для огорченія невѣсты. Гости развеселились. За однимъ бокаломъ послѣдовалъ другой, за другимъ третій; подали богатую закуску; всѣ плотно покушали, еще выпили и разъѣхались шумно и весело. У жениха закружилась и заболѣла голова, и Алакаева увезла его домой.

Николай Ѳедоровичъ чувствовалъ себя очень плохо и хотѣлъ какъ можно скорѣй сыграть свадьбу; но какъ въ то же время онъ желалъ, чтобъ приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на нѣсколько мѣсяцевъ. Старинные материнскіе брильянты и жемчуги надобно было передѣлать и перенизать по новому фасону въ Москвѣ, и оттуда же выписать серебро и нѣкоторые наряды и подарки; остальныя же платья, занавѣсь парадной кровати и даже богатый чернобурый салопъ, мѣхъ котораго давно уже былъ купленъ за 500 рублей и котораго теперь не купишь за 5000,—все это было сшито въ Казани; столоваго бѣлья и голландскихъ полотенъ было запасено много. Десять тысячъ, назначенныя на приданое, составляли тогда большую сумму; а какъ много дорогого было припасено заранѣе, то роспись приданаго выходила такъ роскошна и великолѣпна, что, читая ее теперь, трудно повѣрить дешевизнѣ восьмидесятыхъ годовъ прошедшаго столѣтія.

Первымъ дѣломъ, послѣ обрученія и помолвки, были рекомендательныя письма ко всѣмъ роднымъ жениха и невѣсты. Софья Николавна, владѣвшая между прочимъ особеннымъ дарованіемъ писать краснорѣчиво, написала такое письмо къ будущему свекру и свекрови, что Степанъ Михайловичъ, хотя былъ не сочинитель и не писака, но весьма оцѣнилъ письмо будущей своей невѣстки. Выслушавъ его съ большимъ вниманіемъ, онъ взялъ его изъ рукъ Танюши и, съ удовольствіемъ замѣтивъ четкость руки невѣсты, самъ прочелъ письмо два раза и сказалъ: „Ну, умница и должна быть горячая душа!“ Вся семья злилась и молчала; одна Александра Степановна не вытерпѣла и, сверкая круглыми, выкатившимися отъ бѣшенства зрачками, сказала:

„Что и говорить, батюшка, книжница: мягко стелетъ, да каково-то будетъ спать.“ Но старикъ грозно взглянулъ на нее и зловѣщимъ голосомъ сказалъ: „А почемъ ты знаешь? Ничего не видя, ужъ ты коришь! Смотри! держи языкъ за зубами и другихъ у меня не мути.“ Послѣ такихъ словъ, всѣ пришипились и, разумѣется, еще болѣе возненавидѣли Софью Николавну. Степанъ Михайловичъ, подъ вліяніемъ теплаго и ласковаго письма, взялъ самъ перо въ руки и, вопреки всякимъ церемоніямъ, написалъ слѣдующее:

„Милая моя, дорогая и разумная будущая невѣстушка.

„Если ты насъ стариковъ такъ заочно полюбила и уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданьи, Богъ дастъ, и еще больше полюбимъ, и будешь ты намъ какъ родная дочь, и будемъ мы радоваться счастію нашего сына Алексѣя.“

Софья Николавна также по достоинству оцѣнила простую рѣчь старика; она уже прежде, по однимъ разсказамъ, полюбила его заочно. Родныхъ у невѣсты не было и писать ея жениху было не къ кому. Но она захотѣла, чтобъ Алексѣй Степанычъ написалъ рекомендательное письмо къ ея заочному другу и покровителю ея братьевъ, А. Ѳ. Аничкову; разумѣется, женихъ съ радостью согласился исполнить ея желаніе. Софья Николавна не слишкомъ надѣялась на умѣнье Алексѣя Степаныча объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. Боже мой, что прочла она въ этомъ письмѣ! Алексѣй Степанычъ, много наслышавшись объ Аничковѣ, вздумалъ написать витіевато, позаимствовался изъ какого-нибудь тогдашняго романа и написалъ двѣ страницы такихъ фразъ, отъ которыхъ, при другихъ обстоятельствахъ, Софья Николавна расхохоталась бы, но теперь.... кровь бросилась ей въ голову, и потомъ слезы хлынули изъ ея глазъ. Успокоившись, она сначала не знала, какъ ей быть, какъ выйти изъ этого затруднительнаго положенія? Впрочемъ, она думала недолго, написала черновое письмо отъ жениха къ Аничкову и сказала Алексѣю Степанычу, что, по непривычкѣ къ перепискѣ съ незнакомыми людьми, онъ написалъ такое письмо, которое могло бы не понравиться Аничкову, и потому она написала черновое и проситъ его переписать и послать по адресу. Ей было совѣстно и больно и оскорбительно за своего жениха, голосъ ея слегка дрожалъ, и она едва владѣла собою; но женихъ чрезвычайно обрадовался такому предложенію;

выслушавъ письмо, воспитанница имъ, улыбалася сочинительницѣ и покрывала поцѣлуями ея руки. Тяжелъ первый шагъ къ неуваженію будущаго своего супруга и къ осуществленію мысли повелѣвать имъ по произволу....

Зная, что у стариковъ мало денегъ и что они по неволѣ скупы на нихъ, Алексѣй Степанычъ написалъ просительное письмо къ своимъ родителямъ съ самымъ умѣреннымъ требованіемъ денегъ, и для подкрѣпленія своихъ словъ упросилъ Алакаеву, чтобы она написала къ Степану Михайловичу и удостовѣрила въ справедливой просьбѣ сына и въ необходимости издержекъ для предназначенной свадьбы; онъ просилъ всего 800 рублей, но Алакаева требовала 1,500 рублей. Старики отвѣчали сыну, что у нихъ такихъ денегъ нѣтъ и что они посылаютъ ему послѣдніе 300 рублей, а 500 рублей, если они ужъ необходимы, предоставляли ему у кого-нибудь занять; но прибавляли, что пришлютъ ему четверку лошадей, кучера, форейтора и всякихъ съѣстныхъ припасовъ. На Алакаеву же старики разсердились за требованіе такой огромной суммы и не отвѣчали ей. Дѣлать было нечего; Алексѣй Степанычъ поблагодарилъ за милости своихъ родителей и занялъ 500 рублей, но какъ этихъ денегъ не достало, то Алакаева дала ему еще своихъ 500 рублей, тайно отъ его стариковъ.

Между тѣмъ свиданія жениха съ невѣстой становились чаще, продолжительнѣе, а разговоры откровеннѣе. Тутъ только увидала Софья Николавна, какъ много будетъ ей работы въ будущемъ, тутъ только она вполнѣ разглядѣла своего жениха! Она не ошиблась въ томъ, что онъ имѣлъ отъ природы хорошій умъ, предоброе сердце и строгія правила честности и служебнаго безкорыстія, но за то во всемъ другомъ нашла она такую ограниченность понятій, такую мелочность интересовъ, такое отсутствіе самолюбія и самостоятельности, что неробкая душа ея и твердость въ исполненіи дѣла, на которое она уже рѣшилась, не одинъ разъ сильно колебались; не одинъ разъ приходила она въ отчаяніе, снимала съ руки обручальное кольцо, клала его передъ образомъ Смоленскія Божьей Матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просвѣтить ея слабый умъ. Такъ поступала она, что мы уже знаемъ, во всѣхъ трудныхъ обстоятельствахъ своей жизни. Послѣ молитвы Софья Николаевна чувствовала себя какъ-то бодрѣе и спокойнѣе, при-

нимала это чувство за указаніе свыше, надѣвала обручальное кольцо и выходила въ гостиную къ своему жениху спокойная и веселая. Больной ея отецъ чувствовалъ себя часъ-отъ-часу хуже и слабѣе; дочь умѣла его увѣрить, что она съ каждымъ днемъ открываетъ новыя достоинства въ своемъ женихѣ, что она совершенно довольна и надѣется быть счастливою замужемъ. Тяжкій недугъ уже омрачалъ ясность взгляда Николая Ѳедоровича; онъ не только вѣрилъ искренности своей дочери, но и самъ убѣждался, что его Соничка будетъ счастлива и часто говорилъ: „Слава Богу, теперь мнѣ легко умереть.“

Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Женихъ также приготовился, благодаря совѣтамъ Алакаевой, которая совершенно взяла его въ руки. Умная старуха сама не подозрѣвала, до какой степени Алексѣй Степанычъ не зналъ и не понималъ приличій въ общественной жизни. Безъ нея онъ надѣлалъ бы такихъ промаховъ, отъ которыхъ невѣста не разъ сгорѣла бы со стыда. Напримѣръ, онъ хотѣлъ подарить ей въ день имянинъ такой матеріи на платья, какую можно подарить только ея горничной; онъ думалъ ѣхать къ вѣнцу въ какой-то старинной повозкѣ на пазахъ, которая возбудила бы смѣхъ въ цѣломъ городѣ, и пр. и проч. Оно въ сущности ничего не значитъ, но видѣть своего жениха посмѣшищемъ уфимскаго моднаго свѣта было бы слишкомъ тяжело для Софьи Николавны. Разумѣется, все это было поправлено Алакаевой, или, лучше сказать, самой невѣстой, потому что старуха обо всемъ совѣтовалась съ нею. Софья Николавна заранѣе объявила жениху, чтобъ онъ и не думалъ дарить ее въ имянины, потому что она терпѣть не можетъ имянинныхъ подарковъ. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что привезенную изъ Петербурга однимъ уфимскимъ помѣщикомъ, Мурзахановымъ, успѣвшимъ промотаться и проиграться въ нѣсколько мѣсяцевъ. За карету было заплачено 350 рублей ассигнаціями. Софья Николавна отдала за нее свои деньги и прислала въ подарокъ жениху отъ имени своего отца, запретивъ ему безпокоить своей благодарностью умирающаго старика. Такъ улаживались и другія затрудненія. Алексѣй Степанычъ и Софья Николавна написали отъ себя и отъ имени Николая Ѳедоровича письмо къ Степану Михайловичу и Аринѣ Васильевнѣ, убѣдительно

прося ихъ осчастливить своимъ пріѣздомъ на свадьбу. Зажившіеся въ деревнѣ и одичавшіе старики, разумѣется, не поѣхали: городъ и городское общество представлялись имъ чѣмъ-то чуждымъ и страшнымъ. Изъ дочерей также никто не хотѣлъ ѣхать; но Степану Михайловичу показалось это не ловкимъ и онъ приказалъ отравиться на свадьбу Елизаветѣ и Александрѣ Степановнамъ. Ерлыкинъ находился на службѣ въ Оренбургѣ, а Иванъ Петровичъ Каратаевъ сопровождалъ свою супругу въ Уфу. Прибытіе этихъ незванныхъ и неожиданныхъ гостей надѣлало много огорченій Софьѣ Николавнѣ. Будущія ея золовки, отъ природы очень умныя и хитрыя, расположенныя враждебно, держали себя съ нею холодно, непріязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николавна слишкомъ хорошо угадывала, какого расположенія можно ей было ждать отъ сестеръ своего жениха, тѣмъ не менѣе она сочла за долгъ быть сначала съ ними ласковою и даже предупредительною; но увидя, наконецъ, что всѣ ея старанія напрасны и что чѣмъ лучше она была съ ними, тѣмъ хуже онѣ становились съ нею,—она отдалилась и держала себя въ границахъ свѣтской холодной учтивости, которая не защищала ее однако отъ этихъ подлыхъ намековъ и обиняковъ, которыхъ нельзя не понять, которыми нельзя не оскорбляться, и которые понимать и которыми оскорбляться въ то же время неловко, потому что сейчасъ скажутъ: „на ворѣ шапка горитъ“. Отвратительное оружіе намековъ и обиняковъ, выгнанное образованностью въ общество мѣщанъ, горничныхъ и лакеевъ, было тогда оружіемъ страшнымъ и общеупотребительнымъ въ домахъ деревенскихъ помѣщиковъ, по большей части весьма близкихъ съ своей прислугой и нравами, и образованіемъ. Да еще правду ли я сказалъ, что оно выгнано? Не живетъ ли оно и теперь въ насъ, сокрытое подъ другими, болѣе приличными, болѣе искусственными формами? Разумѣется, всему уфимскому обществу показались сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обашкирившагося и всегда начинавшаго съ восьми часовъ утра тянуть желудочный травникъ, то онъ при первой рекомендаціи чмокнулъ три раза ручку у Софьи Николавны и съ одушевленіемъ истиннаго Башкирца воскликнулъ: „ну, какую кралечку подцѣпилъ братъ Алексѣй!“ Много переглотала Софья Николавна слезъ отъ злобныхъ выходокъ будущихъ своихъ золовокъ и грубыхъ *шутокъ* и любезностей будущаго свояка. Всего прискорбнѣе

было то, что Алексѣй Степанычъ ничего не примѣчалъ и, казалось, былъ очень доволенъ обращеніемъ своихъ сестеръ съ Софьей Николавной, и, конечно это ее не только огорчало въ настоящемъ, но и пугало въ будущемъ. Ядовитыя эти змѣи, остановясь у брата въ домѣ, съ первой же минуты начали вливать свой ядъ въ его простую душу и дѣлали это такъ искусно, что Алексѣй Степанычъ не подозрѣвалъ ихъ ухищреній. Тысячи намековъ на гордость его невѣсты, на ея нищенство, прикрывающееся золотомъ и парчею, на его подчиненность волѣ и прихотямъ Софьи Николавны, безпрестанно раздавались въ его ушахъ; многаго онъ не замѣчалъ, не понималъ, но многое попадало прямо въ цѣль, смущало его умъ и безсознательно заставляло задумываться. Всѣ эти уловки, а иногда и открытыя нападенія, прикрывались видомъ участія и родственной любви. „Что это, братецъ, какъ ты худъ? говорила Елизавета Степановна. Ты совсѣмъ измучился, исполняя приказанія Софьи Николавны. Вотъ теперь, ты только что воротился изъ Голубиной слободки [1]), усталъ, проголодался, и ничего не покушавши, скачешь опять на дежурство къ невѣстѣ. Вѣдь мы тебѣ родныя, вѣдь намъ тебя жалко...“ и притворныя слезы, или по крайней мѣрѣ морганье глазами и утиранье ихъ платкомъ, довершали вкрадчивую рѣчь.—„Нѣтъ, бѣшено врывалась въ разговоръ Александра Степановна, не могу утерпѣть. Я знаю, ты осердишься, братецъ, а можетъ быть и разлюбишь насъ; такъ видно угодно Богу; но я скажу тебѣ всю правду: ты совсѣмъ перемѣнился; ты насъ стыдишься, ты насъ совсѣмъ забылъ; у тебя только и на умѣ, какъ бы лизать ручки у Софьи Николавны, да какъ бы не проштрафиться передъ нею. Вѣдь ты сдѣлался ея слугой, крѣпостнымъ слугой! Каково намъ видѣть, что ужъ и эта старая вѣдьма Алакаева помыкаетъ тобой, какъ холопомъ: поѣзжай туда, то-то привези, объ этомъ-то справься... да приказываетъ еще все дѣлать проворнѣе, да еще изволитъ выговоры давать; а насъ и въ грошъ не ставитъ, ни о чемъ съ нами и посовѣтоваться не хочетъ...“ Алексѣй Степанычъ не находилъ словъ для возраженія, и говорилъ только, что онъ сестрицъ своихъ любитъ и всегда будетъ любить, и что ему пора ѣхать къ Софьѣ Николавнѣ; послѣ чего бралъ шляпу и поспѣшно

[1]) Отдаленная улица въ Уфѣ.

уходилъ. „Да, бѣги, бѣги поскорѣе, кричала ему вслѣдъ бѣшеная Александра Степановна, а то прогнѣвается, да еще ручки не пожалуетъ.“ Подобныя явленія повторялись не одинъ разъ и, конечно, производили свое впечатлѣніе. Софья Николавна не могла не замѣтить, что пріѣздъ сестрицъ Алексѣя Степаныча произвелъ въ немъ нѣкоторую перемѣну. Онъ казался смущеннымъ, не съ такою точностью исполнялъ свои обѣщанія и даже менѣе проводилъ съ ней время. Софья Николавна очень хорошо понимала настоящую причину; къ тому же Алакаева, съ которою вошла она въ короткія и дружескія отношенія и которая знала все, что дѣлается на квартирѣ у Алексѣя Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными свѣдѣніями. Софья Николавна, по своей пылкой и страстной природѣ, не любила откладывать дѣла въ долгій ящикъ. Она справедливо разсуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному вліянію сестрицъ, что необходимо открыть глаза ея жениху и сдѣлать рѣшительное испытаніе его характеру и привязанности, и что если и то и другое окажется слишкомъ слабымъ, то лучше разойтись передъ вѣнцомъ, нежели соединить судьбу свою съ такимъ ничтожнымъ существомъ, которое, по ея собственному выраженію, „отъ солнышка не защита и отъ дождя не епанча“. Рано утромъ она вызвала къ себѣ жениха, затворилась съ нимъ въ гостиной, не приказала никого принимать и обратилась къ испуганному и поблѣднѣвшему Алексѣю Степанычу съ слѣдующими словами: „Послушайте, я хочу объясниться съ вами откровенно, сказать вамъ все, что у меня лежитъ на сердцѣ, и отъ васъ требую того же. Сестрицы ваши меня терпѣть не могутъ и употребили всѣ старанія, чтобъ возстановить противъ меня вашихъ родителей. Я знаю все это отъ васъ самихъ. Ваша любовь ко мнѣ преодолѣла всѣ препятствія: родители дали вамъ свое благословеніе и я рѣшилась за васъ выйти, не побоявшись ненависти цѣлой семьи. Я надѣялась найти себѣ защиту въ вашей ко мнѣ любви и въ моемъ стараніи доказать вашимъ родителямъ, что я не заслуживаю ихъ непріязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видѣли, какъ я приняла вашихъ сестрицъ, какъ я ласкалась, какъ я старалась угодить имъ. Онѣ заставили меня удалиться своими грубостями, но я не разу не сдѣлала имъ ни малѣйшей невѣжливости. Что же изъ этого вышло? Прошла только одна недѣля, какъ пріѣхали ваши сестри-

цы, и вы уже много перемѣнились ко мнѣ: вы забываете, или не смѣете иногда исполнять того, что мнѣ обѣщали, вы менѣе проводите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы даже не такъ ласковы ко мнѣ, какъ было прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы не честно съ вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили; но вы боитесь показывать мнѣ свою любовь, боитесь вашихъ сестеръ и потому смущаетесь и даже избѣгаете случаевъ оставаться со мной наединѣ. Это все совершенная правда, вы сами это знаете. И такъ скажите, какую надежду могу я имѣть на твердость вашей любви? Да и что это за любовь, которая струсила и прячется отъ того, что невѣста ваша не нравится вашимъ сестрицамъ, о чемъ вы давно знаете? Что же будетъ, если я не понравлюсь вашимъ родителямъ и если они косо на меня посмотрятъ? Да вы разлюбите меня въ самомъ дѣлѣ! Нѣтъ, Алексѣй Степанычъ, благородные люди не такъ любятъ и не такъ поступаютъ. Зная, что меня терпѣть не могутъ ваши родные, вы должны были удвоить при нихъ ваше вниманіе, нѣжность и уваженіе ко мнѣ—тогда они не осмѣлились бы и рта разинуть; а вы допустили ихъ говорить вамъ въ глаза оскорбительныя слова. Я все знаю, что онѣ говорятъ вамъ. Я заключаю изъ всего этого, что любовь ваша пустое нѣжничанье, что на васъ нельзя положиться и что намъ лучше разстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моихъ словахъ. Я даю вамъ два дня, чтобы ихъ обдумать. Продолжайте ѣздить къ намъ, но два дня я не буду видѣться съ вами наединѣ и не стану поминать объ этомъ разговорѣ; потомъ спрошу васъ по совѣсти, какъ честнаго человѣка: имѣете ли вы довольно твердости, чтобы быть моимъ защитникомъ противъ вашихъ родныхъ и всѣхъ, кто вздумалъ бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить вашихъ сестеръ не обижать меня ни заочно, ни въ вашемъ присутствіи, ни однимъ словомъ, ни однимъ оскорбительнымъ намекомъ? Хотя разрывъ за недѣлю до свадьбы, для всякой благовоспитанной дѣвушки, большое несчастіе, но лучше перенести его разомъ, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена въ васъ, но я начинала любить васъ и, конечно, полюбила бы сильнѣе и постояннѣе, чѣмъ вы. Прощайте! сегодня и завтра мы чужіе“. Алексѣй Степанычъ, давно заливавшійся слезами и нѣсколько разъ порывавшійся что-то сказать, не успѣлъ разинуть

рта, какъ невѣста ушла и заперла за собою дверь. Какъ громомъ пораженный, Алексѣй Степанычъ не вдругъ пришелъ въ себя. Наконецъ мысль потерять обожаемую Софью Николавну представилась ему съ поразительною ясностью, ужаснула его и вызвала то мужество, ту энергію, къ которой бываютъ способны, на короткое время, люди самаго слабаго, самаго кроткаго права. Онъ поспѣшно отправился домой, и когда его сестрицы, нисколько не сжалившись надъ огорченнымъ и разстроеннымъ видомъ братца, встрѣтили его обычными злобными шуточками,—Алексѣй Степанычъ пришелъ въ изступленіе и задалъ имъ такую выпалку, что онѣ перепугались. Человѣкъ добрый, тихій и терпѣливый бываетъ страшенъ въ гнѣвѣ. Алексѣй Степанычъ сказалъ между прочимъ своимъ сестрамъ, что „если онѣ осмѣлятся еще сказать при немъ хотя одно оскорбительное слово объ его невѣстѣ, или насчетъ его самого, то онъ въ ту же минуту переѣдетъ на другую квартиру, не велитъ ихъ пускать ни къ себѣ, ни къ невѣстѣ, и обо всемъ напишетъ къ батюшкѣ“. Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: „держи языкъ за зубами и другихъ у меня не мути“. Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы отъ жалобы братца и какихъ страшныхъ послѣдствій могла она ожидать. Обѣ сестры кинулись на шею Алексѣя Степаныча, просили прощенья, плакали, крестились и божились, что впередъ этого никогда не будетъ, что онѣ сами смерть какъ любятъ Софью Николавну и что только изъ жалости къ его здоровью, для того, чтобы онъ меньше хлопоталъ, онѣ позволяли себѣ такія глупыя шутки. Въ тотъ же день поѣхали онѣ къ Софьѣ Николавнѣ, лебезили передъ ней и ласкались самымъ униженнымъ образомъ. Она очень хорошо поняла, что это значитъ и—торжествовала. Положеніе несчастнаго жениха было поистинѣ достойно сожалѣнія. Его любовь, нѣсколько успокоившаяся, пріутихшая отъ частыхъ свиданій и простого, ласковаго обращенія Софьи Николавны, отъ увѣренности въ близости свадьбы, нѣсколько запуганная и какъ будто пристыженная насмѣшками сестеръ — вспыхнула съ такой яростью, что въ настоящую минуту онъ былъ способенъ на всякое самоотверженіе, на всякій отчаянный поступокъ, пожалуй—на геройство. Все это ярко выражалось на его молодомъ и прекрасномъ лицѣ, и съ такимъ-то лицомъ нѣсколько разъ являлся онъ передъ Софьей Николавной въ продолженіи

этихъ безконечныхъ двухъ дней. Тяжело было ей смотрѣть на него, но она имѣла твердость выдержать назначенный искусъ. Она сама не ожидала того сердечнаго волненія и тоскливой жалости, которыя испытала въ это время. Она почувствовала, что уже любитъ этого смиреннаго, простого молодого человѣка, безгранично ей преданнаго, который не задумался бы прекратить свою жизнь, если-бъ она рѣшилась отказать ему!.. Наконецъ прошли и эти долгіе два дня. На третій, рано поутру, Алексѣй Степанычъ дожидался своей невѣсты въ гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николавна прекраснѣе, очаровательнѣе, чѣмъ когда-нибудь, съ легкою улыбкою и съ выраженіемъ въ глазахъ такого нѣжнаго чувства, что, взглянувъ на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексѣй Степанычъ отъ избытка сильнаго чувства обезумѣлъ, на мгновеніе потерялъ употребленіе языка... но вдругъ опомнившись, не принимая руки, онъ упалъ къ ногамъ своей невѣсты, и потокъ горячаго сердечнаго краснорѣчія, сопровождаемый слезами, полился изъ его груди. Софья Николавна не дала ему кончить, она подняла его, сказала ему: что она видитъ, чувствуетъ и раздѣляетъ любовь его, вѣритъ всѣмъ его обѣщаніямъ, и безъ страха вручаетъ ему свою судьбу. Она приласкала его такъ, какъ никогда не ласкала, и сказала нѣсколько такихъ нѣжныхъ словъ, какихъ никогда не говорила...

Только пять дней оставалось до свадьбы. Всѣ приготовленія были совершенно кончены, и женихъ и невѣста, свободные отъ хлопотъ, почти не разставались. Уже пять мѣсяцевъ Софья Николавна была невѣстой Алексѣя Степаныча, и во все это время, вѣрная своему намѣренію перевоспитать своего жениха, невѣста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему тѣ нравственныя понятія, которыхъ у него не доставало, уяснять и развивать то, что онъ чувствовалъ и понималъ темно, безсознательно, и уничтожать такія мысли, которыя забрались ему въ голову отъ окружающихъ его людей; она даже заставляла его читать книги, и потомъ, разговаривая съ нимъ о прочитанномъ, съ большимъ искусствомъ объясняла все, смутно или превратно понятое, утверждая все шаткое и примѣняя вымышленное къ дѣйствительной жизни. Но едва ли во всѣ эти пять хлопотливыхъ мѣсяцевъ успѣла Софья Николавна высказать такъ много новаго, какъ въ эти пять дней; по

случаю же недавняго, сейчасъ мною разсказаннаго происшествія, поднявшаго, изощрившаго, такъ сказать, душу жениха, все было принято Алексѣемъ Степанычемъ съ особеннымъ сочувствіемъ. Каковъ вообще былъ успѣхъ этого курса нравственной педагогики — я рѣшить на себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнѣнія обѣихъ особъ, о которыхъ я говорю, но онѣ впослѣдствіи согласно утверждали, ссылаясь на отзывъ постороннихъ людей, что въ Алексѣѣ Степанычѣ произошла великая перемѣна, что онъ точно переродился. Я охотно готовъ этому вѣрить; но имѣю доказательство, что въ знаніи свѣтскихъ приличій успѣхи Алексѣя Степаныча были не такъ велики. Я знаю, что онъ разсердилъ свою невѣсту наканунѣ свадьбы и что ея вспыльчивость произвела сильное и болѣзненное впечатлѣніе на кроткую его душу. Вотъ какъ это происходило: у Софьи Николавны сидѣли двѣ значительныя уфимскія дамы; вдругъ входитъ лакей съ какимъ-то бумажнымъ свертком, подаетъ Софьѣ Николавнѣ и докладываетъ, что Алексѣй Степанычъ прислалъ это съ кучеромъ и приказалъ, „чтобы вы поскорѣе сдѣлали чепецъ для Александры Степановны“. Не предупрежденная ни однимъ словомъ жениха, который только за полчаса съ нею разстался, Софья Николавна вспыхнула отъ досады. Значительныя дамы, будто бы подумавшія сначала, что этотъ свертокъ подарокъ отъ жениха, не хотѣли скрыть своихъ улыбокъ, и невѣста, не совладѣвъ съ собою, приказала отнести посылку назадъ, и сказать Алексѣю Степанычу: „чтобы онъ обратился къ чепечницѣ, и вѣрно по ошибкѣ принесли къ ней эту работу“. Дѣло происходило весьма просто: женихъ, воротясь домой, нашелъ свою сестру въ большомъ затрудненіи, потому что мастерица, которая взялась сдѣлать ей для свадьбы парадный чепчикъ, вдругъ захворала и прислала назадъ весь матеріалъ. Алексѣй Степанычъ, видѣвшій своими глазами, какъ искусно его невѣста дѣлала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказалъ Никаноркѣ отнесть къ Софьѣ Николавнѣ вышеупомянутый свертокъ и покорнѣйше просить ее, чтобы она сдѣлала чепчикъ для Александры Степановны. Никанорка не пошелъ самъ за недосугомъ и послалъ кучера, а кучеръ вмѣсто покорнѣйшей просьбы передалъ приказаніе. Алексѣй Степанычъ поспѣшилъ къ невѣстѣ для объясненія и взялъ съ собою опять тотъ же несчастный свертокъ. Софья Николавна, не простывшая еще

отъ первой вспышки, увидя жениха, входящаго съ знакомымъ ей сверткомъ бумаги, вспылила еще больше и наговорила много лишнихъ, горячихъ и оскорбительныхъ словъ. Женихъ смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николавна отослала матеріалъ для чепчика къ какой-то извѣстной ей женщинѣ и, раскаявшись въ своей горячности, старалась ее поправить; но, къ удивленію своему, Алексѣй Степанычъ не могъ забыть оскорбленія, смѣшаннаго съ какимъ-то страхомъ; онъ сдѣлался очень печаленъ, и напрасно старалась невѣста успокоить и развеселить его.

Наступило 10-е мая 1788 года, день, назначенный для свадьбы. Женихъ пріѣхалъ къ невѣстѣ поутру, и Софья Николавна, уже встревоженная наканунѣ, къ огорченію своему увидѣла, что вчерашнее грустное выраженіе не сошло съ лица Алексѣя Степаныча. Она сама, въ свою очередь, огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексѣй Степанычъ не будетъ помнить себя отъ радости въ тотъ день, когда поведетъ ее къ вѣнцу; а онъ является невеселымъ и даже грустнымъ! Она сказала это своему жениху, и тѣмъ смутила его еще больше. Разумѣется, онъ старался увѣрить ее, что считаетъ себя блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ и проч., но надутыя и пошлыя слова, произносимыя и прежде много разъ и выслушиваемыя съ удовольствіемъ, теперь, не проникнутыя смысломъ внутренняго одушевленія, непріятно отозвались въ слухѣ невѣсты. Черезъ нѣсколько времени они разстались съ тѣмъ, чтобы увидѣться уже въ церкви, гдѣ въ шесть часовъ вечера женихъ долженъ былъ ожидать невѣсту.

Страшное сомнѣніе возникло въ душѣ Софьи Николавны: будетъ ли счастлива она замужемъ? Много темныхъ пророческихъ мыслей пробѣжало въ ея пылкомъ умѣ. Она обвиняла себя за горячность, за рѣзкія выраженія; сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидѣть множество подобныхъ промаховъ своего жениха и принимать ихъ спокойно. Они уже и случались не одинъ разъ, но тутъ несчастное стеченіе обстоятельствъ, присутствіе посторонних дамъ, съ которыми она была въ непріязненныхъ отношеніяхъ, укололо ея самолюбіе и раздражило ея природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексѣя Степаныча, каялась въ своей винѣ и въ то же время сознавалась въ глубинѣ своей души, что способна провиниться опять.

Тутъ снова представилась ей вся трудность взятаго на себя подвига: перевоспитаніе, пересозданіе уже двадцати-семилѣтняго человѣка. Цѣлая жизнь, долгая жизнь съ мужемъ неровней, котораго она при всей любви не можетъ вполнѣ уважать, безпрестанное столкновеніе совсѣмъ различныхъ понятій, противоположныхъ свойствъ, наконецъ частое непониманіе другъ друга.... и сомнѣніе въ успѣхѣ, сомнѣніе въ собственныхъ силахъ, въ спокойной твердости, столько чуждой ея нраву, впервые представилось ей въ своей поразительной истинѣ и ужаснуло бѣдную дѣвушку!... Но что же дѣлать? Неужели разорвать свадьбу предъ самымъ вѣнцомъ, поразить своего умирающаго отца, привыкшаго къ успокоительной мысли, что его Соничка будетъ счастлива за добрымъ человѣкомъ? Неужели потѣшить всѣхъ своихъ недоброжелателей, особенно значительныхъ дамъ? Сдѣлаться баснею, шуткою города и цѣлаго края, можетъ быть подвергнуться клеветамъ? Наконецъ, убить, въ настоящемъ значеніи слова убить, страстно любящаго ее жениха? и все это изъ одного опасенія, что у ней не достанетъ твердости къ выполненію давно обдуманнаго плана, который начиналъ уже блистательно осуществляться? „Нѣтъ, не бывать тому! Богъ поможетъ мнѣ, Смоленская Божія Матерь будетъ моей заступницей и подастъ мнѣ силы обуздать мой вспыльчивый нравъ...“ такъ думала и такъ рѣшила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость.

Церковь Успенія Божіей Матери находилась очень близко отъ дома невѣсты и стояла тогда на пустырѣ. Задолго до шести часовъ она окружена была толпою любопытнаго народа. Высокій крыльцъ Зубинскаго дома, выходившій на улицу, обставился экипажами тѣхъ особъ, которыя были приглашены провожать невѣсту; остальное общество съѣзжалось прямо въ церковь. Невѣсту одѣвали къ вѣнцу. Маленькій братъ, трехлѣтній Николинька, котораго рожденіе стоило жизни его матери, обувалъ Софью Николавну по принятому обычаю, разумѣется, съ помощью горничныхъ. Въ исходѣ шестаго часа невѣста уже была готова и, принявъ благословеніе отца, вышла въ гостиную. Богатый подвѣнечный нарядъ придавалъ еще болѣе блеску ея красотѣ. Дорога отъ дома жениха въ церковь лежала мимо самыхъ оконъ гостиной, и Софья Николавна видѣла, какъ онъ проѣхалъ туда въ англійской Мурзахановской каретѣ на четверкѣ славныхъ доморощенныхъ лошадей;

она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексѣю Степанычу, который, высунувшись изъ кареты, глядѣлъ въ растворенныя окна дома. Проѣхали также сестры жениха, Алакаева и всѣ мужчины, провожавшіе его въ церковь. Невѣста не хотѣла, чтобы женихъ дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ѣхали немедленно. Софья Николавна спокойно и твердо вошла въ церковь; ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидѣвъ на его лицѣ то же грустное выраженіе, и всѣ замѣтили, что женихъ и невѣста были не веселы подъ вѣнцомъ. Церковь была ярко освѣщена и полна народа; архіерейскіе пѣвчіе не щадили своихъ голосовъ. Свадьба во всѣхъ отношеніяхъ была парадна и великолѣпна. По окончаніи обряда, сестры, весь поѣздъ съ обѣихъ сторонъ и также лучшая уфимская публика сопровождали молодыхъ въ домъ къ Николаю Ѳедоровичу. Тамъ немедленно начались и продолжались танцы до богатаго, но ранняго ужина. Всѣ гости, имѣвшіе право входить къ Николаю Ѳедоровичу въ кабинетъ, перебывали у него и поздравили со вступленіемъ въ бракъ его дочери. На другой и слѣдующіе дни происходило все то, что обыкновенно при такихъ случаяхъ бываетъ, то-есть, обѣдъ, балъ, визиты, опять обѣдъ и опять балъ: однимъ словомъ, все точно такъ, какъ водится и теперь, даже въ столицахъ.

Грустная тѣнь давно слетѣла съ лица молодыхъ. Они были совершенно счастливы. Добрые люди не могли смотрѣть на нихъ безъ удовольствія и часто повторялись слова: „какая прекрасная пара!“ Черезъ недѣлю молодые собирались ѣхать въ Багрово, куда сестры Алексѣя Степаныча уѣхали черезъ три дня послѣ свадьбы. Софья Николавна написала съ ними ласковое письмо къ старикамъ.

Сестры Алексѣя Степаныча, послѣ неожиданной вспышки братца, держали себя въ послѣднее время осторожно: не позволяли при немъ себѣ никакихъ намековъ, ужимокъ и улыбокъ, а передъ Софьей Николавной были даже искательны; но, разумѣется, этимъ нисколько ее не обманули: за то братецъ повѣрилъ отъ души ихъ искреннему расположенію къ невѣстѣ. На свадьбѣ и на праздникахъ послѣ свадьбы, разумѣется, онѣ играли жалкія роли, а потому поспѣшили уѣхать. Воротясь домой, то-есть, къ Степану Михайловичу, онѣ рѣшились дѣйствовать осторожно и не показывать передъ старикомъ своей враждебности къ Софьѣ Николавнѣ, но за то

Аринѣ Васильевнѣ и двумъ своимъ сестрамъ расписали онѣ такими красками свадьбу и все тамъ происходившее, что поселили въ нихъ сильное предубѣжденіе и неблагорасположеніе къ невѣсткѣ. Онѣ не забыли разсказать объ изступленномъ гнѣвѣ и угрозахъ Алексѣя Степаныча за ихъ выходки противъ Софьи Николавны, и всѣ уговорились держать себя съ нею при Степанѣ Михайловичѣ ласково и не говорить ему прямо дурного на счетъ невѣстки; но въ то же время не пропускать благопріятныхъ случаевъ, незамѣтно для старика, возстановлять его противъ ненавистной имъ Софьи Николавны. Поступать надобно было очень искусно. Не довѣряя этого дѣла другимъ, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дѣдушка подробно разспрашивалъ о свадьбѣ, о томъ, кого онѣ видѣли, о состояніи здоровья старика Зубина и вообще обо всемъ, тамъ происходившемъ. Онѣ все хвалили; но въ похвалахъ этихъ слышенъ былъ запахъ и вкусъ яда, и не удалось имъ провести Степана Михайловича. Онъ обратился такъ, ради шутки, а можетъ быть и для соображенія, къ Ивану Петровичу Каратаеву и спросилъ его: „Ну что, братъ Иванъ, что ты мнѣ скажешь о нашей невѣстушкѣ? Ихъ дѣло бабье, а ты мужчина и лучше можешь судить объ этомъ.“ Иванъ Петровичъ, не смотря на миганье своей супруги, отвѣчалъ съ увлеченіемъ: „Да вотъ что, батюшка, я вамъ скажу: что такой кралечки (безъ этого живописнаго слова онъ не умѣлъ похвалить красоту), какую подцѣпилъ братъ Алексѣй, другой не отыщешь въ цѣломъ свѣтѣ. Что взглянетъ, то рублемъ подаритъ. А ужъ что за умница, такъ ужъ и говорить нечего. Одно доложу вамъ, батюшка: горда; пошутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на колесахъ—такъ взглянетъ, что языкъ прикусишь.“ — „Вижу, братъ, что она тебѣ врать не позволяла“, сказалъ старикъ съ веселымъ лицомъ, разсмѣялся и прибавилъ: „ну это еще не большая бѣда.“ Степанъ Михайловичъ, по всѣмъ разсказамъ, по письмамъ Софьи Николавны и по отвѣту Ивана Петровича Каратаева, составилъ въ своемъ умѣ весьма благопріятное мнѣніе объ Софьѣ Николавнѣ.

Извѣстіе о скоромъ пріѣздѣ молодыхъ произвело тревогу и суету въ тихомъ, слишкомъ простомъ домѣ деревенскихъ помѣщиковъ. Надобно было почиститься, пріодѣться, принарядиться. Невѣстка городская модница, привыкла жить по-барски, даромъ что бѣдна: осудитъ, осмѣетъ — такъ думали

и говорили всѣ, кромѣ старика. Особыхъ и свободныхъ комнатъ въ домѣ не было, надобно было вывести Танюшу изъ ея горницы, выходившей угломъ въ садъ, на прозрачный Бугурусланъ съ его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюшѣ очень не хотѣлось перейти въ передбанникъ, но другого мѣста не было: всѣ сестры жили въ домѣ, а Каратаевъ и Ерлыкинъ спали на сѣнникѣ. За день до пріѣзда молодыхъ, привезли кровать, штофный занавѣсъ, гардины; пріѣхалъ и человѣкъ, умѣющій все это уставить и приладить. Танюшину комнату отдѣлали въ нѣсколько часовъ. Степанъ Михайловичъ посмотрѣлъ, полюбовался, а женщины кусали отъ зависти губы. Наконецъ прискакалъ передовой съ извѣстіемъ, что молодые остановились въ Мордовской деревнѣ Нойкино, въ восьми верстахъ отъ Багрова, гдѣ они переодѣнутся и часа черезъ два пріѣдутъ. Все пришло въ движеніе. Хотя старикъ еще съ утра послалъ за священникомъ, но какъ онъ еще не пріѣзжалъ, то послали гонца верхомъ поторопить его. Между тѣмъ въ Нойкинѣ происходила также забавная суматоха. Молодые ѣхали на перемѣнныхъ по проселочной дорогѣ, и потому надобно было посылать передового для заготовленія лошадей отъ деревни до деревни. Въ Нойкинѣ всѣ знали Алексѣя Степановича еще дитятей, а Степана Михайлыча считали отцомъ и благодѣтелемъ. Вся деревня отъ мала до велика, душъ 600 мужеска и женска пола, сбѣжалась къ той избѣ, гдѣ должны были остановиться молодые. Софья Николавна едва ли видала вблизи Мордву, и потому одежда Мордовокъ и необыкновенно рослыхъ и здоровыхъ дѣвокъ, ихъ вышитыя красною шерстью бѣлыя рубахи, ихъ черные шерстяные пояса или хвосты, грудь и спина и головные уборы, обвѣшанные серебряными деньгами и колокольчиками, очень ее заняли. Но когда она услыхала простыя, глупыя, но искреннія восклицанія всей толпы, на изломанномъ нѣсколько русскомъ языкѣ, то радостныя привѣтствія, то похвалы и добрыя желанія,—она и смѣялась, и даже плакала: „Ай, ай, Алеша, какой жена тебѣ Богъ давалъ! Ай, ай, хороша! говорили старики и старухи; а отца наша Степанъ Михайлычъ то-то рада будетъ! Ну дай вамъ Богъ, дай Богъ!“ Когда же молодая, переодѣвшись въ пышное городское платье, вышла садиться въ карету, то въ народѣ поднялся такой гулъ восторга и радостныхъ похвалъ, что даже лошади перепугались. Молодые, подаривъ десять рублей на вино всему міру, отправились въ дорогу.

Позади господскаго гумна, стоящаго на высокой горѣ, показался высокій экипажъ. „Ѣдутъ, ѣдутъ!“ раздалось по всему дому, и вся дворня, а вскорѣ и всѣ крестьяне сбѣжались на широкій господскій дворъ, а молодежь и ребятишки побѣжали на встрѣчу. Старики Багровы со всѣмъ семействомъ вышли на крыльцо; Арина Васильевна въ шелковомъ шушунѣ и юбкѣ, въ шелковомъ гарнитуровомъ съ золотыми травочками платкѣ на головѣ, а Степанъ Михайлычъ въ какомъ-то стародавнемъ сюртукѣ, выбритый и съ платкомъ на шеѣ, стояли на верхней ступенькѣ крыльца; одинъ держалъ образъ Знаменія Божьей Матери, а другая — каравай хлѣба съ серебряной солонкой. Золовки и два зятя стояли около нихъ. Экипажъ подкатилъ къ крыльцу, молодые вышли, упали старикамъ въ ноги, приняли ихъ благословеніе и расцѣловались съ ними и со всѣми ихъ окружающими; едва кончила молодая церемонію и обратилась опять къ свекру, какъ онъ схватилъ ее за руку, поглядѣлъ ей пристально въ глаза, изъ которыхъ катились слезы, самъ заплакалъ, крѣпко обнялъ, поцѣловалъ и сказалъ: „Слава Богу! Пойдемъ же благодарить Его.“ Онъ взялъ невѣстку за руку, провелъ въ залу сквозь тѣсную толпу, поставилъ возлѣ себя,—и священникъ, ожидавшій ихъ въ полномъ облаченіи, возгласилъ: „Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.“

Четвертый отрывокъ изъ Семейной Хроники.

Молодые въ Багровѣ.

Послѣ молебна, за которымъ горячо молились свекоръ и невѣстка, всѣ приложились ко кресту; священникъ окропилъ молодыхъ и всѣхъ присутствующихъ святой водой; начались вновь цѣлованья и обычныя въ такихъ случаяхъ рѣчи: „Просимъ насъ полюбить, принять въ свое родственное расположеніе“ и проч. Разумѣется, это говорили тѣ, съ которыми молодая еще не была знакома. Степанъ Михайловичъ молчалъ; онъ только смотрѣлъ съ любовью въ заплаканные глаза и на пылающія щеки Софьи Николавны, внимательно слушалъ каждое ея слово и замѣчалъ каждое движеніе. Наконецъ взялъ невѣстку за руку, повелъ въ гостиную, сѣлъ на канапе и посадилъ возлѣ себя молодыхъ. Арина Васильевна помѣстилась на другомъ концѣ канапе, рядомъ съ сыномъ; кругомъ сѣли сестры съ мужьями. Надобно сказать, что Степанъ Михайловичъ никогда не сидѣлъ въ гостиной и входилъ въ нее только при самыхъ необыкновенныхъ случаяхъ, и то на самое короткое время; въ цѣломъ домѣ онъ зналъ свою особую горницу и крылечко, весьма незатѣйливо сложенное изъ деревянныхъ брусьевъ и досокъ; онъ такъ привыкъ къ нимъ, что въ гостиной былъ какъ-то не дома и ему становилось неловко. Но на этотъ разъ онъ преодолѣлъ себя и повелъ

ласковыя рѣчи съ Софьей Николавной: прежде всего разспросилъ о здоровьи любезнаго свата, Николая Ѳедоровича; искренно пожалѣлъ, узнавъ, что онъ слабѣетъ часъ отъ часу, и прибавилъ, что „не станетъ долго задерживать въ Багровѣ дорогихъ своихъ гостей“. Нечего и говорить, что молодая не ходила за словомъ въ карманъ, и была не только вѣжлива, но предупредительна, даже искательна. Арина Васильевна, женщина отъ природы добродушная, подлаживалась къ своему супругу, какъ умѣла и на сколько хватало у ней смѣлости не слушаться своихъ дочерей. Аксинья Степановна искренно полюбила невѣстку съ перваго взгляда и была съ ней ласкова; но прочія молчали, и не трудно было угадать по ихъ взглядамъ, что происходило у нихъ въ душѣ. Черезъ полчаса молодая пошептала что-то на ухо своему мужу, который поспѣшно всталъ и вышелъ въ приготовленную для нихъ спальню, находившуюся возлѣ гостиной. Степанъ Михайловичъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ; но Софья Николавна заняла его такимъ одушевленнымъ разговоромъ, что онъ развлекся и очень удивился, когда черезъ нѣсколько времени растворились обѣ половинки дверей въ спальню и Алексѣй Степанычъ вошелъ, держа въ рукахъ огромный серебряный подносъ, нагруженный свадебными подарками, подъ тяжестью которыхъ подносъ даже гнулся. Софья Николавна встала съ живостью, взяла съ подноса и поднесла свекру кусокъ аглицкаго тончайшаго сукна и камзолъ изъ серебрянаго глазета, весь богато расшитый по картѣ [1]) золотою канителью, битью и блестками, прибавя, что все сработано ея собственными руками: это была совершенная правда. Степанъ Михайловичъ, хотя косился на стоящаго съ подносомъ сына, но принялъ подарки милостиво и поцѣловалъ невѣстку. Аринѣ Васильевнѣ былъ поднесенъ шелковый головной платокъ, сплошь затканный золотомъ, и цѣльная штука превосходной шелковой китайской матеріи, считавшейся и тогда рѣдкостью; золовкамъ — также по куску шелковой дорогой матеріи, а зятьямъ — по куску аглицкаго же сукна: разумѣется, подарки золовкамъ и зятьямъ были нѣсколько низшаго достоинства. Всѣ вставали, цѣловались, цѣловали ручки, кланялись и благодарили. Двери изъ залы трещали отъ на-

[1]) Шитье по картѣ значило, вѣроятно значитъ и теперь, что узоры рисовались на картѣ, потомъ вырѣзывались, наклеивались на матерію и вышивались золотомъ.

пора любопытныхъ зрителей и зрительницъ, а изъ дверей спальни робко выглядывали однѣ масляныя головы деревенскихъ горничныхъ, потому что *избная* дворня не смѣла вломиться въ богато убранную комнату молодыхъ. Въ залѣ послышался шумъ: лакеи не могли выгнать посѣтителей, которые мѣшали имъ накрывать столъ. Степанъ Михайловичъ догадался, въ чемъ дѣло, всталъ, выглянулъ въ дверь и однимъ взглядомъ и тихо произнесеннымъ словомъ „вонъ!“... очистилъ залу.

Обѣдъ происходилъ обыкновеннымъ порядкомъ; молодые сидѣли рядомъ между свекромъ и свекровью; блюдъ было множество, одно другого жирнѣе, одно другого тяжелѣе; поваръ Степанъ не пожалѣлъ корицы, гвоздики, перцу и всего болѣе масла. Свекоръ ласково подчивалъ молодую, и молодая ѣла, творя молитву, чтобъ не умереть на другой день. Разговоровъ было мало, сколько отъ того, что у всѣхъ были *зубы на барщинѣ*, какъ говаривалъ Степанъ Михайловичъ, столько же и отъ того, что говорить не умѣли, да и всѣ смущались, каждый по своему; къ тому же Ерлыкинъ, въ трезвомъ состояніи, когда онъ пилъ только одну воду, былъ крайне скупъ на слова, за что и считался отмѣнно умнымъ человѣкомъ; Каратаевъ же безъ спроса не смѣлъ разинуть рта при Степанѣ Михайловичѣ и ограничивался только повтореніемъ послѣднихъ словъ, какъ напримѣръ: „сѣнокосъ былъ бы хорошъ, еслибъ не захватило ненастье“.—„Еслибъ не захватило ненастье“, повторялъ Каратаевъ. „Рожь сильно цвѣла, да неожиданно хватилъ морозъ“.—„Неожиданно хватилъ морозъ“, подхватывалъ Каратаевъ, и т. д. Такія подхватыванья случались иногда невпопадъ. Старики не догадались запастись въ Уфѣ шипучимъ виномъ и здоровье новобрачныхъ пили трехлѣтней, на три ягоды налитой клубниковкой, густой, какъ масло, разливающей вокругъ себя чудный запахъ полевой клубники. Ванька Мазанъ, обутый въ сапоги, вонявшіе дегтемъ, въ сюртукѣ, сидѣвшемъ на немъ, какъ рогожный куль на медвѣдѣ, подавалъ всѣмъ однимъ бокалъ съ бѣлыми узорами и синеватою струйкой, которая извивалась внутри стеклянной ножки. Когда пришлось молодымъ благодарить за поздравленіе, Софьѣ Николавнѣ, конечно, было непріятно пить изъ бокала, только что вышедшаго изъ жирныхъ губъ Каратаева; но она не поморщилась и хотѣла даже выпить цѣлый бокалъ. Свекоръ остановилъ ее и ска-

залъ: „Не кушай всего, милая невѣстынька, головка заболитъ; наливка вкусна и сладима, но крѣпка; ты къ этому непривычна“. Софья Николавна увѣряла, что такое чудесное питье не можетъ быть вредно, и просила позволенія еще прихлебнуть немножко, и свекоръ изъ своихъ рукъ далъ ей выпить одинъ глотокъ.

Для всей семьи было ясно, что Степанъ Михайловичъ доволенъ невѣсткой и что всѣ ея рѣчи ему нравились. Видѣла это и сама Софья Николавна, хотя и замѣтила съ удивленіемъ, что два раза свекоръ на минуту былъ чѣмъ-то недоволенъ. Въ продолженіи стола, не одинъ разъ она встрѣчала его выразительный взглядъ, привѣтливо на нее устремленный. Наконецъ кончился долгій и утомительный, впрочемъ для одной Софьи Николавны, деревенскій праздничный обѣдъ, который старалась она оживить, по возможности, веселыми разговорами. Встали изъ-за стола; сынъ и дочери поцѣловали у отца руку, что хотѣла было сдѣлать и Софья Николавна, но старикъ не далъ руки, обнялъ и расцѣловалъ свою невѣстку. Это недаванье руки случилось уже въ другой разъ и, слѣдуя пылкой своей природѣ, Софья Николавна съ живостью и нѣжностью сказала: „отъ чего-же, батюшка, вы не даете мнѣ руки? Я также ваша дочь и также съ любовью и почтеніемъ желаю поцѣловать вашу руку“. Пристально и какъ-то глубоко посмотрѣлъ старикъ на свою невѣстку и ласково отвѣчалъ: „Любить-то я тебя люблю; но только роднымъ дѣтямъ надо цѣловать руку у отца. Вѣдь я не попъ“.

Опять пошли въ гостиную и разсѣлись по-прежнему. Аксютка принесла *кофъ* [1]), котораго старикъ не пилъ, который подавался въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ и до котораго вся семья была очень лакома. Послѣ кофе Степанъ Михайловичъ всталъ и, сказавъ: „теперь надо хорошенько уснуть, да и молодымъ съ дороги тоже бы отдохнуть не мѣшало“, пошелъ въ свою горницу, куда проводили его сынъ и невѣстка. „Вотъ мой уголъ, невѣстынька, весело сказалъ старикъ; садись, такъ будешь гостья. Я только для перваго разу посидѣлъ со всѣми вами въ гостиной, да еще въ этомъ хомутѣ (онъ указалъ на галстукъ). Алеша это знаетъ; теперь же, если кто хочетъ со мной сидѣть, такъ ми-

[1]) Такъ произносилось это слово въ семействѣ Багровыхъ.

лости прошу ко мнѣ". Онъ поцѣловалъ невѣстку, далъ поцѣловать руку сыну и отпустилъ ихъ, а самъ раздѣлся и легъ успокоиться отъ необыкновенныхъ своихъ тѣлесныхъ подвиговъ и душевнаго движенья. Крѣпкій сонъ не замедлилъ овладѣть имъ, и скоро раздался здоровый храпъ, отъ котораго мѣрно шевелился пологъ, опущенный Мазаномъ на стараго барина.

Примѣру хозяина послѣдовали и другіе. Затья, по лицамъ которыхъ не трудно было догадаться, что они хорошо покушали, а Каратаевъ даже и выпилъ, отправились спать на сѣнникъ въ конюшню. Дочери собрались въ горницу къ матери, которая спала особо отъ старика; тамъ начались такія шептанія и шушуканья, суды и пересуды, что никто изъ нихъ въ этотъ день и спать не ложился. Досталось на орѣхи бѣдной Софьѣ Николавнѣ! Разцыганили ее золовушки! Очевидная благосклонность свекра къ невѣсткѣ выводила изъ себя озлобленную семью. Нашлась однако одна добрая душа, вдова Аксинья Степановна, по второму мужу Нагаткина, которая заступилась за Софью Николавну; но на нее такъ прогнѣвались, что выгнали изъ комнаты и окончательно исключили изъ семейнаго совѣта, и тутъ же получила она, въ добавокъ къ прежнему прозвищу „простоты сердечной", новое оскорбительное прозвище, которое и сохранилось при ней до глубокой старости; но добрая душа осталась однако навсегда благорасположенною къ невѣсткѣ и гонимою за то въ семьѣ.

Молодые отправились въ свою парадно-убранную спальню. Софья Николавна, съ помощью горничной своей дѣвушки, черномазой и бойкой Параши, разобрала дорожные сундуки и баулы, которыхъ было необыкновенно много въ англійской мурзахановской каретѣ. Параша знала уже на перечетъ всю дворню, всѣхъ старухъ и стариковъ въ крестьянахъ, которыхъ особенно слѣдовало подарить, и Софья Николавна, привезшая съ собой богатый запасъ разныхъ мелкихъ вещей, всѣмъ назначила подарки, располагая ихъ по лѣтамъ, заслугамъ и почету, которымъ пользовались эти люди у своихъ господъ. Молодые супруги не чувствовали усталости и надобности отдохнуть. Софья Николавна переодѣлась въ другое платье, менѣе пышное, и, оставя Парашу окончательно раскладываться и устраиваться въ спальнѣ, пошла, не смотря на жаръ, гулять съ молодымъ своимъ му-

жемъ, которому очень хотѣлось показать ей свои любимыя мѣста: березовую рощу, островъ, обсаженный только что распустившимися липами, и прозрачныя воды огибающей его рѣки. И какъ хорошо было тамъ въ эту пору, когда свѣжесть весны соединяется съ лѣтнею теплотою! Алексѣй Степанычъ, страстно любящій, еще не привыкшій къ счастію быть мужемъ обожаемой женщины, былъ какъ-то непріятно изумленъ, что Софья Николавна не восхитилась ни рощей, ни островомъ, даже мало обратила на нихъ вниманія и, усѣвшись въ тѣни на берегу быстро текущей рѣки, поспѣшила заговорить съ мужемъ объ его семействѣ, о томъ, какъ ихъ встрѣтили, какъ полюбила она свекра, какъ съ перваго взгляда замѣтила, что она ему понравилась, что можетъ быть и матушкѣ свекрови также бы она понравилась, но что Арина Васильевна какъ будто не смѣла приласкать ее, что всѣхъ добрѣе кажется Аксинья Степановна, но что и она чего-то опасается... „Я все вижу и понимаю, прибавила она; вижу я, откуда сыръ боръ горитъ. Я не пропустила ни одного слова, ни одного взгляда; вижу, чего я должна ожидать. Богъ судья твоимъ сестрамъ, Елисаветѣ и Александрѣ Степановнѣ...“ Но разсѣянно слушалъ Алексѣй Степанычъ: освѣжительная тѣнь, зелень наклонившихся вѣтвей надъ рѣкою, тихій ропотъ бѣгущей воды, рыба, мелькавшая въ ней, наконецъ обожаемая Софья Николавна, его жена, сидящая подлѣ и обнявшая его одной рукой... Боже мой, да развѣ тутъ можно что-нибудь замѣчать, кого-нибудь обвинять, чѣмъ-нибудь быть недовольнымъ? Да тутъ нельзя слышать, и понять, что услышишь,—и Алексѣй Степанычъ рѣшительно не слыхалъ и не понялъ, что говорила его молодая жена; ему было такъ хорошо, такъ сладко, что одно только забвеніе всего окружающаго и молчаніе могло служить полнымъ выраженіемъ его упоительнаго блаженства. Софья Николавна продолжала говорить, говорила много, съ жаромъ, съ чувствомъ—и наконецъ замѣтила, что мужъ ея не слушаетъ, чуть ли не дремлетъ. Она быстро встала, и тутъ послѣдовало одно изъ тѣхъ явленій, тѣхъ столкновеній взаимнаго непониманія другъ друга, которое хотя и проглядывало уже не одинъ разъ, но такъ ярко еще никогда не обозначалось. Все было высказано вновь, и въ потокѣ горячихъ рѣчей вырвались слезы и упреки въ невниманіи и равнодушіи. Изумленный, даже встревоженный Алексѣй Сте-

панычъ, какъ будто упавшій съ неба, какъ будто разбужденный отъ сладкаго сна, думая успокоить жену, увѣрялъ съ совершенною искренностью, что все прекрасно и все безподобно, что это все ея одно воображеніе, что ее всѣ любятъ и что развѣ можетъ кто-нибудь ее не любить?.. Несмотря на простоту и ясность чистосердечнаго убѣжденія, на безграничную любовь, которая выражалась въ глазахъ, въ лицѣ и въ голосѣ Алексѣя Степаныча, Софья Николавна, при всемъ ея умѣ и живой чувствительности, не поняла своего мужа и въ его словахъ нашла новое доказательство того же равнодушія, того же невниманія. Объясненія и толкованія продолжались съ возрастающимъ жаромъ, и не знаю, до чего бы дошли, еслибъ Алексѣй Степанычъ, издали увидя бѣгущую къ нимъ, по высокимъ мосткамъ, горничную дѣвушку сестры Татьяны Степановны и догадавшись, что батюшка проснулся и что ихъ ищутъ, не сообщилъ поспѣшно своихъ опасеній Софьѣ Николавнѣ, которая въ одну минуту очнулась, овладѣла собой и, схвативъ мужа за руку, поспѣшила съ нимъ домой; но невесело шелъ за ней Алексѣй Степанычъ.

Въ Багровѣ заранѣе были сдѣланы распоряженія, чтобы въ день пріѣзда молодыхъ угостить дворню, всѣхъ своихъ и даже сосѣднихъ крестьянъ, если кто захочетъ прійти или пріѣхать. Заранѣе сварили нѣсколько *печей* корчажнаго пива, *насидѣли* десятокъ-другой ведеръ крѣпкаго домашняго вина и приготовили всякой нужной посудины. Ложась отдохнуть послѣ обѣда, Степанъ Михайловичъ спросилъ: „а что, Нойкинскихъ и Кивацкихъ много?“ и Мазанъ отвѣчалъ, что всѣ здѣсь: и старики, и старухи, и ребятишки. Степанъ Михайловичъ улыбнулся и сказалъ: „Ну такъ мы ихъ угостимъ. Скажи-же ключницѣ Ѳедосьѣ и ключнику Петру, чтобъ все было готово“. Степанъ Михайловичъ спалъ не долго, но проснулся еще веселѣе, чѣмъ легъ. Первое слово его было: „все-ли готово?“ Отвѣчали, что давно готово. Старикъ поспѣшно одѣлся, ужъ не въ парадный сюртукъ, а въ свой любимый халатъ изъ тонкой армячины и вышелъ на крылечко, чтобъ лично распорядиться угощеніемъ. На широкомъ зеленомъ дворѣ, не отгороженномъ отъ улицы, были утверждены на подставкахъ доски, на которыхъ стояли лагуны съ пивомъ, боченки съ виномъ и лежали грудами для закуски, разрѣзанные надвое, пироги. Пирогами назывались и теперь на-

зываются въ Оренбургской губерніи небольшіе продолговатые хлѣбные короваи изъ пшеничной муки. Кучка дворовыхъ стояла особо и ближе всѣхъ; подальше находилась большая толпа крестьянъ и крестьянокъ, а еще подалѣе—уже огромная толпа мордвы обоего пола. Степанъ Михайловичъ окинулъ все бѣглымъ взглядомъ, увидѣлъ, что все въ порядкѣ, и воротился на свое крылечко. Только что хотѣлъ онъ спросить у своей семьи, которая вся уже собралась: а гдѣ-же молодые?—какъ явилась Софья Николавна съ Алексѣемъ Степанычемъ. Свекоръ встрѣтилъ невѣстку еще ласковѣе и обошелся съ нею уже такъ просто, какъ съ дочерью. „Ну, Алеша, сказалъ онъ, бери жену за руку и веди ее поздороваться съ дворовыми и крестьянами: вѣдь всѣ хотятъ видѣть и поцѣловать ручку у своей молодой барыни... Пойдемте!“ Онъ пошелъ впередъ; за нимъ слѣдовалъ Алексѣй Степанычъ съ женою, рука въ руку; въ нѣкоторомъ отдаленіи шла Арина Васильевна съ дочерьми и зятьями. Съ трудомъ удерживали свою досаду золовки (исключая Аксиньи Степановны). Возрастающія ласки Степана Михайловича, торжественное вступленіе ненавистной Софьи Николавны въ званіе молодой хозяйки, ея красота и щегольской нарядъ, ловкость, бойкость ея языка, почтительная и увлекательная ласковость къ свекру—все это раздражало, язвило ихъ завистливыя души. Онѣ вдругъ почувствовали свое паденіе въ домѣ отца. „Объ насъ ужъ что говорить, мы ужъ отрѣзанные ломти, шептала Александра Степановна, а вотъ на Танюшу не могу смотрѣть безъ слезъ. Что она теперь въ домѣ? Холопка Софьи Николавны; да и васъ, матушка, теперь никто почитать не станетъ. Всѣ будутъ смотрѣть изъ ея рукъ...“ Голосъ ея дрожалъ и слезы навертывались на круглыхъ вертящихся глазахъ. Между тѣмъ, подошедъ къ дворовымъ, Степанъ Михайловичъ подозвалъ и своихъ крестьянъ, говоря: „Что-же вы не вмѣстѣ стоите? Развѣ вы не одной матки дѣтки? Ну вотъ вамъ, продолжалъ онъ, молодая госпожа, а молодого барина вы давно знаете; служите имъ, когда придетъ время, такъ же вѣрно и усердно, какъ намъ съ Ариной Васильевной; а они будутъ васъ за то любить да жаловать“. Всѣ поклонились въ ноги. Молодая была изумлена, не знала, куда дѣваться и что начать: она не привыкла къ такимъ явленіямъ. Видя ея смущеніе, свекоръ сказалъ: „Ничего! поклониться—голова не отвалится. Ну, цѣлуйте же у молодой барыни ручку, да и погуляйте

за ея здоровье". Всѣ встали и начали подходить къ Софьѣ Николавнѣ. Она оглянулась: ловкая Параша и приданый лакей Ѳедоръ стояли въ сторонѣ съ подарками. По знаку госпожи своей, они проворно подали ей цѣлый узелъ и ящикъ съ разными вещами. Еще не привыкшая протягивать ручку для поцѣлуевъ и въ то же время стоять неподвижно, какъ статуя,—Софья Николавна принялась было сама цѣловаться со всѣми, что повторялось при полученіи изъ рукъ ея подарка; но Степанъ Михайловичъ вмѣшался въ дѣло: онъ смекнулъ, что эдакъ придется ему не пить чаю до ужина. „Гдѣ же тебѣ, невѣстынька, перецѣловать всѣхъ, да еще по два раза? сказалъ онъ. Ихъ много; вотъ со стариками, со старухами — другое дѣло; а съ тѣхъ будетъ и ручки". Несмотря однако на облегченіе и ускореніе этой довольно скучной и тягостной церемоніи, она продолжалась очень долго. Степанъ Михайловичъ, по живости своей, самъ иногда задерживалъ ходъ дѣла, называя нѣкоторыхъ дворовыхъ и крестьянъ по именамъ и сопровождая эти имена одобрительными отзывами. Многіе старики или старухи говорили простыя слова усердія и любви, иные даже плакали и всѣ вообще смотрѣли на молодую радостно и привѣтно. Софья Николавна была глубоко потрясена. „За что эти добрые люди готовы полюбить меня, а нѣкоторые уже любятъ? думала она. Чѣмъ я заслужила ихъ любовь?.." Наконецъ, когда всѣ, отъ стараго до малаго, перецѣловали ручку у молодой барыни, и нѣкоторые были перецѣлованы ею, когда всѣ получили щедрые подарки, Степанъ Михайловичъ взялъ за руку Софью Николавну и подошелъ съ ней къ толпѣ Мордвы. „Здорово, сосѣди"! сказалъ онъ весело и привѣтливо. „Спасибо, что пріѣхали. Вотъ вамъ молодая сосѣдка. Полюбите ее. Милости просимъ и васъ выпить и закусить, чѣмъ Богъ послалъ." Радостныя и шумныя восклицанія понеслись изъ толпы. „Ай, спасибо, спасибо, Степанъ Михайлычъ! Слава Богъ! какой Онъ жена то давалъ твой Лексѣй! Ай, ай, хорошъ! За то, Степанъ Михайлычъ, что ты больно добрый человѣкъ!"

Началась попойка. Степанъ Михайловичъ съ молодыми и со всей своей семьей поспѣшилъ къ любимому своему крылечку. Онъ чувствовалъ, что давно прошла пора для вечерняго чая, который неизмѣнно подавался въ шесть часовъ, а теперь было давно семь. Уже длинная тѣнь отъ

дома покосилась на югъ и легла своими краями на кладовую и конюшню; давно на большомъ столѣ, у самаго крыльца, кипѣлъ самоваръ и дожидалась Аксютка. Всѣ разсѣлись вокругъ стола; но Степанъ Михайловичъ не разстался со своимъ крылечкомъ и сѣлъ на любимомъ своемъ мѣстѣ, подославъ подъ себя неизмѣнный войлочный потникъ. Вечерній чай разливала Танюша, и Аксютка только ей прислуживала. Софья Николавна попросила позволенія у свекра сѣсть возлѣ него на крылечкѣ, на что старикъ съ видимымъ удовольствіемъ согласился. Невѣстка проворно выскочила изъ-за стола и, съ недопитой своей чашкой чая, въ одну минуту очутилась уже подлѣ свекра. Онъ приласкалъ ее и, заботясь, чтобъ она не вымарала платья, приказалъ и ей постлать войлокъ. У нихъ пошелъ живой и веселый разговоръ; а за чайнымъ столомъ злобно переглядывалась и даже перешептывалась семья, несмотря на присутствіе молодого мужа; онъ не могъ этого не замѣтить, и ему, и безъ того не веселому, становилось какъ-то грустно и неловко. Вдругъ раздался громкій голосъ старика: „Ступай къ намъ, Алеша, у насъ веселѣе“. Алеша встрепенулся, пересѣлъ къ отцу и какъ будто сталъ повеселѣе. Послѣ чая, оставшись на тѣхъ же мѣстахъ, продолжали разговаривать до ужина, который также былъ поданъ позже обыкновеннаго, т.-е. послѣ 9-ти часовъ. Во все это время звучныя пѣсни и веселый смѣхъ подгулявшаго народа далеко оглашали постепенно темнѣвшую окрестность. Послѣ ужина сейчасъ разошлись по своимъ мѣстамъ, или *по своимъ норамъ*, какъ говорилъ Степанъ Михайловичъ. Прощаясь, невѣстка попросила свекра благословить и перекрестить ее на сонъ грядущій, и свекоръ охотно перекрестилъ ее и поцѣловалъ съ отеческимъ чувствомъ.

Свекровь и старшая золовка Нагаткина сопровождали молодыхъ въ спальню и нѣсколько минутъ посидѣли у нихъ. Алексѣй Степанычъ, въ свою очередь, пошелъ проводить мать и сестру. Софья Николавна поспѣшно отпустила свою горничную и сѣла у одного изъ растворенныхъ оконъ, обращенныхъ къ рѣкѣ, густо обросшей вербой и тальникомъ. Ночь была великолѣпна; заря какъ будто не гасла, медленно готовясь перейти изъ вечерней въ утреннюю. Свѣжесть отъ воды и запахъ молодыхъ древесныхъ листьевъ, вмѣстѣ съ раскатами и свистами соловьевъ, неслись въ растворенныя окна. Но о другомъ думала Софья Николавна. Какъ умная женщина,

знавшая напередъ, что ожидало ее въ семействѣ мужа, она, конечно, заранѣе составила планъ своихъ дѣйствій. Не выѣзжая никогда изъ города, она не имѣла никакого понятія о жизни деревенскихъ небогатыхъ помѣщиковъ, разсѣянныхъ по разнымъ захолустьямъ обширнаго края. Она, конечно, не представляла себѣ ничего пріятнаго, но дѣйствительность была гораздо хуже. Все ей не нравилось, все было противно: и домъ, и садъ, и роща, и островъ. Она привыкла любоваться великолѣпными видами съ нагорнаго берега рѣки Бѣлой, въ окрестностяхъ Уфы, а потому деревушка въ долинѣ, съ бревенчатымъ, потемнѣвшимъ отъ времени и ненастья домомъ, съ прудомъ, окруженнымъ болотами, и съ вѣчнымъ стукомъ толчеи, показались ей даже отвратительными. Люди также не могли ей понравиться, начиная съ семьи до крестьянскихъ ребятишекъ, кромѣ Степана Михайловича. Если-бъ не было его, она пришла-бы въ отчаянье. Она составила себѣ о немъ предварительно выгодное понятіе; грубоватая наружность свекра съ перваго взгляда испугала ее, но скоро она прочла въ его разумныхъ глазахъ и добродушной улыбкѣ, услыхала въ голосѣ, что у этого старика много чувства, что онъ сердечно расположенъ къ ней, что онъ готовъ полюбить, что онъ полюбитъ ее. Зная и прежде, что у нея вся надежда на свекра, она тогда же приняла твердое намѣреніе непремѣнно снискать его любовь; но теперь она сама его полюбила, и разсчетъ ума соединился съ сердечнымъ влеченіемъ. Въ этомъ отношеніи Софья Николавна была довольна собой; она сама видѣла, что шла быстро къ цѣли, и смущало ее только то, что она въ горячности оскорбила своего добраго мужа; она нетерпѣливо ждала его, но онъ какъ нарочно не возвращался. Софья Николавна давно бы побѣжала отыскать его, еслибъ знала, гдѣ найти.... Такъ ей хотѣлось броситься къ нему на шею, заплакать, сказать; „прости меня“ и потокомъ горячихъ ласкъ и словъ уничтожить въ душѣ его послѣднюю тѣнь неудовольствія.... Но Алексѣй Степанычъ не возвращался. Благодатныя мгновенія раскаянья, восторженной любви, желанья исправить свою вину — проходили даромъ. Порывъ не можетъ продолжаться долго, и черезъ нѣсколько минутъ Софьѣ Николавнѣ стало страшно, а потомъ и досадно, что такъ долго не возвращается ея мужъ. Наконецъ, онъ пришелъ, нѣсколько разстроенный, смущенный, и вмѣсто того, чтобъ броситься къ

нему на шею и сказать: „прости меня“, Софья Николаевна, взволнованнымъ и нѣсколько раздраженнымъ голосомъ, спросила Алексѣя Степаныча, едва переступившаго порогъ: „помилуй, гдѣ ты былъ? отчего ты бросилъ меня одну? я измучилась, дожидаясь тебя битыхъ два часа.“—„Я посидѣлъ у матушки съ сестрами какихъ-нибудь четверть часа“, отвѣчалъ тихо и печально Алексѣй Степанычъ.—„И онѣ успѣли тебѣ нажаловаться, выдумали, наклеветали на меня, и ты имъ повѣрилъ. Отчего ты такъ огорченъ, такъ печаленъ?“ На лицѣ Софьи Николавны выразилось сильное волненіе и прекрасные глаза наполнились слезами. Молодой мужъ встревожился и даже испугался (слезы начинали пугать его): „Сонничка, сказалъ онъ, успокойся; никто на тебя не жаловался, да и за что? ты ни передъ кѣмъ не виновата.“ Алексѣй Степанычъ сказалъ не совсѣмъ правду. Открыто никто не жаловался, прямо никто не обвинялъ; но обиняками и намеками дали ему почувствовать, что жена его безсовѣстно ластится къ одному свекру для того, чтобы наплевать на всю остальную семью, что хитрости ея понимаютъ и поймутъ со временемъ и самъ Алексѣй Степанычъ, когда очутится ея холопомъ. Алексѣй Степанычъ не повѣрилъ такимъ намекамъ; но грустное состояніе, въ которомъ онъ находился послѣ разговоровъ на островѣ, какъ-то усилилось и легло свинцомъ на его доброе сердце. Онъ сказалъ только два слова Аринѣ Васильевнѣ: „напрасно, матушка!“ и поспѣшно ушелъ; но не вдругъ воротился въ спальню, а нѣсколько времени походилъ одинъ по залѣ, уже пустой, темной, посмотрѣлъ въ отворенныя семь оконъ на спящую во мракѣ грачевую рощу, на темнѣвшую вдали урему, поприще его дѣтскихъ забавъ и охотъ, вслушался въ шумъ мельницы, въ соловьиные свисты, въ крики ночныхъ птицъ... Легче стало у него на сердцѣ, и пошелъ онъ въ спальню, никакъ не воображая встрѣчи, которая его ожидала. Софья Николавна скоро одумалась, вновь раскаянье заговорило въ ней, хотя уже не съ прежней силой; она перемѣнила тонъ, съ искреннимъ чувствомъ любви и сожалѣнія она обратилась къ мужу, ласкала его, просила прощенья, съ неподдѣльнымъ жаромъ говорила о томъ, какъ она счастлива, видя любовь къ себѣ въ батюшкѣ Степанѣ Михайловичѣ, умоляла быть съ ней совершенно откровеннымъ, краснорѣчиво доказала необходимость откровенности, — и мягкое сердце мужа разнѣжилось, успо-

коилось, и высказалъ онъ ей все, чего рѣшился было ни подъ какимъ видомъ не сказывать, не желая ссорить жену съ семьей. Успокоившись, онъ легъ и сейчасъ заснулъ; но Софья Николавна долго не спала и думала свою крѣпкую думу. Наконецъ, вспомнивъ, что ей надо рано встать, что она имѣла намѣреніе прійти къ своему свекру на его крылечко вмѣстѣ съ восходомъ солнышка, задолго до прихода семьи, чтобъ утѣшить старика и высказаться на просторѣ,— она постаралась заснуть, и хотя не скоро, хоть съ большимъ усиліемъ, но заснула.

Съ первыми лучами солнца проснулась Софья Николавна. Немного спала она, но встала бодрою и живою. Проворно одѣлась, поцѣловала мужа, сказала ему, что идетъ къ батюшкѣ, что онъ можетъ еще уснуть часъ-другой, и поспѣшила къ свекру. Степанъ Михайловичъ проспалъ долѣе обыкновеннаго и только что умылся и вышелъ на крылечко. Утро, праздничное, великолѣпное майское утро, со всею прелестью полной весны, съ ея свѣжестью и роскошью тепла, съ хоромъ радостныхъ голосовъ всей живущей твари, съ утренними, длинными тѣнями, гдѣ таилась еще и прохлада и влажность, убѣгающія отъ солнечныхъ, торжествующихъ лучей—обхватило Софью Николавну и подѣйствовало на нее живительно, хотя она не привыкла сочувствовать красотамъ деревенской природы. Появленіе невѣстки удивило свекра и обрадовало. Ея свѣжее лицо, блестящіе глаза, уборъ волосъ и щегольское утреннее платье не показывало, чтобы невѣстку разбудили, чтобы она вскочила со сна и, не выспавшись, не прибравшись, неряхой— прибѣжала къ своему свекру. Степанъ Михайловичъ любилъ живыхъ, бодрыхъ и умныхъ людей; все это находилъ онъ въ Софьѣ Николавнѣ и все это очень ему нравилось. „Что это ты такъ рано вскочила? весело сказалъ онъ, обнимая невѣстку. Вѣдь ты не выспалась! Вѣдь ты не привыкла рано вставать! Вѣдь головка будетъ болѣть!“—„Нѣтъ, батюшка, отвѣчала Софья Николавна, обнимая старика съ искренней нѣжностью. Я привыкла рано вставать; съ самаго дѣтства у меня было много дѣла и много заботъ. Цѣлая семья и больной отецъ были у меня на рукахъ. Послѣднее время я избаловалась, стала позднѣе вставать. Но сегодня я проснулась рано; Алексѣй мнѣ сказалъ (старикъ поморщился), что вы уже давно встали, и я пришла къ вамъ

въ надеждѣ, что вы меня не прогоните и позволите мнѣ напоить васъ чаемъ.“ Въ этихъ обыкновенныхъ словахъ было тамъ много внутренняго чувства, такъ онѣ были сказаны отъ души, что старикъ былъ растроганъ, поцѣловалъ Софью Николавну въ лобъ и сказалъ: „Ну, если такъ, то спасибо, милая невѣстынька. Мы поговоримъ, поболтаемъ съ тобой на просторѣ и ты напоишь меня чаемъ.“ Аксютка ставила уже самоваръ на столъ. Степанъ Михайловичъ не приказалъ никого будить, и Софья Николавна начала распоряжаться чаемъ. Все она дѣлала проворно, ловко, какъ будто цѣлый вѣкъ ничего другого не дѣлала. Съ удовольствіемъ смотрѣлъ старикъ на эту прекрасную молодую женщину, не похожую на все его окружающее, у которой дѣло такъ и кипѣло въ рукахъ. Чай былъ сдѣланъ крѣпкій, точно такъ, какъ онъ любилъ, то есть: чайникъ, накрытый салфеткой, былъ поставленъ на самоваръ, чашка налита полнехонько наравнѣ съ краями, и Софья Николавна подала ее, не проливъ ни одной капли на блюдечко; ароматный напитокъ былъ такъ горячъ, что жегъ губы. „Да ты колдунья, съ пріятнымъ изумленіемъ сказалъ старикъ, принявъ чашку и отвѣдавъ чай: ты знаешь всѣ мои причуды; ну, если ты будешь такъ угождать мужу, то хорошо ему будетъ жить.“ Старикъ обыкновенно пилъ чай одинъ и когда самъ накушивался, тогда начинала пить семья; но тутъ, принявъ вторую чашку, приказалъ невѣсткѣ, чтобъ она налила чашечку себѣ, сѣла подлѣ него и вмѣстѣ съ нимъ кушала чай. „Никогда не пивалъ больше двухъ, а теперь выпью третью, сказалъ онъ самымъ ласковымъ голосомъ; какъ-то чай кажется лучше.“ Въ самомъ дѣлѣ, Софья Николавна все дѣлала съ такимъ удовольствіемъ, что оно просвѣчивалось на ея выразительномъ лицѣ и не могло не сообщиться воспріимчивой природѣ Степана Михайловича, и стало у него необыкновенно весело на душѣ. Онъ заставилъ выпить невѣстку другую чашку и даже съѣсть домашній крендель, печеньемъ которыхъ долго славились багровскія печи. Чай убрали; начались разговоры, самые живые, одушевленные, искренніе и дружелюбные. Софья Николавна дала полную волю своимъ пылкимъ чувствамъ, своему увлекательному краснорѣчію—и окончательно понравилась старику. Посреди такой пріятной бесѣды вдругъ онъ спросилъ: „А что мужъ? спитъ?“—„Алексѣй просыпался, когда я ухо-

дила; но я велѣла ему еще соснуть", съ живостью отвѣчала Софья Николавна. Старикъ сильно наморщился и на минуту замолчалъ. „Послушай, милая моя невѣстушка, сказалъ онъ подумавши, безъ гнѣва, но съ важностью: ты такая умница, что я скажу тебѣ правду безъ обиняковъ. Я не люблю ничего держать на душѣ. Послушаешь—ладно, не послушаешь—какъ хочешь: ты мнѣ не родная дочь. Мнѣ не по нутру, что ты называешь мужа Алексѣй; у него есть отчество. Ты ему не мать, не отецъ. Вѣдь ты и слугу стала бы звать Алексѣй. Жена должна обходиться съ мужемъ съ уваженьемъ; тогда и другіе станутъ его уважать. Не понравилось мнѣ тоже, что ты вчера за подарками его посылала, и что онъ стоялъ съ подносомъ, какъ лакей. Вотъ и сейчасъ ты сказала, что *велѣла* ему соснуть. Повелѣвать женѣ не приходится, а то будетъ худо. Можетъ это у васъ такъ въ городѣ ведется; но по нашему, по старинному, по деревенскому, — все это никуда не годится". Съ почтеньемъ слушала Софья Николавна. „Благодарю васъ, батюшка, сказала она такъ искренно, съ такимъ внутреннимъ чувствомъ, что каждое слово доходило до сердца старика; благодарю васъ, что вы не потанли отъ меня того, что вамъ было непріятно. Я не только съ радостью исполню вашу волю, я и сама понимаю теперь, что это точно не хорошо. Я еще молода, батюшка. Меня не кому было поучить; отецъ мой шестой годъ лежитъ въ постели. Я переняла такое обращенье съ мужемъ у другихъ. Впередъ этого никогда не будетъ, не только при васъ, но и безъ васъ. Батюшка, продолжала она, и крупныя слезы закапали изъ ея глазъ: я полюбила васъ, какъ родного отца; поступайте со мной всегда, какъ съ родной дочерью; остановите, побраните меня, если я провинюсь въ чемъ-нибудь, и простите, но не оставляйте на сердцѣ неудовольствія. По молодости, по горячности моей, я могу провиниться на каждомъ шагу; вспомните, что я въ чужой семьѣ, что я никого не знаю и что никто не знаетъ меня; не оставьте меня"..... Она бросилась на шею къ свекру, у котораго также глаза были полны слезъ, она обняла его, точно какъ родная дочь, и цѣловала его грудь, даже руки. Свекоръ не отнялъ ихъ и сказалъ: „Ну, такъ ладно!" У Степана Михайловича была чуткая природа; мы уже знаемъ это; онъ безошибочно угадывалъ зло и безошибочно привлекался къ добру. Съ перва-

го взгляда понравилась ему невѣстка, а теперь онъ понялъ, оцѣнилъ и вполнѣ ее полюбилъ навсегда. Многимъ опытамъ была впослѣдствіи подвергнута эта любовь, всякой бы другой поколебался; но онъ устоялъ до послѣдняго своего вздоха.

Вскорѣ явился Алексѣй Степанычъ, а вслѣдъ за нимъ и вся семья. Дочери давно посылали Арину Васильевну, но она не смѣла прійти, потому что слова Степана Михайловича: „никого не будить"—равнялись запрещенью приходить. Она и теперь пришла только потому, что старикъ приказалъ Мазану позвать всѣхъ. Не видно было слѣдовъ слезъ на лицѣ Софьи Николавны, и она встрѣтила свекровь и золовокъ съ особенною ласкою и предупредительностью. Въ Степанѣ Михайловичѣ ничего необыкновеннаго также не было замѣтно; но живость и веселость невѣстки, которую она не умѣла скрыть, была сейчасъ замѣчена двумя средними золовками, и онѣ съ ужасомъ разгадали сущность дѣла.—Степанъ Михайловичъ рѣшилъ, что молодымъ надо объѣздить родныхъ по старшинству, и потому было положено, что завтра молодые поѣдутъ къ Аксиньѣ Степановнѣ Нагаткиной, которая и отправилась домой въ тотъ-же день послѣ обѣда; съ ней поѣхала и Елизавета Степановна, чтобъ помочь въ хлопотахъ по хозяйству для пріема молодыхъ къ обѣду. До деревни Нагаткиной считалось пятьдесятъ верстъ. Для добрыхъ багровскихъ коней такое разстояніе не требовало отдыха, и выѣздъ назначенъ былъ въ шесть часовъ утра.

Степанъ Михайловичъ нисколько не скрывалъ своего расположенія къ невѣсткѣ. Онъ не разлучался съ нею и безпрестанно разговаривалъ: то разспрашивалъ о семейныхъ ея обстоятельствахъ; то заставлялъ разсказывать про ея городскую жизнь; слушалъ съ вниманіемъ и участіемъ, нерѣдко умными и мѣткими словами обсуживая дѣло. Софья Николавна съ жаромъ хваталась за его дѣльныя замѣчанія и ясно доказывала, что съ ея стороны это было не угодливое поддакиванье образу мыслей старика, но полное пониманіе и убѣжденіе въ справедливости его словъ. Въ свою очередь и Степанъ Михайловичъ знакомилъ невѣстку съ прошедшею и настоящею жизнью новаго для нея семейства; онъ разсказывалъ все такъ правдиво, такъ просто, такъ искренно и такъ живо, что Софья Николавна, одна способная оцѣнить его вполнѣ, приходила въ восхищенье. Она не встрѣчала

подобнаго человѣка: ея отецъ былъ старикъ умный, нѣжный, страстный и безкорыстный, но въ то же время слабый, подчиненный тогдашнимъ формамъ приличія, носившій на себѣ печать уклончиваго, искательнаго чиновника, который, начавъ съ канцелярскаго писца, дослужился до званія товарища намѣстника; здѣсь же стоялъ передъ ней старецъ необразованный, грубый по наружности, по слухамъ даже жестокій въ гнѣвѣ, но разумный, добрый, правдивый, непреклонный въ своемъ свѣтломъ взглядѣ и честномъ судѣ,— человѣкъ, который не только поступалъ всегда прямо, но и говорилъ всегда правду. Величавый образъ духовной высоты вставалъ передъ пылкой, умной женщиной и заслонялъ все прошлое, открывая передъ нею какой-то новый нравственный міръ. И какое счастье: этотъ человѣкъ—ея свекоръ! Отъ него зависитъ ея спокойствіе въ семьѣ мужа и, можетъ быть, даже благополучіе въ супружеской жизни!

Обѣдъ прошелъ гораздо живѣе и веселѣе вчерашняго; невѣстка сидѣла попрежнему между свекромъ и своимъ мужемъ, но Арина Васильевна пересѣла на обыкновенное свое мѣсто, насупротивъ Степана Михайловича. Сейчасъ послѣ обѣда уѣхали въ Ногаткино Аксинья и Елизавета Степановны. Ложась уснуть по обыкновенію, старикъ сказалъ: „Ну, Ариша, кажись, Богъ далъ намъ славную невѣстку: ее грѣшно не полюбить.“—„Подлинно такъ, Степанъ Михайлычъ, отвѣчала Арина Васильевна. Ужъ если тебѣ Софья Николавна угодна, такъ мнѣ и подавно“. Старикъ покосился, но смолчалъ. Старуха ушла скорѣе, чтобъ не обмолвиться и чтобъ сообщить своимъ дочерямъ знаменательныя слова Степана Михайловича, которыя и приняты были, какъ законъ, къ точному исполненію, по крайней мѣрѣ по наружности.

Хотя мало спала Софья Николавна въ послѣднюю ночь, но не могла заснуть послѣ обѣда. Она опять ходила гулять съ своимъ мужемъ, по его желанію, въ старую березовую грачевую рощу и внизъ по рѣкѣ. Тутъ не было уже никакихъ непріятныхъ столкновеній. Торжествующая, увлеченная и восхищенная своимъ свекромъ, Софья Николавна старалась передать Алексѣю Степанычу пылкія ощущенія, которыми была переполнена ея воспріимчивая душа. Подобно всѣмъ страстнымъ, восторженнымъ людямъ, она перенесла нѣкоторую часть качествъ, плѣнившихъ ее въ свекрѣ, на своего молодого, прекраснаго друга и любила его въ то

время больше, чѣмъ когда-нибудь. Съ радостнымъ изумленіемъ слушалъ одушевленныя рѣчи своей красавицы-жены Алексѣй Степанычъ и думалъ про-себя: „Слава Богу, что они съ батюшкой такъ понравились другъ другу: теперь все будетъ хорошо“. Онъ цѣловалъ руки Софьи Николавны, говорилъ ей, „что онъ счастливѣйшій человѣкъ во всей вселенной и что она такое божество, которому нѣтъ равнаго на свѣтѣ и которому должны всѣ поклоняться.“ Онъ не могъ понимать вполнѣ своей жены, не могъ чувствовать высказанной, глубокой и тонкой оцѣнки высокихъ качествъ Степана Михайловича, и по прежнему оставался только совершенно убѣжденнымъ, что отецъ его такой человѣкъ, котораго всѣ должны почитать и даже бояться. Въ этотъ разъ Софья Николавна ничего не замѣчала; она чувствовала и говорила за него сама; она хвалила и березовую, кочковатую рощу, и глубокую рѣку; даже о золовкахъ своихъ отзывалась очень благосклонно.

Проснувшись послѣ обѣда, Степанъ Михайловичъ немедленно позвалъ къ себѣ невѣстку съ мужемъ и всю свою семью. Давно не видали его такимъ ласковымъ и свѣтлымъ. Хорошо ли онъ выспался, или на сердцѣ у него было хорошо,—только всякій видѣлъ, что старый баринъ чѣмъ-то очень доволенъ и веселъ. Послѣ отзыва Степана Михайловича, Александра и Елизавета Степановны себя принудили, а Танюша (всѣ ее такъ звали) и Арина Васильевна очень охотно стали ласковѣе и разговорчивѣе; Каратаеву мигнула Александра Степановна, — и онъ смѣлѣе сталъ повторять послѣднія слова говорящаго, хотя бы и не съ нимъ говорили; но мрачный генералъ продолжалъ молчать и смотрѣть значительно. Семейная бесѣда сдѣлалась необыкновенно жива и одушевлена. Старику захотѣлось поранѣе накушаться чаю, разумѣется въ тѣни подлѣ крылечка, и невѣстка получила исключительное право разливать вечерній чай. Танюша охотно уступила ей свою должность. Послѣ чая Степанъ Михайловичъ приказалъ заложить двое дрогъ, посадилъ съ собою невѣстку и въ сопровожденіи всей семьи поѣхалъ на мельницу. Надобно сказать, что старикъ былъ охотникъ до мельничнаго дѣла и самъ занимался имъ. Жернова мололи и толчея толкла отлично, хотя амбаръ былъ невзраченъ и неопрятно покрытъ камышомъ. Хозяинъ любилъ похвастаться внутреннимъ устройствомъ своей мельницы и принялся по-

дробно показывать все невѣсткѣ; онъ любовался ея совершеннымъ невѣдѣніемъ, ея любопытствомъ, а иногда и страхомъ, когда онъ вдругъ пускалъ сильную воду на всѣ четыре постава, когда снасти начинали пошевеливаться, покачиваться и постукивать, а жернова быстро вертѣться, пѣть и гудѣть, когда въ хлѣбной пыли начиналъ трястись и вздрагивать полъ подъ ногами и весь мельничный амбаръ. Для Софьи Николавны это была совершенная новость, которая нисколько ей не нравилась; но изъ угожденія свекру она всему дивилась, обо всемъ разспрашивала, всѣмъ любовалась. Свекоръ былъ очень доволенъ, долго продержалъ невѣстку на мельницѣ, и когда вышелъ съ нею на плотину, гдѣ молодой мужъ и двѣ золовки удили рыбу, то былъ встрѣченъ общимъ смѣхомъ: старикъ и невѣстка были покрыты мукою. Для Степана Михайловича это было дѣло обыкновенное; онъ же, выходя, немножко отряхнулся по привычкѣ и утерся, а Софья Николавна не подозрѣвала, что такъ искусно и сильно напудрена; и самъ свекоръ расхохотался, глядя на свою невѣстку; она же смѣялась больше всѣхъ, шутила очень забавно и жалѣла только о томъ, что нѣтъ зеркала и что не во что ей посмотрѣться, хорошо ли она убрана на балъ. Видя, что всѣ очень заняты рыбной ловлей, старикъ повезъ свою молодую мельничиху (такъ звалъ онъ ее весь этотъ вечеръ) вокругъ пруда, чрезъ мостъ, и, обогнувъ все верховье, всѣ разливы, воротился уже по плотинѣ къ тому казу, около котораго удили рыбаки и гдѣ спокойно сидѣла и смотрѣла на нихъ тучная Арина Васильевна. Вездѣ, гдѣ проѣзжали свекоръ съ невѣсткой, была грязь, топь; по скверному мостишку едва можно было переѣхать черезъ рѣку и еще труднѣе было пробраться по навозной и топкой плотинѣ; все было не по вкусу Софьѣ Николавнѣ: но, конечно, не могъ этого замѣтить Степанъ Михайловичъ, который не видалъ ни грязи, ни топи, не слыхалъ противнаго запаха отъ стоячей воды или навозной плотины. Все было имъ самимъ заведено, устроено и все было ему пріятно. Солнце садилось, становилось сыро; всѣ весело отправились домой; рыбаки повезли съ собой добычу—славныхъ окуней, красноперокъ и небольшихъ язей. У крыльца ожидалъ хозяина староста, старикъ занялся хозяйственными распоряженіями, молодая привела въ порядокъ свой нарядъ; рыбу между тѣмъ сварили, изжарили на сковородкѣ въ сметанѣ, а самыхъ

крупныхъ окуней испекли въ кожѣ и чешуѣ, и все это за ужиномъ нашли очень вкуснымъ.

Такъ прошелъ другой день; разошлись поранѣе, чтобъ молодымъ завтра пораньше встать и ѣхать въ гости. Александра Степановна, оставшись наединѣ съ матерью и меньшою сестрою, сбросивъ съ себя тяжкое принужденье, дала волю своему бѣшеному нраву и злому языку. Она видѣла, что все погибло, что свекоръ горячо полюбилъ невѣстку, что сбылись ея предсказанія, что приворотила старика городская прощалыга, и что теперь нечего другого дѣлать, какъ спровадить молодыхъ поскорѣе въ Уфу, и безъ нихъ приняться уже за какую-нибудь хитрую работу. Досталось и Аринѣ Васильевнѣ, и Танюшѣ за то, что онѣ были уже слишкомъ ласковы, и что еслибъ не она, то заворожила бы и ихъ эта модница, эта нищая казачья внучка.

На другой день, точно въ шесть часовъ утра, отправились молодые въ Нагаткино, на шестеркѣ славныхъ доморощенныхъ лошадей, въ аглицкой своей каретѣ. Невѣстка успѣла напоить чаемъ свекра и поѣхала обласканная имъ; онъ даже перекрестилъ ее на дорогу, потому что молодые должны были ночевать въ гостяхъ. Дорога шла сначала внизъ по рѣкѣ, а потомъ, перерѣзавъ ее и поднявшись въ гору, достигала уѣзднаго городка Бугуруслана. Не останавливаясь въ немъ, путешественники наши переѣхали по мосту рѣку Большой-Кинель, и луговою его стороною, ровною и покрытою густой травой, по степной, колеистой, лѣтней дорогѣ, не заѣзжая ни въ одно селенье,—кони бѣжали шибкой рысью, верстъ по десяти въ часъ. Алексѣй Степанычъ давно не бывалъ за Кинелемъ; зеленая, цвѣтущая, душистая степь приводила его въ восхищенье; то и дѣло стрепета поднимались съ дороги и кроншнепы постоянно провожали экипажъ, кружась надъ нимъ и залетая впередъ, садясь по вѣхамъ и оглашая воздухъ своими звонкими трелями. Алексѣй Степанычъ очень жалѣлъ, что съ нимъ не было ружья... Полная звуковъ, голосовъ и жизни степь, богатая тогда всѣми породами полевой дичи, такъ сильно его развлекала или, правду сказать, такъ поглощала все его вниманіе, что онъ безъ участія слушалъ, а отчасти и вовсе не слыхалъ умныхъ и живыхъ разговоровъ Софьи Николавны. Она скоро замѣтила невниманіе мужа и призадумалась; потомъ изъ веселой сдѣлалась недовольною и наконецъ принялась разговаривать

съ своей Парашей, которая сидѣла съ ними въ каретѣ. Переваливъ плоскую возвышенность, какъ разъ къ двѣнадцати часамъ подкатила карета къ деревенскому, небольшому дому Аксиньи Степановны, еще менѣе Багровскаго похожему на городскіе дома. Домъ стоялъ на плоскомъ берегу Малаго-Кинеля и отдѣлялся отъ него однимъ только огородомъ съ молодыми овощами, съ грядками, изрѣшеченными бѣлыми лутошками для завивки побѣговъ сахарнаго гороха, и съ нѣсколькими подсолнечниками. Неравнодушно вспоминая и теперь эту простую, бѣдную мѣстность, которую увидѣлъ я въ первый разъ, лѣтъ десять позднѣе, я понимаю, что она нравилась Алексѣю Степанычу и что должна была не понравиться Софьѣ Николавнѣ. Мѣсто голое, пустое, на припекѣ, на плоскомъ берегу; кругомъ ровная степь съ сурчинами, ни деревца, ни кустика, рѣка тихая, омутистая, обросшая камышомъ и палочникомъ.... Кому же все это понравится? Ничего казистаго, великолѣпнаго, живописнаго; но Алексѣй Степанычъ такъ любилъ это мѣсто, что даже предпочиталъ его Багрову. Я не согласенъ съ нимъ, но также очень полюбилъ тихій домикъ на берегу Кинеля, его прозрачныя воды, его движущіеся теченіемъ рѣки камыши, зеленую степь вокругъ и плотъ, ходившій почти отъ самаго крыльца и перевозившій черезъ Кинель еще болѣе въ степную, ковылистую, казалось безграничную даль, прямо на югъ!.....

Хозяйка съ двумя маленькими сыновьями и двухлѣтней дочерью, съ Елизаветой Степановной и ея мужемъ встрѣтила дорогихъ гостей на крыльцѣ. Не смотря однако на невыгодную наружность деревенскихъ хоромъ, въ комнатахъ было все чисто и опрятно, и даже гораздо чище и опрятнѣе, чѣмъ у Степана Михайловича. Вообще у „сердечной простоты“, такъ ее называли сестрицы, не смотря на ея вдовье положеніе, не смотря на присутствіе маленькихъ дѣтей, замѣчался въ домѣ какой-то приборъ и порядокъ, обличавшій исключительно женскую попечительность. Я уже сказалъ, что Аксинья Степановна была добрая женщина, что она полюбила невѣстку и потому очень естественно, что она, въ качествѣ гостепріимной хозяйки, приняла и чествовала молодыхъ съ полнымъ радушіемъ. Это предвидѣли въ Багровѣ и нарочно отправили Елизавету Степановну, чтобъ она, по превосходству своего ума и положенія въ обществѣ (она была генеральша), могла воздерживать порывы дружелюбія простодуш-

ной Аксиньи Степановны; но простая душа не поддалась умной и хитрой генеральшѣ и на всѣ ея настойчивые совѣты отвѣчала коротко и ясно: „Вы себѣ тамъ, какъ хотите; не любите и браните Софью Николавну, а я ею очень довольна; я, кромѣ ласки и уваженія, ничего отъ нея не видала, а потому и хочу, чтобъ она и братъ были у меня въ домѣ мною также довольны“.... и все это исполняла на дѣлѣ съ искренней любовью и удовольствіемъ: заботилась, ухаживала за невѣсткой и подчивала молодыхъ на-пропалую. За то гордая Елизавета Степановна и даже ея мужъ, впрочемъ такъ натянувшійся къ ночи, что его заперли въ пустую баню, держали себя гораздо холоднѣе и дальше, чѣмъ въ Багровѣ. Софья Николавна не обращала на нихъ вниманія и была увлекательно любезна съ хозяйкой и ея маленькими дѣтьми. Послѣ обѣда немного отдохнули, потомъ гуляли по Кинелю, перевозились на ту сторону, потомъ пили чай на берегу рѣки; предлагали гостьѣ поудить рыбу, но она отказалась, говоря, что терпѣть не можетъ этой забавы и что ей очень пріятно проводить время съ сестрицами. Алексѣй же Степанычъ, обрадованный взаимнымъ дружескимъ обращеніемъ старшей сестры и жены, съ увлеченіемъ занялся удочками, которыми вся прислуга потѣшалась и тѣшила своихъ молодыхъ господъ. Онъ до самаго ужина просидѣлъ на берегу Кинеля, забившись въ густой камышъ, и выудилъ нѣсколько крупныхъ лещей, которыми изобиловали кинельскія тихія воды. Отъѣздъ былъ назначенъ также въ шесть часовъ слѣдующаго утра; даже хотѣли выѣхать пораньше, чтобы не заставить Степана Михайловича дожидаться молодыхъ къ обѣду; хозяйка же съ своей сестрицей-генеральшей положили выѣхать къ вечеру, чтобъ ночевать въ Бугурусланѣ, выкормить хорошенько лошадей и на другой уже день пріѣхать въ Багрово. Софья Николавна продолжала быть нѣсколько недовольною своимъ мужемъ. Не смотря на необыкновенный умъ, она не могла понять, какъ могъ человѣкъ, страстно ее любящій, любить въ то же время свое сырое Багрово, его кочковатыя рощи, навозную плотину и загнившія воды; какъ могъ онъ заглядываться на скучную степь съ глупыми куликами, и наконецъ, какъ онъ могъ нѣсколько часовъ не видать своей жены, занимаясь противной удочкой и лещами, отъ которыхъ воняло отвратительной сыростью. Не могла понять, и потому, когда Алексѣй Степанычъ спѣшилъ дѣ-

литься съ нею сладкими впечатлѣніями природы и охоты, она почти обижалась. Впрочемъ на этотъ разъ въ ней нашлось столько благоразумія, что она не заводила объясненій, не дѣлала упрековъ: сцена на островѣ была у ней еще въ свѣжей памяти.

Алексѣй Степанычъ и Софья Николавна проспали спокойно ночь въ собственной спальнѣ Аксиньи Степановны, которую она имъ уступила, устроивъ наилучшимъ образомъ, какъ могла и какъ умѣла, не обративъ никакого вниманія на ѣдкія замѣчанія сестрицы-генеральши. Рано поутру молодые уѣхали, получасомъ даже ранѣе назначеннаго срока. На возвратномъ пути ничего особеннаго не случилось, кромѣ того, что Алексѣй Степанычъ нѣсколько менѣе развлекался степью и куликами и не такъ уже ахалъ, когда стрепета взлетали съ дороги, и потому внимательнѣе слушалъ и нѣжнѣе смотрѣлъ на свою обожаемую жену. Они пріѣхали въ Багрово ранѣе, чѣмъ ихъ ожидали. Столъ однакоже накрывали; Александра Степановна успѣла уже указать, что „придется батюшкѣ сегодня попознѣе обѣдать, что гдѣ же городскимъ людямъ нѣсколько дней сряду такъ рано вставать". Старикъ хорошо понималъ музыку этихъ словъ и къ общему изумленію весело отвѣчалъ: „ну такъ что-жъ? Мы и подождемъ дорогихъ гостей". Всѣ были поражены этими словами. Надобно сказать, что Степанъ Михайловичъ во всю свою жизнь позже двѣнадцати часовъ не садился за столъ, а если чувствовалъ особенный аппетитъ, то приказывалъ подавать кушанье и раньше и, при малѣйшей медленности или задержкѣ, онъ начиналъ сильно гнѣваться. „Такъ вотъ какова Софья Николавна, шептала въ уши матери и меньшой сестрѣ Александра Степановна, для нея можно и подождать съ удовольствіемъ! Ну если бы вы, матушка, когда-нибудь опоздали къ обѣду, возвращаясь изъ Неклюдова, такъ досталось бы и вамъ, и всѣмъ намъ"... Не успѣла она кончить свое злобное шептанье, сидя съ матерью въ сосѣдней комнатѣ, какъ подлетѣла уже карета къ крыльцу, фыркали усталые кони и цѣловалъ свою невѣстку свекоръ, хваля молодыхъ, что они не опоздали, и звучно раздавался его голосъ: „Мазанъ, Тайначенокъ, кушанье подавать!"

День пошелъ прежнимъ порядкомъ. Послѣ вечерняго чая Степанъ Михайловичъ, благоволеніе къ невѣсткѣ котораго часъ отъ часу увеличивалось, приказалъ пригнать со степи

табунъ лошадей, чтобъ показать его Софьѣ Николавнѣ, которая какъ-то между словъ сказала, что не имѣетъ понятія о табунѣ и желала бы его видѣть. Табунъ пригнали на дворъ и старикъ самъ водилъ невѣстку по двору, показывалъ ей лучшихъ матокъ съ жеребятами-сосунками, стригановъ, лонщаковъ [1]) и молодыхъ мереновъ, которые, въ продолженіи лѣта, всѣ ходили въ табунѣ на сытномъ и здоровомъ подножномъ корму. Онъ подарилъ ей двухъ отличныхъ жеребыхъ кобылъ, говоря, что поведетъ отъ нихъ заводъ на ея счастье. Маленькіе жеребята очень понравились Софьѣ Николавнѣ, она съ удовольствіемъ смотрѣла на ихъ прыжки и и ласки къ матерямъ; за подарокъ же, разумѣется, очень благодарила. „Смотри же, Спирька," строго наказывалъ Степанъ Михайловичъ своему главному конюху, „чтобъ кобылы Софьи Николавны были сбережены сохранно, а на жеребятъ положимъ особыя примѣты: ушко распоремъ пониже, а со временемъ и тавро сдѣлаемъ съ именемъ молодой барыни.— Хоть бы ты была охотница до лошадей, невѣстынька, продолжалъ онъ, обращаясь къ Софьѣ Николавнѣ, а вотъ Алексѣй вовсе не охотникъ!" Старикъ очень любилъ лошадей, и неусыпными трудами, при небольшихъ его денежныхъ средствахъ, имѣлъ уже многочисленный заводъ и вывелъ такую породу доброѣзжихъ коней, которой удивлялись охотники и знатоки. Степанъ Михайловичъ обрадовался участію Софьи Николавны къ конному его заводу, изъявленному ею, конечно, изъ одного желанія угодить свекру, принялъ ея слова за чистыя деньги и повелъ ее посмотрѣть, какъ кормятъ ѣзжалыхъ лошадей, и своихъ, и гостиныхъ, которыхъ иногда скоплялось не мало.

Боясь наскучить моимъ читателямъ такимъ подробнымъ описаніемъ пребыванія молодыхъ Багровыхъ у свекра, я скажу только, что слѣдующій, то-есть, пятый день былъ проведенъ такъ же, какъ и предыдущій. По старшинству слѣдовало бы теперь молодымъ сдѣлать свадебный визитъ къ Ерлыкинымъ; но деревушка ихъ находилась въ 170 верстахъ отъ Багрова, гораздо ближе къ Уфѣ, и такъ положено было, чтобъ молодые заѣхали къ нимъ на возвратномъ пути въ Уфу. Къ тому же супругъ Елизаветы Степановны, мрачный и молчаливый ге-

[1]) Стриганами называютъ годовалыхъ жеребятъ, потому что имъ подстригаютъ гривы, чтобъ онѣ ровнѣе и лучше росли. Лонщакъ—двухлѣтній жеребенокъ, третьякъ.

нералъ Ерлыкинъ, напившись пьянъ въ Нагаткинѣ, запилъ запоемъ, который обыкновенно продолжался не менѣе недѣли, такъ что жена принуждена была оставить его въ Бугурусланѣ, подъ видомъ болѣзни, у какихъ-то своихъ знакомыхъ. И такъ черезъ день назначено было ѣхать къ Александрѣ Степановнѣ, и она съ своимъ башкиролюбивымъ супругомъ отправилась наканунѣ въ свою Каратаевку и пригласила, съ позволенія отца, старшую и младшую сестру; а Елизавета Степановна осталась дома, подъ предлогомъ, что у ней больной мужъ лежитъ въ Бугурусланѣ, а собственно для назидательныхъ бесѣдъ съ стариками. Дорога къ Каратаевымъ, которые жили почти въ такомъ же разстояніи отъ Багрова, какъ и Нагаткина, то-есть немного болѣе пятидесяти верстъ, шла совершенно въ противоположную сторону, прямо на сѣверъ. Съ половины пути, мѣстность дѣлалась гористою и лѣсною. Молодые отправились послѣ ранняго завтрака, и какъ дорога была не ѣздовита и тяжела, то на полдорогѣ, между Новой и Старой Мертовщины [1]) (куда на возвратномъ пути имъ надо было заѣхать), они покормили въ полѣ часа два и къ вечернему чаю пріѣхали въ Каратаевку. Домишко у любителя Башкирцевъ былъ несравненно хуже нагаткинскаго дома: маленькія темныя окна прежде всего бросались въ глаза, полы были неровны, съ множествомъ дыръ, проѣденныхъ крысами, и такъ грязны, что ихъ и домыться не могли. Съ какимъ-то страхомъ и отвращеніемъ вступила Софья Николавна въ это негостепріимное и противное жилье. Александра Степановна вела себя надменно, безпрестанно оговариваясь и отпуская разныя колкости, какъ напримѣръ: „мы рады, рады дорогимъ гостямъ, милости просимъ; братецъ, конечно, не осудитъ, да только я ужъ и не знаю, какъ сестрицѣ Софьѣ Николавнѣ и войти въ нашу лачужку послѣ городскихъ палатъ у своего батюшки. Мы вѣдь люди бѣдные, нечиновные, и живемъ по своему состоянію; вѣдь у насъ жалованья и доходовъ нѣтъ.“ Софья Николавна не оставалась въ долгу и отвѣчала, что всякій живетъ не столько по своему состоянію, сколько по своему вкусу, и что впрочемъ для нея все равно, гдѣ бы ни жили и какъ бы ни жили родные Алексѣя Степаныча. Послѣ ужина молодымъ отвели для спальни такъ называемую гостиную, гдѣ, какъ только погасили свѣчку,

[1]) Названіе деревень.

началась возня, стукъ, прыганье, и они были атакованы крысами съ такою наглостью, что бѣдная Софья Николавна не спала всю ночь, дрожа отъ страха и отвращенья. Алексѣй Степанычъ принужденъ былъ зажечь свѣчу и, вооружась подоконной подставкой, защищать свою кровать, на которую даже вспрыгивали крысы, покуда не была зажжена свѣча [1]). Впрочемъ Алексѣй Степанычъ не чувствовалъ ни страху, ни отвращенія; для него это была не новость, и сначала его даже забавляли и стукъ, и возня, и дерзкіе прыжки этихъ противныхъ животныхъ, а потомъ онъ даже заснулъ, съ подстановкой въ рукахъ, лежа поперекъ кровати; но Софья Николавна безпрестанно его будила, и только по восхожденіи солнца, когда непріятель скрылся въ свои траншеи, заснула бѣдная женщина. Она встала съ головною болью, а хозяйка только подсмѣивалась тому, „какъ негодныя крысы напугали Софью Николавну“, прибавляя, что онѣ нападаютъ только на новенькихъ и что хозяева къ нимъ уже привыкли. Аксинья Степановна и Танюша, которая также боялась крысъ, не могли однако безъ сожалѣнія смотрѣть на жалкое и больное лицо своей невѣстки и изъявляли ей свое участіе. Нагаткина даже попеняла Александрѣ Степановнѣ, зачѣмъ она не приказала взять обыкновенныхъ предосторожностей, то-есть, поставить кровать по срединѣ горницы, привязать пологъ и подтыкать кругомъ подъ пуховикъ; но хозяйка злобно смѣялась и говорила: „жаль, что крысы дорогой гостьѣ носа не откусили“. „Смотри, отвѣчала ей Аксинья Степановна, чтобъ не дошло до батюшки и чтобъ тебѣ не досталось“.

Деревня Каратаевка была поселена вдоль по скату на небольшой, изъ родниковъ состоящей рѣчкѣ, запруженной въ концѣ селенья и поднимавшей мельницу на одинъ поставъ. Мѣстоположеніе было бы не дурно, но хозяева и весь бытъ ихъ были такъ противны, что и сама мѣстность никому не нравилась. Каратаевъ, который въ Багровѣ боялся Степана Михайловича, а дома боялся жены, иногда и хотѣлъ бы полюбезничать съ Софьей Николавной, да не смѣлъ, и только, пользуясь отсутствіемъ супруги, просилъ иногда у молодой позволенія поцѣловать ея ручку, прибавляя по обыкновенію, что такой писаной красавицы нигдѣ не отыщешь. При повто-

[1]) Невѣроятное множество крысъ продолжало водиться въ Каратаевкѣ лѣтъ сорокъ. Я самъ испыталъ ихъ наглыя ночныя нападенія.

реніи такой просьбы—позволенія онъ уже не получилъ.— Каратаевъ велъ жизнь самобытную: большую часть лѣта проводилъ онъ, разъѣзжая въ гости по башкирскимъ кочевьямъ и каждый день напиваясь до пьяна кумысомъ; по-башкирски говорилъ, какъ башкирецъ; сидѣлъ верхомъ на лошади и не слѣзалъ съ нея по цѣлымъ днямъ, какъ башкирецъ, даже ноги у него были колесомъ, какъ у башкирца; стрѣлялъ изъ лука, разбивая стрѣлой яйцо на дальнемъ разстояніи, какъ истинный башкирецъ; остальное время года жилъ онъ въ какомъ-то чуланѣ съ печью, прямо изъ сѣней, цѣлый день глядѣлъ, высунувшись, въ поднятое окошко, даже зимой въ жестокіе морозы, прикрытый ергакомъ, насвистывая башкирскія пѣсни и попивая отъ времени до времени цѣлительный травникъ или ставленый башкирскій медъ. Зачѣмъ смотрѣлъ Каратаевъ въ окошко, передъ которымъ лежало пустое пространство двора, пересѣкаемое вкось неторной тропинкой, что видѣлъ, что замѣчалъ, о чемъ думала эта голова на богатырскомъ туловищѣ,—не разгадаетъ никакой психологъ. Нарушалось, правда, иногда созерцаніе философа: проходила козыремъ по дорожкѣ изъ людской въ скотную избу полногрудая баба или дѣвка, кивалъ и мигалъ ей Каратаевъ и получалъ въ отвѣтъ коротко знакомыя киванья и миганья... но женскій образъ исчезалъ на поворотѣ, какъ призракъ, и снова глядѣлъ Каратаевъ въ пустую даль.

Софья Николавна не знала, какъ вырваться изъ этой берлоги, и послѣ ранняго обѣда, въ продолженіи котораго стояли уже лошади у крыльца, молодые сейчасъ распростились и уѣхали. На прощаньи хозяйка, цѣлуясь съ золовкой въ обѣ щеки и въ плечи, выразительно благодарила за пріятнѣйшее посѣщеніе, и не менѣе выразительно благодарила невѣстка за пріятнѣйшее угощеніе.

Оставшись въ каретѣ съ мужемъ, Софья Николавна дала волю своей досадѣ. Простодушная Аксинья Степановна безъ намѣренія выболтала ей, что хозяйка съ умысломъ не взяла предосторожностей отъ крысъ, и молодая женщина, удержавшись отъ вспышки въ домѣ своей недоброхотки, не совладѣла съ своей вспыльчивой природой: она позабыла, что въ каретѣ сидитъ Параша, позабыла, что Александра Степановна родная сестра Алексѣю Степанычу, и не поскупилась на оскорбительныя выраженія. Алексѣй Степанычъ, по добротѣ своего сердца и прямодушію, не могъ повѣрить умыслу со

стороны своей сестры, видѣлъ въ этомъ одну недогадливость и обидѣлся выраженіями Софьи Николавны, которыхъ, сказать по правдѣ, нельзя было извинить ни въ какомъ случаѣ. Молодой мужъ въ первый разъ осердился на свою молодую жену, сказалъ, что ей стыдно такъ говорить, отвернулся и замолчалъ. Въ такомъ расположеніи духа пріѣхали они въ старую Мертовщину, гдѣ жила въ то время замѣчательно умная старуха Марья Михайловна Мертвая [1]), дочь которой, Катерина Борисовна (большая пріятельница Софьи Николавны), недавно вышедшая замужъ за сосланнаго въ Уфу правительствомъ и овдовѣвшаго тамъ П. И. Чичагова, совершенно неожиданно для молодыхъ Багровыхъ, находилась тутъ же съ своимъ мужемъ. Софья Николавна, которая любила Чичагова не меньше, чѣмъ свою пріятельницу, была такъ обрадована этой нечаянностью, что позабыла всю свою досаду и сдѣлалась очень жива и весела; но Алексѣй Степанычъ остался печаленъ и молчаливъ, что было замѣчено всѣми.

Исторія и вторичная женитьба Чичагова цѣлый романъ, и я разскажу его какъ можно короче; разскажу потому, что мы въ послѣдствіи будемъ встрѣчаться съ этимъ семействомъ и особенно потому, что оно имѣло нѣкоторое вліяніе на жизнь молодыхъ Багровыхъ. П. И. Чичаговъ былъ необыкновенно умный или, справедливѣе сказать, необыкновенно остроумный человѣкъ; онъ получилъ по тогдашнему блестящее и многостороннее образованіе, зналъ нѣсколько языковъ, рисовалъ, чертилъ (т. е. зналъ архитектуру), писалъ и прозой, и стихами. Въ порѣ пылкой молодости влюбился онъ въ Москвѣ въ дѣвицу Римско-Корсакову, и для полученія ея руки рѣшился на какой-то непростительный обманъ, который открылся уже послѣ брака, за что и былъ Чичаговъ сосланъ на жительство въ Уфу. Жена его скоро умерла; онъ черезъ годъ утѣшился, влюбился въ Катерину Борисовну и увлекъ ее своей любезностью, веселостью, образованностью и умомъ; наружность же его была очень некрасива, влюбиться въ него было невозможно. Катерина Борисовна была дѣвушка взрослая и съ твердымъ характеромъ; мать и братья не могли съ ней сладить и выдали за Чичагова, который впослѣдствіи былъ прощенъ, но не имѣлъ права выѣзжать изъ Уфимской губер-

[1]) Впослѣдствіи правительство позволило измѣнить это страшное слово, и сыновья ея стали называться Мертваго. *Примѣч. автора.*

ніи. Софья Николавна любила его вдвойнѣ: за то, что онъ былъ мужемъ, страстно любимымъ, ея пріятельницы, и, вѣроятно, еще болѣе за то, что онъ былъ уменъ и образованъ. Старуха Марья Михайловна задумала переѣхать на житье въ деревню, и Чичаговъ съ женой пріѣхали именно за тѣмъ, чтобы помогать ей строить домъ и церковь. Софья Николавна, уже съ недѣлю прогостившая въ семействѣ своего мужа и его сестеръ, обрадовалась Чичаговымъ, какъ свѣтлому празднику; пахнуло на нее свѣжимъ воздухомъ, отдохнула ея душа и живой умъ, и она проговорила съ друзьями чуть не до полночи. Алексѣй Степанычъ просидѣлъ бы въ безмолвномъ уединеніи, еслибъ разумная старуха хозяйка не смекнула дѣломъ и не заняла гостя приличными разговорами; послѣ ужина онъ простился однако съ хозяевами и ушелъ спать въ отведенную для гостей комнату. Софья Николавна нашла уже его крѣпко спящимъ, а на другой день рано поутру, не безпокоя хозяевъ, они уѣхали въ Багрово.

Дорогой Алексѣй Степанычъ продолжалъ дуться и молчать; даже на всѣ прямые вопросы Софьи Николавны онъ отвѣчалъ такъ холодно и односложно, что она перестала говорить съ нимъ. По ея живому и нетерпѣливому нраву, это ей было очень тяжело; а какъ она не хотѣла заводить объясненій при Парашѣ и рѣшилась отложить ихъ до послѣ-обѣденнаго отдыха, когда она останется одна съ мужемъ, то и завела она разговоры съ своей горничной, вспоминая про уфимское житье. Алексѣй Степанычъ забился въ уголъ кареты и заснулъ или притворился спящимъ. Такъ пріѣхали они въ Багрово часа за два до обѣда. Степанъ Михайловичъ видимо обрадовался невѣсткѣ и даже сказалъ, что соскучился по ней. „Нѣтъ, прибавилъ онъ, не надо вамъ съ Алешей долго здѣсь оставаться, а то я привыкну къ тебѣ, невѣстынька, да пожалуй еще и скучать стану“. Степанъ Михайловичъ заставилъ Софью Николавну разсказать все подробно объ ея поѣздкѣ. Онъ зналъ Марью Михайловну, очень хвалилъ и сказалъ, что завтра пошлетъ звать ее съ зятемъ и дочерью откушать хлѣба и соли у молодыхъ, для чего и назначилъ слѣдующее воскресенье, до котораго оставалось четыре дня. „Послѣ завтра съѣздите вы къ Калминскимъ и Луневскимъ, говорилъ старикъ, и также позовете ихъ въ воскресенье, а тамъ, дня черезъ три, и Богъ съ вами! поѣзжайте въ Уфу, къ своимъ мѣстамъ. Сватъ Николай Ѳедоровичъ никогда не

разставался съ тобой (тутъ онъ обратился къ невѣсткѣ) и, чай, больно по тебѣ соскучился, а ты, чай, и подавно стосковалась по больномъ старикѣ".

Степанъ Михайловичъ скоро догадался, что въ эту поѣздку произошло что-нибудь непріятное. Продолжая разговаривать, онъ спросилъ: „ну, что, рады ли вамъ были хозяева въ Каратаевкѣ?" Разумѣется, отвѣчали, что были очень рады; но Софья Николавна между словъ упомянула, что не спала тамъ всю ночь отъ крысъ. Старикъ удивился. Онъ всего одинъ разъ, и то очень давно, былъ въ Каратаевкѣ и ничего подобнаго не слыхалъ. „Такъ, такъ, батюшка Степанъ Михайлычъ!" простодушно воскликнула Арина Васильевна. Напрасны были запретительные знаки Елизаветы Степановны: старуха не успѣла замѣтить ихъ, за что ей потомъ крѣпко досталось отъ дочекъ. „Тамъ такія крысы, продолжала она, что ужасть, безъ полога и спать нельзя". — „А вы спали безъ полога?" спросилъ старикъ измѣнившимся и какимъ-то зловѣщимъ голосомъ. Должны были отвѣчать, что спали безъ полога. „Хороша хозяйка!" сказалъ онъ, и такъ поглядѣлъ на жену и на дочь-генеральшу, что у нихъ морозъ пробѣжалъ по кожѣ.

Каратаевы и Нагаткина съ Танюшей еще не воротились: они должны были пріѣхать къ вечернему чаю. Обѣдъ прошелъ не весело. Всѣ были смущены и всякій имѣлъ свои причины. Арина Васильевна съ Елизаветой Степановной чуяли приближающуюся грозу и боялись, что громъ упадетъ и на нихъ. Давно не гнѣвался Степанъ Михайловичъ; тѣмъ страшнѣе казался ожидаемый гнѣвъ, отъ котораго онѣ поотвыкли. Софья Николавна замѣтила, что свекоръ нахмурился. Она была не прочь, если бы онъ припугнулъ свою дочку, которую она терпѣть не могла, какъ явнаго своего врага; но опасалась, чтобъ ей самой тутъ же какъ-нибудь не досталось. Она, конечно, проговорилась о крысахъ, не имѣя никакого дурного намѣренія; она не думала, чтобъ свекоръ обратилъ на это обстоятельство особенное вниманіе и придалъ ему такую важность. Впрочемъ, у Софьи Николавны лежалъ свой камень на сердцѣ: она еще не рѣшилась и не знала, какъ поступить съ мужемъ, который осердился въ первый разъ за обидныя слова объ Александрѣ Степановнѣ: дожидаться ли, чтобъ онъ самъ обратился къ ней, или прекратить тягостное положеніе, испросивъ у него прощенья, и

своей любовью, нѣжностью, ласками заставить его позабыть ея проклятую вспыльчивость? И, конечно, она точно бы такъ поступила, потому что любила горячо, пламенно своего молодого, добраго, кроткаго, любящаго мужа. Она строго осуждала себя. Она должна была все предвидѣть, ко всему быть готовой. Она знала, что Алексѣй Степанычъ не задумается умереть за нее, но что нѣжнаго, постояннаго вниманія, полнаго пониманія всего, что можетъ огорчить ее, всѣхъ мелочей жизни, отъ него не должно требовать и нельзя ожидать. Но что же ей дѣлать съ своей кипучею кровью, съ своими тонкими, блажными нервами, съ своей живой, увлекающейся головой, съ своей чувствительной, воспріимчивой душою?... Такъ думала, такъ чувствовала бѣдная женщина, ходя изъ угла въ уголъ по своей спальнѣ, куда ушла она послѣ обѣда и гдѣ дожидалась мужа, котораго на дорогѣ задержала мать, позвавъ къ себѣ въ комнату. Минуты казались ей часами. Мысль, что Алексѣй Степанычъ нарочно медлитъ, не желая остаться съ ней наединѣ, избѣгая объясненій; мысль, что она, не облегчивъ своего сердца, переполненнаго разными мучительными ощущеніями, не примирившись съ мужемъ, увидится съ нимъ въ присутствіи враждебной семьи и должна будетъ притворяться цѣлый вечеръ,—эта мысль сжимала сердце, бросала ее въ ознобъ и жаръ... Вдругъ растворилась дверь, и Алексѣй Степанычъ, уже не робкій и печальный, а смѣлый и даже раздраженный, входитъ рѣшительными шагами и самъ начинаетъ укорять свою жену, зачѣмъ она пожаловалась батюшкѣ и прогнѣвала его на сестрицу Александру Степановну!.. „Теперь всѣ дрожатъ и плачутъ, и Богу только одному извѣстно, что изъ этого выйдетъ“, говорилъ Алексѣй Степанычъ, полный тѣмъ, что сейчасъ надули ему въ уши мать и Елизавета Степановна. „Перемутить да перессорить семью своего мужа не хорошо, грѣшно. Вѣдь я разсказывалъ тебѣ, каковъ бываетъ батюшка въ гнѣвѣ, а ты, все это зная и видя, что онъ тебя полюбилъ, воспользовалась“... Терпѣнье Софьи Николавны лопнуло, голова вспыхнула, любовь замолчала, сожалѣнья, раскаянья какъ будто никогда ни бывало, и увидѣлъ бѣдный мужъ, что не одинъ Степанъ Михайлычъ можетъ приходить въ гнѣвъ... Неотразимый потокъ жалобъ, обвиненій, упрековъ хлынулъ на него... И Алексѣй Степанычъ былъ смятъ, уничтоженъ, виноватъ безъ оправданья, чуть не злодѣй въ его собственныхъ глазахъ... И стоя на

колѣняхъ, обливаясь слезами, вымаливалъ онъ прощенья у ногъ Софьи Николавны... И не Алексѣй Степанычъ не устоялъ бы противъ этого пламеннаго взрыва ума, чувства, огня, сердечнаго убѣжденья и чуднаго дара говорить! И совершенно правый человѣкъ, гораздо потверже Алексѣя Степаныча, на ту минуту призналъ бы себя виноватымъ передъ молодой, прекрасной, любимой женщиной... Алексѣй же Степанычъ, конечно, былъ не правъ.

Въ спальнѣ молодыхъ утихала гроза, а на другомъ концѣ дома, въ небольшой горницѣ Степана Михайловича, только что начиналась. Старикъ проснулся. Сонъ не умирилъ его духа, не разгладилъ морщинъ на крутомъ его лбѣ; мраченъ сидѣлъ онъ нѣсколько времени поперекъ своей кровати и вдругъ крикнулъ: „Мазанъ!“... Мазанъ давно лежалъ на двери, смотрѣлъ въ щелку и, по обыкновенію, сопѣлъ безъ милосердія. Онъ поставленъ былъ дозоромъ, а вся семья въ страхѣ ожиданья сидѣла въ залѣ. Мазанъ, закричавъ во все горло: „чего изволите!“, точно вломился въ дверь. „Пріѣхала Александра Степановна?“ — „Изволили пріѣхать.“— „Позвать ко мнѣ“. И въ ту же минуту вошла Александра Степановна, потому что мѣшкать въ такихъ случаяхъ было всего опаснѣе. „А какъ это ты, сударыня, началъ старикъ знакомымъ и страшнымъ ей голосомъ, брата и невѣстку крысами стравила?“—„Виновата батюшка“, смиренно отвѣчала Александра Степановна, у которой подогнулись колѣни и страхъ подавилъ ея собственный бѣшеный нравъ, „нарочно положила ихъ въ гостиной, да не догадалась полога повѣсить. Въ хлопотахъ да въ радости изъ ума вонъ“... „Ты съ радости не догадалась! Да развѣ я тебя не знаю? Да какъ ты осмѣлилась сдѣлать это супротивъ брата, супротивъ меня? Какъ осмѣлилась осрамить отца на старости?“... Можетъ быть, дѣло бы тѣмъ и кончилось, то-есть: крикомъ, бранью и угрозами, или какимъ-нибудь тычкомъ, но Александра Степановна не могла перенесть, что ей достается за Софью Николавну, понадѣялась, что гроза пройдетъ благополучно, забыла, что всякое возраженіе новая бѣда, не вытерпѣла и промолвила: „понапрасну терплю за нее“. Новый, страшнѣйшій припадокъ гнѣва овладѣлъ Степаномъ Михайловичемъ, того гнѣва, который не проходилъ даромъ и оканчивался страшными, отвратительными послѣдствіями... Уже готово было сорваться съ языка страшное слово... Но Арина Ва-

сильевна, вдова Нагаткина и Танюша, стоявшія за дверью, видя бѣду, отважились войти въ горницу къ Степану Михайловичу. Онѣ бросились въ ноги старику и завопили голосомъ. Каратаевъ, съ ними же стоявшій, убѣжалъ въ рощу и, схвативъ палку, обивалъ, ломалъ невинные березовые сучья, вымѣщая на нихъ за свою жену. Елизавета Степановна не осмѣлилась даже войти, чувствуя, что у самой совѣсть не чиста, и зная, что отецъ хорошо это понимаетъ. „Батюшка, Степанъ Михайлычъ! голосила Арина Васильевна, воля твоя святая, дѣлай, что тебѣ угодно,—мы всѣ въ твоей власти,—только не позорь насъ, не срами своего рода передъ невѣсткой; она человѣкъ новый, ты ее до смерти перепугаешь“... Вѣроятно, эти слова образумили старика. Помолчавъ съ минуту, онъ оттолкнулъ ногой Александру Степановну и закричалъ: „вонъ! и не смѣй показываться на глаза, покуда не позову!“ Никто не дожидался дальнѣйшихъ приказаній; въ одну минуту горница опустѣла и все стало тихо вокругъ Степана Михайловича, у котораго еще долго темны и мутны были голубые зрачки глазъ, долго тяжело онъ дышалъ и грудь его высоко подымалась, потому что онъ сдержалъ свое бѣшенство, не удовлетворилъ своему разгорѣвшемуся гнѣву.

Давно кипѣлъ самоваръ на столѣ въ гостиной, но не въ тѣни у крылечка, потому что на дворѣ было сыро: дождь только-что пересталъ лить, какъ изъ ведра. Природа точно сочувствовала происходившему въ домѣ Багровыхъ. Съ самаго обѣда двѣ тучи, одна другой чернѣе, сошлись по срединѣ неба и долго стояли на одномъ мѣстѣ, перебрасываясь огнями молній и потрясая воздухъ громовыми ударами. Наконецъ все это разрѣшилось дождевымъ ливнемъ, тучи провалили на востокъ и яркое солнце открылось на западѣ. Свѣжѣе, ароматнѣе стали луга и лѣса, громче, веселѣе запѣли птицы... но не такъ бываетъ послѣ грозы страстей человѣческихъ!

Арина Васильевна съ дочерьми, кромѣ Александры Степановны, которая сказалась больною, и съ зятемъ Каратаевымъ (Ерлыкинъ еще не возвращался подъ предлогомъ болѣзни) собрались въ гостиную. Степанъ Михайловичъ спросилъ чаю къ себѣ въ горницу и приказалъ сказать, чтобъ никто не ходилъ къ нему. У молодыхъ была заперта дверь; но, подождавъ ихъ нѣсколько времени, рѣшились постучаться; они

сейчасъ вышли, и хотя Софья Николавна была повидимому весела, а Алексѣй Степанычъ въ самомъ дѣлѣ былъ веселѣе, чѣмъ прежде, но не трудно было догадаться по ихъ лицамъ, что между ними произошло что-нибудь необыкновенное. О совершившихся событіяхъ въ горницѣ Степана Михайловича они ничего не знали. Что же касается до Арины Васильевны съ дочерьми, то онѣ похожи были на людей, которыхъ только-что вытащили изъ воды или выхватили изъ огня. Жаль, что не кому было наблюдать, а то всѣ эти лица безъ сомнѣнія представляли богатую и разнообразную мимическую картину. Разговоры не клеились и шли очень вяло. Отсутствіе Степана Михайловича и Александры Степановны было слишкомъ подозрительно, и Софья Николавна подъ какимъ-то предлогомъ ушла въ свою спальню, позвала Парашу — и загадка объяснилась. Въ дѣвичьей знали всю подноготную: во-первыхъ, Мазанъ и Танайченокъ слышали всю исторію, а во-вторыхъ, и старая барыня и молодая барышня привыкли все сообщать своимъ прислужницамъ, слѣдовательно Параша могла сдѣлать своей барынѣ точное и подробное донесенье. Софья Николавна очень перетревожилась. Она никакъ не ожидала такихъ страшныхъ послѣдствій, очень раскаявалась въ томъ, что сказала свекру о проклятыхъ крысахъ и очень искренно сожалѣла объ Александрѣ Степановнѣ. Воротясь въ гостиную, она просила позволенья у свекрови навѣстить больную сестрицу; но ей отвѣчали, что она спитъ. Покуда уходила Софья Николавна, успѣли разсказать Алексѣю Степанычу обо всемъ. Въ девять часовъ кое-какъ поужинали и сейчасъ разошлись по своимъ угламъ. Оставшись наединѣ съ мужемъ, Софья Николавна въ волненіи и слезахъ бросилась къ нему на шею и съ глубокимъ чувствомъ раскаянья вновь просила у него прощенья, обвиняя себя гораздо болѣе, чѣмъ была въ самомъ дѣлѣ виновата. Алексѣй Степанычъ не понялъ прекраснаго источника этой сердечной муки, этихъ искреннихъ слезъ своей молодой жены. Ему только жалко было смотрѣть, какъ она убивалась по напрасну, и онъ старался ее утѣшить, говоря, что, слава Богу, все кончилось благополучно, что они къ этому привыкли, что завтра батюшка проснется веселъ, проститъ сестрицу Александру Степановну, что все пойдетъ по прежнему прекрасно. Онъ только упрашивалъ Софью Николавну, чтобъ она ни съ кѣмъ не объяснялась и не просила прощенья въ

своей невольной винѣ, что она хотѣла сдѣлать, и совѣтовалъ не ходить къ батюшкѣ завтра поутру до тѣхъ поръ, покуда онъ самъ не позоветъ. Яснѣе, чѣмъ когда нибудь, поняла Софья Николавна своего мужа и огорчилась до глубины души... Онъ проспалъ всю ночь преспокойно, — она всю ночь не спала.

Степанъ Михайловичъ тяжело перенесъ припадокъ гнѣва, да и совѣстно ему было противъ невѣстки, которая могла узнать о случившемся. Прямому его сердцу противенъ былъ всякой низкій и злонамѣренный поступокъ, а тутъ въ поступкѣ дочери онъ еще видѣлъ нарушеніе своихъ правъ и власти. Онъ чуть не захворалъ; не ужиналъ, не сидѣлъ на своемъ крылечкѣ, даже старосты не видалъ, а передалъ ему приказанія черезъ слугъ. Благодатный мракъ ночи, уясняющій наше внутреннее зрѣніе, тишина, а потомъ сонъ, раздаватель благъ и умиритель тревогъ, произвели однако свое благотворное дѣйствіе. На слѣдующій день, рано поутру Степанъ Михайловичъ призвалъ Арину Васильевну и велѣлъ ей передать его приказаніе дочерямъ; разумѣется, оно непосредственно относилось къ Александрѣ, и отчасти къ Елизаветѣ Степановнѣ, „чтобъ и виду не было никакого неудовольствія и чтобъ невѣстка ничего замѣтить не могла“. Черезъ нѣсколько времени подали самоваръ, позвали всю семью и молодыхъ. Арина Васильевна по счастію успѣла черезъ сына попросить свою невѣстку, чтобъ она развеселила свекра, который дескать не совсѣмъ здоровъ и какъ-то не веселъ, и невѣстка, не смотря на проведенную ночь безъ сна, не смотря на то, что на сердцѣ у ней было нерадостно, исполнила, какъ нельзя лучше, желаніе свекрови, которому, конечно, сочувствовали всѣ, и всѣхъ больше сама Софья Николавна.

Софья Николавна была удивительная женщина! Ея живая, воспріимчивая, легко волнуемая природа могла мгновенно увлекаться порывами ума или сердца и мгновенно превращаться изъ одного существа въ другое, совершенно не похожее на первое. Впослѣдствіи называли это свойство притворствомъ, и грубо ошибались. Это была какая-то артистическая способность вдругъ переселиться въ другую сферу, въ другое положеніе, поддаваться безусловно своей мысли и желанью, вполнѣ искреннему и потому всѣхъ увлекающему. Мысль и желаніе успокоить встревоженнаго свекра,

котораго она горячо полюбила, который за нее вступился, за нее встревожился, за нее разстроился въ здоровьи; мысль успокоить мужа и его семью, напуганную и обиженную за нее, по милости ея невоздержнаго языка, такъ безгранично овладѣла живымъ воображеніемъ и чувствами Софьи Николавны, что она явилась какимъ-то чуднымъ, волшебнымъ существомъ,—и скоро покорилось неотразимому обаянью все, ее окружавшее. Она сама разливала чай; сама успѣвала подавать чашки, сначала свекру, а потомъ свекрови и даже другимъ. Со всѣми успѣвала говорить, и такъ ловко, такъ кстати, такъ весело, что свекоръ совершенно повѣрилъ, что она ничего вчерашняго не знала, повѣрилъ—и самъ развеселился. Его веселость также имѣла сообщительное свойство, и черезъ часъ не было уже замѣтно слѣдовъ вчерашней бури.

Прямо изъ-за обѣда молодые отправились съ свадебными визитами въ Неклюдово къ Калминскимъ, и въ Луневку (въ двухъ верстахъ отъ Неклюдова) къ знакомой намъ Ф. И. Луневской. Въ Неклюдовѣ жилъ Иларіонъ Николаевичъ Калминскій съ женою своею Катериной Ивановной. Это былъ человѣкъ въ своемъ родѣ очень замѣчательный, не получившій никакого научнаго образованія, но очень умный и начитанный, вышедшій изъ простолюдиновъ (говорили, что онъ изъ Мордвы), дослужившійся до чина надворнаго совѣтника и женившійся по разсчету на дочери деревенскаго помѣщика и стариннаго дворянина. Въ настоящее время онъ предался хозяйству и жадно копилъ деньги. Калминскій имѣлъ претензію быть вольнодумцемъ и философомъ; его звали вольтерьянцемъ, разумѣется тѣ, которые слыхали о Вольтерѣ. Въ семействѣ своемъ онъ жилъ уединенно и отдѣльно, предоставляя себѣ полную свободу къ удовлетворенію своихъ нестрогихъ наклонностей и вкусовъ. Софья Николавна слыхала о немъ, но никогда его не видала, потому что онъ служилъ въ Петербургѣ и недавно былъ переведенъ прямо въ Оренбургъ. Она очень удивилась, найдя въ немъ умнаго, по тогдашнему образованнаго человѣка и щеголевато одѣтаго по городской модѣ. Сначала такая неожиданность была для нея пріятна, но скоро кощунство и нравственный цинизмъ въ семейныхъ отношеніяхъ, которыми хозяинъ не замедлилъ пощеголять передъ городской красавицей, поселили въ ней отвращеніе къ нему, сохранившееся навсегда. Супруга его

въ нравственныхъ качествахъ ничѣмъ не отличалась отъ своей сестрицы Луневской, но была несравненно ея умнѣе. Посидѣвъ съ часъ времени у Калминскихъ, молодые отправились къ Луневской, гдѣ также пробыли съ часъ. Въ обоихъ домахъ кушали чай и домашнее варенье, приправляемые такими разговорами, которые приводили въ ужасъ Софью Николавну. Оба семейства были приглашены на обѣдъ въ воскресенье. По необъяснимой странности нѣкоторыхъ духовныхъ явленій, иногда поразительныхъ по своей непослѣдовательности, Ф. И. Луневская съ перваго взгляда чрезвычайно полюбила Софью Николавну и, провожая ее, наговорила уже такихъ любезностей, отъ которыхъ надобно было или краснѣть, или хохотать; но тѣмъ не менѣе онѣ выражали горячее сочувствіе и даже увлеченье. За часъ до ужина воротились молодые домой и были встрѣчены Степаномъ Михайловичемъ на извѣстномъ крылечкѣ съ необыкновеннымъ радушіемъ и удовольствіемъ. Особенно забавляло Степана Михайловича, что Флена Ивановна горячо полюбила его невѣстку, безпрестанно ее цѣловала и говорила, что она ей родная по *душенькѣ*, распрелюбезная сестрица. Даже послѣ ужина, вопреки обыкновенію, опять всей семьей перешли на крылечко, посидѣли и весело поболтали съ старикомъ въ ночной прохладѣ, подъ звѣзднымъ небомъ, при слабомъ бѣловатомъ свѣтѣ потухающей зари, что любилъ Степанъ Михайловичъ, самъ не зная почему.

Остальныя два дня до воскресенья, то есть, до дня торжественнаго свадебнаго обѣда, какого никогда еще не бывало въ Багровѣ, прошли безъ замѣчательныхъ событій. Ерлыкинъ воротился изъ Бугуруслана желтый и больной, какимъ всегда бывалъ послѣ запоя. Степанъ Михайловичъ зналъ несчастную слабость или болѣзнь своего зятя и лѣчилъ его какими-то отвратительными настойками, но безуспѣшно. Въ трезвенномъ состояніи Ерлыкинъ имѣлъ сильное отвращеніе отъ хмѣльнаго и не могъ поднести ко рту рюмки вина безъ содраганья, но раза четыре въ годъ вдругъ получалъ непреодолимое влеченіе ко всему спиртному; пробовали ему не давать, но онъ дѣлался самымъ жалкимъ, несчастнымъ и безъ умолку говорливымъ существомъ, плакалъ, кланялся въ ноги и просилъ вина; если же и это не помогало, то приходилъ въ неистовство, въ бѣшенство, даже посягалъ на свою жизнь. Софьѣ Николавнѣ все это разсказали, она чрезвычайно со-

жалѣла о немъ, ласково заговорила, стараясь какъ-нибудь втянуть его въ дружескую бесѣду; но напрасно: суровый, мрачный и гордый генералъ непреклонно молчалъ. Елизавета Степановна, вмѣсто благодарности, обижалась участьемъ невѣстки къ деверю и съ колкостью давала ей это почувствовать. Степанъ Михайловичъ замѣтилъ и сдѣлалъ строгій выговоръ своей умной дочери, которая за то еще болѣе не взлюбила свою невѣстку.

Два раза возилъ Степанъ Михайловичъ Софью Николавну для прогулки въ ржаныя и яровыя поля, въ заповѣдный лѣсъ, называемый *потаеннымъ колкомъ*, и на свои любимые горные родники. Старику казалось, что все это очень занимало и очень нравилось его дорогой невѣсткѣ, но ей положительно все не нравилось. Одно только поддерживало духовныя силы Софьи Николавны: мысль, что она скоро уѣдетъ и постарается никогда не заглянуть въ Багрово. Если бы кто-нибудь сказалъ ей, что она будетъ жить въ немъ постоянно, до старости, и даже кончитъ жизнь, она бы не повѣрила и отвѣчала бы искренно, что лучше согласна умереть... но только къ тому человѣкъ не привыкнетъ и того не перенесетъ, чего Богъ не пошлетъ!

Наступило воскресенье. Начали къ обѣду съѣзжаться гости: пріѣхала изъ старой Мертовщины Марья Михайловна и пріѣхали изъ Неклюдовщины и Луневки Калмынскіе и Луневскіе, пріѣхали изъ Бугуруслана старый холостякъ судья и старый же холостякъ городничій. Пріѣхала и сосѣдка, маленькая, худенькая, говорливая старушенка, Афросинья Андревна (фамиліи не помню, да никто и не называлъ ее по фамиліи) изъ своей деревушки. Это была знаменитая лгунья, которую любилъ по временамъ слушать Степанъ Михайловичъ, какъ слушаетъ иногда съ удовольствіемъ дѣтскія волшебныя сказки и взрослый человѣкъ...

Но Афросинья Андревна стоитъ того, чтобъ съ нею хоть немного познакомиться. Афросинья Андревна жила нѣкогда по тяжебному дѣлу десять лѣтъ въ Петербургѣ; наконецъ выиграла тяжбу и переѣхала въ свою деревушку. Она вывезла изъ Питера множество такихъ диковинныхъ разсказовъ, что, слушая ихъ, Степанъ Михайловичъ смѣялся до слезъ. Между прочимъ онъ разсказывала, что была знакома на короткой ногѣ съ Императрицей Екатериной Алексѣевной, и прибавляла въ поясненіе, что, живя десять лѣтъ въ одномъ

городѣ, нельзя же было не познакомиться. „Стою я одинъ разъ въ церкви, говорила вдохновенная разскащица, обѣдня отошла; Государыня проходитъ мимо меня, я низко поклонилась и осмѣлилась поздравить съ праздникомъ; а она, матушка Ея Величество, и изволила проговорить: „Здравствуй, Афросинья Андревна! что твое дѣло? Что ты не ходишь ко мнѣ по вечерамъ съ чулкомъ? Мы бы съ тобой отъ скуки поговорили". Съ тѣхъ поръ я и ну ходить всякій день. Познакомилась съ придворными. Всѣ во дворцѣ до единаго человѣка меня знали и любили. Куда бывало ни пошлютъ, за какими-нибудь покупками что-ли, придворный лакей ужъ непремѣнно ко мнѣ заѣдетъ и обо всемъ разскажетъ. Ну, разумѣется, ужъ всегда поднесешь ему рюмку вина: нарочно для этого всегда штофикъ держала. Одинъ разъ сижу я у окошка, эдакъ подъ вечеръ, вижу, скачетъ верховой придворный лакей, весь въ красномъ съ гербами; немного погодя, другой, а тамъ и третій,—я ужъ не вытерпѣла, подняла окошко, да и кричу: „Филипъ Петровичъ, Филипъ Петровичъ! что это вы разскакались, да и ко мнѣ не заѣдете?"—„Некогда, матушка Афросинья Андревна, отвѣчаетъ лакей, такая бѣда случилась, свѣчъ во дворцѣ не достало, а скоро понадобятся".—„Постойте, кричу, да заѣзжайте ко мнѣ, у меня есть въ запасѣ пять фунтиковъ, возьмите..." Обрадовался мой Филипъ Петровичъ... Сама къ нему и свѣчки вынесла и выручила ихъ изъ бѣды. Ну такъ какъ же было, батюшка, Степанъ Михайловичъ, имъ не любить меня?"

Степанъ Михайловичъ ко многимъ особенностямъ своего нрава присоединялъ и эту странность, что, будучи заклятымъ врагомъ, ненавидя всякую намѣренную ложь, даже малѣйшій обманъ, утайку, очень простительную при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ,—любилъ слушать безвредное лганье и хвастанье (какъ онъ выражался) людей простодушныхъ, предающихся съ какимъ-то увлеченьемъ, съ какой-то наивностью, даже съ вѣрою, небылицамъ своего воображенія. Не только въ веселомъ обществѣ, но даже наединѣ, если былъ въ хорошемъ расположеніи духа, Степанъ Михайловичъ охотно бесѣдовалъ съ Афросиньей Андревной, которая цѣлые часы съ жаромъ разсказывала исторію десятилѣтняго своего пребыванія въ Петербургѣ, всю составленную въ томъ же духѣ, какъ и приведенный мною маленькій образчикъ.

Теперь обратимся къ съѣхавшимся гостямъ въ Багрово.

Что за кафтанъ былъ на судьѣ, что за мундиръ на городничемъ, и въ добавокъ ко всему, между двухъ деревенскихъ чучелъ въ женскомъ платьѣ, то есть между женой и свояченицей, Калминскій во французскомъ шитомъ кафтанѣ, съ двумя часовыми цѣпочками, съ перстнями на пальцахъ, въ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ золотыми пряжками. Нечего дѣлать, и Степанъ Михайловичъ пріодѣлся и всѣ родные принарядились. Острый, сатирическій умъ Чичагова потѣшался надъ этой смѣсью костюмовъ и особенно надъ своимъ пріятелемъ Калминскимъ. Ему ловко было это дѣлать, потому что его жена и Софья Николавна, которымъ онъ все это говорилъ, были неразлучны и сидѣли поодаль. Софьѣ Николавнѣ большого труда стоило не смѣяться; она старалась не слушать и убѣдительно просила Чичагова замолчать, а всего лучше заняться разговорами съ достопочтеннымъ Степаномъ Михайловичемъ, что онъ исполнилъ и въ короткое время очень полюбилъ старика, а старикъ полюбилъ его. Калминскаго хозяинъ не жаловалъ, и за то, что онъ „происшедшій“, и за то, что онъ еретикъ и развратникъ.

Можно себѣ представить, что обѣдъ былъ приготовленъ на славу. На этотъ разъ Степанъ Михайловичъ отказался отъ всѣхъ исключительно любимыхъ блюдъ: сычуга, жаренаго свиного хребта (красная часть) и зеленой ржаной каши. Достали гдѣ-то другого повара поискуснѣе. О столовыхъ припасахъ нечего и говорить: поеный шестинедѣльный теленокъ, до уродства откормленная свинья и всякая домашняя птица, жирные бараны—всего было припасено вдоволь. Столъ ломился подъ кушаньями и блюда не умѣщались на немъ, а тогда было обыкновенье: всѣ блюда ставить на столъ предварительно. Исторія началась съ холодныхъ кушаній: съ окорока ветчины и съ буженины, прошпигованной чеснокомъ; затѣмъ слѣдовали горячія: зеленыя щи и раковый супъ, сопровождаемые подовыми пирожками и слоенымъ паштетомъ; непосредственно за тѣмъ подавались ботвинья со льдомъ, съ свѣже-просольной осетриной, съ уральскимъ балыкомъ и цѣлою горою чищеныхъ раковыхъ шеекъ на блюдѣ; соусовъ было только два: съ солеными перепелками на капустѣ и съ фаршированными утками подъ какой-то красной слизью съ изюмомъ, черносливомъ, шенталой и урюкомъ. Соусы были уступка модѣ. Степанъ Михайловичъ ихъ не любилъ и называлъ болтушками. Потомъ показались чудовищной величины

жирнѣйшій индюкъ и задняя телячья нога, напутствуемые солеными арбузами, дынями, моченными яблоками, солеными груздями и опенками въ уксусѣ; обѣдъ заключился кольцами съ вареньемъ и битымъ или дутымъ яблочнымъ пирогомъ съ густыми сливками. Все это запивалось наливками, домашнимъ мартовскимъ пивомъ, квасомъ со льдомъ и кипучимъ медомъ. И все это кушали, не пропуская ни одного блюда, и все благополучно переносили гомерическіе желудки нашихъ дѣдовъ и бабокъ! Кушали не торопясь, и потому обѣдъ продолжался долго. Кромѣ того, что блюдъ было много, и блюдъ, какъ мы видѣли, основательныхъ, капитальныхъ, лакеи, какъ свои, такъ и гостиные (то есть пріѣхавшіе съ гостями), служить не умѣли, только суетились и толкались другъ о друга, угрожая безпрестанно облить кого-нибудь соусомъ или сокомъ изъ-подъ буженины.

Обѣдъ былъ вполнѣ веселый; по правую сторону хозяина сидѣла Марья Михайловна, а по лѣвую Чичаговъ, который часъ отъ часу болѣе и болѣе нравился Степану Михайловичу и который одинъ въ состояніи былъ оживить самое скучное общество. Подлѣ Марьи Михайловны сидѣли молодые, подлѣ Софьи Николавны—ея пріятельница Катерина Борисовна, возлѣ которой помѣстился Калминскій и цѣлый обѣдъ любезничалъ съ обѣими молодыми дамами, успѣвая въ то же время перекидываться иногда забавнымъ словцомъ съ Алексѣемъ Степанычемъ и—ѣсть за двоихъ, вознаграждая себя тѣмъ за строгій постъ, который добровольно держалъ дома по своей необыкновенной скупости. Сосѣдомъ Чичагова былъ Ерлыкинъ, который одинъ въ цѣлой компаніи ѣлъ мало, пилъ одну холодную воду, молчалъ, смотрѣлъ мрачно, значительно. Около хозяйки сидѣли племянницы, дочери и прочіе гости. Послѣ обѣда перешли въ гостиную, гдѣ два стола были уставлены сластями. На одномъ столѣ стоялъ круглый, китайскаго фарфора, *конфектный приборъ*, на кругломъ же желѣзномъ подносѣ, раззолоченномъ и раскрашенномъ яркими цвѣтами; приборъ состоялъ изъ какихъ-то продолговатыхъ ящичковъ съ крышками, плотно вставляющихся въ фарфоровыя же перегородки; въ каждомъ ящичкѣ было варенье: малиновое, клубничное, вишенное, смородинное трехъ сортовъ и костяничное, а въ серединѣ прибора, въ кругломъ, какъ бы небольшомъ соусникѣ, помѣщался сухой розовый цвѣтъ. Этотъ конфектный сервизъ, который теперь считался бы дра-

гоцѣнной рѣдкостью, прислалъ въ подарокъ свояку Николай Ѳедоровичъ Зубинъ. Другой столъ былъ уставленъ тарелочками съ бѣлымъ и чернымъ кишмишемъ, урюкомъ, шепталой, финиками, винными ягодами и съ разными орѣхами: кедровыми, грецкими, рогатыми, фисташками и миндалемъ въ скорлупѣ. Вставъ изъ-за стола, Степанъ Михайловичъ былъ такъ веселъ, что даже не хотѣлъ ложиться спать. Всѣ видѣли, да онъ и хотѣлъ это показать, какъ онъ любитъ и доволенъ своей невѣсткой и какъ она любитъ и уважаетъ свекра. Онъ часто обращался къ ней во время обѣда, требуя разныхъ мелкихъ услугъ: то-то мнѣ подай, того-то мнѣ налей, выбери мнѣ кусочекъ по своему вкусу, потому что дескать у насъ съ невѣсткой одинъ вкусъ; напомни мнѣ, что бишь я намедни тебѣ сказалъ; разскажи-ка намъ, что ты мнѣ тогда-то говорила, я какъ-то запамятовалъ.... Наконецъ и послѣ обѣда: то поди прикажи, то поди принеси... и множество тому подобныхъ мелочей, тонкихъ вниманій, ласковыхъ обращеній, которыя, не смотря на ихъ простую, незатѣйливую отдѣлку и грубоватую иногда форму, были произносимы такимъ голосомъ, сопровождались такимъ выраженіемъ внутренняго чувства, что ни въ комъ не осталось сомнѣнія, что свекоръ *души не слышитъ* въ невѣсткѣ. Не нужно и говорить, съ какою любовью и благодарностью отвѣчала Софья Николавна на всѣ малѣйшія, для многихъ неуловимыя, разнообразныя проявленія любви къ ней непреклонно строгаго свекра. Въ порывѣ веселости Степанъ Михайловичъ вытащилъ было на сцену Луневскую и, будто ничего не зная, громко ее спросилъ: „Что, Флена Ивановна, приглянулась ли тебѣ моя невѣстка?“ Флена Ивановна съ восторгомъ, удвоеннымъ пивомъ и наливками, начала увѣрять, божиться и креститься, что она свою дочь Лизыньку такъ не любитъ, какъ полюбила Софью Николавну съ перваго взгляда, и что какое счастье послалъ Богъ братцу Алексѣю Степанычу! „То-то же, сказалъ ей значительно Степанъ Михайловичъ, теперь ты другимъ голосомъ поешь; такъ не сбивайся же“... Но въ эту минуту Софья Николавна, можетъ-быть не желавшая чтобъ такого рода разговоръ продолжалъ развиваться, приступила съ убѣдительными просьбами къ свекру, чтобъ онъ прилегъ отдохнуть, хоть на короткое время, на что онъ согласился. Невѣстка проводила его, даже сама опустила пологъ и, получивъ почетное и лестное ей приказанье, чтобъ всѣ гости

были заняты и веселы, поспѣшила къ гостямъ. Кое-кто легли отдохнуть, а всѣ остальные пошли на островъ и разсѣлись тамъ въ древесной тѣни, надъ свѣтлою рѣкою. Вспомнила Софья Николавна происходившую тутъ недавно, неразумную свою вспышку, вспомнила свои несправедливые упреки мужу, вспомнила, что они надолго его огорчили,—и закипѣло у нея сердце, и хотя видѣла она Алексѣя Степановича теперь совершенно счастливымъ и радостнымъ, громко смѣющимся какому-то двусмысленному анекдоту Калминскаго, но она увлекла его въ сторону, бросилась къ нему на шею и со слезами на глазахъ сказала: „Прости меня, мой другъ, и забудь навсегда все, что здѣсь происходило въ день нашего пріѣзда!“ Алексѣй Степанычъ очень былъ не радъ слезамъ, но поцѣловалъ свою жену, поцѣловалъ обѣ ея ручки и, добродушно сказавъ: „какъ это ты, душа моя, вспомнила такіе пустяки; что тебѣ за охота себя тревожить?“... поспѣшилъ дослушать любопытный анекдотъ, очень забавно разсказываемый Калминскимъ. Конечно, въ сущности не чѣмъ было огорчаться, а стало на ту минуту грустно Софьѣ Николавнѣ.

Старикъ скоро проснулся и приказалъ всѣхъ звать къ себѣ передъ крылечко, въ широкую густую тѣнь своего дома, гдѣ кипѣлъ самоваръ; для всѣхъ были разставлены кресла, стулья и столы. Невѣстка разливала чай; явились самыя густыя сливки съ подрумянившимися толстыми пѣнками, сдобныя булки и крендели, и всему этому опять нашлось мѣсто въ желудкахъ нѣкоторыхъ посѣтителей. Послѣ чая Калминскіе и Луневская уѣхали, потому что имъ ѣхать было не далеко, всего 15 верстъ, и потому, что ночевать въ домѣ рѣшительно было негдѣ. Бугурусланскіе гости также отправились домой.

На другой день по утру уѣхали Марья Михайловна съ Чичаговыми, а послѣ обѣда отправились Ерлыкины, чтобъ ожидать посѣщенія молодыхъ на возвратномъ пути въ Уфу. Въ этотъ же день вечеромъ безъ церемоніи сказалъ Степанъ Михайловичъ, что пора и *остальнымъ гостямъ ко двораму*, и что онъ хочетъ послѣдніе дни провести съ сыномъ и невѣсткой и потолковать съ ними безъ помѣхи. Разумѣется, на другой же день гости разъѣхались. Александра Степановна простилась такъ ласково съ невѣсткой, какъ смогла, а невѣстка простилась съ золовкой съ непритворнымъ чув-

ствомъ удовольствія. Свекоръ точно разгадалъ ея тайное желаніе пожить съ ними нѣсколько дней безъ золовокъ. Она благословляла мысленно догадливаго старика. Съ Аксиньей же Степановной, которую старикъ звалъ *добрухой* и *простухой*, и *маіоршей*, когда бывалъ веселъ, Софья Николавна простилась съ искреннимъ чувствомъ благодарности и родственной любви. Все это видѣлъ старикъ насквозь. Свекровь и Танюша были не помѣха, во-первыхъ потому, что отъ природы были добрѣе и лучше расположены къ невѣсткѣ, а во-вторыхъ потому, что онѣ часто удалялись и оставляли ихъ наединѣ между собою.

Три дня еще прожили молодые въ Багровѣ въ совершенномъ спокойствіи духа, не наблюдаемые безпрестанно зоркимъ недоброхотствомъ, не смущаемые ни притворными ласками, ни ядовитыми намеками. Утихли легко раздражаемые нервы Софьи Николавны и она могла съ большимъ безпристрастіемъ обглядѣться вокругъ себя, признать и понять особый міръ, въ которомъ она находилась. Разумнѣе, снисходительнѣе смотрѣла она на чуждыхъ ей, во всѣхъ отношеніяхъ, свекровь и меньшую золовку; съ меньшимъ увлеченьемъ взглянула на свекра, и поняла, изъ какой среды вышелъ ея мужъ; поняла отчасти, что онъ не могъ быть другимъ человѣкомъ и что долго, часто, а можетъ быть всегда, станутъ они подъ-часъ не понимать другъ друга. Послѣдняя мысль слишкомъ легко пролетѣла у ней въ головѣ, и прежнія обольстительныя мечты перевоспитанья, перерожденья Алексѣя Степаныча овладѣли ея пылкимъ умомъ. То, что безпрестанно случается въ жизни съ большею частью молодыхъ женщинъ, то же происходило и съ Софьей Николавной: сознаніе въ неравенствѣ съ собою, сознаніе въ нѣкоторой ограниченности чувствъ и понятій своего мужа, нисколько не мѣшало ей пламенно и страстно къ нему привязываться—и уже начинала мелькать у нея неясная мысль, что онъ не такъ ее любитъ, какъ можетъ любить, потому что не безгранично преданъ онъ любви своей, потому что не ею одною онъ занятъ, потому что любитъ и прудъ, и островъ, и степь, населенную куликами, и воду съ противной ей рыбою. Чувство ревности, еще безъ имени, безъ предмета, уже таилось въ ея горячемъ сердцѣ, и темно, смутно предчувствовала она что-то недоброе въ будущемъ. Степанъ Михайловичъ, также до того времени нѣсколько смущаемый собственными постоянными наблюде-

ніями надъ чувствами и поступками своихъ дочерей, съ большимъ спокойствіемъ разглядѣлъ свою невѣстку и даже своего сына. Онъ былъ такъ уменъ, не смотря на то, что не получилъ никакого образованія, такъ тонко понималъ, не смотря на то, что выражался грубо, по топорному, что почувствовалъ все неравенство природы этихъ двухъ существъ, и—крѣпко призадумался. Нельзя сказать, чтобъ онъ не радостно смотрѣлъ на ихъ теперешнюю взаимную любовь, на эту нѣжную предупредительность, на это ничѣмъ неотвлекаемое, страстное вниманіе Софьи Николавны къ своему мужу,—нѣтъ, онъ веселился, глядя на нихъ, но съ примѣсью какого-то опасенья, съ какою-то неполнотою вѣры въ прочность и въ продолжительность этого прекраснаго явленія. Онъ много, подолгу бесѣдовалъ съ ними, и съ обоими вмѣстѣ, и съ каждымъ порознь. Хотѣлось бы ему что-то имъ высказать, на что-то указать, дать какіе-то полезные совѣты; но когда онъ начиналъ говорить, то неясно понимаемыя имъ чувства и мысли не облекались въ приличное слово, и ограничивался онъ обыкновенными пошлыми выраженіями, тѣмъ не менѣе исполненными вѣчныхъ нравоучительныхъ истинъ, завѣщанныхъ намъ опытною мудростью давно живущаго человѣчества и подтверждаемыхъ собственнымъ нашимъ опытомъ. Ему было досадно, и онъ откровенно говорилъ о томъ своей умной невѣсткѣ, которая однако не могла понять, что вертѣлось на умѣ и таилось въ душѣ у старика. Онъ говорилъ своему сыну: „Жена у тебя больно умна и горяча, можетъ иногда скажетъ тебѣ и лишнее; не балуй ее, сейчасъ останови и вразуми, что это не годится; пожури, но сейчасъ же прости, не дуйся, не таи на душѣ досады, если чѣмъ недоволенъ; выскажи ей все на прямыя денежки; но вѣрь ей во всемъ; она тебя ни на кого не промѣняетъ“. Онъ говорилъ также наединѣ Софьѣ Николавнѣ: „Дорогая невѣстушка, всѣмъ тебя Богъ не обидѣлъ, одно скажу тебѣ, не давай воли своему горячему сердцу; мужъ у тебя добрый и честный человѣкъ: нравъ у него тихій, и ты отъ него никогда терпѣть не будешь никакой обиды; не обижай его сама. Чти его и поступай съ уваженьемъ. Не станешь почитать мужа,—пути не будетъ. Что онъ скажетъ или сдѣлаетъ не такъ, не по твоему,—промолчи, не всяко лыко въ строку, не всяка вина виновата. Больно я тебя полюбилъ, вижу я тебя всю! Ради Бога, не переливай черезъ край; все хорошо въ мѣру, даже ласки и угожденья“...

Сынъ принималъ отцовскія наставленія съ привычнымъ благоговѣньемъ, невѣстка съ пылкимъ и благодарнымъ чувствомъ дочери. Много было и всякихъ другихъ разговоровъ: о будущемъ житьѣ-бытьѣ въ Уфѣ, о дальнѣйшей службѣ Алексѣя Степаныча, о средствахъ для городской жизни. Обо всемъ условились обстоятельно и всѣ были довольны.

Наконецъ наступилъ послѣдній день отъѣзда. Сняли штофныя гардины и занавѣсъ, сняли съ подушекъ атласныя и кисейныя наволочки съ широкими кружевами, все это уложили и отправили въ Уфу; напекли и нажарили разныхъ подорожниковъ; привезли того же отца Василія и отслужили молебенъ „о путешествующихъ“. Послали заготовить лошадей уже не въ Нойкино, а въ Коровино, за 40 верстъ, потому что туда должны были довезти ихъ домашніе кони: тотъ же славный шестерикъ, на которомъ катались молодые съ свадебными визитами. Въ послѣдній разъ отобѣдали вмѣстѣ; въ послѣдній разъ поподчивалъ Степанъ Михайловичъ свою дорогую невѣстку любимыми блюдами. Карета стояла уже у крыльца. Вставъ изъ-за стола, перешли въ гостиную, сѣли, замолчали; Степанъ Михайловичъ перекрестился и всталъ; всѣ перекрестились встали, помолились Богу и начали прощаться. Всѣ, кромѣ Степана Михайловича, плакали, но и онъ едва крѣпился. Благословляя и обнимая невѣстку, онъ шепнулъ ей на ухо: „порадуй же меня внучкомъ“. Софья Николавна покраснѣла до ушей и, молча, цѣловала у старика руки, которыхъ онъ уже не отнималъ. У крыльца стояла вся дворня и почти всѣ крестьяне. Нѣкоторые было вздумали прощаться съ молодыми, но Степанъ Михайловичъ не любилъ прощаній и проводовъ, и закричалъ: „Куда вы лѣзете! поклонитесь, да и будетъ“. Только и успѣла Софья Николавна поцѣловаться съ Ѳедосьей да съ Петромъ. Проворно сѣли молодые въ свою карету и, какъ перышко, подхватили ее съ мѣста крѣпкіе кони. Степанъ Михайловичъ, накрывъ рукою глаза отъ солнца, нѣсколько мгновеній слѣдилъ за облакомъ пыли, стараясь разглядѣть въ немъ улетающій экипажъ, и когда карета выбралась къ господскому гумну, на крутую гору, воротился въ свою горницу и легъ почивать.

Пятый отрывокъ изъ Семейной Хроники.

ЖИЗНЬ ВЪ УФѢ.

Въ первыя минуты Софьѣ Николавнѣ было жаль свекра, грустно, что она разсталась съ нимъ: образъ старика, полюбившаго ее, огорченнаго теперь разлукою съ невѣсткой, такъ и стоялъ передъ нею; но скоро мѣрное покачиванье кареты и мелькающія въ окна поля, небольшіе пролѣски, горный хребетъ, подлѣ котораго шла дорога, произвели свое успокоительное дѣйствіе, и Софья Николавна почувствовала живую радость, что уѣхала изъ Багрова. Радость эта была такъ сильна, что она не умѣла скрыть ее, хотя понимала, что для мужа будетъ это непріятно. Алексѣй Степанычъ былъ грустенъ болѣе, казалось ей, чѣмъ должно. Можетъ-быть и послѣдовали бы какія-нибудь объясненія; но слава Богу, ихъ не было: мѣшало присутствіе Параши. Быстро прокатилась карета черезъ Нойкино, привѣтствуемая дружелюбными и веселыми восклицаніями попадавшейся на встрѣчу Мордвы; по плохому мосту переѣхала Насягай, при впаденіи въ него рѣчки Боклы, промелькнула черезъ Полибино, и опять переѣхавъ Насягай, наконецъ достигла Коровина, гдѣ ждали нашихъ молодыхъ приготовленныя обывательскія лошади. Багровскіе кони должны были нѣсколько часовъ отдохнуть и выкормиться, чтобъ на зарѣ отправиться до-

мой. Софья Николавна запаслась бумагой и чернилицей съ перомъ, и написала къ свекру и свекрови благодарное, горячее письмо, которое, конечно, относилось къ одному Степану Михайловичу: онъ все понялъ и спряталъ письмо въ секретный ящикъ своего небольшого шкафа, гдѣ никто его не видалъ и гдѣ черезъ восемь лѣтъ, уже послѣ его кончины, нечаянно нашла свое письмо Софья Николавна. Лошадей заложили, и молодые, простившись съ кучеромъ и форрейторомъ, которымъ былъ на этотъ разъ долгоногій Танайченокъ, отправились въ дальнѣйшій путь. Судьба захотѣла побаловать Софью Николавну; заѣхать въ деревню Ерлыкиныхъ было невозможно. Мостъ на какой-то глубокой рѣкѣ, которую, своротивъ въ сторону на Ерлыкино, необходимо слѣдовало переѣхать, подгнилъ и развалился; починки его надобно было ожидать очень долго, и молодые Багровы отправились прямо въ Уфу. Отъ какого скучнаго и тягостнаго посѣщенія избавило это обстоятельство молодую женщину! Подъѣзжая къ Уфѣ, Софья Николавна предалась исключительно чувству горячей дочерней любви. Больной отецъ, уже слишкомъ двѣ недѣли ее не видавшій, тоскующій по ней въ одиночествѣ, на рукахъ нерадивой прислуги, безпрестанно представлялся ея пылкому воображенію. Перевозъ черезъ рѣку Бѣлую, на дрянномъ паромѣ, задержавшій путешественниковъ слишкомъ часъ, подъемъ на крутую гору, также очень медленный,— все это вмѣстѣ взволновало нервы Софьи Николавны, раздражило ея нетерпѣливую природу, и она, пріѣхавъ наконецъ домой, съ лихорадочнымъ волненіемъ подбѣжала къ спальнѣ своего отца и тихо отворила дверь... Старикъ лежалъ въ обыкновенномъ своемъ положеніи, и подлѣ него, на самыхъ тѣхъ креслахъ, на которыхъ всегда сидѣла Софья Николавна, сидѣлъ лакей Калмыкъ.

Но объ этомъ Калмыкѣ надобно разсказать подробно. Въ тѣ времена, въ Уфимскомъ намѣстничествѣ, было самымъ обыкновеннымъ дѣломъ покупать киргизятъ и калмычатъ обоего пола у ихъ родителей или родственниковъ; покупаемыя дѣти дѣлались крѣпостными слугами покупателя. Лѣтъ за тридцать до разсказываемаго мною случая, Николай Ѳедоровичъ Зубинъ купилъ двухъ калмыченковъ, окрестилъ ихъ, очень полюбилъ, баловалъ, и когда они подросли, выучилъ грамотѣ и приставилъ ходить за собою. Оба были умны, ловки, и, казалось, очень усердны; но когда поднялась Пугачевщина,

они бѣжали къ бунтовщикамъ. Одинъ вскорѣ погибъ, а другой, особенно любимый господиномъ, по имени Николай, сдѣлался любимцемъ знаменитаго бунтовщика Чики, бывшаго въ свою очередь любимцемъ Пугачева. Извѣстно, что шайка бунтущей сволочи долго стояла подъ Уфою, на другомъ берегу рѣки Бѣлой. Въ ней находился Николай Калмыкъ, уже въ какомъ-то значительномъ чинѣ. Разсказывали, что онъ свирѣпствовалъ больше всѣхъ и особенно грозился на своего господина и воспитателя, Зубина. Есть преданіе, что всякій разъ, когда намѣревались переправиться черезъ Бѣлую, чтобъ завладѣть беззащитнымъ городомъ, имъ казалось, что множество войска выступало на крутой противоположный берегъ рѣки, и что какой-то старикъ, съ копьемъ и крестомъ въ рукѣ, на бѣлой какъ снѣгъ лошади, предводительствовалъ войскомъ. Всякій разъ трусливыя шайки бродягъ со страхомъ оставляли свое намѣреніе и, мѣшкая такимъ образомъ, дождались извѣстія, что Пугачевъ разбитъ. Разумѣется, бунтовщики разбѣжались во всѣ стороны. Дѣло Пугачевское кончилось. Разсыпавшуюся сволочь перехватали и предали суду. Николай Калмыкъ также былъ схваченъ и приговоренъ къ висѣлицѣ. Нисколько не ручаюсь за достовѣрность разсказа, но меня увѣряли, что на Калмыка, котораго судили въ Уфѣ, была надѣта уже петля, но что, по дарованному помѣщикамъ праву, Зубинъ простилъ своего прежняго любимца и взялъ его къ себѣ на свое поручительство и отвѣтственность. Калмыкъ, повидимому, раскаялся и старался усердною угодливостью загладить свое преступленіе. Мало-по-малу онъ вкрался въ довѣренность своего господина, и когда Софья Николавна, послѣ смерти мачихи, вступила въ управленіе домомъ, она нашла уже Калмыка дворецкимъ и любимцемъ своего отца, особенно потому, что онъ былъ любимцемъ покойной ея мачихи. Николай Калмыкъ, какъ человѣкъ очень хитрый, сдѣлавшій много оскорбленій затоптанной въ грязь барышнѣ, понималъ свое положеніе и прикинулся кающимся грѣшникомъ, сваливая всѣ вины на покойницу и обвиняя себя только въ рабскомъ исполненіи ея приказаній. Великодушная четырнадцатилѣтняя госпожа, для которой тогда ничего не стоило навсегда удалить Калмыка, повѣрила его раскаянью, простила и сама упросила отца оставить Николая въ прежней должности. Впослѣдствіи она не всегда была имъ довольна за самовольство его рас-

поряженій и двусмысленную трату денегъ; она даже замѣчала, что онъ втайнѣ былъ ближе къ ея отцу, чѣмъ бы она желала; но видя, какъ онъ усердно ходитъ за больнымъ господиномъ (у котораго въ комнатѣ всегда спалъ), какъ успѣваетъ въ то же время отлично исполнять должность дворецкаго, она довольствовалась легкими выговорами и оставляла Калмыка спокойно укореняться во всѣхъ его должностяхъ. Сдѣлавшись невѣстою, Софья Николавна сама должна была позаботиться о своемъ приданомъ, должна была много времени проводить съ женихомъ и, слѣдовательно, менѣе быть съ отцомъ и менѣе заниматься хозяйствомъ. Николай Калмыкъ воспользовался благопріятными обстоятельствами и съ каждымъ днемъ болѣе овладѣвалъ больнымъ старикомъ. Надѣясь вскорѣ избавиться отъ госпожи и самъ сдѣлаться господиномъ въ домѣ, онъ сталъ наглѣе и менѣе скрывалъ свою силу. Софья Николаевна иногда рѣзко его осаживала и къ сожалѣнію замѣчала, что старикъ постоянно привыкалъ къ своему любимцу и подчинялъ себя его власти. Послѣдніе дни передъ свадьбой, первые дни послѣ свадьбы и наконецъ слишкомъ двухнедѣльный отъѣздъ въ Багрово дали возможность Калмыку вполнѣ овладѣть своимъ почти умирающимъ барином, и первый взглядъ на сидящаго въ креслахъ лакея, чего прежде никогда не бывало, открылъ Софьѣ Николавнѣ настоящее положеніе дѣлъ. Она такъ взглянула на любимца, что онъ смѣшался и сейчасъ ушелъ. Старикъ далеко не такъ обрадовался дочери, какъ она могла ожидать, и поспѣшилъ объяснить, что онъ самъ насильно заставляетъ иногда Калмыка сидѣть возлѣ него на креслахъ. Софья Николавна, сказавъ: „напрасно вы это дѣлаете, батюшка; вы его избалуете и принуждены будете прогнать: я лучше васъ его знаю...“, не вошла въ дальнѣйшія объясненія и поспѣшила выразить свою сердечную радость, что нашла больного не въ худшемъ положеніи. Пришелъ Алексѣй Степанычъ, и старикъ, растроганный искреннею нѣжностью своей дочери, искреннею ласковостью своего зятя, взаимною любовью обоихъ, слушалъ всѣ ихъ разсказы съ умиленіемъ и благодарилъ Бога со слезами за ихъ счастіе. Софья Николавна съ живостью занялась устройствомъ своего житья, взяла себѣ въ домѣ три совершенно отдѣльныя комнаты и въ нѣсколько дней такъ распорядилась своимъ помѣщеніемъ, что могла принимать къ себѣ гостей, нисколько не безпокоя больного.

Она принялась было по прежнему распоряжаться хозяйствомъ своего отца и уходомъ за нимъ, отодвинувъ Калмыка на второстепенное мѣсто главнаго исполнителя ея приказаній; но всегда ненавидѣвшій ее калмыкъ уже чувствовалъ себя довольно сильнымъ, чтобъ не побояться открытой борьбы съ молодою своею барыней. Удвоивъ заботливость около старика Зубина, онъ съ неимовѣрною хитростью умѣлъ оскорблять его дочь на каждомъ шагу, особенно ея смиреннаго мужа; съ нимъ онъ былъ такъ дерзокъ, что, не смотря на кроткій и тихій нравъ, Алексѣй Степанычъ терялъ терпѣнье и говорилъ своей женѣ, что оставаться имъ въ такомъ положеніи невозможно. Нѣсколько времени Софья Николавна щадила больного старика и думала своими внушеніями остановить Николая въ предѣлахъ сноснаго приличія; она надѣялась на его умъ, надѣялась на то, что онъ долженъ знать ея твердый характеръ и не рѣшится довести ея до крайности; но злобный азіятецъ (какъ его всѣ въ домѣ называли) былъ заранѣе увѣренъ въ побѣдѣ и старался вызвать Софью Николавну на горячую вспышку. Онъ давно уже успѣлъ внушить старику, что прежняя барышня, а теперешняя молодая барыня терпѣть не можетъ его, вѣрнаго Калмыка, и что непремѣнно захочетъ его прогнать; отъ такихъ словъ больной приходилъ въ ужасъ, клялся и божился, что лучше согласится умереть, чѣмъ отпустить его. Софья Николавна пробовала, въ самыхъ ласковыхъ и нѣжныхъ словахъ, намекнуть отцу, что Калмыкъ забывается передъ ея мужемъ и такъ дурно исполняетъ ея приказанія, что она видитъ въ этомъ умыселъ—вывесть ее изъ терпѣнія. Николай Ѳедоровичъ приходилъ въ волненіе, не хотѣлъ ничего слушать, говорилъ, что онъ Калмыкомъ совершенно доволенъ, просилъ оставить Калмыка въ покоѣ и употреблять вмѣсто него другого человѣка для исполненія ея приказаній. Много, дорого стоило вспыльчивой молодой женщинѣ, привыкшей къ полновластному господству въ домѣ своего отца, переносить дерзкія оскорбленія отъ „подлаго холопа!“ Но она такъ любила отца, находила такое счастіе въ томъ, чтобы ходить за нимъ, покоить его, облегчать, по возможности, его страдальческое положеніе,—что мысль оставить умирающаго старика въ полную зависимость негодяя Калмыка и другихъ слугъ—долго не входила ей въ голову. Она укротила свою вспыльчивость и оскорбленную гордость; распоряжалась въ

домѣ черезъ другого человѣка, зная въ то же время, что Калмыкъ измѣнялъ и перемѣнялъ всѣ ея распоряженія по своему произволу. Она выпросила у отца приказаніе, чтобъ Калмыкъ не входилъ въ его спальню, покуда она сидитъ тамъ; но это приказаніе было вскорѣ нарушено: подъ разными предлогами, Николай безпрестанно входилъ въ комнату къ старику, да и самъ больной безпрестанно его спрашивалъ. Такое мучительное положеніе тянулось нѣсколько мѣсяцевъ.

Жизнь свою въ уфимскомъ обществѣ устроила Софья Николавна согласно своему желанію; съ пріятными для нея людьми она видалась часто, то у себя, то у нихъ; съ остальными видалась изрѣдка, или считалась церемонными визитами. Алексѣя Степаныча и прежде всѣ знали, а теперь люди близкіе съ Софьей Николавной сблизились съ нимъ, полюбили его, и онъ очень хорошо улаживался въ новомъ своемъ положеніи, то-есть въ избранномъ обществѣ Софьи Николавны.

Между тѣмъ, вскорѣ по возвращеніи въ Уфу, Софья Николавна почувствовала особеннаго рода нездоровье, извѣстіе о которомъ привело Степана Михайловича въ великую радость. Продолженіе древняго рода Багровыхъ, потомковъ знаменитаго Шимона, было постояннымъ предметомъ думъ и желаній старика, смущало спокойствіе духа, торчало гвоздемъ у него въ головѣ. Получивъ вожделѣнное извѣстіе отъ сына, Степанъ Михайловичъ предался радостной надеждѣ, и даже повѣрилъ, что у него непремѣнно будетъ внукъ. Семья всегда говорила, что онъ въ это время былъ необыкновенно веселъ. Онъ сейчасъ отслужилъ молебенъ за здравье болярыни Софіи, простилъ какіе-то долги сосѣдямъ и своимъ крестьянамъ, всѣхъ заставлялъ поздравлять его и поилъ всякаго до-пьяна. Въ пылу такой восторженности вдругъ вздумалось ему наградить свою чайницу и кофейницу Аксюту, которую онъ, Богъ знаетъ за что, постоянно жаловалъ. Аксютка была круглая крестьянская сирота, взятая во дворъ, *на сѣни*, съ семилѣтняго возраста, единственно потому, что ее некому было кормить. Она была очень дурна лицомъ: рыжая, въ веснушкахъ, съ глазами неизвѣстнаго цвѣта, и сверхъ того отвратительно неопрятна и зла. За что бы ее любить? А Степанъ Михайловичъ очень ее любилъ, и не проходило обѣда, чтобъ онъ не давалъ или не посылалъ со

стола подачки своей Аксюткѣ; когда же она стала дѣвкой на возрастѣ, заставилъ по утрамъ наливать себѣ чай и разговаривалъ съ нею цѣлые часы. Въ настоящее время Аксюткѣ было уже далеко за тридцать лѣтъ. И вотъ въ одно утро, черезъ нѣсколько дней послѣ радостной вѣсти изъ Уфы, Степанъ Михайловичъ говоритъ Аксюткѣ: „Что ты, дура, ходишь неряхой? Поди и переодѣнься хорошенько, попраздничному; я хочу тебя замужъ выдать.“ Оскалила зубы Аксютка, и, считая, что баринъ балагуритъ, отвѣчала: „Ну кто на мнѣ, на сиротѣ, женится? Развѣ пастухъ Кирсанка.“ Это былъ извѣстный дуракъ и уродъ. Степану Михайловичу стало какъ будто досадно, и онъ продолжалъ: „Ужъ если я посватаю—женится что ни лучшій парень. Пошла, одѣнься, и мигомъ приходи ко мнѣ.“ Въ радостномъ недоумѣніи ушла Аксюта, а Степанъ Михайловичъ велѣлъ позвать къ себѣ Ивана Малыша; мы отчасти уже знаемъ его. Это былъ двадцати-четырехъ-лѣтній парень, кровь съ молокомъ, молодецъ въ полномъ смыслѣ, и ростомъ и дородствомъ, сынъ стариннаго усерднаго слуги, Бориса Петрова Хорева, умершаго въ Пугачевщину отъ заботъ, какъ всѣ думали, и сухоты, при сохраненіи въ порядкѣ ввѣренныхъ его управленію крестьянъ Новаго Багрова, когда помѣщикъ бѣжалъ съ семьей въ Астрахань. Ивана потому звали Малышемъ, что у него былъ старшій братъ, также Иванъ, который прозывался Хоревъ, по прозвищу своего отца. Иванъ Малышъ выросъ передъ своимъ бариномъ, какъ листъ передъ травой. Степанъ Михайловичъ посмотрѣлъ на него, полюбовался и сказалъ самымъ милостивымъ и ласковымъ голосомъ, отъ котораго у Малыша жилки задрожали: „Малышъ, я хочу тебя женить.“—„Ваша господская воля, батюшка Степанъ Михайловичъ“, отвѣчалъ душой и тѣломъ преданный слуга. —„Поди же, принарядись и приходи ко мнѣ; да чтобъ одна нога тамъ, а другая здѣсь.“ Малышъ опрометью побѣжалъ исполнить барскій приказъ. Аксютка однако пришла первая; она пригладила и примазала свои рыжіе волосы коровьимъ масломъ, напялила праздничную кофту съ юбкой, обулась въ башмаки,—и не похорошѣла! Она не могла удерживаться, и ротъ ея безпрестанно кривился отъ радостной улыбки; ей было стыдно отъ того, и она закрывала лицо рукою. Степанъ Михайловичъ смѣялся. „Что, любо небось, хочется замужъ“, говорилъ онъ..... Соколомъ влетѣлъ Малышъ, и

морозъ подралъ его по кожѣ, при видѣ нарядной вороны, Аксютки. „Вотъ тебѣ невѣста, весело сказалъ Степанъ Михайловичъ, она мнѣ хорошо служитъ, и отецъ твой мнѣ хорошо служилъ: я васъ не покину.—Ариша, сказалъ онъ, обратясь къ только-что вошедшей женѣ, невѣстѣ сшить все приданое изъ господскаго добра, и корову ей дать, и свадьбу сыграть господскимъ пивомъ, виномъ и харчами.“ Противорѣчій не было. Свадьбу сыграли. Аксютка безъ памяти влюбилась въ красавца-мужа, а Малышъ возненавидѣлъ свою противную жену, которая была въ добавокъ старше его десятью годами. Аксютка ревновала съ утра до вечера, и не безъ причины, а Малышъ колотилъ ее съ утра до вечера, и также не безъ причины, потому что одно только полѣно, и то не надолго, могло зажимать ей ротъ, унимать ея злой языкъ. Жаль, очень жаль! погрѣшилъ Степанъ Михайловичъ и сдѣлалъ онъ чужое горе изъ своей радости.

Я сужу объ этой его радости не столько по разсказамъ, какъ по его письму къ Софьѣ Николавнѣ, которое я самъ читалъ; трудно повѣрить, чтобы этотъ грубый человѣкъ, хотя умѣющій любить сильно и глубоко, какъ мы видѣли, могъ быть способенъ къ внѣшнему выраженію самой нѣжной, утонченной заботливости, какою дышало все письмо, исполненное совѣтовъ, просьбъ и приказаній—беречь свое здоровье. Къ сожалѣнію, я помню только нѣсколько словъ изъ этого письма. „Кабы ты жила со мной, писалъ старикъ между прочимъ, я бы не далъ на тебя вѣтру вѣнуть [1]) и порошинкѣ сѣсть.“

Софья Николавна умѣла цѣнить любовь свекра, хотя понимала въ то же время, что половина любви относилась къ будущему наслѣднику, — и обѣщалась свято исполнять его просьбы и приказанія. Но трудно было ей сдержать свое обѣщаніе. Кромѣ того, что она принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, которыя платятъ за счастіе быть матерью постоянно-болѣзненнымъ состояніемъ, болѣе тягостнымъ и мучительнымъ, чѣмъ всякая болѣзнь, — она страдала душой: отношенія къ отцу день ото-дня становились огорчительнѣе, а дерзости Калмыка—невыносимѣе. Алексѣй-же Степанычъ, не видя ничего опаснаго въ постоянномъ нездоровьѣ жены, слыша отъ другихъ, что это дѣло обыкновенное, ничего не

[1]) То-есть повѣять вѣтру.

значитъ, скоро пройдетъ, хотя смотрѣлъ на нее съ сожалѣніемъ, но не слишкомъ возмущался, — и это огорчало Софью Николавну. Что же касается до жизни у тестя, то онъ привыкъ къ ней; избѣгалъ встрѣчи съ Калмыкомъ, занимался усердно своею должностью въ Верхнемъ Земскомъ Судѣ, гдѣ скоро надѣялся быть прокуроромъ, и довольно спокойно дожидался перемѣны въ своемъ положеніи: это также не нравилось Софьѣ Николавнѣ. Такъ тянулось время нѣсколько мѣсяцевъ, какъ я уже сказалъ, тянулось не весело для всѣхъ.

Но Калмыкъ не довольствовался такимъ положеніемъ дѣлъ. Онъ шелъ къ развязкѣ. Видя, что Софья Николавна побѣждаетъ свое справедливое негодованіе и свою горячность, онъ рѣшился вывесть ее изъ терпѣнія; ему было нужно, чтобъ она вспылила и пожаловалась отцу, котораго онъ предупреждалъ не одинъ разъ, что ожидаетъ каждую минуту жалобы на себя отъ Софьи Николавны и требованія удалить его изъ дома. Не дожидаясь никакого особеннаго случая, никакого повода, Калмыкъ, въ присутствіи слугъ, въ двухъ шагахъ отъ молодой барыни, стоявшей у растворенныхъ дверей въ другой сосѣдней комнатѣ, прямо глядя ей въ глаза, началъ громко говорить такія дерзкія слова объ ней и объ ея мужѣ, что Софья Николавна была сначала изумлена, ошеломлена такою наглостью; но скоро, опомнившись и не сказавъ ни одного слова Калмыку, бросилась она къ отцу и, задыхаясь отъ волненія и гнѣва, передала ему слышанныя ею, почти въ лицо сказанныя его любимцемъ дерзости..... Слѣдомъ за нею вошелъ Калмыкъ и, не давъ ей даже кончить, кукся глаза и крестясь на образъ, съ клятвою началъ увѣрять, что все это клевета, что онъ никогда ничего подобнаго не говаривалъ, и что грѣхъ Софьѣ Николавнѣ губить невиннаго человѣка!.... „Слышишь, Соничка, что онъ говоритъ“, встревоженнымъ голосомъ произнесъ больной... Софья Николавна, пораженная до глубины души, забыла свою великодушную рѣшимость, забыла, что можетъ уморить отъ испуга старика, и такъ крикнула на его любимца, что онъ долженъ былъ уйти. Сказавъ отцу: „Послѣ такой обиды, батюшка, я съ Калмыкомъ не могу жить въ одномъ домѣ; выбирайте кого выгнать: меня или его“, какъ безумная выбѣжала она изъ комнаты больного. Старику сдѣлалось дурно. Калмыкъ поспѣшилъ къ нему на помощь; когда же,

послѣ обыкновенныхъ въ такихъ случаяхъ медицинскихъ средствъ, Николай Ѳедоровичъ оправился, онъ бесѣдовалъ долго съ своимъ любимцемъ и наконецъ велѣлъ позвать къ себѣ дочь. „Сонечка, сказалъ онъ съ возможною для него твердостью и спокойствіемъ, я не могу, по моей болѣзни и слабости, разстаться съ Николаемъ; я имъ живу. Вотъ деньги, купите себѣ домъ Веселовскихъ.“—Софья Николавна упала въ обморокъ и была отнесена въ свою комнату.

Такъ вотъ какой имѣла исходъ эта нѣжная, взаимная любовь отца и дочери, скрѣпленная, казалось, неразрывными узами временнаго охлажденія, произведеннаго покойною Александрой Петровной, потомъ раскаяніемъ и благодарностью со стороны виновнаго отца и пламенною безграничною горячностью невиноватой дочери, забывшей всѣ прежнія оскорбленія,—дочери, которая вышла за мужъ именно за такого человѣка и съ такимъ условіемъ, чтобъ онъ не разлучалъ ея съ отцомъ!.. И когда же она разстается съ нимъ?... Когда доктора не ручались уже и за мѣсяцъ его жизни! Доктора ошибались въ своемъ предсказаніи, точно такъ, какъ ошибаются они и теперь: больной прожилъ еще болѣе года.

Когда пришла въ себя Софья Николавна и взглянула на испуганное блѣдное лицо своего Алексѣя Степановича, она поняла и почувствовала, что есть существо ее любящее: она обняла своего сокрушеннаго горемъ мужа, и ручьи слезъ облегчила ея сердце. Она разсказала все происшедшее между ею и отцомъ; разсказъ обновилъ всю горечь оскорбленія, уяснилъ безвыходность положенія, и она, конечно, пришла бы въ отчаяніе, еслибъ не поддержалъ ее этотъ добрый мужъ, слабый по своему характеру и менѣе ея дальновидный по своему уму, но за то не впадавшій въ крайности и не терявшій присутствія духа и разсудка въ тяжелыя минуты жизни. Можетъ быть, покажется страннымъ, что Алексѣй Степанычъ поддержалъ духъ Софьи Николавны: но эта необыкновенная женщина, не смотря на свой необыкновенный умъ и повидимому твердый нравъ, имѣла несчастное свойство упадать духомъ и совершенно теряться въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ поражалась ея душа нравственными неожиданными ударами. Какъ безпристрастный передаватель изустныхъ преданій, долженъ я сказать, что сверхъ того она была слишкомъ чувствительна къ суду свѣта, слишкомъ подчинялась ему, какъ бы ни стояла сама выше того круга, въ которомъ

жила. Мысль, что скажетъ уфимскій свѣтъ, особенно значительныя дамы, въ немъ живущія, потомъ мысль, что подумаетъ мужнина семья, а всего болѣе, что скажетъ свекоръ, узнавъ, что Софья Николавна съѣхала отъ отца,—эти мысли язвили ея самолюбіе и гордость, и терзали ее наравнѣ съ оскорбленнымъ чувствомъ дочерней любви. Ей одинаково казалось ужаснымъ: обвиненіе, падавшее на отца въ неблагодарности къ дочери, и обвиненіе, падавшее на дочь въ недостаткѣ любви къ умирающему отцу. Выбора не было: что-нибудь одно должны были подумать люди и кого-нибудь должны были осудить... Глубокую жалость, смѣшанную съ изумленіемъ, чувствовалъ Алексѣй Степанычъ, глядя на такое терзаніе! Трудно, мудрено было приступиться къ Софьѣ Николавнѣ съ утѣшительными или успокоительными рѣчами. Пылкое ея воображеніе рисовало ужасныя картины, и живописно передавало ихъ ея одушевленное, увлекательное слово. Она заранѣе уничтожала всякія попытки къ исходу изъ своего положенія, устраняла всякую надежду на примиреніе съ нимъ. Но любовь и душевная простота, которой не доставало Софьѣ Николавнѣ, научили Алексѣя Степаныча,— и, переждавъ первый неудержимый порывъ, вопль взволнованной души, онъ началъ говорить слова весьма обыкновенныя, но прямо выходившія изъ добраго простого сердца, и они, мало-по-малу, если не успокоили Софью Николавну, то по крайней мѣрѣ привели къ сознанію, къ пониманію того, что она слышитъ. Онъ говорилъ, что она до сихъ поръ исполняла долгъ свой, какъ дочь горячо любящая отца, и что теперь надобно также исполнить свой долгъ, не противорѣча и поступая согласно съ волею больного; что вѣроятно Николай Ѳедоровичъ давно желалъ и давно рѣшился, чтобъ они жили въ особомъ домѣ; что, конечно, трудно, невозможно ему, больному и умирающему, разстаться съ Калмыкомъ, къ которому привыкъ и который ходитъ за нимъ усердно; что батюшкѣ Степану Михайловичу надо открыть всю правду, а знакомымъ можно сказать, что Николай Ѳедоровичъ всегда имѣлъ намѣреніе, чтобы при его жизни дочь и зять зажили своимъ домомъ и своимъ хозяйствомъ; что Софья Николавна будетъ всякой день раза по два навѣщать старика и ходить за нимъ почти такъ же, какъ и прежде; что въ городѣ, конечно, всѣ узнаютъ со временемъ настоящую причину, потому что и теперь вѣроятно кое-что знаютъ, будутъ бранить Кал-

мыка и сожалѣть о Софьѣ Николавнѣ. „Впрочемъ, прибавилъ онъ, можетъ-быть батюшка сказать-то сказалъ, а разстаться съ тобой не рѣшится. Поговори съ нимъ и представь ему всѣ резоны.“ Ничего не отвѣчала Софья Николавна и долго молчала, устремивъ вопросительный, изумленный взглядъ на мужа; правда простыхъ словъ и простоты душевной повѣяла на нее такъ успокоительно и отрадно, что они показались ей и новыми, и мудрыми. Дивилась она, какъ прежде ей самой не пришло все это въ голову, и съ благодарною любовью обняла Алексѣя Степаныча. И такъ было рѣшено, что Софья Николавна попытается убѣдить Николая Ѳедоровича, чтобы онъ отмѣнилъ свое рѣшеніе, чтобъ позволилъ имъ оставаться въ домѣ, при совершенно отдѣльномъ хозяйствѣ, безъ всякаго соприкосновенія съ Калмыкомъ, оставаться, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, когда Софья Николавна, послѣ разрѣшенія отъ беременности, Богъ дастъ, совершенно оправится. Все это основывалось на самой убѣдительной причинѣ, то-есть, что Софьѣ Николавнѣ, по ея положенію, вредно трястись въ экипажѣ по непроѣзднымъ уфимскимъ улицамъ, и что въ то же время никакая опасность не помѣшаетъ ей всякій день ѣздить къ больному. Объясненіе съ отцомъ не имѣло успѣха; старикъ спокойно и твердо сказалъ ей, что его рѣшеніе не было минутнымъ порывомъ, а давно обдуманнымъ дѣломъ. „Я напередъ зналъ, милая моя Соничка—такъ говорилъ Николай Ѳедоровичъ,—что, вышедши замужъ, ты не можешь оставаться въ одномъ домѣ съ Николаемъ. Ты противъ него раздражена, и я не обвиняю тебя; онъ прежде былъ много виноватъ передъ тобою; ты простила ему, но забыть его оскорбленій не могла. Я знаю, что и теперь онъ бываетъ передъ тобою виноватъ, но тебѣ все уже кажется въ преувеличенномъ видѣ“...—„Батюшка“, прервала было его Софья Николавна; но старикъ не далъ ей продолжать, сказавъ: „Погоди, выслушай все, что я хочу сказать тебѣ. Положимъ, что Калмыкъ точно такъ виноватъ, какъ ты думаешь; но въ такомъ случаѣ тебѣ еще болѣе невозможно жить съ нимъ подъ одною кровлею, а мнѣ—невоможно съ нимъ разстаться. Сжалься на мое бѣдное, безпомощное состояніе. Я уже трупъ недвижимый, а не человѣкъ; ты знаешь, что Калмыкъ двадцать разъ въ сутки долженъ меня ворочать съ боку на бокъ; замѣнить его никто не можетъ. Мнѣ одно только нужно—спокойствіе духа. Смерть стоитъ у

меня въ головахъ. Каждую минуту я долженъ готовиться къ переходу въ вѣчность. Мысль, что Калмыкъ дѣлаетъ тебѣ непріятности, возмущала мой духъ безпрестанно. Нечего дѣлать, разстанемся, мой другъ, живите своимъ домомъ. Когда же ты будешь пріѣзжать ко мнѣ—ты не увидишь противнаго тебѣ человѣка: онъ охотно будетъ прятаться. Онъ добился, чего хотѣлъ, выжилъ тебя изъ дому и теперь можетъ обворовывать меня сколько ему угодно... Я все это знаю и вижу, и все ему прощаю за неусыпное обо мнѣ попеченіе и денно и нощно; онъ то выноситъ, ходя за мною, чего никакія человѣческія силы вынести не могутъ. Не огорчай же меня, возьми деньги и купи домъ въ Голубиной Слободкѣ на свое имя."

Не стану описывать разныхъ сомнѣній, колебаній, бореній съ собою, слезъ, мученій, уступокъ, охлажденій и новыхъ воспламененій Софьи Николавны. Довольно того, что деньги были взяты, домъ купленъ, и черезъ двѣ недѣли поселился въ немъ Алексѣй Степанычъ съ своею молодою женой. Домикъ былъ новенькій, чистенькій, никто въ немъ еще не жилъ. Софья Николавна съ горяча принялась, съ свойственною ей ретивостью, за устройство новаго своего жилья и житья-бытья; но здоровье ея, сильно страдавшее отъ болѣзненнаго положенія, и еще сильнѣе пострадавшее отъ душевныхъ потрясеній, измѣнило ей; она сдѣлалась очень больна, пролежала недѣли двѣ въ постели и почти цѣлый мѣсяцъ не видѣла отца.

Первое свиданіе Софьи Николавны послѣ болѣзни съ Николаемъ Ѳедоровичемъ, который сталъ еще слабѣе, было жалко и умилительно. Старикъ столковался по дочери, считалъ себя причиною ея болѣзни, и мучился невозможностью ее увидѣть. Наконецъ они свидѣлись, обрадовались и оба поплакали. Николай Ѳедоровичъ особенно огорчался тѣмъ, что Софья Николавна ужасно похудѣла и подурнѣла, чему причиною было не столько огорченіе и болѣзнь, сколько особенность ея положенія. У нѣкоторыхъ женщинъ въ эту пору измѣняется и даже искажается лицо: съ Софьей Николавной было точно то же. Черезъ нѣсколько времени дѣло обошлось, уладилось и отношенія съ отцомъ приняли благопріятный видъ. Калмыкъ не показывался на глаза Софьѣ Николавнѣ. Одинъ Степанъ Михайловичъ не могъ примириться съ переѣздомъ дочери отъ умирающаго отца въ свой собственный домъ. Софья Николавна это предчувствовала, и еще до болѣзни успѣла напи-

сать къ свекру самое откровенное письмо, въ которомъ старалась объяснить и оправдать по возможности поступокъ своего отца; но Софья Николавна хлопотала понапрасну: Степанъ Михайловичъ обвинялъ не Николая Ѳедоровича, а его дочь, и говорилъ, „что она должна была все перетерпѣть и виду непріятнаго не показывать, что бы шельма Калмыкъ ни дѣлалъ.“ Онъ написалъ выговоръ Алексѣю Степанычу, зачѣмъ онъ позволилъ своей женѣ „бросить отца на рабьи руки.“—Необходимости разлучиться, для сохраненія спокойствія умирающаго, Степанъ Михайловичъ не понималъ, а равно и того, что можно женѣ дѣйствовать безъ позволенія мужа. Впрочемъ, въ этомъ случаѣ мужъ и жена были совершенно согласны.

Для окончательнаго устройства своего новенькаго домика и маленькаго хозяйства, Софья Николавна пригласила къ себѣ на помощь одну свою знакомую вдову, уфимскую мѣщанку Катерину Алексѣвну Чепрунову, женщину самую простую и предобрую, жившую гдѣ-то въ слободѣ, въ собственномъ домишкѣ, съ небольшимъ однако плодовитымъ садомъ, съ котораго получала небольшой доходъ. Сверхъ того, она содержала себя и единственнаго, обожаемаго кривого сынка своего Андрюшу переторжкою разнымъ мелкимъ товаромъ, и даже продавала калачи на базарѣ. Главный ея доходъ состоялъ въ продажѣ бухарской выбойки, для покупки которой ежегодно ѣздила она на мѣну въ Оренбургъ. Катерина Алексѣвна Чепрунова была съ матерней стороны родственница Софьѣ Николавнѣ; но Софья Николавна имѣла слабость скрывать это родство, хотя всѣ въ городѣ о немъ знали. Катерина Алексѣвна души не чаяла въ своей знаменитой и блистательной родственницѣ, которую навѣщала, потихоньку отъ ея мачихи, въ тяжкое время униженія и гоненій, и которая сдѣлалась явно благодѣтельницей Катерины Алексѣвны во время торжества и власти. Наединѣ Софья Николавна осыпала ласками безкорыстную, постоянно и горячо ее любившую родственницу и даже обходилась съ нею почтительно; при свидѣтеляхъ же, одна была покровительствуемая калачница, а другая—дочь товарища намѣстника. Но добрѣйшая Катерина Алексѣвна не только не оскорблялась тѣмъ, а даже требовала, чтобъ съ нею такъ обходились; она безгранично любила свою ненаглядную и родную ей красавицу, и смотрѣла на нее какъ на высшее благодѣтельное существо; она бы

себя не взлюбила, еслибъ какъ-нибудь помрачила блестящее положеніе Софьи Николавны. Разумѣется, тайна была открыта Алексѣю Степановичу, и онъ, не смотря на свое древнее дворянство, о которомъ довольно напѣвала ему семья, принялъ мѣщанку-торговку какъ добрую родственницу своей жены и во всю свою жизнь обходился съ ней съ ласкою и уваженіемъ; онъ хотѣлъ даже поцѣловать грубую руку калачницы, но та сама ни за что на это никогда не соглашалась. Только убѣдительныя просьбы Софьи Николавны принудили Алексѣя Степаныча не разсказывать объ этомъ родствѣ въ своей семьѣ и въ кругу знакомыхъ. За то какъ любила его простодушная Катерина Алексѣвна и какою горячей была заступницей за него впослѣдствіи, во всякихъ домашнихъ неудовольствіяхъ! Съ помощью этой-то Катерины Алексѣвны, которая умѣла все найти и все купить дешево, устроилась Софья Николавна и скоро и хорошо.

Въ городѣ довольно поговорили, порядили и посудили о томъ, что молодые Багровы купили себѣ домъ и живутъ сами по себѣ. Много было преувеличенныхъ и выдуманныхъ разсказовъ; но Алексѣй Степанычъ угадалъ: скоро узнали настоящую причину, отчего молодые оставили домъ отца; этому, конечно, помогъ болѣе всего Калмыкъ, который хвастался въ своемъ кругу, что выгналъ капризную молодую госпожу, раскрашивая ее при сей вѣрной оказіи самыми яркими красками. И такъ въ городѣ поговорили, порядили, посудили и—успокоились.

И вотъ наконецъ остались совершенно вдвоемъ молодые Багровы. По утрамъ уѣзжалъ Алексѣй Степанычъ къ своей должности въ Верхній Земскій судъ. Отправляясь туда, онъ завозилъ жену къ ея отцу, а возвращаясь изъ присутствія, заѣзжалъ самъ къ тестю и, пробывъ у него нѣсколько времени, увозилъ свою жену домой. Умѣренный обѣдъ ожидалъ ихъ. Обѣдъ съ глазу на глазъ въ *собственномъ* домѣ, на собственныя деньги, имѣлъ свою прелесть для молодыхъ хозяевъ, которая, конечно, не могла продолжаться слишкомъ долго: къ чему не привыкаетъ человѣкъ? Софья Николавна, не смотря на свое болѣзненное состояніе и скудныя средства, умѣла убрать свой домикъ, какъ игрушечку. Вкусъ и забота замѣняютъ деньги, и многимъ изъ пріѣзжавшихъ въ гости молодымъ Багровымъ показался ихъ домикъ убраннымъ богато. Всего труднѣе было устроить прислугу: приданаго лакея

Софьи Николавны, Ѳедора Михеева, женили на приданой же горничной, черномазой Парашѣ; а молодого слугу изъ Багрова, Ефрема Евсеева, честнаго, добродушнаго и очень полюбившаго молодую барыню (чего нельзя было сказать про другихъ слугъ), обвѣнчали съ молоденькою прачкой Софьи Николавны, Аннушкой. Честнаго Ефрема также очень полюбила молодая барыня, и не даромъ. Этотъ рѣдкій человѣкъ цѣлою жизнью доказалъ ей свою преданность [1]).

Между тѣмъ уфимская жизнь приняла весьма правильное и однообразное теченіе. По нездоровью и непріятному расположенію духа, Софья Николавна выѣзжала рѣдко, и то къ самымъ короткимъ знакомымъ, изъ немногаго числа которыхъ, самыхъ короткихъ, то-есть Чичаговыхъ, долго не было въ городѣ: они воротились съ матерью уже въ глубокую осень. Непріятное расположеніе духа Софьи Николавны, такъ тѣсно связанное съ разстройствомъ нервъ, сначала очень огорчало и безпокоило Алексѣя Степаныча. Онъ ничего не понималъ въ этомъ дѣлѣ: больныхъ безъ болѣзни, огорченныхъ безъ горя, или наоборотъ заболѣвающихъ отъ безпричинной грусти и грустныхъ отъ небывалой или незамѣтной болѣзни — онъ не встрѣчалъ во всю свою жизнь. Видя однако, что ничего важнаго или опаснаго нѣтъ, онъ началъ привыкать мало-по-малу, и успокоился. Онъ убѣдился въ той мысли, что все это одно воображеніе. Этою мыслью онъ и прежде объяснялъ себѣ разныя волненія и огорченія Софьи Николавны

[1]) Евсеичъ (его звали всегда только по отчеству) впослѣдствіи былъ дядькой ея старшаго сына, за которымъ ходилъ съ отцовскою горячностью. Я зналъ коротко этого почтеннаго старика. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, я видѣлъ его уже слѣпого, доживавшаго свой вѣкъ въ Пензенской губерніи, у одного изъ внуковъ Степана Михайловича Багрова. Мнѣ случилось прогостить тамъ цѣлый лѣтній мѣсяцъ. Каждый день, рано поутру, приходилъ я удить въ проточномъ прудѣ на рѣчкѣ Какармѣ, при впаденіи ея въ прекрасную рѣку Инзу; на самомъ берегу пруда стояла изба, въ которой жилъ Евсеичъ. Каждый день, подходя къ пруду, видѣлъ я этого уже дряхлаго, сгорбленнаго, сѣдого какъ лунь старика, стоявшаго прислонясь къ углу своей избы, прямо противъ восходящаго солнца; костлявыми пальцами обѣихъ рукъ опирался онъ на длинную палку, прижавъ ее къ своей груди и устремивъ слѣпые глаза на встрѣчу солнечнымъ лучамъ. Онъ не видѣлъ свѣта, но чувствовалъ теплоту его, столь пріятную въ свѣжести утренняго воздуха, и грустно-радостно было выраженіе его лица. Слухъ его былъ такъ чутокъ, что онъ издали узнавалъ мою походку и весело, какъ старый рыбакъ привѣтствуетъ молодого, привѣтствовалъ меня, хотя мнѣ самому было уже пятьдесятъ лѣтъ. „А, это ты, соколикъ! (такъ привыкъ онъ звать меня въ молодости). Пора! Дай Богъ клёвъ на рыбу!“— Года черезъ два онъ скончался на рукахъ дочери, сына и жены, которая пережила его нѣсколькими годами.

въ тѣхъ случаяхъ, когда не могъ доискаться видимой, понятной для него причины. Онъ пересталъ безпокоиться, но за то начиналъ иногда понемногу скучать. Дѣло было совершенно естественно. Какъ ни любилъ Алексѣй Степановичъ жену, какъ ни жалко было ему смотрѣть, что она безпрестанно огорчается,—но слушать ежедневно, по цѣлымъ часамъ, постоянныя жалобы на свое положеніе, весьма обыкновенное, слушать печальныя предчувствія и даже предсказаніе о будущихъ несчастныхъ послѣдствіяхъ своей беременности, небывалые признаки которыхъ Софья Николавна умѣла отыскивать, при помощи своихъ медицинскихъ книжныхъ свѣдѣній, съ необыкновеннымъ искусствомъ и остроуміемъ; слушать упреки тончайшей требовательности, къ удовлетворенію которой рѣдко бываютъ способны мужья — конечно, было скучновато. Софья Николавна это видѣла и огорчалась до глубины души. Еслибъ она находила въ своемъ мужѣ вообще недостатокъ чувствъ, неспособность любить безгранично, она бы скорѣе примирилась съ своимъ положеніемъ. „Чего Богъ не далъ, того негдѣ взять“, часто говаривала она сама, и, признавая разумность такой мысли, она покорилась бы своей судьбѣ; но къ несчастью, страстная, восторженная любовь Алексѣя Степаныча, когда онъ былъ женихомъ, убѣдила ее, что онъ способенъ пламенно любить и вѣчно любилъ бы ее точно такъ же, если-бъ не охладѣлъ почему-то въ своихъ чувствахъ... Несчастная эта мысль овладѣла постепенно воображеніемъ Софьи Николавны. Изобрѣтательный ея умъ всему находилъ множество причинъ и множество доказательствъ; причинами она считала: неблагопріятныя внушенія семьи, своеболѣзненное состояніе, а всего болѣе—потерю красоты, потому что зеркало безжалостно показывало ей, какъ она измѣнилась, какъ подурнѣла. Доказательства находила она въ томъ, что Алексѣй Степанычъ равнодушенъ къ ея опасеніямъ, не обращаетъ полнаго вниманія на ея положеніе, не старается ее утѣшить и развлечь, а главное, что онъ веселѣе, охотнѣе говоритъ съ другими женщинами,—и вспыхнуло какъ порохъ, таившееся въ глубинѣ души, несознаваемое до сихъ поръ, мучительное, зоркое и слѣпое въ то же время, чувство ревности! Начались ежедневныя объясненія, упреки, слезы, ссоры и примиренія!.. И ни въ чемъ еще не былъ виноватъ Алексѣй Степанычъ: внушеніямъ семьи онъ совершенно не вѣрилъ, да и самый сильный авторитетъ въ его

глазахъ былъ, конечно, отецъ, который своею благосклонностью къ невѣсткѣ возвысилъ ее въ глазахъ мужа; объ ея болѣзненномъ состояніи сожалѣлъ онъ искренно, хотя, конечно, не сильно, а на потерю красоты смотрѣлъ какъ на временную потерю, и заранѣе веселился мыслью, какъ опять разцвѣтетъ и похорошѣетъ его молодая жена; онъ не могъ быть веселъ, видя, что она страдаетъ; но не могъ сочувствовать всѣмъ ея предчувствіямъ и страхамъ, думая, что это одно пустое воображеніе; къ тонкому вниманію онъ былъ, какъ и большая часть мужчинъ, не способенъ; утѣшать и развлекать Софью Николавну въ дурномъ состояніи духа было дѣло по истинѣ мудрое: какъ разъ не угодишь и попадешь въ просакъ: не поправишь, а испортишь дѣло; къ этому требовалось много искусства и ловкости, которыхъ онъ не имѣлъ. Можетъ быть точно онъ говорилъ веселѣе и охотнѣе съ другими женщинами, потому что не боялся ихъ какъ-нибудь огорчить или раздражить пустыми словами, сказанными невпопадъ. Но не такъ смотрѣла Софья Николавна на это дѣло, да и не могла смотрѣть иначе по своей природѣ, въ которой все прекрасное легко переходило въ излишество, въ крайность. Какъ тутъ быть, если у одного нервы толсты, крѣпки и здоровы, а у другого тонки, нѣжны и болѣзненны? Если приходили они въ сотрясеніе у Софьи Николавны отъ того, что не дотрогивалось до нервовъ Алексѣя Степаныча?—Одни только Чичаговы понимали нравственныя причины печальнаго положенія молодыхъ Багровыхъ, и хотя Софья Николавна и еще менѣе Алексѣй Степанычъ—ничего имъ не открывали, но они приняли въ нихъ живое участіе, и своимъ дружескимъ вниманіемъ, а всего болѣе частыми посѣщеніями, присутствіемъ своимъ, умными и дѣльными разговорами, много успокоивали пылкую голову Софьи Николавны и много сдѣлали добра на то время и ей, и ея мужу.

Въ такомъ положеніи находились молодые Багровы до того времени, когда Софья Николавна сдѣлалась матерью. Не смотря на частыя душевныя огорченія, она въ послѣдніе два мѣсяца поправилась въ своихъ физическихъ силахъ и благополучно родила дочь. Конечно, Софья Николавна и еще болѣе Алексѣй Степанычъ желали имѣть сына; но когда мать прижала къ сердцу свое дитя, для нея уже не существовало разницы между сыномъ и дочерью. Страстное чувство материнской любви овладѣло ея душой, умомъ, всѣмъ нравствен-

нымъ существомъ ея. Алексѣй Степанычъ благодарилъ только Бога, что Софья Николавна осталась жива, радовался, что она чувствуетъ себя хорошо, и сейчасъ помирился съ мыслью, зачѣмъ не родился у него сынъ.

Но въ Багровѣ было совсѣмъ не то! Степанъ Михайловичъ такъ увѣрилъ себя, что у него родится внукъ, наслѣдникъ рода Багровыхъ, что не вдругъ повѣрилъ появленію на свѣтъ внучки. Наконецъ прочиталъ собственными глазами письмо сына и, убѣдясь, что дѣло не подлежитъ сомнѣнію, огорчился не на шутку; отмѣнилъ приготовленное крестьянамъ угощеніе, не захотѣлъ самъ писать къ невѣсткѣ и сыну, а велѣлъ только поздравить *роженицу съ животомъ и дочерью*, да приказалъ назвать новорожденную Прасковьей[1]), въ честь любимой своей сестры Прасковьи Ивановны Куролесовой. Угадывая напередъ его желаніе, малюткѣ еще на молитвѣ дали имя Прасковьи. — И жалко, и забавно было смотрѣть на досаду Степана Михайловича! Даже семья посмѣивалась промежъ себя потихоньку. По разумности своей, старикъ очень хорошо зналъ, что гнѣваться было не на кого, но въ первые дни онъ не могъ овладѣть собою,—такъ трудно ему было разстаться съ сладкою надеждой или, лучше сказать, съ увѣренностью, что у него родится внукъ и что авось не погибнетъ знаменитый родъ Шимона. Онъ велѣлъ убрать съ глазъ, спрятать подальше родословную, которая уже лежала у него на постели, въ ожиданіи радостнаго извѣстія, и въ которую онъ всякой день собирался внести имя внука. Онъ запретилъ своей дочери Аксиньѣ Степановнѣ ѣхать въ Уфу, чтобъ быть крестной матерью новорожденной Багровой, и съ досадой сказалъ: „Вотъ еще! семь верстъ киселя ѣсть! ѣхать крестить дѣвочку! Каждый годъ пойдетъ родить дочерей, такъ не наѣздишься!“ — Впрочемъ, время взяло свое, и черезъ нѣсколько дней разгладились морщины (которыя на сей разъ никого не пугали) на лбу Степана Михайловича, и мысль, что можетъ быть черезъ годъ невѣстка родитъ ему внука, успокоила старика. Онъ написалъ ласковое письмо невѣсткѣ, шутя ее побранилъ и шутя приказалъ, чтобъ черезъ годъ былъ у ней сынъ.

Софья Николавна такъ предалась новому своему чувству, такъ была охвачена новымъ міромъ материнской любви, что

---

[1]) Т. е. Надеждой, въ честь Надежды Ивановны Куроѣдовой.

даже не замѣтила признаковъ неудовольствія свекра и не обратила вниманія на то, что Аксинья Степановна не пріѣхала крестить ея дочь. Съ трудомъ удержали Софью Николавну девять дней въ постели. Она чувствовала себя такъ хорошо, что на четвертый день могла пожалуй хоть танцовать... Но не танцовать хотѣлось ей, а ходить, няньчиться, не спать, и день и ночь, съ своею Парашенькой, которая родилась худенькою и слабенькою, вѣроятно вслѣдствіе того, что мать носила ее будучи безпрестанно больна и душой и тѣломъ. Кормить своего ребенка не позволили ей доктора, или, лучше сказать, докторъ, Андрей Юрьевичъ Авенаріусъ, человѣкъ очень умный, образованный и любезный, который былъ короткимъ пріятелемъ и ежедневнымъ гостемъ у молодыхъ Багровыхъ. При первой возможности, Софья Николавна повезла свою малютку къ дѣдушкѣ, то-есть, къ своему отцу, Николаю Ѳедоровичу. Она думала, что видъ этой крошки обрадуетъ больного старика, что онъ найдетъ въ ней сходство съ покойною, первою женой своею Вѣрой Ивановной. Сходства этого вѣроятно не бывало, потому что младенцы, по моему мнѣнію, не могутъ походить на взрослыхъ, но Софья Николавна во всю свою жизнь утверждала, что первая дочь, какъ двѣ капли воды, была похожа на бабушку. Старикъ Зубинъ уже приближался къ концу земного своего поприща, разрушался тѣлесно и духовно. Онъ равнодушно взглянулъ на младенца, едва могъ перекрестить его и сказалъ только: „Поздравляю тебя, Соничка“. Софья Николавна была очень огорчена и труднымъ положеніемъ своего отца, котораго болѣе мѣсяца не видала, и его равнодушіемъ къ ея ангелу-Парашенькѣ.

Но скоро надъ люлькой своей дочери забыла молодая мать весь окружающій ее міръ! Всѣ интересы, всѣ другія привязанности поблѣднѣли передъ материнскою любовью, и Софья Николавна предалась новому своему чувству съ безумiемъ страсти. Ни чьи руки, кромѣ ея собственныхъ рукъ, не прикасались къ малюткѣ. Она сама подавала свою Парашеньку кормилицѣ, сама поддерживала ее у груди, и не безъ огорченія смотрѣла, какъ другая, чужая женщина кормила ея дочь... Трудно повѣрить; но дѣйствительно было такъ! Софья Николавна впослѣдствіи сама признавалась въ томъ, что она не могла выносить, если Парашенька долго оставалась у груди кормилицы, отнимала ее голодную и закачивала на

своихъ рукахъ или въ люлькѣ, напѣвая колыбельныя пѣсни. Софья Николавна перестала видаться со своими знакомыми и даже съ другомъ своимъ, Катериной Борисовной Чичаговой. Разумѣется, всѣмъ это казалось или странно, или смѣшно, а людямъ близкимъ и досадно. На самое короткое время пріѣзжала она каждый день къ отцу и каждый разъ возвращалась въ страхѣ: не больна ли ея дочь?—Она предоставила своему мужу полную свободу заниматься, чѣмъ ему угодно, и Алексѣй Степанычъ, посидѣвъ нѣсколько дней дома и увидѣвъ, что Софья Николавна не обращаетъ на него вниманія, даже выгоняетъ изъ маленькой дѣтской, для того, чтобы передышенный воздухъ не былъ вреденъ дитяти, а сама отъ малютки не отходитъ,—сталъ одинъ выѣзжать въ гости, сначала изрѣдка, потомъ чаще, наконецъ каждый день, и принялся играть отъ скуки въ рокомболь и бостонъ. Нѣкоторыя уфимскія дамы подшучивали надъ молодымъ, оставленнымъ мужемъ, любезничали съ нимъ и говорили, что онѣ обязаны занимать и утѣшать сироту, за что Софья Николавна, конечно, имъ будетъ благодарна, когда опомнится отъ страсти къ дочери и воротится въ свѣтъ. Только впослѣдствіи эти любезности дошли до Софьи Николавны и возмутили ея душу. Катерина Алексѣвна Чепрунова, постоянно навѣщавшая свою родственницу, смотрѣла на нее съ изумленіемъ, сожалѣніемъ и досадой. Она сама была нѣжная мать, любившая горячо своего единственнаго кривого сынка; но такая привязанность и забвеніе всего окружающаго, какъ у Софьи Николавны, казались ей чѣмъ-то похожимъ на сумасбродство. Она охала, вздыхала, била себя кулаками въ грудь и животъ (это была ея привычка), говорила, что такая любовь смертный грѣхъ передъ Богомъ и что Богъ за нее накажетъ. Софья Николавна разсердилась и перестала пускать ее въ дѣтскую. Одинъ Андрей Юрьевичъ Авенаріусъ принимался довольно часто въ комнатѣ Парашеньки. Софья Николавна безпрестанно находила разные признаки разныхъ болѣзней у своей дочери, лѣчила по Бухану и, не видя пользы, призывала доктора Авенаріуса; не зная, что и дѣлать съ бѣдною матерью, которую ни въ чемъ нельзя было разувѣрить, онъ прописывалъ разныя, иногда невинныя, а иногда и дѣйствительныя лѣкарства, потому что малютка въ самомъ дѣлѣ имѣла очень слабое здоровье.

Мудрено сказать, что бы вышло изъ всего этого въ бу-

дущемъ, еслибъ, по невѣдомымъ намъ судьбамъ Провидѣнія, не разразился внезапно громовой ударъ надъ несчастною Софьею Николавной, если бы не умерла скоропостижно ея ангелъ-Парашенька. Излишество ли ухода, излишество ли лѣченья, природная ли слабость тѣлосложенія младенца были причиною его смерти—неизвѣстно; оказалось только, что онъ на четвертомъ мѣсяцѣ своей жизни не вынесъ самаго легкаго дѣтскаго припадка, *младенской*, или *родимца*, которому рѣдкій изъ грудныхъ дѣтей не бываетъ подверженъ. Сидя у колыбели и замѣтивъ, что Парашенька вздрогнула, и что личико ея искривилось, Софья Николавна торопливо взяла на руки свою дочь: она была уже мертвая...

Крѣпкое, богатырское надобно было имѣть здоровье Софьѣ Николавнѣ, чтобъ вынесть этотъ ударъ! Доктора, поперемѣнно, отъ нея не отходили. Занденъ, Авенаріусъ и Клоусъ, которые всѣ ее очень любили, нѣсколько дней опасались за ея разсудокъ, потому что она никого не узнавала. Но, благодареніе Богу, молодости и крѣпкому сложенію, страшное время прошло. Несчастная мать опомнилась, и любовь къ мужу, который самъ страдалъ всею душою, любовь, мгновенно вступившая въ права свои, спасла ее. Когда Софья Николавна въ четвертую ночь пришла въ себя, взглянула сознательно на окружающіе ее предметы, узнала Алексѣя Степаныча, котораго узнать было трудно, такъ онъ перемѣнился,—узнала неизмѣннаго друга своего, Катерину Алексѣвну,—страшный крикъ вырвался изъ ея груди и спасительные потоки слезъ хлынули изъ глазъ: она еще ни разу не плакала. Она обняла Алексѣя Степаныча и долго, молча, рыдала на его груди: онъ самъ рыдалъ, какъ дитя. Прошла опасность помѣшательства въ умѣ; но наступила другая опасность: истощеніе силъ тѣлесныхъ. Четверо сутокъ не пила и не ѣла бѣдная страдалица, и очнувшись, не могла проглотить не только пищи, но и лѣкарства, даже воды. Положеніе было такъ опасно, что доктора не противились желанію больной исповѣдаться и причаститься. Исполненіе христіанскаго долга благотворно подѣйствовало на Софью Николавну; она заснула, тоже въ первый разъ, и проснувшись часа черезъ два, съ радостнымъ и просвѣтленнымъ лицомъ, сказала мужу, что видѣла во снѣ образъ Иверской Божьей Матери, точно въ такомъ видѣ, въ какомъ написана она на мѣстной иконѣ, въ ихъ приходской церкви; она прибавила, что еслибъ она

могла помолиться и приложиться къ этой иконѣ, то, конечно, Матерь Божія ее-бы помиловала. Мѣстную икону принесли изъ церкви, священникъ отслужилъ молебенъ „о спасеніи и здравіи больной“. При пѣніи словъ: „призри благосердіемъ, всепѣтая Богородице, на мое лютое тѣлесе озлобленіе“, всѣ присутствующіе упали на колѣни, повторяя слова божественной молитвы; Алексѣй Степанычъ плакалъ навзрыдъ. Больная также плакала умиленными слезами во все время службы, приложилась къ мѣстной иконѣ и почувствовала такое облегченіе, что могла выпить воды, а потомъ стала принимать лѣкарства и пищу. Катерина Борисовна Чичагова и Катерина Алексѣвна Чепрунова не оставляли своей пріятельницы ни на минуту. Больная скоро вышла изъ опасности. Отдохнуло настрадавшееся сердце Алексѣя Степаныча. Съ новымъ усердіемъ принялись доктора за лѣченіе, которое представляло своего рода опасность, потому что медики слишкомъ любили свою паціентку: одинъ предвидѣлъ чахотку, другой сухотку, а третій боялся аневризмы. По счастью всѣ согласились въ одномъ: чтобы немедленно отправить больную въ деревню, на чистый, именно лѣсной воздухъ и на пользованіе кумысомъ. Въ началѣ іюня растительность травъ находилась еще въ полной свѣжести, и питье кобыльяго молока было еще не опоздано.

Степанъ Михайловичъ принялъ извѣстіе о смерти внучки весьма равнодушно; даже сказалъ: „вотъ есть объ чемъ убиваться, объ дѣвчонкѣ, этого добра еще будетъ!“ Но когда, вслѣдъ за первымъ извѣстіемъ, было получено другое, что здоровье Софьи Николавны находится въ опасности—старикъ сильно перетревожился. Когда же пришло третье извѣщеніе, что невѣстка вышла изъ близкой опасности, но что очень больна, что доктора не могутъ ей помочь и отправляютъ ее на кумысъ, Степанъ Михайловичъ весьма прогнѣвался на докторовъ, говоря, что они людоморы, ничего не смыслятъ и поганятъ душу человѣческую бусурманскимъ питьемъ.—„Если конину есть православному человѣку запрещено, продолжалъ онъ, то какже пить молоко нечистаго животнаго? Вижу бѣду, прибавилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ и махнулъ рукой: жива-то, можетъ быть, невѣстка останется, да захилѣетъ, и дѣтей не будетъ“. Степанъ Михайловичъ сильно огорчился и надолго остался постоянно грустнымъ.

Въ двадцати-девяти верстахъ отъ Уфы по Казанскому

тракту, на юго-западъ, на большой рѣкѣ „Уза“, впадающей въ чудную рѣку „Дему“, окруженная богатымъ чернолѣсьемъ, лежала татарская деревушка „Узытамакъ“, называемая Русскими „Алкино“, по фамиліи помѣщика [1]). Въ роскошной долинѣ, въ живописномъ безпорядкѣ тѣснилась эта деревушка на подошвѣ горы Байрамъ-тау, защищавшей ее отъ сѣвера; на западъ возвышалась другая гора, Зеинъ-тау, на юго-востокъ текла рѣчка Уза, покрытая мелкимъ лѣсомъ [2]); цвѣтущія поляны дышали благовоніемъ травъ и цвѣтовъ, а лѣса изъ дуба, липы, ильмы, клену и всякихъ другихъ породъ чернолѣсья, разрѣжая воздухъ, сообщали ему живительную силу. Въ этотъ-то прелестный уголокъ повезъ Алексѣй Степанычъ слабую, желтую, худую, однимъ словомъ сказать, тѣнь прежней Софьи Николавны; съ ними поѣхалъ другъ-докторъ Авенаріусъ. Съ трудомъ довезли больную до мѣста. Гостепріимный хозяинъ и помѣщикъ этой деревни принялъ ихъ съ радушіемъ; онъ имѣлъ порядочный домъ съ флигелями; Софья Николавна не захотѣла помѣститься въ домѣ, и для нея очистили флигель. Семейство хозяина было слишкомъ любезно и внимательно къ ней, такъ что докторъ принужденъ былъ отдалить на время этихъ добрыхъ людей, которые хотя были мусульмане по вѣрѣ, но говорили довольно хорошо по-русски. Одежда и образъ жизни ихъ представляли

---

1) Деревня Узытамакъ состояла, по восьмой ревизіи, изъ девяноста-восьми ревизскихъ душъ мужского пола крѣпостныхъ крестьянъ, принадлежащихъ потомку прежнихъ владѣльцевъ, помѣщику г-ну Алкину; она носитъ прежнее имя, но выстроена уже правильною улицею, на прежнемъ мѣстѣ.

2) „Тау“, значитъ гора, „Байрамъ“—праздникъ. Это имя, какъ говоритъ преданіе, дано горѣ потому, что на ней, будто-бы, Башкирцы совершали торжественное молебствіе послѣ „Уразы“, то-есть поста. „Зеинъ-Тау“ —значитъ гора собранія; „Зеиномъ“ называется пиръ или собраніе народа для борьбы, бѣганья и конской скачки. Гора эта получила названіе „Зеина“ со времени пріобрѣтенія отъ Башкирцевъ земли, лежащей по рѣчкѣ Узѣ, помѣщикомъ Алкинымъ, что случилось именно въ 1791-мъ году. Г-нъ Алкинъ, послѣ заключенія условія съ Башкирцами, далъ для нихъ на этой горѣ пиръ съ разными увеселеніями. „Тамакъ“ значитъ устье, а потому и деревня на устьѣ Узы, при впаденіи ея въ Дему, называется „Узы-Тамакъ“. Имена же рѣчки „Узы“, а равно и рѣчки „Куркуль-Даукъ“, которое сейчасъ встрѣтится, значенія не имѣютъ.

Я говорю все это, основываясь на самыхъ точныхъ новыхъ свѣдѣніяхъ, благосклонно доставленныхъ мнѣ Е. И. Б-мъ и полученныхъ имъ отъ теперешняго владѣльца деревни Узы-тамакъ, г-на Алкина. Я видѣлъ самъ прекрасную мѣстность этой деревни: но этому прошло уже такъ много лѣтъ, что я не могъ бы вѣрно описать ее безъ пособія свѣдѣній, доставленныхъ мнѣ обязательными людьми.

тогда пеструю смѣсь татарскихъ и русскихъ нравовъ; но кумысъ былъ у нихъ обычнымъ питьемъ отъ утра до вечера. Для Софьи Николавны приготовляли этотъ благодатный напитокъ уже цивилизованнымъ способомъ, т.-е. кобылье молоко заквашивали не въ турсукѣ, а въ чистой, новой, липовой кадушечкѣ. Хозяева утверждали, что такой кумысъ менѣе вкусенъ и менѣе полезенъ; но больная чувствовала непреодолимое отвращеніе отъ мѣшка изъ сырой лошадиной кожи, и цѣлебное питье готовилось для нея самымъ опрятнымъ образомъ. Докторъ устроилъ курсъ лѣченія и уѣхалъ въ Уфу; Алексѣй же Степанычъ, съ Парашей и Аннушкой, оставались безотлучно при больной. Воздухъ, кумысъ, сначала въ маломъ количествѣ, ежедневныя прогулки въ каретѣ вмѣстѣ съ Алексѣемъ Степанычемъ въ чудные лѣса, окружавшіе деревню, куда возилъ ихъ Ефремъ, сдѣлавшійся любимцемъ Софьи Николавны и исправлявшій на это время должность кучера,—лѣса, гдѣ лежала больная цѣлые часы, въ прохладной тѣни, на кожаномъ тюфякѣ и подушкахъ, вдыхая въ себя ароматный воздухъ, слушая иногда чтеніе какой-нибудь забавной книги и нерѣдко засыпая укрѣпляющимъ сномъ,—все вмѣстѣ благотворно подѣйствовало на здоровье Софьи Николавны, и черезъ двѣ, три недѣли она встала и могла прохаживаться сама. Докторъ опять пріѣхалъ, порадовался дѣйствію кумыса, усилилъ его употребленіе, а какъ больная не могла выносить его въ большихъ пріемахъ, то Авенаріусъ счелъ необходимымъ предписать сильное тѣлодвиженіе, то-есть верховую ѣзду. Дѣло тогда неслыханное и дикое въ дворянскомъ быту, которое не нравилось Алексѣю Степанычу и которое Софья Николавна также находила неприличнымъ. Напрасно хозяйскія дочери подавали поучительный примѣръ, пробѣгая на башкирскихъ иноходцахъ цѣлые десятки верстъ по окрестностямъ,—Софья Николавна долго противилась всѣмъ убѣжденіямъ, и въ томъ числѣ просьбамъ мужа, котораго докторъ положительно и скоро увѣрилъ въ необходимости верховой ѣзды. Пріѣхали Чичаговы въ гости къ Багровымъ въ Алкино, и наконецъ, кое-какъ, общими силами, побѣдили упрямство Софьи Николавны; самою сильною побудительною причиною къ согласію былъ примѣръ Катерины Борисовны Чичаговой, которая, какъ истинный другъ, пожертвовала собственнымъ предубѣжденіемъ и стала ѣздить верхомъ, сначала одна, а потомъ вмѣстѣ съ

больною. При сильномъ тѣлодвиженіи, была предписана и другая пища, а именно: жирное баранье мясо, отъ котораго Софья Николавна также имѣла отвращеніе. Вѣроятно докторъ Авенаріусъ, въ назначеніи діэты, руководствовался пищеупотребленіемъ Башкиръ и кочующихъ лѣтомъ Татаръ, которые во время питья кумыса почти ничего не ѣдятъ, кромѣ жирной баранины, даже хлѣба не употребляютъ, ѣздятъ верхомъ съ утра до вечера по своимъ раздольнымъ степямъ, ѣздятъ до тѣхъ поръ, пока зеленый ковыль, состарѣвшись, не посѣдѣетъ и не покроется шелковистымъ серебрянымъ пухомъ. Лѣченье пошло отлично хорошо, прогулки производились цѣлымъ обществомъ вмѣстѣ съ дочерьми и сыновьями хозяина. Нерѣдко заѣзжали на поташный заводъ, находившійся въ двухъ верстахъ отъ Алкина, въ глубинѣ лѣса, на берегу прекрасной рѣчки „Куркулъ-даукъ“ [1]). Съ любопытствомъ смотрѣла Софья Николавна, какъ кипѣли чугунные котлы съ золою, какъ въ деревянныхъ чанахъ садился *шадрикъ*, какъ въ калильныхъ печахъ очищался онъ огнемъ и превращался въ бѣлые ноздреватые куски растительной соли, называемой поташомъ. Она любовалась живостью, съ которою производилась работа, и проворствомъ Татаръ, которые въ своихъ тюбетейкахъ и длинныхъ рубахахъ, не мѣшавшихъ ихъ тѣлодвиженіямъ, представляли для нея странное зрѣлище. Вообще хозяева были такъ любезны, что забавляли свою гостью пѣснями, плясками, конными скачками (зеинами) и борьбою своихъ мусульманскихъ подданныхъ.

Во всѣхъ этихъ прогулкахъ и увеселеніяхъ сначала постоянно участвовалъ Алексѣй Степанычъ; но успокоенный состояніемъ здоровья своей больной, видя ее окруженною обществомъ и общимъ вниманіемъ, онъ началъ понемногу пользоваться свободными часами: деревенская жизнь, воздухъ, чудная природа разбудили въ немъ прежнія его охоты; онъ устроилъ себѣ удочки, и въ прозрачныхъ родниковыхъ рѣчкахъ, которыхъ было довольно около Алкина, принялся удить осторожную пеструшку и кутему; даже хаживалъ иногда съ

[1]) Этотъ заводъ уничтоженъ въ 1848 году; въ 1791-мъ только что начиналась въ Уфимскомъ краѣ выварка поташа, истребившая впослѣдствіи множество лучшихъ породъ чернолѣсья: липы, ильмы, вяза и клена. Изобиліе этихъ породъ было такъ велико, что сначала только ихъ и употребляли на поташъ, потому что зола ихъ несравненно выгоднѣе другихъ. Продажа поташа представляла тогда огромныя выгоды сравнительно съ прочими отраслями доходовъ.

сѣткою за перепелами, ловить которыхъ Ѳедоръ Михеевъ, молодой мужъ Параши, былъ большой мастеръ и умѣлъ дѣлать перепелиныя дудки. Эта охота находится въ презрѣніи у охотниковъ до другого рода охоты; но право не знаю, за что ее такъ презираютъ? Лежать въ душистыхъ полевыхъ лугахъ, развѣсивъ передъ собою сѣтку по верхушкамъ высокой травы, слышать вблизи и вдали звонкій бой перепеловъ, искусно подражать на дудочкѣ тихому мелодическому голосу перепелки, замѣчать, какъ на него откликаются задорные перепела, какъ бѣгутъ и даже летятъ они со всѣхъ сторонъ къ человѣку, наблюдать разныя ихъ горячія выходки и забавныя продѣлки, наконецъ, самому горячиться отъ удачной или неудачной ловли,—признаюсь, все это въ свое время было очень весело и даже теперь вспоминается не равнодушно... Софьѣ Николавнѣ растолковать этого веселья было невозможно.—Слава Богу, черезъ два мѣсяца она поздоровѣла, пополнѣла, и яркій румянецъ заигралъ на ея щекахъ.

Авенаріусъ пріѣхалъ въ третій разъ и былъ вполнѣ утѣшенъ состояніемъ здоровья Софьи Николавны. Онъ имѣлъ полное право торжествовать и радоваться: онъ первый предложилъ питье кумыса и управлялъ ходомъ лѣченія. Онъ и прежде очень любилъ свою паціентку, а теперь, такъ счастливо возвратя ей здоровье, привязался къ ней, какъ къ дочери.

Каждую недѣлю доносилъ Алексѣй Степанычъ о состояніи здоровья жены своей Степану Михайловичу. Онъ радовался, что невѣстка его поправляется; но, разумѣется, не вѣрилъ цѣлебной силѣ кумыса и очень сердился за верховую ѣзду, о которой имѣли неосторожность написать къ нему. Домашніе воспользовались удобнымъ случаемъ и нѣсколькими ѣдкими словцами, мимоходомъ, но впопадъ сказанными, такъ усилили досаду старика, что онъ написалъ грубоватое письмо къ сыну, которое огорчило Софью Николавну. Когда же Степанъ Михайловичъ удостовѣрился, что невѣстка его совершенно выздоровѣла и даже пополнѣла, сладкія надежды зашевелились у него въ головѣ, и примирился онъ отчасти съ кумысомъ и верховою ѣздой.

Къ осени воротились молодые Багровы въ Уфу. Старикъ Зубинъ былъ уже очень плохъ, и чудесное возстановленіе здоровья дочери не произвело на него никакого впечатлѣнія. Все было кончено для него на землѣ, всѣ связи расторгну-

ты, всѣ жизненныя нити оборваны, и едва только держалась душа въ разрушенномъ тѣлѣ.

Дальнѣйшій ходъ внутренней жизни молодыхъ Багровыхъ былъ какъ будто пріостановленъ разными обстоятельствами: сначала рожденіемъ дочери и страстною, безумною любовью къ ней матери; потомъ смертью малютки, отъ которой едва не помѣшалась мать, едва не умерла, и наконецъ—продолжительнымъ лѣченіемъ и житьемъ въ татарской деревнѣ. Въ мятежное время душевныхъ мукъ и тѣлесныхъ страданій, Софья Николавна постоянно видѣла искреннюю любовь и самоотверженіе со стороны Алексѣя Степаныча. Столкновеній, случающихся безпрестанно въ обыкновенномъ порядкѣ жизни между неравными природами, тогда не было, а если и были поводы къ нимъ, то они не могли быть замѣчены. При обращеніи крупной монеты, мелочь не видна. Въ обстоятельствахъ исключительныхъ, въ событіяхъ важныхъ, идетъ одна крупная монета, а ежедневные расходы жизни спокойной, по большей части, уплачиваются мелочью. Алексѣй Степанычъ былъ не бѣденъ крупною монетой, а въ мелочи часто встрѣчался у него недостатокъ. Когда человѣкъ при видѣ нравственнаго страданія или опасности, угрожающей здоровью и жизни любимаго существа, страдаетъ самъ всѣми силами своей души, забывая сонъ, покой и пищу, забывая всего себя; когда напрягаются нервы, возвышается духовная природа—тогда нѣтъ мѣста требованіямъ и нѣтъ мѣста мелочнымъ вниманіямъ, заботамъ и угожденіямъ. Проходитъ пора потрясающихъ событій, все успокоивается, опускаются нервы, мельчаетъ духъ; кровь и тѣло, вещественная жизнь, съ ея пошлостью, вступаютъ въ права свои, привычки возвращаютъ утраченную власть, и наступаетъ пора тѣхъ самыхъ требованій, о которыхъ мы сейчасъ говорили, пора вниманій, угожденій, предупрежденій и всякихъ мелочныхъ бездѣлокъ, изъ которыхъ соткана дѣйствительная, обыкновенная жизнь. Когда-то еще придетъ время трудныхъ опытовъ, надобности въ самоотверженіи и жертвахъ, а между тѣмъ жизнь постояно бѣжитъ по колеѣ своей, и мелочи составляютъ ея спокойствіе, украшеніе, услажденіе, однимъ словомъ, то, что мы называемъ счастьемъ. По такимъ-то причинамъ, когда Софья Николавна стала поправляться, а Алексѣй Степанычъ пересталъ тревожиться за ея жизнь и здоровье, мало-по-малу начали вновь появляться, съ одной

стороны, прежняя требовательность, а съ другой стороны, прежняя неспособность—удовлетворять тонкости требованій. Тихія объясненія и упреки стали надоѣдать мужу, а горячихъ вспышекъ сталъ онъ бояться; страхъ сейчасъ исключилъ полную искренность, а потеря искренности въ супружествѣ, особенно въ лицѣ второстепенномъ, всегда нѣсколько зависящемъ отъ главнаго лица, ведетъ прямою дорогою къ нарушенію семейнаго счастія. Съ возвращеніемъ въ Уфу, къ обыденной, праздной, городской жизни, вѣроятно все бы это усилилось; но тяжкое страдальческое положеніе, уже дѣйствительно умирающаго, отца поглотило всѣ тревоги, наполнило собою умъ и чувство Софьи Николавны, и она предалась вся безраздѣльно, согласно закону своей нравственной природы, чувству дочерней любви. Ходъ, раскрытіе всѣхъ сторонъ домашней жизни опять пріостановились. Софья Николавна проводила дни и ночи въ домѣ отца. Калмыкъ продолжалъ съ большимъ усердіемъ, съ напряженнымъ вниманіемъ и съ изумительною неутомимостью ходить за больнымъ господиномъ. Онъ продолжалъ также избѣгать присутствія его дочери, хотя имѣлъ право и возможность безнаказанно появляться ей на глаза. Софья Николавна была тронута такимъ поведеніемъ. Она сама призвала къ себѣ Калмыка, примирилась съ нимъ и позволила ему ходить вмѣстѣ съ нею за умирающимъ. Николай Ѳедоровичъ, не смотря на видимое безчувствіе и равнодушіе ко всему окружающему, замѣтилъ эту перемѣну, слабо пожалъ руку дочери и тихимъ шопотомъ, который едва можно было разслушать, сказалъ ей: „Благодарю тебя“. Софья Николавна безвыходно оставалась при отцѣ.

Я сказалъ, что сладкія надежды зашевелились въ головѣ Степана Михайловича при полученіи добрыхъ извѣстій о возстановленіи здоровья невѣстки. Онѣ зашевелились не даромъ: въ скоромъ времени Софья Николавна сама увѣдомила свекра, что надѣется на милость Божію—на рожденіе ему внука, во утѣшеніе его старости. Въ первую минуту Степанъ Михайловичъ чрезвычайно обрадовался, но скоро овладѣлъ собою, скрылъ свою радость отъ семьи. Можетъ быть, ему пришло на умъ, что пожалуй и опять родится дочь, опять залюбитъ и залѣчитъ ее, вмѣстѣ съ докторами, до смерти Софья Николавна, и опять пойдетъ хворать; а можетъ быть, что Степанъ Михайловичъ, по примѣру многихъ людей, которые

нарочно пророчатъ себѣ неудачу, надѣясь втайнѣ, что судьба именно сдѣлаетъ вопреки ихъ пророчеству, притворился нисколько необрадованнымъ и холодно сказалъ: „нѣтъ, братъ, не надуешь! тогда повѣрю и порадуюсь, когда дѣло въ очью совершится“. Подивились домашніе такимъ словамъ и ничего на нихъ не отвѣчали. Въ самомъ же дѣлѣ старикъ, не знаю почему, во глубинѣ души своей опять предался увѣренности, что у него родится внукъ, опять приказалъ отцу Василію отслужить молебенъ о здравіи плодоносящей рабы Софіи; опять вытащилъ, сосланную съ глазъ долой, спрятанную родословную и положилъ ее поближе къ себѣ.

Между тѣмъ тихо наступилъ послѣдній часъ для Николая Ѳедоровича. Послѣ многолѣтнихъ, мучительныхъ страданій, прекращеніе жизни столь бѣдной, столь жалкой, какъ-то неестественно задержанной такъ долго въ тѣлѣ, уже совершенно разслабленномъ и недвижимомъ, не могло никого возмущать. Сама Софья Николавна молилась только о томъ, чтобъ мирно, спокойно отлетѣла душа ея отца... и мирно, даже радостно отлетѣла она. Въ минуту кончины лицо умирающаго просвѣтлѣло, и долго сохранилось это просвѣтленіе во всѣхъ его чертахъ, не смотря на сомкнутые глаза уже охладѣвшаго трупа. Похороны были великолѣпны и торжественны. Старика Зубина нѣкогда очень любили; любовь эта забывалась понемногу, состраданіе къ его несчастному положенію ослабѣвало съ каждымъ днемъ; но когда вѣсть о смерти Николая Ѳедоровича облетѣла городъ, всѣ точно вспомнили и вновь почувствовали и любовь къ нему, и жалость къ его страдальческому состоянію. Опустѣли дома, и все народонаселеніе Уфы, въ день похоронъ, составило одну тѣсную улицу отъ Успенія Божіей Матери до кладбища. Миръ твоему праху, добрый человѣкъ, добрый и слабый, какъ человѣкъ!

Послѣ кончины Николая Ѳедоровича, учредили двѣ опеки надъ дѣтьми его отъ двухъ браковъ. Алексѣя Степаныча назначили опекуномъ братьевъ Софьи Николавны, отъ одной съ ней матери, которые, не кончивъ курса ученія въ Московскомъ Благородномъ пансіонѣ, были вытребованы въ Петербургъ для поступленія въ гвардію. Я забылъ сказать, что по ходатайству умиравшаго старика Зубина, незадолго до его смерти, Алексѣя Степаныча опредѣлили прокуроромъ Нижняго Земскаго Суда.

Долго плакала и молилась Софья Николавна; плакалъ и молился съ ней и Алексѣй Степанычъ; но это были тихія слезы и тихая молитва, которыя не разстроивали только-что возстановившагося здоровья Софьи Николавны. Просьбы мужа, совѣты друзей, увѣщанія докторовъ, особенно Авенаріуса, разумно принимались ею, и она стала беречь себя и съ должнымъ вниманіемъ смотрѣть на свое положеніе. Ей убѣдительно доказывали, что здоровье и самая жизнь будущаго ея дитяти зависятъ отъ состоянія ея здоровья и духа въ настоящемъ ея положеніи. Горькій опытъ подтверждалъ убѣжденія друзей и врачей, и молодая женщина съ твердостію покорилась всему, чего отъ нея требовали. Получивъ письмо отъ свекра, въ которомъ онъ простыми словами высказывалъ искреннее сочувствіе къ горести невѣстки и опасеніе, чтобы она опять не разстроила собственнаго своего здоровья, — Софья Николавна отвѣчала старику самымъ успокоительнымъ образомъ; и точно она обратила полное вниманіе на сохраніе спокойствія своего духа и здоровья своего тѣла. Жизнь была расположена правильно и разнообразно. Авенаріусъ и Клоусъ, который началъ очень сближаться съ домомъ Багровыхъ, назначили Софьѣ Николавнѣ ежедневныя прогулки передъ обѣдомъ, не только въ экипажахъ, но и пѣшкомъ; ежедневно или собирались къ Софьѣ Николавнѣ и къ Алексѣю Степанычу нѣсколько человѣкъ безцеремонныхъ и пріятныхъ гостей, или сами Багровы отправлялись въ гости къ кому-нибудь, по большей части къ Чичаговымъ. Братья Катерины Борисовны Чичаговой были очень дружны съ молодыми хозяевами, особенно меньшой, Д. Б. Мертваго; онъ заранѣе напросился къ нимъ въ кумовья. Оба брата часто бывали въ Голубиной Слободкѣ и пріятно проводили время у Багровыхъ: это были люди благородные и образованные, по тогдашнему времени. Чтеніе книгъ было однимъ изъ главныхъ удовольствій у Багровыхъ; но какъ нельзя было безпрестанно читать или слушать чтеніе, то выучили Софью Николавну играть въ карты; преподаваніемъ этой науки преимущественно занимался Клоусъ, и когда только Багровы проводили вечеръ дома, то онъ непремѣнно составлялъ ихъ партію. Авенаріусъ не могъ участвовать въ этомъ занятіи, потому что во всю свою жизнь не умѣлъ различить пятерки отъ туза.

Наступила ранняя и въ то же время роскошная весна;

взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, верстъ на семь въ ширину, рѣка Бѣлая. Весь разливъ виденъ былъ какъ на ладонкѣ изъ оконъ домика Голубиной Слободки; разцвѣлъ плодовитый садъ у Багровыхъ, и запахъ черемухъ и яблонь напоилъ воздухъ благовоніемъ; садъ сдѣлался гостиной хозяевъ, и благодатное тепло еще болѣе укрѣпило силы Софьи Николавны.

Въ это время случилось въ Уфѣ происшествіе, которое сильно заняло умы ея обитателей, и особенно молодыхъ Багровыхъ, потому что герой происшествія былъ имъ очень знакомый человѣкъ и даже, какъ мнѣ помнится, дальній родственникъ Алексѣю Степанычу. Софья Николавна, по живости своей, приняла самое горячее участіе въ этомъ романическомъ событіи. Молодой человѣкъ, одинъ изъ первыхъ и богатыхъ дворянъ Уфимскаго или Оренбургскаго края, Н. И. Тимашевъ, влюбился въ прекрасную татарку Тевкелеву, дочь богатаго татарскаго дворянина. Это семейство, точно такъ же какъ и семейство Алкиныхъ, уже приняло тогда нѣкоторую внѣшнюю образованность въ образѣ жизни и говорило хорошо по-русски, но строго соблюдало во всей чистотѣ мусульманскую вѣру. Прекрасная татарка Сальмé въ свою очередь влюбилась въ красиваго русскаго офицера, служившаго капитаномъ въ полку, который стоялъ въ окрестностяхъ Уфы. Ожидать добровольнаго согласія родителей и взрослыхъ братьевъ на законный бракъ—не было никакой надежды, потому что невѣстѣ надобно было сдѣлаться христіанкой. Долго боролась Сальмé съ своею любовью, которая жарче горитъ въ сердцахъ азіатскихъ женщинъ. Наконецъ, какъ это всегда бываетъ, Магометъ былъ побѣжденъ, и Сальмѣ рѣшилась бѣжать съ своимъ возлюбленнымъ капитаномъ, окреститься и потомъ обвѣнчаться. Командиръ полка, въ которомъ служилъ Тимашевъ, добрѣйшій и любезнѣйшій изъ людей, любимый всѣми безъ исключенія, генералъ-майоръ Мансуровъ, прославившійся потомъ съ Суворовымъ на Альпійскихъ горахъ, при переправѣ черезъ „Чортовъ мостъ“, самъ недавно женившійся по любви, зналъ приключенія своего капитана, сочувствовалъ имъ и принялъ влюбленныхъ подъ свое покровительство. Въ одну сумрачную и дождливую ночь Сальмé ушла изъ родительскаго дома; въ ближней рощѣ дожидался ее Тимашевъ съ верховыми лошадьми; надобно было проскакать около ста верстъ до Уфы. Сальмé

была искусная наѣздница; черезъ каждыя десять или пятнадцать верстъ стояли, заранѣе приготовленные, перемѣнные кони, охраняемые солдатами, очень любившимй своего добраго капитана, и бѣглецы полетѣли „на крыльяхъ любви“, какъ непремѣнно сказалъ бы поэтъ того времени. Между тѣмъ въ домѣ Тевкелевыхъ, гдѣ давно подозрѣвали Сальмѣ въ склонности къ Тимашеву и строго за ней присматривали, отсутствіе ея было скоро замѣчено. Въ одну минуту собралась толпа вооруженныхъ Татаръ и, пылая гнѣвомъ, подъ предводительствомъ раздраженнаго отца [1]) и братьевъ, понеслась въ погоню съ воплями и угрозами мести; дорогу угадали, и, конечно, не уйти бы нашимъ бѣглецамъ, или по крайней мѣрѣ не обошлось бы безъ кровавой схватки,—потому что солдатъ и офицеровъ, принимавшихъ горячее участіе въ дѣлѣ, по дорогѣ было разставлено много,—еслибъ позади бѣгущихъ не догадались разломать мостъ черезъ глубокую лѣсную, неприступную, рѣку, затруднительная переправа черезъ которую вплавь задержала преслѣдователей часа на два, но со всѣмъ тѣмъ, косная лодка, на которой переправлялся молодой Тимашевъ съ своею Сальмѣ черезъ рѣку Бѣлую, подъ самою Уфою,—не достигла еще средины рѣки, какъ прискакалъ къ берегу старикъ Тевкелевъ съ сыновьями и съ одною половиною вѣрной своей дружины, потому что другая половина передушила на дорогѣ лошадей. На берегу, какъ будто случайно, явилась цѣлая рота солдатъ, приготовлявшаяся къ перевозу и занявшая всѣ паромы и завозни. Несчастный отецъ заскрежеталъ зубами, проклялъ дочь и воротился домой. Полумертвую отъ страха и усталости, Сальмѣ посадили въ карету и привезли въ домъ къ матери Тимашева. Дѣло приняло характеръ законный и оффиціальный: явилась магометанка, добровольно желающая принять христіанскую вѣру; начальство города взяло ее подъ свою защиту, увѣдомило муфтія, жившаго въ Уфѣ и всѣми называемаго „татарскимъ архіереемъ“, обо всемъ происшедшемъ и требовало отъ него, чтобъ онъ воспретилъ семейству Тевкелевыхъ и вообще всѣмъ магометанамъ прибѣгать къ какимъ-нибудь насильственнымъ и враждебнымъ покушеніямъ для освобожденія дѣвицы Сальмѣ, *добровольно* принима-

---

[1]) Другой варіантъ этого преданія говоритъ, что мать съ сыновьями преслѣдовала убѣжавшую дочь.

ющей христіанскую вѣру. Въ нѣсколько дней духовенство приготовило новообращенную къ принятію таинства крещенія и мvропомазанія. Обрядъ былъ совершенъ великолѣпно и торжественно въ городскомъ соборѣ; Сальмѣ назвали Серафимой, по имени крестнаго отца Ивановной, и вслѣдъ затѣмъ, не выходя изъ церкви, обвѣнчали молодыхъ влюбленныхъ. Весь городъ принималъ участіе въ этомъ событіи. Разумѣется, вся молодежь и всѣ мужчины были за прекрасную Сальмѣ; но за то женщины строго осуждали ее, можетъ быть иныя и не безкорыстно. Весьма немного нашлось такихъ, которыя искренно и дружелюбно протянули руку юной христіанкѣ, вступившей, по положенію своего мужа, въ высшій кругъ уфимскаго общества. Софья Николавна съ Алексѣемъ Степанычемъ были въ числѣ людей самыхъ близкихъ и горячо сочувствующихъ молодымъ новобрачнымъ. При дѣятельномъ пособіи, также молодой и любезной, генеральши А. Н. Мансуровой (урожденной Булгаковой), друзья Тимашевыхъ скоро помогли имъ стать твердою ногою на новомъ для нихъ пути общественной городской жизни. Приняли дѣятельныя мѣры къ приличному образованію молодой капитанши, и при помощи природныхъ ея способностей и живости ума, въ непродолжительное время, она сдѣлалась свѣтскою, интересною дамою, возбуждавшею невольное участіе и невольную зависть, чему, конечно, много содѣйствовала ея красота и необыкновенность положенія. Софья Николавна навсегда осталась искреннею пріятельницею Серафимы Ивановны Тимашевой, которая къ общему сожалѣнію жила недолго: черезъ три года она умерла чахоткой, оставя двухъ сыновей и сокрушеннаго горестью мужа. Тимашевъ едва не сошелъ съ ума, бросилъ службу, посвятилъ себя дѣтямъ и навсегда остался вдовцомъ. Носились слухи, за вѣрность которыхъ никакъ нельзя ручаться, что причиною болѣзни и смерти молодой женщины была тайная тоска о покинутомъ семействѣ и раскаяніе въ измѣнѣ своей природной вѣрѣ.

Между тѣмъ время быстро шло, не останавливаясь никакими событіями. Наступила пора, когда Софьѣ Николавнѣ не позволяли уже выѣзжать въ гости, не позволяли даже прогуливаться въ экипажѣ за городомъ. Въ хорошую погоду она прохаживалась по саду, раза два въ день по получасу; въ дурное время то же дѣлала въ комнатахъ, растворивъ всѣ двери своего небольшого домика. Вѣроятно все это за-

творничество, точность и принужденіе были нетолько безполезны, но скорѣе вредны, хотя очевидность противорѣчила моему мнѣнію: Софья Николавна была совершенно здорова. Алексѣй Степанычъ находился въ необходимости соглашаться на такую строгую докторскую опеку, потому что получалъ частыя приказанія отъ своего отца беречь жену паче зеницы своего ока; притомъ друзья ея, Чичаговы и Мертваго, а всего болѣе доктора, любившіе ее искренно и даже съ увлеченіемъ, такъ наблюдали за Софьей Николавной, что она не могла шагу ступить, не могла ничего ни спить, ни съѣсть безъ ихъ позволенія. По какимъ-то служебнымъ дѣламъ Авенаріусъ долженъ былъ отлучиться, и Клоусъ, который также служилъ въ Уфѣ городовымъ акушеромъ, получилъ подъ непосредственное свое наблюденіе здоровье Софьи Николавны. Клоусъ былъ предобрѣйшій, умный, образованный и въ то же время по наружности пресмѣшной нѣмецъ. Будучи еще не старымъ человѣкомъ, онъ носилъ совершенно желтый парикъ. Всѣ дивились, откуда онъ доставалъ такого цвѣта человѣческіе волосы, какихъ ни у кого на головѣ не бываетъ; брови и бѣлки маленькихъ карихъ глазъ были тоже желтоваты, небольшое же круглое лицо красно, какъ уголь [1]). Въ дружескомъ своемъ обращеніи онъ былъ большой оригиналъ; очень любилъ цѣловать ручки у знакомыхъ дамъ, но никогда не позволялъ цѣловать себя въ щеку, доказывая, что со стороны мужчинъ это большая неучтивость. Онъ также очень любилъ маленькихъ дѣтей; выраженіе этой любви состояло въ томъ, что онъ сажалъ къ себѣ на колѣни любимое дитя, клалъ его ручку на ладонь своей лѣвой руки, а правою гладилъ ручку ребенка цѣлые часы. Самымъ сильнымъ выраженіемъ его дружескаго расположенія было слово *варваръ* или *варварка,* и потому Софья Николавна, которой онъ былъ преданъ душевно, безпрестанно называлась варваркой. Сдѣлавшись короткимъ другомъ въ домѣ Багровыхъ, Клоусъ зналъ всѣ подробности о Степанѣ Михайловичѣ, зналъ его горячее желаніе имѣть внука, зналъ его нетерпѣливое ожиданіе. Клоусъ хорошо писалъ по-русски, и четкимъ

[1]) Андрей Михайловичъ Клоусъ, въ томъ же 1791 году, переѣхалъ въ Москву и поступилъ въ Воспитательный Домъ преподавателемъ повивальнаго искусства. Онъ добросовѣстно исправлялъ эту должность тридцать лѣтъ и скончался въ 1821 году. Желтый парикъ остался неизмѣнною его принадлежностью. Онъ былъ страстный и многимъ извѣстный нумизматъ.

почеркомъ написалъ для старика свое предположеніе, за вѣрность котораго ручался, что у Софьи Николавны между 15 и 22 сентября родится сынъ. Предсказаніе послали къ Степану Михайловичу, который хотя и сказалъ: „вретъ нѣмецъ!“ но втайнѣ ему повѣрилъ; радостное и тревожное ожиданіе выражалось на его лицѣ и слышалось во всѣхъ его рѣчахъ. Въ это время, извѣстная намъ Афросинья Андревна, отъ которой онъ менѣе скрывалъ свое безпокойство, состоявшее существенно въ томъ, что невѣстка опять родитъ дочь, разсказала какъ-то ему, что, проѣзжая черезъ Москву, ѣздила она молиться Богу къ Троицѣ, къ великому угоднику Сергію, и слышала тамъ, что какая-то одна знатная госпожа, у которой все родились дочери, дала обѣщаніе назвать перваго своего ребенка, если онъ будетъ мальчикъ, Сергіемъ, и что точно, черезъ годъ, у нея родился сынъ Сергій. Степанъ Михайловичъ промолчалъ; но на первой же почтѣ собственноручно написалъ къ своему сыну и невѣсткѣ, чтобъ они отслужили молебенъ Сергію, Радонежскому чудотворцу, и дали обѣтъ, если родится у нихъ сынъ, назвать его Сергіемъ; въ объясненіе же таковой своей воли прибавилъ: „потому что въ домѣ Багровыхъ Сергѣя еще не было“. Приказаніе исполнили въ точности. Софья Николавна неусыпно занималась приготовленіемъ всего, что только можетъ придумать заботливая мать для будущаго своего дитяти; но всего важнѣе было то, что нашлась для него чудесная кормилица въ одной изъ деревушекъ покойнаго ея отца, въ Касимовкѣ. Крестьянка Марѳа Васильевна соединяла въ себѣ всѣ качества для этой должности, какихъ только можно было желать; сверхъ того, она охотою шла въ кормилицы и заранѣе переѣхала въ Уфу съ груднымъ своимъ ребенкомъ.

Дѣло приближалось къ развязкѣ. Уже и ходить Софьѣ Николавнѣ запрещали. Катерина Борисовна Чичагова сдѣлалась нездорова и не выѣзжала изъ дома, а другихъ никого уже Багровы не принимали. Катерина Алексѣвна Чепрунова гостила почти безвыходно у своей родственницы и только отлучалась для свиданія съ своимъ ненаглядным Андрюшей. Клоусъ являлся каждый разъ поутру, позавтракать, и каждый день въ шесть часовъ вечера пріѣзжалъ пить чай съ ромомъ и играть въ карты съ хозяевами, а какъ игра была почти безденежная, то разсчетливый нѣмецъ доставалъ гдѣ-то игранныя карты и привозилъ съ собою. Иногда карты

смѣнялись чтеніемъ, при которомъ присутствовалъ и Клоусъ. Читалъ всегда Алексѣй Степанычъ, получившій въ этомъ дѣлѣ навыкъ и нѣкоторое умѣнье. Иногда случалось, что нѣмецъ привозилъ нѣмецкую книгу и переводилъ ее словесно; слушали съ удовольствіемъ, особенно Софья Николавна, потому что она желала имѣть хотя нѣкоторое понятіе о нѣмецкой литературѣ.

Испытавъ всю безграничность, все увлеченіе, все могущество материнской любви, съ которою, конечно, никакое другое чувство равняться не можетъ, Софья Николавна сама смотрѣла на свое настоящее положеніе съ уваженіемъ: она приняла за святой долгъ, сохраненіемъ душевнаго спокойствія, сохранить здоровье носимаго ею младенца и упрочить тѣмъ его существованіе,—существованіе, въ которомъ заключились всѣ ея надежды, вся будущность, вся жизнь. Мы уже довольно знаемъ Софью Николавну, знаемъ, какъ она способна увлекаться, и потому не будемъ удивлены, узнавъ, что она вся предалась чувству матери, любви еще къ неродившемуся ребенку. Всѣ дни и часы дней и ночей были посвящены сбереженью себя во всѣхъ отношеніяхъ. Такъ устремился ея умъ, ея страстное вниманіе на одинъ этотъ предметъ, что она ничего другого не замѣчала и была, повидимому, совершенно довольна Алексѣемъ Степанычемъ, хотя вѣроятно встрѣчались случаи быть недовольной. Алексѣй Степанычъ, чѣмъ болѣе узнавалъ жену свою, тѣмъ съ большимъ изумленіемъ смотрѣлъ на нее. Онъ былъ человѣкъ всего менѣе способный цѣнить восторгъ и сочувствовать восторгу, отъ чего бы онъ ни происходилъ. Восторженность любви въ Софьѣ Николавнѣ его пугала; онъ боялся ея, какъ привыкъ бояться припадковъ бѣшенаго гнѣва въ своемъ отцѣ. Восторженность на людей тихихъ, кроткихъ и спокойныхъ всегда производитъ непріятное впечатлѣніе; они не могутъ признать естественнымъ такое состояніе духа; они считаютъ восторженныхъ людей больными на то время, людьми, на которыхъ *находитъ* иногда... Они не вѣрятъ въ прочность ихъ душевнаго спокойствія, потому что оно сейчасъ можетъ нарушиться, и чувствуютъ страхъ къ такимъ людямъ... Страхъ самое опасное чувство для любви, даже къ отцу и къ матери... Говоря вообще, внутренняя, домашняя жизнь и супружескія семейныя отношенія между молодыми Багровыми не только не подвинулись впередъ, какъ должно было

ожидать, а напротивъ, какъ будто отступили назадъ. Это странно, но такъ бываетъ иногда въ жизни.

Въ самое это время Клоусъ былъ переведенъ на службу въ Москву. Онъ уже распрощался съ своимъ начальствомъ и со всѣмъ городомъ и дожидался только благополучнаго разрѣшенія Софьи Николавны, надѣясь быть полезнымъ ей въ случаѣ надобности. Предполагая, что послѣ пятнадцатаго сентября, на другой или на третій день, онъ можетъ уѣхать, Клоусъ нанялъ себѣ лошадей именно къ этому числу. Наемныя лошади были ему нужны для того, что онъ хотѣлъ заѣхать куда-то въ сторону отъ большой дороги, къ какому-то нѣмцу-помѣщику. Пятнадцатое сентября прошло безъ ожидаемаго событія; Софья Николавна чувствовала себя лучше и бодрѣе, чѣмъ прежде, и только нелѣпыя докторскія приказанія заставляли ее сидѣть и большею частью лежать на канапе. Прошло шестнадцатое, семнадцатое и восемьнадцатое сентября, и какъ ни любилъ нѣмецъ Софью Николавну, но начиналъ очень сердиться, потому что принужденъ былъ платить нанятому извощику съ лошадьми ежедневно по рублю мѣди, что казалось тогда неслыханною дороговизною и большимъ расходомъ. Хозяева дружески подшучивали надъ нимъ и каждый вечеръ продолжали читать, слушать или играть въ карты; если другъ-нѣмецъ выигрывалъ у нихъ гривенъ шесть мѣдью, то бывалъ очень доволенъ, говоря, что сегодня не дорого заплатитъ извощику. Такъ прошло и девятнадцатое сентября. Двадцатаго пріѣхалъ поутру Клоусъ, и Софья Николавна встрѣтила его въ дверяхъ своей спальни, привѣтствуя книксенами... Нѣмецъ разсердился; „да что-жъ это ты, варварка, дѣлаешь со мной?“ говорилъ онъ, цѣлуя по обычаю протянутую ручку хозяйки, *по польску*, какъ онъ выражался. „Помилуй, Алексѣй Степанычъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ мужу, жена твоя меня раззоритъ. Ей слѣдовало родить пятнадцатаго, а двадцатаго она книксены дѣлаетъ“. — „Ничего, Андрей Михайлычъ, отвѣчалъ, трепля его по плечу, Алексѣй Степанычъ; ты насъ сегодня въ карты обыграешь, только карты ужъ стали плохи“. Клоусъ обѣщалъ привезти новыя карты, позавтракалъ и, просидѣвъ до двухъ часовъ, уѣхалъ. Ровно въ шесть часовъ вечера пріѣхалъ добродушный нѣмецъ въ Голубиную Слободку, къ знакомому домику; не встрѣтивъ никого въ передней, въ залѣ и гостиной, онъ хотѣлъ войти въ спальню, но дверь была

заперта; онъ постучался, дверь отперла Катерина Алексѣвна; Андрей Михайловичъ вошелъ—и остановился отъ изумленія: полъ былъ устланъ коврами; окна завѣшены зелеными шелковыми гардинами; надъ двуспальною кроватью висѣлъ парадный штофный занавѣсъ, въ углу горѣла свѣчка, заставленная книгою; Софья Николаѣвна лежала въ постели, на подушкахъ, въ парадныхъ же наволочкахъ, одѣтая въ щегольской, утренній широкій капотъ; лицо ея было свѣжо, глаза блистали удовольствіемъ. „Поздравьте меня, другъ нашъ, сказала она крѣпкимъ и звучнымъ голосомъ: я мать, у меня родился сынъ!“ Нѣмецъ, взглянувъ въ лицо Софьи Николавны, услыша ея здоровый голосъ, счелъ всю обстановку за шутку, за комедію. „Полно, варварка, проказничать со мной; я старый воробей, меня не обманешь, сказалъ онъ, смѣясь, вставай-ка, я новыя карточки привезъ“, и, подойдя къ постели и подсунувъ карты подъ подушку, онъ прибавилъ: „вотъ на зубокъ новорожденному!“—„Другъ мой, Андрей Михайловичъ, говорила Софья Николавна, ей Богу я родила: вотъ мой сынъ“... На большой пуховой подушкѣ, тоже въ щегольской наволочкѣ, подъ кисейнымъ, на розовомъ атласѣ, одѣяльцемъ, въ самомъ дѣлѣ лежалъ новорожденный, крѣпкій мальчикъ; возлѣ кровати стояла бабушка-повитушка, Алена Максимовна... Клоусъ вышелъ изъ себя, взбѣсился, отскочилъ отъ постели, какъ будто обжегся, и закричалъ: „какъ? безъ меня! я живу здѣсь недѣлю и плачу всякій день деньги, и меня не позвали!“... Красное его лицо побагровѣло, парикъ сдвинулся на сторону, вся его толстая фигура такъ была смѣшна, что родильница принялась хохотать. „Батюшка, Андрей Михайловичъ, говорила бабушка-повитушка, Богъ далъ, не успѣли и опомниться; а какъ только убрались, то хотѣли было послать, да Софья Николавна изволила сказать, что ваше здоровье сейчасъ пріѣдете“.—Опомнился искренній другъ Софьи Николавны и ея мужа. Прошла его досада; радостныя слезы выступили на глазахъ; схватилъ онъ новорожденнаго младенца своими опытными руками, началъ его осматривать у свѣчки, вертѣть и щупать, отъ чего ребенокъ громко закричалъ; сунулъ онъ ему палецъ въ ротъ, и когда новорожденный крѣпко сжалъ его и засосалъ, нѣмецъ родостно вскрикнулъ: „а варваръ! какой славный и здоровенный!“ Софья Николавна перепугалась, что такъ небрежно поступаютъ съ ея безцѣннымъ

сокровищемъ, а повивальная бабка испугалась, чтобъ новорожденнаго не сглазилъ нѣмецъ; она хотѣла было его отнять, но Клоусъ буянилъ: онъ бѣгалъ съ ребенкомъ по комнатѣ, потребовалъ корыто, губку, мыло, пеленокъ, теплой воды, засучилъ рукава, подпоясался передникомъ, сбросилъ парикъ и принялся мыть новорожденнаго, приговаривая: „а, варваренокъ, теперь не кричишь; тебѣ хорошо въ тепленькой-то водицѣ!“... Наконецъ прибѣжалъ, не помнившій себя отъ восхищенія, Алексѣй Степанычъ: онъ отправлялъ нарочнаго съ радостнымъ извѣстіемъ къ Степану Михайловичу, написалъ письмо къ старикамъ и къ сестрѣ Аксиньѣ Степановнѣ, прося ее пріѣхать какъ можно скорѣе крестить его сына. Алексѣй Степанычъ чуть не задушилъ въ своихъ объятіяхъ еще мокраго нѣмца; домашнихъ же своихъ онъ давно уже всѣхъ перецѣловалъ и со всѣми поплакалъ. Софья Николавна... но я не смѣю и подумать выразить словами ея чувства. Это было упоеніе, блаженство, которое не всѣмъ дается на землѣ и не надолго.

Рожденіе сына произвело необыкновенное веселье въ домѣ; даже сосѣди отчего-то повеселѣли. Вся прислуга Багровыхъ, опьянѣвъ сначала отъ радости, а потомъ отъ вина, пѣла и плясала на дворѣ: напились даже тѣ, которые никогда ничего не пивали; въ числѣ послѣднихъ былъ Ефремъ Евсеевъ, съ которымъ не могли сладить, потому что онъ все просился въ комнату къ барынѣ, чтобъ посмотрѣть на сынка; наконецъ жена, съ помощью Параши, плотно привязала Евсеича къ огромной скамейкѣ; но онъ и связанный продолжалъ подергивать ногами, щелкать пальцами и припѣвать, едва шевеля языкомъ: „ай люли, ай люли!“...

Андрей Михайловичъ Клоусъ, уставъ отъ трудовъ и радостнаго волненія, сѣлъ наконецъ въ кресла и съ великимъ наслажденіемъ напился чаю; а какъ въ этотъ вечеръ онъ какъ-то усерднѣе подливалъ рому, то и почувствовалъ послѣ третьей чашки, что у него зашумѣло въ головѣ. Приказавъ, чтобы новорожденному до утра не давали груди кормилицы, а поили однимъ ревеннымъ сиропомъ, онъ простился съ своими счастливыми хозяевами, поцѣловалъ ручонку новорожденнаго и поѣхалъ спать, съ тѣмъ, чтобы пораньше навѣстить родильницу. Проходя черезъ дворъ, онъ увидѣлъ пляску и услышалъ пѣсни, которыя неслись изъ всѣхъ оконъ кухни и людскихъ. Онъ остановился, и хоть жаль было ему

заперта; онъ постучался, дверь отперла Катерина Алексѣвна; Андрей Михайловичъ вошелъ—и остановился отъ изумленія: полъ былъ устланъ коврами; окна завѣшены зелеными шелковыми гардинами; надъ двуспальною кроватью висѣлъ парадный штофный занавѣсъ, въ углу горѣла свѣчка, заставленная книгою; Софья Николавна лежала въ постели, на подушкахъ, въ парадныхъ же наволочкахъ, одѣтая въ щегольской, утренній широкій капотъ; лицо ея было свѣжо, глаза блистали удовольствіемъ. „Поздравьте меня, другъ нашъ, сказала она крѣпкимъ и звучнымъ голосомъ: я мать, у меня родился сынъ!“ Нѣмецъ, взглянувъ въ лицо Софьи Николавны, услыша ея здоровый голосъ, счелъ всю обстановку за шутку, за комедію. „Полно, варварка, проказничать со мной; я старый воробей, меня не обманешь, сказалъ онъ, смѣясь, вставай-ка, я новыя карточки привезъ“, и, подойдя къ постели и подсунувъ карты подъ подушку, онъ прибавилъ: „вотъ на зубокъ новорожденному!“—„Другъ мой, Андрей Михайловичъ, говорила Софья Николавна, ей Богу я родила: вотъ мой сынъ“... На большой пуховой подушкѣ, тоже въ щегольской наволочкѣ, подъ кисейнымъ, на розовомъ атласѣ, одѣяльцемъ, въ самомъ дѣлѣ лежалъ новорожденный, крѣпкій мальчикъ; возлѣ кровати стояла бабушка-повитушка, Алена Максимовна... Клоусъ вышелъ изъ себя, взбѣсился, отскочилъ отъ постели, какъ будто обжегся, и закричалъ: „какъ? безъ меня! я живу здѣсь недѣлю и плачу всякій день деньги, и меня не позвали!“... Красное его лицо побагровѣло, парикъ сдвинулся на сторону, вся его толстая фигура такъ была смѣшна, что родильница принялась хохотать. „Батюшка, Андрей Михайловичъ, говорила бабушка-повитушка, Богъ далъ, не успѣли и опомниться; а какъ только убрались, то хотѣли было послать, да Софья Николавна изволила сказать, что ваше здоровье сейчасъ пріѣдете“.—Опомнился искренній другъ Софьи Николавны и ея мужа. Прошла его досада; радостныя слезы выступили на глазахъ; схватилъ онъ новорожденнаго младенца своими опытными руками, началъ его осматривать у свѣчки, вертѣть и щупать, отъ чего ребенокъ громко закричалъ; сунулъ онъ ему палецъ въ ротъ, и когда новорожденный крѣпко сжалъ его и засосалъ, нѣмецъ радостно вскрикнулъ: „а варваръ! какой славный и здоровенный!“ Софья Николавна перепугалась, что такъ небрежно поступаютъ съ ея безцѣннымъ

сокровищемъ, а повивальная бабка испугалась, чтобъ новорожденнаго не сглазилъ нѣмецъ; она хотѣла было его отнять, но Клоусъ буянилъ: онъ бѣгалъ съ ребенкомъ по комнатѣ, потребовалъ корыто, губку, мыло, пеленокъ, теплой воды, засучилъ рукава, подпоясался передникомъ, сбросилъ парикъ и принялся мыть новорожденнаго, приговаривая: „а, варваренокъ, теперь не кричишь; тебѣ хорошо въ тепленькой-то водицѣ!“... Наконецъ прибѣжалъ, не помнившій себя отъ восхищенія, Алексѣй Степанычъ: онъ отправлялъ нарочнаго съ радостнымъ извѣстіемъ къ Степану Михайловичу, написалъ письмо къ старикамъ и къ сестрѣ Аксиньѣ Степановнѣ, прося ее пріѣхать какъ можно скорѣе крестить его сына. Алексѣй Степанычъ чуть не задушилъ въ своихъ объятіяхъ еще мокраго нѣмца; домашнихъ же своихъ онъ давно уже всѣхъ перецѣловалъ и со всѣми поплакалъ. Софья Николавна... но я не смѣю и подумать выразить словами ея чувства. Это было упоеніе, блаженство, которое не всѣмъ дается на землѣ и не надолго.

Рожденіе сына произвело необыкновенное веселье въ домѣ; даже сосѣди отчего-то повеселѣли. Вся прислуга Багровыхъ, опьянѣвъ сначала отъ радости, а потомъ отъ вина, пѣла и плясала на дворѣ: напились даже тѣ, которые никогда ничего не пивали; въ числѣ послѣднихъ былъ Ефремъ Евсеевъ, съ которымъ не могли сладить, потому что онъ все просился въ комнату къ барынѣ, чтобъ посмотрѣть на сынка; наконецъ жена, съ помощью Параши, плотно привязала Евсеича къ огромной скамейкѣ; но онъ и связанный продолжалъ подергивать ногами, щелкать пальцами и припѣвать, едва шевеля языкомъ: „ай люли, ай люли!“...

Андрей Михайловичъ Клоусъ, уставъ отъ трудовъ и радостнаго волненія, сѣлъ наконецъ въ кресла и съ великимъ наслажденіемъ напился чаю; а какъ въ этотъ вечеръ онъ какъ-то усерднѣе подливалъ рому, то и почувствовалъ послѣ третьей чашки, что у него зашумѣло въ головѣ. Приказавъ, чтобы новорожденному до утра не давали груди кормилицы, а поили однимъ ревеннымъ сиропомъ, онъ простился съ своими счастливыми хозяевами, поцѣловалъ ручонку новорожденнаго и поѣхалъ спать, съ тѣмъ, чтобы поранѣе навѣстить родильницу. Проходя черезъ дворъ, онъ увидѣлъ пляску и услышалъ пѣсни, которыя неслись изъ всѣхъ оконъ кухни и людскихъ. Онъ остановился, и хоть жаль было ему

помѣшать веселью добрыхъ людей, но принялся онъ всѣхъ уговаривать, чтобъ перестали они пѣть и плясать, потому что барынѣ ихъ нуженъ покой. Къ удивленію его, всѣ послушались и при немъ же полегли спать. Выходя изъ воротъ, нѣмецъ бормоталъ про-себя: „какой счастливый мальчишка! какъ всѣ ему рады!“

И въ самомъ дѣлѣ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ родился этотъ младенецъ! Мать, страдавшая безпрестанно въ первую беременность,—нося его, была совершенно здорова; никакія домашнія неудовольствія не возмущали въ это время жизни его родителей; кормилица нашлась такая, какихъ матерей бываетъ немного, что, разумѣется, оказалось впослѣдствіи; желанный, прошеный и моленый, онъ не только отца и мать, но и всѣхъ обрадовалъ своимъ появленіемъ на бѣлый свѣтъ: даже осенній день былъ теперь, какъ лѣтній!...

Но что же происходило въ Багровѣ, когда пришла радостная вѣсть, что Богъ даровалъ Алексѣю Степанычу сына и наслѣдника? Въ Багровѣ происходило слѣдующее: съ пятнадцатаго сентября, Степанъ Михайловичъ считалъ дни и часы, и ждалъ каждую минуту нарочнаго изъ Уфы, которому велѣно было скакать день и ночь *на перемѣнныхъ;* это дѣло было тогда вновѣ, и Степанъ Михайловичъ его не одобрялъ, какъ пустую трату денегъ и ненужную тревогу для обывателей; онъ предпочиталъ ѣзду на своихъ; но важность и торжественность событія заставила его отступить отъ обычнаго порядка. Судьба не наказала его слишкомъ долгимъ ожиданіемъ: двадцать-второго сентября, когда онъ почивалъ послѣ обѣда, пріѣхалъ нарочный съ письмами и доброю вѣстью. Просыпаясь отъ крѣпкаго сна, едва старикъ потянулся и крякнулъ, какъ ворвался Мазанъ и, запинаясь отъ радости, пробормоталъ: „поздравляю, батюшка Степанъ Михайловичъ, съ внучкомъ!“ — Первымъ движеніемъ Степана Михайловича было перекреститься. Потомъ онъ проворно вскочилъ съ постели, босикомъ подошелъ къ шкапу, торопливо вытащилъ извѣстную намъ родословную, взялъ изъ чернильницы перо, провелъ черту отъ кружка съ именемъ „Алексѣй“, сдѣлалъ кружокъ на концѣ своей черты и въ серединѣ его написалъ: „Сергѣй“.

Прощайте, мои свѣтлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или лучше сказать, образы, въ которыхъ есть и свѣтлыя и темныя стороны, люди, въ которыхъ есть и доброе и худое! Вы не великіе герои, не громкія личности; въ тишинѣ и безвѣстности прошли вы свое земное поприще, и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внѣшняя и внутренняя жизнь исполнена поэзіи, такъ же любопытна и поучительна для насъ, какъ мы и наша жизнь, въ свою очередь, будемъ любопытны и поучительны для потомковъ. Вы были такія же дѣйствующія лица великаго всемірнаго зрѣлища, съ незапамятныхъ временъ представляемаго человѣчествомъ, такъ же добросовѣстно разыгрывали свои роли, какъ и всѣ люди, и такъ же стоите воспоминанія. Могучею силою письма и печати познакомлено теперь съ вами ваше потомство. Оно встрѣтило васъ съ сочувствіемъ и признало въ васъ братьевъ, когда и какъ бы вы ни жили, въ какомъ бы платьѣ ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никакимъ пристрастнымъ судомъ, никакимъ легкомысленнымъ словомъ!

КОНЕЦЪ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ.

II.

ВОСПОМИНАНІЯ.

ГИМНАЗІЯ.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

Въ серединѣ зимы 1799 года пріѣхали мы въ губернскій городъ Казань. Мнѣ было восемь лѣтъ. Морозы стояли трескучіе, и хотя заранѣе были наняты для насъ двѣ комнаты въ маленькомъ домѣ капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочемъ, находилась на хорошей улицѣ, называющейся „Грузинскою“. Мы пріѣхали подъ вечеръ въ простой рогожной повозкѣ, на тройкѣ своихъ лошадей (поваръ и горничная пріѣхали прежде насъ); переѣздъ съ кормежки сдѣлали большой, долго ѣздили по городу, разспрашивая о квартирѣ, долго стояли по безтолковости деревенскихъ лакеевъ— и я помню, что озябъ ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрѣлъ меня и что я легъ спать, дрожа какъ въ лихорадкѣ; еще болѣе помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не отъ холода, а отъ страха, чтобъ не простудилось ея любимое дитя, ея Сереженька. Прижавшись къ материнскому сердцу и прикрытый сверхъ одѣяла лисьимъ, атласнымъ, еще приданымъ салопомъ, я согрѣлся, уснулъ и проснулся на другой день здоровымъ, къ неописанной радости моей встревоженной матери. Сестра моя и братъ, оба меня моложе, остались въ Симбирской губерніи, въ богатомъ селѣ Чуфаровѣ, у двоюродной тетки моего отца,

отъ которой въ будущемъ ожидали мы наслѣдства; но въ настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копѣйкой и заставляла его съ семействомъ терпѣть нерѣдко нужду: даже взаймы не давала ни одного рубля. Не знаю, какія обстоятельства принудили моихъ родителей, при ихъ стѣсненномъ положеніи въ деньгахъ, пріѣхать въ губернскій городъ Казань, но знаю, что это было сдѣлано не для меня, хотя вся моя будущность опредѣлилась этой поѣздкой. Проснувшись на другой день, я былъ пораженъ движеніемъ на улицѣ; до сихъ поръ я ничего подобнаго не видывалъ. Впечатлѣніе было такъ сильно, что я не могъ оторваться отъ окошка. Не удовлетворяясь отвѣтами на мои разспросы пріѣхавшей съ нами женщины Параши, которая сама ничего не знала, я добился какой-то хозяйской дѣвушки и мучилъ ее нѣсколько часовъ сряду, задавая иногда такіе вопросы, на которые она отвѣчать не умѣла. Отецъ и мать ѣздили въ соборъ, помолиться, и еще куда-то, по своимъ дѣламъ, но меня съ собою не брали, боясь жестокихъ крещенскихъ морозовъ. Обѣдали они дома, но вечеромъ опять уѣхали; утомленный новыми впечатлѣніями, я заснулъ ранѣе обыкновеннаго, болтая и слушая болтовню Параши; но только-что разоспался, какъ ласковая рука той же Параши бережно меня разбудила. Мнѣ сказали, что за мною прислали возокъ, что мнѣ надобно встать и ѣхать въ гости, гдѣ ожидали меня отецъ и мать. Меня одѣли въ праздничное платье, умыли и причесали, закутали и посадили въ возокъ вмѣстѣ съ тою же Парашей. Вырванный изъ крѣпкаго ребячьяго сна, испуганный такимъ происшествіемъ, какого со мной никогда не бывало, застѣнчивый отъ природы, съ замирающимъ сердцемъ, съ предчувствіемъ чего-то страшнаго, ѣхалъ я по опустѣвшимъ городскимъ улицамъ. Наконецъ мы пріѣхали. Параша раздѣла меня въ лакейской, повторила мнѣ на ухо слова, нѣсколько разъ сказанныя дорогой, чтобъ я не робѣлъ, довела за руку до гостиной, лакей отворилъ дверь, и я вошелъ. Блескъ свѣчей и громкія рѣчи такъ меня смутили, что я остановился какъ вкопаный у двери. Первый увидѣлъ меня отецъ и сказалъ: „а, вотъ и рекрутъ“. Я смѣшался еще болѣе. „Лобъ!“ произнесъ чей-то громовой голосъ, и мужчина огромнаго роста поднялся съ креселъ и пошелъ ко мнѣ. Я такъ перепугался, ибо понималъ страшный смыслъ этого слова, что безъ памяти бросился бѣжать. Громкій хохотъ всѣхъ присутству-

ющихъ остановилъ меня, но матери моей не понравилась эта шутка: материнское сердце возмутилось испугомъ своего дитяти; она бросилась ко мнѣ, обняла меня, ободрила словами и ласками, и, поплакавъ, я скоро успокоился. Теперь надобно разсказать, куда привезли меня: это былъ домъ старинныхъ друзей моего отца и матери, Максима Дмитріевича и Елизаветы Алексѣевны Княжевичей, которые прежде нѣсколько лѣтъ жили въ Уфѣ, гдѣ Максимъ Дмитріевичъ служилъ губернскимъ прокуроромъ (вмѣстѣ съ моимъ отцомъ) и откуда онъ переѣхалъ, также прокуроромъ, на службу въ Казань. Максимъ Дмитріевичъ еще въ молодости выѣхалъ изъ Сербіи. Онъ прямо поступилъ въ кавалергарды, а потомъ былъ опредѣленъ въ Уфу прокуроромъ Верхняго Земскаго суда. Онъ могъ назваться вѣрнымъ типомъ южнаго славянина и отличался радушіемъ и гостепріимствомъ; хотя его наружность и пріемы, при огромномъ ростѣ и рѣзкихъ чертахъ лица, сначала казались суровыми, но онъ имѣлъ предобрѣйшее сердце; жена его была русская дворянка Р-ва; домъ ихъ въ городѣ Казани отличался вполнѣ славянскою надписью надъ воротами: „Добрые люди, милости просимъ!“ [1])—Когда Княжевичи жили въ Уфѣ, то мы видались очень часто, и мы съ сестрой игрывали вмѣстѣ съ старшими сыновьями, Дмитріемъ и Александромъ, которые также были тутъ и которыхъ я не скоро узналъ; но когда мать все это мнѣ напомнила и растолковала, то я вдругъ закричалъ: „Ахъ, маменька, такъ это тѣ Княжевичи, которые учили меня бить лбомъ грецкіе орѣхи!“ Восклицаніе мое возбудило общій смѣхъ. Робость прошла, и я сдѣлался веселъ и вновь подружился съ старыми пріятелями; они были одѣты въ зеленые мундиры съ красными воротниками, и я узналъ, что они отданы въ Казанскую гимназію, куда чрезъ часъ ихъ увезли. Это случилось въ воскресенье; молодые Княжевичи были отпущены къ родителямъ съ утра до восьми часовъ вечера. Мнѣ стало скучно, и, слушая разговоры моего отца и матери съ хозяевами, я задремалъ, какъ вдругъ долетѣли до дѣтскаго моего слуха слѣдующія слова, которыя навели на меня ужасъ и далеко прогнали сонъ. „Да, мой любезный Тимоѳей Степанычъ и

[1]) Надпись, по длинноте и крупноте буквъ, не умѣщалась, а потому была написана слѣдующимъ образомъ: „Д. Л. Милости просимъ“. Читая буквы по старинному, т. е. „Добро, Люди“, получался почти тотъ же смыслъ, какой выражался бы въ полной надписи.

принялся ловить птичекъ силками, крыть ихъ лучкомъ и сажать въ небольшую горницу, превращенную такимъ образомъ въ обширный садокъ; опять началъ любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали безъ меня въ подпечкахъ по разнымъ дворовымъ избамъ; опять началъ смотрѣть, какъ охотники травятъ сорокъ и голубей и кормятъ ястребовъ, пущенныхъ въ зиму. Не доставало дня, чтобы насладиться всѣми этими благами! Зима прошла и наступила весна, все зеленѣло, и расцвѣло, открылось множество новыхъ живѣйшихъ наслажденій: свѣтлыя воды рѣки, мельница, прудъ, грачевая роща и островъ, окруженный со всѣхъ сторонъ старымъ и новымъ Бугурусланомъ, обсаженный тѣнистыми липами и березами, куда бѣгалъ я понѣсколько разъ въ день, самъ не зная за чѣмъ: я стоялъ тамъ неподвижно, какъ очарованный, съ сильно бьющимся сердцемъ, съ прерывающимся дыханіемъ.... Всего же сильнѣе увлекала меня удочка, и я, подъ надзоромъ дядьки моего, Ефрема Евсеича, съ самозабвеніемъ предался охотѣ удить рыбу, которой много водилось въ прозрачномъ и омутистомъ Бугурусланѣ, протекавшемъ подъ самыми окнами деревенской спальни, прирубленной съ боку къ старому дому покойнымъ дѣдушкой, для того, чтобы у его невѣстки была отдѣльная своя горница. Подъ самымъ окномъ, наклонясь надъ водой, росла развѣсистая береза; одинъ толстый ея сучекъ выгибался у ствола, какъ кресло, и я особенно любилъ сидѣть на немъ съ сестрой.... Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарѣлась преждевременно и свалилась на бокъ, но все еще живетъ и зеленѣетъ. Новый хозяинъ посадилъ подлѣ нея новое дерево....

О, гдѣ ты, волшебный міръ, Шехеразада человѣческой жизни, съ которымъ часто такъ неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарованіе насмѣшками и преждевременными рѣчами! Ты, золотое время дѣтскаго счастія, память котораго такъ сладко и грустно волнуетъ душу старика! Счастливъ тотъ, кто имѣлъ его, кому есть что вспоминать! У многихъ проходитъ сно незамѣтно, или нерадостно, и въ зрѣломъ возрастѣ остается только память холодности и даже жестокости людей.

Лѣто провелъ я въ такомъ же дѣтскомъ упоеніи и ничего не подозрѣвалъ; но осенью, когда я сталъ больше сидѣть дома, больше слушать и больше смотрѣть на мою мать, то

деревни, представляется мнѣ теперь въ такомъ ужасномъ видѣ, что сердце замираетъ отъ одного воспоминанія. Проселочная дорога была ничто иное, какъ слѣдъ, проложенный нѣсколькими санями по снѣжнымъ сугробамъ, при малѣйшемъ вѣткѣ совершенно заметаемый верхнимъ снѣгомъ. По такой-то дорогѣ надобно было тащиться гусемъ, часовъ семь сряду, потому что пряжки или переѣзды дѣлались верстъ по тридцати-пяти и болѣе; да и кто мѣрилъ эти версты! Для этого надобно было подниматься съ ночлега въ полночь, будить разоспавшихся дѣтей, укутывать шубами и укладывать въ повозки. Скрыпъ отъ полозьевъ по сухому снѣгу терзалъ мои чувствительные нервы, и первыя сутки я всегда страдалъ желчной рвотой. Кормежки и ночевки въ дымныхъ избахъ, вмѣстѣ съ поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь... не дай Богъ никому и во снѣ все это увидѣть. Не говорю уже о буранахъ, отъ которыхъ иногда надобно было останавливаться въ какой-нибудь деревушкѣ, ждать сутокъ по двое, когда затихнетъ снѣжный ураганъ.... Страшно вспомнить! Но мы пріѣхали наконецъ въ мое милое Аксаково, и все было забыто. Я началъ опять вести свою блаженную жизнь подлѣ матери; опять началъ читать ей вслухъ мои любимыя книжки: „Дѣтское чтеніе для сердца и разума“ и даже „Ипокрену или утѣхи любословія“, конечно, не въ первый разъ, но всегда съ новымъ удовольствіемъ; опять началъ декламировать стихи изъ трагедій Сумарокова, въ которыхъ я особенно любилъ представлять вѣстниковъ, для чего подпоясывался широкимъ кушакомъ и втыкалъ подъ него, вмѣсто меча, подоконную подставку; опять началъ играть съ моей сестрой, которую съ младенчества любилъ горячо, и съ маленькимъ братомъ, валяясь съ ними на полу, устланномъ для теплоты въ два ряда калмыцкими, бѣлыми какъ снѣгъ, кошмами; опять началъ учить читать свою сестрицу: она училась сначала какъ-то тупо и лѣниво, да и я, разумѣется, не умѣлъ приняться за это дѣло, хотя очень горячо имъ занимался. Я очень помню, что никакъ не могъ растолковать моей шестилѣтней ученицѣ, какъ складывать цѣлыя слова. Я приходилъ въ отчаяніе, садился на скамеечкѣ въ уголъ и принимался плакать. На вопросъ же матери, о чемъ я плачу? я отвѣчалъ: „сестрица ничего не понимаетъ“.... Опять началъ я спать съ своей кошкой, которая такъ ко мнѣ была привязана, что ходила за мной вездѣ, какъ собаченка; опять

принялся ловить птичекъ силками, крыть ихъ лучкомъ и сажать въ небольшую горницу, превращенную такимъ образомъ въ обширный садокъ; опять началъ любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали безъ меня въ подпечкахъ по разнымъ дворовымъ избамъ; опять началъ смотрѣть, какъ охотники травятъ сорокъ и голубей и кормятъ ястребовъ, пущенныхъ въ зиму. Не доставало дня, чтобы насладиться всѣми этими благами! Зима прошла и наступила весна, все зеленѣло, и расцвѣло, открылось множество новыхъ живѣйшихъ наслажденій: свѣтлыя воды рѣки, мельница, прудъ, грачевая роща и островъ, окруженный со всѣхъ сторонъ старымъ и новымъ Бугурусланомъ, обсаженный тѣнистыми липами и березами, куда бѣгалъ я понѣсколько разъ въ день, самъ не зная за чѣмъ: я стоялъ тамъ неподвижно, какъ очарованный, съ сильно бьющимся сердцемъ, съ прерывающимся дыханіемъ.... Всего же сильнѣе увлекала меня удочка, и я, подъ надзоромъ дядьки моего, Ефрема Евсеича, съ самозабвеніемъ предался охотѣ удить рыбу, которой много водилось въ прозрачномъ и омутистомъ Бугурусланѣ, протекавшемъ подъ самыми окнами деревенской спальни, прирубленной съ боку къ старому дому покойнымъ дѣдушкой, для того, чтобы у его невѣстки была отдѣльная своя горница. Подъ самымъ окномъ, наклонясь надъ водой, росла развѣсистая береза; одинъ толстый ея сучекъ выгибался у ствола, какъ кресло, и я особенно любилъ сидѣть на немъ съ сестрой.... Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарѣлась преждевременно и свалилась на бокъ, но все еще живетъ и зеленѣетъ. Новый хозяинъ посадилъ подлѣ нея новое дерево....

О, гдѣ ты, волшебный міръ, Шехеразада человѣческой жизни, съ которымъ часто такъ неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарованіе насмѣшками и преждевременными рѣчами! Ты, золотое время дѣтскаго счастія, память котораго такъ сладко и грустно волнуетъ душу старика! Счастливъ тотъ, кто имѣлъ его, кому есть что вспоминать! У многихъ проходитъ сно незамѣтно, или нерадостно, и въ зрѣломъ возрастѣ остается только память холодности и даже жестокости людей.

Лѣто провелъ я въ такомъ же дѣтскомъ упоеніи и ничего не подозрѣвалъ; но осенью, когда я сталъ больше сидѣть дома, больше слушать и больше смотрѣть на мою мать, то

сталъ примѣчать въ ней какую-то перемѣну: прекрасные глаза ея устремлялись иногда на меня съ особеннымъ выраженіемъ тайной грусти; я подглядѣлъ даже слезы, старательно отъ меня скрываемыя; встревоженный и огорченный, со всѣми ласками горячей любви, я приставалъ съ разспросами къ моей матери. Сначала она увѣряла меня, что это такъ, что это ничего не значитъ; но скоро въ ея разговорахъ со мной я началъ слышать, какъ сокрушается она о томъ, что мнѣ не у кого учиться, какъ необходимо ученье мальчику; что она лучше желаетъ умереть, нежели видѣть дѣтей своихъ выростающихъ невѣждами; что мужчинѣ надобно служить, а для службы необходимо учиться.... Сердце сжалось у меня въ груди, я понялъ, къ чему клонится рѣчь, понялъ, что бѣда не прошла, а пришла, и что мнѣ не уйти отъ Казанской гимназіи. Мать подтвердила мою догадку и сказала, что она рѣшилась; а я зналъ, что ея рѣшенья тверды. Нѣсколько дней я только плакалъ и ничего не слушалъ, и какъ будто не понималъ, что говорила мнѣ мать. Наконецъ ея слезы, ея просьбы, ея разумныя убѣжденія, сопровождаемыя нѣжнѣйшими ласками, горячность ея желанія видѣть во мнѣ образованнаго человѣка, были поняты моей дѣтской головой, и съ растерзаннымъ сердцемъ я покорился ожидающей меня участи. Всѣ мои деревенскія удовольствія вдругъ потеряли свою прелесть, ни къ чему меня не тянуло, все смотрѣло чужимъ, все опостылѣло, и только любовь къ матери выросла въ такихъ размѣрахъ, которые пугали ее. Меня стали приготовлять къ школьному ученью. Для своего возраста я читалъ какъ нельзя лучше, но писалъ по дѣтски. Отецъ еще прежде хотѣлъ мнѣ передать всю свою ученость въ математикѣ, то-есть, первыя четыре ариѳметическія правила, но я такъ непонятливо и лѣниво учился, что онъ бросилъ ученье. Тутъ все перемѣнилось: въ два мѣсяца я выучилъ эти четыре правила, которыя только одни изъ всей математики и теперь не позабыты мной; въ остальное время до отъѣзда въ Казань отецъ только повторялъ со мной зады; въ списываніи прописей я достигъ также возможнаго совершенства. Все это я дѣлалъ на глазахъ у своей матери и единственно для нея. Она сказала мнѣ, что сгоритъ со стыда, если меня не похвалятъ на экзаменѣ, который надобно было выдержать именно въ этихъ предметахъ, при вступленіи въ гимназію, что она увѣрена въ моихъ отличныхъ успѣхахъ,—этого было довольно. Я не отходилъ

моего отца—вашъ собственный почеркъ не очень красивъ.“ Отецъ мой, обрадованный и растроганный почти до слезъ похвалами своему сыну, простодушно отвѣчалъ: что я достигъ до всего своими трудами подъ руководствомъ матери, съ которою былъ почти неразлученъ, и что онъ только выучилъ меня ариѳметикѣ. Онъ прибавилъ къ этому, что моя мать жила всегда въ губернскомъ городѣ, что мы недавно переѣхали въ деревню, что она дочь бывшаго значительнаго чиновника и большая охотница до книгъ и стиховъ. „А, теперь я понимаю, воскликнулъ Левитскій, отчего печать благонравія, и даже изящества, лежитъ на вашемъ миломъ сынѣ—это плодъ женскаго воспитанія, плодъ трудовъ образованной матери!“ Мы уѣхали, очарованные имъ. Докторъ Бенисъ, который имѣлъ прекрасный домъ на Лядской улицѣ, принялъ насъ очень учтиво, и безъ всякаго затрудненія далъ свидѣтельство о моемъ здоровьѣ и крѣпкомъ тѣлосложеніи. Воротясь домой, я замѣтилъ, что мать моя много плакала, хотя глаза ея были такого свойства, что слезы не мутили ихъ ясности и никакого слѣда не оставляли. Отецъ мой съ жаромъ разсказалъ все случившееся съ нами. Мать устремила на меня взглядъ, выраженія котораго я не забуду, если проживу еще сто лѣтъ. Она обняла меня и сказала: „ты мое счастье, ты моя гордость.“ Чего мнѣ было больше? и я по-своему былъ счастливъ, гордъ и бодръ.

Мать моя сдѣлала визитъ женѣ доктора Бениса и познакомилась съ нимъ самимъ. Молодости, красотѣ, уму и слезамъ моей матери трудно было отказать въ сочувствіи; докторъ и докторша полюбили ее, и докторъ далъ ей обѣщаніе, что въ случаѣ малѣйшаго моего нездоровья будутъ мнѣ оказаны всѣ медицинскія пособія. Обѣщаніе страшное, по моимъ теперешнимъ понятіямъ: я боюсь излишества медицинскихъ пособій; но тогда оно нѣсколько успокоило мою бѣдную мать.—Василій Петровичъ Упадышевскій былъ вдовецъ, и двое его сыновей находились въ числѣ казенныхъ воспитанниковъ Казанской гимназіи. Отецъ мой познакомился съ нимъ и пригласилъ его къ намъ на квартиру. Этотъ добрый старикъ былъ такъ обласканъ моею матерью, такъ оцѣнилъ ея горячность къ сыну и такъ полюбилъ ее, что въ первое же свиданіе далъ честное слово: во-первыхъ, черезъ недѣлю перевесть меня въ свою благонравную комнату—ибо прямо помѣстить туда неизвѣстнаго мальчика показалось бы для

щаться домой, по настоянію отца взяли съ собой мою любимую старшую сестрицу; брата и меньшую сестру оставили въ Аксаковѣ съ тетушкой Евгеніей Степановной. Въ Казани мы остановились на прошлогодней квартирѣ, у капитанши Аристовой. Съ Максимомъ Дмитричемъ Княжевичемъ мы переписывались изъ деревни; заранѣе знали, что есть казенная вакансія въ гимназіи, и заранѣе приготовили всѣ бумаги, нужныя для моего опредѣленія. И такъ недѣли черезъ двѣ, познакомясь предварительно чрезъ Княжевича со всѣми лицами, съ которыми надобно было имѣть дѣло, и помолясь усердно Богу, отецъ мой подалъ просьбу директору Пекену.

Совѣтъ гимназіи предложилъ главному надзирателю (онъ же былъ инспекторомъ) Николаю Ивановичу Камашеву проэкзаменовать меня, а доктору Бенису освидѣтельствовать въ медицинскомъ отношеніи. Камашевъ находился въ отпуску; должность главнаго надзирателя исправлялъ надзиратель „благонравной“ комнаты, Василій Петровичъ Упадышевскій, а должность инспектора классовъ—старшій учитель россійской словесности, Левъ Семенычъ Левитскій. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевскій впослѣдствіи сдѣлался истиннымъ ангеломъ-хранителемъ моимъ и моей матери: я не знаю, что было бы съ нами безъ этого благодѣтельнаго старика. Поѣхавъ подавать просьбу директору, отецъ взялъ меня съ собою, и директоръ приласкалъ меня. Левитскій былъ нездоровъ и не могъ пріѣхать въ совѣтъ гимназіи, и потому отецъ повезъ меня къ нему на квартиру. Левъ Семенычъ былъ любезный, веселый, краснощекій толстякъ, уже съ порядочнымъ брюшкомъ, не смотря на свою молодость. Онъ очаровалъ своимъ пріемомъ обоихъ насъ: началъ съ того, что разласкалъ и расцѣловалъ меня, далъ мнѣ читать прозу Карамзина и стихи Дмитріева—и пришелъ въ восхищеніе, находя, что я читаю съ чувствомъ и пониманіемъ; заставилъ меня что-то написать—и опять пришелъ въ восхищеніе; въ четырехъ правилахъ ариѳметики я также отличился; но Левитскій, какъ настоящій словесникъ, тутъ же отозвался о математикѣ съ пренебреженіемъ. По окончаніи экзамена, онъ принялся меня хвалить безпощадно; удивлялся, что мальчикъ моихъ лѣтъ, живя въ деревнѣ, могъ быть такъ хорошо приготовленъ. „Да кто же былъ его учителемъ въ калиграфіи? добродушно смѣясь, спросилъ Левъ Семенычъ у

остригли волосы подъ гребенку, поставили во фрунтъ по ранжиру, по два человѣка въ рядъ, подлѣ ученика Владиміра Граффа, и сейчасъ выучили ходить въ ногу. Я все исполнялъ, какъ говорится, машинально: точно дѣло шло не обо мнѣ. По окончаніи классовъ, Упадышевскій встрѣтилъ меня у дверей и, сказавъ: „матушка тебя дожидается“, отвелъ меня въ пріемную залу. Отецъ съ матерью были тамъ: отецъ, увидя меня, разсмѣялся и сказалъ: „вотъ какъ перерядили Сережу.“ А мать, которая въ первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала безъ чувствъ. Я закричалъ, какъ изступленный, и также упалъ у ея ногъ. Упадышевскій, смотрѣвшій въ непритворенную дверь, перепугался и прибѣжалъ на помощь. Обморокъ моей матери продолжался около получаса, напугалъ моего отца и такъ встревожилъ бѣднаго Упадышевскаго, что онъ призвалъ изъ больницы жившаго тамъ подлѣкаря Риттера, который давалъ матери моей какое-то лѣкарство, и даже мнѣ что-то далъ выпить. Когда мать опомнилась, то сдѣлалась очень слаба, и добрый Упадышевскій самъ предложилъ отпустить меня ночевать домой: „такъ и быть, говорилъ онъ, пусть прогнѣвается на меня Николай Иванычъ (главный надзиратель), когда, воротясь, узнаетъ объ этомъ; правда, онъ ни за что бы не позволилъ, но я ужъ беру все на свою отвѣтственность, только пожалуйста привезите его завтра къ семи часамъ, прямо къ завтраку.“ Мы не находили словъ благодарить добраго человѣка и отправились на квартиру. Дома мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотрѣть на мою, почти выбритую голову, гдѣ рука ея напрасно искала мягкихъ, бѣлокурыхъ кудрей моихъ, на суконный галстукъ, который уже успѣлъ натереть мою нѣжную шею, никогда еще не носившую и шелковаго платка. Во всемъ находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взаимная наша твердость духа и рѣшимость съ новою силою овладѣли нами. На другой день въ семь часовъ я былъ уже въ гимназіи. Мать пріѣзжала ко мнѣ всякій день два раза, въ двѣнадцать часовъ передъ обѣдомъ, всего на полчаса, и въ шесть часовъ вечера, и тогда я могъ оставаться съ ней часа полтора. При свиданьяхъ со мною она казалась спокойною и даже веселою; но по печальному лицу моего отца я отгадывалъ, что дома безъ меня происходило совсѣмъ другое. Черезъ нѣсколько дней, отецъ мой убѣдился, что дѣла

всѣхъ явнымъ пристрастіемъ, и во-вторыхъ, смотрѣть за мной болѣе, чѣмъ за своими повѣсами, то-есть, своими родными сыновьями. Онъ свято исполнилъ и то, и другое. Какъ теперь гляжу на его добродушное и привѣтливое лицо, на его правую руку, подвязанную черной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывомъ пушки и вмѣсто нея привязывалась къ рукѣ черная перчатка, набитая хлопчатой бумагой; впрочемъ онъ очень четко и хорошо писалъ лѣвою рукою.

Наконецъ всѣ формальности были выполнены, и состоялось опредѣленіе совѣта: принять меня въ гимназію на казенное содержаніе; даже сняли съ меня мѣрку и сшили форменное платье. Напряженное состояніе духа, въ которомъ находилась мать моя и я самъ, не ослабѣвало. Поѣхали въ соборъ, отслужили молебны Гурію, Варсонофію и Герману, Казанскимъ чудотворцамъ; прямо оттуда отецъ съ матерью отвезли меня въ гимназію и отдали съ рукъ на руки Упадышевскому; дядька мой, Ефремъ Евсеичъ, также поступилъ туда въ должность комнатнаго служителя. Прощанье, разумѣется, сопровождалось слезами, благословеніями и наставленіями, но ничего особеннаго не случилось. Меня отвезли поутру въ 10 часовъ: классы только-что перемѣнились [1]), и всѣ ученики находились въ классныхъ комнатахъ на верху. Спальныя внизу были пусты, и мать моя могла осмотрѣть ихъ, даже видѣть ту кровать, на которой я буду спать; казалось, она всѣмъ осталась довольна. Какъ только уѣхали мои родители, Упадышевскій взялъ меня за руку, отвелъ въ классъ чистописанія, представилъ учителю, рекомендовалъ, какъ самаго благонравнаго мальчика, и просилъ особенно мной заняться. Меня посадили за отдѣльный столъ, вмѣстѣ съ новенькими, и заставили выписывать палочки. Я былъ такъ пораженъ, что находился точно въ какомъ-то забытьѣ; все казалось мнѣ сномъ, но страха и тоски я не чувствовалъ. Послѣ обѣда, котораго я не замѣтилъ, надѣли на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстукъ,

[1]) Утренніе классы зимой начинались въ восемь часовъ; въ десять перемѣнялись учителя; въ двѣнадцать классы оканчивались; въ половинѣ перваго обѣдали; лѣтомъ же классы начинались въ семь часовъ, оканчивались въ одиннадцать; обѣдали ровно въ двѣнадцать; послѣ обѣда ученіе всегда начиналось въ два и оканчивалось въ шесть часовъ; ужинали въ восемь, ложились спать въ девять, вставали въ пять часовъ лѣтомъ и въ шесть зимою.

остригли волосы подъ гребенку, поставили во фрунтъ по ранжиру, по два человѣка въ рядъ, подлѣ ученика Владиміра Граффа, и сейчасъ выучили ходить въ ногу. Я все исполнялъ, какъ говорится, машинально: точно дѣло шло не обо мнѣ. По окончаніи классовъ, Упадышевскій встрѣтилъ меня у дверей и, сказавъ: „матушка тебя дожидается“, отвелъ меня въ пріемную залу. Отецъ съ матерью были тамъ: отецъ, увидя меня, разсмѣялся и сказалъ: „вотъ какъ перерядили Сережу.“ А мать, которая въ первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала безъ чувствъ. Я закричалъ, какъ изступленный, и также упалъ у ея ногъ. Упадышевскій, смотрѣвшій въ непритворенную дверь, перепугался и прибѣжалъ на помощь. Обморокъ моей матери продолжался около получаса, напугалъ моего отца и такъ встревожилъ бѣднаго Упадышевскаго, что онъ призвалъ изъ больницы жившаго тамъ подлѣкаря Риттера, который далъ матери моей какое-то лѣкарство, и даже мнѣ что-то далъ выпить. Когда мать опомнилась, то сдѣлалась очень слаба, и добрый Упадышевскій самъ предложилъ отпустить меня ночевать домой: „такъ и быть, говорилъ онъ, пусть прогнѣвается на меня Николай Иванычъ (главный надзиратель), когда, воротясь, узнаетъ объ этомъ; правда, онъ ни за что бы не позволилъ, но я ужъ беру все на свою отвѣтственность, только пожалуйста привезите его завтра къ семи часамъ, прямо къ завтраку.“ Мы не находили словъ благодарить добраго человѣка и отправились на квартиру. Дома мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотрѣть на мою, почти выбритую голову, гдѣ рука ея напрасно искала мягкихъ, бѣлокурыхъ кудрей моихъ, на суконный галстукъ, который уже успѣлъ натереть мою нѣжную шею, никогда еще не носившую и шелковаго платка. Во всемъ находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взаимная наша твердость духа и рѣшимость съ новою силою овладѣли нами. На другой день въ семь часовъ я былъ уже въ гимназіи. Мать пріѣзжала ко мнѣ всякій день два раза, въ двѣнадцать часовъ передъ обѣдомъ, всего на полчаса, и въ шесть часовъ вечера, и тогда я могъ оставаться съ ней часа полтора. При свиданьяхъ со мною она казалась спокойною и даже веселою; но по печальному лицу моего отца я отгадывалъ, что дома безъ меня происходило совсѣмъ другое. Черезъ нѣсколько дней, отецъ мой убѣдился, что дѣла

такъ продолжаться не могутъ и что эти безпрестанныя свиданья и прощанья—только одно безполезное мученье; онъ призвалъ на совѣтъ Княжевича, и они вмѣстѣ рѣшили увезти немедленно мою мать въ деревню. Рѣшить было легко, да исполнить трудно: отецъ мой зналъ это очень хорошо; но сверхъ его ожиданія и къ большому удовольствію, мать моя скоро уступила общимъ просьбамъ и убѣжденіямъ. Слова доктора Бениса, принявшаго въ этомъ дѣлѣ участіе, безъ сомнѣнія имѣли большой вѣсъ. Онъ увѣрялъ, что частыя свиданья, раздражая мои слабые нервы, вредны моему здоровью и что я никогда или очень долго не привыкну къ новой моей жизни, если мать моя не уѣдетъ. Даже добрѣйшій Упадышевскій упрашивалъ о томъ же, утверждая, что въ такомъ положеніи я не могу хорошо учиться, и что учителя получатъ обо мнѣ дурное мнѣніе... и мать моя согласилась уѣхать на другой же день. Удивляюсь только одному, какъ она могла рѣшиться обмануть меня? Она сказала мнѣ передъ обѣдомъ, что завтра или послѣзавтра уѣзжаетъ и что мы еще увидимся раза два; сказала также, что вечеръ проведетъ у Княжевичей и потому ко мнѣ не пріѣдетъ. Уѣхать тихонько, не простясь со мной—это была несчастная мысль, поддержанная Бенисомъ и Упадышевскимъ. Разумѣется, хотѣли пощадить насъ обоихъ, и особенно меня, отъ послѣдняго прощанья, но разсчетъ оказался не вѣренъ. Я и теперь убѣжденъ, что эта благонамѣренная хитрость произвела много печальныхъ послѣдствій.

Въ первый разъ случилось, что мать не пріѣхала ко мнѣ вечеромъ, и хотя я былъ предупрежденъ ею, но тоска и предчувствіе неизвѣстной бѣды томили мое сердце. Ночь спалъ я дурно. На другой день поутру, когда я сталъ одѣваться, дядька мой Евсеичъ подалъ мнѣ записку: мать прощалась со мной: она писала, что если я люблю ее и хочу, чтобъ она была жива и спокойна, то не буду грустить и стану прилежно учиться. Она уѣхала наканунѣ въ восемь часовъ вечера. Ясно помню я эту минуту, но описать ее не умѣю: что-то болѣзненное пронзило мою грудь, сжало ее и захватило дыханіе; черезъ минуту началось страшное біеніе сердца. Полуодѣтый, я сѣлъ на кровать и съ безумнымъ отчаяніемъ глядѣлъ на всѣхъ, ничего не слушая и ничего не понимая. Упадышевскій, который дня за два перевелъ меня въ свою благонравную комнату и который зналъ объ отъѣздѣ матери

приказалъ мнѣ написать, чтобы Марья Николавна не безпокоилась и сама не пріѣзжала, что онъ отпуститъ меня съ дядькой можетъ быть ранѣе шести часовъ, потому что на послѣдніе часы учитель, по болѣзни, вѣроятно не придетъ, и что я могу остаться у ней до семи часовъ утра. Я писалъ эти слова и рѣшительно думалъ, что вижу сонъ. Евсеичъ побѣжалъ съ моимъ письмомъ. Часа черезъ полтора, онъ воротился съ такой радостной запиской, съ такой горячей благодарностью Упадышевскому, что старикъ прослезился, прочитавъ письмецо моей матери. Евсеичъ разсказалъ намъ, что барыня воротилась одна изъ села Алексѣевскаго, въ 90 верстахъ отъ Казани по почтовому тракту, что баринъ остался тамъ съ барышней, которая нездорова, и что мать моя прискакала на почтовыхъ, въ легкой ямской повозкѣ, съ одной горничной и однимъ человѣкомъ. Я какъ будто началъ приходить въ себя, началъ вѣрить своему благополучію, и вскорѣ такъ повѣрилъ, что послѣдній часъ ожиданія былъ для меня невыносимой пыткой. Учитель точно увѣдомилъ, что не будетъ—и въ четыре часа и пять минутъ я сѣлъ съ моимъ дядькой въ извощичьи сани, уже не помня себя отъ неописанной радости. Мать моя остановилась, у кого, не помню, на Проломной улицѣ, только это былъ не постоялый дворъ. Вбѣжавъ въ комнату, я издали увидѣлъ, что мать моя, блѣдная и худая, сидитъ въ тепломъ салопѣ, у затопленнаго камина, потому что комната была очень холодна. Эта минута свиданія была такова, что невозможно дать о ней понятія! Подобнаго чувства счастія я не испытывалъ уже во всю жизнь. Нѣсколько минутъ мы ничего на говорили, только плакали и радовались. Но это продолжалось не долго. Скоро мысль о близкой разлукѣ отогнала всѣ другія мысли и чувства, и болѣзненно сжала мое сердце. Съ горькими слезами разсказалъ я матери все, происходившее со мной, со времени внезапнаго ея отъѣзда. Я испугался, какое дѣйствіе произвелъ мой разсказъ! Какъ обвиняла себя и какъ раскаявалась бѣдная мать моя, что согласилась обмануть меня и уѣхать не простясь! Потомъ она разсказала мнѣ про себя; она не помнила, какъ выѣхала изъ Казани, потому что ей сдѣлалось дурно, когда ее усадили въ повозку. По мѣрѣ удаленія отъ города, съ каждымъ часомъ становилось ей тошнѣе; скоро овладѣла ею мысль воротиться назадъ; но убѣжденіе отца и собственный разсудокъ удерживали на нѣкоторое время стремленіе мате-

я попалъ опять въ тотъ же классъ чистописанія и потомъ въ классъ къ священнику. Два часа слушалъ я, какъ сказывали мои товарищи свои уроки изъ катехизиса и священной исторіи, какъ священникъ задавалъ новый урокъ и что-то много толковалъ и объяснялъ; но я не только въ этотъ разъ, но и во все время пребыванія моего въ гимназіи, не понималъ его толкованій. Своихъ уроковъ на этотъ разъ я не зналъ. Священникъ былъ предупрежденъ о моемъ болѣзненномъ состояніи, и хотя онъ былъ человѣкъ не снисходительный и строгій, но ограничился однимъ выговоромъ и велѣлъ приготовить уроки къ слѣдующему разу. Послѣ обѣда, чтобъ я не оставался праздныхъ и не предался грустнымъ мыслямъ, Упадышевскій поручилъ одному изъ старшихъ воспитанниковъ, Ильѣ Жеванову, хорошо рисовавшему, занять меня рисованіемъ, къ чему въ дѣтствѣ я имѣлъ большую склонность. Я самъ слышалъ, какъ этотъ добрѣйшій старикъ просилъ Жеванова: сдѣлать ему большое одолженіе, котораго онъ никогда не забудетъ, — заняться рисованьемъ съ бѣднымъ мальчикомъ, который очень тоскуетъ по матери — и Жевановъ занимался со мной; но ученье не только въ этотъ разъ, но и впослѣдствіи, не пошло мнѣ въ прокъ: рисованье кружковъ, бровей, носовъ, глазъ и губъ навсегда отвратило меня отъ рисованья. Послѣ же вчерашнихъ классовъ, все тотъ же благодѣтельный геній мой, Василій Петровичъ Упадышевскій, заставилъ меня твердить уроки возлѣ себя, и видя, что я самъ не понимаю, что твержу, началъ со мною разговаривать о моей деревенской жизни, объ моемъ отцѣ и матери, и даже позволилъ немного поплакать. Я не знаю, какъ пошла бы моя жизнь дальше; но тутъ внезапно все перемѣнилось: на третій день, во время обѣда, Евсеичъ подалъ мнѣ записочку отъ матери, которая писала мнѣ, что она стосковалась, не простившись со мною какъ слѣдуетъ, и что она, отъѣхавъ 90 верстъ, воротилась назадъ, чтобъ еще разъ взглянуть на меня хотя одну минуту. Я никакъ не могу объяснить себѣ, отчего въ первую минуту я не почувствовалъ той великой радости, которую, казалось бы, должно было мнѣ почувствовать? Я будто испугался, будто не повѣрилъ, будто грезилъ во снѣ... Упадышевскій также получилъ записку: мать просила отпустить меня съ шести до девяти часовъ вечера, а если нельзя, то хотѣла пріѣхать сама; къ этому прибавляла она, что пробудетъ въ Казани только до утра. Упадышевскій

новому, невиданному, и Боже мой! какъ все показалось мнѣ противно! Вставанье по звонку, задолго до свѣта, при потухшихъ и потухающихъ ночникахъ и сальныхъ свѣчахъ, наполнявшихъ воздухъ нестерпимой вонью; холодъ въ комнатахъ [1]), отчего вставать еще непріятнѣе бѣдному дитяти, кое-какъ согрѣвшемуся подъ байковымъ одѣяломъ; общественное умыванье изъ мѣдныхъ рукомойниковъ, около которыхъ всегда бываетъ ссора и драка; ходьба фрунтомъ на молитву, къ завтраку, въ классы, къ обѣду и т. д.; завтракъ, который состоялъ въ скоромные дни изъ стакана молока, пополамъ съ водою, и булки, а въ постные дни—изъ стакана сбитня съ булкой; въ такомъ же родѣ обѣдъ изъ трехъ блюдъ и ужинъ изъ двухъ.... Чѣмъ все это должно было казаться изнѣженному, избалованному мальчику, котораго мать воспитывала съ роскошью, какъ будто отъ большого состоянія? Но всего болѣе приводили меня въ отчаяніе товарищи: старшіе возрастомъ и ученики среднихъ классовъ не обращали на меня вниманія, а мальчики однихъ лѣтъ со мною и даже моложе, находившіеся въ низшемъ классѣ, по большей части нестерпимые шалуны и озорники; съ остальными я имѣлъ такъ мало сходнаго, общаго въ нашихъ понятіяхъ, интересахъ и нравахъ, что не могъ съ ними сблизиться, и посреди многочисленнаго общества оставался уединеннымъ. Всѣ были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, такъ что я не встрѣчалъ ни одного, сколько-нибудь печальнаго или задумчиваго мальчика, который могъ бы принять участіе въ моей постоянной грусти. Я смѣло бросился бы къ нему на шею и подѣлился бы моимъ внутреннимъ состояніемъ. „Что это за чудо, думалъ я, вѣрно у этихъ дѣтей нѣтъ ни отца, ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ, ни дома, ни сада въ деревнѣ“, и начиналъ сожалѣть о нихъ. Но скоро удостовѣрялся, что почти у всѣхъ были отцы и матери и семейства, а у иныхъ и дома и сады въ деревнѣ; но только не доставало того чувства горячей привязанности къ семейству и дому, которымъ было преисполнено мое сереце. Само собою разумѣется, что я, какъ *нелюдимъ*, какъ *нѣженка, недотрога*, какъ *матушкинъ сынокъ*, который все *хнычетъ по маменькѣ*,—сейчасъ сдѣлался пред-

[1]) Въ спальняхъ держали 12 градусовъ тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всѣхъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и что, по-моему, рѣшительно вредно для здоровья дѣтей. Нужно не менѣе 14 градусовъ.

ринской любви. Наконецъ она была не въ состояніи противиться своимъ чувствамъ и воротилась одна, потому что побоялась растрясти мою сестру, и безъ того нездоровую. Мой отецъ и сестра должны были дожидаться ее въ Алексѣевскомъ; для сестры моей даже нуженъ былъ отдыхъ. Цѣлый вечеръ и большую половину ночи провели мы въ разговорахъ и слезахъ; но какъ всему есть мѣра, то и мы, можно сказать, пресытились слезами и заснули. Я помню, что нѣсколько разъ вздрагивалъ во снѣ и начиналъ рыдать, но мать обнимала меня, клала мою голову къ себѣ на грудь, и я снова засыпалъ. Въ шесть часовъ насъ разбудили. Мы были спокойнѣе и бодрѣе. Мать дала мнѣ обѣщаніе, что по первому лѣтнему пути она пріѣдетъ въ Казань и проживетъ до окончанія экзаменовъ; а послѣ гимназическаго акта, который всегда бывалъ въ первыхъ числахъ іюля, увезетъ меня на вакацію въ деревню, гдѣ я проживу до половины августа. Отрадное чувство наполнило мое сердце; мы простились довольно спокойно. Въ семь часовъ мать моя сѣла въ свою ямскую кибитку, а я съ Евсеичемъ въ извощичьи сани, и мы въ одно время съѣхали со двора: повозка поѣхала направо къ заставѣ, а я налѣво въ гимназію; скоро мы свернули съ улицы въ переулокъ, и кибитка исчезла изъ моихъ глазъ. Сердце у меня оторвалось, какъ говорится, грусть залегла въ душѣ; но голова не была смущена, я понималъ ясно, что вокругъ меня происходило и что ожидаетъ впереди. Огромное бѣлое зданіе гимназіи, съ яркозеленой крышей и куполомъ, стоящее на горѣ, сейчасъ бросилось мнѣ въ глаза и поразило меня, какъ будто я его никогда не видывалъ. Оно показалось мнѣ страшнымъ, очарованнымъ замкомъ (о которыхъ я читывалъ въ книжкахъ), тюрьмою, гдѣ я буду колодникомъ. Огромная дверь на высокомъ крыльцѣ между колоннами, которую распахнулъ старый инвалидъ, и которая, казалось, проглотила меня; двѣ широкія и высокія лѣстницы, ведущія во второй и третій этажъ изъ сѣней, освѣщаемыя верхнимъ куполомъ; крикъ и гулъ смѣшанныхъ голосовъ, встрѣтившій меня издали, вылетавшій изъ всѣхъ классовъ, потому что учители еще не пришли, — все это я увидѣлъ, услышалъ и понялъ въ первый разъ. Не смотря на то, что я жилъ въ гимназіи уже болѣе недѣли—я не замѣчалъ ее. Только теперь почувствовалъ я себя казеннымъ воспитанникомъ казеннаго учебнаго заведенія. Цѣлый день я удивлялся всему, какъ будто

новому, невиданному, и Боже мой! какъ все показалось мнѣ противно! Вставанье по звонку, задолго до свѣта, при потухшихъ и потухающихъ ночникахъ и сальныхъ свѣчахъ, наполнявшихъ воздухъ нестерпимой вонью; холодъ въ комнатахъ [1]), отчего вставать еще непріятнѣе бѣдному дитяти, кое-какъ согрѣвшемуся подъ байковымъ одѣяломъ; общественное умыванье изъ мѣдныхъ рукомойниковъ, около которыхъ всегда бываетъ ссора и драка; ходьба фрунтомъ на молитву, къ завтраку, въ классы, къ обѣду и т. д.; завтракъ, который состоялъ въ скоромные дни изъ стакана молока, пополамъ съ водою, и булки, а въ постные дни—изъ стакана сбитня съ булкой; въ такомъ же родѣ обѣдъ изъ трехъ блюдъ и ужинъ изъ двухъ.... Чѣмъ все это должно было казаться изнѣженному, избалованному мальчику, котораго мать воспитывала съ роскошью, какъ будто отъ большого состоянія? Но всего болѣе приводили меня въ отчаяніе товарищи: старшіе возрастомъ и ученики среднихъ классовъ не обращали на меня вниманія, а мальчики однихъ лѣтъ со мною и даже моложе, находившіеся въ низшемъ классѣ, по большей части нестерпимые шалуны и озорники; съ остальными я имѣлъ такъ мало сходнаго, общаго въ нашихъ понятіяхъ, интересахъ и нравахъ, что не могъ съ ними сблизиться, и посреди многочисленнаго общества оставался уединеннымъ. Всѣ были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, такъ что я не встрѣчалъ ни одного, сколько-нибудь печальнаго или задумчиваго мальчика, который могъ бы принять участіе въ моей постоянной грусти. Я смѣло бросился бы къ нему на шею и подѣлился бы моимъ внутреннимъ состояніемъ. „Что это за чудо, думалъ я, вѣрно у этихъ дѣтей нѣтъ ни отца, ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ, ни дома, ни сада въ деревнѣ“, и начиналъ сожалѣть о нихъ. Но скоро удостовѣрялся, что почти у всѣхъ были отцы и матери и семейства, а у иныхъ и дома и сады въ деревнѣ; но только не доставало того чувства горячей привязанности къ семейству и дому, которымъ было преисполнено мое сереце. Само собою разумѣется, что я, какъ *нелюдимъ*, какъ *нѣженка, недотрога*, какъ *матушкинъ сынокъ*, который все *хнычетъ по маменькѣ*,—сейчасъ сдѣлался пред-

[1]) Въ спальняхъ держали 12 градусовъ тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всѣхъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и что, по-моему, рѣшительно вредно для здоровья дѣтей. Нужно не менѣе 14 градусовъ.

метомъ насмѣшекъ своихъ товарищей; отъ этого не могли оградить меня ни власть, ни нравственное вліяніе Василья Петровича Упадышевскаго, который не переставалъ и днемъ и ночью наблюдать за мной. Онъ самъ запретилъ мнѣ жаловаться на обиды товарищей, хорошо зная, какъ ненавидятъ въ училищахъ ябедниковъ, клеймя этимъ именемъ всякаго, кто пожалуется начальству на оскорбленіе товарищей. Онъ поставилъ мою кровать между кроватями Кондырева и Мореева, которые были гораздо старше меня и оба считались самыми степенными и въ то же время неуступчивыми учениками: онъ поручилъ меня подъ ихъ защиту, и по ихъ милости никто изъ шалуновъ не смѣлъ подходить къ моей постели. Надобно замѣтить, что тогда не было у насъ рекреаціонныхъ залъ и что казенные воспитанники и пансіонеры все время, свободное отъ ученья, проводили въ спальняхъ.

Съ самыхъ первыхъ дней, послѣ окончательной разлуки съ матерью, я принялся съ жаромъ за ученье. Я упросилъ моихъ учителей (все черезъ Упадышевскаго), чтобы мнѣ задавали не по одному, а по два и по три урока, для того, чтобы догнать старшихъ учениковъ и не сидѣть на одной лавкѣ съ новенькими. Способность пониманія и память были у меня сильно развиты; черезъ мѣсяцъ я не только перегналъ и оставилъ назади новенькихъ, но во всѣхъ классахъ сѣлъ за первый столъ вмѣстѣ съ лучшими воспитанниками. Это обстоятельство усилило нерасположеніе ко мнѣ и тѣхъ, которыхъ я обогналъ, и тѣхъ, съ которыми я сравнялся.

Въ самое это время воротился къ должности главный надзиратель, Николай Ивановичъ Камашевъ. Не знаю, по справедливости ли считался онъ очень умнымъ человѣкомъ, но то вѣрно, что онъ былъ человѣкъ холодный, твердый, говорившій всегда тихо и съ улыбкой, и дѣйствовавшій съ непреклонною волею. Всѣ безъ исключенія боялись его гораздо больше, чѣмъ директора. Онъ любилъ власть, умѣлъ пріобрѣсть ее и пользовался ею съ педантическою точностью.—Упадышевскій отгадалъ, что Николай Иванычъ на него прогнѣвается; онъ сейчасъ узналъ всѣ отступленія отъ устава гимназіи, которыя сдѣлалъ для меня и для моей матери, исправлявшій его должность, надзиратель, то-есть: несвоевременное свиданіе съ родителями, тогда какъ для того были назначены извѣстные дни и часы, беззаконные отпуски домой, и особенно отпуски на ночь. Главный над-

сказывалъ, и рѣшился наконецъ открыть мнѣ всю истину, рѣшившись въ то же время обманывать своего стараго начальника. Такимъ образомъ, онъ заставилъ меня написать другое письмо, подъ его диктовку, совершенно оффиціальное, и показалъ его главному надзирателю, который, разумѣется, не могъ въ немъ найти ничего къ моему обвиненію. Оба письма были отправлены вмѣстѣ. Вся послѣдующая переписка состояла уже изъ двойныхъ писемъ: явныхъ и тайныхъ, даже тогда, когда мой гонитель пересталъ ихъ читать. Василій Петровичъ сейчасъ написалъ къ моей матери, отчего это такъ дѣлается; письма относилъ на почту самъ Евсеичъ. Я не умѣлъ тогда оцѣнить всю великость самоотверженія, съ которымъ дѣйствовалъ мой благодѣтель; но мать моя оцѣнила его вполнѣ и написала къ Упадышевскому письмо, въ которомъ выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она хотя не знала вполнѣ гоненій Камашева, но была очень ими встревожена.

Дѣла продолжали итти въ прежнемъ порядкѣ; но со мной случилась перемѣна, которая для всѣхъ должна показаться странною, неестественною, потому что, въ продолженіи полутора мѣсяца, я бы долженъ былъ привикнуть къ новому образу жизни: я сталъ задумываться и грустить; потомъ грусть превратилась въ періодическую тоску, и наконецъ въ болѣзнь. Двѣ причины могли произвесть эту печальную перемѣну: догнавъ во всѣхъ классахъ моихъ товарищей, получая обыкновенные, весьма небольшіе уроки, которые я часто выучивалъ не выходя изъ класса, я ничѣмъ не былъ занятъ, не только во все время свободное отъ ученья, но даже во время классовъ,—и умственная дѣятельность мальчика, потерявъ существенную пищу, вся обратилась на безпрестанное размышленіе и разсматриваніе своего настоящаго положенія, на безпрестанное воображеніе, что дѣлается въ его семействѣ, какъ тоскуетъ о немъ его несчастная мать, и на воспоминаніе прежней, блаженной деревенской жизни. Я возненавидѣлъ въ душѣ противную гимназію, ученье, и рѣшилъ посвоему, что оно совершенно безполезно, совсѣмъ не нужно, и что отъ него всѣ дѣти дѣлаются негодными мальчиками. Второю причиною, и можетъ быть главнѣйшею, — было несправедливое гоненіе Камашева. Каждое его появленіе производило потрясеніе въ моихъ нервахъ, а онъ пріѣзжалъ всякій день по два раза, и никто не зналъ времени его пріѣ-

Упадышевскій нѣжно любилъ меня и, съ заботливостью матери, всякій день осматривалъ мое платье и постель, чистоту рукъ, тетрадей и книгъ; онъ часто твердилъ мнѣ, чтобы я всегда смотрѣлъ въ глаза Николаю Иванычу и ничего не возражалъ на его замѣчанія и выговоры: изъ любви къ старику, я исполнялъ въ точности его наставленія.

Камашевъ не унимался. По распоряженію гимназическаго начальства, никто изъ воспитанниковъ не могъ имѣть у себя ни своихъ вещей, ни денегъ; деньги, если онѣ были, хранились у комнатныхъ надзирателей и употреблялись съ разрѣшенія главнаго надзирателя; покупка съѣстнаго и лакомства строго запрещалась; конечно, были злоупотребленія, но подъ большою тайной. Въ числѣ другихъ строгостей находилось постановленіе, чтобы переписка воспитанниковъ съ родителями и родственниками производилась черезъ надзирателей: каждый ученикъ долженъ былъ отдать незапечатанное письмо, для отправки на почту, своему комнатному надзирателю, и онъ имѣлъ право прочесть письмо, если воспитанникъ не пользовался его довѣренностью. Это постановленіе рѣшительно не исполнялось; но Камашевъ потребовалъ, чтобъ Упадышевскій показывалъ ему мои письма. Скрѣпя сердце, добрый старикъ, который въ каждомъ моемъ письмѣ, не читая его, приписывалъ самъ, долженъ былъ сдѣлаться моимъ цензоромъ. Первое имъ прочитанное письмо привело его въ большое затрудненіе: оно все состояло изъ описанія моего грустнаго, ежедневнаго состоянія, изъ жалобъ на товарищей и даже на учителей, изъ выраженій горячаго желанія увидѣть мать, оставить поскорѣе противную гимназію и уѣхать изъ нея на лѣто въ деревню. Не было ничего предосудительнаго, но Василій Петровичъ чувствовалъ, что въ глазахъ Николая Иваныча каждое мое слово будетъ виновато, что онъ найдетъ тутъ ропотъ, обвиненіе начальства, клевету на учебное заведеніе и неблагодарность къ правительству. Что было ему дѣлать? Открыть мнѣ настоящее положеніе дѣлъ—ему сначала не хотѣлось: это значило войти въ заговоръ съ мальчикомъ противъ своего начальства; онъ чувствовалъ даже, что я не пойму его, что не буду умѣть написать такого письма, которое могъ бы одобрить Камашевъ; лишить мою мать единственнаго утѣшенія получать мои задушевныя письма—по добротѣ сердца, онъ не могъ.—Цѣлыя сутки ломалъ онъ голову, но ничего не придумалъ, какъ самъ онъ послѣ

сказывалъ, и рѣшился наконецъ открыть мнѣ всю истину, рѣшившись въ то же время обманывать своего стараго начальника. Такимъ образомъ, онъ заставилъ меня написать другое письмо, подъ его диктовку, совершенно оффиціальное, и показалъ его главному надзирателю, который, разумѣется, не могъ въ немъ найти ничего къ моему обвиненію. Оба письма были отправлены вмѣстѣ. Вся послѣдующая переписка состояла уже изъ двойныхъ писемъ: явныхъ и тайныхъ, даже тогда, когда мой гонитель пересталъ ихъ читать. Василій Петровичъ сейчасъ написалъ къ моей матери, отчего это такъ дѣлается; письма относилъ на почту самъ Евсеичъ. Я не умѣлъ тогда оцѣнить всю великость самоотверженія, съ которымъ дѣйствовалъ мой благодѣтель; но мать моя оцѣнила его вполнѣ и написала къ Упадышевскому письмо, въ которомъ выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она хотя не знала вполнѣ гоненій Камашева, но была очень ими встревожена.

Дѣла продолжали итти въ прежнемъ порядкѣ; но со мной случилась перемѣна, которая для всѣхъ должна показаться странною, неестественною, потому что, въ продолженіи полутора мѣсяца, я бы долженъ былъ привикнуть къ новому образу жизни: я сталъ задумываться и грустить; потомъ грусть превратилась въ періодическую тоску, и наконецъ въ болѣзнь. Двѣ причины могли произвесть эту печальную перемѣну: догнавъ во всѣхъ классахъ моихъ товарищей, получая обыкновенные, весьма небольшіе уроки, которые я часто выучивалъ не выходя изъ класса, я ничѣмъ не былъ занятъ, не только во все время свободное отъ ученья, но даже во время классовъ,—и умственная дѣятельность мальчика, потерявъ существенную пищу, вся обратилась на безпрестанное размышленіе и разсматриваніе своего настоящаго положенія, на безпрестанное воображеніе, что дѣлается въ его семействѣ, какъ тоскуетъ о немъ его несчастная мать, и на воспоминаніе прежней, блаженной деревенской жизни. Я возненавидѣлъ въ душѣ противную гимназію, ученье, и рѣшилъ посвоему, что оно совершенно безполезно, совсѣмъ не нужно, и что отъ него всѣ дѣти дѣлаются негодными мальчиками. Второю причиною, и можетъ быть главнѣйшею, — было несправедливое гоненіе Камашева. Каждое его появленіе производило потрясеніе въ моихъ нервахъ, а онъ пріѣзжалъ всякій день по два раза, и никто не зналъ времени его пріѣ-

ѣзда. Не было такого часу ни днемъ, ни ночью, въ который бы онъ когда-нибудь не посѣщалъ гимназіи, и посѣщенія эти были совершенно неожиданны и внезапны. Теперь я отдаю полную справедливость его неусыпной, хотя слишкомъ строгой и педантичной дѣятельности; но тогда онъ казался мнѣ тираномъ, извергомъ, злымъ духомъ, который выросталъ какъ будто изъ земли, даже въ такихъ мѣстахъ, куда и надзиратели не заглядывали. Его страшный для меня образъ поселился въ дѣтскомъ моемъ воображеніи, и тягостное его присутствіе со мной не разставалось. Притомъ тайныя мои письма къ матери сдѣлались гораздо короче прежнихъ и писались часъ отъ часу съ большимъ стѣсненіемъ, съ большей осторожностью. Я понялъ наконецъ, какое насиліе дѣлаетъ Упадышевскій своему честному и прямодушному характеру, и чѣмъ онъ рискуетъ. — Впослѣдствіи присоединилась и третья причина. Въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля, солнце начало сильно грѣть, снѣгъ таялъ, ручьи побѣжали по улицамъ, дохнула весна, и ея дыханіе потрясало нервы мальчика, еще безсознательно, но уже страстно любившаго природу. Раздражительное дѣйствіе солнечныхъ весеннихъ лучей на человѣческій организмъ — дѣло извѣстное. Я живо помню, что въ красные дни мнѣ было гораздо тяжеле, чѣмъ въ пасмурные. Какъ бы то ни было, только я началъ задумываться, или лучше сказать, переставалъ слышать, что говорили другіе; безъ участія училъ свои уроки, сказывалъ ихъ, слушалъ замѣчанія или похвалы учителей, и часто, смотря имъ прямо въ глаза — воображалъ себя въ миломъ Аксаковѣ, въ тихомъ родительскомъ домѣ, подлѣ любящей матери: всѣмъ казалось это простою разсѣянностью. Чтобы живѣе предаваться мечтамъ моего воображенія, представительная сила котораго возрастала съ каждымъ днемъ, я зажмуривалъ глаза и не рѣдко получалъ толчки отъ сосѣдей, которые думали, что я сплю. Одинъ разъ, въ классѣ русской грамматики, злой мальчишка, Рушка, закричалъ: „Аксаковъ спитъ!“ Учитель, спросивъ у другихъ учениковъ, точно ли я спалъ, и получивъ утвердительный отвѣтъ, едва не поставилъ меня на колѣни. Я пересталъ зажмуривать глаза въ классахъ; но сталъ чаще подъ извѣстными предлогами уходить изъ нихъ, разумѣется, сказавши прежде свой урокъ, и мнѣ иногда удавалось спокойно простоять съ четверть часа гдѣ-нибудь въ углу корридора и помечтать съ закрытыми глазами. По окончаніи послѣ-

обѣденныхъ классовъ, послѣ получасового бѣганья въ пріемной залѣ, въ которомъ я только по принужденію принималъ иногда участіе, когда всѣ должны были усѣсться, каждый за своимъ столикомъ у кровати, и твердить урокъ къ завтрашнему дню, я также садился, клалъ передъ собою книгу и, посреди громкаго бормотанья твердимыхъ вслухъ уроковъ, переносился моимъ воображеніемъ все туда же, въ обѣтованный край, въ сельскій домъ на берегу Бугуруслана. Скоро однако такое напряженное усиліе воображенія развилось до такихъ огромныхъ размѣровъ, что слабый тѣлесный составъ не могъ ихъ выносить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровождаемая такими тяжелыми слезами и рыданіями, что я впадалъ на нѣсколько минутъ въ безпамятство; послѣ я узналъ, что въ продолженіи его появлялись у меня на лицѣ судорожныя движенія. Сначала я умѣлъ какъ-то скрывать мое состояніе ото всѣхъ. Я дѣлалъ это безсознательно, можетъ быть по тайному чувству угадывая, что мнѣ станутъ мѣшать предаваться моимъ мечтамъ, которыя составляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда находила на меня вечеромъ; я чувствовалъ ея приближеніе и выбѣгалъ черезъ заднее крыльцо на внутренній дворъ, куда могли ходить всѣ ученики для своихъ надобностей; иногда я прятался за колонну, иногда притаивался въ углу, который образовался высокимъ крыльцомъ, выступавшимъ изъ средины зданія; иногда взбѣгалъ по лѣстницѣ наверхъ и садился въ углу сѣней втораго этажа, слабо освѣщаемомъ снизу висящимъ фонаремъ. Вѣроятно, холодный воздухъ способствовалъ скорому прекращенію припадковъ, и я возвращался на свое мѣсто въ обыкновенномъ своемъ положеніи. Но одинъ разъ забѣжалъ я въ незапертые классы, когда сторожа убирали ихъ; самъ не знаю, какъ я забился подъ скамью одного стола. Мнѣ кажется, этотъ припадокъ продолжался долѣе прежнихъ, можетъ быть отъ того, что случился не на свѣжемъ воздухѣ. Сторожъ замѣтилъ меня, хотѣлъ выгнать, но видя, что я ничего не отвѣчаю, донесъ надзирателю; тотъ узналъ меня и сказалъ Упадышевскому. Встревоженный старикъ прибѣжалъ ко мнѣ наверхъ; но въ самую эту минуту я очнулся и спокойно воротился съ нимъ въ свою комнату. До этого случая, Упадышевскій, обнадеженный моимъ почти двухмѣсячнымъ пребываніемъ, моимъ прилежнымъ ученьемъ, хотя и замѣчалъ мою разсѣянность или задумчивость, но не придавалъ ей ни-

какого особеннаго значенія. Тутъ онъ разспросилъ меня подробно. Я разсказалъ ему съ полною откровенностью все то, что зналъ о своемъ состояніи; но я многаго не понималъ и многаго не помнилъ. Въ продолженіи ночи, онъ самъ и мой дядька Евсеичъ наблюдали за мной: я проспалъ до утра совершенно спокойно. Надобно замѣтить, что въ продолженіи всего перваго періода моей болѣзни всѣ ночи я спалъ хорошо; упоминаю объ этомъ потому, что во второмъ періодѣ болѣзнь взяла совершенно противоположный характеръ. На другой день поутру, по обыкновенію, пріѣхалъ Бенисъ въ больницу, куда и былъ я приведенъ Упадышевскимъ. Докторъ разспросилъ и осмотрѣлъ меня внимательно, нашелъ, что я нѣсколько похудѣлъ, поблѣднѣлъ и что пульсъ у меня разстроенъ, но отпустилъ въ классъ, не предписалъ никакого лѣкарства, запретилъ изнурять меня ученьемъ,—не вѣря моимъ словамъ, что оно слишкомъ легко,—приказалъ наблюдать за мной и никуда одного не пускать. Онъ прибавилъ къ этому, чтобы всякій день, во время его пріѣзда въ больницу, я приходилъ къ нему. Упадышевскій принялъ всѣ нужныя мѣры: кромѣ того, что онъ самъ безпрестанно подходилъ ко мнѣ, онъ поручилъ двумъ воспитанникамъ постоянно смотрѣть за мной во всякое время, свободное отъ ученья; дядька же мой долженъ былъ итти со мной всякій разъ, когда я выходилъ на задній дворъ. Во всей гимназіи разнесся слухъ, что „на Аксакова находитъ *черная немочь*“. Я испугался, хотя не понималъ значенія этихъ словъ.—Мнѣ показалось очень непріятно такое постоянное вниманіе постороннихъ людей къ каждому моему движенію; цѣлый вечеръ мнѣ было скучно и грустно. Я уже привыкъ наслаждаться моими мечтами, а теперь мысль, что нѣсколько глазъ меня наблюдаютъ, мѣшала мнѣ оторваться отъ горькой дѣйствительности, чтобъ грезить на-яву сладкими снами; но тѣмъ не менѣе вечеръ прошелъ благополучно: ни тоски, ни истерическаго припадка не было. Упадышевскій и дядька мой обрадовались; очень также остался доволенъ и Бенисъ, когда я на другой день пришелъ къ нему въ больницу и когда Василій Петровичъ разсказалъ, что весь вчерашній день, вечеръ и ночь я провелъ спокойно. Не смотря на то, что докторъ нашелъ мой пульсъ такъ же разстроеннымъ, онъ отпустилъ меня безъ всякихъ медицинскихъ пособій, увѣряя, что дѣло поправится и что натура преодолѣетъ болѣзненное начало; но на другой день оказалось, что дѣло не

поправилось, а только измѣнилось: часу въ девятомъ утра, сидя въ ариѳметическомъ классѣ, вдругъ я почувствовалъ, совершенно неожиданно, сильное стѣсненіе въ груди, черезъ нѣсколько минутъ зарыдалъ, упалъ и впалъ въ безпамятство. Сдѣлался большой шумъ, послали за Упадышевскимъ; по счастію онъ былъ дома [1]) и приказалъ перенесть меня въ спальную, гдѣ я черезъ четверть часа очувствовался и даже воротился въ классъ. Вечеромъ припадокъ повторился и продолжался гораздо долѣе. Больше всего встревожился благодѣтельный Василій Петровичъ и перепугался мой усердный дядька. На этотъ разъ Бенисъ далъ мнѣ какія-то капли (вѣроятно нервныя), которыя я долженъ былъ принимать, какъ только почувствую стѣсненіе; по постнымъ днямъ приказалъ давать мнѣ скоромный обѣдъ изъ больницы и вмѣсто чернаго хлѣба булку, но оставить въ больницѣ ни за что не согласился. Капли сначала помогли мнѣ, и дня три, хотя я начиналъ тосковать и плакать, но въ безпамятство не впадалъ; потомъ, по привычкѣ ли моей натуры къ лѣкарству, или по усиленію болѣзни, только припадки стали возвращаться чаще и сильнѣе прежняго.

Никакой періодъ моего дѣтства не помню я съ такою отчетливою ясностью, какъ время перваго пребыванія моего въ гимназіи. Я могъ бы безошибочно разсказать со всѣми подробностями (чего, конечно, дѣлать не буду) весь ходъ моего страннаго недуга. Всѣмъ казалось тогда, а въ томъ числѣ и мнѣ, что появленіе припадковъ происходило безъ всякой причины; но теперь я убѣжденъ въ противномъ: они всегда происходили отъ неожиданно возникавшаго воспоминанія изъ прошедшей моей жизни, которая вдругъ представлялась моему воображенію съ живостью и яркостью ночныхъ сновидѣній. Иногда я доходилъ до такихъ явленій сознательно и постепенно, углубляясь въ неисчерпаемое хранилище памяти, но иногда они посѣщали меня безъ моего вѣдома и желанія. Случалось, что въ то время, когда я думалъ совсѣмъ о другомъ и даже когда былъ сильно занятъ ученьемъ, — вдругъ какой-нибудь звукъ голоса, вѣроятно похожій на слышанный мною прежде, полоса солнечнаго свѣта на окнѣ или стѣнѣ, точно такъ освѣщавшая нѣкогда знакомые, дорогіе мнѣ пред-

[1]) Изъ четырехъ человѣкъ надзирателей двое дежурныхъ никуда не отлучались; но остальные, во время классовъ, могли уходить по своимъ надобностямъ; къ обѣду же и ужину всѣ собирались на лицо.

меты, муха, жужжавшая и бившаяся на стеклѣ окошка, на что я часто засматривался въ ребячествѣ—мгновенно и на одно мгновеніе, неуловимо для сознанія, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои напряженные нервы. Впрочемъ нѣкоторые случаи объяснялись тогда же сами собою: одинъ разъ я сказывалъ урокъ, какъ вдругъ голубь сѣлъ на подоконную доску и началъ кружиться и ворковать—это сейчасъ напомнило мнѣ моихъ любимыхъ голубей и деревню: грудь моя стѣснилась и послѣдовалъ припадокъ. Въ другой разъ пришелъ я напиться квасу или воды въ особенную комнату, которая называлась *квасною*; тамъ бросился мнѣ въ глаза простой деревянный столъ, который прежде вѣроятно я видалъ много разъ, не замѣчая его, но теперь онъ былъ выскобленъ за-ново и казался необыкновенно чистымъ и бѣлымъ: въ одно мгновеніе представился мнѣ такого же вида липовый столъ, всегда блиставшій бѣлизной и гладкостью, принадлежавшій нѣкогда моей бабушкѣ, а потомъ стоявшій въ комнатѣ у моей тетки, въ которомъ хранились разныя бездѣлушки, драгоцѣнныя для дитяти: узелки съ тыквенными, арбузными и дынными сѣменами, изъ которыхъ тетка моя дѣлала чудныя корзиночки и подносики; мѣшочки съ рожковыми зернами, съ раковыми жерновками, а всего болѣе большой игольникъ, въ которомъ вмѣстѣ съ иголками хранились крючки для удочекъ, изрѣдка выдаваемые мнѣ бабушкой; все это, бывало, я разсматривалъ съ восхищеніемъ, съ напряженнымъ любопытствомъ, едва переводя дыханіе... Я былъ пораженъ сходствомъ этихъ столовъ, прошедшее ярко блеснуло, ожило передо мною—сердце замерло и послѣдовалъ сильный припадокъ. Точно то же случилось со мной при взглядѣ на кошку, которая спала, свернувшись клубкомъ на солнышкѣ, и напомнила мнѣ мою любимую кошку въ деревнѣ. Мнѣ кажется довольно этихъ случаевъ, чтобы предположить во всѣхъ остальныхъ подобныя причины.

Положеніе мое становилось хуже и хуже. Припадки появлялись чаще, продолжались долѣе; я потерялъ аппетитъ, блѣднѣлъ и худѣлъ съ каждымъ днемъ; терялъ также и охоту заниматься ученьемъ; одинъ только сонъ подкрѣплялъ меня. Внимательный Василій Петровичъ замѣтилъ, что мнѣ вредно раннее вставанье, пробовалъ одинъ разъ не будить меня до восьми часовъ и увидѣлъ, что я тотъ день чувствовалъ себя гораздо лучше. Дядька мой ходилъ за мной съ отцов-

ской нѣжностью. Камашевъ пробовалъ нѣсколько разъ говорить мнѣ строгія поученія, и даже стращалъ наказаніемъ, если я не буду держать себя, какъ слѣдуетъ благовоспитанному мальчику. Мою болѣзнь называлъ онъ баловствомъ, хандрою и дурнымъ примѣромъ для другихъ. Наконецъ, онъ приказалъ положительно отдать меня въ больницу; этого желали всѣ и я самъ; противился только одинъ Бенисъ; но теперь онъ долженъ былъ согласиться, и меня отвели въ лазаретъ.

Моя мать, уѣзжая въ послѣдній разъ изъ Казани, заставила моего дядьку Евсеича побожиться передъ образомъ, что онъ увѣдомитъ ее, если я сдѣлаюсь боленъ. Онъ давно порывался исполнить свое обѣщаніе и открылся въ этомъ Упадышевскому, но тотъ постоянно его удерживалъ; теперь же онъ рѣшился дѣйствовать, не спрашиваясь никого: одинъ изъ грамотныхъ дядекъ написалъ ему письмо, въ которомъ, безъ всякой осторожности и даже несправедливо, онъ извѣщалъ, что молодой баринъ боленъ падучею болѣзнью и что его отдали въ больницу. Можно себѣ представить, какимъ громовымъ ударомъ разразилось это письмо надъ моимъ отцомъ и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло въ деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могутъ имѣть и понятія; дорога прорывалась на каждомъ шагу, и во всякомъ долочкѣ была зажора, то-есть, снѣгъ, насыщенный водою; ѣхать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выѣхала тотъ же день въ Казань, съ своей Парашей и молодымъ мужемъ ея, Ѳедоромъ; ѣхала день и ночь на перемѣнныхъ крестьянскихъ, не подкованныхъ лошадяхъ [1]), въ простыхъ крестьянскихъ саняхъ въ одну лошадь; всѣхъ саней было четверо: въ трехъ сидѣло по одному человѣку безъ всякой поклажи, которая вся помѣщалась на четвертыхъ саняхъ. Только такимъ образомъ была какая-нибудь возможность подвигаться шагъ за шагомъ впередъ, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этотъ разъ продолжались по счастію до половины апрѣля. Въ десять дней дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здѣсь вышла уже большая почтовая дорога, крѣпче уѣзженная, а потому ѣхать

[1]) По проселкамъ, при глубокомъ снѣгѣ, подкованныхъ лошадей въ это время года дорога не поднимаетъ.

по ней представлялось болѣе возможности. но за то изъ Мурзихи надобно было переѣхать черезъ Каму, чтобъ попасть въ село Шуранъ, находящееся, кажется, въ 80-ти верстахъ отъ Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинѣла; наканунѣ перенесли черезъ нее на рукахъ почту; но въ ночь пошелъ дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ея спутниковъ на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать въ Мурзихѣ; боясь каждой минуты промедленія, она сама ходила изъ дома въ домъ по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей помочь ей, разсказывала свое горе и предлагала въ вознагражденіе все, что имѣла. Нашлись добрые и смѣлые люди, понимавшіе материнское сердце, которые обѣщали ей, что если дождь въ ночь уймется и къ утру хоть крошечку подмерзнетъ, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмутъ то, что она пожалуетъ имъ за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя въ углу на колѣняхъ передъ образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: вѣтеръ разогналъ облака и къ утру морозъ высушилъ дорогу и тонкимъ ледочкомъ затянулъ лужи. На зарѣ, шестеро молодцовъ, рыбаковъ по промыслу, выросшихъ на Камѣ и привыкшихъ обходиться съ нею во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или багромъ, привязавъ за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крестъ, взяли подъ руки обѣихъ женщинъ, обутыхъ въ мужскіе сапоги, дали шестъ Ѳедору, поручивъ ему тащить *чуманъ*, то-есть, широкій лубокъ, загнутый спереди кверху и привязанный на веревкѣ, взятый на тотъ случай, что неравно барыня устанетъ,—и отправились въ путь, пустивъ впередъ самаго расторопнаго изъ своихъ товарищей для ощупыванія дороги. Дорога лежала вкось и надобно было пройти около трехъ верстъ. Переходъ черезъ огромную рѣку въ такое время такъ страшенъ, что только привычный человѣкъ можетъ совершить его, не теряя бодрости и присутствія духа. Ѳедоръ и Параша просто ревѣли, прощались съ бѣлымъ свѣтомъ и со всѣми родными, и въ иныхъ мѣстахъ надобно было силою заставлять ихъ итти впередъ; но мать моя съ каждымъ шагомъ становилась бодрѣе и даже веселѣе. Провожатые поглядывали на нее и привѣтливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться, по сложеннымъ вмѣстѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя нигдѣ не хотѣла

сѣсть на чуманъ, и только тогда, когда дорога, подойдя къ противоположной сторонѣ, пошла возлѣ самаго берега по мелкому мѣсту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчасъ постлали на чуманъ мѣховое одѣяло, положили подушки, мать легла на него, какъ на постель, и почти лишилась чувствъ: въ такомъ положеніи дотащили ее до ямского двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей своимъ провожатымъ, то-есть, половину своихъ наличныхъ денегъ, но честные люди не захотѣли ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ изумленіемъ слушая изъявленіе горячей благодарности и благословенія моей матери, они сказали ей на прощаньѣ: „дай вамъ Богъ благополучно доѣхать“ и немедленно отправились домой, потому что мѣшкать было некогда: рѣка прошла на другой день. Все это подробно разсказала мнѣ Параша. Изъ Шурана въ двое сутокъ мать моя доѣхала до Казани, остановилась гдѣ-то на постояломъ дворѣ, и черезъ полчаса уже была въ гимназіи.

Обращаюсь назадъ: въ больницѣ помѣстили меня очень хорошо; дали особую, небольшую комнату, назначенную для тяжелыхъ больныхъ, которыхъ на ту пору не было; тамъ спалъ со мною мой дядька, переведенный въ больничные служители. Лѣкарь или подлѣкарь, хорошенько не знаю, Андрей Ивановичъ Риттеръ, жилъ подлѣ меня. Это былъ рослый, румяный, красивый и веселый дѣтина; онъ впрочемъ сидѣлъ дома только по утрамъ, ожидая Бениса, послѣ котораго немедленно отправлялся на практику, которую дѣйствительно имѣлъ въ купеческихъ домахъ; онъ былъ большой гуляка и не рѣдко возвращался домой поздно и въ нетрезвомъ видѣ. Удивляюсь, какъ терпѣлъ его главный надзиратель; впрочемъ, на больныхъ онъ обращалъ менѣе вниманія, чѣмъ на здоровыхъ, и въ больницѣ Упадышевскій имѣлъ больше вѣсу. Я совершенно забылъ имя и фамилію добраго старика, бывшаго тогда больничнымъ надзирателемъ, хотя очень помню, какъ онъ былъ попечителенъ и ласковъ ко мнѣ. Упадышевскій сейчасъ позаботился, что бы мнѣ не было скучно, и снабдилъ меня книгами: „Дѣтскимъ училищемъ“ въ нѣсколькихъ томахъ, „Открытіемъ Америки“ и „Завоеваніемъ Мексики“. Какъ я обрадовался тишинѣ, спокойствію и книгамъ! Халатъ вмѣсто мундира, полная свобода въ употребленіи времени, отсутствіе звонка и чтеніе были полезнѣе для меня

распутица, что изъ Аксакова нельзя проѣхать въ Бугурусланъ (уѣздный городъ, находящійся въ 25 верстахъ отъ нашей деревни) — я ничего не хотѣлъ слушать; я хорошо зналъ и понималъ, что не смотря ни на какое время каждую недѣлю ѣздили на почту. Я не знаю, что бы со мной было, еслибъ и въ третій срокъ я не получилъ письма; но въ серединѣ недѣли, именно поутру 14-го апрѣля, мой добрый Евсеичъ, послѣ нѣкотораго приготовленія, состоявшаго въ томъ, что „вѣрно потому нѣтъ писемъ, что матушка сама ѣдетъ, а можетъ быть и пріѣхала“, объявилъ мнѣ съ радостнымъ лицомъ, что Марья Николавна здѣсь въ гимназіи, что безъ доктора ее ко мнѣ не пускаютъ, и что докторъ сейчасъ пріѣдетъ. Не смотря на приготовленіе, мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я очнулся, первыя мои слова были: „гдѣ маменька?“ Но возлѣ меня стоялъ Бенисъ и бранилъ ни въ чемъ невиноватаго Евсеича: какъ бы осторожно ни сказали мнѣ о пріѣздѣ матери, я не могъ бы принять безъ сильнаго волненія такого неожиданнаго и радостнаго извѣстія, а всякое волненіе произвело бы обморокъ. Докторъ былъ совершенно убѣжденъ въ необходимости дозволить свиданіе матери съ сыномъ, особенно когда послѣдній зналъ уже о ея пріѣздѣ, но не смѣлъ этого сдѣлать безъ разрѣшенія главнаго надзирателя или директора; онъ послалъ записки къ обоимъ. Отъ директора пришло позволеніе прежде, и когда мать была уже у меня въ комнатѣ, получили приказаніе отъ Камашева: „дожидаться его пріѣзда“.—Не нахожу словъ и не беру на себя разсказать, что чувствовалъ я, когда вошла ко мнѣ моя мать. Она такъ похудѣла, что можно было не узнать ее; но радость, что она нашла дитя свое не только живымъ, но гораздо въ лучшемъ положеніи, чѣмъ ожидала (ибо чего не придумало испуганное воображеніе матери),— такъ ярко свѣтилась въ ея всегда блестящихъ глазахъ, что она могла показаться и здоровою и веселою. Я забылъ все, что вокругъ меня происходило, обнялъ свою мать и нѣсколько времени не выпускалъ ее изъ моихъ дѣтскихъ рукъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился Камашевъ. Холодно и вѣжливо онъ сказалъ моей матери, что для нея нарушенъ существующій порядокъ въ гимназіи, что никому изъ родственниковъ и родителей не позволя[illegible]ходить во внутреннія комнаты учебнаго заведенія [illegible]начена особая пріемная зала, что вхо[illegible]в[illegible]воспрещенъ и что осо-

въ мое воображеніе, и если бы я былъ живописецъ, то написалъ бы ее сію минуту, какъ живую. Содержанію „Красавица и звѣрь“ или „Аленькой цвѣточекъ“ суждено было еще разъ удивить меня впослѣдствіи. Черезъ нѣсколько лѣтъ пришелъ я въ казанскій театръ слушать и смотрѣть оперу „Земира и Азоръ“: это былъ опять „Аленькой цвѣточекъ“, даже въ самомъ ходѣ піесы и въ ея подробностяхъ.

Между тѣмъ, не смотря на занимательное чтеніе, на сладкіе, ничѣмъ нестѣсняемые разговоры съ Евсевичемъ про деревенскую жизнь, удочку, ястребовъ и голубей, не смотря на удаленіе отъ скучнаго школьнаго шума и тормошенья товарищей, не смотря на множество пилюль, порошковъ и микстуръ, глотаемыхъ мною, болѣзнь моя, сначала какъ будто уступившая лѣченью и больничному покою, не уменьшалась, и припадки возобновлялись по нѣскольку разъ въ день; но меня какъ-то не смущали они, и сравнительно съ прежнимъ я былъ очень доволенъ своимъ положеніемъ. Больница помѣщалась въ третьемъ этажѣ, окнами на дворъ. Зданіе гимназіи (теперешній университетъ) стояло на горѣ; видъ былъ великолѣпный: вся нижняя половина города съ его Суконными и Татарскими слободами, Булакъ, огромное озеро Кабанъ, котораго воды сливались весною съ разливомъ Волги— вся эта живописная панорама разстилалась передъ глазами. Я очень помню, какъ ложились на нее сумерки и какъ постепенно освѣщалась она утренней зарей и восходомъ солнца. Вообще пребываніе въ больницѣ оставило во мнѣ навсегда тихое и отрадное воспоминаніе, хотя никто изъ товарищей не навѣщалъ меня. Приходили только одинъ разъ Княжевичи, съ которыми однако я тогда еще близко не сошелся, потому что мало съ ними встрѣчался; они были въ среднихъ классахъ и жили „во французской комнатѣ“ у надзирателя Мейснера. Притомъ я былъ такъ занятъ собою, или лучше сказать своимъ прошедшимъ, что не чувствовалъ и не показывалъ ни малѣйшаго къ нимъ расположенія; я подружился съ Княжевичами уже во время вторичнаго моего вступленія въ гимназію, особенно въ университетѣ.

Домой я писалъ каждую почту, увѣдомляя, что я совершенно здоровъ. Вдругъ, въ одинъ понедѣльникъ не получилъ я письма отъ матери. Я встревожился и началъ грустить; въ слѣдующій понедѣльникъ опять нѣтъ письма, и тоска овладѣла мною. Напрасно увѣрялъ меня дядька, что теперь

распутица, что изъ Аксакова нельзя проѣхать въ Бугурусланъ (уѣздный городъ, находящійся въ 25 верстахъ отъ нашей деревни) — я ничего не хотѣлъ слушать; я хорошо зналъ и понималъ, что не смотря ни на какое время каждую недѣлю ѣздили на почту. Я не знаю, что бы со мной было, еслибъ и въ третій срокъ я не получилъ письма; но въ серединѣ недѣли, именно поутру 14-го апрѣля, мой добрый Евсеичъ, послѣ нѣкотораго приготовленія, состоявшаго въ томъ, что „вѣрно потому нѣтъ писемъ, что матушка сама ѣдетъ, а можетъ быть и пріѣхала", объявилъ мнѣ съ радостнымъ лицомъ, что Марья Николавна здѣсь въ гимназіи, что безъ доктора ее ко мнѣ не пускаютъ, и что докторъ сейчасъ пріѣдетъ. Не смотря на приготовленіе, мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я очнулся, первыя мои слова были: „гдѣ маменька?" Но возлѣ меня стоялъ Бенисъ и бранилъ ни въ чемъ невиноватаго Евсеича: какъ бы осторожно ни сказали мнѣ о пріѣздѣ матери, я не могъ бы принять безъ сильнаго волненія такого неожиданнаго и радостнаго извѣстія, а всякое волненіе произвело бы обморокъ. Докторъ былъ совершенно убѣжденъ въ необходимости дозволить свиданіе матери съ сыномъ, особенно когда послѣдній зналъ уже о ея пріѣздѣ, но не смѣлъ этого сдѣлать безъ разрѣшенія главнаго надзирателя или директора; онъ послалъ записки къ обоимъ. Отъ директора пришло позволеніе прежде, и когда мать была уже у меня въ комнатѣ, получили приказаніе отъ Камашева: „дожидаться его пріѣзда".—Не нахожу словъ и не беру на себя разсказать, что чувствовалъ я, когда вошла ко мнѣ моя мать. Она такъ похудѣла, что можно было не узнать ее; но радость, что она нашла дитя свое не только живымъ, но гораздо въ лучшемъ положеніи, чѣмъ ожидала (ибо чего не придумало испуганное воображеніе матери),— такъ ярко свѣтилась въ ея всегда блестящихъ глазахъ, что она могла показаться и здоровою и веселою. Я забылъ все, что вокругъ меня происходило, обнялъ свою мать и нѣсколько времени не выпускалъ ее изъ моихъ дѣтскихъ рукъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился Камашевъ. Холодно и вѣжливо онъ сказалъ моей матери, что для нея нарушенъ существующій порядокъ въ гимназіи, что никому изъ родственниковъ и родителей не позволяется входить во внутреннія комнаты учебнаго заведенія, что для этого назначена особая пріемная зала, что входъ въ больницу совершенно воспрещенъ и что осо-

имъ все, что можетъ высказать благодарное материнское сердце, мать уѣхала отдохнуть на свою квартиру. Отдохновеніе было ей необходимо: двѣнадцать дней такой дороги, почти безъ сна и пищи, и цѣлый день такихъ душевныхъ мучительныхъ волненій могли свалить съ ногъ и крѣпкаго мужчину, а мать моя была больная женщина. Но Богъ въ немощныхъ являетъ свою крѣпость и силу, и уснувъ нѣсколько часовъ, мать моя проснулась бодрою и твердою. Въ девять часовъ утра она сидѣла уже въ гостиной директора. Онъ вышелъ немедленно и встрѣтилъ ее съ явнымъ предубѣжденіемъ, которое однако скоро прошло. Искренность горя и убѣдительность слезъ нашли путь къ его сердцу; безъ большого труда, онъ позволилъ матери моей пріѣзжать въ больницу каждый день по два раза и оставаться до восьми часовъ вечера; но просьба объ увольненіи меня изъ гимназіи встрѣтила большое сопротивленіе. Можетъ быть и тутъ слезы и мольбы одержали бы побѣду, но вдругъ вошелъ главный надзиратель, и сцена перемѣнилась. Директоръ возвысилъ голосъ и съ твердостью сказалъ, что увольнять казенныхъ воспитанниковъ по нездоровью, или потому, что они станутъ тосковать, разставшись съ семействомъ,—дѣло неслыханное: въ первомъ случаѣ, это значитъ признаться въ плохомъ состояніи врачебныхъ пособій и присмотра за больными, а въ послѣднемъ это просто смѣшно; какой же мальчикъ, особенно избалованный, привыкшій только заниматься дѣтскими играми, не будетъ тосковать, когда его отдадутъ въ училище?—Камашевъ сейчасъ присоединился къ директору и поддержалъ его слова многими, весьма разсудительными и въ то же время язвительными рѣчами. Онъ упомянулъ о вредныхъ слѣдствіяхъ женскаго воспитанія, материнскаго баловства и дурныхъ примѣровъ неуваженія, непокорности, дерзости и неблагодарности. Въ заключеніе онъ сказалъ, что правительство не затѣмъ тратитъ деньги на жалованье чиновникамъ и учителямъ и на содержаніе казенныхъ воспитанниковъ, чтобъ увольнять ихъ до окончанія полнаго курса ученья, и слѣдовательно не воспользоваться ихъ службою по ученой части; что начальство гимназіи особенно должно дорожить такимъ мальчикомъ, который по отличнымъ способностямъ и поведенію обѣщаетъ со временемъ быть хорошимъ учителемъ.—Мать мою взорвала такая іезуитская двуличность; она забыла предостереженіе Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удив-

меня совсѣмъ изъ гимназіи и увезетъ въ деревню. Я совершенно повѣрилъ ей. Я привыкъ думать, что маменька можетъ сдѣлать все, что захочетъ, и счастливая будущность засіяла предо мной всѣми радужными цвѣтами счастливаго прошедшаго.

Мать моя отправилась изъ гимназіи прямо къ Бенису: его не было дома. Она бросилась (въ буквальномъ смыслѣ) къ ногамъ его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ей возвратили изъ гимназіи сына. Мадамъ Бенисъ, понимавшая материнскія чувства, приняла живое участіе и увѣрила ее, что Христіанъ Карлычъ сдѣлаетъ все, что можетъ, что она за него ручается. Докторъ скоро пріѣхалъ. Обѣ женщины, каждая по своему, приступили къ нему съ просьбами; но Бениса убѣждать было не нужно; онъ сказалъ, что это его собственная мысль, что онъ уже намекнулъ объ этомъ директору, но что по несчастію вмѣстѣ съ нимъ былъ главный надзиратель, который сильно этому воспротивился и, кажется, успѣлъ склонить директора на свою сторону; что директоръ, хотя человѣкъ слабый, но не злой, что надежда на успѣхъ не потеряна. Тутъ мать разсказала всѣ несправедливыя придирки ко мнѣ и постоянное преслѣдованіе главнаго надзирателя. Бенисъ самъ не любилъ его за присвоеніе власти, ему не принадлежащей; онъ не только не смягчилъ раздраженія моей матери, но усилилъ его, и она возненавидѣла Камашева, какъ лютѣйшаго своего и моего врага. Хозяева поступили съ моей матерью, какъ друзья, какъ родные, уложили ее на диванъ и заставили съѣсть что-нибудь, потому что послѣднія сутки она не пила даже чая; дали ей какое-то лѣкарство, а главное увѣрили ее, что моя болѣзнь чисто нервная и что въ деревнѣ, въ своей семьѣ, я скоро совершенно оправлюсь. Рѣшено было вести съ главнымъ надзирателемъ открытую войну. На другой день, поутру, мать моя должна была пріѣхать къ директору до пріѣзда къ нему Камашева съ рапортомъ, выпросить позволеніе пріѣзжать ко мнѣ въ больницу два раза въ день, и потомъ вымолить обѣщаніе: отпустить меня въ деревню на попеченіе родителей, впредь до выздоровленія, если докторъ найдетъ это нужнымъ. Бенисъ просилъ только не жаловаться на Камашева, не говорить о немъ ничего дурного и не поминать объ его личномъ нерасположеніи и преслѣдованіяхъ ея больного сына. Призывая благословеніе Божіе на доктора и его жену, высказавъ

имъ все, что можетъ высказать благодарное материнское сердце, мать уѣхала отдохнуть на свою квартиру. Отдохновеніе было ей необходимо: двѣнадцать дней такой дороги, почти безъ сна и пищи, и цѣлый день такихъ душевныхъ мучительныхъ волненій могли свалить съ ногъ и крѣпкаго мужчину, а мать моя была больная женщина. Но Богъ въ немощныхъ являетъ свою крѣпость и силу, и уснувъ нѣсколько часовъ, мать моя проснулась бодрою и твердою. Въ девять часовъ утра она сидѣла уже въ гостиной директора. Онъ вышелъ немедленно и встрѣтилъ ее съ явнымъ предубѣжденіемъ, которое однако скоро прошло. Искренность горя и убѣдительность слезъ нашли путь къ его сердцу; безъ большого труда, онъ позволилъ матери моей пріѣзжать въ больницу каждый день по два раза и оставаться до восьми часовъ вечера; но просьба объ увольненіи меня изъ гимназіи встрѣтила большое сопротивленіе. Можетъ быть и тутъ слезы и мольбы одержали бы побѣду, но вдругъ вошелъ главный надзиратель, и сцена перемѣнилась. Директоръ возвысилъ голосъ и съ твердостью сказалъ, что увольнять казенныхъ воспитанниковъ по нездоровью, или потому, что они станутъ тосковать, разставшись съ семействомъ,—дѣло неслыханное: въ первомъ случаѣ, это значитъ признаться въ плохомъ состояніи врачебныхъ пособій и присмотра за больными, а въ послѣднемъ это просто смѣшно; какой же мальчикъ, особенно избалованный, привыкшій только заниматься дѣтскими играми, не будетъ тосковать, когда его отдадутъ въ училище?—Камашевъ сейчасъ присоединился къ директору и поддержалъ его слова многими, весьма разсудительными и въ то же время язвительными рѣчами. Онъ упомянулъ о вредныхъ слѣдствіяхъ женскаго воспитанія, материнскаго баловства и дурныхъ примѣровъ неуваженія, непокорности, дерзости и неблагодарности. Въ заключеніе онъ сказалъ, что правительство не затѣмъ тратитъ деньги на жалованье чиновникамъ и учителямъ и на содержаніе казенныхъ воспитанниковъ, чтобъ увольнять ихъ до окончанія полнаго курса ученья, и слѣдовательно не воспользоваться ихъ службою по ученой части; что начальство гимназіи особенно должно дорожить такимъ мальчикомъ, который по отличнымъ способностямъ и поведенію обѣщаетъ со временемъ быть хорошимъ учителемъ.—Мать мою взорвала такая іезуитская двуличность; она забыла предостереженіе Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удив-

леніе, „что г. Камашевъ хвалилъ ея сына, тогда какъ, съ самаго его вступленія, онъ постоянно преслѣдовалъ бѣднаго мальчика всякими пустыми придирками, незаслуженными выговорами и насмѣшками, надавалъ ему разныхъ обидныхъ прозвищъ: *плаксы, матушкина сынка* и проч., которыя, разумѣется, повторялись всѣми учениками; что такое несправедливое гоненіе г. главнаго надзирателя было единственною причиною, почему обыкновенная тоска дитяти, разлученнаго съ семействомъ, превратилась въ болѣзнь, которая угрожаетъ печальными послѣдствіями, что она признаетъ г. главнаго надзирателя личнымъ своимъ врагомъ, который присвоиваетъ себѣ власть, ему не принадлежащую, который хотѣлъ выгнать ее изъ больницы, несмотря на позволеніе директора, и что г. Камашевъ, какъ человѣкъ пристрастный, не можетъ быть судьей въ этомъ дѣлѣ". Директоръ былъ нѣсколько озадаченъ; но обозлившійся главный надзиратель возразилъ ей, „что она сама, по своей безразсудной горячности, портитъ все дѣло; что въ отсутствіе его она пользовалась слабостью начальства, брала сына безпрестанно на домъ, безпрестанно пріѣзжала въ гимназію, возвращалась съ дороги, наконецъ черезъ два мѣсяца опять пріѣхала, и что такимъ образомъ не даетъ возможности мальчику привыкнуть къ его новому положенію; что причиною его болѣзни она сама, а не строгое начальство, и что настоящій ея пріѣздъ надѣлаетъ много зла, потому что сынъ ея, который уже выздоравливалъ, сегодня поутру сдѣлался очень боленъ".—При этихъ словахъ мать моя вскрикнула и упала въ обморокъ. Добродушный директоръ ужасно перепугался и не зналъ, что дѣлать. Обморокъ продолжался около часу; кое-какъ привели ее въ чувство. Первыя слова ея были: „пустите меня къ сыну". Перепуганный и сжалившійся директоръ, обрадованный, что мать моя по крайней мѣрѣ не умерла (чего онъ очень опасался, какъ самъ разсказывалъ послѣ), подтвердилъ приказаніе Камашеву, чтобы мою мать всегда пускать въ больницу, куда она сейчасъ и уѣхала. Въ больницѣ встрѣтилъ ее докторъ и по возможности успокоилъ. Онъ поклялся, что моя новая болѣзнь, лихорадка, ничего не значитъ, что это слѣдствіе нервнаго потрясенія и что она даже можетъ быть полезна для моихъ обыкновенныхъ припадковъ. Въ самомъ дѣлѣ, первый лихорадочный пароксизмъ былъ очень легокъ, и хотя на другой онъ повторился сильнѣе, и хотя лихорадка въ такомъ видѣ

написала, „что это послѣднее ея посѣщеніе, что если онъ ее не приметъ, то она не выйдетъ изъ его пріемной, пока ее не выгонятъ, и что вѣрно онъ не поступитъ такъ жестоко съ несчастной матерью“. Дѣлать было нечего. Директоръ вышелъ въ гостиную, и опять не устоялъ передъ выраженіемъ истинной скорби и даже отчаянія. Онъ далъ честное слово исполнить все, о чемъ просила его мать,—и сдержалъ свое слово. На другой же день состоялось опредѣленіе гимназическаго совѣта, совершенно согласное съ желаніемъ Бениса и вчерашнею просьбою моей матери, чего, впрочемъ, никто не зналъ, кромѣ самого директора; всѣ напротивъ считали свидѣтельство постороннихъ врачей оскорбленіемъ для Бениса и были увѣрены, что врачи съ нимъ не согласятся. Пригласили городового штабъ-лѣкаря и одного изъ членовъ Врачебной Управы. Но Бенисъ, предварительно увѣренный въ ихъ согласіи съ своимъ мнѣніемъ, спокойно дожидался развязки: его увѣренность успокоила нѣсколько мою мать, которая въ свою очередь старалась успокоить и меня. Она разсказывала мнѣ, съ величайшей подробностью, всѣ свои поступки и всѣ свои переговоры, она старалась увѣрить меня, что, несмотря на препятствія, надежда на успѣхъ ее не покидаетъ; но я только по временамъ, и то не надолго, обольщался этой надеждой: освобожденіе изъ каменнаго острога, какъ я называлъ гимназію, и возвращеніе въ семейство, въ деревню — казалось мнѣ блаженствомъ недостижимымъ, несбыточнымъ. Переписка съ властями о назначеніи докторовъ тянулась какъ-то медленно, и, по настоянію главнаго надзирателя, директоръ приказалъ выписать меня изъ больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла. Бенисъ долженъ былъ согласиться. Я опять поступилъ въ комнату къ Упадышевскому и нашелъ кровать свою никѣмъ не занятою. Послѣ довольно продолжительнаго пребыванія на свободѣ, въ тихой и спокойной больничной комнатѣ, сталъ еще противнѣе для меня весь порядокъ и шумный образъ жизни посреди моихъ гимназическихъ товарищей. При томъ такое перемѣщеніе показалось мнѣ зловѣщимъ признакомъ, что меня не хотятъ отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то въ общей пріемной залѣ. Все это вмѣстѣ нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились съ прежнею силою, какъ будто и не прекращались. Благодареніе Богу, такое мучи-

совѣтъ донесеніе доктора Бениса. Онъ писалъ, что находитъ совершенно необходимымъ возвратить воспитанника Аксакова въ родительскій домъ, именно въ деревню; что моя болѣзнь такого рода, что только одинъ деревенскій воздухъ и жизнь на родинѣ, посреди своего семейства, могутъ побѣдить ее; что никакія медицинскія средства въ больницѣ не помогутъ; что припадки мои угрожаютъ переходомъ въ эпилепсію, которая можетъ окончиться апоплексіей, или поврежденіемъ умственныхъ способностей. Не могу сказать, до какой степени было это справедливо; но докторъ этимъ не удовольствовался: онъ утверждалъ, что у меня есть какое-то расширеніе въ колѣнкахъ и горбоватость ножныхъ костей, что для этого также нужно тѣлодвиженіе на вольномъ воздухѣ и продолжительное употребленіе декокта (какого, не помню), которымъ предлагалъ снабдить меня изъ казенной аптеки. Кажется, все послѣднее было несправедливо; хотя точно я имѣлъ очень толстыя колѣнки, но у дѣтей это часто бываетъ и проходитъ само собой. Тѣмъ не менѣе, такіе пустые наружные признаки были найдены впослѣдствіи вполнѣ уважительными. Началось дѣло въ совѣтѣ, въ которомъ, подъ предсѣдательствомъ директора, присутствовали главный надзиратель и трое старшихъ учителей. Камашевъ, отъ котораго прежде все зависѣло, употребилъ свое вліяніе, и учителя приняли его сторону. Директоръ колебался. Хотѣли дать предписаніе Бенису, чтобъ онъ пригласилъ на консиліумъ инспектора Врачебной Управы и вновь испыталъ надо мной медицинскія пособія, но Бенисъ предварительно объявилъ, что онъ не исполнитъ этого предписанія и донесетъ совѣту, чтобъ онъ скорѣе уволилъ меня, потому что, по прошествіи лихорадки, сейчасъ оказались признаки возобновленія прежнихъ припадковъ, что и было совершенно справедливо. — Видя, что дѣло идетъ не хорошо, бѣдная мать моя пришла въ совершенное отчаяніе. Наконецъ Бенисъ посовѣтовалъ ей просить директора, чтобъ онъ приказалъ при себѣ освидѣтельствовать меня гимназическому доктору вмѣстѣ съ другими посторонними докторами, и чтобы согласился съ ихъ мнѣніемъ — и мать моя поѣхала просить директора. Желая избавиться отъ скучныхъ просьбъ и слезъ, онъ велѣлъ сказать, что никакъ не можетъ принять ее сегодня и проситъ пожаловать въ другое время; но какъ такой отказъ былъ уже не первый, то мать приготовила письмо, въ которомъ

написала, „что это послѣднее ея посѣщеніе, что если онъ ее не приметъ, то она не выйдетъ изъ его пріемной, пока ее не выгонятъ, и что вѣрно онъ не поступитъ такъ жестоко съ несчастной матерью“. Дѣлать было нечего. Директоръ вышелъ въ гостиную, и опять не устоялъ передъ выраженіемъ истинной скорби и даже отчаянія. Онъ далъ честное слово исполнить все, о чемъ просила его мать,—и сдержалъ свое слово. На другой же день состоялось опредѣленіе гимназическаго совѣта, совершенно согласное съ желаніемъ Бениса и вчерашнею просьбою моей матери, чего, впрочемъ, никто не зналъ, кромѣ самого директора; всѣ напротивъ считали свидѣтельство постороннихъ врачей оскорбленіемъ для Бениса и были увѣрены, что врачи съ нимъ не согласятся. Пригласили городового штабъ-лѣкаря и одного изъ членовъ Врачебной Управы. Но Бенисъ, предварительно увѣренный въ ихъ согласіи съ своимъ мнѣніемъ, спокойно дожидался развязки: его увѣренность успокоила нѣсколько мою мать, которая въ свою очередь старалась успокоить и меня. Она разсказывала мнѣ, съ величайшей подробностью, всѣ свои поступки и всѣ свои переговоры, она старалась увѣрить меня, что, несмотря на препятствія, надежда на успѣхъ ее не покидаетъ; но я только по временамъ, и то не надолго, обольщался этой надеждой: освобожденіе изъ каменнаго острога, какъ я называлъ гимназію, и возвращеніе въ семейство, въ деревню — казалось мнѣ блаженствомъ недостижимымъ, несбыточнымъ. Переписка съ властями о назначеніи докторовъ тянулась какъ-то медленно, и, по настоянію главнаго надзирателя, директоръ приказалъ выписать меня изъ больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла. Бенисъ долженъ былъ согласиться. Я опять поступилъ въ комнату къ Упадышевскому и нашелъ кровать свою никѣмъ не занятою. Послѣ довольно продолжительнаго пребыванія на свободѣ, въ тихой и спокойной больничной комнатѣ, сталъ еще противнѣе для меня весь порядокъ и шумный образъ жизни посреди моихъ гимназическихъ товарищей. При томъ такое перемѣщеніе показалось мнѣ зловѣщимъ признакомъ, что меня не хотятъ отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то въ общей пріемной залѣ. Все это вмѣстѣ нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились съ прежнею силою, какъ будто и не прекращались. Благодареніе Богу, такое мучи-

тельное состояніе продолжалось не долго. Ровно черезъ недѣлю, когда воспитанники, послѣ ужина, сошли въ спальныя комнаты и начали раздѣваться, Евсеичъ сунулъ мнѣ въ руку записочку отъ матери и сказалъ: „прочтите такъ, чтобы никто не видалъ“. Мать писала ко мнѣ, чтобъ на другой день поутру я не вставалъ съ постели, а сказалъ-бы Василію Петровичу, что у меня ломятъ ноги, особенно колѣнки, и попросился-бы въ больницу. Записочку приказано было сжечь, что я сейчасъ исполнилъ. Ложь была совершенно мнѣ незнакома. Мать особенно строго за нее взыскивала, и я очень изумился такому приказанію. Хотя какая-то темная догадка мелькала у меня въ умѣ, что эта ложь будетъ способствовать моему освобожденію изъ гимназіи, но я долго не могъ заснуть, смущаясь, что завтра долженъ сказать неправду, которую и Василій Петровичъ и докторъ сейчасъ увидятъ и уличатъ меня. На другой день, когда дядька сталъ меня будить, я сказалъ ему, что у меня болятъ ноги и что я хочу опять въ больницу. Легкая улыбка искривила ротъ моего Евсеича, и онъ пошелъ доложить о томъ Упадышевскому, который, къ удивленію моему, не обративъ на это никакого вниманія, весьма равнодушно сказалъ: „хорошо; такъ пусть онъ не встаетъ, я только провожу дѣтей на верхъ, а потомъ приду за нимъ и отведу его въ больницу“. Но товарищи не оставили меня въ покоѣ и многіе изъ нихъ, сдергивая съ моей головы одѣяло, которымъ я нарочно закрылся, спрашивали меня: „отчего же ты не встаешь?“ Смущаясь и краснѣя, принужденъ я былъ солгать еще нѣсколько разъ. Со смѣхомъ отвѣчали мнѣ: „ты врешь; лѣнь учиться, въ больницѣ понравилось!“ Шумная ватага мальчиковъ, построясь въ комнатный фронтъ, ушла на верхъ. Упадышевскій воротился и, не разспросивъ меня о болѣзни, отвелъ въ больницу и сдалъ съ рукъ на руки подлѣкарю Риттеру и больничному надзирателю. Меня помѣстили въ прежней комнатѣ. Въ девять часовъ пріѣхалъ Бенисъ и, начавъ меня осматривать, предупредилъ словами: „вѣрно у васъ разболѣлись ноги? Я этого ожидалъ“, и, указывая подлѣкарю и надзирателю на мои колѣнки, онъ прибавилъ: „посмотрите, какъ они въ одну недѣлю распухли и жаръ въ нихъ усилился“. Колѣнки мои были совершенно въ прежнемъ положеніи, жара я не чувствовалъ, и съ изумленіемъ замѣтилъ, что всѣ какъ-будто сговорились лгать. Еще болѣе изумила меня мать, которая

пріѣхала вслѣдъ за Бенисомъ, и безъ всякаго смущенія разсуждала съ нимъ и съ другими о моей новой, небывалой болѣзни. Когда мы остались наединѣ, я посмотрѣлъ на нее съ изумленіемъ и спросилъ: „маменька, что это значитъ?“ Она обняла меня и сказала: „что дѣлать, мой другъ! это необходимо, такъ приказалъ Бенисъ. На этихъ дняхъ тебя будутъ свидѣтельствовать другіе доктора, и ты долженъ имъ сказать, что у тебя болятъ ноги. Христіанъ Карлычъ увѣряетъ, что оттого тебя выпустятъ изъ гимназіи“. Лучъ надежды блеснулъ въ моей душѣ, хотя я не видѣлъ особенныхъ причинъ предаваться ей. Черезъ два дня, вечеромъ, сказала мнѣ мать, что завтра будутъ меня свидѣтельствовать, повторила мнѣ все, что я долженъ говорить о болѣзни своихъ ногъ, и убѣждала, чтобъ я отвѣчалъ смѣло и не запинался. Въ слѣдующій день, въ одиннадцать часовъ, вошли ко мнѣ въ комнату: директоръ, главный надзиратель, Бенисъ съ двумя неизвѣстными мнѣ докторами, трое учителей, присутствовавшихъ въ совѣтѣ, и Упадышевскій. Небольшая моя комната наполнилась людьми, всѣмъ подали кресла, и всѣ торжественно разсѣлись около моей постели. Я такъ смутился, что мнѣ сейчасъ начало дѣлаться дурно; впрочемъ, я скоро оправился безъ лѣкарства и услышалъ, что Бенисъ разсказываетъ докторамъ исторію моей болѣзни, иногда по-латынѣ, но большею частью по-русски; во многомъ онъ ссылался на Упадышевскаго, котораго тутъ-же разспрашивали. Призванъ былъ также мой дядька, которому было сдѣлано нѣсколько вопросовъ о состояніи моего здоровья до поступленія въ гимназію. Меня самого также очень много спрашивали; доктора часто подходили мнѣ, щупали мою грудь, животъ и пульсъ, смотрѣли языкъ; когда дѣло дошло до колѣнокъ и до ножныхъ костей, то всѣ трое обступили меня, всѣ трое вдругъ стали тыкать пальцами въ мнимо-больныя мѣста, и заговорили очень серьезно и съ одушевленіемъ. Я помню, что часто упоминались слова: „лимфа, пасока, скорбутъ“. Насилу кончилось это тягостное, очень утомившее меня, свидѣтельство; оно продолжалось по крайней мѣрѣ часъ. Когда всѣ ушли, я немедленно заснулъ, а проснувшись увидѣлъ сидящую предо мною мать и простывшій больничный обѣдъ на столѣ. Мать моя хотя надѣялась, но рѣшительно еще ничего не знала. Она немедленно уѣхала къ Бенису, и часа черезъ два опять пріѣхала ко мнѣ съ блистающимъ

радостью лицомъ: доктора прямо отъ меня отправились въ совѣтъ гимназіи, гдѣ подписали общее свидѣтельство, въ которомъ было сказано, что „совершенно соглашаясь съ мнѣніемъ г-на доктора Бениса, они считаютъ необходимымъ возвратить казеннаго воспитанника Аксакова на попеченіе родителей въ деревню; а къ прописанному для больного декокту полагаютъ не лишнимъ прибавить такіе-то медикаменты и предписать впослѣдствіи крѣпительныя холодныя ванны". Директоръ положительно согласился, трое учителей послѣдовали его примѣру; но главный надзиратель остался при своемъ мнѣніи и не подписалъ журнала [1]); впрочемъ это ничему не мѣшало.

И такъ совершилось желанное событіе, такъ долго казавшееся несбыточною мечтою! Мать моя сіяла блаженствомъ; она плакала, смѣялась, всѣхъ обнимала, особенно Упадышевскаго и Евсеича,—благодарила Бога. Я былъ такъ счастливъ, что по временамъ не вѣрилъ счастью, думалъ, что я вижу прекрасный сонъ, боялся проснуться и, обнимая мать, спрашивалъ ее: „правда-ли это?" Долѣе всѣхъ вечеровъ просидѣла она со мной, и Упадышевскій не одинъ разъ приходилъ и просилъ ее уѣхать. Камашевъ не измѣнилъ себѣ до конца; онъ предложилъ совѣту: взыскать съ моей матери, за пятимѣсячное пребываніе мое въ гимназіи, всѣ издержки, употребленныя на мое содержанье и ученье. Но директоръ не согласился на такое предложеніе, сказавъ, что воспитанника не исключаютъ совсѣмъ, а только возвращаютъ родителямъ до выздоровленія. На третій день послѣ свидѣтельства пригласили мою мать въ совѣтъ, обязали ее подпиской: представить въ гимназію сына по выздоровленіи, и позволили взять меня. Мать, прямо изъ совѣта, въ послѣдній разъ пришла въ больницу; Евсеичъ переодѣлъ меня въ мое прежнее платье и сдалъ всѣ казенныя вещи и книги. Съ горячими слезами благодарности простились мы съ Упадышевскимъ и больничнымъ надзирателемъ. Мать взяла меня за руку и, въ сопровожденіи Евсеича, вывела на крыльцо... Я вскрикнулъ отъ радостнаго изумленія: передъ крыльцомъ стояла наша деревенская карета, запряженная четверкой нашихъ доморощенныхъ лошадей; на козлахъ сидитъ знакомый кучеръ, а на подсѣдельной еще болѣе знакомый форейторъ, всегда

1) Копіи со всѣхъ бумагъ долго у насъ хранились.

достававшій мнѣ червяковъ для уженья. Ѳедоръ и Евсеичъ посадили меня въ старую колымагу подлѣ матери, и мы поѣхали на квартиру. Карета, люди и лошади были присланы отцомъ моимъ изъ деревни. Несмотря на радость, которою былъ не только проникнутъ, но можно сказать ошеломленъ, я такъ расплакался, прощаясь съ Василіемъ Петровичемъ, что даже въ деревенской каретѣ продолжалъ плакать. Въ самомъ дѣлѣ, доброта этого человѣка, его безкорыстное нѣжное участіе, доходившее до самоотверженія, къ людямъ совершенно постороннимъ, стоили самой искренней благодарности; надобно къ этому прибавить, что, находясь нѣсколько лѣтъ въ гимназіи, онъ неминуемо долженъ былъ привыкнуть къ подобнымъ явленіямъ, а сердца, не покоряющіяся привычкѣ, встрѣчаются не часто. На квартирѣ ожидали меня радостныя слезы Параши и даже хозяйки дома, все той-же капитанши Аристовой, которая также принимала участіе въ нашемъ положеніи [1]). Въ тотъ же день вечеромъ мы съ матерью ѣздили къ доктору Бенису благодарить и проститься. Надобно отдать должную справедливость и этому человѣку, который, не знаю почему, имѣлъ въ городѣ репутацію холоднаго „интересана“, что въ отношеніи къ намъ онъ поступалъ обязательно и безкорыстно; онъ не только не взялъ съ насъ ни копѣйки денегъ, но даже не принялъ подарка, предложеннаго ему матерью на память объ одолженныхъ имъ людяхъ; докторамъ-же, которые свидѣтельствовали меня, онъ подарилъ отъ насъ по 25 рублей за безпокойство, какъ-будто за консиліумъ; разумѣется, мать отдала ему эти деньги. И такъ, осталось благодарить Бениса словами, слезами и молитвами за него Богу—и мать благодарила такъ отъ души, такъ горячо, что Бенисъ и жена его были очень растроганы. Что касается до меня, то я какъ-то не растрогался, и хотя я очень хорошо зналъ, что единственно Бенису обязанъ за освобожденіе изъ гимназіи, но я не заплакалъ и благодарилъ очень вяло и пошло, за что мать послѣ мнѣ очень пеняла. На другой день поутру мы отправились въ соборъ и потомъ къ Казанской Божіей Матери, и отслужили благодарственные молебны. Заѣхали къ директору, но его не было дома, или онъ не хотѣлъ насъ принять. Воротясь домой, мы нашли у насъ Василія Петровича, который еще разъ пришелъ пови-

[1]) Мать моя съ почтоваго двора немедленно переѣхала къ ней.

даться съ нами и проститься. Онъ также отказался принять подарокъ на память и отвѣчалъ коротко и ясно: „не обижайте меня, Марья Николавна“. Съ нимъ прощался я совсѣмъ не такъ, какъ съ Бенисомъ: я ужасно расплакался; долго не могли меня унять, даже боялись возвращенія припадка, но какія-то новыя капли успокоили мое волненіе; должно замѣтить, что это лѣкарство, въ послѣдніе дни, уже въ третій разъ не допускало развиться дурнотѣ. По уходѣ Упадышевскаго, мы кое-какъ пообѣдали и сейчасъ принялись укладываться. Намъ какъ-то страшно было оставаться въ Казани, и каждый часъ промедленія казался долгимъ днемъ; къ вечеру все было готово. Вечеръ наступилъ теплый, совершенно лѣтній, и мы съ матерью легли спать въ каретѣ. На разсвѣтѣ, безъ всякаго шума, заложили лошадей и, не разбудивъ меня, тихо выѣхали изъ Казани. Когда я проснулся, яркое солнце свѣтило въ карету. Параша спала, а мать сидѣла возлѣ меня и плакала самыми радостными, благодарными Богу, слезами; это чувство такъ выражалось въ ея глазахъ, что никто-бы не опечалился, а скорѣе порадовался, увидя ея слезы. Она обняла свое ненаглядное дитя, и потокъ нѣжныхъ рѣчей и ласкъ высказалъ ея внутреннее состояніе. Это было 19-го мая, день рожденія моей милой сестры. Прекрасное, даже жаркое, весеннее утро настоящаго майскаго дня обливало горячимъ свѣтомъ всю природу. Въ окна кареты заглянули зеленыя, молодыя хлѣбныя поля, луга и лѣса; мнѣ такъ захотѣлось окинуть глазами всѣ края далекаго горизонта, что я попросилъ остановиться, выскочилъ изъ кареты и началъ бѣгать и прыгать, какъ самое рѣзвое пятилѣтнее дитя; тутъ только я вполнѣ почувствовалъ себя на свободѣ. Мать любовалась, глядя на меня изъ кареты. Я обнялъ Евсеича и Ѳедора, поздоровался съ кучеромъ и форрейторомъ, который успѣлъ сказать мнѣ, что рыба начинала шибко клевать, когда онъ уѣзжалъ изъ Аксакова. Я поздоровался также со всѣми лошадьми: Евсеичъ взялъ меня на руки, поднялъ, и я погладилъ каждую изъ нихъ. Это былъ славный шестерикъ, бурой и караковой масти, такой породы лошадей, о какой давно и слуху нѣтъ въ Оренбургской губерніи; но лѣтъ двадцать помнили ее и говорили о ней. Лошади были крупныя, четырехъ-вершковыя, сильныя до невѣроятности, рысистыя, не задушливыя на бѣгу и не знавшія устали. Въ тяжелыхъ экипажахъ дѣлали на нихъ по 80 и

по 90 верстъ въ день.—Боже мой, какъ было мнѣ весело! Насилу усадили меня въ карету; но я высунулся въ окошко и ѣхалъ такъ до самой кормежки, радостными восклицаніями привѣтствуя все, что попадалось на дорогѣ. Наконецъ сверкнула полоса воды—это была рѣка Мёша, не очень большая, но глубокая и чрезвычайно рыбная; по ней ходилъ довольно плохой плотъ на веревкѣ. Мы переправлялись долго: лошадей ставили только по одной парѣ, а карету едва перевезли; ее облегчили отъ сундуковъ и другихъ тяжестей, и несмотря на то, плотъ погружался въ воду. Мы съ матерью переѣхали прежде всѣхъ на другой берегъ; цвѣтущая и душистая урема покрывала его. Я не помнилъ себя отъ восхищенія. Запасливый форрейторъ, страстный охотникъ удить, взялъ съ собою изъ деревни совсѣмъ готовую удочку съ удилищемъ, которая и была привязана подъ каретой къ дрожинѣ; ее сейчасъ отвязали, и пока совершалась переправа, я уже удилъ на хлѣбъ и таскалъ плотву. Кромѣ Дёмы, я не видывалъ рѣки рыбнѣе Мёши; рыба кипѣла въ ней, какъ говорится, и такъ брала, только успѣвай закидывать. Мудрено-ли, что послѣ освобожденія изъ гимназическаго плѣна эта кормежка показалась мнѣ блаженствомъ! На оставленномъ нами берегу находилась чья-то господская деревня; тамъ достали овса, сѣна, курицу, яицъ и всѣ нужные припасы. Какой обѣдъ на желѣзномъ таганѣ приготовилъ намъ Евсеичъ, который былъ немножко и поваръ! Сковорода жареной рыбы также показалась очень вкуснымъ блюдомъ. Мы уже отъѣхали тридцать верстъ отъ Казани, кормили четыре часа и пустились въ дальнѣйшій путь. Набѣжали тучи, загремѣлъ громъ, дождь вспрыснулъ землю, и ѣхать было не жарко и не пыльно; сначала ѣхали шагомъ, а потомъ побѣжали такою рысью, что уѣзжали болѣе десяти верстъ въ часъ. Скоро небо прояснилось и великолѣпное солнце осушило слѣды дождя; мы отъѣхали еще сорокъ верстъ и остановились ночевать въ полѣ, потому что на кормежкѣ запаслись всѣмъ нужнымъ для ночевки. Опять множество новыхъ удовольствій, новыхъ наслажденій! Выпрягли, спутали лошадей и пустили ихъ на сочную молодую траву; развели яркій огонь, наложили дорожный самоваръ, то-есть, огромный чайникъ съ трубою, постлали кожу возлѣ кареты, поставили погребецъ и подали чай. Какъ онъ былъ хорошъ на свѣжемъ вечернемъ воздухѣ! Черезъ два часа напоили остывшихъ коней, разбили хребтуги

ГОДЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Первые дни были днями самозабвенія и суматошной дѣятельности. Прежде всего я навѣстилъ своихъ голубей и двухъ перезимовавшихъ ястребовъ. Я обѣгалъ всѣ знакомыя, всѣ любимыя мѣста, а ихъ нашлось не мало. Около дома, въ саду, въ огородѣ и въ ближайшей рощѣ съ грачевыми гнѣздами, вездѣ бѣгала со мною сестрица, уцѣпясь за мою руку, и даже показывала, какъ хозяйка, кое-что сдѣланное безъ меня, и въ томъ числѣ огромную и высокую паровую гряду изъ навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Обѣгали мы также съ ней и въ кладовые амбары, гдѣ хранилось много драгоцѣнностей: мѣдные, желѣзные и рѣзной костью оклеенные ларцы съ разными штуфами и окаменѣлостями, подаренными нѣкогда моей матери какимъ-то важнымъ горнымъ чиновникомъ; посѣтили и ключницу Пелагею на погребѣ, и были угощены холодными густыми сливками съ чернымъ хлѣбомъ. Но къ рѣкѣ и за рѣку сестрицѣ не позволяли ходить со мною, и туда провожалъ меня Евсеичъ. Мы перешли съ нимъ черезъ мосточки на первый островъ, гдѣ стояла лѣтняя кухня и лежали широкіе лубки, на которыхъ сушили мятую пшеницу. Этотъ островокъ окружала съ двухъ сторонъ старица Бугуруслана, которая начинала пересыхать и зарастать таловыми кустами; мы перебрались черезъ нее по жердочкамъ и сейчасъ перешли на другой островъ побольше, также съ одного боку окруженный старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это

окошку: „вотъ наше Аксаково, какъ на ладонкѣ“—я сталъ такъ убѣдительно просить мою мать, что она не могла отказать мнѣ и позволила сѣсть съ кучеромъ на козлахъ. Не берусь передать, что чувствовало мое сердце, когда я увидѣлъ милое мое Аксаково! Нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ для выраженія такихъ чувствъ!...

Во все теченіе моей жизни я продолжалъ испытывать, приближаясь къ Аксакову, подобныя ощущенія; но нѣсколько лѣтъ тому назадъ, послѣ двѣнадцатилѣтняго отсутствія, также довольно рано, подъѣзжалъ я къ тому же Аксакову; сильно билось мое сердце отъ ожиданія, я надѣялся прежнихъ радостныхъ волненій! Я вызвалъ милое прошедшее, и рой воспоминаній окружилъ меня.... но не весело, а болѣзненно, мучительно подѣйствовали они на мою душу, и мнѣ стало невыразимо тяжело и грустно. Подобно волшебнику, который, вызвавъ духовъ, не умѣетъ съ ними сладить и не знаетъ куда отъ нихъ дѣваться,—не зналъ я, какъ мнѣ прогнать мои воспоминанія, какъ успокоить нерадостное волненіе. Старые мѣха не выдерживаютъ молодого вина, и старое сердце не выноситъ молодыхъ чувствъ.... но тогда, Боже мой, что было тогда!

Нѣсколько разъ я чувствовалъ стѣсненіе въ груди и готовъ былъ упасть; но я молчалъ, крѣпко держался за ручку козелъ и кучера, и стѣсненіе проходило само собою.—Быстро скатилась карета подъ изволокъ, переѣхала черезъ плохой мостъ на Бугурусланѣ, завязла было въ топи у Крутца, но, выхваченная сильными конями, пронеслась мимо камышей, пруда, деревни—и вотъ нашъ сельскій домъ, и на крыльцѣ его—отецъ съ милой моей сестрицей. Когда мы подъѣхали, она всплеснула рученками и закричала: „братецъ Сереженька на козлахъ!...“ Выбѣжала тётка и вывела брата, кормилица вынесла маленькую мою сестру! Сколько объятій, поцѣлуевъ, радости, вопросовъ и отвѣтовъ! Сбѣжалась вся дворня, даже крестьяне, случившіеся дома, и куча мальчишекъ и дѣвочекъ. Отецъ мой очень обрадовался; онъ не вѣрилъ, чтобъ удалось высвободить меня изъ гимназіи; послѣднюю недѣлю некогда было писать къ нему изъ Казани и онъ ничего не зналъ, что тамъ происходило.

ГОДЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Первые дни были днями самозабвенія и суматошной дѣятельности. Прежде всего я навѣстилъ своихъ голубей и двухъ перезимовавшихъ ястребовъ. Я обѣгалъ всѣ знакомыя, всѣ любимыя мѣста, а ихъ нашлось не мало. Около дома, въ саду, въ огородѣ и въ ближайшей рощѣ съ грачевыми гнѣздами, вездѣ бѣгала со мною сестрица, уцѣпясь за мою руку, и даже показывала, какъ хозяйка, коечто сдѣланное безъ меня, и въ томъ числѣ огромную и высокую паровую гряду изъ навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Сбѣгали мы также съ ней и въ кладовые амбары, гдѣ хранилось много драгоцѣнностей: мѣдные, желѣзные и рѣзной костью оклеенные ларцы съ разными штуфами и окаменѣлостями, подаренными нѣкогда моей матери какимъ-то важнымъ горнымъ чиновникомъ; посѣтили и ключницу Пелагею на погребѣ, и были угощены холодными густыми сливками съ чернымъ хлѣбомъ. Но къ рѣкѣ и за рѣку сестрицѣ не позволяли ходить со мною, и туда провожалъ меня Евсеичъ. Мы перешли съ нимъ черезъ мосточки на первый островъ, гдѣ стояла лѣтняя кухня и лежали широкіе лубки, на которыхъ сушили мытую пшеницу. Этотъ островокъ окружала съ двухъ сторонъ старица Бугуруслана, которая начинала пересыхать и заростать таловыми кустами; мы перебрались черезъ нее по жердочкамъ и сейчасъ перешли на другой островъ побольше, также съ одного боку окруженный старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это

было любимое мѣсто моей тетки Евгеньи Степановны, все засаженное по берегу рѣки березами и пересѣченное посрединѣ липовой аллеей. Очевидно, что это мѣсто давно понравилось еще моему дѣдушкѣ и что онъ засадилъ его деревьями задолго до рожденія меньшей своей дочери Евгеши, какъ онъ называлъ ее: потому что деревьямъ было лѣтъ по пятидесяти, а дочери — тридцать пять. Евгенья Степановна, хотя не получила никакого воспитанія, какъ и всѣ ея сестры, но имѣла въ душѣ какое-то влеченіе къ образованности и любовь къ природѣ. У ней водились кое-какія книжечки: старинные романы (вѣроятно доставленные ей братомъ) и театральныя піески. Разумѣется я всѣ ихъ перечиталъ съ дозволенія и безъ дозволенія; особенно помню водевильчикъ, подъ названіемъ: „Драматическая Пустельга“. Тетка любила читать книжку на островѣ и удить рыбку въ глубокой старицѣ. На многихъ березахъ вырѣзала она свое имя и числа разныхъ годовъ и мѣсяцевъ, даже какіе-то стишки изъ пѣсенника. Какъ я любилъ этотъ островъ!.. Какъ хорошо было на немъ въ лѣтнія жары! Прохладная тѣнь и кругомъ вода! Съ одной стороны новая канавка, идущая отъ вешняка, соединялась съ водой, быстро бѣгущей изъ-подъ мельницы, а съ другой—прежнее русло Бугуруслана, еще глубокое и прозрачное, огибало островъ. Безъ сердечнаго трепета, безъ замиранья сердца, не могу я до сихъ поръ вспомнить лѣтняго полдня на этомъ островѣ. Теперь все перемѣнилось. Старица почти высохла; другая, новая канавка отвела воду отъ вешняка въ другую сторону; вездѣ разросся тальникъ и ольха, и островъ уже понапрасну сохраняетъ свое имя. Впрочемъ, если взять все пространство земли, идущее до плотины, то съ натяжкой оно можетъ еще называться прежнимъ именемъ. Налюбовавшись до сыта островомъ, оглядѣвъ каждое дерево, перечитавъ всѣ тетушкины надписи, насмотрѣвшись на головлей и язей, гулявшихъ или неподвижно стоявшихъ въ старицѣ, отправились мы съ Евсеичемъ на мельницу; но я забѣжалъ на *Антошкины мостки,* гдѣ часто уживалъ пискарей, и на кузницу, гдѣ я любилъ смотрѣть, какъ прядали искры изъ подъ молота, ковавшаго раскаленное желѣзо. Когда же я взбѣжалъ на плотину, и широкій прудъ открылся передо мной, съ своими зелеными камышами и лопухами, съ длинною плотиною, оброставшею молодыми ольхами, съ цѣлымъ міромъ своего птичьяго и рыбьяго населенія, съ вешня-

комъ, каузомъ и мельницей—я оцѣпенѣлъ отъ восторга и простоялъ, какъ вкопаный, нѣсколько минутъ. Мельникъ, по прозванью Болтуненокъ, очень меня любившій, приготовилъ мнѣ неожиданную потѣху: онъ разставилъ въ травахъ нѣсколько жерлицъ на щукъ, и нарочно не смотрѣлъ ихъ до моего прихода; онъ зналъ, что я приду непремѣнно; онъ посадилъ меня съ Евсеичемъ въ лодку и повезъ полоями до травы; вода была очень мелка, и тутъ я не боялся. Я самъ вынималъ каждую жерлицу, и на одной изъ нихъ сидѣла большая щука, которую я вытащилъ съ помощью Евсеича и съ торжествомъ несъ на своихъ рукахъ до самаго дома. Потомъ дня черезъ два отецъ свозилъ меня поудить и въ *Малую* и въ *Большую Урему*; онъ ѣздилъ со мной и въ *Антошкинъ врагъ*, гдѣ на самой вершинѣ горы былъ сильный родникъ и падалъ внизъ пылью и пѣной; и къ *Колодцу*, гдѣ родникъ бѣжалъ по нарочно подставленнымъ липовымъ колодамъ; и въ *Мордовскій врагъ*, гдѣ ключъ вырывался изъ каменной трещины у подошвы горы; и въ *Липовый* и въ *Потаенный Колокъ*, и на пчельникъ, между ними находившійся, состоящій изъ множества ульевъ. Тамъ жилъ постоянно, и лѣто и зиму, старый пчелякъ въ землянкѣ, также большой мой пріятель, у котораго былъ котъ *Тимошка* и кошка *Машка*, названные такъ въ честь моего отца и матери.

Въ такихъ-то пріятныхъ суетахъ и хлопотахъ прошли первыя двѣ недѣли послѣ нашего пріѣзда въ Аксаково. Нечего и говорить, какъ была счастлива моя мать, видя меня веселымъ, бодрымъ и повидимому здоровымъ. Она еще въ Казани взяла свои мѣры, чтобъ не пропало въ совершенной праздности время моей деревенской жизни и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости Божіей, поправлюсь здоровьемъ, можетъ быть черезъ годъ, то все же надобно будетъ представить меня опять въ гимназію,—она назначила мнѣ отъ двухъ до трехъ часовъ въ день для повторенія всего, чему я учился, для занятія чистописаніемъ и чтеніемъ ей вслухъ разныхъ книгъ, приличныхъ моему возрасту. Я исполнялъ это очень охотно, и деревенскія удовольствія становились для меня еще пріятнѣе послѣ занятій. Я принялся также доучивать мою милую ученицу, маленькаго моего друга, мою сестрицу, и на этотъ разъ съ совершеннымъ успѣхомъ.

Я уже сказалъ, что повидимому казался здоровымъ, но на дѣлѣ вышло не совсѣмъ такъ. Правда, по выходѣ изъ гимназіи не было у меня ни одного припадка; дорогой даже прошли стѣсненія и біенія сердца и въ деревнѣ не возобновлялись; но я сталъ каждую ночь бредить во снѣ болѣе, сильнѣе обыкновеннаго. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности, все приписывая излишнему бѣганью и живости дѣтскихъ впечатлѣній; тѣмъ болѣе, что до поступленія въ гимназію я часто грезилъ, чему подвержены бываютъ многія дѣти. Но теперь это начало принимать мало-по-малу другой характеръ. Во-первыхъ, я сталъ бредить постоянно всякую ночь, очень сильно, иногда по нѣсколько разъ. Во-вторыхъ, я сталъ не только говорить воснѣ, но вскакивать съ постели, плакать, рыдать и выбѣгать въ другія комнаты. Я спалъ вмѣстѣ съ отцомъ и матерью въ ихъ спальной, и кроватка моя стояла возлѣ ихъ кровати; дверь стали запирать изнутри на крючекъ, и позади ее въ корридорчикѣ спала ключница Пелагея для того, чтобы убѣжать сонному не было мнѣ никакой возможности. Ночной бредъ, усиливаясь день отъ дня, или, правильнѣе сказать, ночь отъ ночи, обозначился наконецъ очевиднымъ сходствомъ съ тѣми припадками, которымъ въ гимназіи я подвергался только въ продолженіи дня: я также плакалъ, рыдалъ и впадалъ въ безпамятство, которое переходило въ обыкновенный крѣпкій сонъ. Но эти ночные новые припадки были гораздо сильнѣе и страшнѣе прежнихъ денныхъ припадковъ и проявлялись съ большимъ разнообразіемъ. Иногда это былъ тихій плачъ и рыданья, всегда съ прижатыми къ груди руками, съ невнятнымъ шопотомъ какихъ-то словъ, продолжавшіеся цѣлые часы и переходившіе въ бѣшенство и судорожныя движенія, если меня начинали будить, чего впослѣдствіи никогда не дѣлали; утомившись отъ слезъ и рыданій, я засыпалъ уже сномъ спокойнымъ; но большого труда стоило, особенно сначала, чтобъ окружающіе могли вытерпѣть такое жалкое зрѣлище, не попробовавъ меня разбудить и помочь мнѣ хоть чѣмъ-нибудь. Мнѣ разсказывали послѣ, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отецъ, тетка и всѣ, кто около меня были, сами надрывались отъ слезъ, смотря на мои мучительныя слезы и рыданья.—Иногда я вдругъ вскакивалъ на ноги съ пронзительнымъ крикомъ, дико глядѣлъ во всѣ глаза, и безпрестанно повторяя: „ну-

стите меня, дальше, прочь, мнѣ нельзя, не могу, гдѣ онъ, куда итти!“ и тому подобныя отрывистыя, ничего не объясняющія слова,—я бросался къ двери, къ окну или въ углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами въ стѣну. Въ это время у меня была такая сила, что двое и трое не могли удержать меня, и я, обливаясь потомъ, таскалъ ихъ по комнатѣ. Этого рода припадокъ всегда оканчивался сильнымъ обморокомъ, въ продолженіи котораго трудно было замѣтить, что я дышу; обморокъ переходилъ постепенно въ сонъ, сначала нѣсколько безпокойный, но потомъ глубокій и тихій, продолжавшійся иногда часовъ до девяти утра. Послѣ тихихъ слезъ и рыданій, я просыпался бодрый и живой, какъ будто всю ночь проспалъ спокойно; но послѣ иступленнаго вскакиванія и какого-то бѣшенства бывалъ нѣсколько слабъ, блѣденъ, какъ будто утомленъ; впрочемъ, все это скоро проходило, и я цѣлый день весело учился, бѣгалъ и предавался своимъ охотамъ. Проснувшись, я ничего ясно не помнилъ; иногда смутно представлялось мнѣ, что я видѣлъ во снѣ что-то навалившееся и душившее меня, или видѣлъ страшилищъ, которыя за мной гонялись; иногда усилія меня державшихъ людей, невольно повторявшихъ ласковыя слова, которыми уговаривали меня лечь на постель и успокоиться—какъ будто пробуждали меня на мгновеніе къ дѣйствительности, и потомъ, совсѣмъ проснувшись поутру, я вспоминалъ, что ночью отъ чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отецъ и другіе, въ кустахъ подъ окнами пѣли соловьи и кричали коростели за рѣкою. Мать моя не знала, что и дѣлать; особенно пугало ее то, что во время обморока показывались у меня на лицѣ судорожныя подергиванія и пѣна на губахъ, признакъ зловѣщій. Мысль, что это можетъ быть въ самомъ дѣлѣ падучая болѣзнь, задолго пропророченная Евсеичемъ въ его письмѣ,—приводила ее въ ужасъ. Капли, предписанныя Бенисомъ, она перестала давать; кровочистительнаго декокта, полученнаго изъ казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя Бенисъ совѣтовалъ попить его, подозрѣвая во мнѣ золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мнѣ купаться въ рѣкѣ, думая, что купаньемъ можетъ укрѣпить меня: оно мнѣ очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась къ Бенису и такъ мастерски написала исторію моей болѣзни, что докторъ пришелъ въ восхищеніе отъ ея описанія, благодарилъ

за него, прислалъ мнѣ чай и пилюли и назначилъ діэту. Все исполняли съ большой точностью, но облегченія болѣзни не было; напротивъ, припадки становились упорнѣе, а я слабѣе. Чай и пилюли бросили, принялись за докторовъ простонародныхъ, за знахарей и знахарокъ. Всѣ говорили, что дитя испорчено, что мнѣ *попритчилось;* умывали, обливали, окуривали меня—все безъ успѣха. Я совсѣмъ не противъ народной медицины и вѣрю ей, особенно въ соединеніи съ магнетизмомъ; я давно отрекся отъ презрительнаго взгляда, съ которымъ многіе смотрятъ на нее съ высоты своего просвѣщенія и учености; я видѣлъ столько поразительныхъ и убѣдительныхъ случаевъ, что не могу сомнѣваться въ дѣйствительности многихъ народныхъ средствъ; но мнѣ тогда не помогли они, можетъ быть отъ того, что не попадали на мою болѣзнь, а можетъ быть и потому, что мать не согласилась давать мнѣ лѣкарства внутрь. Помню однако, что я долго принималъ, по совѣту одной сосѣдки, папоротникъ въ порошкѣ, для чего употреблялись самые молоденькіе побѣги его, выходящіе, на подобіе гребешка, непосредственно изъ корня, между большими прорѣзными листьями или вѣтвями этого растенія. Папортникъ также не помогъ. Наконецъ обратились къ самому извѣстному лѣкарству, которое было въ большомъ употребленіи у насъ въ домѣ еще при дѣдушкѣ и бабушкѣ, но на которое мать моя смотрѣла съ предубѣжденіемъ и до этихъ поръ не хотѣла о немъ слышать, хотя тетка давно предлагала его. Это лѣкарство называлось: „припадочныя или росныя капли“, потому что росной ладонъ составлялъ главное ихъ основаніе; ихъ клали по 10 капель на полрюмки воды, и вода бѣлѣла какъ молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по двѣ и доводилось до 25 на одинъ пріемъ, всегда на ночь. Мнѣ начали ихъ давать, и съ перваго пріема мнѣ стало лучше; черезъ мѣсяцъ болѣзнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до 25 капель, то стали убавлять по двѣ капли и кончили десятью; я не переставалъ купаться и не держалъ ни малѣйшей діэты. Сколько было бы шуму, еслибъ такъ чудотворно вылѣчилъ меня какой-нибудь славный докторъ! Отдохнула моя бѣдная мать и отецъ и всѣ меня окружающіе, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадковъ, сказывала сказки мнѣ съ вечера и продолжала ихъ даже тогда, когда я спалъ; мать моя была

такъ обрадована, какъ будто въ другой разъ взяла меня изъ гимназіи... Вотъ какъ часто ищемъ мы исцѣленія вдалекѣ, когда оно давно находится у насъ въ рукахъ... Возвращаюсь нѣсколько назадъ.

Не смотря на страшный характеръ моей болѣзни, ни ученье мое, ни деревенскія удовольствія не прекращались во все время ея продолженія; только и тѣмъ и другимъ, когда припадки ожесточались, я занимался умѣреннѣе, и мать слѣдила за мной съ большимъ вниманіемъ и не отпускала отъ себя надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не такъ было жарко, отправлялся я съ Евсеичемъ удить. Самое лучшее уженье находилось у насъ въ саду, почти подъ окнами, потому что пониже Аксакова, въ мордовской деревнѣ *Кивацкое*, была мельница и огромный прудъ, такъ что подпруда воды доходила почти до сада; тутъ Бугурусланъ могъ назваться верховьемъ Кивацкаго пруда, а всѣмъ охотникамъ извѣстно, что для уженья рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда съ высшимъ наслажденіемъ рыбака, съ уженьемъ крупной рыбы: до тѣхъ поръ я лавливалъ только плотву, окуней и пискарей; конечно, двѣ первыя породы достигаютъ также значительной величины, но мнѣ какъ-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не могъ ее вытащить, потому что удилъ на тонкія лесы и маленькіе крючки. Евсеичъ свилъ мнѣ двѣ лесы, волосъ въ двадцать каждую, навязалъ толстые крючки, привязалъ лесы къ крѣпкимъ удилищамъ и, взявъ еще свою удочку, повелъ меня въ садъ на свое секретное мѣсто, которое онъ называлъ: „золотымъ мѣстечкомъ“. Насадивъ на крючекъ кусокъ умятаго чернаго хлѣба величиною съ большой русскій орѣхъ, онъ закинулъ мою удочку на дно подъ самый кустъ, а свою пустилъ у берега возлѣ травки и камыша. Я сидѣлъ смирно и не смѣлъ смигнуть съ моего поплавка, который тихо похаживалъ взадъ и впередъ, отъ того что тутъ вода завертывала подъ берегъ. Въ непродолжительномъ времени Евсеичъ вдругъ вскочилъ и, закричавъ: „вотъ онъ, батюшка!“ началъ возиться съ большой рыбой, обѣими руками держа удилище. Евсеичъ не имѣлъ понятія объ умѣньи удить и потащилъ изо всей силы, какъ говорится, черезъ плечо на выносъ; рыба вѣроятно запуталась за траву или за камышъ, удилище было просто палка, и леса порвалась: такъ мы и не видали, какая это была рыба. Евсеичъ пришелъ въ боль-

щой азартъ; я также почти дрожалъ, глядя на него. Евсеичъ клялся и увѣрялъ, что это была такая большая рыбища, какой онъ съ роду не уживалъ; но вѣроятно обыкновенный язь или головль запутался за траву и оттого показался ему такъ тяжелъ. Развивъ другую мою удочку, дядька мой закинулъ ее поскорѣе на то же самое мѣсто, гдѣ взяла у него рыба, и сказавъ: „видно я немножко погорячился, теперь стану тащить потише“, — сѣлъ на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотѣла меня потѣшить: поплавокъ мой сталъ понемногу привставать и опять ложиться, потомъ всталъ окончательно и исчезъ подъ водою; я подсѣкъ, и огромная рыба начала тяжело ходить, какъ будто упираясь въ водѣ. Евсеичъ поспѣшилъ мнѣ на помощь и ухватился за мое удилище; но я, помня его недавнія слова, безпрестанно повторялъ, чтобъ онъ тащилъ потише; наконецъ, благодаря новой крѣпкой лесѣ и не очень гнуткому удилищу, котораго я не выпускалъ изъ рукъ [1]), выволокли мы на берегъ, кое-какъ общими силами, самаго крупнаго язя, на котораго Евсеичъ упалъ всѣмъ тѣломъ, восклицая: „вотъ онъ, соколикъ! теперь не уйдетъ!“ Я дрожалъ отъ радости, какъ въ лихорадкѣ, что впрочемъ и потомъ случалось со мной, когда я выуживалъ большую рыбу; долго я не могъ успокоиться, безпрестанно бѣгалъ посмотрѣть на язя, который лежалъ въ травѣ на берегу, въ безопасномъ мѣстѣ. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Черезъ полчаса мы пошли домой, потому что я былъ отпущенъ на короткое время. Это первое удачное начало сдѣлало меня окончательнымъ горячимъ рыбакомъ. Язя надѣли на прутикъ, и я принесъ его къ отцу, который и самъ иногда любилъ удить. Тогда еще не было у насъ обыкновенія взвѣшивать крупную рыбу, но мнѣ кажется, что я и послѣ никогда не выуживалъ язя такой величины и что въ немъ было по крайней мѣрѣ семь фунтовъ.

Отецъ бралъ меня иногда на охоту съ ружьемъ, на которую впрочемъ онъ ѣзжалъ очень рѣдко. Я сильно ей со-

[1]) Для успѣшнаго уженья крупной рыбы вообще полезно гнутое удилище и очень вредно твердое; но какъ здѣсь язь былъ вытащенъ вопреки всѣмъ правиламъ уженья, прямо черезъ плечо, то твердое удилище, мало сгибаясь, оказалось полезнымъ, ибо леса, по крѣпости своей, могла выдержать рыбу.

чувствовалъ, и такія поѣздки были для меня праздниками, хотя участіе мое въ охотѣ ограничивалось тогда исправленіемъ должности лягавой собаки, то-есть, я бѣгалъ за убитой птицей и подавалъ ее отцу. Ружья мнѣ и въ руки не давали. Года черезъ три однако, во время лѣтней вакаціи, о чемъ я разскажу въ своемъ мѣстѣ, первый ружейный выстрѣлъ рѣшилъ мою судьбу: всѣ другія охоты, даже удочка, потеряли въ глазахъ моихъ свою прелесть, и я сдѣлался страстнымъ ружейнымъ охотникомъ на всю жизнь.

Когда болѣзнь моя прошла совсѣмъ, августъ мѣсяцъ былъ уже въ исходѣ; язи и головли давно перестали брать; но я успѣлъ выудить ихъ нѣсколько штукъ замѣчательной величины и, разумѣется, упустилъ вдвое болѣе. Зато уженье плотвы и особенно окуней находилось еще въ сильномъ разгарѣ. Впрочемъ, я тогда очень развлекался ястребами; прошлогодними еще въ іюлѣ начали травить перепелокъ; молодыхъ гнѣздарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястребя были у Никанора Танайченка и у Ивана Мазана, а молодые у Ѳедора и у моего дядьки Евсеича. У меня также былъ свой собственный маленькій ястребъ, чегликъ, выношенный очень хорошо, которымъ я травилъ воробьевъ и разныхъ птичекъ. Я нерѣдко ѣзжалъ въ поле, на длинныхъ дрогахъ, съ кѣмъ нибудь изъ названныхъ мною охотниковъ, всего чаще съ Евсеичемъ, и очень любилъ смотрѣть, какъ травили жирныхъ осеннихъ перепелокъ и дергуновъ. Такъ прошло лѣто и начало осени, полныя разныхъ деревенскихъ удовольствій, въ число которыхъ также можно поставить поѣздки за ягодами, а потомъ за грибами[1]).

Мать моя не любила деревенскихъ прогулокъ. Намъ рѣдко удавалось уговорить ее поѣхать со мной и отцомъ въ поле или лѣсъ. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда въ великомъ изобиліи, выманивала иногда мою мать на залежи ближняго поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее цѣлебною для своего здоровья. Ѣзжали также изрѣдка на живописные горные родники, пить чай со всей семьей подъ тѣнистыми березами;

---

[1]) Я не воображалъ тогда, что грибы будутъ однимъ изъ самыхъ постоянныхъ моихъ удовольствій на старости лѣтъ. Въ благодарность за то, у меня давно заронилась мысль, и я не отказываюсь еще отъ нея, — написать книжку о грибахъ и объ удовольствіи брать ихъ.

но брать грибы казалось матери моей нестерпимо-скучнымъ; отецъ же мой и тетка, напротивъ, весьма любили *ѣздить по грибки*, и я раздѣлялъ ихъ любовь. Всего было больнѣе то, что моя мать не любила также нашего милаго Аксакова. Она находила мѣстоположеніе его низменнымъ и сырымъ (что отчасти было справедливо), запахъ отъ пруда и плотины отвратительнымъ, ключевыя воды известковыми и жесткими, и все вмѣстѣ положительно вреднымъ для ея здоровья; много было правды въ этомъ, но много предубѣжденія и преувеличенія. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла въ городѣ, и всякая деревня казалась бы ей скучною. Съ огорченіемъ слушали мы съ отцомъ ея частыя, краснорѣчивыя нападенія на Аксаково, и хотя не смѣли защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя въ деревнѣ, деревенской жизни не вела. Она занималась дѣтьми, чтеніемъ книгъ и дѣятельною перепискою съ прежними знакомыми, по большей части замѣчательными людьми, которые, бывъ только временными жителями или посѣтителями Уфы, навсегда сохранили къ моей матери чувства почтительной дружбы. Она любила также читать медицинскія книги; „Домашній лѣчебникъ“ Бухана былъ ея авторитетомъ. Къ медицинскимъ книгамъ она получила привычку, находясь нѣсколько лѣтъ при постели своего больного отца; она имѣла домашнюю аптеку и лѣчила сама больныхъ, не только своихъ, но и чужихъ, а потому больныхъ не мало съѣзжалось изъ окружныхъ деревень; отецъ мой въ этомъ добромъ дѣлѣ былъ ея дѣятельнымъ помощникомъ. Домашнимъ хозяйствомъ она почти не занималась.

Наступила осень, одно удовольствіе исчезало вслѣдъ за другимъ; дни стали коротки и сумрачны; дожди, холодъ загнали всѣхъ въ комнаты; больше сталъ я проводить время съ матерью, больше сталъ учиться, то-есть писать и читать вслухъ. Впрочемъ, въ долгіе вечера, читалъ отецъ и даже сама мать — читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отецъ мой не былъ пріученъ къ чтенію смолоду въ своемъ семействѣ (у дѣдушки и бабушки водились только календари, да какія-то печатныя брошюрки „о Гарлемскихъ каплях“ и „Элексирѣ долгой жизни“), но у него была природная склонность къ чтенію, чему доказательствомъ служитъ огромное собраніе пѣсенъ и разныхъ тогдашнихъ стишковъ, переписанныхъ съ печатнаго его собственною рукою, сохраняю-

щееся у меня и теперь. Моя мать успѣла развить эту склонность, и потому чтенія по вечерамъ производились ежедневно съ общимъ интересомъ. Я съ живѣйшимъ удовольствіемъ вспоминаю эти вечера, при которыхъ всегда присутствовала и тетушка Евгенья Степановна; литературное удовольствіе подкрѣплялось кедровыми и каленными русскими орѣхами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила: являлся на сцену мѣдный ларецъ съ лакомствомъ и приносились щипчики и пестики для раздавливанья и для разбиванья орѣховъ [1]). Какъ скоро чтеніе возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствіе становилось мнѣ очень непріятно, потому что развлекало и мѣшало слушать.—Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновеннаго и находилась въ пріятномъ расположеніи духа, то бывала увлекательно весела, много смѣялась и другихъ заставляла смѣяться. Особенно романъ „Франчичико Петрочіо“ и „Приключенія Ильи Бенделя“, какъ глупымъ содержаніемъ, такъ и нелѣпымъ, безграмотнымъ переводомъ на русскій языкъ, возбуждали сильный смѣхъ, который, будучи подстрекаемъ живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладѣвалъ слушателями, что всѣ буквально валялись отъ хохота — и чтеніе надолго прерывалось; но попадались иногда книги, возбуждавшія живое сочувствіе, любопытство и даже слезы въ своихъ слушателяхъ.

Наступленіе зимы, съ ея первыми порошами и легкими морозами, на нѣкоторое время опять дало мнѣ возможность предаваться моимъ охотамъ. По порошамъ ходили на зайцевъ, русаковъ и бѣляковъ. Отецъ бралъ меня съ собою, и мы, въ сопровожденіи толпы всякаго народа, обметывали тенетами лежащаго на логовѣ зайца почти со всѣхъ сторонъ; съ противоположнаго края съ крикомъ и воплями бросалась вся толпа, испуганный заяцъ вскакивалъ и попадалъ въ разставленныя тенета. Я тоже бѣгалъ, шумѣлъ, кричалъ и горячился, разумѣется больше всѣхъ. Я очень любилъ эту забаву и любилъ толковать о ней съ моимъ отцомъ. Когда мать моя

[1]) Судьба этого мѣднаго лара достойна вниманія. Мать принесла его въ приданое въ 1788-мъ году, съ ленточками, позументами, кружевцами; въ девяностыхъ годахъ и даже въ 1801-мъ году онъ наполнялся каленными орѣхами; въ 1807-мъ году въ немъ лежало болѣе ста тысячъ рублей деньгами и векселями и на большую сумму брильянтовъ и жемчуговъ, а теперь онъ стоитъ подъ письменнымъ рабочимъ столомъ моего сына, набитый старинными грамотами.

бывала чѣмъ-нибудь занята, и я мѣшалъ ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня къ отцу, прибавляя: „поговори съ нимъ объ зайчикахъ“ — и у насъ съ отцомъ начинались безконечные разговоры. Кромѣ охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленькихъ звѣрковъ: хорьковъ, горностаевъ и ласокъ. Снятыя шкурки пойманныхъ звѣрковъ, гладкія и красивыя, висѣли, какъ трофеи, у моей кровати. Но скоро глубокіе снѣга начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и всѣ мои охоты рѣшительно прекратились. Страшное и печальное зрѣлище зимній буранъ, не только въ степи, но и въ тепломъ жильѣ! Занесетъ окна, надуетъ снѣгу даже въ сѣни, замететъ всѣ дорожки отъ дома въ людскія избы, такъ что надобно отрывать ихъ лопатами; въ десяти саженяхъ не видать человѣка! Наконецъ навалитъ такія снѣжныя громады, что, кажется, никогда онѣ не растаютъ—и уныніе невольно овладѣваетъ душой! Въ столицахъ не могутъ имѣть понятія объ этомъ, но деревенскіе жители меня понимаютъ и сочувствуютъ мнѣ... Я окончательно заключился въ стѣнахъ дома и никакъ не могъ упросить мою мать, чтобъ меня отпускали съ отцомъ, который ѣзжалъ иногда на *язы* (около Москвы называютъ ихъ *завицами*), то-есть, на такія мѣста, гдѣ рѣка на перекатахъ, къ одной сторонѣ, болѣе глубокой, загораживалась плетнемъ или сплошными кольями, въ срединѣ которыхъ вставлялись плетеныя *морды* (нерота, верши, по-московски). Около Святокъ и даже ранѣе, начинали попадать въ нихъ налимы, иногда очень крупные. Привезутъ, бывало, ихъ окоченѣвшихъ отъ сильнаго мороза, вывалятъ въ большое корыто съ водой, и мраморные, темнозеленые, пузатые налимы оттаютъ понемногу, начнутъ плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опушенными мягкими перьями. Долго не отходилъ я отъ корыта, любуясь ихъ движеніями и отскакивая всякій разъ, когда летѣли водяныя брызги отъ ихъ плесъ или хвостовъ. У отца моего много сидѣло налимовъ въ большихъ плетеныхъ сажалкахъ—и вкусная налимья уха и еще вкуснѣйшіе пироги съ налимьими печенками почти всякій день бывали у насъ на столѣ, покуда всѣмъ такъ не наскучивали, что никто не хотѣлъ ихъ ѣсть. Тогда начинали налимовъ приготовлять изрѣдка и окончательно уже истребляли въ продолженіи Великаго поста.

По той же самой причинѣ, что моя мать была горожанка, какъ я уже сказалъ, и также потому, что она провела въ угнетеніи и печали свое дѣтство и раннюю молодость, и потомъ получила, такъ сказать, нѣкоторое внѣшнее прикосновеніе цивилизаціи отъ чтенія книгъ и отъ знакомства съ *тогдашними* умными и образованными людьми, — прикосновеніе, часто возбуждающее какую-то гордость и неуваженіе къ простонародному быту,—по всѣмъ этимъ причинамъ вмѣстѣ, моя мать не понимала и не любила ни хороводовъ, ни свадебныхъ и подблюдныхъ пѣсенъ, ни святочныхъ игрищъ, даже не знала ихъ хорошенько. Съ большимъ трудомъ уступала она иногда просьбамъ тетки: позволить мнѣ посмотрѣть на нихъ; тетка же, какъ деревенская дѣвушка, все это очень любила; она устроивала иногда святочныя игры и пѣсни у себя въ комнатѣ, и сладкіе, чарующіе звуки народныхъ родныхъ напѣвовъ, долетая до меня изъ третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня въ какое-то непонятное раздумье. Мнѣ было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этихъ играхъ, и, вслѣдствіе такого строгаго запрещенія, меня соблазнили наконецъ обманывать свою умную и такъ горячо любимую мать. Разумѣется, я сначала просился и приставалъ съ вопросами къ моей матери: для чего она не пускаетъ меня на игрища? Мать отвѣчала мнѣ рѣшительно и строго: „что тамъ бываетъ много глупаго, гадкаго и неприличнаго, чего мнѣ ни слышать, ни видѣть не должно, потому что я еще дитя, не умѣющее различать хорошаго отъ дурного“. А какъ я ничего дурного не видѣлъ, или видя не понималъ, въ чемъ оно состоитъ, то повиновался неохотно, безъ внутренняго убѣжденія, даже съ неудовольствіемъ. Тетка же моя съ своими сѣнными дѣвушками говорили совсѣмъ другое; онѣ утверждали, „что у матери моей такой уже нравъ, что она всѣмъ недовольна и что все деревенское ей не нравится, что отъ того она нездорова; что ей самой не весело, такъ она хочетъ, чтобъ и другіе не веселились“. Такія слова вкрадчиво западали въ мой дѣтскій умъ, и слѣдствіемъ того было, что одинъ разъ тетка уговорила меня посмотрѣть игрища тихонько; и вотъ какимъ образомъ это сдѣлалось: во все время Святокъ мать чувствовала себя или не совсѣмъ здоровою, или не совсѣмъ въ хорошемъ расположеніи духа; общаго чтенія не было, но отецъ читалъ моей матери какую-нибудь

скучную или извѣстную ей книгу, только для того, чтобъ усыпить ее, и она послѣ чая, всегда подаваемаго въ шесть часовъ вечера, спала часа по два и болѣе. Я въ это время уходилъ къ теткѣ. Въ одинъ изъ такихъ удобныхъ часовъ она уговорила меня посмотрѣть игрища и, завернувъ съ головой въ шубу и отдавъ на руки здоровенной своей дѣвкѣ Матренѣ, отправилась со мной въ столярную избу, гдѣ ожидала насъ, переряженная въ медвѣдей, индѣекъ, журавлей, стариковъ и старухъ, вся дѣвичья и вся молодая дворня. Не смотря на сальные вонючіе огарки, даже дымную лучину, плохо освѣщавшую просторную избу, не смотря на удушливый мефитическій воздухъ, сколько было истинной веселости на этихъ деревенскихъ игрищахъ! Чудные голоса святочныхъ пѣсенъ, уцѣлѣвшіе звуки глубокой древности, отголоски невѣдомаго міра, еще хранили въ себѣ живую обаятельную силу и властвовали надъ сердцами неизмѣримо далекаго потомства! Какимъ-то хмѣлемъ веселья, опьяненіемъ радости проникнуты были всѣ. Взрывы звонкаго, дружнаго смѣха часто покрывали и пѣсни, и рѣчи. Это были не актеры и актрисы, представляющіе кого-то, для удовольствія другихъ, — себя выражали одушевленныя пѣсенницы и плясуньи, себя тѣшили онѣ отъ избытка сердца, и каждый зритель былъ увлеченное дѣйствующее лицо. Все пѣло, плясало, говорило, хохотало — и въ самомъ разгарѣ, въ чаду шумнаго общаго веселья, тѣ же сильныя руки завертывали меня въ шубу и стремительно уносили изъ волшебнаго сказочнаго міра... Долго я не засыпалъ въ эти ночи и долго странные образы плясали и пѣли вокругъ меня, и не разставались со мною даже въ сновидѣніяхъ [1]).

[1]) Я помню одну драматическую святочную игру, съ особенною пѣснью и пляскою, которая, какъ я слышу теперь, уже вышла изъ памяти народной въ той губерніи, гдѣ я видѣлъ ее: по серединѣ избы, на скамьѣ или чурбанѣ, сидитъ старикъ (разумѣется, кто-нибудь переряженный); молодая его жена въ кокошникѣ и фатѣ, ходя вокругъ и приплясывая, поетъ жалобу на дряхлость мужа, хоръ ей подтягиваетъ. Пропѣвъ куплетъ, кажется, изъ восьми стиховъ, изъ которыхъ я помню два начальные во всѣхъ куплетахъ:

Охъ ты горе мое, гореванье,
Ты тяжелое мое воздыханье,

жена подходитъ къ мужу и посылаетъ его пахать яровую пашню. Старикъ кашляетъ, стонетъ и дребезжащимъ голосомъ отвѣчаетъ: „моченьки нѣтъ“. Зрители хохочутъ. Молодая женщина опять поетъ вмѣстѣ съ хоромъ новый куплетъ, ходя и приплясывая кругомъ старика. Такимъ образомъ перебираются всѣ полевыя работы, и на всѣ приглашенія: сѣять, пахать, косить, жать и проч. старикъ отвѣчаетъ словами: „моченьки нѣтъ“, разно-

Въ первый разъ я былъ увлеченъ въ этотъ обманъ внезапно, почти насильно, и по возвращеніи домой долго не могъ смотрѣть прямо въ глаза моей матери; но очаровательное зрѣлище такъ меня плѣнило, что въ другой разъ я охотно согласился, а потомъ и самъ сталъ приставать къ моей теткѣ и проситься на игрища.

Наконецъ переломилась жестокая зима и унялись трескучіе морозы. У насъ не было тогда термометровъ, и я не могу сказать, до сколька градусовъ достигала стужа, но помню, что птица мерзла и что мнѣ приносили воробьевъ и галокъ, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченѣли: нѣкоторымъ теплота возвращала жизнь. Вообще я долженъ замѣтить, что зимы во время моего дѣтства и ранней молодости были гораздо холоднѣе нынѣшнихъ, и это не стариковскій предразсудокъ; въ бытность мою въ Казани, до начала 1807-го года, два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее какъ разогрѣтое желѣзо. Теперь уже въ Казани это сдѣлалось преданіемъ старины.

Начало пригрѣвать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масляница и началось катанье съ горъ. Въ общественныхъ катаніяхъ, къ сожалѣнію моему, мать также не позволяла мнѣ участвовать, и только катаясь съ сестрицей, а иногда и съ маленькимъ братцемъ, проѣзжая мимо, съ завистью посматривалъ я на толпу деревенскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, которые, раскраснѣвшись отъ движенія и холода, смѣло летѣли съ высокой горы, прямо отъ гумна, на маленькихъ салазкахъ, конькахъ и ледянкахъ: ледянки были ничто иное, какъ старыя рѣшета, или круглыя лубочныя лукошки, подмороженныя снизу такъ же, какъ и коньки. Шумный говоръ и смѣхъ раздавался въ бодрой, веселой толпѣ, часто одѣтой въ фантастическіе костюмы, особенно когда летѣли вверхъ ногами наѣздники съ высокихъ коньковъ, или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка съ какой-нибудь дѣвчонкой, которая начинала визжать задолго до крушенія своего экипажа. Какъ мнѣ хотѣлось туда—въ этотъ шумъ, го-

---

образя отказъ прибаутками и оханьемъ. Наконецъ жена поетъ послѣдній куплетъ, въ которомъ говорится, что всѣ добрые люди убрались съ полей и принялись варить пиво; потомъ подходитъ къ мужу и зоветъ его къ сосѣду: „бражки испить“. Старикъ проворно вскакиваетъ, бодро отвѣчаетъ: „пойдемъ, матушка, пойдемъ“ и бѣжитъ стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкій веселый хохотъ зрителей заключаетъ эту игру.

воръ и смѣхъ... и какъ, послѣ этого зрѣлища, казалось мнѣ скучнымъ уединенное катанье съ ледяной горки, устроенной въ саду передъ окнами гостиной, и только одно меня утѣшало, что моя милая сестрица каталась вмѣстѣ со мной.

Съ наступленіемъ Великаго поста оканчивались всѣ зимнія, очень немногія, удовольствія. Нельзя сказать, чтобъ Великій постъ проходилъ у насъ въ постѣ и молитвѣ. Мать моя постовъ не держала по нездоровью, я, конечно, не постничалъ, отецъ мой, хотя не ѣлъ скоромнаго въ Успенскій и Великій постъ, но при изобильномъ запасѣ уральской красной рыбы, замороженныхъ илецкихъ [1]) стерлядей, свѣжей икры и живыхъ налимовъ—его постный столъ былъ гораздо лакомѣе скоромнаго. Церкви у насъ еще не было и ближайшая находилась въ девяти верстахъ, въ селѣ „Мордовскій Бугурусланъ“. Священникъ былъ какъ-то не расположенъ къ намъ, и мы ѣзжали туда только по самымъ большимъ праздникамъ. Вообще, должно сказать, что у насъ домъ былъ не то что не богомольный, но мало привычный къ слушанью церковной службы, что почти всегда бываетъ при отдаленности церкви. И такъ Великій постъ провелъ я въ обыкновенныхъ, нѣсколько усиленныхъ учебныхъ занятіяхъ. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успѣхами. Я игралъ съ ней въ куклы, строилъ городки изъ чурочекъ, а иногда читывалъ и растолковывалъ ей дѣтскія сказочки.

Мать моя постоянно была чѣмъ-то озабочена и даже иногда разстроена; она нѣсколько менѣе занималась мною, и я, болѣе преданный спокойному размышленію, потрясенный въ моей дѣтской безпечности жизнью въ гимназіи, не забывшій новыхъ впечатлѣній и по возвращеніи къ деревенской жизни,—я уже не находилъ въ себѣ прежней беззаботности, прежняго увлеченія въ своихъ охотахъ, и съ большимъ вниманіемъ сталъ вглядываться во все, меня окружающее, сталъ понимать кое-что, до тѣхъ поръ не замѣчаемое мною.... и не такъ свѣтлы и радостны показались мнѣ нѣкоторые предметы. Чувство, неиспытанной мною до тѣхъ поръ, особеннаго рода грусти стало примѣшиваться ко всѣмъ моимъ любимымъ занятіямъ, ко всѣмъ забавамъ.... Я не буду распространяться объ этомъ печальномъ обстоятельствѣ, но я

[1]) То-есть: уральскихъ.

долженъ упомянуть о немъ, потому что иначе было бы нельзя понять, отъ чего, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, жизнь въ Аксаковѣ уже не казалась мнѣ прежнимъ свѣтлымъ раемъ, а вторичное поступленіе въ гимназію, особенно ученикомъ своекоштнымъ—не представлялось страшнымъ событіемъ.

Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала въ права свои, и только въ исходѣ апрѣля теплота въ воздухѣ, дождь и вѣтеръ дружно напали на страшныя громады снѣговъ и въ одну недѣлю разрушили ихъ. Во время Пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ѣздили даже къ заутрени великаго праздника. Всю Свѣтлую недѣлю провелъ я не весело: мать была нездорова и печальна, отецъ молчаливъ; онъ постоянно сидѣлъ за бумагами по тяжебному дѣлу съ Богдановыми о какомъ-то наслѣдствѣ; это дѣло онъ выигралъ впослѣдствіи. Отецъ всякій день ходилъ на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, онъ сказалъ мнѣ: „просись, Сережа, у матери; сейчасъ будемъ спускать воду.“ Я побѣжалъ проситься, и въ этотъ разъ счастливѣе прежнихъ разовъ; мать отпустила меня, принявъ нѣкоторыя предосторожности, чтобы я не промочилъ ногъ и не простудился. На длинныхъ крестьянскихъ дрогахъ доѣхали мы до мельницы; на плотинѣ дожидались насъ крестьяне съ разными орудіями. Русскій народъ любитъ смотрѣть на движеніе воды, и все населеніе Аксакова сбѣжалось поглядѣть, какъ будутъ спускать прудъ. Заводскихъ вешняковъ съ деревянными запорами у насъ еще не заводилось, и отверстіе въ плотинѣ, то есть, вешнякъ, для спуска полой воды, ежегодно заваливали наглухо. Прудъ надулся и весь посинѣлъ, ледъ поднялся, истрескался и отсталъ отъ береговъ, материкъ давно прошелъ и вода едва помѣщалась въ каузѣ. Топорами, пешнями и желѣзными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоимъ краямъ прошлогодняго вешняка, и едва своротили верхній слой въ аршинъ глубиною, какъ вода хлынула и, не нуждаясь болѣе въ человѣческой помощи, такъ успѣшно принялась за дѣло, что въ полчаса расчистила себѣ дорогу до самаго материка земли. Яростно устремились мутныя волны, и въ одну минуту образовалась сильная рѣка, которая не умѣстилась въ новенькой канавкѣ и затопила окружныя мѣста. Родостными восклицаніями привѣтствовалъ народъ вырвавшуюся на волю изъ зимняго плѣна, любимую имъ стихію; особенно кричали

и взвизгивали женщины,—и все это, мѣшаясь съ шумомъ круто падающей воды, съ трескомъ осѣдающаго и ломающагося льда, представляло полную жизни картину.... и еслибъ не прислали изъ дому сказать, что давно пришла пора обѣдать, то, кажется, мы съ отцомъ простояли бы тутъ до вечера.

На другой день поутру мы опять поѣхали на плотину и нашли уже тамъ другое, также шумное и веселое зрѣлище. Первые бурные порывы воды нѣсколько усмирились, прудъ значительно сбѣжалъ, мелкія глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большія сѣли на дно, по отмелѣвшимъ мѣстамъ. По сухому почти мѣсту, гдѣ текла теперь цѣлая рѣка изъ-подъ вешняка, были заранѣе вколочены толстые невысокіе колья; къ этимъ кольямъ, входя по поясъ въ воду, привязывали или надѣвали на нихъ петлями морды и хвостуши; рыба, которая скатывалась внизъ, увлекаемая стремленіемъ воды, а еще болѣе рыба, поднимавшаяся вверхъ по рѣкѣ до самаго вешняка, сбиваемая назадъ силою падающихъ волнъ,—попадала въ морды и хвостуши. То-и-дѣло, мокрые крестьяне, дрожа отъ холода, но въ то же время перекидываясь шутками и громкими восклицаніями, вытаскивали на берегъ свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчики и дѣвочки таскали ее домой въ лукошкахъ и рѣшетахъ, а иногда и просто въ подолахъ своихъ рубашекъ. Выбравъ нѣсколько крупныхъ рыбъ, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы такъ замѣшкались, и не скоро получилъ я позволеніе побывать на мельницѣ.

Въ короткое время исчезли всѣ признаки зимы, одѣлись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красотѣ. По-прежнему населился нашъ садъ всякими пѣвчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты, опять запѣли соловьи, и опять стали передразнивать ихъ варакушки. Проводя прошлогоднюю весну въ тюремномъ заключеніи, въ тѣсной больничной комнатѣ, казалось бы, я долженъ былъ съ особеннымъ чувствомъ наслажденія встрѣтить весну въ деревнѣ; но у меня постоянно ныло сердце, и хотя я не понималъ хорошенько, отъ чего это происходило, но тѣмъ не менѣе всѣ мои удовольствія, которымъ, повидимому, я по прежнему предавался, были отравлены грустнымъ чувствомъ.

Еще зимой, отецъ мой задумалъ сдѣлать на плотинѣ, такъ называемый, заводскій вешнякъ съ запорами и построить хорошую мельницу. Онъ нанялъ для этого какого-то *верховаго* мельника, Краснова, великаго краснобая и плута, что все оказалось впослѣдствіи. Весь Великій постъ заготовляли наши крестьяне лѣсной матеріалъ: крупныя и мелкія бревна, слеги, переводины, лежни и сваи, которыхъ почему-то понадобилось великое множество,—и сейчасъ по слитіи полой воды принялись разрывать плотину и рубить новый вешнякъ на другомъ мѣстѣ; въ то же время наемные плотники начали бить сваи и потомъ рубить огромный мельничный амбаръ, также на другомъ мѣстѣ, въ которомъ должны были помѣщаться шесть мукомольныхъ поставовъ; толчея находилась въ особомъ пристроѣ. Работы продолжались почти во все лѣто. Отецъ мой слѣпо ввѣрился Краснову, и хотя старый мельникъ, Болтуненокъ, и нѣкоторые крестьяне, разумѣющіе нѣсколько мельничную постройку, изподтишка ухмылялись и покачивали головами, но на вопросы моего отца: „каковъ Красновъ-то, какъ разумѣетъ свое дѣло? нарисовалъ весь планъ на бумагѣ и по одному глазомѣру бьетъ сваи и всѣ приходятся по своимъ мѣстамъ!“ всегда отвѣчали съ простодушнымъ лукавствомъ русскихъ людей: „боекъ, батюшка, боекъ! Что и говорить, мастеръ своего дѣла! Все раскинетъ въ умѣ и все приходится, какъ быть надо. Только не знай, какъ-то будетъ мельница молоть: вода-то пойдетъ по канавѣ чай тихо, не то что прямо изъ материка, да какъ бы зимой промерзать не стала?“ Но Красновъ улыбался на мужичьи замѣчанія и съ такой самоувѣренностью опровергалъ ихъ, что отцу моему и въ голову не входило ни малѣйшаго сомнѣнія въ успѣхѣ. Я также слушалъ съ благоговѣніемъ краснорѣчиваго Краснова. Между тѣмъ постройка требовала, чтобы прудъ былъ спущенъ, и въ пруду открылось такое уженье, какого не видывали до тѣхъ поръ, да и послѣ не видали. Вся прудовая рыба скатилась въ трубу, то-есть въ материкъ рѣки. Рыбы было столько, какъ въ кастрюлѣ съ доброй ухой. Началось баснословное уженье. Я съ Евсеичемъ не сходилъ съ пруда и нигдѣ уже больше не удилъ; даже отецъ мой, удившій очень рѣдко за недосугомъ, могъ теперь удить съ утра до вечера, потому что большую часть дня долженъ былъ проводить на мельницѣ, наблюдая надъ разными работами: онъ имѣлъ полную воз-

можность удить, не выпуская изъ глазъ всѣхъ построекъ и осматривая ихъ отъ времени до времени. Головли, язи, лини, окуни, щуки и крупная плотва (фунта по три и болѣе) брали безпрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависѣла отъ величины насадки: кто насаживалъ огромные куски, у того брала огромная рыба. Я помню, что мой отецъ, который особенно любилъ удить окуней и щукъ, навязывалъ по два крючка на одну лесу, насаживалъ крючки мелкой рыбешкой и таскалъ по два окуня вдругъ, и даже одинъ разъ окуня и щуку. Впрочемъ щукъ ловили большею частью на жерлицы, насаживая порядочными окунями и плотицами, и нерѣдко попадались полупудовыя щуки. Само собою разумѣется, что, не смотря на толстыя лесы и крючки, безъ умѣнья удить и безъ помощи сачка, самая крупная рыба часто скрывалась, ломала удилища и крючки и рвала лесы. Евсеичъ мой, который и въ старости часто смѣшилъ меня своей горячностью на уженьѣ, болѣе всѣхъ подвергался несчастнымъ потерямъ, а по его милости и я часто терялъ крупную рыбу, потому что безъ его помощи не могъ ее вытащить, а помощь его почти всегда была вредна. Самый сильный ловъ продолжался съ весны до половины іюля, а потомъ крупная рыба перестала брать: я разумѣю язей, головлей и линей; остальная же вся брала превосходно; но вѣроятно и они бы брали, еслибъ тогда была извѣстна насадка цѣлыхъ линючихъ раковъ.

Въ теченіе всего этого года моя мать постоянно переписывалась каждый мѣсяцъ съ Василіемъ Петровичемъ Упадышевскимъ. Въ этотъ годъ много послѣдовало перемѣнъ въ Казанской гимназіи: директоръ Пекенъ и главный надзиратель Камашевъ вышли въ отставку; должность директора исправлялъ старшій учитель русской исторіи Илья Ѳедоровичъ Яковкинъ, а должность главнаго надзирателя—Упадышевскій. Переговоря съ новымъ директоромъ и инспекторомъ, Василій Петровичъ увѣдомилъ, что я могу теперь, если моимъ родителямъ угодно, не вступать въ казенные гимназисты, а поступить своекоштнымъ и жить у кого-нибудь изъ учителей; что есть двое отличныхъ молодыхъ людей: Иванъ Ипатовичъ Запольскій и Григорій Ивановичъ Карташевскій, оба изъ Московскаго университета, которые живутъ вмѣстѣ, нанимаютъ большой домъ, берутъ къ себѣ пансіонеровъ, содержатъ ихъ отлично хорошо и плату полагаютъ умѣренную.

Отецъ и мать очень обрадовались такимъ извѣстіямъ, особенно тому, что провалился Камашевъ, и хотя платить за меня триста рублей въ годъ и издерживать рублей по двѣсти на платье, книги и дядьку было для нихъ очень тяжело, но они рѣшились для моего воспитанія войти въ долги, которыхъ и безъ того имѣли двѣ тысячи рублей асс. (тогда эта сумма казалась долгами!),—и только въ ожиданіи будущихъ благъ отъ Надежды Ивановны Куроѣдовой отважились на новый заемъ. Курсъ ученья начинался въ гимназіи съ 15-го, а пріемъ съ 1-го августа. — И такъ было положено въ исходѣ іюля отправиться въ Казань. Такое рѣшеніе принялъ я почти спокойно, потому что внутреннее состояніе моего духа становилось тяжелѣе и больнѣе. Но когда сборы были кончены, назначенъ день отъѣзда — мнѣ стало такъ жаль Аксакова, что вдругъ все въ немъ получило въ глазахъ моихъ прежнюю цѣну и прелесть, даже можетъ быть большую. Мнѣ казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался съ каждымъ строеніемъ, съ каждымъ мѣстомъ, съ каждымъ деревомъ и кустикомъ, и прощался со слезами. Я раздарилъ все мое богатство: голубей отдалъ я повару Степану и его сыну, кошку подарилъ Сергѣевнѣ, женѣ нашего слѣпого повѣреннаго Пантелея Григорьича, необыкновеннаго дѣльца и знатока въ законахъ; мои удочки и поставушки роздалъ дворовымъ мальчикамъ, а книжки, сухіе цвѣты, картинки и проч. отдалъ моей сестрицѣ, съ которой въ этотъ годъ мы сдѣлались такими друзьями, какими только могутъ быть девятилѣтняя сестра съ одиннадцатилѣтнимъ братомъ. Разлука съ ней была для меня очень прискорбна, и я упросилъ мать взять мою сестрицу съ собой. Мать сначала противилась моимъ просьбамъ, но наконецъ уступила.

Должно упомянуть, что за недѣлю до нашего отъѣзда была пущена въ ходъ новая мельница. Увы, оправдались сомнѣнія Болтуненка и другихъ: вода точно шла тише по обводному каналу и не поднимала шести поставовъ; даже на два молола несравненно тише прежняго. Отецъ мой, разочарованный въ искусствѣ Краснова, прогналъ его и поручилъ, хоть кое-какъ, поправить дѣло старому мельнику.

Наконецъ, 26-го іюля, та же просторная карета, запряженная тѣмъ же шестерикомъ, съ тѣмъ же кучеромъ и форрейторомъ—стояла у крыльца; такая же толпа дворовыхъ и крестьянъ собралась провожать господъ; отецъ съ матерью,

я съ сестрой и Параша помѣстились въ экипажѣ, Евсеичъ сѣлъ на козлы, Ѳедоръ на запятки, и карета тихо тронулась отъ крыльца, на которомъ стояла тетушка Евгенья Степановна, нянька съ моимъ братомъ и кормилица на рукахъ съ меньшой сестрой моей. Толпа крестьянъ и дворовыхъ провожала насъ до околицы, осыпая прощаньями, благословеньями и добрыми желаньями. Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже вилась стая бѣлыхъ и пестрыхъ мартышекъ или чаекъ. Какъ я завидовалъ каждому деревенскому мальчику, которому никуда не надо было ѣхать, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ не разлучаться, который оставался дома и могъ теперь съ своей удочкой сѣсть гдѣ-нибудь на плотинѣ и подъ густой тѣнью ольхи удить беззаботно окуней и плотву! Онъ оставался полнымъ спокойнымъ хозяиномъ широкаго пруда, на этотъ годъ не заросшаго камышами и травами, потому что былъ съ весны долго спущенъ. Фыркали и горячились застоявшіеся кони; но сильныя привычныя руки кучера осаживали ихъ и долго заставляли итти шагомъ. Въ каретѣ всѣ казались печальны и молчали. Я высунулся изъ окна и глядѣлъ на милое Аксаково до тѣхъ поръ, пока оно не скрылось изъ глазъ, и тихія слезы катились по моимъ щекамъ.

ГИМНАЗІЯ.

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.

Пріѣхавъ въ Казань (1801 года), мы не остановились уже у капитанши Аристовой, а наняли себѣ квартиру получше; не помню, на какой улицѣ, но помню, что мы занимали цѣлый отдѣльный домикъ, принадлежавшій, кажется, г. Чортову. Василій Петровичъ Упадышевскій не замедлилъ къ намъ явиться. Всѣ его встрѣтили, какъ близкаго родного, благодѣтеля и друга. Онъ разсказалъ намъ, что Яковкинъ до сихъ поръ только исправляетъ должность директора гимназіи, и что ходятъ по городу слухи, будто директоромъ будетъ богатый тамошній помѣщикъ Лихачевъ, и что теперь самое удобное время помѣстить меня въ гимназію своекоштнымъ ученикомъ, потому что Яковкинъ да и весь совѣтъ на это согласенъ, и что можетъ быть будущій директоръ посмотритъ на это дѣло иначе и заупрямится. Упадышевскій очень хвалилъ двухъ старшихъ учителей, поступившихъ уже давно въ гимназію изъ Московскаго университета: Ивана Ипатьевича Запольскаго, преподававшаго физику, и Григорія Ивановича Карташевскаго [1]), преподававшаго чистую математику. Онъ превозносилъ ихъ умъ, ученость и скромность поведенія. Они были дружны между собою, жили вмѣстѣ въ прекрасномъ

[1]) О Г. И. Карташевскомъ см. примѣч. ниже въ концѣ разсказа. *И. А.*

каменномъ домѣ и держали у себя семерыхъ воспитанниковъ, своекоштныхъ гимназистовъ: Рычкова, двухъ Скуридиныхъ, Ах—ва и троихъ Манасеиныхъ; содержали и кормили ихъ очень хорошо и прилежно наблюдали за ихъ ученьемъ въ классахъ. Они не принимали болѣе воспитанниковъ; но Упадышевскій разсказалъ имъ мою исторію и столько наговорилъ добраго обо мнѣ и моемъ семействѣ, что молодые люди, убѣжденные его просьбами, согласились сдѣлать исключеніе для моей матери и принять меня въ число своихъ воспитанниковъ. Отецъ поѣхалъ со мной къ Яковкину, и получивъ его согласіе опредѣлить меня въ своекоштные гимназисты, отправился, также вмѣстѣ со мной, къ Ивану Ипатычу Запольскому и Григорію Иванычу Карташевскому. Вездѣ приняли насъ очень благосклонно; но Григорій Иванычъ объявилъ, что я могу поступить собственно къ его товарищу Запольскому, потому что они воспитанниковъ раздѣлили; что трое старшихъ находятся непосредственно подъ его наблюденіемъ, что его воспитанники черезъ годъ, кончивъ курсъ гимназическаго ученья, должны оставить гимназію для поступленія въ службу, и что онъ, Григорій Иванычъ, тогда будетъ жить особо и воспитанниковъ имѣть не хочетъ. Иванъ Ипатычъ съ удовольствіемъ согласился меня принять. Для моего отца было все равно, кто бы ни взялъ меня; онъ только убѣдительно просилъ обоихъ молодыхъ людей познакомиться съ моей матерью. На другой день они пріѣхали къ намъ. Съ перваго взгляда Григорій Иванычъ чрезвычайно понравился моей матери, и она очень огорчилась тѣмъ, что я буду жить не у него. Отцу же моему и мнѣ гораздо болѣе нравился Иванъ Ипатычъ, который показался намъ привѣтливѣе, добрѣе и словоохотнѣе своего серьезнаго товарища. На всѣ ласковыя убѣжденія моей матери, что разлучаться друзьямъ не надобно, а лучше жить вмѣстѣ и помогать другъ другу въ исполненіи такихъ святыхъ обязанностей,—Григорій Иванычъ очень твердо отвѣчалъ, что считаетъ эту обязанность слишкомъ важною и тяжелою, что отвѣтственность за воспитаніе молодыхъ людей, если не передъ родителями ихъ, то передъ самимъ собою, ему не подъ силу и мѣшаетъ заниматься наукой, въ которой онъ самъ еще ученикъ. Отвѣтъ былъ высказанъ такъ рѣшительно, что возражать было нечего, да и не ловко. Молодые люди уѣхали и моя мать, по живости своего нрава, очень огорчилась. Бу-

дучи всегда слишкомъ страстною въ своихъ увлеченіяхъ, она превозносила до небесъ достоинства Григорія Иваныча и находила много недостатковъ въ его товарищѣ. Послѣдствія доказали, что горячее увлеченіе моей матери не было ошибочно. Иванъ Ипатычъ былъ очень хорошій человѣкъ, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова; но Григорій Иванычъ принадлежалъ къ небольшому числу тѣхъ людей, нравственная высота которыхъ встрѣчается очень рѣдко, и которыхъ вся жизнь — есть строгое проявленіе этой высоты... Я же радовался отъ всей души, что попаду къ доброму Ивану Ипатычу и стану жить не съ большими воспитанниками, которые помѣщались особо, а съ своими ровесниками, такими же веселыми и добрыми мальчиками, какъ я. Всѣ дѣла наши, благодаря участію Упадышевскаго, устроились безъ всякаго затрудненія, и черезъ мѣсяцъ отецъ, мать и сестрица уѣхали въ Аксаково; но въ продолженіи этого мѣсяца Григорій Иванычъ, умѣвшій оцѣнить мою мать, часто бывалъ у насъ, хотя считался большимъ домосѣдомъ,—и прочная, на взаимномъ уваженіи основанная дружба, доказанная впослѣдствіи многими важными опытами, образовалась между ними.

Вторичная разлука наша съ матерью далеко не сопровождалась такою мучительною горестью, какъ первая. Особенно въ себѣ я замѣтилъ эту разницу и, не смотря на мой дѣтскій возрастъ, она поразила меня и заставила грустно задуматься. Но скоро новый образъ жизни поглотилъ все мое вниманіе. Меня помѣстили въ одной комнатѣ съ тремя братьями Манасеиными, съ которыми я сейчасъ познакомился хорошо; Ах—въ же занималъ маленькую особую комнату возлѣ нашей. Онъ былъ очень богатъ и, кажется, единственный сынъ у своей матери, вдовы. Не смотря на богатство, которое видно было въ его платьѣ, постели и во всемъ, онъ жилъ очень скупо; въ комнатѣ у него стоялъ огромный сундукъ, окованный желѣзомъ, ключъ отъ котораго онъ носилъ въ карманѣ. Товарищи мои думали, что въ сундукѣ хранятся драгоцѣнныя вещи и разныя сокровища: сундукъ возбуждалъ общее любопытство.

Наконецъ я опять увидѣлъ нѣкогда страшную и противную мнѣ гимназію, и увидѣлъ ее безъ страха и безъ непріятнаго чувства. Я очень этому обрадовался. Я поступилъ опять въ тѣ же нижніе классы, изъ которыхъ большая часть моихъ прежнихъ товарищей перешла въ средніе, и на мѣсто

ихъ опредѣлились новые ученики, которые были приготовлены хуже меня; ученики же, не перешедшіе въ слѣдующій классъ, были лѣнтяи или безъ способностей, и потому я въ самое короткое время сдѣлался первымъ во всѣхъ классахъ, кромѣ катехизиса и краткой Священной Исторіи. Священникъ постоянно сохранялъ ко мнѣ какое-то неблагорасположеніе, несмотря на то, что я зналъ свои уроки всегда очень твердо. Замѣчательно, что впослѣдствіи, когда Упадышевскій спрашивалъ его, отчего Аксаковъ, самый прилежный ученикъ вездѣ, не находится у него въ числѣ лучшихъ учениковъ, и что вѣрно онъ не хорошо знаетъ свои уроки,— священникъ отвѣчалъ: „Нѣтъ, уроки онъ знаетъ твердо; но онъ не охотникъ до катехизиса и Священной Исторіи.“

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, разсѣялись послѣдніе остатки грусти по домѣ родительскомъ, по привольному деревенскому житью, я постепенно привыкъ къ своей школьной жизни и завелъ себѣ нѣсколько пріятелей въ гимназіи и полюбилъ ее. Этой перемѣнѣ много способствовало то, что я только пріѣзжалъ въ гимназію учиться, а не жилъ въ ней. Житье у Ивана Ипатыча не такъ рѣзко разнилось отъ моей домашней жизни, какъ безвыходное заключеніе въ казенномъ домѣ гимназіи, посреди множества разнородныхъ товарищей.

Ах—въ, который чуждался меня и Манасеиныхъ, да и всѣхъ въ гимназіи, замѣтивъ мою скромность и смиреніство, сталъ со мной заговаривать и приглашать въ свою комнату, даже подчивалъ своими домашними лакомствами, которыя онъ ѣлъ потихоньку отъ всѣхъ; наконецъ сказалъ, что хочетъ показать мнѣ свой сундукъ, только такимъ образомъ, чтобы никто этого не зналъ. Я обрадовался. Воображеніе мое, полное волшебныхъ сказокъ, представляло мнѣ этотъ сундукъ хранилищемъ драгоцѣнныхъ камней, слитковъ золота и серебра. Мы условились съ Ах—мъ, что я приду къ нему въ комнату, когда всѣ заснутъ. Я такъ и сдѣлалъ въ тотъ же самый вечеръ; Манасеины не заставили меня долго ждать и скоро захрапѣли; я пришелъ къ Ах—ву, у котораго по ночамъ теплилась лампадка передъ большимъ, богато вызолоченнымъ образомъ. Хозяинъ зажегъ свѣчу, заперъ дверь, взялъ съ меня обѣщаніе: никому не сказывать о томъ, что увижу, и бережно отперъ таинственный сундукъ.... Каково было мое удивленіе! Сундукъ оказался набитъ биткомъ гравированными, рисованными, лубочными картинками! Между

ними находились и ландшафты, и портреты, писаные масляными красками, разумѣется въ родѣ цирюльныхъ вывѣсокъ. Я самъ былъ охотникомъ до картинокъ; но какъ тутъ я ожидалъ совсѣмъ другого, то не обращалъ на нихъ вниманія и все еще надѣялся, что на днѣ сундука окажется настоящее сокровище; когда же были сняты послѣдніе листы, и голыя доски представились глазамъ моимъ—я невольно воскликнулъ: „Только-то...“ и смутилъ ужасно Ах—ва, который думалъ удивить и привести меня въ восхищеніе. Я шопотомъ откровенно разсказалъ ему, что мы всѣ думали объ его сундукѣ. „Вы всѣ дураки“, сказалъ съ негодованіемъ Ах—въ, и почти выгналъ меня. Тѣмъ и кончилась наша ребячья дружба. Черезъ нѣсколько времени, я нарушилъ обѣщаніе и разсказалъ Манасеинымъ, что хранится въ сундукѣ, и мы потомъ не одинъ разъ, поглядывая въ дверныя щели, видѣли, какъ Ах—въ, запершись на крючокъ, раскладывалъ свои картинки по постели, по столамъ, по стульямъ и даже по полу. Онъ разглядывалъ ихъ, обтиралъ и любовался ими, какъ „Скупой рыцарь“, у Пушкина, своими сокровищами; почти каждый день, по большей части ночью, предавался онъ этому наслажденію цѣлые часы. Мы стали подсмѣиваться надъ Ах—мъ, разсказали въ гимназіи про его охоту къ картинкамъ—и рѣзвые мальчики не давали ему прохода, требуя, чтобъ онъ дѣлился съ другими своимъ богатствомъ и показалъ имъ, какъ „мыши погребаютъ кота“, или какъ „Еруслань Лазаревичъ побиваетъ несмѣтную бусурманскую силу“. Ах—въ сердился, бранился и даже дрался—ничто не помогало. Наконецъ это такъ надоѣло ему, что онъ написалъ къ своей матери, и она скоро совсѣмъ взяла его изъ гимназіи. Впрочемъ этому могли быть и другія причины. Недавно я узналъ, что Ах—въ навсегда остался большимъ чудакомъ; но это не мѣшаетъ ему имѣть репутацію очень дѣльнаго хозяина.

Первые мѣсяцы послѣ моего поступленія къ Ивану Ипатычу онъ кое-какъ занимался мною и другими. Все занятіе состояло въ томъ, что онъ предварительно спрашивалъ заданные намъ уроки и училъ читать по-французски и по-нѣмецки; но мало-по-малу онъ переставалъ нами заниматься вовсе, и сталъ куда-то отлучаться. Должно сказать правду: ученью нашему были полезны его отлучки, потому что въ его отсутствіе занимался нами Григорій Иванычъ, гораздо

внимательнѣе и лучше своего товарища, и я это очень понималъ. Наконецъ Евсеичъ сказалъ мнѣ за тайну, что Иванъ Ипатычъ сватаетъ невѣсту хорошаго дворянскаго рода и съ состояніемъ, и что невѣста и мать согласны, только отецъ не хочетъ выдать дочери за учителя, бѣдняка, да еще поповича. Это извѣстіе оказалось совершенно справедливымъ.

Директоромъ гимназіи точно былъ опредѣленъ помѣщикъ Лихачевъ; но своекоштные ученики долго его и въ глаза не знали, потому что онъ посѣщалъ гимназію обыкновенно въ обѣденное время, а въ классы и не заглядывалъ.—Я учился, ѣздилъ или ходилъ въ гимназію весьма охотно. Товарищи-ли мои были совсѣмъ другіе мальчики, чѣмъ прежде, или я сдѣлался другимъ—не знаю, только я не замѣчалъ этого, несноснаго прежде, приставанья или тормошенья учениковъ; нашлись общіе интересы, родилось желаніе сообщаться другъ съ другомъ, и я сталъ ожидать съ нетерпѣніемъ того времени, когда надо ѣхать въ гимназію. Притомъ надобно и то сказать, что я проводилъ тамъ по большей части классное время, а въ классахъ самолюбіе мое постоянно было ласкаемо похвалами учителей и нѣкоторымъ уваженіемъ товарищей, что однако не мѣшало мнѣ играть и рѣзвиться съ ними во всякое свободное время и при всякомъ удобномъ случаѣ. Домой я писалъ каждую недѣлю, и каждую недѣлю получалъ самыя нѣжныя письма отъ матери, иногда съ припискою отца. Мать увѣряла меня, что не груститъ, разставшись со мною, радуется тому, что я такъ хорошо учусь и веду себя, о чемъ пишетъ къ ней Иванъ Ипатычъ и Упадышевскій; я повѣрилъ, что мать моя не груститъ. Во всякомъ письмѣ она свидѣтельствовала почтеніе Ивану Ипатычу и Григорію Иванычу, съ которыми отъ времени до времени переписывалась сама. Такимъ образомъ шли дѣла почти цѣлый годъ, то-есть, до іюня 1802-го года; въ продолженіи іюня происходили экзамены, окончившіеся совершеннымъ торжествомъ для моего дѣтскаго самолюбія; я былъ переведенъ во всѣ средніе классы. Въ первыхъ числахъ іюля, на актѣ, я получилъ книжку съ золотою надписью: „за прилежаніе и успѣхи“ и еще похвальный листъ.

За мной давно уже пріѣхала простая кибитка и тройка лошадей съ кучеромъ, и въ день гимназическаго акта, послѣ обѣда, мы съ Евсеичемъ отправились въ наше любимое дорогое Аксаково. Мы ѣхали по той же самой дорогѣ, по

которой два года тому назадъ везла меня мать, вырвавъ изъ казенныхъ воспитанниковъ гимназіи, и останавливались даже на тѣхъ же кормежкахъ и ночевкахъ. Скоро дыханіе природы проникло въ мое существо и выгнало изъ головы моей гимназію, товарищей, учителей, книги и уроки. Послѣ временнаго, какъ будто, забвенія или охлажденія, еще горячѣе и уже сознательнѣе полюбилъ я красоты Божьяго міра.... Дома вся семья встрѣтила меня съ нѣжною любовью, а радости матери моей—и описать нельзя! Какъ выросла и похорошѣла въ одинъ годъ моя любимая сестрица и какъ обрадовалась мнѣ! Сколько разспросовъ, сколько разсказовъ! Между прочимъ я узналъ отъ нея, что моя мать сначала такъ по мнѣ тосковала, что даже была больна, и мнѣ сдѣлалось какъ-то больно, что я грустилъ въ разлукѣ съ ней менѣе, чѣмъ прежде.

Всѣ дни вакаціи, которые провелъ я тогда въ Аксаковѣ, слились въ моей памяти въ одинъ прекрасный, радостный день! Я никакъ не могу разсказать, если бы и хотѣлъ, что я дѣлалъ въ эти счастливые дни! Знаю только, что я наслаждался отъ утра до вечера. Всего чаще мелькаетъ въ этомъ роѣ удовольствій удочка, купанье и ястребъ. Мать заставила меня разсказать весь годъ моей гимназической жизни со всѣми мельчайшими подробностями, и въ продолженіи разсказа часто говорила моему отцу: „Видишь-ли, Тимоѳей Степанычъ, я не ошиблась въ Григоріи Иванычѣ. Онъ далекъ отъ Ивана Ипатыча, какъ небо отъ земли. Вотъ кому желала бы я отдать на воспитаніе Сережу, и я буду стараться о томъ изъ всѣхъ силъ.“ Разсказы Евсеича еще болѣе утвердили ее въ этомъ намѣреніи, важность котораго я уже понималъ и самъ желалъ его исполненія. Всего болѣе плѣняли мою мать строгость и чистота нравовъ Григорья Иваныча.—Съ моей сестрицей я почти не разставался; дружба наша сдѣлалась еще тѣснѣе и нѣжнѣе.—Быстро пролетѣли блаженные дни, и 10-го августа, въ той же кибиткѣ, съ тѣмъ же кучеромъ и на тѣхъ же лошадяхъ, мы съ Евсеичемъ отправились въ Казань.

По пріѣздѣ моемъ, я нашелъ всѣхъ учениковъ въ сборѣ, но Ивана Ипатыча не было въ городѣ. Мы узнали, что онъ поѣхалъ жениться въ деревню къ своей невѣстѣ Настасьѣ Петровнѣ Елагиной, что черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы они пріѣдутъ въ Казань, наймутъ особый домъ и тогда уже возь-

мутъ насъ къ себѣ, и что до тѣхъ поръ будетъ заниматься нами Григорій Иванычъ. Я очень этому обрадовался, а Манасеины напротивъ, особенно меньшой братъ, Ельпидифоръ: славный мальчикъ, но великій шалунъ, не принявшійся еще за ученье, шалунъ, изъ котораго вышелъ впослѣдствіи весьма дѣльный человѣкъ. Очень живо помню, что я съ большимъ нетерпѣніемъ и желаніемъ учиться вступилъ въ средніе классы. Я зналъ заранѣе, что въ нихъ ученье гораздо труднѣе и что средніе классы считались основаніемъ всего гимназическаго курса. Существовало мнѣніе, что тотъ ученикъ, который въ нихъ отличится, непремѣнно будетъ отличнымъ и въ высшихъ классахъ, тогда какъ, напротивъ, часто случалось, что первые ученики въ низшихъ классахъ оставались въ среднихъ навсегда посредственными [1]). Это мнѣніе меня пугало, и весь первый мѣсяцъ мое опасеніе не разсѣялось. Учителя были другіе и насъ не знали; всѣ переведенные ученики сидѣли особо на двухъ отдѣльныхъ скамейкахъ, и сначала ими занимались мало. По трудности курса среднихъ классовъ, большая часть воспитанниковъ оставалась въ нихъ по два года, отчего классы были слишкомъ полны, и для учителя не было физической возможности со всѣми равно заниматься. Въ числѣ другихъ предметовъ, вмѣстѣ съ русскимъ языкомъ, въ среднемъ классѣ преподавалась грамматика славянскаго языка, составленная самимъ преподавателемъ Николаемъ Михаиловичемъ Ибрагимовымъ [2]), поступившимъ также изъ Московскаго университета: онъ же былъ не только учителемъ россійской словесности, но и математики въ среднихъ классахъ. Этотъ человѣкъ имѣлъ большое значеніе въ моемъ литературномъ направленіи и память его драгоцѣнна для меня. Онъ первый ободрилъ меня и, такъ сказать, толкнулъ на настоящую дорогу. Ибрагимовъ диктовалъ свою славянскую грамматику для тѣхъ, кто ее еще не слушалъ и у кого ея не было; обыкновенно одинъ ученикъ писалъ подъ диктовку на классной доскѣ, а другіе

---

[1]) Очевидно, что раздѣленіе гимназическаго курса на три класса было недостаточно. Это впослѣдствіи познано опытомъ, почему теперешній гимназическій курсъ и раздѣляютъ на семь классовъ.

[2]) Фамилія его и наружность ясно указывали на его татарское или башкирское происхожденіе; онъ имѣлъ большую голову, маленькіе проницательные и очень пріятные глаза, широкія скулы и огромный ротъ. Горячо любилъ литературу, былъ очень остроуменъ и вообще человѣкъ даровитый.

списывали продиктованное. Ибрагимовъ объяснялъ не довольно подробно и не такъ понятно; для слушавшихъ грамматику вторично, этого толкованія было достаточно, но мало для учениковъ новыхъ, а особенно для двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ, какимъ былъ я и многіе другіе. По счастію въ это время занимался мною дома Григорій Иванычъ (по случаю отсутствія Ивана Ипатыча); онъ объяснилъ мнѣ „Введеніе въ славянскую грамматику“, въ которомъ излагался взглядъ на грамматику общую: безъ объясненія я понялъ бы этотъ взглядъ такъ же плохо, какъ и другіе ученики. Имѣя у себя заранѣе полный списокъ славянской грамматики, я просмотрѣлъ ее всю въ воскресные дни, и на темныя для меня мѣста попросилъ объясненія у Григорія Иваныча. Это было мнѣ впослѣдствіи очень полезно.—Наконецъ уже въ исходѣ сентября (черезъ шесть недѣль послѣ начала ученія), маленькая татарская фигурка Ибрагимова, прошедъ нѣсколько разъ по длинному классу съ тетрадкою въ рукѣ, вмѣсто обыкновенной диктовки, вдругъ приблизилась къ отдѣльнымъ скамьямъ новыхъ учениковъ. Сердце у меня забилось. Ибрагимовъ сталъ предлагать всѣмъ ученикамъ, переведеннымъ изъ нижняго класса, разные вопросы изъ пройденныхъ имъ „Введенія“ и двухъ главъ грамматики — въ томъ порядкѣ, какъ сидѣли ученики; порядокъ же былъ слѣдующій: сначала сидѣли казенные гимназисты, потомъ пансіонеры, потомъ полупансіонеры и наконецъ своекоштные. На вопросы Ибрагимова изъ грамматики кое-какъ еще отвѣчали, но изъ „Введенія“ рѣшительно никто ничего не зналъ: ясное доказательство, что его не понимали. Дошла очередь до меня. Изъ грамматики я отвѣчалъ свободно и удовлетворительно. Послѣ каждаго отвѣта Ибрагимовъ говорилъ: „прекрасно“. Отвѣты мои заинтересовали его, и вмѣсто трехъ-четырехъ, онъ задалъ мнѣ вопросовъ двадцать. Всѣ отвѣты были равно удачны. Ибрагимовъ безпрестанно улыбался во всю ширину своего огромнаго татарскаго рта и наконецъ сказалъ „Прекрасно, прекрасно и прекрасно! Посмотримъ теперь, что скажетъ Введеніе.“ — Отвѣты мои продолжали быть вполнѣ удовлетворительны. Онъ пробовалъ сбивать меня и не сбилъ, потому что я говорилъ понимая предметъ, а не выучивъ наизусть одни слова. Ибрагимовъ пришелъ въ совершенное изумленіе и восхищеніе. Онъ осыпалъ меня всевозможными похвалами, вызвалъ изъ-за стола, приказалъ забрать всѣ

классныя тетрадки и книжки, взялъ за руку, подвелъ къ первому столу и, сказавъ: „вотъ ваше мѣсто“, посадилъ меня третьимъ, а учениковъ было слишкомъ сорокъ человѣкъ. Такое торжество и во снѣ мнѣ не снилось. Я былъ совершенно счастливъ. Воротясь домой, я послалъ Евсеича попросить позволенья у Григорья Иваныча прійти къ нему въ комнату, и, получивъ согласіе, я разсказалъ съ большой радостью о случившемся со мною: Григорій Иванычъ внутренно былъ очень доволенъ этимъ происшествіемъ и тѣмъ чувствомъ, съ которымъ я его принялъ, но, слѣдуя своей методѣ, довольно сухо мнѣ отвѣчалъ: „Не слишкомъ радуйтесь; не поторопился ли Ибрагимовъ? Теперь вы должны поддержать его хорошее мнѣніе и учиться еще прилежнѣе.“ Такой отвѣтъ могъ бы окатить холодной водой или оттолкнуть другого, и я рѣшительно не одобряю такого образа дѣйствій, но я уже зналъ Григорія Иваныча. Онъ и прежде очень хвалилъ меня въ письмахъ къ моей матери, а мнѣ и виду не подавалъ, что мною доволенъ; онъ даже писалъ, чтобы мать не показывала мнѣ его писемъ. Въ классѣ россійской словесности, у того же самаго Ибрагимова, успѣхи мои были также блестящи; здѣсь преподавался синтаксисъ русскаго языка и производились практическія упражненія, состоявшія изъ писанья подъ диктовку и изъ переложенія стиховъ въ прозу. Диктовка была намъ очень полезна, сколько для правописанія, столько и для образованія нашего вкуса, потому что Ибрагимовъ выбиралъ лучшія мѣста изъ Карамзина, Дмитріева, Ломоносова и Хераскова, заставлялъ читать вслухъ и объяснялъ ихъ литературное достоинство. Онъ самъ не находилъ пользы въ „предложеніяхъ“ и, только исполняя программу, раза два заставилъ насъ ими заниматься. Вмѣсто того онъ упражнялъ насъ въ сочиненіи небольшихъ піесъ на заданныя темы. Что же касается до другихъ классовъ, то во всеобщей и русской исторіи и въ географіи у Яковкина я шелъ наравнѣ не съ лучшими, а съ хорошими учениками. Въ языкахъ вообще успѣхи были плохи, безъ сомнѣнія отъ плохихъ учителей. Въ ариѳметикѣ я былъ слабъ и въ нижнемъ классѣ, а въ среднемъ оказалось, что я не имѣю вовсе математическихъ способностей: такая аттестація удержалась за мной не только въ гимназіи, но и въ университетѣ. Чистописаніе, рисованье и танцованье шли порядочно. У священника я былъ въ числѣ не отличныхъ, но хорошихъ учениковъ. Въ среднемъ классѣ

бросилъ я тасканье аспидной доски и грифеля, къ которымъ питалъ сильное отвращеніе, сохраняемое мною отчасти и теперь. Скрипъ отъ черченья грифелемъ по аспидной доскѣ производилъ (и производитъ) содроганье въ моихъ нервахъ.

Наконецъ узнали мы, что Иванъ Ипатычъ съ молодой женой пріѣхалъ въ городъ и остановился въ домѣ своей тещи. На другой же день онъ пріѣзжалъ взглянуть на своихъ воспитанниковъ и чрезвычайно насъ обласкалъ. Евсеичъ разсказывалъ мнѣ по секрету, что Григорій Иванычъ очень сердился на Ивана Ипатыча за то, что онъ вмѣсто одного проѣздилъ три мѣсяца, говоря „что ему очень надоѣло возиться съ дѣтьми, которыхъ онъ не могъ бросить безъ надзора и вниманія, какъ дѣлаетъ это Иванъ Ипатычъ". Послѣдній извинялся, благодарилъ, обнималъ своего товарища, но тотъ обошелся съ нимъ очень сухо и грубо, грозя ему, что если онъ немедленно не найметъ себѣ квартиру, то онъ выѣдетъ изъ дома и броситъ его пансіонеровъ. Надобно прибавить, что у Григорія Иваныча уже не было своихъ воспитанниковъ. Не смотря на такія угрозы, Иванъ Ипатычъ не скоро нанялъ себѣ квартиру, и Григорій Иванычъ прожилъ съ нами еще два мѣсяца, постоянно и добросовѣстно занимаясь нашимъ ученьемъ, содержаньемъ и поведеньемъ. Въ эти пять мѣсяцевъ я очень привязался къ Григорію Иванычу, хотя онъ не сказалъ мнѣ ни одного ласковаго слова и по наружности казался сухимъ и строгимъ. Я не могъ тогда оцѣнить достоинства этого человѣка и не могъ бы его полюбить, еслибъ мать не увѣдомила меня потихоньку, что онъ меня очень любитъ и очень хвалитъ, и не показываетъ этого только для того, чтобъ я, по молодости своей, не избаловался отъ его похвалъ. Къ сожалѣнію Григорій Иванычъ держался этого ошибочнаго правила во все продолженіе своего полезнаго, долговременнаго и важнаго служебнаго поприща, гдѣ приходилось имѣть дѣло не съ дѣтьми, а часто со стариками. Кто имѣлъ случай узнать его коротко, тотъ сохранялъ къ нему глубокое уваженіе и преданность во всю жизнь; но за то были хорошіе люди, которыхъ онъ оттолкнулъ отъ себя благонамѣренною сухостью обращенія и которые сочли его за человѣка гордаго и жесткаго, что было совершенно несправедливо. Наконецъ Иванъ Ипатычъ нанялъ себѣ приличную квартиру. Переѣзжая къ нему и разставаясь съ Григоріемъ Иванычемъ, я расплакался, хотѣлъ было обнять его, но онъ не допустилъ меня и, будучи

самъ растроганъ почти до слезъ (что я узналъ впослѣдствіи изъ его письма къ моей матери), сухо и холодно сказалъ мнѣ: „Это что такое? О чемъ вы плачете? Вѣрно боитесь, что Иванъ Ипатычъ будетъ построже съ васъ взыскивать!“ Признаюсь, на ту пору досадны были мнѣ эти слова! Я забылъ сказать, что Иванъ Ипатычъ привозилъ къ намъ свою молодую жену: мы замѣтили только, что у ней нѣтъ бровей и что она по простотѣ своей не умѣла сказать намъ ласковаго слова и безпрестанно краснѣла. У Ивана Ипатыча помѣстили насъ, то-есть, меня и троихъ Манасеиныхъ, въ особомъ флигелѣ и сначала оставили безъ всякаго надзора. Тутъ-то я почувствовалъ всю разницу между нимъ и Григоріемъ Иванычемъ. Мы видѣли Ивана Ипатыча только за обѣдомъ и ужиномъ. Молодой мужъ былъ совершенно озабоченъ устройствомъ своего новаго положенія и подгородной деревни, Кощакова, состоявшей изъ 60-ти душъ, въ двадцати верстахъ отъ города, которую онъ получилъ въ приданое за женой и въ которую уѣзжалъ на два дня каждую недѣлю. Остальное время онъ былъ занятъ преподаваніемъ физики въ высшемъ классѣ гимназіи или заботами о семействѣ своей молодой супруги, изъ числа котораго три взрослыя дѣвицы, ея сестры, жили у него постоянно. Домашнимъ хозяйствомъ никто не занимался и оно шло весьма плохо, даже столъ былъ очень дуренъ, и по этому обстоятельству случилось со мной вотъ какое приключеніе: одинъ разъ за ужиномъ (мы ужинали всегда въ большомъ домѣ за общимъ столомъ) подали ветчину; только-что я, отрѣзавъ кусокъ, хотѣлъ положить его въ ротъ, какъ стоявшій за моимъ стуломъ Евсеичъ толкнулъ меня въ спину: я обернулся и съ изумленіемъ посмотрѣлъ на своего дядьку; онъ покачалъ головой и сдѣлалъ мнѣ знакъ глазами, чтобы я не ѣлъ ветчины; я положилъ кусокъ на тарелку, и тутъ только замѣтилъ, что ветчина была тухлая и даже червивая; я поспѣшно отдалъ тарелку. Я сидѣлъ очень близко отъ Ивана Ипатыча, и онъ все это замѣтилъ. Надобно прибавить, что за столомъ, кромѣ воспитанниковъ, сидѣли теща его, жена и три свояченицы. Послѣ ужина, когда мы всѣ подошли къ Ивану Ипатычу, чтобы раскланяться и итти спать, онъ приказалъ мнѣ остаться и повелъ насъ вмѣстѣ съ Евсеичемъ къ себѣ въ кабинетъ. Тамъ онъ сдѣлалъ мнѣ строжайшій выговоръ за то, что я поступилъ дерзко и, съ намѣреніемъ осрамить хозяина, обратилъ вниманіе всѣхъ на испортившуюся

ветчину, которую однакоже всѣ изъ деликатности ѣли. Иванъ Ипатычъ, прочтя мнѣ длинное поученіе и доказывая, что я сдѣлалъ непростительный проступокъ, разбранилъ очень обидно моего почтеннаго Евсеича. Я рѣшительно не понималъ своей вины и заплакалъ отъ незаслуженнаго оскорбленія. Иванъ Ипатычъ смягчился и сказалъ, что меня прощаетъ, и даже хотѣлъ обнять, но я весьма искренно и наивно возразилъ ему, что плачу не отъ раскаянія, а отъ того, что онъ обидѣлъ меня несправедливымъ подозрѣніемъ въ умыслѣ и разбранилъ моего дядьку. Иванъ Ипатычъ вновь разсердился, нашелъ во мнѣ, Богъ знаетъ, какое-то ожесточеніе, сказалъ, что я завтра буду примѣрно наказанъ, и отпустилъ спать. Я долго не могъ заснуть, и мысль, что посторонній человѣкъ, безъ всякой моей вины, хочетъ меня какъ-то примѣрно наказать, оскорбляла и раздражала меня очень сильно. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ себя помнить, никто кромѣ матери меня не наказывалъ, да и то было очень давно. Наконецъ я уснулъ. На другой день поутру, когда мы одѣлись и пришли пить чай въ домъ, Иванъ Ипатычъ, противъ обыкновенія, вышелъ къ намъ, объяснилъ мою вину Манасеинымъ и Елагину [1]), приказалъ имъ итти въ гимназію, а меня лишилъ чаю, велѣлъ остаться дома, итти во флигель, раздѣться, лечь въ постель и пролежать въ ней до вечера, а вмѣсто завтрака и обѣда велѣлъ дать мнѣ ломоть хлѣба и стаканъ воды. Такое дурацкое и вовсе незаслуженное наказаніе для такого чувствительнаго и развитого мальчика, какимъ былъ я, должно было показаться и показалось несноснымъ оскорбленіемъ, и я въ самомъ дѣлѣ съ ожесточеніемъ и презрительною улыбкою посмотрѣлъ на своего наставника и поспѣшно ушелъ во флигель. Я раздѣлся, легъ въ постель и взялъ читать какую-то книгу. Евсеичъ мой, не понимая нравственнаго оскорбленія, отъ души смѣялся надъ глупымъ наказаніемъ, обижался только, что я буду голоденъ и обѣщался достать мнѣ потихоньку всего, что будетъ получше за столомъ. Я съ негодованіемъ запретилъ ему это дѣлать и выслалъ вонъ. Сначала я чувствовалъ только гнѣвъ и раздраженіе, потомъ принялся плакать и наконецъ заснулъ! Ночь я спалъ мало и потому заснулъ такъ крѣпко, что проснулся только тогда, когда мои товарищи, пообѣдавъ

[1]) За двѣ недѣли молодой Елагинъ, своякъ Ивана Ипатыча, опредѣлился въ гимназію и поступилъ въ число воспитанниковъ.

въ общей залѣ, пришли во флигель и начали играть и шумѣть. Сонъ успокоилъ меня; я отказался отъ хлѣба и воды и равнодушно перенесъ шутки и насмѣшки моихъ соучениковъ, которые также не находили меня виноватымъ и смѣялись не столько надо мной, сколько надъ странностью моего наказанія. Средній Манасеинъ, порядочный лѣнтяй, даже завидовалъ мнѣ и говорилъ, что желалъ бы всякій день быть такъ наказаннымъ. Когда мои товарищи ушли въ гимназію на послѣобѣденные классы, я принялся твердить уроки, заданные безъ меня поутру моимъ товарищамъ, и повторилъ вчерашніе. Въ седьмомъ часу вечера, когда воспитанники воротились изъ гимназіи и пили чай въ столовой, Иванъ Ипатычъ прислалъ мнѣ сказать, чтобъ я одѣлся и пришелъ туда же. Я повиновался. Онъ встрѣтилъ меня словами: „что прощаетъ меня, и что сокращеніемъ срока моего наказанія я обязанъ дамамъ“,—и онъ указалъ на свою тещу, жену и свояченицъ. Я поблагодарилъ ихъ. Иванъ Ипатычъ съ женою ту же минуту куда-то уѣхали. Товарищи, напившись чаю, ушли во флигель, но меня дамы оставили при себѣ. Сейчасъ накрыли столикъ и принесли кушанье; меня посадили за столъ, дѣвицы сѣли около меня, кормили почти изъ своихъ рукъ и даже притащили банку съ вареньемъ, которымъ я усердно полакомился. Все это сопровождалось такими ласками, которыя разнѣжили мое сердце. Оказалось, что барышни, хотя до сихъ поръ не говорили со мной ни одного слова, давно полюбили меня за мою скромную наружность, и что наказаніе, которое онѣ и старуха ихъ мать находили незаслуженнымъ и безчеловѣчнымъ, возбудило въ нихъ такое ко мнѣ участіе, что онѣ неотступно просили Ивана Ипатыча меня простить и что сестра Катерина даже плакала и становилась предъ нимъ на колѣни. Я замѣтилъ, что Катерина Петровна ужасно покраснѣла. Меня оставили въ домѣ на цѣлый вечеръ и подробно разспросили обо всемъ, до меня касающемся. Я, разумѣется, разболтался и не только разсказалъ про свое Аксаково, про первое вступленіе свое въ гимназію, но и прочелъ множество стиховъ наизустъ, къ чему я съ давняго времени имѣлъ страстную охоту. Барышни искренно восхищались, ахали и осыпали меня ласками. Я былъ также восхищенъ произведеннымъ мною впечатлѣніемъ, и дѣтское мое самолюбіе вскружило мнѣ голову. Послѣ ужина я воротился во флигель, вмѣстѣ съ моими товарищами, ко-

торые уже знали черезъ брата Елагиныхъ, какъ меня ласкали и подчивали его сестры; товарищи разспрашивали и завидовали мнѣ, и я не скоро заснулъ отъ волненія и какихъ-то непонятныхъ мнѣ фантазій.

Я съ намѣреніемъ описалъ подробно это, неважное повидимому, обстоятельство. Послѣдствіемъ его было то, что я сталъ не такъ прилежно учиться. Старуха Елагина, также какъ ея дочери, меня очень полюбила и не рѣдко выпрашивала позволенія у своего зятя приглашать меня по вечерамъ въ домъ, гдѣ я проводилъ часа по два очень весело. Въ воскресенье же и праздничные дни я безпрестанно бѣгалъ въ домъ и почти пересталъ ходить къ родственницамъ моего отца, къ Кирѣевой и Сафоновой, у которыхъ прежде бывалъ часто. Товарищи продолжали мнѣ завидовать, а Елагинъ, уже пятнадцатилѣтній болванъ и повѣса, котораго сестры прогоняли изъ нашего общества, хмурился на меня не на шутку и отпускалъ какіе-то язвительные намеки, которыхъ я рѣшительно не понималъ. Мало-по-малу я совсѣмъ развлекся, и хотя Иванъ Ипатычъ мѣсяца черезъ три нанялъ для насъ студента, кончившаго курса въ духовной семинаріи, Гурья Ивлича Ласточкина, очень скромнаго и знающаго молодого человѣка, съ которымъ я могъ бы очень хорошо заниматься, но я до самой весны, то-есть, до времени отъѣзда Елагиныхъ въ деревню, учился очень плохо. Только у одного Ибрагимова, въ классѣ русской словесности и славянской грамматики, я оставался по прежнему отличнымъ ученикомъ, потому что горячо любилъ и предметъ ученія и учителя. Мѣсяца за полтора до экзамена я принялся заниматься съ большимъ жаромъ. Гурій Ивличъ очень полюбилъ меня въ это время и усердно помогалъ моему прилежанію, но со всѣмъ тѣмъ я не былъ переведенъ въ высшій классъ и остался еще на годъ въ среднемъ; перешла только третья часть воспитанниковъ и въ томъ числѣ нѣкоторые не за успѣхи въ наукахъ, а за старшинство лѣтъ, потому что сидѣли по два и по три года въ среднемъ классѣ. Никто не ставилъ мнѣ этого въ вину, и хотя я находилъ вмѣстѣ со всѣми другими, что двухгодичное пребываніе въ среднемъ классѣ будетъ мнѣ полезно и что такъ бываетъ почти со всѣми учениками, но дѣтское самолюбіе мое оскорблялось, а всего болѣе я боялся, что это огорчитъ мою мать. Опасенія мои были напрасны. Когда я пріѣхалъ на вакацію въ Аксаково (1803 года) съ Евсеичемъ,

и когда моя мать прочла письма Упадышевскаго, Ивана Ипатыча и Григорья Иваныча, то она, вмѣстѣ съ моимъ отцомъ, была очень довольна, что я остался въ среднемъ классѣ. Но когда я съ полною откровенностью подробно разсказалъ о моемъ пребываніи и образѣ жизни въ домѣ моего наставника, моя мать очень призадумалась и казалась недовольною. Ей не нравился Иванъ Ипатычъ, его семейство и даже Гурій Ивличъ Ласточкинъ, потому что она терпѣть не могла семинаристовъ, въ чемъ совершенно соглашался съ нею мой отецъ, который называлъ ихъ кутейниками. Этотъ предразсудокъ былъ особенно несправедливъ въ отношеніи къ Гурію Ивличу, имѣвшему очень много достоинствъ [1]). Всего же болѣе оскор-

---

[1]) Черезъ нѣсколько лѣтъ я встрѣтился съ Гурьемъ Ивличемъ Ласточкинымъ самымъ оригинальнымъ образомъ. Предварительно надобно сказать, что въ послѣднее время, какъ я уже и говорилъ, онъ очень полюбилъ меня, и не смотря на то, что мнѣ былъ двѣнадцатый, а ему двадцать второй годъ, дружески повѣрялъ мнѣ всѣ свои обстоятельства, и между прочимъ то, что начальство уговариваетъ его поступить въ духовное званіе, къ которому онъ не чувствовалъ влеченія. Не знаю, почему мнѣ засѣло въ голову, что Гурій Ивличъ будетъ непремѣнно священникомъ, и я увѣрялъ его въ этомъ. Онъ спорилъ, даже сердился, и, чтобъ убѣдить меня въ противномъ, взялъ однажды листъ бумаги и написалъ на немъ: „Скорѣе рѣка Казанка потечетъ вверхъ, чѣмъ Гурій Ласточкинъ пойдетъ въ духовное званіе“. Этотъ листъ онъ отдалъ мнѣ спрятать, какъ обязательство, что онъ сохранитъ свободу: явное доказательство, какъ онъ самъ былъ еще молодъ. Мѣсяца черезъ два мы разстались. Прошло три года или около четырехъ; я ни разу не слыхалъ о Гурьѣ Ивличѣ и совершенно забылъ объ его существованіи. Въ одно скверное осеннее утро получилъ я записку отъ моей родной тетки Н. Н. Зубовой, которую очень горячо любилъ; она жила тогда въ домѣ В—хъ и я часто видѣлся съ нею. „Милый мой Сержъ (писала она), сегодня въ шестомъ часу послѣ обѣда пріѣзжай къ намъ въ мундирѣ и со шпагой. Сегодня у насъ свадьба; ты шаферъ у Лизы, будешь ее обувать и провожать въ церковь“. Лиза была воспитанница В—хъ, бѣдная, молодая и прекрасная собою дѣвушка. Я пріѣхалъ, немножко опоздалъ, меня побранили и сейчасъ провели къ невѣстѣ; я обулъ ея ножки въ шелковые чулки и башмаки. Невѣста была еще не совсѣмъ одѣта, но голова находилась уже въ полномъ свадебномъ убранствѣ; я помню, что былъ пораженъ ея красотой. Едва я успѣлъ перемолвить нѣсколько словъ съ любимой моей тетушкой у нея въ комнатѣ, какъ хозяйка В—ва позвала меня къ себѣ и попросила, чтобъ я поскорѣе поѣхалъ въ ея каретѣ къ жениху и сказалъ ему, что невѣста одѣта и чтобъ онъ ѣхалъ сейчасъ въ церковь и оттуда прислалъ шафера сказать, что онъ ожидаетъ невѣсту. Второпяхъ я не успѣлъ спросить, кто такой женихъ, и ту же минуту поскакалъ къ нему. Со мной былъ человѣкъ В—хъ, знавшій жениха и его квартиру; онъ привезъ меня въ какой-то большой казенный домъ, въ которомъ много было народа, провелъ черезъ нѣсколько комнатъ и, отворивъ дверь, сказалъ: „Вонъ женихъ, передъ зеркаломъ одѣвается“.... и я увидѣлъ спину плотнаго мужчины, въ короткихъ штанахъ, шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ, которому торопливо и усердно повязывали бѣлое толстое жабо. Я подошелъ, женихъ обернулся—это былъ Гурій Ивличъ

било и раздражило мою мать нелѣпое наказаніе, которому подвергъ меня Иванъ Ипатычъ. Желаніе взять меня отъ него и помѣстить къ бывшему его товарищу возникло въ душѣ ея съ новою силою. Взять было не трудно, но убѣдить Григорія Иваныча нарушить свое намѣреніе, единожды принятое—казалось невозможностью, которая увеличивалась еще тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ былъ не только товарищъ, но и короткій пріятель съ Иваномъ Ипатычемъ. Выходъ лучшаго ученика могъ повредить ему во мнѣніи другихъ родителей, а перемѣщеніе мое къ Григорію Иванычу—люди, не знающіе коротко обстоятельствъ, могли назвать перемѣнкой. Очень огорчалась бѣдная моя мать, но не знала, какъ помочь горю. Ласки барышень Елагиныхъ, и особенно нѣжности одной изъ нихъ, ей также не нравились, къ немалому моему удивленію. Она рѣшилась пріѣхать въ Казань по зимнему пути: во-первыхъ, для того, чтобы взглянуть своими глазами на мое житье, и во-вторыхъ, для того, чтобы употребить всѣ усилія къ убѣжденію Григорія Иваныча взять меня къ себѣ. Третью причину я узналъ впослѣдствіи: мать моя хотѣла, чтобы все время, свободное отъ ученья, на праздникахъ зимней вакаціи, я проводилъ съ нею, а не въ семействѣ жены Ивана Ипатыча.

Лѣтнюю вакацію я прожилъ въ деревнѣ такъ же пріятно, какъ и прошлаго года; но на возвратномъ пути случилось со мною происшествіе, которое произвело на меня сильное впечатлѣніе и слѣды котораго не изгладились до сихъ поръ;

Ласточкинъ, очень пополнѣвшій. Мы оба вскрикнули отъ изумленія. „Ахъ, милый мой Аксаковъ! сказалъ онъ, обнявъ меня; какъ я радъ, что васъ вижу, но извините меня, въ эту минуту я не могу“.... Я перебилъ его слова, сказавъ, что я шаферъ его невѣсты и пріѣхалъ поторопить жениха. Ласточкинъ, продолжая поспѣшно одѣваться, продолжалъ говорить со мной:—„Какъ, я думаю, вы удивлены?“ сказалъ онъ.—„Да,“ отвѣчалъ я; „я не зналъ, кто женихъ; но я очень радъ, что вы женитесь на прекрасной и предоброй дѣвушкѣ“.—Ахъ, такъ вы еще ничего не знаете!“ воскликнулъ Ласточкинъ, взялъ меня за руку, отвелъ въ сторону и тихо сказалъ мнѣ: „вы вѣрно помните мое письменное обѣщаніе не поступать въ духовное званіе? ну такъ знайте же: завтра я священникъ, а послѣ-завтра протопопъ въ соборѣ Петра и Павла“.... и слезы показались у него на глазахъ. Какія обстоятельства измѣнили или заставили пожертвовать Гурья Ивлича своимъ прежнимъ убѣжденіемъ—я не знаю; но видно жаль было ему своей свободы. Съ тѣхъ поръ мы не видались. Въ продолженіи пятидесяти лѣтъ я постоянно слышалъ, что Гурій Ивличъ Ласточкинъ былъ всѣми любимъ за свои душевныя качества и уважаемъ за свою ученость; кажется, онъ былъ даже ректоромъ въ духовной академіи, не очень давно учрежденной въ Казани.

я сталъ гораздо болѣе бояться, и теперь боюсь, переправляться черезъ большія рѣки. Вотъ какъ случилось это происшествіе: мы пріѣхали въ полдень на лѣтній перевозъ черезъ Каму, противъ села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянскихъ телѣги съ поклажей и вощиками и десятка полтора бабъ съ кузовами ягодъ; бабы возвращались домой пѣшкомъ на противоположный берегъ Камы. Перевощиковъ на перевозѣ не было: куда разбрелись они, не знаю. Потолковавъ нѣсколько времени, крестьяне и мои люди рѣшились сами переправиться черезъ рѣку, потому что одинъ изъ крестьянъ вызвался править кормовымъ весломъ, увѣривъ, что онъ нѣсколько лѣтъ былъ перевощикомъ. И такъ, выбрали лучшій дощаникъ, поставили три крестьянскія телѣги съ лошадьми, мою кибитку и всѣхъ трехъ нашихъ лошадей; разумѣется, взяли и всѣхъ бабъ съ ягодами; мнимый перевощикъ сталъ на кормѣ, двое крестьянъ, мой кучеръ и лакей Иванъ Борисовъ (молодецъ и силачъ, одинъ стоившій десятерыхъ) сѣли въ весла, и мы отчалили отъ пристани. Между тѣмъ черная туча взмывала на западѣ и мало-по-малу охватывала край горизонта; ее нельзя было не примѣтить, но всѣ думали: авось пройдетъ стороной, или авось успѣемъ переѣхать. Пристань находилась противъ самаго Шурана, и для того, чтобъ не быть снесеннымъ быстротою теченія сердитой Камы и чтобы угодить прямо на перевозъ,—надобно было подняться вверхъ по рѣкѣ, на шестахъ, слишкомъ версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. Чтобы ускорить переѣздъ, поднялись вверхъ только съ полверсты, опять сѣли въ весла и, перекрестившись, пустились на перебой поперекъ рѣки; но лишь только мы добрались до середины, какъ туча съ неимовѣрной скоростью охватила весь горизонтъ, почернѣвшее небо еще чернѣе отразилось въ водѣ, стало темно, и страшная гроза разразилась молніей, громомъ и внезапной неистовой бурей. Кормщикъ нашъ въ испугѣ бросилъ кормовое весло и признался, что онъ совсѣмъ не перевощикъ и править не умѣетъ; вихрь завертѣлъ нашъ паромъ какъ щепку и понесъ внизъ по теченію; бабы подняли пронзительный вой—и ужасъ овладѣлъ всѣми. Я такъ испугался, что не могъ промолвить ни одного слова и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Вихремъ и быстротой теченія снесло нашъ дощаникъ нѣсколько верстъ внизъ по рѣкѣ и наконецъ бросило на песчаную отмель, по счастію

саженяхъ въ пятидесяти отъ противоположнаго берега. Иванъ Борисовъ спрыгнулъ въ воду, она была ему по поясъ; онъ дошелъ бродомъ до берега, глубина воды нигдѣ не доставала выше груди. Онъ воротился тѣмъ же путемъ на паромъ, стащилъ съ него одну изъ нашихъ лошадей посмирнѣе, посадилъ меня верхомъ, велѣлъ крѣпко держаться за гриву и за шею лошади и повелъ ее въ поводу; Евсеичъ шелъ подлѣ и поддерживалъ меня обѣими руками. Мутныя и огромныя волны хлестали черезъ насъ и окачивали съ головой; по несчастію, Борисовъ, идя впереди, сбился съ того броду, по которому прошелъ два раза, и попалъ на болѣе глубокое мѣсто; вдругъ онъ нырнулъ въ воду, лошадь моя поплыла, и Евсеичъ отсталъ отъ меня; тутъ-то я почувствовалъ такой страхъ близкой смерти, котораго я не забылъ до сихъ поръ; каждую минуту я готовъ былъ лишиться чувствъ и едва не захлебнулся: по счастію, глубина продолжалась не болѣе двухъ или трехъ саженъ. Борисовъ плавалъ мастерски, лошадь моя отъ него не отставала, и, не выпуская повода изъ рукъ, онъ скоро выплылъ на мелкое мѣсто и благополучно вывелъ на берегъ моего коня, но Евсеичъ, не умѣвшій хорошо плавать, едва не утонулъ и насилу выбился на берегъ. Меня, мокраго до послѣдней нитки, сняли съ лошади почти безъ памяти; пальцы мои закоченѣли, замерли въ гривѣ моего коня; но я скоро опомнился и невыразимо обрадовался своему спасенью. Евсеичъ остался со мной, а Борисовъ пустился опять къ дощанику, съ котораго бабы, съ криками и воплями, не разставаясь съ кузовами ягодъ, побросались въ воду; мужики постолкали своихъ лошадей и телѣги, и всѣ кое-какъ, по отмели, удачно отыскавъ бродъ помельче, добирались до берега. Дощаникъ, облегченный отъ большей части груза, поднялся и его начало тащить водою внизъ по теченію. Вотъ тутъ-то пригодилась сила Ивана Борисова: онъ удерживалъ дощаникъ до тѣхъ поръ, покуда нашъ кучеръ столкнулъ на отмель лошадей и нашу повозку; Борисовъ пересталъ держать паромъ— и его сейчасъ унесло внизъ по рѣкѣ. Стоя въ водѣ по поясъ, заложили лошадей, и повозка моя, подмочивъ все въ ней находившееся, выѣхала на берегъ. Мы сѣли, мокрые и озябшіе, и поскакали въ Шуранъ; тамъ обогрѣлись, обсушились, напились горячаго чаю, и холодная ванна не имѣла для насъ никакихъ дурныхъ физическихъ послѣдствій. Но за то напугалась моя душа, и я во всю мою жизнь не могъ смотрѣть

равнодушно на большую рѣку, даже въ тихое время; а во время бури чувствую невольный ужасъ, котораго не въ силахъ преодолѣть.

Возвратясь въ гимназію, я принялся прилежно учиться. Семейство Елагиныхъ было въ деревнѣ и никто не развлекалъ меня. Гурій Ивличъ, обрадованный моимъ прилежаніемъ, усердно со мною занимался, и я скоро сдѣлался однимъ изъ лучшихъ учениковъ во всѣхъ среднихъ классахъ, кромѣ математики. О классахъ Ибрагимова я уже не говорю: тамъ я былъ постоянно первымъ. Въ это время я уже горячо любилъ гимназію, учителей, надзирателей и веселыхъ товарищей. Меня не смущала болѣе эта безпрестанная суматоха и бѣготня, этотъ шумъ, говоръ, хохотъ и крикъ. Я не чувствовалъ ихъ — я самъ пѣлъ въ хорѣ, и строенъ, увлекателенъ показался мнѣ этотъ хоръ.— Осень стояла продолжительная и дождливая. Въ городѣ появилась сильная эпидемія лихорадокъ, которая посѣтила и меня. Бениса уже не было при гимназіи, и знакомый намъ Андрей Ивановичъ Риттеръ лѣчилъ всѣхъ гимназистовъ, даже полупансіонеровъ и своекоштныхъ; въ томъ числѣ лѣчилъ и меня. Сначала онъ довольно скоро перервалъ лихорадку, но она черезъ нѣсколько дней воротилась. Огромные порошки хинной корки съ глауберовою солью, о которыхъ я до сихъ поръ не могу вспомнить безъ отвращенія, вторично прогнали лихорадку, но черезъ двѣ недѣли она опять воротилась съ большею жестокостью; такъ длилось дѣло довольно долго. Евсеичъ, видя, что лѣченье идетъ плохо, усомнился въ искусствѣ лѣкаря, котораго зналъ прежде за большого гуляку, и который нерѣдко пріѣзжалъ ко мнѣ, какъ выражался мой дядька: „на второмъ взводѣ“. Евсеичъ осмѣлился доложить объ этомъ Ивану Ипатычу, прося его взять для меня другого лѣкаря. Иванъ Ипатычъ осердился, сказалъ, что Риттеръ славится во всемъ городѣ успѣшнымъ лѣченіемъ лихорадокъ, и прогналъ моего дядьку; но онъ, любя меня горячо и помня приказаніе барыни, увѣдомилъ ее письмомъ о моей болѣзни. Моя мать, испуганная и встревоженная, еще неоправившаяся послѣ родовъ (семейство наше умножилось третьимъ братомъ), немедленно пріѣхала въ Казань одна, наняла квартиру, перевезла меня къ себѣ, пригласила лучшаго доктора и принялась за мое лѣченье. Пріѣздъ въ Казань было новое самопожертвованіе со стороны моей матери. Здоровье ея очень отъ того

пострадало... и вся жизнь ея состояла изъ такихъ самопожертвованій!—Съ Иваномъ Ипатычемъ не обошлось безъ непріятныхъ объясненій; онъ обижался и тѣмъ, что мать перевезла меня на свою квартиру, и тѣмъ, что взяла другого доктора. Покуда меня лѣчили, что продолжалось мѣсяца два, потому что у меня очень болѣлъ правый бокъ, — у Ивана Ипатыча вышла какая-то непріятность съ родителями Манасеиныхъ, вслѣдствіе чего онъ уничтожилъ свой пансіонъ и объявилъ, что болѣе держать воспитанниковъ не хочетъ. Мать моя очень обрадовалась этому обстоятельству: она и безъ того не оставила бы меня у Ивана Ипатыча, но тогда ей было бы гораздо труднѣе, даже невозможно, убѣдить Григорія Иваныча взять меня къ себѣ прямо отъ своего пріятеля. Впрочемъ, и теперь она встрѣтила столько затрудненій, что успѣхъ долго казался сомнительнымъ. Надобно сказать, что во все продолженіе вторичнаго пребыванія моего въ гимназіи дружескія отношенія Григорія Иваныча къ моему семейству не только не ослабѣвали, но постепенно возрастали. Мать моя вела съ нимъ самую живую переписку и онъ долженъ былъ оцѣнить ея умъ, необыкновенную материнскую любовь и постоянную къ нему дружбу, основанную на уваженіи къ его строгимъ нравственнымъ правиламъ. Не одинъ разъ слышалъ я самъ изъ другой комнаты, съ какимъ жаромъ сердечнаго краснорѣчія, съ какими горячими слезами моя мать убѣждала, умоляла Григорія Иваныча быть моимъ воспитателемъ.... Наконецъ твердость его была побѣждена: онъ согласился, хотя весьма неохотно. Онъ взялъ меня не какъ воспитанника или пансіонера, а какъ молодого товарища; ему было тогда двадцать-шесть лѣтъ, мнѣ—тринадцать. Онъ ни за что не согласился взять за меня деньги, но предложилъ, чтобы наемъ квартиры и столъ мы держали пополамъ, а для большаго удобства я имѣлъ свой особый чай; всѣ прочія издержки, какъ его, такъ и мои разумѣется, каждый изъ насъ производилъ на свой счетъ. Когда моя мать достигла исполненія этого пламеннаго и давнишняго своего желанія, она была такъ счастлива, такъ свѣтла и радостна, что я глубоко почувствовалъ, что съ любовью матери никакая другая любовь сравниться не можетъ. Я также былъ очень радъ, что попалъ къ Григорію Иванычу. Я чувствовалъ къ нему глубокое уваженіе и даже любилъ его; нѣсколько странные и сухіе его пріемы не пугали меня: я

хорошо зналъ, что эта холодная наружность, вслѣдствіе его взгляда на воспитаніе, была принята имъ за правило въ обращеніи съ молодыми людьми; я думалъ тогда, что, можетъ быть, такъ и надо поступать, чего, конечно, не думаю теперь.

Немедленно наняли довольно хорошій и помѣстительный домъ тѣхъ же самыхъ Елагиныхъ, домъ, въ которомъ они тогда не жили, а отдавали внаймы. Сначала мать переѣхала туда со мною, устроила наше будущее хозяйство и, сдавъ меня, уже совершенно выздоровѣвшаго, съ рукъ на руки Григорію Иванычу, исполненная самыхъ пріятныхъ надеждъ, уѣхала въ Оренбургское Аксаково къ остальному своему семейству. Это было уже въ февралѣ 1804 года.—Я не знаю болѣе отраднаго воспоминанія изъ моей ранней молодости, какъ воспоминаніе жизни у Григорія Иваныча. Она продолжалась два года съ половиной, и хотя въ концѣ ясность ея помутилась, но въ благодарной памяти моей сохранились живѣе и отчетливѣе только утѣшительныя картины. Долго не соглашался Григорій Иванычъ взять меня; но за то, согласившись,—посвятилъ мнѣ всего себя. Ученье въ классахъ, съ успѣхомъ продолжаемое, было однако дѣломъ второстепеннымъ: главнымъ дѣломъ были упражненія домашнія. Я постоянно ходилъ только къ нѣкоторымъ учителямъ; классы же ариѳметики, рисованья и каллиграфіи посѣщались мною рѣдко; въ эти часы я работалъ дома подъ руководствомъ моего разумнаго наставника. Странное дѣло, что математика рѣшительно не шла мнѣ въ голову! Григорій Иванычъ сначала усердно занимался со мною, и нельзя сказать, чтобы я не понималъ его необыкновенно ясныхъ толкованій; но я сейчасъ забывалъ понятое, и Григорій Иванычъ подумалъ, что я даже не понимаю ничего. Зная, что я былъ друженъ съ лучшимъ студентомъ математики, Александромъ Княжевичемъ, онъ предложилъ ему попробовать заняться со мною, и что же? У Княжевича я понималъ гораздо лучше, чѣмъ у Григорія Иваныча, и долѣе помнилъ. Но все это ни къ чему не повело: чрезъ нѣсколько дней не оставалось въ головѣ моей ни одного предложенія, ни одного доказательства. Отличная память моя относительно математики оказывалась чистымъ листомъ бѣлой бумаги, на которомъ не сохранялось ни однаго математическаго знака! А потому наставникъ мой, сообразно моимъ природнымъ наклонностямъ и способностямъ,

устроилъ планъ моего образованія: общаго, легкаго, преимущественно литературнаго. Онъ выписалъ для меня немедленно множество книгъ. Сколько могу припомнить, это были: Ломоносовъ, Державинъ [1]), Дмитріевъ, Капнистъ и Хемницеръ. У меня былъ уже Сумароковъ и Херасковъ, но Григорій Иванычъ никогда не читалъ ихъ со мною. На французскомъ языкѣ были выписаны: Массильонъ, Флешье и Бурдалу, какъ проповѣдники; сказки Шехеразады, Донъ-Кишотъ, смерть Авеля, Геснеровы Идилліи, Вакфильдскій Священникъ, двѣ натуральныя исторіи, и въ томъ числѣ одна съ картинками, какихъ авторовъ—не знаю. Натуральная исторія была для меня самой привлекательной наукой. Другихъ книгъ не припомню; но были и еще какія-то. Воспитатель мой прежде всего занялся со мной иностранными языками, преимущественно французскимъ, въ которомъ я, да почти и всѣ ученики, былъ очень слабъ: въ три мѣсяца я могъ свободно читать и понимать всякую французскую книгу. Ученье вокабулъ, грамматики и разговоровъ шло само по себѣ въ классѣ; но дома я ничего не училъ наизусть. Григорій Иванычъ бралъ книгу, заставлялъ меня читать и переводить словесно. Сначала я ровно ничего не понималъ, и это было мнѣ дико и скучно; но учитель мой упорно продолжалъ свою методу, и скорый успѣхъ удивилъ и обрадовалъ меня. Неизвѣстныя слова я записывалъ особо; потомъ словесный переводъ, всегда повторенный два раза, писалъ на бумагѣ; при моей свѣжей памяти, я, не уча, всегда зналъ наизусть на другой же день и французскій оригиналъ, и русскій переводъ, и всѣ отдѣльно записанныя слова. Первая прочитанная и переведенная мною статья была изъ французской христоматіи: „Lès aventures d'Aristonoy"; непосредственно послѣ нея я началъ читать и переводить Шехеразаду, а потомъ Донъ-Кишота. Нѣкоторыя мѣста мнѣ не позволялось читать, и я съ точностью исполнялъ приказаніе. Боже мой! какъ было мнѣ весело учиться по такимъ веселымъ и увлекательнымъ книгамъ! Даже теперь, по прошествіи пятидесяти лѣтъ, я вспоминаю съ живѣйшимъ удовольствіемъ объ этихъ чтеніяхъ; помню, съ какимъ нетерпѣніемъ дожидался

[1]) Тогда находился въ печати только одинъ томъ Державина и еще небольшой томикъ анакреонтическихъ стихотвореній, напечатанный въ „Петроградѣ", какъ значилось въ заглавномъ листѣ. Видно Державину не нравилось иностранное имя новой русской столицы.

я назначеннаго для нихъ времени, почти всегда немедленно послѣ обѣда!

Григорій Иванычъ серьезно занимался своей наукой и, пользуясь трудами знаменитыхъ тогда ученыхъ по этой части, писалъ собственный курсъ чистой математики, для преподаванія въ гимназіи; онъ читалъ много нѣмецкихъ писателей, философовъ, и постоянно совершенствовалъ себя въ латинскомъ языкѣ [1]). Читая же со мною Шехеразаду и Донъ-Кишота, онъ отдыхалъ отъ своихъ умственныхъ трудовъ и отъ души хохоталъ вмѣстѣ со мною, какъ совершенный мнѣ ровесникъ, или лучше сказать, какъ дитя, чѣмъ сначала приводилъ меня въ большое изумленіе: въ это время нельзя было узнать моего наставника; вся его сухость и строгость исчезали, и я полюбилъ его такъ горячо, какъ родного старшаго брата, хотя въ то же время очень его боялся. Но когда я довольно успѣлъ во французскомъ языкѣ, чтеніе русскихъ писателей, преимущественно стихотворцевъ, сдѣлалось главнѣйшимъ нашимъ занятіемъ. Григорій Иванычъ такъ хорошо, такъ понятно объяснялъ мнѣ красоты поэтическія, мысль автора и достоинство выраженій, что моя склонность къ литературѣ скоро обратилась въ страстную любовь. Безъ всякаго усилія съ моей стороны, я выучивалъ всѣ лучшіе стихи изъ Державина, Ломоносова и Капниста, которые выбиралъ для меня мой строгій воспитатель; стихотворенія же Ив. Ив. Дмитріева, какъ образцовыя тогда по чистотѣ и правильности языка, я зналъ наизусть почти всѣ. Мы очень мало читали русской прозы, вѣроятно отъ того, что мой наставникъ не былъ доволенъ тогдашними прозаиками. Достойно замѣчанія, что онъ не читалъ со мною Карамзина, кромѣ нѣкоторыхъ писемъ „Русскаго путешественника“, и не позволилъ мнѣ имѣть въ моей библіотеки „Моихъ бездѣлокъ“. Я читалъ уже прежде все, написанное Карамзинымъ, зналъ на память и съ жаромъ декламировалъ „Прощанье Гектора съ Андромахой“ и „Опытную Соломонову Мудрость“. Я поспѣшилъ было похвастаться этимъ передъ своимъ наставникомъ, но онъ наморщился и сказалъ, „что первая піеса не даетъ понятія о Го-

[1]) Григорій Иванычъ отлично зналъ новѣйшіе языки и свободно писалъ на нихъ. Латинскимъ же языкомъ онъ приводилъ въ изумленіе Виленскій университетъ, котораго впослѣдствіи былъ послѣднимъ попечителемъ. Удивительно, какъ и гдѣ онъ могъ пріобрѣсть такія свѣдѣнія въ языкахъ

мерѣ, а вторая объ Экклезіастѣ", и прибавилъ, „что Карамзинъ не поэтъ, и что лучше эти піесы совсѣмъ позабыть". Я былъ очень изумленъ; обѣ піесы мнѣ нравились, и я продолжалъ декламировать ихъ потихоньку, когда мнѣ случалось одному гулять по саду. Сочинять мнѣ не дозволялось, и я наслаждался этимъ удовольствіемъ или въ классѣ у Ибрагимова, или дома, также потихоньку. Я слышалъ одинъ разъ изъ своей комнаты, которая отдѣлялась тонкою дверью отъ гостиной, служившей ученымъ кабинетомъ и спальной для Григорія Иваныча, какъ онъ разговаривалъ обо мнѣ съ Ибрагимовымъ. Ибрагимовъ очень меня хвалилъ и показалъ моему воспитателю мое классное сочиненіе, въ видѣ письма къ пріятелю, „О красотахъ весны", и прибавилъ, что нехудо бы занимать меня поболѣе сочиненіями. Григорій Иванычъ, сохранявшій всегда надъ своими товарищами какое-то превосходство, весьма рѣшительно ему отвѣчалъ: „Все это, братецъ, совершенные пустяки. Сочиненіе его состоитъ изъ чужихъ фразъ, нахватанныхъ имъ изъ разныхъ книгъ, а потому даже нельзя судить, имѣетъ ли онъ свое собственное дарованіе. Охота у него большая, и я знаю, что онъ скоро начнетъ марать бумагу, но я буду держать его на вожжахъ какъ можно дольше: чѣмъ позже начнетъ сочинять мой Телемакъ [1]), тѣмъ лучше. Надобно, чтобы молодой человѣкъ набрался хорошихъ примѣровъ и образовалъ свой вкусъ, читая сочинителей, пишущихъ стройно и правильно. Ты думаешь, я всего Державина даю ему читать? Напротивъ, онъ знаетъ стихотвореній двадцать, не больше, а Дмитріева знаетъ всего. Я думаю, ты у меня его портишь. Вѣроятно, „Бѣдная Лиза", „Наталья, боярская дочь" и драматическій отрывокъ „Софья" — не выходятъ у тебя въ классѣ изъ рукъ?" Ибрагимовъ обидѣлся и возразилъ, „что онъ хорошо понимаетъ, что эти піесы, не смотря на ихъ прелесть, неприличны для учениковъ".—„Хорошо, что такъ, продолжалъ мой наставникъ; а нашъ Эрихъ [2]) именно эти піесы заставилъ переводить на французскій языкъ". Разговоръ продолжался довольно долго, и какъ я ни былъ молодъ, но понималъ разумность рѣчей

[1]) Такъ звали меня въ шутку всѣ товарищи Григорія Иваныча, величая его въ то же время „Ментором" и „Минервой".

[2]) Эрихъ былъ большой лингвистъ, какъ въ новѣйшихъ, такъ и въ древнихъ языкахъ. Въ гимназіи онъ училъ въ высшемъ классѣ французскому и нѣмецкому языкамъ, а въ университетѣ былъ сдѣланъ адъюнктомъ латинской и греческой словесности.

моего воспитателя. Онъ не зналъ, что я дома, и оттого такъ громко разговорился обо мнѣ: я воротился изъ гимназіи ранѣе обыкновеннаго, потому что учителя не было въ классѣ, и прошелъ въ свою комнату никѣмъ незамѣченный. Тутъ я услышалъ также, какъ высоко Григорій Иванычъ цѣнилъ мою мать; но увы, ни одного лестнаго отзыва не сказалъ онъ обо мнѣ, а какъ мнѣ хотѣлось услышать что-нибудь подобное! Точно онъ зналъ, что я подслушиваю у двери.— Странное, непостижимое дѣло! Разсуждая теперь о прошедшемъ, я не умѣю себѣ объяснить, отчего я былъ такъ горячо привязанъ къ Григорію Иванычу? По молодости, я не могъ тогда понимать вполнѣ, что его сухое обращеніе прикрывало глубокое участіе и душевное расположеніе ко мнѣ. Онъ ни разу не приласкалъ меня, не польстилъ моему самолюбію какою-нибудь похвалою, не ободрилъ моего прилежанія, и со всѣмъ тѣмъ я любилъ его такъ горячо, какъ не любилъ никого изъ постороннихъ. Я помню, какъ одинъ разъ услыхалъ я, что онъ смѣется; я заглянулъ въ его комнату и увидѣлъ, что мой строгій наставникъ, держа въ рукѣ какую-то математическую книгу, хохочетъ, какъ дитя, смотря на играющихъ котятъ... Лицо у него въ то время было такое доброе, ласковое, даже нѣжное, что я позавидовалъ котятамъ. Я вошелъ къ нему въ комнату съ своей тетрадкой—и прежняя спокойная холодность, даже какая-то суровость, выразилась на его лицѣ.

Такъ шло мое время; Григорій Иванычъ становился по временамъ доступнѣе, и рѣчи его, если не были ласковы, то по крайней мѣрѣ иногда дѣлались шутливы, но только наединѣ, преимущественно во время чтенія Донъ-Кишота, въ которомъ Санхо-Пансо былъ для насъ неистощимымъ источникомъ смѣха; какъ же скоро появлялся третій, хотя бы Евсеичъ,—наставникъ мой дѣлался серьезнымъ.

Григорій Иванычъ былъ сынъ малороссійскаго дворянина, священника, имѣвшаго около ста душъ крѣпостныхъ крестьянъ; прадѣдъ его, турокъ, не знаю по какимъ причинамъ, выѣхалъ изъ Турціи, принялъ христіанскую вѣру, женился и поселился въ Малороссіи. Григорій Иванычъ не былъ любимымъ сыномъ у матери, но за то отецъ любилъ его съ материнскою нѣжностью. Видя, что мальчику въ домѣ житье плохое, отецъ отвезъ его по девятому году въ Москву и помѣстилъ въ университетскую гимназію на казенное содер-

жаніе. Сынъ былъ горячо, страстно къ нему привязанъ и очень тосковалъ, оставшись въ Москвѣ; старикъ черезъ годъ пріѣхалъ навѣстить его, и мальчикъ такъ обрадовался, что получилъ отъ волненія горячку; бѣдный отецъ не могъ долго мѣшкать въ Москвѣ и долженъ былъ оставить своего любимца еще больного. Черезъ годъ старикъ умеръ. Въ продолженіи восьмнадцати лѣтъ, со времени своего опредѣленія въ Московскую гимназію, Григорій Иванычъ одинъ только разъ ѣздилъ на побывку въ Малороссію, передъ вступленіемъ въ званіе учителя, и вывезъ изъ родительскаго дома непріятное и тягостное ощущеніе. Все это разсказалъ мнѣ его слуга, хохолъ Яшка, котораго онъ привезъ съ собою. Въ выговорѣ моего воспитателя, въ складѣ его ума и въ наружности не было ни малѣйшаго признака малоросса. Кажется, родина не привлекала его, и я часто слышалъ, какъ онъ, высоко ставя великорусскій толкъ, подсмѣивался надъ хохлацкой лѣнью и тупостью, за что очень сердились его земляки, Иванъ Ипатычъ и Маркевичъ, служившій въ гимназіи экономомъ, человѣкъ необыкновенно добрый, съ порядочнымъ брюхомъ, природный юмористъ и презабавный шутникъ, который очень ласкалъ меня и котораго я очень любилъ.

Пришла весна 1804 года, и на страстной недѣлѣ Григорій Иванычъ говѣлъ со мною, соблюдая постъ и церковные обряды съ всею строгостью. Приходская наша церковь Св. Великомученицы Варвары находилась у самой заставы, за такъ-называемымъ Арскимъ полемъ; мы, не смотря на весеннюю распутицу, ходили въ церковь на всѣ службы, даже къ заутрени. Въ это время зашелъ къ намъ Иванъ Ипатычъ, и я нечаянно услышалъ, какъ онъ шутилъ надъ богомольемъ Григорія Иваныча. Изъ его словъ можно было заключить, что мой воспитатель не былъ прежде ревностнымъ исполнителемъ религіозныхъ обрядовъ; но на этотъ разъ онъ строго отдѣлалъ своего пріятеля за неумѣстныя шутки, такъ что Иванъ Ипатычъ, имѣвшій претензію слыть философомъ, очень осердился и долго не ходилъ къ намъ. Я долженъ сказать, что Григорій Иванычъ во всю жизнь былъ истиннымъ христіаниномъ. Не смотря на маленькую ссору съ Иваномъ Ипатычемъ, наставникъ мой уѣхалъ со мной въ его деревню, и мы вдвоемъ провели время въ Кошаковѣ, безъ хозяевъ, очень пріятно; мы жили въ небольшомъ флигелѣ, на берегу широкаго пруда, только что очищавшагося тогда отъ зим-

няго льда; мы постоянно читали что-нибудь и, не смотря на грязь, каждый день два раза ходили гулять. Весна развлекала меня и слишкомъ живо напоминала весну въ Аксаковѣ. Крикъ прилетныхъ птицъ волновалъ душу будущаго охотника. Одинъ разъ, когда Григорій Иванычъ читалъ со мною серьезную книгу на французскомъ языкѣ и, сидя у растворенаго окна, старался объяснить мнѣ какую-то мысль, неясно мною понимаемую,—вдругъ куликъ-красноножка зазвенѣлъ своими мелодическими трелями, загнувъ къ верху свои крылья, и, вытянувъ длинныя, красныя ноги, плавно опустился на берегъ пруда, противъ самаго окошка—я вздрогнулъ, книга выпала у меня изъ рукъ и я бросился къ окну. Наставникъ мой былъ изумленъ. Я, задыхаясь, повторялъ: „куликъ, куликъ-красноножка, сѣлъ на берегъ близехонько, вонъ онъ ходитъ“... Но Григорій Иванычъ не понималъ чувства охотника и сурово приказалъ мнѣ сѣсть и продолжать. Я повиновался, и хотя не смотрѣлъ на кулика, но слышалъ его голосъ; кровь бросилась мнѣ въ лицо и я не понималъ ни одного слова въ моей книгѣ. Воспитатель мой съ неудовольствіемъ велѣлъ мнѣ положить ее и заняться переписываніемъ на-бѣло одного изъ моихъ прежнихъ, уже исправленныхъ имъ, переводовъ, а самъ принялся читать. Черезъ часъ онъ спросилъ меня: „Вылетѣлъ-ли куликъ изъ вашей головы?“ Я отвѣчалъ утвердительно, и мы принялись за прерванное занятіе. Надобно прибавить, что Григорій Иванычъ всегда былъ очень снисходителенъ въ подобныхъ случаяхъ: какъ только онъ замѣчалъ, что я утомлялся или развлекался чѣмъ-нибудь, онъ приказывалъ мнѣ итти гулять по саду или заняться механическимъ дѣломъ.

Наступилъ іюнь и время экзаменовъ. Я былъ отличнымъ ученикомъ во всѣхъ среднихъ классахъ, которые посѣщалъ; но какъ въ нѣкоторые я совсѣмъ не ходилъ, то и награжденія никакого не получилъ; это не помѣшало мнѣ перейти въ высшіе классы. Только девять учениковъ, кончивъ курсъ, вышли изъ гимназіи, а всѣ остальные остались въ высшемъ классѣ на другой годъ.

Тройка лошадей и повозка уже пріѣхала за мной. Мы съ Евсеичемъ собрались въ дорогу, и въ день публичнаго акта, также въ первыхъ числахъ іюля, послѣ обѣда назначено было намъ выѣхать. Наканунѣ Григорій Иванычъ сказалъ, что хочетъ проводить меня и спросилъ, доволенъ ли

я его намѣреніемъ? Я отвѣчалъ, что очень доволенъ. Я подумалъ, что онъ хочетъ проводить меня за городъ. На другой день поутру Евсеичъ шепнулъ мнѣ по секрету: „Григорій Иванычъ ѣдетъ съ нами въ Аксаково, только не велѣлъ вамъ сказывать.“ Хотя я занимался ученіемъ очень охотно, но не совсѣмъ былъ доволенъ этимъ извѣстіемъ, потому что во время вакаціи я надѣялся хорошенько поудить, а главное—пострѣлять; отецъ обѣщалъ еще за годъ, что онъ приготовитъ мнѣ ружье и выучитъ меня стрѣлять. Я зналъ, что Григорій Иванычъ не прекратитъ своихъ занятій со мной и отниметъ у меня много времени; къ тому же мнѣ показалась непріятною его скрытность. Евсеичъ также почему-то не былъ доволенъ. Послѣ акта мы пообѣдали нѣсколько ранѣе обыкновеннаго и выѣхали изъ города. Я не показывалъ виду, что знаю намѣреніе Григорія Иваныча. Выѣхавъ за заставу, мы пошли пѣшкомъ. Наставникъ мой былъ очень доволенъ и даже веселъ: любовался видомъ зеленыхъ полей, лѣсовъ и мелкими облачками лѣтняго неба. Вдругъ онъ сказалъ, улыбаясь: „Погода такъ хороша, что я хочу проводить васъ до ночевки, до Мёши, и посмотрю, какъ вы меня накормите рыбой.“ Я притворился, что ничего не знаю. „Такъ сядемте же и поѣдемте поскорѣе, сказалъ я, чтобъ пораньше пріѣхать. Да когда же и на чемъ вы воротитесь?“—„Я ночую съ вами въ повозкѣ, а завтра поутру найму телѣгу“, отвѣчалъ Григорій Иванычъ, смотря на меня пристально. Мы сѣли и поѣхали шибкой рысью. Вечеръ былъ великолѣпный, очаровательный; съ нами были удочки, и мы съ Евсеичемъ на Мёшѣ наудили множество рыбы, которую и варили и жарили; спать легли въ повозкѣ. Проснувшись на другой день поутру, я увидѣлъ, что мы ѣдемъ, что солнце уже взошло высоко и что Григорій Иванычъ сидитъ подлѣ меня и смѣется. Я самъ разсмѣялся и признался, что зналъ его намѣреніе давно. Онъ пожурилъ однако Евсеича за нескромность и прочтя на моемъ лицѣ, что я не совсѣмъ доволенъ, сказалъ: „вы боитесь, что я помѣшаю вамъ гулять, но не бойтесь. Я стану заниматься съ вами тогда, когда вы сами будете просить о томъ. Вотъ теперь дорогой нечего намъ дѣлать, такъ мы будемъ что-нибудь читать“.... И вытащилъ изъ кармана книгу. Я былъ совершенно утѣшенъ такими словами и охотно бросился бы на шею своему воспитателю; но я не смѣлъ о томъ и подумать. Мы очень много занимались

дорогой; а сверхъ того, я перечиталъ наизустъ все, что зналъ; даже разговаривали гораздо больше и откровеннѣе, чѣмъ въ Казани; но гдѣ только можно было удить—я удилъ, сколько было мнѣ угодно. Такимъ образомъ въ пятый день пріѣхали мы въ Аксаково. Пріѣздъ Григорія Иваныча былъ самою пріятною неожиданностью для моей матери; она пришла въ восхищеніе.

Противъ всякаго ожиданія, мы нашли полонъ домъ родныхъ, гостей и большую суматоху: тетка моя Евгенія Степановна выходила замужъ и черезъ нѣсколько дней назначена была свадьба. Евгеньѣ Степановнѣ стукнуло уже сорокъ лѣтъ, но она была очень свѣжа и моложава; ей наскучило жить въ домѣ у невѣстки и находиться въ полной зависимости отъ хозяйки, которая въ старые годы много терпѣла отъ своихъ золовокъ и въ томъ числѣ отъ нея, хотя она была лучше другихъ. Евгеньѣ Степановнѣ захотѣлось, хоть подъ старость, зажить своимъ домкомъ, имѣть свой уголокъ и быть въ немъ полной хозяйкой. Она выходила замужъ за Василія Васильевича Угличинина, цѣлый вѣкъ служившаго въ военной службѣ и недавно вышедшаго въ отставку подполковникомъ. Это былъ человѣкъ очень простой, добрый, смирный и честный; ему было далеко за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ не имѣлъ никакого состоянія, кромѣ пенсіи, и происходилъ изъ самобѣднѣйшихъ дворянъ или однодворцевъ, переселившихся въ Уфимское намѣстничество. Четырнадцати лѣтъ опредѣлили его въ военную службу: онъ служилъ тихо, исправно, терпѣлъ постоянно нужду, былъ во многихъ сраженіяхъ и получилъ нѣсколько легкихъ ранъ; онъ не имѣлъ никакихъ знаковъ отличія, хотя формулярный списокъ его былъ такъ длиненъ и краснорѣчивъ, что, кажется, должно бы его обвѣшать всякими орденами. Послѣднее время онъ служилъ на Кавказѣ, откуда вывезъ небольшую сумму денегъ, накопленную изъ жалованья, мундиръ безъ эполетъ, горскаго, побѣлѣвшаго отъ старости, коня, ревматизмъ во всемъ тѣлѣ и катаракту на правомъ глазу; катаракта по счастью былъ не такъ примѣтенъ, и Василій Васильевичъ старательно скрывалъ его, боясь, что за кривого не пойдетъ невѣста. У Евгеніи Степановны, въ семи верстахъ отъ ея сестры Александры Степановны, находилась деревушка изъ двадцати-пяти душъ, при ней маленькій домикъ, сплоченный изъ двухъ крестьянскихъ срубовъ, на родниковой рѣчкѣ Бавлѣ, кипѣвшей

форелью (уголокъ очаровательный!), и достаточное количество превосходной земли, со всякими угодьями, купленной на ея имя у Башкирцевъ за самую ничтожную цѣну, о чемъ хлопоталъ деверь ея, самъ полу-башкирецъ, И. П. Кротковъ [1]). И такое ничтожное имѣньице казалось заслуженному воину спокойной пристанью, кускомъ хлѣба на старость.

Всѣ потихоньку подсмѣивались надъ старымъ и кривымъ женихомъ, кромѣ моей матери, отца и Григорія Иваныча, которые обходились съ нимъ съ уваженіемъ и привѣтливо. Злые языки объясняли ласковость моей матери тѣмъ, что она хотѣла сбыть съ рукъ золовку. Но это неправда; моя мать всегда умѣла цѣнить и уважать простодушныхъ и безхитростныхъ людей; она искренно совѣтовала Евгеньѣ Степановнѣ выйти замужъ за добраго человѣка, и Евгенія Степановна благодарила ее за эти совѣты во всю жизнь. Григорій Иванычъ находилъ сверхъ того особенное удовольствіе въ разговорахъ съ заслуженнымъ инвалидомъ, и Василій Васильичъ, до крайности неразговорчивый съ другими, охотно отвѣчалъ на его вопросы и разсказывалъ очень много любопытнаго. Воспитатель мой тогда же обратилъ мое вниманіе и сочувствіе къ этому человѣку, объяснивъ мнѣ его достоинства, которыхъ я, по молодости лѣтъ, могъ не понять и не замѣтить.—Въ домѣ не было мѣста для мужчинъ, даже женщины съ трудомъ помѣщались, потому что три комнаты были отдѣлены для будущихъ молодыхъ. Это привело въ затрудненіе мою мать, и она сдѣлала поступокъ, котораго мужнина родня никогда ей не прощала: она отдала Григорію Иванычу свою спальню, въ которую никто изъ постороннихъ не смѣлъ и входить, и помѣстила съ нимъ меня, разумѣется, на то время, пока не разъѣхались гости. Въ положенный срокъ свадьба благополучно совершилась. Отецъ мой проводилъ молодыхъ Угличининыхъ на новоселье и немедленно воротился. Наконецъ мы остались одни въ своей семьѣ.

Я прерываю свой разсказъ и забѣгаю впередъ. Такъ живо представилась мнѣ жизнь Угличининыхъ, что хочется поговорить о ней... Не смотря на недостатки и нужду, которыхъ не знала Евгенія Степановна въ своей дѣвической жизни,

---

[1]) Увы! земля эта отошла, послѣ многолѣтней тяжбы съ сосѣдственной Бавлинской тюбой Башкирцевъ, которые доказали, что они настоящіе вотчинники. Бѣдная тётка моя купила неподалеку 900 десятинъ и должна была перевесть свою деревушку и перевесть усадьбу.

проведя ее сначала въ домѣ родительскомъ, а потомъ въ домѣ брата и снохи, и которые она узнала замужемъ—она была совершенно счастлива. Она любила нѣжно и горячо своего инвалида-полковника, который также очень нѣжно и глубоко любилъ ее. Къ сожалѣнію они не имѣли дѣтей. Евгенія Степановна до глубокой старости сохранила какой-то дѣвическій, цѣломудренный видъ; въ обращеніи съ мужемъ она была стыдлива и никогда никакой ласки при свидѣтеляхъ ему не оказывала, надъ чѣмъ иногда подсмѣивался старый воинъ, намекая, что не всегда Евгенія Степановна бываетъ такъ неприступна. При другихъ они были далеки между собою, всегда говорили другъ другу: *вы*, и вообще обходились очень учтиво. Съ перваго взгляда это могло показаться холодностью, но скоро взаимное, заботливое вниманіе, постоянное наблюденіе другъ за другомъ, участіе къ каждому слову и движенію—дѣлались замѣтны, и всякій убѣждался, что Евгенія Степановна живетъ и дышетъ Василіемъ Васильичемъ, а Василій Васильевичъ, хотя не такъ тревожно, живетъ и дышетъ Евгеніей Степановной. Домикъ ихъ блисталъ опрятностью и чистотою, привлекалъ уютностью, дышалъ спокойствіемъ. Нельзя сказать, чтобъ у нихъ были одинаковые вкусы, но самое разногласіе сливалось у нихъ въ стройное теченіе жизни. Евгенія Степановна, напримѣръ, любила кошекъ, собачекъ, которыя, надобно замѣтить, какъ-то у нея не сорили, не пачкали и ничего не портили; Василій Васильевичъ совсѣмъ не любилъ ихъ, но самая безобразная хрипучая моська, съ языкомъ на сторону, по прозванію: „Калмыкъ", была ему пріятна и дорога, потому что ее любила Евгенія Степановна, и онъ кормилъ, ласкалъ отвратительнаго Калмыка съ удовольствіемъ и благодарностью. Даже сурокъ, который зимовалъ подъ печкой, который очень забавлялъ Евгенію Степановну и очень обижалъ Василія Васильича, потому что затаскивалъ и пряталъ его туфли такъ искусно, что иногда цѣлый день не могли отыскать ихъ, отчего приходилось полковнику вставать съ постели босикомъ,—даже и сурокъ пользовался его благосклонностью. Все у нихъ въ домикѣ было какъ-то на своемъ мѣстѣ, какъ-то лучше, чѣмъ у другихъ: собаки и кошки жирнѣе и опрятнѣе, пѣвчія птички веселѣе и голосистѣе, растенія зеленѣе. Подарятъ бывало имъ горшокъ какихъ-нибудь засыхающихъ цвѣтовъ—они у нихъ оживутъ, позеленѣютъ и необыкновенно разростутся, такъ что прежній хозяинъ

выпроситъ ихъ назадъ. Въ маленькихъ комнатахъ у Евгеньи Степановны росли и стручковое дерево, и финикъ, и виноградъ отъ косточекъ изюма, и другія растенія, требующія тепличнаго содержанія. Какъ-будто въ воздухѣ было нѣчто успокоительное и живительное, отъ чего и животному и растенію было привольно и что замѣняло имъ, хоть отчасти, дикую свободу или природный климатъ... Василій Васильичъ и Евгенія Степановна вмѣстѣ смотрѣли за своимъ маленькимъ хозяйствомъ, и, безъ всякаго отягощенія, всего дѣлалось у нихъ вдвое болѣе, скорѣе и лучше, чѣмъ у другихъ. Вмѣстѣ ходили они по грибы и по ягоды, вмѣстѣ ловили чудную форель въ своей рѣчкѣ и вмѣстѣ радовались всякой удачѣ... Но Боже мой, что дѣлалось съ ними, если кто-нибудь изъ нихъ захворывалъ! Тутъ только оказывалась вполнѣ эта взаимная, глубокая и нѣжная любовь, которую въ обыкновенное время не вдругъ и замѣтишь... Но я удержусь отъ дальнѣйшихъ подробностей, которыя завели бы меня далеко. Скажу только, что впослѣдствіи, заѣзжая иногда въ этотъ уединенный уголокъ и посмотря нѣсколько часовъ на эту безцвѣтную скромную жизнь, я всегда поддавался ея впечатлѣнію и спрашивалъ себя: не здѣсь ли живетъ истинное счастіе человѣческое, чуждое неразрѣшимыхъ вопросовъ, неудовлетворяемыхъ требованій, чуждое страстей и волненій? Долго звучалъ во мнѣ гармоническій строй этой жизни, долго чувствовалъ я какое-то грустное умиленіе, какое-то сожалѣніе о потерѣ того, что имѣть казалось такъ легко, что было подъ руками. Но когда задавалъ я себѣ вопросъ: не хочешь-ли быть Василіемъ Васильевичемъ?... я пугался этого вопроса, и умилительное впечатлѣніе мгновенно исчезало.

Отецъ мой сдержалъ свое обѣщаніе: онъ приготовилъ мнѣ легонькое ружье, очень ловкое въ прикладѣ и красиво отдѣланное, *съ видомъ* [1]) (на манеръ тогдашнихъ охотничьихъ англійскихъ ружей), съ серебряной насѣчкой и цѣлью; онъ купилъ его какъ-то по случаю, за пятнадцать рублей ассиг., и хотя ружье было тульской работы, но и по тогдашнимъ цѣнамъ стоило вдвое или втрое дороже; шаговъ на пятьдесятъ оно било очень хорошо.—Первый выстрѣлъ изъ ружья, ко-

[1]) Ружье, стволъ котораго къ концу толще и потому шире,—называется или называлось: съ видомъ.

торымъ я убилъ ворону, рѣшилъ мою судьбу: я сдѣлался безумнымъ стрѣлкомъ. На другой день я застрѣлилъ утку и двухъ болотныхъ куликовъ, и окончательно помѣшался. Удочка и ястреба были забыты, и я, увлеченный страстностью моей природы, бѣгалъ съ ружьемъ цѣлый день и грезилъ объ ружьѣ цѣлую ночь. Такъ продолжались и послѣдующіе дни. Григорій Иванычъ, видя меня только мелькомъ, всегда занятого и спѣшащаго, напрасно ожидалъ, чтобы я попросилъ его заняться со мною. Онъ сказалъ о нашемъ уговорѣ моей матери, и она приказала мнѣ, чтобы я попросилъ Григорія Иваныча занимать меня, каждый день два часа, чѣмъ-нибудь по его усмотрѣнію. Такое приказаніе было мнѣ очень не по вкусу, но я повиновался. Сначала Григорій Иванычъ не могъ безъ смѣха смотрѣть на мою жалкую фигуру и лицо; но когда, развернувъ какую-то французскую книгу и начавъ ее переводить, я сталъ путаться въ словахъ, не понимая, отъ разсѣянности, того, что я читалъ, ибо передъ моими глазами летали утки и кулики, а въ ушахъ звенѣли ихъ голоса,—воспитатель мой наморщилъ брови, взялъ у меня книгу изъ рукъ и, ходя изъ угла въ уголъ по комнатѣ, цѣлый часъ читалъ мнѣ наставленія, убѣждая меня, чтобы я побѣдилъ въ себѣ вредное свойство увлекаться до безумія, до забвенія всего меня окружающаго.... Увы, я ничего не слыхалъ, ничего не понималъ, и всѣ его золотыя слова, справедливыя мысли, убѣдительныя доказательства—улетали на воздухъ. Видя безуспѣшность убѣжденій, Григорій Иванычъ испыталъ другое средство: на цѣлую недѣлю оставилъ онъ меня на свободѣ, съ утра до вечера бѣгать съ ружьемъ до упаду, до совершеннаго истощенія; онъ надѣялся, что я опомнюсь самъ, что пресыщеніе новой охотой и усталость возвратятъ мнѣ разсудокъ; но напрасно: я не выпускалъ ружья изъ рукъ, мало ѣлъ, дурно спалъ, загорѣлъ какъ арапъ, и примѣтно похудѣлъ. Тогда наставникъ мой, опасаясь за мое здоровье, принялъ рѣшительныя мѣры, которыя давно совѣтывала ему моя мать, но въ распоряженія его не мѣшалась: ружье повѣсили на стѣнку и мнѣ запретили ходить на охоту. Смѣшно и совѣстно вспомнить, что было со мною въ первые сутки! Я плакалъ, ревѣлъ какъ маленькое дитя, валялся по полу, рвалъ на себѣ волосы и едва не изорвалъ своихъ книгъ и тетрадей, и, конечно, только огорченіе матери и кроткія увѣщанія отца спасли меня отъ глупыхъ, безумныхъ поступковъ; на другой день я какъ будто

очнулся, а на третій могъ уже заниматься и читать вслухъ моихъ любимыхъ стихотворцевъ со вниманіемъ и удовольствіемъ; на четвертый день я совершенно успокоился, и тогда только прояснилось лицо моего наставника. Во всѣ эти дни онъ почти не говорилъ со мною и смотрѣлъ на меня то сурово, то съ обиднымъ сожалѣніемъ. Наконецъ онъ обратился ко мнѣ съ участіемъ и разумными, снисходительными словами, и на этотъ разъ—съ полнымъ успѣхомъ. Мнѣ было совѣстно, досадно на самого себя почти до слезъ и, переходя отъ одной крайности къ другой, я хотѣлъ отказаться совсѣмъ отъ ружья. Григорій Иванычъ опять былъ недоволенъ: онъ не одобрилъ моего намѣренія, потребовалъ, чтобы я каждый день ходилъ на охоту или отъ утра до обѣда, или отъ обѣда до вечера; но чтобы каждый день три-четыре часа я занимался съ участіемъ и прилежаніемъ, особенно исторіей и географіей, въ которыхъ я былъ нѣсколько слабѣе другихъ отличныхъ учениковъ. Время потекло правильно и пріятно.

Въ продолженіе этого мѣсяца, предаваясь безъ помѣхи дружескимъ и откровеннымъ разговорамъ, мои родители еще болѣе стали уважать и цѣнить свѣтлый умъ и высокія качества души Григорія Иваныча, соединенныя въ немъ съ многостороннимъ образованіемъ и основательной ученостью. Мать употребила все вліяніе своей любви на меня, чтобы я понялъ, какого человѣка судьба послала мнѣ наставникомъ. Она видѣла въ этомъ особенную милость Божію. Я не только понималъ, но и сильно чувствовалъ слова матери. Я увѣрялъ ее, но къ сожалѣнію никогда не могъ увѣрить вполнѣ, что самъ горячо люблю Григорья Иваныча, что только въ семействѣ и въ деревнѣ развлекался я разными любимыми предметами и новою, еще неиспытанною мною, охотою съ ружьемъ; но что въ городѣ я объ одномъ только и думаю, какъ бы заслужить любовь и одобреніе моего воспитателя, и что одно его ласковое слово дѣлаетъ меня вполнѣ счастливымъ.

Подростала и удивительно хорошѣла моя милая сестра, мой сердечный другъ. Она уже не могла раздѣлять моихъ деревенскихъ забавъ и охотъ, не могла быть такъ часто со мною вмѣстѣ; но она видѣла, какъ я веселился, и сносила это лишеніе терпѣливо: за то роптала на мое ученіе и, вѣроятно потому, неблагосклонно смотрѣла на моего учителя...

10-го августа выѣхали мы изъ Аксакова, и 15-го, безъ всякихъ приключеній, благополучно пріѣхали въ Казань. Къ

удивленію моему Григорій Иванычъ въ тотъ же день запретилъ мнѣ ходить въ классы въ гимназію, а назначилъ разныя занятія и упражненія дома. Самъ же онъ, всякій день поутру, уѣзжалъ въ гимназическій совѣтъ, въ которомъ былъ ученымъ секретаремъ, и оставался тамъ очень подолгу. Наконецъ дней черезъ пять, онъ сказалъ мнѣ, что ученье въ классахъ идетъ очень вяло, что многіе еще не съѣхались, что время стоитъ чудесное и что мы поѣдемъ къ Ивану Ипатычу въ Кощаково, чтобъ еще съ недѣльку на свободѣ погулять и поучиться. Я удивился еще болѣе, но былъ очень доволенъ. Мы прожили въ Кощаковѣ не недѣльку, а слишкомъ двѣ; Григорій Иванычъ нѣсколько разъ уѣзжалъ въ городъ; уѣзжалъ рано поутру, и возвращался къ позднему обѣду. Я не обращалъ на это вниманія. Когда мы переѣхали въ Казань, на другой же день Григорій Иванычъ приказалъ мнѣ ходить въ классы. Я очень весело побѣжалъ въ гимназію, но товарищи встрѣтили меня съ невеселыми лицами и сообщили мнѣ слѣдующее печальное происшествіе.

Предварительно надобно сказать, что директоръ гимназіи Лихачевъ былъ очень плохимъ директоромъ и сверхъ того имѣлъ каррикатурную наружность, не внушавшую расположенія; между прочимъ, нижняя его губа была такъ велика, какъ будто ее разнесло отъ укушенія благой мухи или осы. Ни чиновники, ни воспитанники не уважали его, и еще до отъѣзда моего на послѣднюю вакацію, во время обѣда, когда директоръ ходилъ по столовой залѣ, онъ былъ публично осмѣянъ учениками, раздраженными за дурную кашу, въ которой кто-то нашелъ кусокъ свѣчного сала. Въ ту-же ночь на многихъ стѣнахъ гимназіи, на стѣнахъ наружныхъ, даже на куполѣ зданія, явились ругательныя надписи директору, мастерски начерченныя краснымъ карандашомъ, крупными, печатными буквами. Надписи были помѣщены такъ высоко, что ихъ нельзя было написать безъ помощи лѣстницы, а надпись на куполѣ была признана чудомъ смѣлости и ловкости; ни тогда, ни послѣ, виноватыхъ не открыли. Я и теперь не знаю, кто это сдѣлалъ. За нѣсколько дней до возвращенія съ Григоріемъ Иванычемъ изъ Аксакова, когда въ гимназіи собрались уже почти всѣ ученики,—какой-то отставной военный чиновникъ, не знаю почему называвшійся квартермистромъ, имѣвшій подъ своею командой всѣхъ инвалидовъ, служившихъ при гимназіи, прогнѣвался на одного

изъ нихъ и сталъ его жестоко наказывать палками на заднемъ дворѣ, который отдѣлялся заборомъ отъ передняго и чистаго двора, гдѣ позволялось играть и гулять въ свободное время всѣмъ воспитанникамъ. Это случилось послѣ обѣда, когда именно всѣ воспитанники гуляли. Вопль бѣднаго инвалида возбудилъ такую жалость въ молодыхъ сердцахъ, что нѣсколько учениковъ старшаго класса, и въ томъ числѣ Александръ Княжевичъ, нарушили запрещеніе, прошли въ калитку на задній дворъ и начали громко требовать, чтобъ квартермистръ пересталъ наказывать виноватаго. Квартермистръ очень разсердился за нарушеніе своей власти, принялся кричать и ругать воспитанниковъ площадными словами, а какъ Александръ Княжевичъ, по необыкновенной добротѣ своего сердца горячившійся болѣе всѣхъ, былъ впереди другихъ, то всѣ ругательства прямо и непосредственно были обращены на него. Услышавъ крикъ и брань, весь высшій классъ, а за нимъ и другіе, явились на заднемъ дворѣ. Старшій Княжевичъ, Дмитрій, узнавъ голосъ брата, нѣжно имъ любимаго, прибѣжалъ первый; будучи отъ природы пылкаго нрава, онъ горячо вступился за оскорбленнаго брата; воспитанники пристали къ нему единодушно; разумѣется, не было недостатка въ энергическихъ выраженіяхъ и угрозахъ; квартермистръ нашелся принужденнымъ прекратить свою расправу и поспѣшно ретироваться. Такое, ничего незначущее обстоятельство, въ основаніи котораго лежало прекрасное чувство состраданія, а потомъ справедливое негодованіе за грубое и дерзкое оскорбленіе,—имѣло весьма печальныя послѣдствія, единственно потому, что было не понято директоромъ и дурно ведено. Сначала, письменная и покорная просьба воспитанниковъ высшаго класса состояла въ томъ, чтобы жестокій и грубый квартермистръ былъ отставленъ; но директоръ отказалъ въ ней, обвинилъ однихъ учениковъ и даже подвергъ нѣкоторыхъ какому-то наказанію. Разумѣется, такая несправедливость раздражила юношей: отвергнутая почтительная просьба превратилась въ настоятельное требованіе и уклоненіе отъ заведеннаго порядка. Высшій классъ воспитанниковъ пересталъ учиться; они говорили, что до тѣхъ поръ не будемъ ходить въ классы, пока не удалятъ изъ гимназіи ненавистнаго квартермистра. Вскорѣ средній и даже нижній классъ присоединились къ старшему, а какъ вся исторія поднялась преимущественно за оскорбленіе одного

изъ лучшихъ учениковъ, Александра Княжевича, то естественно, что его братъ, первый во всѣхъ отношеніяхъ воспитанникъ, очень любимый товарищами, сдѣлался, такъ сказать, главою этого движенія. Директоръ струсилъ, не смѣлъ показаться ученикамъ и даже какимъ-то заднимъ ходомъ, черезъ квартиру Яковкина, проходилъ въ гимназическій совѣтъ или конференцію; онъ посылалъ уговаривать воспитанниковъ, но переговоры оказались безполезными. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибъ добрый, любимый и уважаемый Василій Петровичъ Упадышевскій служилъ тогда главнымъ надзирателемъ, то все это несчастное происшествіе прекратилось-бы въ самомъ началѣ; но за нѣсколько недѣль онъ оставилъ гимназію по болѣзни, и должность его исправлялъ человѣкъ ничтожный. Дѣло тянулось, въ одномъ и томъ же нерѣшительномъ положеніи, дня три. Наконецъ гимназисты, узнавъ, что директоръ сидитъ въ совѣтѣ, захвативъ предварительно другой выходъ, привалили толпою къ парднымъ дверямъ конференціи и громогласно требовали исключенія изъ службы квартермистра. Директоръ хотѣлъ уѣхать, но получивъ извѣстіе, что путь къ побѣгу отрѣзанъ и что у задняго выхода также его ожидаютъ гимназисты,—такъ перепугался и растерялся, что немедленно приказалъ составить опредѣленіе объ увольненіи виноватаго квартермистра. Опредѣленіе было прочитано воспитанникамъ; сейчасъ всѣ успокоились, поблагодарили начальство и возвратились къ полному повиновенію. Гимназія пришла въ обыкновенный порядокъ, и учебная жизнь потекла своей обычной колеей. Сначала думали, что это происшествіе не будетъ имѣть никакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій, но очень ошиблись. Директоръ немедленно донесъ высшему начальству о происшедшемъ, и по чьему-то совѣту войдя въ сношенія съ губернаторомъ, принялъ слѣдующія мѣры: черезъ нѣсколько дней, во время обѣда, вдругъ вошли въ залу солдаты съ ружьями и штыками; вслѣдъ за ними появился губернаторъ и директоръ. Послѣдній вызвалъ по именамъ шестнадцать человѣкъ изъ высшаго класса, въ томъ числѣ, разумѣется, старшаго Княжевича, и подъ прикрытіемъ вооруженныхъ солдатъ приказалъ отвести ихъ въ карцеръ. Всѣ остальные были поражены ужасомъ, и мертвая тишина царствовала въ залѣ. У всѣхъ наружныхъ дверей гимназіи было поставлено по два солдата съ ружьями и штыками; у дверей карцера стояло четверо. — Черезъ двѣ

недѣли послѣ этого печальнаго событія, пришелъ я въ первый разъ по возвращеніи съ вакаціи, или правильнѣе сказать изъ Кощакова, въ свой высшій осиротѣвшій классъ, гдѣ и встрѣтили меня, сейчасъ разсказанною мною повѣстью. Тутъ сдѣлалось мнѣ понятно, отчего разумный мой наставникъ сначала не позволилъ мнѣ ходить въ классы, а потомъ увезъ меня въ деревню. Безъ всякаго сомнѣнія я былъ-бы однимъ изъ самыхъ горячихъ участниковъ въ этомъ несчастномъ происшествіи.—Черезъ полтора мѣсяца было получено рѣшеніе высшаго начальства. Опять явился въ столовую залу губернаторъ, директоръ и весь совѣтъ, прочли бумагу, въ которой была объяснена вина возмутившихся воспитанниковъ и сказано, что, въ примѣръ другимъ, восемь человѣкъ изъ высшаго класса, признанныхъ главными зачинщиками, Дмитрій Княжевичъ, Петръ Алехинъ, Пахомовъ, Сыромятниковъ и Крыловъ (остальныхъ не помню) исключаются изъ гимназіи безъ аттестаціи въ поведеніи. Исключены были самые лучшіе ученики. Дмитрій Княжевичъ и Алехинъ считались красою, славою гимназіи. По исполненіи приговора, которымъ всѣ были глубоко поражены и опечалены, вывели солдатскіе караулы изъ гимназіи и сняли осадное положеніе, которымъ мы очень оскорблялись.

Лихачевъ былъ вскорѣ уволенъ и вмѣсто него опредѣленъ директоромъ старшій учитель, И. Ѳ. Яковкинъ. Дмитрій Княжевичъ сохранилъ надолго близкую связь съ своими гимназическими товарищами. Онъ опредѣлился на службу въ Петербургѣ и каждую почту писалъ къ брату, обращаясь нерѣдко ко всѣмъ намъ. Его письма читались торжественно, во всеуслышанье.

Пріунывшее и пріутихшее юное народонаселеніе гимназіи мало-по-малу успокоилось, стало забывать печальное событіе, опять зашумѣло, запѣло, запрыгало, захохотало — и жизнь понеслась впередъ, какъ-будто ничего не бывало.

До половины зимы мирно текли мои классныя и домашнія упражненія подъ неослабнымъ надзоромъ и руководствомъ Григорія Иваныча; но въ это время пріѣхалъ въ Казань мой родной дядя, А. Н. Зубинъ; онъ свозилъ меня два раза въ театръ, разумѣется, съ позволенія моего воспитателя: въ оперу „Пѣснолюбіе“ и въ комедію „Братомъ проданная сестра“. Эти два спектакля произвели на меня почти такое же впечатлѣніе, какъ и ружейная охота. Я питалъ особенное

пристрастіе къ театральнымъ сочиненіямъ, и по разсказамъ составилъ себѣ кое-какое понятіе объ ихъ сценическомъ исполненіи. Но дѣйствительность далеко превзошла мои предположенія. Я грезилъ видѣнными мною спектаклями и день и ночь, и такъ разсѣялся, что совершенно не могъ заниматься ученьемъ. Разумѣется, Григорій Иванычъ сейчасъ это увидѣлъ и, допросивъ меня, узналъ настоящую причину. Нахмурился и вновь огорчился разсудительный наставникъ, и вновь долженъ былъ я выслушать длинное поученіе. Но на этотъ разъ я почувствовалъ справедливость упрековъ Григорія Иваныча и понялъ вредныя слѣдствія моей склонности къ безмѣрному увлеченію. Съ большимъ усиліемъ я побѣдилъ въ себѣ вспыхнувшую страсть къ театру, зерно которой давно во мнѣ хранилось и высказывалось въ моей охотѣ къ декламаціи и къ драматическимъ піесамъ, русскимъ и французскимъ; я успокоился и съ необыкновеннымъ жаромъ принялся за ученье. Григорій Иванычъ былъ очень доволенъ. Черезъ недѣлю онъ самъ сталъ разговаривать со мною о театрѣ и сценическомъ искусствѣ, далъ объ немъ настоящее понятіе и разсказалъ мнѣ о многихъ славныхъ актерахъ, живыхъ и мертвыхъ, иностранныхъ и русскихъ. Между прочимъ упомянулъ и о московскихъ актерахъ, Шушеринѣ и Плавильщиковѣ. Дня три продолжались у насъ такіе пріятные для меня разговоры, въ часы отдыхновенія отъ серьезныхъ занятій. Вдругъ въ одинъ счастливый день, когда я, воротясь изъ гимназіи, пилъ свой вечерній чай, Григорій Иванычъ отворилъ ко мнѣ дверь и весело сказалъ: „оканчивайте поскорѣе ваше молочное питье [1]). Вы должны сейчасъ ѣхать со мною“. Я былъ готовъ въ одну минуту. Мы сѣли въ сани и поѣхали. Я былъ увѣренъ, что мы ѣдемъ къ Г. К. Воскресенскому, къ которому Григорій Иванычъ изрѣдка ѣзжалъ со мною и котораго сынъ былъ моимъ товарищемъ въ гимназіи. На поворотѣ Григорій Иванычъ приказалъ кучеру ѣхать прямо по Грузинской улицѣ: это было не по дорогѣ къ Воскресенскому. Я удивился. Черезъ нѣсколько минутъ, когда мы поровнялись съ театромъ, онъ сказалъ: „къ театральному подъѣзду“. Кучеръ подъѣхалъ. Григорій Иванычъ выскочилъ изъ саней, а я, обомлѣвши отъ радостной надежды,

[1]) Я очень любилъ молоко и такъ много клалъ сливокъ въ чай, что Григорій Иванычъ называлъ его молочнымъ питьемъ, а меня, иногда, поеннымъ теленочкомъ, что я считалъ за большую милость.

сидѣлъ неподвижно. Григорій Иванычъ не могъ удержаться отъ смѣха и спросилъ меня: „что-же? не хотите въ театръ?“ Я выпрыгнулъ какъ безумный. Билеты были взяты заранѣе; мы вошли въ кресла и сѣли вмѣстѣ въ первомъ ряду. Давали оперу „Колбасники“. Боже мой! Какъ я былъ счастливъ! До сихъ поръ вижу передъ собой актера, Михайла Калмыкова, въ главной роли стараго колбасника; до сихъ поръ слышу, какъ актеръ Прытковъ поетъ съ гитарой, то-есть, разѣвая ротъ, а за кулисами пѣла вмѣсто него актриса, Марфуша Аникіева:

Предметъ драгоцѣнный
Души распаленной,
Услыши, что плѣнный
Гласитъ къ злой судьбѣ...

А вотъ уже слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ прошло, какъ я видѣлъ этотъ спектакль, и съ тѣхъ поръ даже не слыхивалъ объ оперѣ „Калбасники!“... Воротясь домой, я отъ души поблагодарилъ моего наставника и съ удовольствіемъ услышалъ отъ него, что сегодняшній спектакль былъ награжденіемъ за мое благоразуміе, и что если „Колбасники“ не развлекутъ меня, то отъ времени до времени мы будемъ ѣздить въ театръ. По правдѣ сказать, „Колбасники“ очень занимали и даже развлекали меня, но я всѣми силами старался скрывать свое впечатлѣніе и, съ помощью свѣжей необыкновенной памяти, я такъ хорошо продолжалъ свое ученье, что Григорій Иванычъ ничего не могъ замѣтить. Въ непродолжительномъ времени, я увидѣлъ на театрѣ: „Недоросля“, „Ошибки или утро вечера мудренѣе“, оперу „Нина или сумасшедшая отъ любви“ и драму Коцебу „Графъ Вальтронъ“. Съ каждымъ днемъ росла и крѣпла во мнѣ любовь къ театру. Я выучилъ наизусть видѣнныя мною на сценѣ піесы и находилъ время, незамѣтно для моего воспитателя, разыгрывать передъ самимъ собою всѣ роли въ вышесказанныхъ піесахъ, для чего запирался въ своей комнатѣ или уходилъ въ пустыя, холодныя антресоли.

Въ эту же зиму 1804-го года началъ я сближаться съ однимъ своекоштнымъ ученикомъ, Александромъ Панаевымъ. Онъ также былъ охотникъ до театра и до русской словесности. Будучи обожателемъ Карамзина, онъ писалъ идиллическою прозой, стараясь уловить гладкость и цвѣтистость

языка, созданнаго Карамзинымъ. Братъ его Иванъ былъ лирическій стихотворецъ. Александръ Панаевъ издавалъ тогда письменный журналъ подъ названіемъ. „Аркадскіе Пастушки", котораго нѣсколько нумеровъ и теперь у меня хранятся. Всѣ сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами, напримѣръ: Адонисъ, Дафнисъ, Аминтъ, Ирисъ, Дамонъ, Палемонъ и проч. Александръ Панаевъ былъ калиграфъ и рисовальщикъ, а потому самъ переписывалъ и самъ рисовалъ картинки къ каждому нумеру своего журнала, выходившему ежемѣсячно. По истинѣ, это было двойное дѣтство: нашей литературы и нашего возраста. Но замѣчательно, что направленіе и журнальные пріемы были точно такіе-же, какіе держались потомъ въ Россіи нѣсколько десятковъ лѣтъ. Названіе піесъ и нѣкоторые стихотворные и прозаическіе отрывки я помѣщаю въ особомъ приложеніи.

Благодаря стараніямъ моего наставника, я до того времени еще не былъ сочинителемъ, а потому и не участвовалъ въ составленіи журнала. Но къ сожалѣнію, примѣръ былъ очень увлекателенъ, и я началъ потихоньку пописывать, храня тайну даже отъ друга моего Панаева. Черезъ годъ я уже издавалъ съ нимъ журналъ, о чемъ будетъ разсказано въ своемъ мѣстѣ. Въ эту же зиму составился въ гимназіи благородный спектакль. Два раза играли какую-то скучную, нравоучительную піесу, названіе которой я забылъ, и при ней маленькую комедію Сумарокова: „Приданое обманомъ". Въ спектаклѣ я былъ только зрителемъ: во-первыхъ, потому, что много было охотниковъ постарше меня, а во-вторыхъ, потому, что я не смѣлъ и заикнуться объ этомъ Григорію Иванычу,—и напрасно, какъ это покажетъ слѣдующій годъ, въ которомъ назначено было развернуться моей театральной и литературной гимназической дѣятельности.

Уже около года носились слухи, что въ Казани будетъ основанъ университетъ. Слухи стали подтверждаться, и въ декабрѣ 1804 года получили оффиціальное извѣстіе, что уставъ университета 5-го ноября подписанъ Государемъ. Попечителемъ былъ назначенъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, Степанъ Яковлевичъ Румовскій, который и пріѣхалъ въ Казань. Это событіе взволновало весь городъ, еще болѣе гимназію и преимущественно старшій классъ. Конференція собиралась каждый день; въ ней предсѣдательствовалъ Румовскій и засѣдали пріѣхавшіе съ нимъ два профессора, Гер-

манъ и Цеплинъ, директоръ гимназіи Яковкинъ и всѣ старшіе учителя. Что происходило тамъ—я и товарищи ничего не знали. Вдругъ въ одинъ вечеръ собралось къ Григорію Иванычу много гостей: двое новыхъ пріѣзжихъ профессоровъ, правитель канцеляріи попечителя, Петръ Иванычъ Соколовъ, и всѣ старшіе учителя гимназіи, кромѣ Яковкина; собрались довольно поздно, такъ что я ложился уже спать; гости были веселы и шумны; я долго не могъ заснуть и слышалъ всѣ ихъ громкіе разговоры и взаимныя поздравленія: дѣло шло о новомъ университетѣ и о назначеніи въ адъюнкты и профессоры гимназическихъ учителей. На другой день Евсеичъ сказалъ мнѣ, что гости просидѣли до трехъ часовъ, что выпили очень много пуншу и вина, и что многіе уѣхали очень навеселѣ. Онъ прибавилъ, что и „*нашъ*“ (такъ онъ называлъ Григорія Иваныча) принужденъ былъ много пить, но что онъ не былъ хмѣленъ ни въ одномъ глазѣ“. У насъ въ домѣ никакой пирушки никогда не бывало, и мы съ Евсеичемъ очень дивились такой новости, хотя причина была теперь очевидна: Евсеичъ самъ вслушался, да и я разсказалъ ему, что Григорій Иванычъ былъ назначенъ адъюнктъ-профессоромъ въ новомъ университетѣ, вмѣстѣ съ Иваномъ Ипатычемъ, Левицкимъ и Эрихомъ. Изъ разговоровъ ихъ я также узналъ, что Яковкинъ былъ прямо сдѣланъ ординарнымъ профессоромъ русской исторіи и назначался инспекторомъ казенныхъ студентовъ, о чемъ всѣ говорили съ негодованіемъ, считая такое быстрое возвышеніе Яковкина незаслуженнымъ, по ограниченности его ученыхъ познаній. Я вслушался также, что, говоря о студентахъ, Григорій Иванычъ громко сказалъ: „за своего Телемака, господа, я ручаюсь“. Я догадался, что и меня хотятъ сдѣлать студентомъ, чего я никакъ не могъ надѣяться, потому что еще не дослушалъ курса въ высшихъ классахъ и ничего не зналъ въ математикѣ. На другой день поутру Григорій Иванычъ еще спалъ, когда я уѣхалъ въ гимназію. Я спѣшилъ сообщить новость своимъ товарищамъ, но тамъ уже всѣ знали черезъ сына Яковкина, который былъ страшный толстякъ и весьма ограниченныхъ способностей. Онъ хвастался, что и его сдѣлаютъ студентомъ, надъ чѣмъ всѣ смѣялись. Лучшіе ученики въ высшемъ классѣ, слушавшіе курсъ уже во второй разъ, конечно, надѣялись, что они будутъ произведены въ студенты; но обо мнѣ и нѣкоторыхъ друг , никто и не ду-

малъ. Въ тотъ же день сдѣлался извѣстенъ списокъ назначаемыхъ въ студенты; изъ него узнали мы, что всѣ ученики старшаго класса, за исключеніемъ двухъ или трехъ, поступятъ въ университетъ; между ними находились и мы съ Яковкинымъ. Въ строгомъ смыслѣ, человѣкъ съ десять, разумѣется, въ томъ числѣ и я, не стоили этого назначенія, по неимѣнью достаточныхъ знаній и по молодости; не говорю уже о томъ, что никто не зналъ по латыни и весьма немногіе знали нѣмецкій языкъ, а съ будущей осени надобно было слушать нѣкоторыя лекціи на латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Но тѣмъ не менѣе шумная радость одушевляла всѣхъ. Всѣ обнимались, поздравляли другъ друга и давали обѣщаніе съ неутомимымъ рвеніемъ заняться тѣмъ, чего намъ не доставало, такъ чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ намъ не стыдно было называться настоящими студентами.— Сейчасъ былъ устроенъ латинскій классъ, и большая часть будущихъ студентовъ принялась за латынь. Я не послѣдовалъ этому похвальному примѣру, по какому-то глупому предубѣжденію къ латинскому языку. До сихъ поръ не понимаю, отчего Григорій Иванычъ, будучи самъ сильнымъ латинистомъ, позволилъ мнѣ не учиться по латыни.

Нельзя безъ удовольствія и безъ уваженія вспомнить, какою любовью къ просвѣщенью, къ наукамъ, было одушевлено тогда старшее юношество гимназіи. Занимались не только днемъ, но и по ночамъ. Всѣ похудѣли, всѣ перемѣнились въ лицѣ, и начальство принуждено было принять дѣятельныя мѣры для охлажденія такого рвенія. Дежурный надзиратель всю ночь ходилъ по спальнямъ, тушилъ свѣчки и запрещалъ говорить, потому что и въ потьмахъ повторяли наизусть другъ другу отвѣты въ пройденныхъ предметахъ. Учителя были также подвигнуты такимъ горячимъ рвеніемъ учениковъ и занимались съ ними не только въ классахъ, но во всякое свободное время, по всѣмъ праздничнымъ днямъ. Григорій Иванычъ читалъ на дому для лучшихъ математическихъ студентовъ прикладную математику; его примѣру по слѣдовали и другіе учителя. Такъ продолжалось и въ перв годъ послѣ открытія университета. Прекрасное, золотое вр мя! Время чистой любви къ знанію, время благородна увлеченія! Я могу безпристрастно говорить о немъ, пото что не участвовалъ въ этомъ высокомъ стремленіи, кото одушевляло преимущественно казенныхъ воспитанников

пансіонеровъ: своекоштные какъ-то мало принимали въ этомъ участія, и мое ученіе шло своей обычной чередой, подъ руководствомъ моего воспитателя. Вѣроятно онъ считалъ, что я не имѣлъ призванія быть ученымъ, и вѣроятно ошибался. Онъ судилъ по тому страстному увлеченію, которое обнаруживалось во мнѣ къ словесности и къ театру. Но мнѣ кажется, что натуральная исторія точно такъ же бы увлекала меня, и можетъ быть я сдѣлалъ бы что-нибудь полезное на этомъ поприщѣ. Впрочемъ, родители мои никогда не назначали меня къ ученому званію, даже имѣли къ нему предубѣжденіе и согласно ихъ волѣ Григорій Иванычъ давалъ направленіе моему воспитанію.—Конечно, университетъ нашъ былъ скороспѣлка, потому что черезъ полтора мѣсяца, то-есть 14-го февраля 1805 года, его открыли. Преподавателей было всего шестеро: два профессора: Яковкинъ и Цеплинъ, и четыре адъюнкта: Карташевскій, Запольскій, Левицкій и Эрихъ [1]).

---

[1]) Вотъ списокъ студентовъ, открывавшихъ университетъ; кажется, я забылъ двухъ или трехъ!

Казенные студенты и пансіонеры:

Василій Перевощиковъ.
Дмитрій Перевощиковъ.
Василій Кузминскій.
Александръ Княжевичъ
Петръ Балясниковъ.
Петръ Кондыревъ.
Александръ Петровъ.
Ѳоминъ. } Именъ не помню.
Ляпуновъ. }
Николай Трухинъ.
Николай Кинтеръ.
Петръ Зыковъ.
Василій Тимьянскій.
Чесновъ.
Михаилъ Пестяковъ.
Михаилъ Поповъ.
Василій Чуфаровъ.
Кайсаровъ.
Яковкинъ.
Риттау.
Владимиръ Граффъ.
Выдрящкій.
Андреевъ.
Шокинъ.
Николай Упадышевскій (стар.).

Въ 1805 году письма Дмитрія Княжевича, всегда получаемыя и выслушиваемыя съ живымъ участіемъ, пріобрѣли особенный политическій интересъ. Тогда шла первая война съ Наполеономъ. Не знаю почему извѣстія о военныхъ событіяхъ какъ-то трудно и поздно до насъ доходили. Княжевичъ же сообщалъ ихъ намъ скоро и подробно. Сверхъ того, письма его были проникнуты горячей любовью къ славѣ русскаго оружія, а потому и дѣйствовали на всѣхъ насъ электрически. Бывало, только крикнетъ Александръ Княжевичъ: „письмо отъ брата!“ какъ всѣ мы сейчасъ окружали его дружною и тѣсною толпою; лежа другъ у друга на плечахъ, въ глубокой тишинѣ, прерываемой иногда восторженными восклицаніями, жадно слушали мы громогласное чтеніе письма; даже гимназисты прибѣгали къ намъ и участвовали въ слушаніи этихъ писемъ. Знаменитый Багратіонъ былъ нашимъ любимцемъ, и когда мы услышали, что онъ, оставленный на жертву непріятелю, пробился съ своимъ отрядомъ сквозь цѣлую армію французовъ,—такое грянуло ура, такой былъ общій единодушный восторгъ, что я и описать не умѣю. Много было жизни въ порѣ нашей юности и отрадно вспоминать о ней.

Воспитанникамъ, назначеннымъ въ студенты, не производили обыкновенныхъ экзаменовъ, ни гимназическихъ, ни университетскихъ, а напротивъ все это время употребили на продолженіе ученья, приготовительнаго для слушанія университетскихъ лекцій; не знаю, почему Григорій Иванычъ, за нѣсколько дней до акта, отправилъ меня на вакацію, и мы съ Евсеичемъ уѣхали въ Старое Аксаково, Симбирской губерніи, гдѣ тогда жило все мое семейство. Какая была причина этого перемѣщенія изъ Новаго Оренбургскаго Аксакова—также не знаю, но оно было мнѣ очень досадно: въ Старомъ, безводномъ Аксаковѣ не было никакого ученья, да и стрѣльбы очень мало; правда, дичи лѣсной водилось

Своекоштные студенты:

Николай Панаевъ.
Иванъ Панаевъ.
Александръ Панаевъ.
Александръ Дмитріевъ.
Сергѣй Аксаковъ.
Порфирій Безобразовъ.
Евареетъ Груберт.

тамъ много, можно было найти и бекасовъ и дупелей, но эта трудная охота была мнѣ еще недоступна. Зная все это напередъ, я запасся театральными піесами, чтобы дома на свободѣ прочесть ихъ и даже разыграть передъ глазами моего семейства, что и было потомъ исполнено мною съ большимъ успѣхомъ и наслажденіемъ.—Отецъ и мать очень обрадовались моему назначенію въ студенты, даже съ трудомъ ему вѣрили и очень жалѣли, что Григорій Иванычъ не оставилъ меня до акта, на которомъ было предположено провозгласить торжественно имена студентовъ и раздать имъ шпаги. Боже мой, какъ обрадовалась мнѣ моя милая сестра! Съ какимъ наслажденіемъ слушала она мое чтеніе, или лучше сказать, разыгрыванье трагедій, комедій и даже оперъ, въ которыхъ я отвѣчалъ одинъ за всѣхъ актеровъ и актрисъ: картавилъ, гнусилъ, пищалъ, басилъ и пѣлъ на всѣ голоса, даже иногда костюмировался съ помощью всякой домашней рухляди. Кромѣ того, зная, что съ половины августа я начну слушать лекціи натуральной исторіи у профессора Фукса, только-что пріѣхавшаго въ Казань, я рѣшилъ заранѣе, что буду собирать бабочекъ, и въ эту вакацію, съ помощью моей сестры, сдѣлалъ уже приступъ къ тому; но, увы, не умѣя раскладывать и высушивать бабочекъ, я погубилъ множество этихъ прелестныхъ твореній. Въ продолженіи вакаціи мы два раза ѣздили къ Чуфарово къ Надеждѣ Ивановнѣ Куроѣдовой и гостили тамъ по цѣлой недѣлѣ. Отъ Стараго Аксакова до Чуфарова всего было верстъ сорокъ или пятьдесятъ. Надежда Ивановна была очень довольна, что я сдѣланъ студентомъ; съ гордостью разсказывала о томъ всякому гостю, наряжала меня въ мундиръ и очень жалѣла, что у меня не было шпаги; даже подарила мнѣ на книги десять рублей ассигнаціями. Узнавъ какъ-то нечаянно о моемъ театральномъ искусствѣ, о которомъ прямо доложить ей не смѣли, ибо опасались, что оно можетъ ей не понравиться,— она заставила меня читать, представлять и пѣть, и къ моей великой радости осталась очень довольною и много хохотала. Она никогда не видывала театра и, по своей живой, веселой и понимающей природѣ, она чувствовала неизвѣстное ей до сихъ поръ удовольствіе. Особенно ей понравилось мое обыкновенное чтеніе. Иногда отъ скуки, преимущественно по зимамъ, уставъ играть въ карты, пѣть пѣсни и тогдашніе романсы, уставъ слушать сплетни и пересуды,

она заставляла себѣ читать вслухъ современные романы и повѣсти, но всегда была недовольна чтецами; одна только мать моя нѣсколько ей угождала. Послушавъ же меня, она сказала: „вотъ какъ надо читать“, и съ тѣхъ поръ, несмотря на лѣтнее время, которое она обыкновенно проводила въ своемъ чудномъ саду, Надежда Ивановна каждый день заставляла меня читать часа по два и болѣе. Иногда являлся на сцену „Мельникъ“ Аблесимова и „Сбитеньщикъ“ Княжнина— и какъ добродушно, звонко смѣялась она, глядя, какъ молоденькій мальчикъ представляетъ старика мельника и сбитеньщика. Я пріобрѣлъ полное благоволеніе Надежды Ивановны, чему очень радовались въ моемъ семействѣ, потому что мысль о будущемъ богатствѣ, которомъ она нѣкогда обѣщала надѣлить насъ, не могла быть совершенно чуждою человѣческимъ соображеніямъ и разсчетамъ. При моемъ отъѣздѣ, я получилъ милостивое приказаніе отъ Надежды Ивановны писать къ ней каждый мѣсяцъ два раза, что было въ точности исполняемо мною до самой ея кончины.

УНИВЕРСИТЕТЪ.

Я благополучно воротился въ Казань и очень обрадовался, увидѣвъ Григорія Иваныча. Онъ встрѣтилъ меня ласково. Первымъ моимъ дѣломъ было достать мою студентскую шпагу, которая до моего прибытія хранилась въ кладовой, у дежурнаго надзирателя. Мы съ Александромъ Панаевымъ, прицѣпивъ свои шпаги, цѣлое воскресенье бѣгали по всѣмъ городскимъ улицамъ, и какъ тогда это была новость, то мы имѣли удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и любопытство. Болѣе просвѣщенное лакейство, сидя и любезничая съ горничными у воротъ господскихъ домовъ, нерѣдко острило на нашъ счетъ, говоря: „ой студено—студенты идутъ“.—Въ гимназіи шли большія хлопоты о назначеніи студентамъ особыхъ комнатъ, отдѣльно отъ гимназистовъ, помѣщавшихся въ томъ же зданіи гимназіи, объ устройствѣ студентамъ особеннаго стола въ другой небольшой залѣ и объ открытіи новыхъ университетскихъ лекцій. Наконецъ въ исходѣ августа все было улажено и лекціи открылись въ слѣдующемъ порядкѣ: Григорій Иванычъ читалъ чистую, высшую математику; Иванъ Ипатычъ — прикладную математику и опытную физику; Левицкій—логику и философію; Яковкинъ—русскую исторію, географію и статистику; профессоръ Цеплинъ—всеобщую исторію; профессоръ Фуксъ—натуральную исторію; профессоръ Германъ—латинскую литературу и древности; Эрихъ—латинскую и греческую словесность, и пріѣхавшій адъюнктъ Эвестъ—химію и анатомію. Былъ еще какой-то толстый про-

фессоръ, Бюнеманъ, который читалъ право естественное, политическое и народное на французскомъ языкѣ; лекцій Бюнемана я рѣшительно не помню, хотя и слушалъ его. Вотъ въ какомъ смѣшеніи факультетовъ и младенческомъ составѣ открылся нашъ университетъ. Яковкинъ, какъ инспекторъ студентовъ и директоръ гимназіи, соединялъ въ своемъ лицѣ званіе и власть ректора; подъ его предсѣдательствомъ совѣтъ Казанской гимназіи, въ которомъ присутствовали всѣ профессоры и адъюнкты, управлялъ университетомъ и гимназіей по части учебной и образовательной. Хозяйственною же частью завѣдывала контора гимназіи, также подъ предсѣдательствомъ Яковкина; одинъ изъ университетскихъ преподавателей находился въ ней постояннымъ членомъ. Яковкинъ, для соблюденія благочинія, съ позволенія попечителя, назначалъ камерныхъ студентовъ и дѣлалъ другія необходимыя распоряженія. Многіе воспитанники, въ томъ числѣ и я, не выслушавшіе полнаго гимназическаго курса, продолжали учиться въ нѣкоторыхъ высшихъ классахъ гимназіи, слушая въ то же время университетскія лекціи. Я былъ этому очень радъ, потому что мнѣ было бы больно разстаться съ Ибрагимовымъ. Этотъ человѣкъ меня такъ искренно любилъ, такъ охотно занимался со мною, что время, проведенное въ его классахъ, осталось однимъ изъ пріятныхъ воспоминаній моей юности. Я долженъ признаться, что Ибрагимовъ слишкомъ много мною занимался въ сравненіи съ другими воспитанниками и что мое самолюбіе, подстрекаемое и удовлетворяемое его отзывами передъ цѣлымъ классомъ, играло въ этомъ дѣлѣ не послѣднюю роль. И такъ очевидно, что переходъ изъ гимназіи въ университетъ былъ вообще для всѣхъ замѣтенъ, особенно для меня и для студентовъ, продолжавшихъ ходить въ нѣкоторые гимназическіе классы.

Съ открытія университета, дружба моя съ Александромъ Панаевымъ, также произведеннымъ въ студенты, росла не по днямъ, а по часамъ, и скоро мы сдѣлались такими друзьями, какими могутъ быть люди въ годахъ первой молодости; впрочемъ, Александръ Панаевъ былъ старше меня тремя годами, слѣдственно восьмнадцати лѣтъ. Григорій Иванычъ одобрялъ нашу дружбу. Кромѣ любви къ литературѣ и къ театру, которая соединяла меня съ Александромъ Панаевымъ, скоро открылась новая, общая склонность: натуральная исторія и собираніе бабочекъ; эта склонность развилась впрочемъ вполнѣ

слѣдующею весною. Настоящая же зима исключительно обратила насъ къ театру, потому что неожиданно на публичной сценѣ явился московскій актеръ Плавильщиковъ. Его пріѣздъ имѣлъ важное для меня значеніе. Григорій Ивановичъ, говорившій мнѣ и прежде о Плавильщиковѣ, не только заранѣе позволилъ мнѣ быть въ театрѣ всякій разъ, когда Плавильщиковъ игралъ, но даже былъ очень доволенъ, что я увижу настоящаго артиста и услышу правильное, естественное, мастерское чтеніе, которымъ по справедливости славился Плавильщиковъ. Ходить часто въ партеръ или кресла студенты были не въ состояніи: мѣсто въ партерѣ стоило рубль, а кресло 2 р. 50 к. ассигнаціями, а потому мы постоянно ходили въ раекъ, платя за входъ 25 коп. мѣдью. Но раекъ представлялъ для насъ важное неудобство: спектакли начинались въ $6^1/_2$ часовъ, а классъ и лекціи оканчивались въ 6; слѣдовательно оставалось только время добѣжать до театра и помѣститься уже на заднихъ лавкахъ въ райкѣ, съ которыхъ ничего не было видно, ибо переднія занимались зрителями задолго до представленія. Для отвращенія такого неудобства употреблялись слѣдующія мѣры: двое изъ студентовъ, а иногда и трое, покрупнѣе и посильнѣе, часовъ въ пять и ранѣе, отправлялись въ театръ, занимали по краямъ порожнюю лавку и не пускали на нее никого. Сначала это не обходилось безъ ссоръ, но потомъ посѣтители райка привыкли къ такому порядку и дѣло обходилось мирно. Мы приходили обыкновенно передъ самымъ поднятіемъ занавѣса и садились на приготовленныя мѣста. Сначала передовые студенты уходили изъ классовъ потихоньку, но впослѣдствіи многіе профессора и учителя, зная причину, смотрѣли сквозь пальцы на исчезновеніе нѣкоторыхъ изъ своихъ слушателей, а достолюбезный Ибрагимовъ нерѣдко говаривалъ: „а что, господа, не пора-ли въ театръ?“, даже оканчивалъ иногда ранѣе получасомъ свой классъ. Доставанье афишъ возлагалось на своекоштныхъ студентовъ. Печатныхъ афишъ тогда въ городѣ не было; нѣкоторыя почетныя лица получали афиши письменныя изъ конторы театра, а городъ узнавалъ о названіи піесы и объ именахъ дѣйствующихъ лицъ и актеровъ изъ объявленія, прибиваемаго четырьмя гвоздиками къ колоннѣ или къ стѣнѣ главнаго театральнаго подъѣзда. Я долженъ признаться, что мы воровали афиши. Подъѣдешь бывало къ театральному крыльцу, начнешь читать

афишу, и выждавъ время, когда кругомъ никого нѣтъ, сорвешь объявленіе, спрячешь въ карманъ и отправляешься съ добычею въ университетъ. Впослѣдствіи содержатель театра, Есиповъ, узнавъ студентскія продѣлки, далъ позволеніе студентамъ получать афишу въ конторѣ театра.

Игра Плавильщикова открыла мнѣ новый міръ въ театральномъ искусствѣ. Я не могъ тогда, особенно сначала, видѣть недостатковъ Плавильщикова и равно восхищался имъ и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ драмахъ; но какъ онъ прожилъ въ Казани довольно долго, поставилъ на сцену много новыхъ піесъ, между прочимъ комедію свою „Бобыль“, имѣвшую большой успѣхъ, и даже свою трагедію „Ермакъ“, не имѣвшую никакого достоинства [1]) и успѣха, и сыгралъ нѣкоторыя роли даже два или три раза—то мы вглядѣлись въ его игру и почувствовали, что онъ гораздо выше въ „Ботѣ“, чѣмъ въ „Дмитріи Самозванцѣ“, въ „Досажаевѣ“, чѣмъ въ „Магометѣ“, въ „Отцѣ семейства“, чѣмъ въ „Рославѣ“. Торжествомъ въ искусствѣ чтенія были у Плавильщикова роли „Тита“ въ „Титовомъ милосердіи“ и особенно „Пастора“ въ „Сынѣ любви“. Исполненіе этой послѣдней роли привело меня въ совершенное изумленіе. Пастора игралъ въ Казани преплохой актеръ, Максимъ Гуляевъ, и это лицо въ піесѣ казалось мнѣ и всей публикѣ нестерпимо скучнымъ, такъ что длинный монологъ, который онъ читаетъ барону Нейгофу, былъ сокращенъ въ нѣсколько строкъ по общему желанію зрителей. Плавильщиковъ возстановилъ во всей полнотѣ это лицо и убилъ имъ всѣ остальныя. И въ самомъ дѣлѣ онъ игралъ роль пастора превосходно. Плавильщиковъ же поставилъ въ Казани „Эдипа въ Аѳинахъ“. Стихи Озерова были тогда плѣнительной новостью; они увлекали всѣхъ, и игра Плавильщикова въ роли Эдипа произвела общій восторгъ [2]) —

---

[1]) Какой-то проказникъ написалъ крупными буквами углемъ на главномъ театральномъ подъѣздѣ:

„Піеса Ермака
Не стоитъ пятака“.

Эта глупая острота, говорятъ, сильно оскорбила Плавильщикова.

[2]) Несмотря на общее и мое собственное увлеченіе, я замѣтилъ, что Плавильщиковъ въ Эдипѣ иногда сбивается съ тону своей роли и часто вмѣсто дряхлаго старика, играетъ молодого сильнаго человѣка, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оглушительный крикъ, кромѣ его неестественности лишаетъ силы, мѣшаетъ дѣйствію рѣчей изнеможеннаго старца. Живость движеній, при отыскиваніи дочери, показалась мнѣ и многимъ даже смѣшною.

Яркій свѣтъ сценической истины, простоты, естественности тогда впервые озарилъ мою голову. Я почувствовалъ всѣ пороки моей декламаціи и съ жаромъ принялся за переработку моего чтенія. Нѣчто подобное говорилъ мнѣ прежде и требовалъ отъ меня мой воспитатель, но я плохо понималъ его. Какъ же скоро я услышалъ Плавильщикова въ лучшихъ его роляхъ, я понялъ въ одно мгновеніе, чего хотѣлъ въ моемъ чтеніи Григорій Иванычъ. Вотъ какъ примѣръ уясняетъ понятія гораздо лучше всякихъ толкованій. Тогда, подъ руководствомъ Григорія Иваныча, я горячо взялся за трудную работу и черезъ двѣ недѣли прочелъ другу моему, Александру Панаеву, извѣстный длинный монологъ изъ роли пастора. Панаевъ до того былъ удивленъ, что ничего не могъ произнести, кромѣ словъ: „ты Плавильщиковъ... ты лучше Плавильщикова!“ Въ тотъ же день Александръ Панаевъ явился въ университетъ прежде меня и успѣлъ разсказать всѣмъ о новомъ своемъ открытіи. Когда же я пришелъ на лекціи, студенты окружили меня дружною толпою и заставили прочесть монологъ пастора и мѣста изъ разныхъ піесъ, которыя я зналъ наизусть. Хотя не называли меня Плавильщиковымъ, но всѣ очень хвалили, и у старшихъ студентовъ сейчасъ родилась мысль затѣять университетскіе спектакли. Начальство не вдругъ на это согласилось, а потому мы съ Александромъ Панаевымъ, состряпавъ какую-то драму, разыграли ее съ помощью его братьевъ, въ общей ихъ квартирѣ, довольно большомъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ дядѣ ихъ Страхову. Я не помню названія и содержанія этой піесы, разумѣется, нелѣпо-дѣтской, но помню, что игралъ въ ней двѣ роли: какого-то пустынника старика—въ первыхъ двухъ дѣйствіяхъ и какого-то атамана разбойниковъ — въ третьемъ, при чемъ былъ убитъ изъ пистолета. Въ роли старика я отличился.—Разрѣшенія устроить театръ съ авансценою и декораціями, въ одной изъ университетскихъ залъ, долго не приходило отъ попечителя, который жилъ въ Петербургѣ, а потому мы выпросили позволеніе у директора Яковкина составить домашній спектакль, безъ устройства возвышенной сцены и безъ декорацій, въ одной изъ спальныхъ комнатъ казенныхъ студентовъ. Сколько пріятной суматохи и возни было по этому случаю! Сшили занавѣсъ изъ простынь и перегородили имъ большую и длинную комнату, кроватями отдѣлили мѣсто для сцены, и классными подсвѣч-

никами освѣтили ее. Мы сыграли комедію: „Такъ и должно“ Веревкина и маленькую піесу: „Приданое обманомъ“ Сумарокова. Въ первой піесѣ я игралъ роль стараго Доблестина, а молодого Доблестина—Александръ Панаевъ. Афросинью Сысоевну игралъ студентъ Дмитрій Перевощиковъ, лакея Угара—Петръ Балясниковъ, судью—В. Кузминскій, съ приписью подъячаго—Петръ Зыковъ, который привелъ всѣхъ зрителей въ неописанный восторгъ своимъ комическимъ талантомъ. Не помню, кто игралъ какую-то молодую женскую роль—кажется, Александръ Княжевичъ. Костюмы были уморительные: напримѣръ старый Доблестинъ явился въ солдатскомъ изорванномъ сюртукѣ одного изъ нашихъ сторожей-инвалидовъ; на головѣ имѣлъ парикъ изъ пакли, напудренный мѣломъ, а на рукахъ цѣпи съ цѣпной дворовой собаки, которая на этотъ вечеръ получила свободу и кого-то больно укусила. Перевощиковъ, по своему немоложавому и блѣдному лицу и нѣсколько сиплому голосу, былъ очень хорошъ въ роли старухи, и это амплуа навсегда за нимъ осталось. Я, съ моей собачьей цѣпью, произвелъ сильный эффектъ и былъ провозглашенъ большимъ талантомъ и актеромъ, а равно и П. Зыковъ. Но увы, другъ мой Александръ Панаевъ, несмотря на прекрасную наружность, очень не понравился всѣмъ въ роли молодого Доблестина. Въ самомъ дѣлѣ онъ имѣлъ какой-то плаксивый и холодный тонъ; много ему вредило также произношеніе на о, отъ котораго онъ не могъ отвыкнуть. Это былъ мой первый публичный театральный успѣхъ, потому что спектакль у Панаевыхъ происходилъ секретно и зрителей было очень мало; но здѣсь находилось университетское и гимназическое начальство, профессора, учителя и даже ихъ жены и дочери, не говоря о студентахъ и гимназистахъ, которыхъ набилось столько, сколько могло помѣститься. — Вскорѣ получили позволеніе отъ попечителя: устроить театръ для казенныхъ студентовъ „въ награду за ихъ отличное прилежаніе“. Инспектору было однако предписано наблюдать за выборомъ піесъ, а равно и за тѣмъ, чтобы это „благородное удовольствіе не отвлекало отъ занятій учебныхъ“. Мы всѣ были въ восторгѣ. Сцену и кулисы, которыя удобно и скоро снимались, построили на казенный счетъ; но студенты сами писали декораціи и тѣмъ значительно сократили расходы. Сначала театръ хотѣли помѣстить въ одной изъ залъ; но это оказалось неудобнымъ

по ея величинѣ и показалось дорого начальству, и потому для театра выбрали одну классную комнату, которая представляла большое удобство тѣмъ, что раздѣлялась посрединѣ нишью. Прежде это были двѣ комнаты, но за нѣсколько лѣтъ выломали раздѣлявшую ихъ стѣну и для поддержанія потолка оставили нишь, подпертую по бокамъ двумя колоннами; для устройства сцены это было чрезвычайно удобно. Впрочемъ, не дождавшись окончательной постановки театра, мы сыграли въ вышеупомянутой мною залѣ комедію Коцебу: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“. Я отличился въ роли Неизвѣстнаго, и слава моя установилась прочно. По общему согласію, сочинили театральный уставъ, который утвердили подписями всѣхъ участвующихъ въ театральныхъ представленіяхъ, и выбрали меня, несмотря на мою молодость, директоромъ труппы, но, увы, не на долго: едва успѣли мы сыграть комедію того-же Коцебу: „Брюзгливый“ и маленькую піеску: „Новый вѣкъ“, въ которыхъ я также отличился,— какъ стеченіе несчастныхъ обстоятельствъ на цѣлый годъ удалило меня со сцены. Надобно разсказать нѣсколько подробнѣе это героико-комическое происшествіе. Послѣ „Брюзгливаго“, затѣяли мы сыграть драму: „Мейнау или слѣдствіе примиренія“, написанную какимъ-то нѣмцемъ для выраженія своего мнѣнія, что примиреніе Мейнау съ преступной женой, чѣмъ оканчивается комедія Коцебу: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“—не можетъ возстановить ихъ семейнаго счастія. Въ этой піесѣ есть маленькая роль генерала, бывшаго нѣкогда обольстителемъ Эйлаліи; онъ встрѣчается нечаянно съ Мейнау и его женой, Эйлалія падаетъ въ обморокъ, а мужъ вызываетъ генерала на дуэль и убиваетъ его изъ пистолета. Александръ Панаевъ, такъ неудачно сыгравшій молодого Доблестина, мало участвовалъ въ театральныхъ представленіяхъ, оставаясь однако въ числѣ актеровъ; но когда онъ узналъ, что мы намѣрены разыграть „Мейнау“, то упросилъ меня дать ему роль генерала. Онъ сознавался, что у него нѣтъ сценическаго таланта, но желалъ сыграть эту роль по особеннымъ причинамъ. Причина была мнѣ извѣстна: онъ былъ неравнодушенъ къ одной дѣвицѣ, постоянной посѣтительницѣ нашихъ спектаклей, и ему хотѣлось явиться передъ ней на сценѣ въ генеральскомъ мундирѣ съ большими эполетами и пасть въ ея глазахъ отъ роковой пули. Я зналъ, что товарищи будутъ недовольны моимъ рас-

поряженіемъ и что на эту роль мѣтилъ другой актеръ—Петръ Балясниковъ, по своему характеру и дарованіямъ имѣвшій сильное вліяніе на студентовъ, который безъ всякаго сравненія сыгралъ бы эту роль гораздо лучше. Но дружба заставила меня покривить душой, и я отдалъ роль генерала Александру Панаеву, на что, какъ директоръ, я имѣлъ полное право [1]). Товарищи сейчасъ сказали мнѣ, что Панаевъ испортитъ піесу, но я отвѣчалъ, что эта роль маленькая и пустая, что Панаевъ мнѣ ее читалъ очень хорошо, что я беру на себя поставить его, какъ слѣдуетъ, и что его красивая наружность весьма идетъ къ этой роли. Уважая во мнѣ власть директора, всѣ повиновались, разумѣется, весьма неохотно. На первой же репетиціи другъ мой Александръ такъ всѣмъ не понравился, что мнѣ больно было на него смотрѣть. Вновь приступили ко мнѣ товарищи съ просьбою: отдать роль генерала кому-нибудь другому; но я не согласился, извинялъ Панаева незнаніемъ роли, ручался, что я его выучу и что онъ будетъ хорошъ. Я предвидѣлъ бурю и просилъ моего друга наединѣ—отказаться отъ роли, но онъ умолилъ меня со слезами не лишить его возможности произвесть выгодное впечатлѣніе на сердце любимой особы, которую онъ ревновалъ именно къ Балясникову. Онъ такъ разжалобилъ меня, что я далъ ему клятву никому не отдавать роли генерала, кромѣ его. Я обѣщалъ даже, что въ случаѣ сильнаго возстанія, откажусь отъ роли Мейнау. На второй репетиціи, несмотря на знаніе роли, Панаевъ читалъ ее также неудачно. Пользуясь правомъ директора, я не позволилъ никому, кромѣ играющихъ актеровъ, присутствовать на этой репетиціи; но въ самое то время, когда Александръ Панаевъ, въ роли генерала, велъ со мною сцену, я замѣтилъ, что двери отворились, и Балясниковъ, сопровождаемый Кузминскимъ, Кинтеромъ, Зыковымъ и другими, вошелъ съ насмѣшливымъ и наглымъ видомъ и сталъ передъ самою сценою. Едва я успѣлъ застрѣлить Панаева, какъ всѣ мои товарищи-актеры окружили меня и рѣшительно требовали, чтобы я передалъ роль генерала именно Балясникову. Панаевъ поблѣднѣлъ. Движимый горячею дружбою и оскорбленный въ моемъ директорскомъ достоинствѣ, я грозно отвѣчалъ: „что этого

[1]) Въ одномъ изъ параграфовъ устава было сказано: „директоръ назначаетъ роли, и всѣ актеры должны безпрекословно повиноваться его назначенію“.

никогда не будетъ и что они вмѣшиваются не въ свое дѣло, и что если они не хотятъ меня слушаться, то я отказываюсь отъ роли Мейнау и не хочу участвовать въ театрѣ". Я думалъ поразить всѣхъ послѣдними словами. Голова моя была сильно вскружена отъ похвалъ и высокаго о себѣ мнѣнія, и я считалъ, что театръ безъ меня невозможенъ; но противники мои только того и ждали. Балясниковъ выступилъ впередъ и произнесъ дерзкую рѣчь, въ которой между прочимъ сказалъ, что я зазнался, считаю себя великимъ актеромъ, употребляю во зло право директора и изъ дружбы къ Александру Панаеву, который играетъ гадко, жертвую спектаклемъ и всѣми актерами. „Наши похвалы дали тебѣ славу, прибавилъ онъ,—мы же ее у тебя и отнимемъ, и увѣримъ всѣхъ, что ты дрянной актеръ: мы лишаемъ тебя директорства и исключаемъ изъ числа актеровъ". Всѣ единогласно подтвердили его слова. Хотя я ожидалъ возстанія противъ моей власти, но не предвидѣлъ такого удара. Собравъ все присутствіе духа, съ геройскою твердостью я взялъ моего друга Александра за руку и, не сказавъ ни слова, вышелъ изъ комнаты. Воротясь домой, ошеломленный моимъ паденіемъ, чувствуя свою неправость, я утѣшалъ себя мыслью, что пожертвовалъ моимъ самолюбіемъ и страстью къ театру—спокойствію друга. Я думалъ, что піеса безъ меня не можетъ итти и что ненавистный его соперникъ не явится въ блестящихъ эполетахъ и не похититъ сердца красавицы. Но каково было пораженіе для меня и Панаева, когда, пріѣхавъ на другой день въ университетъ, мы узнали, что еще вчера труппа актеровъ выбрала Балясникова своимъ директоромъ, что онъ играетъ роль генерала, а моя роль отдана Дмитріеву. Надобно сказать, что этотъ замѣчательный и даровитый своекоштный студентъ, Дмитріевъ, былъ вездѣ постояннымъ моимъ соперникомъ, надъ которымъ однако до сихъ поръ я почти всегда торжествовалъ. Въ классахъ у Ибрагимова, его сочиненія на заданные предметы иногда не уступали моимъ, и несмотря на нѣкоторое пристрастіе ко мнѣ, два раза Ибрагимовъ публично сказалъ, что на этотъ разъ онъ не знаетъ, чьему сочиненію отдать преимущество: моему или Дмитріева? Онъ славился также искусствомъ декламаціи, и я видѣлъ, что иногда собиралась около него толпа слушателей, когда онъ читалъ какіе-нибудь стихи. Говоря по совѣсти, я долженъ сказать, что у Дмитріева, можетъ быть,

болѣе было таланта къ литературѣ и театру, чѣмъ у меня, но у него не было такой любви ни къ тому, ни къ другому, какою я былъ проникнутъ исключительно, а потому его дарованія оставались неразвитыми, необработанными; даже въ наружности его, нѣсколько грубой и суровой, во всѣхъ движеніяхъ, видна была не только неловкость, но какая-то угловатость и неуклюжесть. Къ нему-то обратились мои товарищи и не безъ труда упросили его взять роль Мейнау. Мнѣ никогда не входило въ голову, чтобъ этотъ дикарь согласился выйти на сцену. Сейчасъ дали ему піесу, заставили читать вслухъ, и всѣ безъ исключенія пришли въ восторгъ отъ его чтенія. Намъ разсказали, что многіе были тронуты до слезъ и что другъ Дмитріева, студентъ Чесновъ (самый добрый хохотунъ и пошлякъ), студентъ Д. Перевощиковъ плакали навзрыдъ [1]). Мы съ Александромъ Панаевымъ были убиты, уничтожены: я—въ моемъ самолюбіи, въ моей любви къ театру, Панаевъ—въ любви къ университетской красавицѣ. Еслибъ я, поступя справедливо, отдалъ роль генерала другому—не играть бы было Балясникову генерала, не являться въ блестящихъ эполетахъ!—Драма: „Мейнау или слѣдствіе примиренія“ была наконецъ сыграна, но не такъ удачно, что послужило нѣкоторымъ утѣшеніемъ мнѣ и Панаеву. Впрочемъ, мы оба не были на представленіи, и я говорю о неудачѣ этого спектакля по общему отзыву не студентовъ, а учителей и постороннихъ зрителей; студенты же, напротивъ, особенно актеры, превозносили похвалами Дмитріева. Я самъ убѣжденъ, что если не вездѣ, то во многихъ сильныхъ мѣстахъ роли онъ былъ очень хорошъ, потому что я видѣлъ его на репетиціи.

Оторванный отъ театра стеченіемъ обстоятельствъ, я бросился въ другую сторону—въ литературу, въ натуральную исторію, которую читалъ намъ на французскомъ языкѣ профессоръ Фуксъ, и всего болѣе пристрастился къ собиранію бабочекъ, которымъ увлекался я до чрезвычайности. Александръ Панаевъ былъ вѣрнымъ товарищемъ и сотрудникомъ

[1]) Вообще Дмитріевъ былъ существо загадочное; онъ занимался всѣми предметами отлично, но ни съ кѣмъ, кромѣ Чеснова, не говорилъ ни слова и всѣхъ дичился, а потому никто не зналъ его; съ Чесновымъ же онъ былъ неразлученъ, безпрестанно съ нимъ хохоталъ, щипался, щекотался, толкался и дрался, какъ десятилѣтній школьникъ, часто получалъ за это выговоры, и какъ скоро переставалъ играть съ Чесновымъ, дѣлался угрюмъ и мраченъ.

моимъ во всемъ. Все свободное время мы бродили съ рампетками [1]) по садамъ, лугамъ и рощамъ, гоняясь за попадающимися намъ денными и сумеречными бабочками, а ночныхъ отыскивали подъ древесными сучьями и листьями, въ дуплахъ, въ трещинахъ заборовъ и каменныхъ стѣнъ [2]).

Слушаніе нѣкоторыхъ университетскихъ лекцій и продолженіе ученья въ двухъ высшихъ классахъ гимназіи шло довольно удовлетворительно, но не отлично. Я началъ было слушать съ большимъ участіемъ анатомію, и покуда рѣзали живыхъ и мертвыхъ животныхъ, ходилъ на лекціи очень охотно. Я даже считался очень хорошимъ ученикомъ. Но когда дѣло дошло до человѣческихъ труповъ, то я рѣшительно бросилъ анатомію, потому что боялся мертвецовъ; но не такъ думали мои товарищи, горячо хлопотавшіе по всему городу объ отысканіи трупа, и когда онъ нашелся и былъ принесенъ въ анатомическую залу—они встрѣтили его съ радостнымъ торжествомъ; на нѣкоторыхъ изъ нихъ я долго потомъ не могъ смотрѣть безъ отвращенія.

Разсказывая о моемъ театральномъ поприщѣ, я забѣжалъ далеко впередъ, и мнѣ надобно воротиться назадъ, чтобъ разсказать мою домашнюю жизнь у Григорія Иваныча, уже нѣсколько измѣнившуюся. О первомъ денномъ спектаклѣ въ домѣ Панаевыхъ Григорій Иванычъ ничего не зналъ; но когда мы рѣшились затѣять театръ въ университетѣ и я разсказалъ объ этомъ моему воспитателю—онъ согласился на мое участіе въ этихъ спектакляхъ безъ всякаго затрудненія, даже очень охотно. Онъ видѣлъ потомъ комедію: „Такъ и должно“, былъ доволенъ моею игрою и очень смѣялся надъ моимъ костюмомъ. Должно признаться, что театръ слишкомъ привлекалъ все мое вниманіе и участіе, да и Григорій Иванычъ началъ уже не такъ пристально заниматься мной. Я не знаю, какая была тому первоначальная причина, и самъ очень бы желалъ уяснить себѣ эту перемѣну; правда, нѣсколько ничего незначущихъ неудовольствій поселяли на время нѣкоторую холодность между нами, но безъ посторонняго участія, безъ какихъ-нибудь постороннихъ вліяній, они никакъ не могли бы произвести такихъ важныхъ послѣдствій, какихъ никто не могъ ожидать. Первое неудовольствіе произошло между нами

---

1) Рампетка—сачекъ изъ флера или дымки для ловли бабочекъ.
2) О собираніи бабочекъ см. особую статью ниже. *И. А.*

отъ того, что Григорій Иванычъ нашелъ у меня запрещенные имъ романы: „Мальчикъ у ручья“ Коцебу и „Природа и любовь“ Августа Ляфонтена. Я читалъ ихъ по ночамъ или въ пустыхъ антресоляхъ—читалъ съ увлеченіемъ, съ самозабвеніемъ!... Смѣшно сказать, но и теперь слова: „люби меня, я добръ, Фанни!“ или: „мѣсяцы, блаженные мѣсяцы пролетали надъ этими счастливыми смертными“ [1]), слова, сами по себѣ ничтожныя и пошлыя, заставляютъ сердце мое биться скорѣе, по одному воспоминанію того восторга, того упоенія, въ которое приводили они пятнадцатилѣтняго юношу! Да, слова ничего не значатъ; все зависитъ отъ чувства, которое мы придаемъ имъ.—Безъ сомнѣнія, я былъ виноватъ, но наставникъ мой слишкомъ строго порицалъ мою вину, и еслибъ я повѣрилъ ему, то пришелъ бы въ отчаяніе; но я не могъ признать себя такимъ преступникомъ и получилъ право и возможность обвинять моего воспитателя въ несправедливости и оскорбленіи меня. Впрочемъ на этотъ разъ все уладилось между нами довольно скоро. Второе неудовольствіе состояло въ слѣдующемъ: наканунѣ Троицы Григорій Иванычъ вздумалъ уѣхать со мной въ Кощаково и прожить тамъ дня три. На этотъ разъ мнѣ не хотѣлось уѣзжать, потому что у насъ съ Панаевымъ былъ устроенъ механическій театръ съ чудесными декораціями, машинами, превращеніями, съ грозою, съ громомъ и молніей. Александръ Панаевъ былъ великій мастеръ на всѣ такія штуки. Именно въ Духовъ день назначено было представленіе и приглашены зрители; больно мнѣ было уѣзжать, но я покорился безъ ропота. Въ назначенный день для нашего отъѣзда въ деревню я выпросился у моего воспитателя на нѣсколько часовъ къ Панаеву. Григорій Иванычъ согласился, но сказалъ, что если я не ворочусь къ семи часамъ, то онъ уѣдетъ одинъ. Я обѣщалъ непремѣнно воротиться. Мы съ Панаевымъ занялись *генеральною пробою* нашего механическаго спектакля, а какъ нѣкоторыя явленія не удавались, то есть молнія не попадала въ то дерево, которое должна была разбить и зажечь, мѣсяцъ не вылѣзалъ изъ облаковъ и паденіе водопада иногда внезапно прекращалось—то я такъ завлекся устройствомъ явленій природы, что пропустилъ назначенный срокъ, и хотя, вспомнивши его, бѣжалъ бѣгомъ до самаго дома, но

[1]) Это слова изъ романа „Природа и любовь“, Августа Ляфонтена.

опоздалъ четверть часа. Григорій Иванычъ уѣхалъ ровно въ семь часовъ одинъ, въ большомъ гнѣвѣ, но не отдалъ никакихъ приказаній на мой счетъ. Здѣсь начинается моя уже настоящая вина. Ефремъ Евсеичъ предлагалъ нанять лошадей и отправиться вмѣстѣ со мной въ Кощаково, но я, ссылаясь на то, что Григорій Иванычъ могъ бы подождать меня, или приказать, чтобъ я вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ одинъ—рѣшительно отказался ѣхать и сейчасъ отправился къ Александру Панаеву. Мы провозились съ театромъ всю ночь. Евсеичъ, встревоженный моимъ долгимъ отсутствіемъ, самъ пришелъ за мной. Мы показали ему театръ, и онъ не мало дивился нашей хитрости. На солнечномъ всходѣ воротились мы домой. Дядька вновь уговаривалъ меня ѣхать къ Григорію Иванычу, но я рѣшительно отказался. Въ Троицынъ день Панаевъ обѣдалъ у меня, а послѣ обѣда мы отправились гулять на Арское поле, возлѣ котораго я жилъ и на которомъ обыкновенно происходило, на Троицкой недѣлѣ, самое многолюдное народное гулянье. Въ Духовъ день былъ у Панаевыхъ спектакль, сошедшій великолѣпно: дубъ былъ раздробленъ и сожженъ молніей, мѣсяцъ безпрепятственно выходилъ изъ облаковъ, водопадъ шумѣлъ и пѣнился, не останавливаясь. Зрители и хозяева были въ восхищеніи; но у меня на сердцѣ скребли кошки, какъ говорится. На третій день рано поутру воротился Григорій Иванычъ. Я еще спалъ, когда онъ имѣлъ грозное объясненіе съ Евсеичемъ, который разсказалъ ему все, что происходило, и не скрылъ даже того, что два раза предлагалъ мнѣ ѣхать въ Кощаково. Григорій Иванычъ не велѣлъ мнѣ показываться ему на глаза и двое сутокъ не видалъ меня и даже не обѣдалъ со мною. Я огорчился глубоко и въ то же время оскорбился; мнѣ уже былъ шестнадцатый годъ и я рѣшилъ, что такъ можно поступать только съ мальчикомъ. Наконецъ послѣдовало объясненіе; хотя я приготовился встрѣтить его съ твердостію и хладнокровіемъ, и точно, всѣ жестокіе упреки сначала переносилъ и отражалъ съ наружнымъ спокойствіемъ, но когда Григорій Иванычъ сказалъ: „а что будетъ съ вашей матерью, когда я опишу ей вашъ поступокъ и откажусь жить вмѣстѣ съ вами?“... тогда растаяла какъ воскъ моя твердость, слезы хлынули изъ глазъ, и я призналъ себя безусловно виноватымъ и чистосердечно просилъ простить мою вину. Григорій Иванычъ сдѣлалъ большую ошибку: онъ

не воспользовался моимъ искреннимъ раскаяніемъ, встрѣтилъ его холодно и не примирился со мною вполнѣ. Можетъ быть онъ не совсѣмъ мнѣ вѣрилъ, но всего вѣроятнѣе, что онъ поступилъ такъ по разсчету; онъ зналъ, что я, слишкомъ живо принимая впечатлѣнія, слишкомъ скоро и забывалъ ихъ, а потому и хотѣлъ, перемѣною своего обращенія, заставить меня глубже почувствовать мою вину. Слѣдствія вышли совсѣмъ не тѣ, какихъ онъ ожидалъ: самъ онъ перемѣнился ко мнѣ, а отъ меня требовалъ, чтобъ я былъ такимъ же, какимъ былъ прежде; а какъ, по свойству моей натуры, такія холодныя отношенія были для меня невыносимы, то я скоро сталъ во всемъ оправдывать себя и во всемъ обвинять его, и моя привязанность къ нему поколебалась. Наконецъ одинъ случай, совершенно ничтожный, окончательно измѣнилъ наши прежнія отношенія. Университетскій экономъ, Маркевичъ, умеръ. Я уже говорилъ, что онъ всегда ласкалъ меня и что я его очень любилъ; но какъ я съиздѣтства боялся покойниковъ, то, несмотря на убѣжденія и приказанія Григорія Иваныча, ни за что не согласился быть на похоронахъ Маркевича. Григорій Иванычъ воротился съ печальной церемоніи вмѣстѣ съ рисовальнымъ учителемъ Чекіевымъ. Надобно предварительно сказать, что я очень не любилъ этого господина, большого франта, надоѣдавшаго мнѣ самыми пошлыми шутками. Я всегда удивлялся, какъ могъ Григорій Иванычъ быть короткимъ пріятелемъ съ такимъ пустымъ человѣкомъ, хотя эта связь легко объяснялась тѣмъ, что они были товарищами въ Московской университетской гимназіи. Чекіевъ въ этотъ день особенно приставалъ ко мнѣ: зачѣмъ я не былъ на похоронахъ, зачѣмъ не отдалъ послѣдняго долга человѣку, который меня такъ любилъ? утверждалъ, что мой поступокъ показываетъ жестокое сердце и проч. и проч. Однимъ словомъ, онъ раздразнилъ меня и когда спросилъ съ насмѣшкой: „признайтесь, пожалуйста, что вы совсѣмъ не боитесь покойниковъ и что вы взвели на себя этотъ страхъ изъ одного эгоизма?“... я разсердился и рѣзко, съ грубостью ему отвѣчалъ: „вы совершенно правы. Я покойниковъ не боюсь и притворяюсь“... Обсуживая эти слова хладнокровно, я и теперь не вижу въ нихъ той важности, какую придалъ имъ Григорій Иванычъ. Гнѣвъ измѣнилъ его лицо и онъ сказалъ мнѣ тихимъ, но выразительнымъ голосомъ: „послѣ словъ, кото-

рыя вы осмѣлились сказать въ моемъ присутствіи моему товарищу и гостю—вы можете сами судить, можемъ ли мы быть пріятны одинъ другому. Извольте итти въ вашу комнату.“ Не чувствуя никакой своей вины, я, разумѣется, разсердился еще болѣе, но ушелъ, не сказавъ ни слова. Сцена происходила передъ самымъ обѣдомъ и кушанье уже стояло на столѣ. Вслѣдъ за мной Евсеичъ принесъ и мой приборъ и объявилъ, что Григорій Иванычъ приказалъ мнѣ обѣдать въ своей комнатѣ. Бѣшенство мое удвоилось, и только мысль о матери удержала меня отъ намѣренія итти къ моему воспитателю и наговорить ему грубостей. Я долженъ отдать справедливость Чекіеву: онъ, какъ Евсеичъ разсказалъ мнѣ, очень долго просилъ Григорія Иваныча простить меня, но напрасно. Послѣ обѣда Чекіевъ приходилъ ко мнѣ, но я заперся на крючекъ и не пустилъ его въ мою комнату. На другой день Григорій Иванычъ призвалъ меня къ себѣ и сказалъ холодно и рѣшительно: „что намъ уже не слѣдуетъ жить вмѣстѣ, что онъ слагаетъ съ себя званіе моего наставника и что мы оба должны теперь стараться о томъ, чтобы моя мать какъ можно легче перенесла нашъ разрывъ; что мы должны это сдѣлать, не оскорбляя другъ друга“. — Я отвѣчалъ, что онъ предупредилъ мое желаніе, и что я точно то же хотѣлъ ему предложить. — „Такъ и прекрасно“, сказалъ съ усмѣшкою Григорій Иванычъ и кивнулъ мнѣ головой. Я ушелъ въ свою комнату и на свободѣ предался волненію и гнѣву. Я считалъ себя кругомъ правымъ, а воспитателя моего—кругомъ виноватымъ. Здѣсь долженъ я признаться въ поступкѣ, который трудно извинить раздраженіемъ и вспыльчивостью. Слѣдующій день, по несчастію, былъ почтовый, и я написалъ къ отцу и къ матери большое письмо, въ которомъ не пощадилъ моего наставника и позволилъ себѣ такія оскорбительныя выраженія, отъ которыхъ краснѣю теперь. Конечно, если бы я отложилъ письмо до слѣдующей почты, я непремѣнно бы обдумался, но горячность увлекла меня. .. увлекала и всю жизнь.... На другой день послѣ отправки письма, совѣсть начала меня упрекать и я безпрестанно вспоминалъ слова Григорія Иваныча: „мы не должны оскорблять другъ друга“. Что же я долженъ былъ почувствовать, когда чрезъ нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ мы видались только за обѣдомъ и почти не говорили, Григорій Иванычъ позвалъ меня къ себѣ и прочелъ мнѣ огром-

ное письмо, заготовленное имъ для отсылки къ моей матери. Въ этомъ письмѣ, исполненномъ ума и чувства дружбы, онъ признавалъ себя совершенно неспособнымъ оставаться долѣе наставникомъ и руководителемъ молодого человѣка, съ которымъ надобно поступать уже не такъ, какъ съ мальчикомъ, не такъ, какъ поступалъ онъ со мною до тѣхъ поръ; онъ увѣрялъ, что не знаетъ, не умѣетъ, какъ взяться за это трудное дѣло, и чувствуетъ, что онъ дѣйствуетъ не такъ, какъ должно; слѣдовательно можетъ мнѣ повредить. Онъ съ подробностью описалъ мой умъ, нравъ, наклонности и предсказалъ будущее ихъ развитіе; описалъ также мои недостатки: хорошая сторона изображена была ярко, предвѣщала много добра, а дурная—очень снисходительно и съ увѣренностью, что время и опытность не дадутъ ей укорениться. Онъ ручался за чистоту моихъ нравственныхъ стремленій и увѣрялъ, что я могу безопасно жить одинъ или съ хорошимъ пріятелемъ, какъ напримѣръ Александръ Панаевъ, или съ кѣмъ-нибудь изъ профессоровъ, безъ всякой подчиненности, какъ младшій товарищъ; онъ увѣрялъ, что мнѣ даже нужно пожить года полтора на полной свободѣ, передъ вступленіемъ въ службу, для того, чтобъ не прямо попасть изъ-подъ ферулы строгаго воспитателя въ самобытную жизнь, на поприще свѣта и служебной дѣятельности. Къ этому онъ прибавлялъ, что не останется долго въ университетѣ и что скоро поѣдетъ въ Петербургъ, для предварительнаго пріисканія себѣ мѣста по ученой, а можетъ быть и по гражданской части.— Григорій Иванычъ былъ испуганъ дѣйствіемъ этого письма надо мною. Терзаемый совѣстью и раскаяніемъ, я пришелъ въ такое волненіе, что долго не могъ ничего говорить; наконецъ, слезы облегчили мою грудь. Я чистосердечно признался во всемъ, что писалъ къ моимъ родителямъ, высказалъ всѣ мои прежнія къ нему чувства, плакалъ, просилъ, молилъ Григорія Иваныча позабыть мой поступокъ и не разлучаться со мною до своего отъѣзда въ Петербургъ. Я обѣщалъ ему, и, конечно, сдержалъ бы обѣщаніе, что какъ бы онъ ни поступалъ со мною строго, я не только не покажу неудовольствія, но даже не почувствую его. Искренность раскаянія и душевнаго страданія, казалось, поколебали моего воспитателя. Онъ долго и пристально смотрѣлъ на меня, потомъ началъ ходить по комнатѣ и наконецъ, сказавъ: „дайте мнѣ подумать“, отпустилъ меня. Оставалось два дня до слѣдую-

щей почты. Я написалъ другое письмо къ моимъ родителямъ, въ которомъ признавалъ себя непростительно и совершенно виноватымъ, восторженно хвалилъ моего наставника, описалъ подробно все происшествіе и сказалъ между прочимъ: „какъ бы Григорій Иванычъ ни поступилъ со мной, оставитъ у себя или прогонитъ — я стану любить его, какъ второго отца“. Передъ отправленіемъ письма на почту, я принесъ мое письмо къ Григорію Иванычу и спросилъ: не угодно ли ему прочесть, что я пишу?“ Онъ отвѣчалъ, что не нужно, что онъ уже отправилъ свое, то самое, которое я слышалъ, и что это дѣло окончательно рѣшено. Это былъ для меня ударъ, нельзя сказать, вовсе неожиданный, но тѣмъ не менѣе тяжкій: я зналъ, что никакія баттареи не заставятъ теперь моего наставника отступить, да и всякое отступленіе оказалось бы безполезнымъ, потому что письмо уже было послано. Дѣлать было нечего: я поспѣшилъ отправить мое письмо. Мое живое воображеніе рисовало мнѣ такую картину отчаянія моей бѣдной матери, что эта картина преслѣдовала меня день и ночь и я даже захворалъ съ горя. Григорій Иванычъ хмурился и, не одобряя никакихъ страстныхъ моихъ порывовъ, доказывалъ мнѣ очевидный вредъ излишества всякихъ ощущеній; въ то же время онъ сожалѣлъ обо мнѣ и успокоивалъ меня, говоря, что моя мать гораздо легче приметъ это происшествіе, нежели я думаю; что наша разлука и безъ того была неизбѣжна и что мое второе письмо, содержаніе котораго я ему разсказалъ, изгладитъ непріятное впечатлѣніе перваго. Такія слова меня нѣсколько успокоили. Я скоро выздоровѣлъ, и наконецъ мы получили письма изъ Аксакова. Григорій Иванычъ оказался совершенно правъ. Отецъ и мать оцѣнили мое раскаяніе и простили мнѣ *первое* письмо, написанное въ припадкѣ горячности. Мать вполнѣ вѣрила отзыву обо мнѣ моего наставника и ея материнское любящее сердце исполнилось отрадныхъ и лестныхъ упованій. Она вѣрила также скорому отъѣзду и необходимости этого отъѣзда, по собственнымъ обстоятельствамъ Григорія Иваныча. Она была убѣждена, что онъ останется навсегда нашимъ истиннымъ другомъ и что, переставъ быть моимъ воспитателемъ, гораздо ближе сойдется со мною и больше меня полюбитъ; что совѣты его, не отзываясь никакою властью, будутъ принимаемы мною съ большею готовностью, съ большимъ чувствомъ... Она не ошиблась. Будущее оправдало проницательность ея рѣдкаго ума.

Я долженъ былъ скоро отправиться на вакацію, а Григорій Иванычъ черезъ мѣсяцъ собирался ѣхать въ Петербургъ. Мать моя поручила ему устроить мое будущее пребываніе въ Казани, и я, съ согласія Григорія Иваныча (удивляюсь, какъ могъ онъ согласиться), условился съ адъюнктъ-профессоромъ философіи и логики, Львомъ Семенычемъ Левицкимъ, въ томъ, что я буду жить у него, платя за столъ и квартиру небольшую сумму, и въ то же время присматривая за его тремя воспитанниками, своекоштными гимназистами. Всѣ три мальчика были мнѣ ровня и страшные шалуны, о чемъ я не имѣлъ понятія. Я простился съ Григоріемъ Иванычемъ съ большимъ чувствомъ, даже со слезами, и онъ самъ былъ очень растроганъ, но по своему обыкновенію старался прикрыть свое волненіе шутками и даже насмѣшками надъ моею чувствительностью.

Несмотря на смутныя и тревожныя обстоятельства моей домашней внутренней жизни, мы съ Александромъ Панаевымъ продолжали заниматься литературой и собираніемъ бабочекъ, которыхъ умѣлъ мастерски раскладывать мой товарищъ, искусный и ловкій на всякія механическія занятія. Я написалъ нѣсколько стихотвореній и статью въ прозѣ, подъ названіемъ: „Дружба“, и показалъ моему другу Александру, который ихъ одобрилъ, но сдѣлалъ нѣсколько критическихъ замѣчаній, показавшихся мнѣ однако неосновательными. Помѣщаю здѣсь мои первые ребячьи стихи, которыхъ впрочемъ не помню и половины, и праздную тѣмъ мой пятидесятилѣтній юбилей на поприщѣ бумагомаранья; считаю нужнымъ прибавить, что у меня не было никакой жестокой красавицы, даже ни одной знакомой дѣвушки.

Къ соловью.

Другъ весны, пѣвецъ любезнѣйшій,
Будь единый мнѣ отрадою,
Уменьши тоску жестокую,
Что снѣдаетъ сердце страстное.

* * *

Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою къ ней пламенну,
Исчисляй мои страданья всѣ,
Исчисляй моей дни горести.

* * *

Пусть услышитъ она голосъ твой,
Пусть узнаетъ, кто училъ тебя,
Можетъ быть тогда, жестокая,
Хоть изъ жалости вздохнетъ по мнѣ.

* * *

Можетъ быть она узнаетъ тутъ,
Что любовь для насъ есть счастіе;
Можетъ быть она почувствуетъ,
Что нельзя вѣкъ не любя прожить.

(Здѣсь недостаетъ нѣсколькихъ куплетовъ).

Истощи свое умѣнье все,
Возбуди ея чувствительность;
Благодаренъ буду вѣкъ тебѣ
За твое искусство дивное....

Вотъ какими виршами безъ риѳмъ дебютировалъ я на литературной аренѣ нашей гимназіи въ 1805 году! Впрочемъ, я скоро призналъ эти стихи *недостойными моего пера* и не помѣстилъ ихъ въ нашемъ журналѣ 1806 года. Всѣ послѣдующіе стихи писалъ я уже съ риѳмами; всѣ они не имѣютъ никакого, даже относительнаго достоинства и не показываютъ ни малѣйшаго признака стихотворнаго дарованія.

Вакацію 1805 года, проведенную въ Оренбургскомъ Аксаковѣ, я какъ-то мало помню. Знаю только, что ружье и бабочки такъ сильно меня занимали, что я рѣдко удилъ рыбу, вѣроятно потому, что въ это время года клевъ всегда бываетъ незначительный: я разумѣю клевъ крупной рыбы.

Я нашелъ здоровье моей матери очень разстроеннымъ и узналъ, что это была единственная причина, по которой она не пріѣхала ко мнѣ, получивъ извѣстіе о моемъ разрывѣ съ Григоріемъ Иванычемъ.—Продолжая владѣть моей безпредѣльной довѣренностью и узнавъ всѣ малѣйшія подробности моей жизни, даже всѣ мои помышленія, она успокоилась на мой счетъ и, несмотря на молодость, отпустила меня въ университетъ на житье у неизвѣстнаго ей профессора, съ полною надеждою на чистоту моихъ стремленій и безукоризненность поведенія.

Я пріѣхалъ въ Казань прямо къ Левицкому. Не задолго моего возвращенія Григорій Иванычъ уѣхалъ въ Петер-

бургъ, и меня очень удивило, что онъ цѣлый мѣсяцъ вакаціи прожилъ въ Казани безъ всякаго дѣла. Послѣ отъѣзда Григорія Иваныча классъ высшей математики, впредь до поступленія новаго профессора, былъ порученъ студенту А. Княжевичу, котораго отличныя способности обѣщали славнаго ученаго по этой части. Я не могъ долго оставаться у Левицкаго: пагубная страсть къ вину совершенно имъ овладѣла, и онъ уже предавался ей каждый вечеръ въ одиночку; воспитанники его избаловались до послѣдней крайности и ничему не учились. Мнѣ скоро надоѣло возиться съ этими шалунами, и я чрезъ два мѣсяца, съ разрѣшенія моего отца и матери, разставшись съ Левицкимъ, нанялъ себѣ квартиру: особый флигелекъ, близехонько отъ театра, у какого-то нѣмца Германа, поселился въ немъ, и въ первый разъ началъ вести жизнь независимую и самобытную. Мы были почти неразлучны съ Александромъ Панаевымъ и приняли въ свое литературное товарищество студента Д. Перевощикова. Переводили повѣсти Мармонтеля, не переведенныя Карамзинымъ, сочиняли стихами и прозою, и втроемъ читали другъ другу свои переводы и сочиненія. Намѣреніе переводить повѣсти Мармонтеля было еще у меня тогда, когда я жилъ у Левицкаго. Одинъ разъ я сказалъ ему объ этомъ, разумѣется, до обѣда, покуда онъ былъ съ похмѣлья, и очень помню, какъ оскорбилъ меня его отвѣтъ: „ну какъ вамъ переводить Мармонтеля послѣ Карамзина? Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней!“ Но эти слова насъ не остановили.—Наконецъ мы съ Александромъ Панаевымъ рѣшились издавать письменный журналъ въ наступающемъ 1806 году подъ названіемъ: „Журналъ нашихъ занятій“, но безъ имени издателя. Это было предпріятіе уже болѣе серьезное, чѣмъ „Аркадскіе Пастушки“, и я изгонялъ изъ этого журнала, сколько могъ, идиллическое направленіе моего друга и слѣпое подражаніе Карамзину. Я въ то время боролся изъ всѣхъ силъ противу этого подражанія, подкрѣпляемый книгою Шишкова: „Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ“, которая увлекла меня въ противуположную крайность. Я скажу объ этомъ подробнѣе въ другомъ мѣстѣ. Изъ сохранившихся у меня трехъ книжекъ „Журнала нашихъ занятій“ я вижу, что онъ начался не съ января, а съ апрѣля, и продолжался до декабря включительно. Къ сожалѣнію, въ этихъ трехъ книжкахъ нѣтъ ни одной моей статьи, ни переводной, ни ориги-

нальной, но я помню, что ихъ находилось довольно. Теперь мнѣ было бы очень любопытно узнать, какъ выражалось мое тогдашнее направленіе. Я помѣщаю въ особомъ приложеніи оглавленіе статей и выписки изъ нѣкоторыхъ піесъ.

Между тѣмъ, въ концѣ 1805 года и въ январѣ 1806-го, составились два спектакля въ университетѣ безъ моего участія. Тяжело, горько было мнѣ это лишеніе; страдала моя любовь къ театру, страдало мое самолюбіе отъ успѣховъ моего соперника, Дмитріева; но дѣлать было нечего. Актеры предлагали мнѣ опять вступить въ ихъ труппу, но я не забылъ еще сдѣланнаго мнѣ оскорбленія и отвѣчалъ: „Я вамъ не нуженъ, у васъ есть Дмитріевъ, который прекрасно играетъ мои роли“.—„Ну какъ хочешь, дуйся пожалуй, обойдемся и безъ тебя“, отвѣчалъ мнѣ директоръ Балясниковъ: тѣмъ дѣло и кончилось. Впрочемъ, все шло дружелюбно; я ходилъ на репетиціи и давалъ совѣты тѣмъ, кто у меня ихъ спрашивалъ. Въ первомъ спектаклѣ, въ комедіи Коцебу: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“, Дмитріевъ игралъ Неизвѣстнаго съ большимъ успѣхомъ. Несмотря на совершенное неумѣнье держать себя, на смѣшныя позы и еще болѣе смѣшные жесты одной правой рукой, тогда какъ лѣвая точно была привязана у него за спиной, не смотря на положительно-дурное исполненіе обыкновенныхъ разговоровъ съ своимъ слугою и бѣднымъ старикомъ,—Дмитріевъ въ сценѣ съ другомъ, которому разсказываетъ свои несчастія, и въ примиреніи съ женой выражалъ столько силы внутренняго чувства, что всѣ зрители, въ томъ числѣ и я, были совершенно увлечены, и общее восхищеніе выражалось неистовыми рукоплесканіями. Сначала я только восхищался и никакое чувство зависти не вкрадывалось въ мое сердце, но потомъ слова нѣкоторыхъ студентовъ, особенно актеровъ, глубоко меня уязвили и проклятая зависть поселилась въ моей душѣ. Мнѣ безъ церемоніи говорили: „ну что, обошлись мы и безъ тебя! Да гдѣ тебѣ сыграть такъ Неизвѣстнаго, какъ играетъ Дмитріевъ. Тебя хвалили только потому, что его не видали“. Въ самомъ дѣлѣ успѣхъ Дмитріева въ этой роли былъ гораздо блистательнѣе моего, хотя существовала небольшая партія, которая утверждала, что я игралъ „Неизвѣстнаго“ лучше, что Дмитріевъ каррикатуренъ и что только нѣкоторыя, сильныя мѣста были выражены имъ хорошо; что я настоящій актеръ, что я хорошъ на сценѣ во всемъ отъ начала до конца, отъ

перваго до послѣдняго слова. Тутъ была часть правды, и у меня родилось непреодолимое желаніе обработать роль „Неизвѣстнаго“ и такъ сыграть, чтобы совершенно затмить моего противника. Въ началѣ 1806 года студенты дали другой спектакль и разыграли піесу того же Коцебу: „Бѣдность и благородство души“, въ которой Дмитріевъ игралъ роль Генриха Блума, также съ большимъ успѣхомъ, уступавшимъ однако успѣху въ роли „Неизвѣстнаго“. Защитники мои утверждали, что въ Генрихѣ Блумѣ я былъ бы несравненно лучше Дмитріева. Подстрекаемый завистью и самолюбіемъ, я старательно обработалъ обѣ эти роли, и при многихъ слушателяхъ, даже не весьма ко мнѣ расположенныхъ, прочелъ, или лучше сказать разыгралъ сильныя мѣста обѣихъ піесъ. Всѣ почувствали разницу моей, конечно болѣе искусной и естественной игры, отъ дикаго, хотя одушевленнаго силою чувства, исполненія этихъ ролей моимъ соперникомъ. Между студентами возникли двѣ равносильныя партіи: за меня и противъ меня; это уже былъ первый шагъ къ торжеству. Шумные споры доходили до ссоръ и чуть не до драки; самолюбіе мое нѣсколько утѣшилось. Потомъ судьба захотѣла побаловать меня. Дмитріеву, которому было уже слишкомъ за двадцать лѣтъ, наскучило студентское ученье, правду сказать, весьма неудовлетворительное; можетъ быть были и другія причины,—не знаю,—только онъ рѣшился вступить въ военную службу; онъ внезапно оставилъ университетъ и, какъ хорошій математикъ, опредѣлился въ артиллерію. Труппа осиротѣла и поневолѣ обратилась ко мнѣ. Я, пользуясь обстоятельствами, долго не соглашался, несмотря на предлагаемое мнѣ вновь директорство. Наконецъ, довольно поломавшись, я согласился на слѣдующихъ условіяхъ: 1) званіе и должность директора уничтожить, а для управленія труппой выбрать трехъ старшинъ; 2) спектакли начать повтореніемъ: „Ненависти къ людямъ и раскаянія“ и „Бѣдности и благородства души“.—Разумѣется всѣ согласились. „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“ шла на Святой недѣлѣ. Не знаю, по какому случаю былъ приглашенъ на генеральную репетицію актеръ Грузиновъ [1]), котораго мы всѣ очень любили и уважали. Піеса давалась у насъ уже въ третій разъ, и

[1]) Грузиновъ былъ наемный актеръ на театрѣ г-на Есипова; онъ съ большимъ успѣхомъ занималъ амплуа благородныхъ отцовъ.

общимъ стараніемъ, особенно моимъ, была довольна хорошо слажена. Грузиновъ удивился, не вѣрилъ своимъ глазамъ и ушамъ. Онъ нахвалилъ насъ содержателю Казанскаго театра, П. П. Есипову, который поспѣшилъ получить дозволеніе директора Яковкина пріѣхать въ театръ на настоящее представленіе, и не только пріѣхалъ самъ, но даже привезъ съ собою, кромѣ Грузинова, еще троихъ актеровъ.—Наконецъ сошелъ давно желанный, давно ожидаемый мною спектакль! Удовлетворилось мое молодое самолюбіе. Весь университетъ говорилъ, что я *превзошелъ самъ себя* и далеко оставилъ за собою Дмитріева. Чего же мнѣ было больше желать? О, непостоянство мірской славы! Черезъ два, три мѣсяца послѣ торжества Дмитріева, осталось только два, три человѣка, которые не громко говорили, что Дмитріевъ игралъ не хуже, а мѣстами и лучше Аксакова. Это была совершенная правда.—Въ театрѣ было довольно постороннихъ зрителей, они превозносили меня до небесъ; но самый сильный блескъ и прочность моей славѣ придавали похвалы П. П. Есипова и актеровъ, которыхъ мнѣніе, по справедливости, считалось сильнымъ авторитетомъ. Я ожидалъ еще большаго торжества въ другой піесѣ: „Бѣдность и благородство души“, которая была уже сыграна въ концѣ 1806 года. Читатели увидятъ, что я не ошибся.

Теперь надобно обратиться назадъ. Григорій Иванычъ просрочилъ свой отпускъ (потому что промѣшкалъ долго въ Казани) и опоздалъ слишкомъ мѣсяцъ. Онъ воротился безъ всякаго свидѣтельства о болѣзни и не представилъ никакихъ уважительныхъ причинъ, если не къ оправданію, то по крайней мѣрѣ къ извиненію своей просрочки. Университетское начальство встрѣтило его непріязненно: Григорію Иванычу былъ сдѣланъ въ совѣтѣ выговоръ. Его подвергли какому-то денежному штрафу и записали просрочку въ формуляръ. Григорій Иванычъ обидѣлся и подалъ въ отставку. Отставку ему дали, хотя не скоро; но въ аттестатѣ хотѣли прописать его просрочку, денежный штрафъ и выговоръ. Григорій Иванычъ не захотѣлъ получить такого аттестата, уѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ на службу въ Коммиссію Составленія Законовъ безъ аттестата. Уже по прошествіи долгаго времени выхлопоталъ онъ приказаніе у министра просвѣщенія выдать ему аттестатъ изъ университета безъ

упоминанія о просрочкѣ и прочемъ [1]). Я видался часто съ моимъ бывшимъ наставникомъ до его отъѣзда и потомъ простился съ нимъ, какъ съ добрымъ старшимъ другомъ, которому я былъ обязанъ чистотою моихъ нравственыхъ убѣжденій и стремленій; предсказаніе матери моей начинало сбываться.

Въ 1806 году совершилось другое событіе, важность послѣдствій котораго, измѣнившихъ все положеніе моего семейства, долго оставалась мнѣ неизвѣстною: Надежда Ивановна Куроѣдова, которая уже около года была больна водяною болѣзнью, скончалась. Все это время мои родители, съ остальнымъ своимъ семействомъ, жили въ Симбирскомъ Аксаковѣ: то-есть дѣти жили въ Аксаковѣ, покуда больная находилась въ Чуфаровѣ, откуда отецъ и мать не отлучались; когда же ее перевезли въ Симбирскъ, то и отецъ мой съ семействомъ переѣхалъ туда же. Надежда Ивановна, эта замѣчательная женщина, переносила тяжкую свою болѣзнь съ удивительнымъ терпѣніемъ, спокойствіемъ и даже веселостью, а смерть встрѣтила съ такою твердостью духа, къ какой немногіе бываютъ способны. Когда послѣ двукратнаго выпуска воды изъ ногъ, совершили третій разъ ту же операцію, и когда ея докторъ, Шицъ, осматривая раны, говорилъ: „очень, очень хорошо“, она сказала ему: „полно врать, жидъ. Я вижу, что теперь начинается послѣдняя исторія. Это совсѣмъ не то, что прежде; это антоновъ огонь. Я не боюсь смерти, я давно къ ней приготовилась. Говори, жидовское отродье, сколько мнѣ осталось жить?“ Шицъ, привыкшій къ такимъ эпитетамъ, но всегда за нихъ злившійся, неумолимымъ голосомъ ей отвѣчалъ: „дня четыре проживете“.—„Вотъ спасибо, Иванъ Карпычъ, отвѣчала больная, что сказалъ правду. Теперь прощай: благодарю за хлопоты; больше ко мнѣ прошу не ходить. Я сейчасъ прикажу съ тобой расплатиться.“ Потомъ она собрала всѣхъ, объявила, что она умираетъ, что больше лѣчиться не хочетъ и требуетъ, чтобы ее оставили въ покоѣ, чтобъ въ ея комнатѣ не было ни одного человѣка, кромѣ того, который будетъ читать ей Евангеліе. „Все ли я исполнила, что должно? спросила она, обратясь къ моему отцу: не нужно ли еще чего?“—„Ничего, тетушка, отвѣчалъ мой отецъ, вы давно все сдѣлали.“—„Такъ и

[1]) См. примѣч. въ концѣ статьи. *И. А.*

прекрасно, заключила больная; прошу же обо мнѣ не безпокоиться. Извольте выйти.“ Надежда Ивановна прожила пять дней. Во все время она или читала молитвы, или слушала Евангеліе, или пѣла священныя славословія. Ни съ кѣмъ ни сказала она ни одного слова о дѣлахъ міра сего. По ея приказанію всѣ простились съ нею молча, и она всякому говорила, даже своему дворнику, только три слова: „Прости меня грѣшную“. Обо всемъ этомъ увѣдомляли меня чрезъ письма, но ничего другого не сообщали.—Вскорѣ я получилъ извѣстіе, что у меня родилась третья сестра, что мать была отчаянно больна, но что, слава Богу, теперь все идетъ благополучно. Я сначала испугался, потомъ обрадовался, и наконецъ дальнѣйшія письма совершенно успокоили меня на счетъ здоровья матери.

Мы съ Александромъ Панаевымъ продолжали усердно заниматься своими литературными упражненіями и посѣщеніями театра, а какъ наступила весна—собираніемъ бабочекъ. Къ стыду моему долженъ я признаться, что, кромѣ любимыхъ предметовъ, мое ученье шло довольно слабо, и что я сильно и много развлекался.

Къ числу такихъ развлеченій я причисляю и то, что мы составили маленькое литературное общество, подъ предсѣдательствомъ Н. М. Ибрагимова. Основателями и первыми членами его были: Ибрагимовъ, студенты: В. Перевощиковъ, Д. Перевощиковъ, П. Кондыревъ (онъ же секретарь), И. Панаевъ, А. Панаевъ, я и гимназическій учитель Богдановъ. Мы собирались каждую недѣлю по субботамъ и читали свои сочиненія и переводы въ стихахъ и прозѣ. Всякій имѣлъ право дѣлать замѣчанія, и статьи нерѣдко тутъ же исправлялись, если сочинитель соглашался въ справедливости замѣчаній; споровъ никогда не было. Принятое сочиненіе или переводъ вписывался въ заведенную для того книгу. Впослѣдствіи, уже безъ меня, число членовъ умножилось, сочинили уставъ и съ Высочайшаго утвержденія было открыто: „Общество любителей русской словесности при Казанскомъ университетѣ“. Оно и теперь не уничтожено, но пребываетъ въ совершенномъ бездѣйствіи, какъ и всѣ литературныя общества. Я до сихъ поръ имѣю честь считаться его почетнымъ членомъ.

Въ это время случилось въ Казани слѣдующее замѣчательное происшествіе, непосредственно касавшееся до меня.

Тамъ былъ частный, благородный пансіонъ для особъ обоего пола г-на и г-жи Вильфингъ. Они не имѣли дѣтей, но воспитали бѣдную сироту, Марью Христофоровну Кермикъ, которая достигла уже совершенныхъ лѣтъ и была очень хороша собою. Григорій Иванычъ иногда видался съ Вильфингами и даже раза два бралъ меня къ нимъ съ собой; но я уже болѣе полугода не бывалъ у нихъ. Въ настоящее время я случайно, во время прогулки за городомъ, возобновилъ это знакомство, и вскорѣ красота Марьи Христофоровны оказала и на меня свое дѣйствіе. Я, разумѣется, открылся другу моему Александру; онъ очень обрадовался, бросился ко мнѣ на шею и поздравлялъ меня, что *я начинаю жить*. Онъ употреблялъ всѣ усилія раздуть искру, заронившуюся въ мое молодое сердце. Марья Христофоровна была дѣвица очень тихая и скромная, такъ что всѣ ея обожатели, которыхъ было не мало, вздыхали по ней въ почтительномъ отдаленіи; о моихъ же чувствахъ, разумѣется, она не имѣла и понятія. Вдругъ посреди мечтательныхъ надеждъ и огорченій, выражаемыхъ мною весьма плохими ребячьими стихами, является въ Казани, проѣздомъ, какой-то путешественникъ, шведскій графъ; знакомится съ Вильфингами, всѣхъ очаровываетъ, ѣздитъ къ нимъ всякій день и проводитъ съ ними время отъ утра до вечера. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, красивой наружности, умный, ловкій и бойкій, говорившій на всѣхъ европейскихъ языкахъ, владѣвшій всѣми искусствами и сверхъ того сочинитель и въ стихахъ и въ прозѣ. Въ три дня Вильфинги сошли отъ него съ ума; черезъ недѣлю влюбилась въ него Марья Христофоровна, а еще черезъ двѣ недѣли онъ женился на ней и увезъ съ собою въ Сибирь, куда ѣхалъ для какихъ-то ученыхъ изслѣдованій, по порученію правительства, въ сопровожденіи чиновника, который служилъ ему переводчикомъ, потому что графъ не понималъ ни одного русскаго слова. Горько было Вильфингамъ разстаться съ своей воспитанницей, которую они любили, какъ родную дочь, но счастіе ея казалось такъ завидно, такъ неожиданно, такъ высоко, что они не смѣли горевать. Дочь булочника,—а теперь жена графа, обожаемая мужемъ, человѣкомъ осыпаннымъ всѣми дарами образованности и природы! Отъ такого происшествія и не нѣмцы сошли бы съ ума. Но увы! скоро загадка объяснилась. Мнимый графъ былъ самозванецъ, отъявленный плутъ и негодяй, весьма извѣстный своими по-

хожденіями въ Германіи, по фамиліи Ашенбреннеръ, бѣжавшій отъ полицейскихъ преслѣдованій въ Россію, принявшій русское подданство, проживавшій у насъ въ разныхъ западныхъ губерніяхъ нѣсколько лѣтъ, попавшійся во многихъ мошенничествахъ и сосланный на жительство въ Сибирь; чиновникъ, сопровождавшій его, былъ точно чиновникъ, но—полицейскій, носившій какую-то нѣмецкую фамилію, который везъ его секретно въ Иркутскъ, чтобы сдать съ рукъ на руки подъ строжайшій надзоръ губернатору. Все это было какъ-то скрыто отъ Вильфинговъ и отъ публики. Въ переводчикѣ же путешественникъ не нуждался, потому что очень хорошо говорилъ по русски, какъ узнали послѣ. Онъ самъ увѣдомилъ съ дороги Вильфинговъ о своемъ обманѣ, къ которому заставила его прибѣгнуть „всесильная любовь“; разумѣется, называлъ себя жертвою клеветы враговъ, надѣялся, что будетъ оправданъ и вознагражденъ за невинное страданіе. Марья Христофоровна сама писала, что она все знаетъ, но тѣмъ не менѣе благодаритъ Бога за свое счастіе. Наконецъ кто-то прислалъ Вильфингамъ печатныя похожденія мнимаго графа, въ двухъ томахъ, написанныя имъ самимъ на нѣмецкомъ языкѣ. Это былъ настоящій Видокъ того времени. Старики Вильфинги неутѣшно сокрушались. Что сдѣлалось впослѣдствіи съ Марьей Христофоровной—я ничего узнать не могъ.—Такъ печально кончилась первая моя сердечная склонность.

На лѣтнюю вакацію я опять поѣхалъ въ Симбирское Аксаково, гдѣ было тогда мое семейство. Я пріѣхалъ поздно вечеромъ; всѣ въ домѣ уже спали; но мать, ожидавшая меня въ этотъ день, услыхала шумъ, вышла ко мнѣ на крыльцо и провела меня прямо въ спальную. Послѣ радостныхъ объятій съ отцемъ и съ матерью, послѣ многихъ разспросовъ и разсказовъ, я легъ спать на софѣ, у нихъ въ комнатѣ. Проснувшись поутру довольно поздно, я слышалъ, что родители мои тихо разговариваютъ между собою о какихъ-то дѣлахъ, мнѣ не извѣстныхъ. Наконецъ, замѣтивъ, что я пересталъ храпѣть, мать тихо сказала моему отцу: „Надобно разсказать обо всемъ Сережѣ; вѣдь онъ ничего не знаетъ.“—„Разскажи, матушка“, отвѣчалъ мой отецъ.—„Ты не спишь, Сережа?“—„Нѣтъ, маменька,“ отвѣчалъ я.—„Такъ поди же къ намъ. Мы разскажемъ тебѣ, что случилось съ нами. Мы теперь богаты.“ Я всталъ, сѣлъ къ нимъ на постель, и мнѣ, со

всѣми мельчайшими подробностями, пространно разсказали то, что постараюсь разсказать въ нѣсколькихъ словахъ. Надежда Ивановна Куроѣдова, сдѣлавшись вдругъ тяжело больна водяною болѣзнью, немедленно укрѣпила моему отцу, судебнымъ порядкомъ, все свое движимое и недвижимое имѣніе. Черезъ нѣсколько дней все дѣло было улажено: весь уѣздный судъ и нѣсколько свидѣтелей, изъ числа извѣстныхъ и почетныхъ лицъ въ городѣ, пріѣхали въ Чуфарово. Надежда Ивановна, въ присутствіи всѣхъ, подписала нужныя бумаги и подтвердила ихъ особою сказкою и личнымъ удостовѣреніемъ. Когда все было кончено, она приказала подать шампанскаго, взяла бокалъ и первая весело поздравила. Надобно сказать, что въ то время она была такъ тяжело больна, что лучшій тогда докторъ Шицъ, привезенный немедленно изъ Симбирска, не имѣлъ надежды къ ея выздоровленію. Онъ рѣшился на выпускъ воды изъ ногъ, посредствомъ операціи, нисколько не ручаясь за выздоровленіе больной; но силы ея были еще такъ крѣпки, что неиспорченная натура скоро побѣдила болѣзнь, и больная въ самое короткое время совершенно выздоровѣла. Къ сожалѣнію, не вѣря простудѣ и считая діэту за выдумку докторовъ, Надежда Ивановна продолжала вести прежнюю жизнь, простудилась, испортила желудокъ и получила рецидивъ водяной болѣзни. Вторичная операція была уже не такъ удачна и только отдалила печальную развязку. Больную привезли въ Симбирскъ, гдѣ она послѣ третьей операціи скончалась, о чемъ я уже говорилъ.

Боже мой, что значитъ богатство! Какъ оно разодрало глаза всѣмъ добрымъ людямъ! Какою завистью закипѣли сердца близкихъ пріятелей и даже родныхъ!

У Надежды Ивановны были бѣдные должники; объ нихъ докладывали при ея кончинѣ и она отвѣчала: „что у ней деньги не воровскія, не нажитыя сквернымъ поведеніемъ, и что она дарить ихъ не намѣрена“. Мои родители простили такихъ долговъ до 20 тысячъ, объявя должникамъ, что впослѣдствіи Надежда Ивановна сама приказала денегъ съ нихъ не взыскивать. Этотъ поступокъ никого не обезоружилъ, не примирилъ съ богатыми наслѣдниками, и мой отецъ съ матерью, очень огорченные, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ уѣхали на житье въ свое Оренбургское Аксаково.

По совѣсти скажу, что перемѣна состоянія не произвела на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія. Всю вакацію занимался

я то ружьемъ, то театральными піесами. Я воротился въ университетъ точно такимъ же молодымъ, очень-очень небогатымъ студентомъ, и долго забывалъ даже сказать другу моему, Александру Панаеву, о счастливой перемѣнѣ нашихъ обстоятельствъ. Но въ семействѣ своемъ перемѣну замѣтилъ: поговаривали о переѣздѣ на зиму въ Казань, написали въ Москву къ своему другу и коммиссіонеру Андреяну Ѳедоровичу Аничкову, чтобы онъ пріискалъ и нанялъ француженку въ гувернантки и учительницы къ моимъ сестрамъ; даже намѣревались на будущій годъ сами ѣхать на зиму въ Москву, а лѣтомъ въ Петербургъ, для опредѣленія меня на службу. Для исполненія этого послѣдняго намѣренія было положено, чтобъ въ слѣдующемъ 1807 году я оставилъ университетъ *). Я слушалъ все это довольно равнодушно; къ Петербургу и къ службѣ никакого *призванія* я не чувствовалъ; я даже думалъ, что это только одни разговоры, одни предположенія, но ошибся. Чрезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ Казань я получилъ письмо отъ отца, съ приказаніемъ пріискать и нанять большой помѣстительный домъ, гдѣ не только могло бы удобно расположиться все наше семейство, но и нашлись бы особыя комнаты для двухъ родныхъ сестеръ моей матери по отцѣ, которыя жили до тѣхъ поръ въ домѣ В — хъ. Мать прибавляла, что она намѣрена для нихъ выѣзжать въ свѣтъ, и потому должна познакомиться съ лучшею городскою публикою. Я очень этому обрадовался и за себя, и за своихъ тетокъ, которыхъ искренно любилъ и съ которыми нерѣдко видался. Я немедленно нанялъ большой, каменный домъ купца Комарова и, въ ожиданіи моего семейства, перебрался въ него на антресоли и занялъ одну уютную комнатку.

Университетская жизнь текла прежнимъ порядкомъ; прибавилось еще два профессора нѣмца, одинъ русскій адъюнктъ по медицинской части, Каменскій, съ замѣчательнымъ даромъ слова, и новый адъюнктъ-профессоръ россійской словесности, Городчаниновъ, человѣкъ бездарный и отсталый, точь-въ-точь похожій на извѣстнаго профессора Г — го или К—ва, нѣкогда обучавшихъ благородное россійское юношество. Я забылъ сказать, что бѣдный Левицкій получилъ отъ

1) Рановременный выходъ изъ университета и намѣреніе опредѣлить меня на службу были слѣдствіемъ совѣтовъ Григорія Иваныча, который даже обѣщалъ доставить мнѣ мѣсто въ Коммиссіи Составленія Законовъ, что послѣ и сдѣлалъ.

невоздержности водяную и умеръ. Всѣ мы искренно о немъ сожалѣли. — На первой лекціи адъюнктъ-профессоръ Городчаниновъ сказалъ намъ пошлое, надутое привѣтствіе и, для лучшаго ознакомленія съ студентами, предложилъ намъ, чтобъ всякій изъ насъ объявилъ, какого русскаго писателя онъ предпочитаетъ другимъ, и какое именно мѣсто въ этомъ писателѣ нравится ему болѣе прочихъ. На такой вопросъ вдругъ отвѣчать очень мудрено, и потому всякій отвѣчалъ то, что на ту пору приходило ему въ голову. Многіе называли Карамзина, но Городчаниновъ морщился и изъявлялъ сожалѣніе, что университетское юношество заражено этимъ опаснымъ писателемъ. Студентъ Ѳоминъ, сидѣвшій подлѣ меня, сказалъ мнѣ на ухо: „посмотри, Аксаковъ, какъ я потѣшу этого господина.“ Въ самомъ дѣлѣ, когда дошла до него очередь, Ѳоминъ всталъ и громко сказалъ: „Я предпочитаю всѣмъ писателямъ — Сумарокова, и считаю самыми лучшими его стихами послѣднія слова Димитрія Самозванца, въ извѣстной трагедіи того же имени:

Ступай душа во адъ и буди вѣчно плѣнна.“

Ѳоминъ сдѣлалъ движеніе рукою съ свернутой тетрадью, какъ-будто закололся кинжаломъ, и произнесъ:

Ахъ, если бы со мной погибла вся вселенна!

Студенты едва удержались отъ смѣха, но профессоръ пришелъ въ такое восхищеніе, что сбѣжалъ съ каѳедры, вызвалъ Ѳомина къ себѣ, протянулъ ему руку и сказалъ, что желаетъ познакомиться съ нимъ покороче. Тутъ сдѣлалъ онъ намъ объясненіе, что сильнѣе этого послѣдняго стиха нѣтъ ни въ одной литературѣ. Дошла очередь до меня. Я сказалъ, что всѣмъ предпочитаю Ломоносова и считаю лучшимъ его произведеніемъ оду изъ Іова. Лицо Городчанинова сіяло удовольствіемъ. „Потрудитесь же что-нибудь прочесть изъ этой превосходной оды“, сказалъ онъ. Я того только и ждалъ, надѣясь поразить профессора моей декламаціей. Но какъ жестоко наказала меня судьба за мое самолюбіе и старовѣрство въ литературѣ! Вмѣсто извѣстныхъ стиховъ Ломоносова:

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человѣкъ!

я прочелъ, по непостижимой разсѣянности, слѣдующіе два стиха:

О ты, что въ горести напрасно
На службу ропщешь, офицеръ!

„Помилуйте, закричалъ профессоръ, это гнусная пародія на превосходную оду Ломоносова!“ Я смѣшался, покраснѣлъ и поспѣшилъ начать:

О ты, что въ горести напрасно
На службу...

Вся аудиторія разразилась громкимъ смѣхомъ. Я остолбенѣлъ отъ досады и смущенія, сгорѣлъ отъ стыда и не понималъ, что со мною дѣлается. Профессоръ презрительно велѣлъ мнѣ сѣсть и продолжалъ допрашивать другихъ студентовъ. Всю двухчасовую лекцію просидѣлъ я какъ на горячихъ угольяхъ. Я потомъ объяснялся съ Городчаниновымъ и постарался увѣрить его, что это была несчастная ошибка и разсѣянность, совершенно неожиданная для меня самого, что это все произошло отъ того, что я передъ самой лекціей два раза слышалъ и одинъ разъ самъ прочелъ эту проклятую пародію: я доказалъ профессору, что коротко знакомъ съ Ломоносовымъ, что я по личному моему убѣжденію назвалъ его первымъ писателемъ; узнавъ же, что я почитатель Шишкова, Городчаниновъ скоро со мной подружился: онъ самъ былъ отчаянный *Шишковистъ*. Въ глазахъ профессора я свои дѣла поправилъ, но отъ насмѣшекъ товарищей не было спасенія, покуда имъ не наскучило смѣяться надо мной. Смѣялись не столько надъ ошибкой моей, какъ надъ симпатіей съ Городчаниновымъ. Нѣсколько дней сряду большая часть студентовъ встрѣчала меня низкими поклонами и поздравленіями, что я нашелъ себѣ достойнаго единомышленника, то-есть противника Карамзинскому направленію и обожателя Шишкова; каждый спрашивалъ о здоровьѣ Городчанинова, моего друга и покровителя, давно-ли я съ нимъ видѣлся, когда увижусь?... и проч. и проч. Надоѣли мнѣ такія шутки; но споры не помогали, и кромѣ терпѣнья не было другого лѣкарства.

Между тѣмъ составился у насъ спектакль, давно затѣянный мною, въ которомъ я надѣялся окончательно торжествовать надъ Дмитріевымъ. Я говорю о комедіи „Бѣдность и благородство души“. Мы два раза пригласили на репетицію

актера Грузинова, который, нерѣдко останавливая и поправляя игру моихъ товарищей, не сдѣлалъ мнѣ ни одного замѣчанія, а говорилъ только: „очень хорошо, прекрасно!“ Надежды мои блистательно оправдались: комедія „Бѣдность и благородство души“ была сыграна, и не осталось ни одного почитателя Дмитріева, который бы не признался, что роль Генриха Блума я сыгралъ несравненно лучше его. Содержатель публичнаго театра, П. П. Есиповъ, подарилъ мнѣ кресло на всегдашній свободный входъ въ театръ. Это былъ послѣдній университетскій спектакль, въ которомъ я игралъ; послѣднее мое сценическое торжество въ Казани. Откровенно признаюсь, что воспоминаніе о немъ и теперь пріятно отзывается въ моемъ сердцѣ. Много есть неизъяснимо-обаятельнаго въ возбужденіи общаго восторга! Двигать толпою зрителей, овладѣть ихъ чувствами и заставить ихъ слиться въ одно чувство съ выражаемымъ тобою, жить въ это время одной жизнью съ тобою—такое духовное наслажденіе, которымъ долго остается полна душа, которое никогда не забывается!—У насъ былъ также давно затѣянъ другой спектакль, и всѣ актеры и студенты пламенно желали его исполненія; но дѣло длилось, потому что трудно, не по силамъ нашимъ было это исполненіе. Рѣчь идетъ о „Разбойникахъ“ Шиллера. Я не слишкомъ горячо хлопоталъ объ этомъ спектаклѣ, потому что всегда заботился о достоинствѣ, о цѣльности, представленія піесы, а у насъ не было хорошихъ актеровъ для первыхъ ролей, для ролей Карла и Франца Моора. Наконецъ Карлъ нашелся. Это былъ молодой человѣкъ, не игравшій до сихъ поръ на театрѣ, Александръ Иванычъ Васильевъ, находившійся тогда уже учителемъ въ гимназіи. Всѣ восхищались его чтеніемъ роли Карла Моора, кромѣ меня. Студенты очень любили Васильева, какъ бывшаго милаго товарища, и увлекались наружностью его, особенно выразительнымъ лицомъ, блестящими черными глазами и прекраснымъ органомъ; но я чувствовалъ, что въ его игрѣ, кромѣ недостатка въ искусствѣ, не доставало того огня, ничѣмъ незамѣнимаго, того мечтательнаго, безумнаго одушевленія, которое одно можетъ придать смыслъ и характеръ этому лицу. Францъ Мооръ былъ положительно дуренъ. Я игралъ старика, графа Моора. Наконецъ мы срепетировали „Разбойниковъ“, какъ могли, и предполагали дать ихъ на Святкахъ. Мое семейство давно уже было въ Казани, и я очень радовался, что оно увидитъ меня на сценѣ; особенно хотѣлось

мнѣ, чтобъ посмотрѣла на меня мой другъ, моя красавица-сестрица; но за недѣлю до представленія получено было отъ высшаго начальства запрещеніе играть „Разбойниковъ“.

Я сказалъ уже, что мое семейство давно пріѣхало; это было по первому зимнему пути, въ половинѣ ноября. Я не стану распространяться о томъ, какъ устраивала свое городское житье моя мать, какъ она взяла къ себѣ своихъ сестеръ, познакомилась съ лучшимъ казанскимъ обществомъ, дѣлала визиты, принимала ихъ, вывозила своихъ сестеръ на вечера и на балы, давала у себя небольшіе вечера и обѣды: я мало обращалъ на нихъ вниманія; но помню какъ во время одного изъ такихъ обѣдовъ пріѣхала къ намъ изъ Москвы первая наша гувернантка, старуха-француженка, мадамъ Фуасье, какъ влетѣла она прямо въ залу съ жалобою на извощиковъ, и всѣхъ насъ переконфузила, потому что всѣ мы не умѣли говорить по-французски, а старуха не знала по-русски.

Наступилъ 1807 годъ. Шла рѣшительная война съ Наполеономъ. Впервые учредилась милиція по всей Россіи; молодежь бросилась въ военную службу, и нѣкоторые изъ пансіонеровъ, особенно изъ своекоштныхъ студентовъ, подали просьбы объ увольненіи ихъ изъ университета для поступленія въ дѣйствующую армію; въ томъ числѣ и мой другъ, Александръ Панаевъ, съ старшимъ братомъ своимъ, нашимъ лирикомъ, Иваномъ Панаевымъ. Краснѣя, признаюсь, что мнѣ тогда и въ голову не приходило „летѣть съ мечомъ на поле брани“, но старшіе казенные студенты, всѣ черезъ годъ назначаемые въ учителя, рвались стать въ ряды нашихъ войскъ, и поприще ученой дѣятельности, на которое они охотно себя обрекли, вдругъ имъ опротивѣло; обязанность прослужить шесть лѣтъ по ученой части — вдругъ показалась имъ несноснымъ бременемъ. Сверхъ всякаго ожиданія, въ непродолжительномъ времени, исполнилось ихъ горячее желаніе: казеннымъ студентамъ позволено было вступать въ военную службу. Это произошло уже послѣ моего выхода изъ университета. Многихъ замѣчательныхъ людей лишилась наука, и только нѣкоторые остались вѣрны своему призванію. Не одинъ Перевощиковъ, Симоновъ и Лобачевскій попали въ артиллерійскіе офицеры и почти всѣ погибли рановременною смертью.

Въ январѣ 1807 года подалъ я просьбу объ увольненіи изъ университета для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. Подавъ просьбу, я пересталъ ходить на лекціи, но всякій день

бывалъ въ университетѣ и проводилъ все свободное время въ задушевныхъ, живыхъ бесѣдахъ съ товарищами. Иногда мы даже разыгрывали сцены изъ „Разбойниковъ“ Шиллера: привязывалъ себя Карлъ Мооръ (Васильевъ) къ колоннѣ, вмѣсто дерева; говорилъ онъ кипучую рѣчь молодого Шиллера; отвязывалъ Карла отъ дерева Швейцеръ (Балясниковъ), и громко клялись разбойники умереть со своимъ атаманомъ...

Въ мартѣ получилъ я аттестатъ, по истинѣ не заслуженный мною. Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета, не потому, что онъ былъ еще очень молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью моей природы. Во всю мою жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній. и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ.

Наканунѣ дня, назначеннаго къ отъѣзду, пришелъ я проститься въ послѣдній разъ съ университетомъ и товарищами. Обнявшись, длинной вереницей, исходили мы всѣ комнаты, аудиторіи и залы. Потомъ крѣпко, долго обнимались и цѣловались. Прощаясь навсегда, толпа студентовъ и даже гимназистовъ высыпала проводить меня на крыльцо; медленно сходилъ я съ его ступеней; тяжело, грустно было у меня на душѣ; я обернулся, еще разъ взглянулъ на товарищей, на зданіе университета—и пустился почти бѣгомъ... за мною неслись знакомые голоса: „прощай, Аксаковъ, прощай!“

Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни свѣтъ, ни домашняя жизнь со всѣми ихъ дрянностями еще не помрачали вашей ясности! Стѣны гимназіи и университета, товарищи — вотъ что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства! Тамъ былъ судъ, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ своекорыстнымъ расчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости—и глубокое уваженіе ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному. Память такихъ годовъ неразлучно живетъ съ человѣкомъ и, непримѣтно для него, освѣщаетъ и направляетъ его шаги въ продолженіи цѣлой

жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ бы ни втоптали въ грязь и тину, — она выводитъ его на честную, прямую дорогу. Я, по крайней мѣрѣ, за все, что сохранилось во мнѣ добраго, считаю себя обязаннымъ гимназіи, университету, общественному ученію и тому живому началу, которое вынесъ я оттуда. Я убѣжденъ, что у того, кто не воспитывался въ публичномъ, учебномъ заведеніи, остается пробѣлъ въ жизни, что ему недостаетъ нѣкоторыхъ, неиспытанныхъ въ юности, ощущеній, что жизнь его неполна....

По самому послѣднему зимнему пути поѣхали мы въ Аксаково, гдѣ ждала меня весна, охота, природа, проснувшаяся къ жизни, и прилетъ птицы; я не зналъ его прежде, и только тогда увидѣлъ и почувствовалъ въ первый разъ— и вылетѣли изъ головы моей, на ту пору, война съ Наполеономъ и университетъ съ товарищами [1]).

---

[1]) Считаемъ не лишнимъ, въ заключеніе и пополненіе этихъ разсказовъ автора о годахъ его гимназической и университетской жизни, сообщить здѣсь нѣсколько замѣтокъ о дальнѣйшей судьбѣ нѣкоторыхъ изъ его товарищей и въ особенности его воспитателя, который не можетъ, безъ сомнѣнія, не останавливать на себѣ вниманія читателя. Послѣднему, конечно, интересно будетъ узнать, что этотъ воспитатель, т. е. адъюнктъ-профессоръ Г. И. Карташевскій, тотъ самый, который впослѣдствіи, въ званіи директора департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій (1824—1829 г.), былъ едва ли не главнымъ соучастникомъ или покрайней мѣрѣ подготовителемъ великаго дѣла возсоединенія уніатовъ съ православною церковью, окончательно осуществившагося уже въ 1839 году.— Съ 1829 по 1835 г. Карташевскій занималъ званіе попечителя бѣлорусскаго учебнаго округа: постъ особенно трудный и важный въ то время; въ 1838 г. назначенъ сенаторомъ въ Петербургъ, гдѣ и скончался въ 1840 году. Болѣе подробныя о немъ свѣдѣнія см. въ Журн. Министерства Нар. Просв., 1869 г., въ статьѣ А. Н. Попова: „Нѣсколько документовъ, относящихся къ началу возсоединенія уніатовъ“. Любопытно то, что и С. Т. Аксаковъ и Г. И. Карташевскій, т. е. и воспитанникъ и воспитатель, женились оба въ одномъ году, 1816-мъ, черезъ мѣсяцъ одинъ послѣ другого, и что воспитатель женился на сестрѣ воспитанника, той самой, о которой такъ часто и съ такою любовью вспоминается и въ Семейной Хроникѣ и въ Дѣтскихъ годахъ Багрова-внука и которая изображена авторомъ въ неоконченной имъ повѣсти „Наташа“. — Изъ товарищей С. Т. Аксакова, упоминаемыхъ имъ въ разсказахъ о гимназіи и университетѣ,—Д. Перевощиковъ—впослѣдствіи нашъ знаменитый ученый, математикъ и астрономъ; Александръ Княжевичъ — впослѣдствіи министръ финансовъ; братъ его, Дмитрій, былъ попечителемъ Одесскаго учебнаго округа и въ этомъ званіи и скончался; изъ братьевъ Панаевыхъ — Иванъ былъ отцомъ извѣстнаго покойнаго писателя Ивана Панаева, Владиміръ — также въ свое время извѣстный сочинитель „Идиллій“, потомъ директоръ канцеляріи М—ва Имп. Двора,—скончавшійся въ 1859 г. и также оставившій по себѣ „Воспоминанія“, напечатанныя въ Вѣстникѣ Европы; прочіе братья, сколько знаемъ, почти всю свою жизнь провели въ своихъ помѣстьяхъ. О нѣкоторыхъ другихъ своихъ товарищахъ С. Т. Аксаковъ вспоминаетъ въ дальнѣйшихъ своихъ разсказахъ. *Примѣч. И. А.*

СОБИРАНІЕ БАБОЧЕКЪ.

РАЗСКАЗЪ

ИЗЪ СТУДЕНТСКОЙ ЖИЗНИ.

(къ 337 стр.)

СОБИРАНІЕ БАБОЧЕКЪ.

РАЗСКАЗЪ ИЗЪ СТУДЕНТСКОЙ ЖИЗНИ [1]).

Собираніе бабочекъ было однимъ изъ тѣхъ увлеченій моей ранней молодости, которое, хотя недолго, но за то со всей силою страсти владѣло мною и оставило въ моей памяти глубокое, свѣжее до сихъ поръ впечатлѣніе. Я любилъ натуральную исторію съ дѣтскихъ лѣтъ; книжка на русскомъ языкѣ (которой названія не помню), съ лубочными изображеніями звѣрей, птицъ, рыбъ, попавшаяся мнѣ въ руки еще въ гимназіи, съ благоговѣньемъ, отъ доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидѣвъ, что въ книжкѣ нѣтъ того, что при первомъ взглядѣ было замѣчаемо моимъ дѣтскимъ пытливымъ вниманіемъ, я самъ пробовалъ описывать звѣрковъ, птичекъ и рыбокъ, съ которыми мнѣ привелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое пріобрѣтенное имъ самимъ знаніе казалось новостью, никому неизвѣстною, драгоцѣннымъ и важнымъ открытіемъ, которое надобно записать и сообщить другимъ. Съ умиленіемъ смотрю я теперь на эти двѣ тетрадки въ четверку, изъ толстой си-

[1]) Напечатанъ въ мало-извѣстномъ учено-литературномъ сборникѣ „Братчина“, изданномъ бывшими студентами Казанскаго университета, подъ редакціею П. И. Мельникова, въ концѣ 1859 года. Это послѣднее произведеніе С. Т. Аксакова (скончавшагося 30-го апрѣля 1859 г.), если не считать его краткаго „Очерка зимняго дня“, помѣщаемаго ниже.

шей бумаги, какой въ настоящее время и отыскать нельзя. На страничкахъ этихъ тетрадокъ дѣтскимъ почеркомъ и слогомъ описаны: зайчикъ, бѣлка, болотный куликъ; куличекъ-зуекъ, *неизвѣстный* куличекъ, плотичка, пескарь и лошокъ; очевидно, что мальчикъ-наблюдатель познакомился съ ними первыми. Вскорѣ я развлекся множествомъ другихъ, новыхъ и еще болѣе важныхъ интересовъ, которыми такъ богата молодая жизнь; развлекся, и пересталъ описывать своихъ звѣрковъ, птичекъ и рыбокъ. Но горячая любовь къ природѣ и живымъ твореніямъ, населяющимъ Божій міръ, не остывала въ душѣ моей, и черезъ пятьдесятъ лѣтъ, обогащенный опытами охотничьей жизни страстнаго стрѣлка и рыбака, я оглянулся съ любовью на свое дѣтство—и попытки мальчика осуществилъ шестидесятилѣтній старикъ: вышли въ свѣтъ „Записки объ уженьи рыбы“ и „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“.

Еще въ ребячествѣ моемъ, я получилъ изъ „Дѣтскаго Чтенія“ понятіе о червякахъ, которые превращаются въ куколокъ или хризалидъ и наконецъ въ бабочекъ. Это, конечно, придавало бабочкамъ новый интересъ въ моихъ глазахъ; но и безъ того я очень любилъ ихъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, изъ всѣхъ насѣкомыхъ, населяющихъ Божій міръ, изъ всѣхъ мелкихъ тварей, ползающихъ, прыгающихъ и летающихъ—бабочка лучше, изящнѣе всѣхъ. Это, поистинѣ, „порхающій цвѣтокъ“, или расписанный чудными яркими красками, блестящій золотомъ, серебромъ и перламутромъ, или испещренный неопредѣленными цвѣтами и узорами, не менѣе прекрасными и привлекательными; это милое, чистое созданіе, никому не дѣлающее вреда, питающееся сокомъ цвѣтовъ, который сосетъ оно своимъ хоботкомъ, у иныхъ коротенькимъ и толстымъ, а у иныхъ длиннымъ и тоненькимъ, какъ волосъ, свивающимся въ нѣсколько колечекъ, когда нѣтъ надобности въ его употребленіи. Какъ радостно первое появленіе бабочекъ весною! Обыкновенно это бываютъ бабочки крапивныя, бѣлыя, а потомъ и желтыя. Какое одушевленіе придаютъ онѣ природѣ, только-что просыпающейся къ жизни, послѣ жестокой, продолжительной зимы, когда почти нѣтъ еще ни зеленой травы, ни листьевъ, когда видъ голыхъ деревьевъ и увядшей прошлогодней осенней растительности былъ бы очень печаленъ, еслибъ благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленѣетъ, зацвѣтетъ, что

жизненные соки уже текутъ изъ корней, вверхъ по стволамъ и вѣтвямъ древеснымъ, что ростки молодыхъ травъ и растеній уже пробиваются изъ согрѣтой влажной земли,—не успокоивали, не веселили сердца человѣческаго.

Въ 1805 году, какъ извѣстно, былъ утвержденъ уставъ Казанскаго университета, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣдовало его открытіе; между немногими преподавателями, начавшими чтеніе университетскихъ лекцій, находился ординарный профессоръ натуральной исторіи Карлъ Ѳодоровичъ Фуксъ, читавшій свой предметъ на французскомъ языкѣ. Это было уже въ началѣ 1806 года. Хотя я свободно читалъ и понималъ французскія книги, даже отвлеченнаго содержанія, но разговорный языкъ и вообще изустная рѣчь профессора сначала затрудняли меня; скоро, однако, я привыкъ къ нимъ и съ жадностью слушалъ лекціи Фукса. Много способствовало къ ясному пониманію то обстоятельство, что Фуксъ читалъ по Блуменбаху, печатные экземпляры котораго, на русскомъ языкѣ, находились у насъ въ рукахъ. Книга эта, въ трехъ частяхъ, называется „Руководство къ Естественной Исторіи Д. Іон. Фридр. Блуменбаха, Геттингенскаго Университета Профессора и Великобританскаго Надворнаго Совѣтника, съ нѣмецкаго на русскій языкъ переведенное исторіи естественной и гражданской и географіи учителями: Петромъ Наумовымъ и Андреемъ Теряевымъ, печатано въ привилегированной типографіи у Вильковскаго. Въ Санктпетербургѣ 1797 года“.

Между слушателями Фукса былъ одинъ студентъ Василій Тимьянскій, который и прежде охотнѣе всѣхъ насъ занимался языками, не только французскимъ и нѣмецкимъ, но и латинскимъ, за что и былъ онъ всегда любимцемъ бывшаго у насъ въ высшихъ классахъ гимназіи преподавателя этихъ языковъ, учителя Эриха. Эрихъ былъ сдѣланъ адъюнктъ-профессоромъ и читалъ въ университетѣ латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, какъ всѣ говорили, имѣлъ глубокія познанія въ древнихъ и новыхъ языкахъ, была въ высшей степени каррикатурна и забавна, а русскій языкъ онъ такъ коверкалъ, что безъ смѣха нельзя было слушать. Впрочемъ, къ русскому языку онъ обращался только въ крайности, видя иногда, что ученикъ не понимаетъ его, хотя онъ для лучшаго уразумѣнія прибѣгалъ уже ко всѣмъ ему извѣстнымъ языкамъ. Эрихъ даже и фа-

миліи наши переиначивалъ по-своему. Студента Безобразова, напримѣръ, звалъ „геръ Абразанцовъ“, а меня то „геръ Аксаевъ“, то „геръ Ачаковъ“ и никогда Аксаковъ, хотя очень меня зналъ, потому что нерѣдко бывалъ у адъюнкта Г. И. Карташевскаго, у котораго я прежде жилъ. Тимьянскій передразнивалъ Эриха въ совершенствѣ. Я также умѣлъ нѣсколько передразнивать своего наставника, и мы съ Тимьянскимъ нерѣдко потѣшали студентовъ, представляя встрѣчу на улицѣ и взаимныя привѣтствія нашихъ адъюнктъ-профессоровъ. Но виноватъ! воспоминанія юношества увлекли меня въ сторону, возвращаюсь къ предмету моего разсказа. Этотъ студентъ Тимьянскій, считавшійся у насъ первымъ латинистомъ, и, вѣроятно, знавшій тогда не очень много по-латыни, скоро обратилъ на себя вниманіе Фукса, понравился ему за свою латынь и сталъ ѣздить къ нему на квартиру: Фуксъ нанималъ прекрасный домъ Жмакина на Арскомъ полѣ. Однажды Тимьянскій при мнѣ разсказывалъ, что видѣлъ у профессора большое собраніе насѣкомыхъ и въ томъ числѣ бабочекъ, и что Фуксъ обѣщалъ выучить его, какъ ихъ ловить, раскладывать и сушить. Въ эту самую минуту я только-что воротился въ университетъ съ кулачнаго боя, который видѣлъ въ первый разъ въ моей жизни. Это было въ январѣ или февралѣ 1806 года. Я самъ въ свою очередь горячо разсказывалъ товарищамъ о видѣнномъ мною и пропустилъ мимо ушей слова Тимьянскаго.

Тогда въ Казани происходили по зимамъ, на льду большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между Татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими изъ крѣпостныхъ крестьянъ помѣщика Осокина; и Татарскія и Русскія слободы были поселены по противоположнымъ берегамъ озера Кабана [1]). Бои эти доходили иногда до ожесточенія, и, конечно, къ обыкновенной горячности бойцевъ примѣшивалось чувство національности. Бой, который видѣлъ я, происходилъ однако въ должныхъ границахъ и по правиламъ, которыя нарушались только тогда, когда случалось одолѣвать Татарамъ. Бойцы, выстроившись въ двѣ стѣны, одна противъ другой, на порядочномъ разстояніи, долго стояли въ бездѣйствіи и только одни мальчишки выскакивали съ обѣихъ

[1]) Татарскія и Суконныя слободы существуютъ и понынѣ; но крѣпостные крестьяне уже откупились и записались въ мѣщане. *С. А.*

сторонъ на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмѣшками или похвалами взрослыхъ; наконецъ вышелъ впередъ извѣстный боецъ Абдулка, и сейчасъ явился передъ нимъ также извѣстный боецъ Никита; татаринъ полетѣлъ съ ногъ и вмѣсто него выросъ другой. Между тѣмъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали Татары, падали и Русскіе. Вставая, кто держался за бокъ, кто за скулу, а иныхъ и уносили. Вдругъ съ страшнымъ крикомъ Татары бросились стѣной на стѣну—и завязалась ужасная, вполнѣ рукопашная драка; но Татары держались не долго. Скоро попятили ихъ назадъ и они побѣжали. Русскіе преслѣдовали ихъ до береговъ Кабана и съ торжествомъ воротились. Мнѣ сказывали, что когда случалось одолѣвать Татарамъ, то они преслѣдовали Русскихъ даже въ ихъ избахъ, и что тутъ-то вновь возстановлялся ожесточенный бой, въ которомъ принимали участіе и старики и женщины и дѣти: дрались уже чѣмъ ни попало. Такая схватка всегда оканчивалась бѣгствомъ Татаръ.

Весною 1806 года я узналъ, что Тимьянскій вмѣстѣ съ студентомъ Кайсаровымъ уже начинаютъ собирать насѣкомыхъ, и что способъ собиранія, то-есть ловли бабочекъ, и доски для раскладыванія ихъ, держатъ они въ секретѣ. Тогда только вспомнилъ я, что уже слышалъ объ этомъ. Вдругъ загорѣлось во мнѣ сильное желаніе самому собирать бабочекъ. Я сообщилъ объ этомъ другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудилъ въ немъ такую же охоту. Сначала я обратился къ Тимьянскому съ просьбой научить меня производству этого дѣла; но онъ не согласился открыть мнѣ секрета, говоря, что тогда откроетъ его, когда сдѣлаетъ значительное собраніе, а только показалъ мнѣ нѣсколько экземпляровъ высушенныхъ бабочекъ и насѣкомыхъ. Это воспламенило меня еще больше, и я рѣшился сейчасъ ѣхать къ профессору Фуксу, который былъ въ то же время докторомъ медицины и начиналъ практиковать. Я пріѣхалъ къ нему подъ предлогомъ какого-то выдуманнаго нездоровья. Въ кабинетѣ у профессора я увидѣлъ висящіе по стѣнамъ ящики, въ которыхъ за стеклами торчали воткнутыя на булавкахъ, превосходно сохраненныя и высушенныя, такія прелестныя бабочки, какихъ я и не видывалъ. Я пришелъ въ совершенный восторгъ и поспѣшилъ объяснить кое-какъ Фуксу мою страстную любовь къ есте-

ственной исторіи и горячее желаніе собирать бабочекъ, прося его въ то же время научить меня, какъ приступить къ этому дѣлу. Профессоръ былъ очень доволенъ и охотно разсказалъ мнѣ всѣ подробности этого искусства, не мудренаго, но требующаго осторожности, терпѣнія и ловкости. Онъ тутъ-же показалъ мнѣ всѣ нужные инструменты, какъ для ловли бабочекъ, такъ и для раскладыванія ихъ. Я зналъ, что Панаевъ на все это будетъ гораздо искуснѣе меня: онъ былъ великій мастеръ на всѣ механическія, мелкія ручныя работы,—и потому выпросилъ позволеніе у Фукса привести къ нему на другой же день Панаева съ нѣсколькими живыми бабочками, которыхъ профессоръ обѣщалъ при насъ-же разложить для сушки. А какъ я хотѣлъ не только ловить бабочекъ, но и собирать гусеницъ для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фуксъ объяснилъ мнѣ и снабдилъ меня наставленіями, какъ различать червяковъ, изъ которыхъ должны выводиться бабочки, отъ тѣхъ червей, изъ которыхъ выводятся другія разныя насѣкомыя, какъ ихъ содержать, чѣмъ кормить и вообще какъ съ ними обращаться. Мы съ Панаевымъ также рѣшились хранить втайнѣ наше предпріятіе не только отъ Тимьянскаго, но и отъ всѣхъ другихъ студентовъ. На другой день, наловивъ кое-какихъ бабочекъ въ саду, отправились мы къ Фуксу, который при насъ же разложилъ двухъ бабочекъ, а третью далъ разложить Панаеву, желая, чтобы онъ первый опытъ сдѣлалъ у него на глазахъ. Дѣло происходило слѣдующимъ образомъ: взявъ бабочку снизу осторожно за грудь большимъ и указательнымъ пальцами, Фуксъ сжалъ ее довольно крѣпко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувствъ, не билась крылушками и не сбивала съ нихъ цвѣтную пыль. Для этого сжатія имѣлись особые стальные щипчики; но Фуксъ сказалъ и показалъ намъ, что мы можемъ обойтись и безъ нихъ. Потомъ онъ взялъ булавку, величина которой должна быть соразмѣрна величинѣ бабочки, и прокололъ ей спинку сверху внизъ, выпустивъ конецъ булавки настолько, насколько было нужно для втыканья его въ дерево. Пропустивъ кончикъ булавки сквозь карточку, онъ слегка нагрѣлъ его на свѣчкѣ: предосторожность, необходимая для того, чтобы тѣло насѣкомаго присохло и не вертѣлось на булавкѣ. Потомъ взялъ гладкую липовую дощечку (липовая мягче другихъ), съ вынутыми во всю ея длину

ложбинками [1]): пошире для бабочекъ, у которыхъ брюшко потолще, и поуже для тѣхъ, у которыхъ туловище тоньше. Въ одну изъ такихъ ложбинокъ, Фуксъ опустилъ туловище бабочки и воткнулъ конецъ булавки настолько, чтобы крылушки пришлись какъ разъ къ поверхности дощечки. Наконецъ онъ взялъ узенькія полоски почтовой бумаги, нарочно для того нарѣзанныя, наложилъ одну изъ нихъ на верхнее и нижнее крылья бабочки, прикрѣпилъ вверху булавкой, и особымъ инструментомъ, похожимъ на длинную иглу или шило (большая длинная булавка можетъ всегда замѣнить его), расправилъ крылья бабочки, сначала одно, а потомъ другое, ровно и гладко, такъ, чтобы верхнее не закрывало нижняго, а только его касалось; въ заключеніе прикрѣпилъ, то-есть, воткнулъ булавку въ нижній конецъ бумажки и въ дерево. Очевидно, что все умѣнье и ловкость заключались въ расправленіи крыльевъ бабочки: надобно было ихъ не прорвать, не измять и не стереть съ нихъ пыль. Черезъ нѣсколько дней бабочка высохнетъ; тогда бережно снимаются съ нея бумажки и бабочка перемѣщается въ ящикъ или шкапъ, въ которомъ она должна храниться. Третью бабочку разложилъ Панаевъ и съ перваго раза такъ искусно, что Фуксъ, повторяя безпрестанно: „Bien, très bien, parfaitement bien“, провозгласилъ наконецъ торжественно: „Optime!“

И вотъ закипѣла у насъ съ Панаевымъ молодая, пылкая дѣятельность! Липовыя сухія доски и дощечки гладко выстроганы подъ личнымъ присмотромъ моего товарища, а ложбинки искусно и ловко вынуты имъ самимъ; отысканы толстыя, такъ называемыя, *фунтовыя* булавки для раскладки и прикрѣпленія бабочныхъ крыльевъ; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не прорывалась, какъ это случилось у Фукса. Рампетки для ловли бабочекъ сдѣлали двухъ сортовъ: однѣ съ длинными флеровыми или кисейными мѣшочками, другія натянутыя, какъ рампетки, которыми играютъ въ воланъ. Рампеткой перваго вида надобно было подхватывать бабочку на-лету и завертывать ее въ мѣшечкѣ, а рампеткой второго вида надобно было сбивать бабочку на землю, въ траву, или накрывать ее, сидящую на какомъ-нибудь цвѣткѣ или растеніи. Первый способъ очевидно лучше: пыль съ бабочки стирается

[1]) Теперь это дѣлается иначе: дощечки прорѣзываются насквозь и вмѣсто дна вставляется пробка. *С. А.*

меньше; но дѣйствовать рампеткою съ мѣшечкомъ требовалось больше ловкости и проворства. Въ два дня все было готово и благодаря неусыпнымъ, горячимъ хлопотамъ моимъ, а также стараньямъ и умѣнью моего товарища, все было придумано и устроено гораздо лучше, чѣмъ у профессора Фукса.

Раскладываніе бабочекъ Панаевъ рѣшительно взялъ на себя: разложивъ ихъ еще нѣсколько экземпляровъ, онъ сталъ совершеннымъ мастеромъ въ этомъ дѣлѣ. Ловлю бабочекъ за городомъ мы положили производить вмѣстѣ, кромѣ какихъ нибудь особенныхъ случаевъ; а воспитаніе червей, до превращенія ихъ въ хризалиды, отыскиваніе готовыхъ куколокъ и храненіе и тѣхъ и другихъ, до превращенія ихъ въ бабочки, я принялъ уже на свое попеченіе. Кромѣ того, что я имѣлъ особенную охоту къ наблюденію за жизнью и нравами всего живущаго въ природѣ, меня подстрекнули слова Фукса, который сказалъ, что бабочки, выводящіяся дома, будутъ самыми лучшими экземплярами, потому что сохранятъ всю первородную яркость и свѣжесть своихъ красокъ; что бабочки, начавъ летать по полямъ, подвергаясь дождямъ и вѣтрамъ, уже теряютъ нѣсколько, то-есть стираютъ или стряхиваютъ съ себя цвѣтную пыль, которою, въ видѣ крошечныхъ чешуекъ, бываютъ покрыты ихъ крылья, когда онѣ только-что выползутъ изъ скорлупы хризалиды, или куколки, и расправятъ свои сжатые члены и сморщенныя крылушки.

Оставивъ адъюнктъ-профессора Л. С. Левицкаго, у котораго я не въ силахъ былъ прожить болѣе двухъ мѣсяцевъ, о чемъ сказано подробнѣе въ моихъ „Воспоминаніяхъ“, я жилъ тогда, въ первый разъ въ моей жизни, самъ по себѣ, полнымъ хозяиномъ, на собственной квартирѣ. Я нанималъ флигель у какого-то обрусѣлаго нѣмца Ег. Ив. Германа, сынъ котораго, Александръ, былъ нѣкогда моимъ гимназическимъ товарищемъ, а теперь служилъ въ Казанскомъ Почтамтѣ; онъ жилъ у меня во флигелѣ и часто бывалъ моимъ спутникомъ, даже руководителемъ, на всѣхъ общественныхъ и народныхъ гуляньяхъ, до которыхъ былъ большой охотникъ. Въ настоящее время, то-есть весною, въ Казани происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вотъ по какому поводу: какъ только выступитъ изъ береговъ Волга и затопитъ на нѣсколько верстъ (иногда болѣе десяти) свою луговую сторону, она сливается съ озеромъ Кабаномъ, ле-

жащимъ отъ нея, кажется, верстахъ въ трехъ, и пополнивъ его неподвижныя воды, устремитъ ихъ въ каналъ или протокъ, называемый Булакъ (мелкій, тинистый и вонючій лѣтомъ), который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется съ рѣкой Казанкой [1]). Цѣлыя стаи большихъ лодокъ, нагруженныхъ разнымъ мелкимъ товаромъ, пользуясь водополью, приходятъ съ Волги черезъ озеро Кабанъ и буквально покрываютъ Булакъ. Казанскіе жители всегда съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого времени, какъ единственной своей ярмарки, и вѣсть: „лодки пришли“ мгновенно оживляетъ весь городъ [2]). По берегамъ Булака устроивается шумное гулянье; публика и народъ толпятся по его грязнымъ и гадкимъ набережнымъ, точно какъ въ Москвѣ подъ Новинскимъ, на Святой недѣлѣ. Между множествомъ разнаго товара, между апельсинами и лимонами, привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и снаружи, или только внутри, зеленымъ лакомъ. Въ числѣ посуды привозятъ много глиняныхъ и стеклянныхъ ребячьихъ игрушекъ, какъ-то: уточекъ, гуськовъ, дудочекъ и брызгалокъ. Въ это время, по всѣмъ Казанскимъ улицамъ и особенно около Булака, толпы мальчишекъ и дѣвчонокъ, всѣ вооруженныя новыми игрушками, купленными на лодкахъ, съ радостными лицами и какимъ-то бѣшенымъ азартомъ бѣгаютъ, свистятъ, пищатъ или пускаютъ фонтанчики изъ брызгалокъ, обливая водою другъ друга и даже гуляющихъ, и это продолжается съ мѣсяцъ. Видъ такого, чисто-народнаго торга и гулянья, куда аристократія Казани пріѣзжаетъ только полюбоваться на толпу, — смѣсь

---

[1]) Водополье озера Кабана, по особенному положенію его мѣстности, очень замѣчательно. Кабанъ, въ который стекается множество весеннихъ ручьевъ со всего города и сосѣднихъ окрестностей, очень рано оттаиваетъ отъ береговъ и спускаетъ излишнюю воду по Булаку въ рѣку Казанку, а потомъ, когда, вышедъ изъ береговъ, разливается Казанка и становится выше его уровня, Булакъ принимаетъ обратно мутныя и быстрыя волны этой рѣки; Волга же, разливаясь всегда позднѣе всѣхъ меньшихъ рѣкъ, снова заставляетъ переполненныя воды Кабана, опять по Булаку, устремляться въ Казанку.

Этимъ любопытнымъ наблюденіемъ и вообще свѣдѣніями о настоящемъ состояніи Казани, а также новѣйшими свѣдѣніями по натуральной исторіи обязанъ я молодому ученому, недавно оставившему Казанскій университетъ, Н. П. Вагнеру. *С. А.*

[2]) Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже въ большихъ размѣрахъ, какъ мнѣ сказывали; вся же мѣстность торга на водахъ и берегахъ Булака получила общее названіе „Биржи“. *С. А.*

одеждъ татарскихъ и русскихъ, городскихъ и деревенскихъ, очень живописны. Мы съ Германомъ часто посѣщали Булакъ, и Германъ очень былъ огорченъ, когда я вдругъ объявилъ ему, что не намѣренъ болѣе шататься по Булаку, что у меня другое на умѣ, что все свободное время я буду посвящать собиранію бабочекъ, воспитанію гусеницъ и отыскиванію хризалидъ и что буду очень радъ, если онъ станетъ помогать мнѣ. Герману не понравилось мое намѣреніе, ему пріятнѣе и выгоднѣе было имѣть меня своимъ товарищемъ на гуляньяхъ, но дѣлать было нечего, и онъ волею-неволею согласился быть моимъ помощникомъ въ новыхъ моихъ занятіяхъ. Комнатъ у меня было довольно и я назначилъ одну изъ нихъ, совершенно отдѣльную, исключительно для помѣщенія, на особыхъ столахъ, стеклянныхъ ящиковъ съ картонными крышками, картонныхъ коробокъ и даже большихъ стеклянныхъ банокъ, въ которыхъ должны были сидѣть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные тѣми травами и растеньями, которыя служили имъ обыкновенной пищей. Для того, чтобы воздухъ могъ проходить въ ящики и коробки, крышки ихъ были всѣ исколоты толстой булавкой. То-же сдѣлалъ я съ бумагою, которою обвязывались стеклянныя банки. Въ этихъ мелкихъ и скучныхъ хлопотливыхъ приготовленіяхъ Германъ былъ точно моимъ помощникомъ. Впослѣдствіи, когда собраніе гусеницъ сдѣлалось довольно многочисленно, въ комнатѣ, гдѣ жили червяки, распространился сильный и противный запахъ, такъ что безъ растворенаго окна въ ней нельзя было долго оставаться, а я любилъ подолгу наблюдать за моими питомцами; Германъ-же пересталъ и ходить туда, увѣрялъ даже, что во всемъ флигелѣ воняетъ червями, — что было совершенно несправедливо. Для денныхъ, сумеречныхъ и ночныхъ хризалидъ были назначены особые ящики. Квартира моя имѣла еще то удобство, что находилась на какомъ-то пустырѣ, окруженномъ съ двухъ сторонъ оврагами, идущими къ рѣкѣ Казанкѣ и заросшими травою. Я немедленно осмотрѣлъ ихъ съ большимъ вниманіемъ и, къ удовольствію моему, увидѣлъ, что тамъ летаютъ разныя бабочки. У Панаева, который жилъ на Черномъ озерѣ, вмѣстѣ съ четырьмя братьями, въ собственномъ домѣ, былъ подъ руками тоже довольно большой садъ, превращенный частью въ огородъ, совершенно запущенный, что однако не мѣшало залетать туда бабочкамъ. Благодаря такимъ благопріятнымъ для насъ обстоятельствамъ,

мы съ Панаевымъ въ первые два дня, не выходя еще за городъ, поймали съ десятокъ такихъ бабочекъ, которыя, хотя были довольно обыкновенны, но могли уже съ честью занять свое мѣсто въ нашемъ собраніи. Я сказалъ, что мы рѣшились было вести наше дѣло по секрету отъ всѣхъ товарищей. Но увы! какія тайны сохраняются строго! на другой же день знали въ университетѣ о нашемъ предпріятіи. (Вѣроятно разболтали меньшіе братья Панаева, Владиміръ и Петръ, которые были тогда своекоштными гимназистами). Мы рѣшились болѣе не скрываться, да и Тимьянскій съ Кайсаровымъ послѣдовали нашему примѣру; но тѣмъ не менѣе между нами установилось открытое соперничество. Собраніе Тимьянскаго имѣло уже то преимущество, что было старѣе нашего и успѣло собрать до 30-ти экземпляровъ, тогда какъ у насъ не было еще ни одного; но мы имѣли болѣе свободнаго времени, болѣе средствъ и скоро потомъ сравнялись съ своими соперниками. Впослѣдствіи студенты раздѣлились на двѣ стороны, изъ которыхъ одна болѣе хвалила собраніе бабочекъ у казенныхъ студентовъ, а другая у своекоштныхъ, то-есть у меня и Панаева.—Какъ нарочно, нѣсколько дней не удалось намъ попасть за городъ, въ рощи и сады за Арскимъ полемъ. Мое нетерпѣніе возрастало съ каждымъ часомъ. Я, даже не испытавъ еще настоящимъ образомъ удовольствія ловить бабочекъ, особенно рѣдкихъ, или почему нибудь замѣчательныхъ,—я уже всею душою, страстно предался новому увлеченію, и въ это время, кромѣ отыскиванія червяковъ, хризалидъ и ловли бабочекъ, ничего не было у меня въ головѣ: Панаевъ раздѣлялъ мою новую охоту, но всегда въ границахъ спокойнаго благоразумія. Наконецъ, въ одинъ воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаевъ ночевалъ у меня, потому что я жилъ гораздо ближе къ Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый съ двумя рампетками: одна крѣпко вставленная въ деревянную палочку была у каждаго въ рукахъ, а другая, запасная, безъ ручки, висѣла на снуркѣ черезъ плечо. У каждаго также висѣлъ картонный ящикъ, въ который можно было класть пойманныхъ бабочекъ. Едва-ли когда-нибудь, сдѣлавшись уже страстнымъ ружейнымъ охотникомъ, послѣ продолжительнаго ненастья, продержавшаго меня нѣсколько дней дома, выходилъ я въ такомъ упоительномъ восторгѣ, съ ружьемъ и легавой собакой, въ изобильное первоклассною дичью болото!... Да и какой весенній день сіялъ надъ нашими мо-

лодыми головами! Солнце изъ-за рощи выходило къ намъ на встрѣчу и потоками пылающаго свѣта обливало всю окрестность. Какъ будто земля горѣла подъ нашими ногами, такъ быстро пробѣжали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле [1])... И вотъ онъ наконецъ передъ нами, старый, заглохшій садъ, съ темными, вѣковыми аллеями, съ своими ветхими заборами, своими цвѣтистыми полями, садъ, называвшійся тогда Болховскимъ [2]). Хоръ птичьихъ голосовъ, заглушаемый соловьиными пѣснями, поразилъ сначала мой слухъ, но я скоро забылъ о немъ. Мы остановились съ Панаевымъ, чтобы перевести духъ и условиться въ нашихъ поискахъ. Мы рѣшились пройти первую представившуюся намъ широкую поляну вмѣстѣ, то есть на разстояніи шаговъ ста одинъ отъ другого. Только тронулся я съ мѣста по росистому лугу, въ одну минуту промочившему мои ноги, какъ увидѣлъ, что Панаевъ побѣжалъ и началъ что-то ловить своей рампеткой. Я забылъ даже условіе, чтобы не сходиться другъ съ другомъ, если другой не будетъ звать, и чтобы никогда обоимъ не гоняться за одной добычей. Я опрометью прибѣжалъ къ Панаеву и увидѣлъ, что онъ точно ловитъ какую-то красивую бабочку, никогда мною невиданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крикъ, чтобы я ушелъ прочь, чтобы я не мѣшалъ ему. Но увы, это было уже поздно. Бабочка, испуганная нашимъ преслѣдованіемъ, особенно потому, что я забѣжалъ ей встрѣчу, поднялась вверхъ столбомъ и, перепорхнувъ черезъ аллею, скрылась отъ нашихъ глазъ. Панаевъ очень сердился и очень журилъ меня и положительно сказалъ, что если я въ другой разъ такъ поступлю, то никогда вмѣстѣ со мной ходить не будетъ.—Онъ увѣрялъ, что бабочка была необыкновенно красива и что едва-ли это не была Ириса или Глазчатая Нифма. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовалъ на себя и далъ искреннее обѣщаніе, даже побожился, что впередъ этого никогда не будетъ. Я въ точности сдержалъ обѣщаніе.—Мы разошлись опять, каждый на свою черту въ назначенномъ разстояніи,

1) Арское поле почти теперь не существуетъ: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на немъ стародавнее, трехдневное гулянье, начинавшееся съ Троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое мѣсто. *С. А.*

2) Сады Болховской и рядомъ съ нимъ Неёловскій существуютъ и теперь, но прежнихъ ихъ именъ никто уже не знаетъ: они составляютъ садъ Родіоновскаго Института благородныхъ дѣвицъ. *С. А.*

и я скоро увидѣлъ, что Панаевъ опять побѣжалъ. Въ самое то время, какъ товарищъ мой, что-то поймавъ, остановился и сталъ вынимать изъ мѣшечка рампетки, когда мнѣ стоило большого труда, чтобы не прибѣжать къ нему, не узнать, не посмотрѣть, что онъ поймалъ,—мелькнула передъ моими глазами, бросая отъ себя по травѣ и цвѣтамъ дрожащую и порхающую тѣнь, большая бабочка, темная, но блестящая на солнцѣ, какъ эмаль. Я бросился ее преслѣдовать и очень счастливо; очень скоро поймалъ; руки у меня дрожали отъ радости и я не вдругъ могъ подавить слегка грудку моей плѣнницы, чтобы привесть ее въ обморочное состояніе; безъ этой печальной, необходимой предосторожности, она стала бы биться въ ящикѣ и испортила бы свои бархатныя крылушки. Эту денную бабочку я сейчасъ узналъ: она находилась уже въ собраніи у Тимьянскаго и была въ точности опредѣлена по Блуменбаху и утверждена Фуксомъ; она называлась Антіопа. Но какимъ жалкимъ образомъ описываетъ ее Блуменбахъ: „Антіопа, бабочка Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатыя, черныя, съ бѣлесоватымъ краемъ“. Вотъ и все. Ну какое понятіе можно получить изъ этого описанія? къ тому же и полосъ на ней никакихъ нѣтъ. Тогда какъ Антіопа, несмотря на скромныя свои краски, уже по величинѣ своей принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ русскихъ бабочекъ; темно-кофейныя, блестящія, лаковыя ея крылья, по изобилію цвѣтной пыли, кажутся бархатными, а къ самому брюшку или туловищу покрыты какъ будто мохомъ или тоненькими волосками рыжеватаго цвѣта; края крыльевъ, и верхняго и нижняго, оторочены блѣдно-желтою, палевою, довольно широкою зубчатою коемкою, вырѣзанною фестончиками; такого же цвѣта двѣ коротенькихъ полоски находятся на верхнемъ краѣ верхнихъ крыльевъ, а вдоль палевой коймы, по обоимъ крыльямъ, размѣщены яркія, синія пятнышки; глаза Антіопы и булавообразные усы, сравнительно съ другими бабочками, очень велики; все тѣло покрыто темнымъ пухомъ; исподъ крыльевъ не замѣчателенъ: по темному основанію онъ исчерченъ бѣлыми тонкими жилочками [1]). Я былъ

---

1) Всѣ описанія бабочекъ составлены мною или съ натуры, или съ рисунковъ, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. Въ описаніяхъ моихъ можетъ встрѣтиться разница съ описаніями натуралистовъ. Она происходитъ оттого, что многія денныя бабочки имѣютъ два вылета: весенній и осенній, чего мы тогда не знали.

очень доволенъ, что у насъ есть Антіопа. Поймавъ еще нѣсколько бабочекъ, неизвѣстныхъ мнѣ по имени, которыхъ я или вовсе не видѣлъ, или видѣлъ издалека, сошелся я наконецъ съ Панаевымъ. Онъ также поймалъ Антіопу и такихъ же яркоголубыхъ и краснозолотистыхъ маленькихъ бабочекъ, какія были и у меня въ ящичкѣ; я сверхъ того нашелъ нѣсколько червей, изъ которыхъ одинъ, очень мохнатый, извѣстный подъ именемъ Поповой Собаки, обѣщалъ очень красивую сумеречную бабочку. Гусеницъ бабочки я узналъ по тому, что онѣ имѣютъ обыкновенно восемь паръ ногъ. Очень довольные такимъ началомъ, мы сѣли отдохнуть подъ непроницаемой тѣнью старыхъ липъ и даже позавтракали, потому что имѣли предусмотрительность запастись хлѣбомъ и сыромъ. Позавтракавъ, мы разошлись въ разныя стороны, назначивъ мѣсто, гдѣ мы должны сойтись. Болховской садъ былъ намъ хорошо извѣстенъ; мы хаживали въ него гулять, а также и въ другой, кажется, рядомъ съ нимъ лежащій, Неёловскій садъ.

Я не видалъ этихъ садовъ пятьдесятъ-два года. Они представляются мнѣ теперь огромными и таинственными, и нѣкоторыя мѣста совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть можетъ, что они совсѣмъ не таковы и даже не велики. Мнѣ не разъ случалось увидать въ совершенныхъ лѣтахъ, послѣ долгаго промежутка, то мѣсто, гдѣ въ ранней молодости часто гулялъ, или тотъ домъ, въ которомъ я долго жилъ; всегда я былъ пораженъ тѣмъ, что находилъ ихъ миніатюрными въ сравненіи съ тѣми образами, которые жили въ моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось съ садами Болховскимъ и Неёловскимъ, и потому предупреждаю моихъ читателей, что я пишу обо всѣхъ предметахъ такъ, какъ они казались мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ.

Побродивъ довольно долго по полянамъ и луговинамъ, и поймавъ довольно бабочекъ, нѣкоторыхъ вовсе мнѣ неизвѣстныхъ, и предполагая, что иныя изъ нихъ, по оригинальности цвѣтовъ и формъ, должны быть замѣчательными, я занялся отыскиваніемъ червяковъ, хризалидъ и ночныхъ бабочекъ, которыя привлекали меня къ себѣ больше, чѣмъ денныя. Находя червяка, я всегда срывалъ растеніе или вѣтку того куста или дерева, на которомъ находилъ его, для того, чтобы знать,

---

Краски весеннихъ бабочекъ блѣднѣе (ибо онѣ перезимовали), а осенніхъ гораздо ярче. Вообще, я не поправляю нашихъ тогдашнихъ ошибочныхъ понятій и взглядовъ на науку. Въ 50 лѣтъ она ушла далеко. *С. А.*

чѣмъ кормить. Червяковъ или гусеницъ я могъ бы набрать много; но сажать ихъ было некуда, ящичекъ былъ уже довольно полонъ, и я пустился отыскивать хризалидъ и ночныхъ бабочекъ: я осматривалъ для этого исподъ листьевъ всякой высокой и широколиственной травы, осматривалъ старыя деревья, ихъ дупла и всякія трещины и углубленія въ корѣ; наконецъ осматривалъ полусгнившіе мѣстами заборы, ихъ щели и продолбленные столбы. Успѣхъ превзошелъ мои ожиданія, и я долженъ былъ прекратить мои поиски, за неимѣніемъ мѣста, куда класть добычу. Я поспѣшилъ на условленное мѣсто и нашелъ тамъ Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадалъ, что его ловля была удачна. Панаевъ ничего не хотѣлъ мнѣ разсказать, да и меня не сталъ слушать, говоря: „если мы еще промѣшкаемъ, то многія бабочки, у которыхъ грудки слишкомъ сильно сжаты, высохнутъ и раскладывать ихъ будетъ невозможно.“ Хотя мнѣ очень хотѣлось отдохнуть, но причины были такъ важны и убѣдительны, что я сейчасъ согласился, и мы отправились домой, т. е. прямо къ Панаеву, на Черное Озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли, и можетъ быть съ перваго раза затмить нашихъ соперниковъ. Эта мысль подкрѣпила наши силы и мы шли бодро, разсказывая другъ другу свои подвиги и неудачи, и закусывая все это на ходу оставшимся у насъ хлѣбомъ. Боже мой, какъ весело было наше возвращеніе! Братья Панаева, двое старшихъ и двое младшихъ (старшіе были также студенты), съ нетерпѣніемъ насъ ожидали. Они всѣ принимали живое участіе въ собираніи бабочекъ. Напоивъ насъ квасомъ, потому что мы умирали отъ жажды, посадили насъ сейчасъ за работу. Панаевъ долженъ былъ раскладывать самыхъ лучшихъ бабочекъ, или такихъ, какихъ у насъ еще не было, а мнѣ предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенныя и оборотныя: оборотными у насъ назывались тѣ, которыя раскладывались и сушились обороченныя вверхъ исподомъ своихъ крыльевъ. Въ полныхъ учебныхъ собраніяхъ всегда такъ дѣлалось, по словамъ Фукса; но у насъ это было исключеніе для тѣхъ бабочекъ, у которыхъ исподъ довольно красивъ; есть такія, у которыхъ нижняя сторона даже лучше верхней [1]).

[1]) Теперь это дѣлается иначе, какъ я узналъ отъ Н. П. В.: ящикъ имѣетъ стеклянное дно и, обернувъ его, можно видѣть исподъ бабочкиныхъ крыльевъ. Такъ устроены собранія насѣкомыхъ, принадлежащія казанскимъ ученымъ Эверсману и Бутлерову. *С. А.*

При разборѣ наловленныхъ бабочекъ оказалось, что мы оба съ Панаевымъ, особенно я, по моей торопливости и горячности, не всегда въ надлежащей мѣрѣ сдавливали имъ грудки: нѣкоторыя совершенно отдохнули, вѣроятно бились и, по тѣснотѣ помѣщенія, потерлись, то есть, сбили пыль съ своихъ крылушекъ; по счастію, лучшія бабочки сохранились хорошо. Собраніе наше увеличилось двадцатью новыми экземплярами, изъ которыхъ половина была тогда же опредѣлена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть; остальныхъ же мы никакъ отыскать не могли, потому что Блуменбахъ очень кратокъ въ своихъ описаніяхъ и неточенъ, да къ тому же многихъ родовъ бабочекъ въ немъ вовсе не находится. Напримѣръ, у него ни слова не сказано о маленькихъ голубыхъ и оранжево-золотистыхъ бабочкахъ, блестящихъ, совершенно какъ эмаль, серебристымъ и золотистымъ блескомъ. Бабочки эти положительно денныя и появляются иногда во множествѣ. Точно такую голубую бабочку я видѣлъ одинъ разъ большую; но къ сожалѣнію поймать ее не могъ.

Вотъ тѣ бабочки, которыхъ можно было опредѣлить съ достовѣрностью. Денныя: *Капустная бабочка* (Brassicae) [1], съ черными кончиками и такими же двумя черными пятнышками; исподъ крыльевъ желтоватый; ее не надобно смѣшивать съ обыкновенной капустной бабочкой, которая имѣетъ нѣсколько видовъ. *Бабочка Io или Глазчатая Нимфа*, довольно большая, очень красивая и рѣдкая: крылушки у ней угловато-зубчатыя, цвѣтомъ темно-вишневыя; на каждомъ крылѣ находится по большому глазку голубовато-лиловаго цвѣта, по которому съ боку идутъ по пяти маленькихъ бѣлыхъ пятнышекъ. Глазки на верхнихъ крыльяхъ имѣютъ не полный, желтый ободочекъ, а глазки на нижнихъ крыльяхъ—темный. Исподъ крыльевъ темный. Оторочка крыльевъ черная. На верхнихъ крыльяхъ, возлѣ глазковъ, послѣ темнаго промежутка, ближе къ туловищу, находится по желтоватому пятну или короткой полоскѣ. *Бабочка Галатея* (Galathea), имѣющая крылушки зубчатыя, испещренная по блѣдно-палевому цвѣту черными пятнышками. На переднихъ крыльяхъ, съ-испода, находится по одному, а на нижнихъ по пяти или болѣе безцвѣтныхъ очковъ или кружечковъ. Она также теперь въ Казани не попадается. *Бабочка С.* (C. Album); ее поймалъ Па-

[1] Эти бабочки теперь не попадаются въ Казани.

наевъ. Этой бабочкѣ мы очень обрадовались, потому что, читая ея описаніе, намъ казалось очень страннымъ, даже невѣроятнымъ: какъ это у бабочки на крыльяхъ изображена бѣлой краской буква С., да еще и съ точкой? Эта бабочка средней величины, крылушки у ней по краямъ вырѣзаны уголками или городками; цвѣтомъ желтовато-красная, съ черными клѣтками и пятнышками, а на нижнихъ крыльяхъ, по темному полю, съ-испода, очень ярко означена бѣлымъ цвѣтомъ буква С., и возлѣ нее бѣлая же точка. *Бабочка Аглая* (Aglaia), какъ называетъ ее Блуменбахъ, называлась у насъ со словъ профессора Фукса *перламутровою*. Крылья у ней кругловатыя, желто-бурыя, съ черными пятнышками, правильно расположенными, какъ будто въ графахъ; исподъ же крыльевъ, по Блуменбаху, „имѣетъ на каждой сторонѣ по 21-му пятну серебряному“, но въ дѣйствительности цвѣтъ ихъ похожъ не на серебро, а на перламутръ. Ихъ даже нельзя назвать пятнами, а гораздо будетъ точнѣе, если сказать, что исподъ крыльевъ этой бабочки весь перламутровый, расчерченный темными полосками на клѣточки разной величины и фигуры, изъ коихъ нѣкоторыя кругловаты. *Бабочка Проскурняковая* (Malvæ), названная такъ по тому, что водится на полевыхъ рожахъ или проскурнякѣ; она имѣетъ темныя крылья съ бѣлыми пятнами, зубчатыя по краешкамъ. Сумеречныхъ находилось три бабочки и одна ночная. Первая изъ нихъ называется *Олеандровая сумеречная бабочка* (Nerii), и хотя сказано у Блуменбаха, что она водится на олеандрѣ, слѣдовательно не должна жить въ Россіи, но ея, зеленаго цвѣта, угловатыя крылья съ разными, то блѣдными, то темными, то желтоватыми повязками, описанныя вѣрно у Блуменбаха, не оставляютъ сомнѣнія, что это она, и что она живетъ въ Казанской губерніи [1]). *Молочайная сумеречная бабочка* (Euphorbiæ) имѣетъ довольно большія бурыя крылья; на переднихъ лежитъ поперекъ блѣдно-розовая, а на заднихъ красная струя или повязка: очень красива. *Бабочка барашекъ* (Filipendulæ), въ двухъ видахъ. У Блуменбаха описанъ только первый видъ, большей величины, и она названа *ненастоящею сумеречною бабочкою*, вѣроятно потому, что хотя у нея крылушки длинны и она складываетъ ихъ, какъ сумеречная бабочка, въ тре-

[1]) Родъ Сфинкса. Около Казани ее уже нѣтъ и она встрѣчается не ближе Сарепты. *С. А.*

угольникъ, но усы толстые, булавообразные [1]) и летаетъ она хотя мало, но днемъ, а въ сумерки мнѣ не случалось ее видѣть. Она очень красива, и я, завидя ее перелетывающую перелетомъ изумрудныхъ букашекъ, не счелъ бабочкой; когда же она сѣла на траву, то я разглядѣлъ ее и пришелъ въ восхищенье! Верхнія крылушки у ней точно бархатъ, зеленоватыя, отливаютъ голубымъ глянцомъ, и каждое крыло имѣетъ шесть ярко-пунцовыхъ точекъ или пятнышекъ, а нижнія крылушки гораздо меньше верхнихъ, чисто пунцовыя, съ узкой черной каемкой; все тѣло зеленовато-голубое съ отливомъ. Второй видъ *Барашка* былъ пойманъ Панаевымъ; онъ нѣсколько поменьше, верхнія крылушки коричнево-зеленоватыя, съ такими же красивыми пятнышками, а нижнія блѣдно-розовыя или желтовато-розовыя. Этими бабочками мы долго гордились, потому что наши соперники не могли достать ихъ. Но я всего болѣе радовался *Хмѣлевой ночной бабочкѣ* (Humuli), которую нашелъ въ дуплѣ старой липы. У нея была совершенно совиная головка, тѣло красножелтое, а крылья бѣлыя, какъ снѣгъ, съ верхней стороны, а съ испода темно-бурыя; въ добавокъ она была такъ свѣжа, какъ будто сейчасъ вывелась. По Блуменбаху это былъ самецъ; самка же красновато-желтаго цвѣта.

Разложивши бабочекъ, досыта налюбовавшись ими и пообѣдавъ на скорую руку съ другомъ моимъ Панаевымъ (братья его давно уже отобѣдали, зная напередъ, что мы вернемся поздно), я поспѣшилъ домой: мнѣ нужно было размѣстить моихъ червяковъ и куколокъ; и тѣхъ и другихъ нашлось до тридцати штукъ. Хризалидъ денныхъ бабочекъ я старался развѣсить [2]) на стѣнкахъ или приклеить къ верхней крышкѣ ящика, который нарочно открывался съ боку; но это было очень трудно сдѣлать, потому что клейкая матерія, похожая на шелкъ-сырецъ, которою червячки приклеиваютъ свой задъ къ исподу травяныхъ и древесныхъ листьевъ, а въ дуплахъ и щеляхъ—къ дереву, уже высохла, и хотя я снималъ хризалидъ очень бережно, отдѣляя ножечкомъ приклейку, но, будучи намочена, она уже теряла клейкость, не приставала

---

[1]) Вѣроятно, память обманываетъ меня, булавообразныхъ усовъ у Барашка, по всѣмъ рисункамъ, нѣтъ, а есть обыкновенные усики сумеречныхъ бабочекъ, широкіе въ срединѣ и узенькіе къ концамъ. *С. А.*

[2]) Потому что онѣ сами всегда устраиваютъ себя въ висячемъ положеніи. *С. А.*

я не держалась даже и на стѣнкахъ ящичка, не только на верхней крышкѣ. Впослѣдствіи Панаевъ придумалъ приклеивать ихъ вишневымъ клеемъ, что вышло очень удобно. Куколокъ же сумеречныхъ бабочекъ, закутанныхъ въ какомъ-то пухѣ или гнѣздѣ, и куколокъ ночныхъ бабочекъ, которыхъ было у меня всего двѣ и которыя лежали въ кругловатыхъ яичкахъ, оболочка которыхъ была очень крѣпка,— я положилъ въ особый ящичекъ, прикрылъ ихъ расщипанной хлопчатой бумагой и защитилъ отъ вліянія свѣта, потому что ночныхъ хризалидъ всегда находишь въ густой тѣни.

На другой день поутру явились мы съ Панаевымъ въ университетъ за полчаса до начала лекцій, чтобы успѣть разсказать о своихъ пріобрѣтеніяхъ и чтобы узнать, удачна ли была ловля нашихъ соперниковъ: мы знали, что они также собирались итти за городъ. Признаться, мы думали похвастаться своей добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей сторонѣ. Но только мы вошливъ дортуары, какъ нѣсколько человѣкъ студентовъ, принимавшихъ болѣе живое участіе въ предпріятіи Тимьянскаго и Кайсарова, встрѣтили насъ громкими восклицаніями: „ну, господа, какихъ бабочекъ поймалъ Тимьянскій съ Кайсаровымъ, такъ это чудо! Вамъ ужъ эдакихъ не достать; и какую пропасть наловили всякихъ рѣдкихъ насѣкомыхъ! Они и теперь возятся съ ними на верху, въ аудиторіи Фукса; даже кавалера Подалиріуса достали!“ [1]) Мы съ Панаевымъ были очень озадачены и смущены такимъ извѣстіемъ. Особенно Кавалеръ какъ громомъ поразилъ насъ. Тутъ узнали мы отъ своихъ словоохотливыхъ товарищей, что вчера Тимьянскій и Кайсаровъ, вмѣстѣ еще съ тремя студентами, Поповымъ, Петровымъ и Кинтеромъ, уходили на цѣлый день за городъ къ Хижицамъ и Зилантову Монастырю (извѣстное мѣсто, верстахъ въ 4 или 5 отъ Казани), что они брали съ собой особый большой ящикъ, въ которомъ помѣщались доски для раскладыванія бабочекъ и сушки другихъ насѣкомыхъ, что всего они набрали штукъ 70. Мы поспѣшили на верхъ и тамъ своими глазами убѣдились, что торжество было на сторонѣ нашихъ противниковъ. Они поймали по

[1]) У Блуменбаха, въ русскомъ переводѣ, онъ названъ *Подалирій*, но мы всегда произносили по-латыни: Podalirius. *С. А.*

нѣскольку экземпляровъ всѣхъ бабочекъ, пойманныхъ вчера мною и Панаевымъ, кромѣ Барашковъ и Хмѣлевой ночной бабочки; да сверхъ того болѣе десяти неизвѣстныхъ намъ видовъ, въ томъ числѣ двухъ Кардамонныхъ бабочекъ, бывающихъ не каждый годъ въ окрестностяхъ Казани; но что всего важнѣе: они поймали Кавалера Подалиріуса. Когда я взглянулъ на него, во всей красѣ и величинѣ разложеннаго на доскѣ, со шпорами на заднихъ крыльяхъ, сердце у меня забилось отъ удовольствія и зависти! Надобно сказать, что во всемъ многочисленномъ царствѣ бабочекъ находится, по Блуменбаху, только четыре Кавалера; первый изъ нихъ называется: „Пріамъ, бабочка Кавалеръ Троянскій (такъ говоритъ Блуменбахъ), у коего крылья зубчатыя, пушистыя, сверху зеленыя, съ черными полосками, а заднія съ шестью черными пятнами. Водится въ Амбоинѣ. Онъ, также какъ и слѣдующая порода, есть самое большое великолѣпное насѣкомое“. Второй: „Улисъ, бабочка Кавалеръ Ахивскій, у коего крылья бурыя съ хвостиками (то есть со шпорами), а верхняя ихъ сторона синяя, блестящая и съ зубчиками. Заднія крылья имѣютъ по семи глазковъ. Водится также въ Амбоинѣ“. Уже изъ этого краткаго и скуднаго описанія можно себѣ вообразить, что за красивыя, прелестныя созданія эти два Кавалера. Фуксъ видѣлъ ихъ и говорилъ, что они величиною съ летучую мышь, и такъ хороши, что трудно описать [1]). „Третій Кавалеръ, Махаонъ, и четвертый, Подалиріусъ, водятся въ Европѣ“—и одного-то изъ нихъ удалось поймать нашимъ соперникамъ! Не зная тогда, что послѣдніе два вида Кавалеровъ водятся вездѣ въ Россіи и что они не слишкомъ рѣдки, мы съ Панаевымъ не могли не завидовать счастію Тимьянскаго, поймавшаго чуднаго Подалиріуса.

Тимьянскій видѣлъ наше смущеніе и съ торжествующей улыбкой сказалъ: „Вотъ, господа, я вамъ показываю всѣхъ нашихъ бабочекъ, покажите же и вы намъ своихъ.“ Панаевъ отвѣчалъ, что экземпляровъ у насъ мало, слѣдовательно показывать нечего, но что пожалуй мы привеземъ завтра или послѣ завтра, когда бабочки всѣ высохнутъ, особенно одна очень толстая Хмѣлевая бабочка. „Развѣ у васъ есть Ночная Хмѣлевая? спросилъ Тимьянскій съ удивленіемъ; вѣдь

[1]) Теперь считается до десяти видовъ кавалеровъ, водящихся въ Европѣ; китайскія же бабочки (Aglia и Strex) превосходятъ ихъ величиною вчетверо. *С. А.*

это рѣдкость!“ Я отвѣчалъ, что есть, что я нашелъ ее въ дуплѣ и совершенно свѣжею, то есть не потертою. Замѣтно было, что Тимьянскій въ свою очередь позавидовалъ Хмѣлевой бабочкѣ; это насъ утѣшило. Когда же мы вышли, то Панаевъ весело сказалъ мнѣ: „А видѣлъ ли ты, какъ нечисто, неопрятно разложены у нихъ всѣ бабочки? вѣдь онѣ нашимъ въ слуги не годятся!“ Хотя я не обращалъ на это обстоятельство особеннаго вниманія, но тутъ припомнилъ, что Панаевъ совершенно правъ,—и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорскія лекціи.

На другой же день намъ удалось умножить наше собраніе тремя сумеречными необыкновенно-красивыми бабочками, которыхъ и воткнуть иначе было нельзя, какъ на самыя тоненькія кружевныя булавочки, по миніатюрности ихъ тѣла. При раскладкѣ ихъ Панаевъ вполнѣ выказалъ свою ловкость и умѣнье. Я поймалъ ихъ въ оврагахъ около моей квартиры, куда заглянулъ случайно. Солнце было еще высоко, а въ оврагахъ была уже тѣнь и сумеречныя бабочки начали летать.

Черезъ два дня повезли мы нашъ ящикъ, съ тридцатью пятью экземплярами бабочекъ, въ университетъ, на показъ своимъ товарищамъ. Въ одну минуту всѣ сошлись смотрѣть ихъ, и, конечно, всякій видѣлъ превосходство нашего собранія относительно цѣлости, свѣжести и правильности раскладки нашихъ бабочекъ; особенно нельзя было не удивляться маленькимъ, прелестнымъ ночнымъ бабочкамъ, казавшимся совершенно живыми, потому что крошечныхъ булавочекъ, на которыхъ онѣ торчали, совсѣмъ было не замѣтно. Къ этому надо прибавить, что ящикъ, внутренняя его оклейка, стекло, петли и замокъ—все было прекрасно, благодаря попеченіямъ Панаева. Разумѣется, наружность бросилась въ глаза всѣмъ, но Тимьянскій очень хорошо видѣлъ, понималъ и цѣнилъ, такъ сказать, внутреннее достоинство нашего собранія. Не безъ досады и, можетъ быть, зависти, онъ холодно хвалилъ нашихъ бабочекъ, особенно Ночную Хмѣлевую и Барашковъ, но сдѣлалъ замѣчаніе, что бабочки слишкомъ вычурно разложены, какъ-то на-показъ, и что имъ дано неестественное положеніе. Если въ послѣднемъ обвиненіи была своя доля правды, то это не наша вина: этотъ способъ былъ принятъ всѣми натуралистами. Я поспѣшилъ сказать о томъ въ наше оправданіе и прибавилъ въ оправданіе натуралистовъ, что

денныя бабочки часто принимаютъ точно такое положеніе, въ какомъ раскладываются; что, конечно, сумеречныя и особенно ночныя бабочки, когда сидятъ, не расширяютъ своихъ крыльевъ, а складываютъ ихъ повислымъ треугольникомъ, такъ что нижнихъ крыльевъ подъ верхними не видно; но если ихъ такъ и высушивать, то онѣ потеряютъ половину своей красоты, потому что нижнія крылья бываютъ часто красивѣе верхнихъ, и что, глядя на такой экземпляръ, не получишь настоящаго понятія о бабочкѣ. „Да ты развѣ не такъ же раскладываешь?“ сказалъ Панаевъ. „Верхнія крылушки у тебя также приподняты, а только нижнія висятъ. Это развѣ естественное положеніе?“ Но Тимьянскій не соглашался и доказывалъ, что его способъ раскладыванія гораздо натуральнѣе; многіе приняли его сторону, многіе нашу, изъ этого вышелъ споръ, и мы разстались съ своими соперниками, хотя безъ явнаго неудовольствія, но съ холодностью. Впослѣдствіи они прозвали насъ „богачами-щеголями“ и называли такъ даже въ глаза, что, признаюсь, было мнѣ очень досадно, особенно потому, что было совершенно несправедливо; ящикъ нашъ, пожалуй, можно было назвать щеголеватымъ, но нисколько не богатымъ; все достоинство заключалось въ чистотѣ отдѣлки, до чего Панаевъ былъ большой охотникъ и за чѣмъ самъ заботливо смотрѣлъ. Одинъ изъ студентовъ, принадлежавшій къ противной партіи, Михайло Пестяковъ, прозвалъ наше собраніе бабочекъ „дворянскимъ“. Это прозвище также было въ ходу, потому что, какъ нарочно, всѣ наши противники были разночинцы, отъ которыхъ мы съ Панаевымъ отличались въ гимназіи красными воротниками: это было очень прискорбно, потому что прежде у насъ никогда не было слышно ни одного слова и даже намека на различіе сословій. Благодаря Бога, всѣ эти нѣсколько непріятныя отношенія впослѣдствіи исчезли, и мы уже соперничали дружески въ общемъ дѣлѣ, не завидуя другъ другу. Кромѣ бабочекъ, которыхъ у Тимьянскаго было болѣе 50-ти, онъ набралъ уже около сотни разныхъ насѣкомыхъ; нѣкоторыя блистали яркими радужными красками, особенно изъ породы жуковъ, божьихъ коровокъ, шпанскихъ мухъ, и также изъ породы коромысловъ; а нѣкоторыя отличались особенностью и странностью своего наружнаго вида; но всѣ они мнѣ не нравились и даже были противны. Бабочки, бабочки! — вотъ къ чему я привязывался съ каждымъ днемъ болѣе.

При первой возможности, мы съ Панаевымъ отправлялись за городъ; посѣтили садъ Неёловскій, Госпитальный и даже садъ Чемесова, который былъ впрочемъ не за городомъ, а на краю города: бабочекъ въ послѣднемъ мы нашли мало, но за то долго любовались на сотни кроликовъ, которымъ былъ отведенъ во владѣніе довольно высокій пригорокъ или холмъ (не умѣю сказать, натуральный или искусственный), обнесенный кругомъ крѣпкимъ заборомъ. Кроликовъ развелось тамъ невѣроятное множество; вся гора была изрыта ихъ норами; они бѣгали цѣлыми стаями и очень забавно играли между собой; но при первомъ шумѣ или стукѣ, который мы отъ времени до времени нарочно производили, эти трусливые звѣрки пугались и прятались въ свои норы [1]).

Мы ходили съ Панаевымъ также на пасѣку или посѣку и находящіяся по обѣимъ ея сторонамъ гористыя мѣста, или, лучше сказать, глубокіе овраги, обросшіе тогда молодымъ лѣскомъ, за которыми впослѣдствіи утвердилось названіе Казанской Швейцаріи, данное нами, т. е. казанскими студентами. До сихъ поръ эти мѣста служатъ любимымъ гуляньемъ для жителей Казани. Я слышалъ даже, что это мѣсто раздѣляется на двѣ половины: одна называется Нѣмецкою, другая Русскою Швейцаріею: послѣдняя ближе къ городу. Поиски наши были болѣе или менѣе удачны, и мы, мало-помалу, пріобрѣли всѣхъ тѣхъ бабочекъ, которыя находились въ собраніи Тимьянскаго, и которыхъ намъ не доставало, кромѣ одного, Кавалера Подалиріуса. Мы даже не имѣли надежды достать его, потому что появленіе Кавалера въ окрестностяхъ Казани считалось тогда рѣдкостью. Кавалеръ Подалиріусъ торчалъ какъ заноза въ нашемъ сердцѣ! Не скоро достали мы и Кардамонную бабочку, которая, не будучи особенно ярка, пестра и красива, какъ-то очень мила. Ея кругловатыя, молочной бѣлизны, крылушки покрыты какимъ-то особеннымъ, нѣжнымъ пухомъ; на каждомъ верхнемъ углѣ верхняго крыла у ней находится по одному пятну яркаго оранжеваго цвѣта, а исподъ нижнихъ крыльевъ—зеленовато-пестрый. Но самыми красивыми бабочками можно было назвать, во-первыхъ, бабочку *Ирису*: крылья у ней нѣсколько зубчатыя, блестящаго темно-бураго цвѣта, съ яркимъ синимъ

[1]) Чемесовъ садъ существуетъ и теперь, но находится въ большомъ запущеніи, и кроликовъ уже давно нѣтъ. *С. А.*

яхонтовымъ отливомъ; верхнія до половины перерѣзаны бѣлою повязкою, а на нижнихъ у верхняго края находится побѣлому очку; особенно замѣчательно, что исподъ ея крыльевъ есть совершенный отпечатокъ лицевой стороны, только нѣсколько блѣднѣе. Еще красивѣе бабочка *Аталанта* или *Адмиралъ* (Atalanta). У ней крылья также зубчатыя, черныя съ лоскомъ, испещренныя бѣлыми пятнышками; во всю длину верхнихъ крыльевъ лежитъ повязка ярко-пурпуроваго цвѣта, а на нижнихъ крылушкахъ такая же повязка, только съ черными пятнышками, огибаетъ ихъ боковые края. Надобно признаться, что у насъ и у Тимьянскаго было много бабочекъ безъимянныхъ, которыхъ нельзя было опредѣлить по Блуменбаху и которыхъ профессоръ Фуксъ не умѣлъ назвать по-русски.

Питомники мои были давно уже наполнены червяками или гусеницами, такъ что и сажать болѣе было некуда. Многіе превращались въ куколокъ, а многіе умирали, вѣроятно отъ недостатка свѣжаго воздуха или пищи. Трудно было доставать именно то растеніе, которымъ они предпочтительно питались; по большей части мы не знали, какое это растеніе, потому что не знали названія гусеницы. Я обыкновенно набиралъ всякихъ травъ и старался только чаще ихъ перемѣнять. Каждый день, по нѣскольку разъ, наблюдалъ я за моими питомцами, и это доставляло мнѣ большое наслажденіе. Тѣ червяки, которые попадались мнѣ въ періодѣ близкаго превращенія въ куколокъ, почти никогда у меня не умирали; принадлежавшіе къ породамъ бабочекъ денныхъ, всегда имѣвшіе гладкую кожу, приклѣпляли свой задъ выпускаемою изо рта клейкой матеріей къ стѣнѣ или крышкѣ ящика и казались умершими, что сначала меня очень огорчало; но по большей части въ продолженіи сутокъ спадала съ нихъ сухая съежившаяся кожица гусеницы и висѣла уже хризалида съ рожками, съ очертаніемъ будущихъ крылушекъ и съ шипообразною грудкою и брюшкомъ; многія изъ нихъ были золотистаго цвѣта. Можно себѣ представить мою радость, когда, вмѣсто мнимо умиравшаго жалкаго червяка, вдругъ находилъ я миловидную куколку. Гусеницы сумеречныхъ бабочекъ, болѣе или менѣе волосистыя, гдѣ нибудь въ верхнемъ уголку ящика, или подъ листомъ растенія, положеннаго для ихъ пищи, заматывали себя вокругъ тонкими нитями той же клейкой матеріи, съ примѣсью волосковъ, покрывающихъ туловище,—

нитями иногда пушистыми, какъ хлопчатая бумага, иногда покрытыми сверху бѣлымъ, нѣсколько блестящимъ лакомъ, что давало имъ видъ тонкой и прозрачной, но некрѣпкой пелены. Гусеницы ночныхъ бабочекъ, почти всегда очень мохнатыя, кромѣ немногихъ исключеній, устроивали себѣ скорлупообразныя яички или коконы, ложились въ нихъ, закрывались на-глухо и превращались въ куколокъ: у обѣихъ послѣднихъ породъ свалившаяся сухая кожица червяка всегда лежала вмѣстѣ съ хризалидой внутри гнѣзда. Сумеречныя и ночныя куколки имѣли гладкую, овальную наружность безъ всякихъ угловатостей и выпуклостей, но также съ очертаніемъ головы, крыльевъ, усиковъ, ножекъ и брюшныхъ колецъ. Цвѣтомъ онѣ бываютъ всегда темныя, а нѣкоторыя породы ночныхъ совершенно черныя. Червяки молодые, которымъ должно было прожить до превращенія въ хризалиду опредѣленный, весьма различный срокъ времени, если не погибали отъ голода и духоты, то раза два или три перемѣняли на себѣ кожу и всякій разъ, передъ такой перемѣной, впадали въ сонъ или обморочное состояніе, не прикрѣпляя, однако, своего тѣла ни къ какому предмету. Вѣроятно, сначала я выкидывалъ нѣкоторыхъ, считая ихъ уже умершими. Обновленный червякъ, казавшійся сначала слабымъ или больнымъ, выходилъ всегда цвѣтнѣе, пушистѣе прежняго, съ невѣроятною жадностью накидывался на пищу и скоро поправлялся. Изъ числа тѣхъ хризалидъ, которыя превращались изъ червяковъ не у меня, а на волѣ, выводились иногда какіе-то летучіе тараканы, отвратительные по своей наружности. Изъ этого должно заключить, что куколки ихъ похожи на бабочкины, потому что я не могъ различить ихъ [1]). Выводились также иногда бабочки-уродцы: съ однимъ маленькимъ крыломъ, или совсѣмъ безъ одного крыла, или съ такимъ, которое не расправлялось и оставалось навсегда свернутымъ въ трубочку. Фуксъ не могъ удовлетворительно объяснить мнѣ причины такихъ явленій. Я предполагаю, что хризалиды

[1]) Вотъ какъ тотъ же почтенный молодой ученый, о которомъ я уже говорилъ, Н. П. В., объясняетъ это странное явленіе: „Существуетъ четырекрылое насѣкомое, называемое *Наѣздникъ*; оно кладетъ свои яйца въ гусеницы бабочекъ: вышедшіе изъ этихъ яицъ червячки живутъ въ гусеницѣ и питаются ея внутренностями, что не мѣшаетъ ей превратиться въ куколку. Въ ней совершается превращеніе червячковъ Наѣздника, которые потомъ и выходятъ изъ нея, такъ что, вмѣсто ожиданной бабочки, является отвратительная оса, или наѣздникъ". *С. А.*

бабочекъ-уродцевъ были какъ нибудь помяты или зашибены, и что отъ того крылушко на больной сторонѣ не достигало полнаго своего развитія. Весьма часто случалось, что пойманная бабочка, по большей части, въ ту минуту, когда ее раскладывали почти умирающую, выпускала изъ себя множество яичекъ, изъ которыхъ впослѣдствіи образовывались крошечные червячки; оно и неудивительно, потому что бабочка могла быть прежде оплодотворена; но вотъ что достойно замѣчанія, что выведшаяся у меня ночная свѣчная бабочка, черезъ нѣсколько часовъ разложенная, также при этой операціи выпустила изъ себя яички, изъ которыхъ впослѣдствіи вылупились червячки [1]). Недавно открыто подобное изумительное явленіе не только въ пчелиныхъ маткахъ, но и въ рабочихъ пчелахъ [2]), доказывающее глубокую экономическую предусмотрительность природы.

Когда наше собраніе бабочекъ ни въ чемъ уже не уступало собранію Кайсарова и Тимьянскаго (кромѣ, однако, Кавалера), а напротивъ въ свѣжести красокъ и въ изяществѣ раскладки имѣло большое преимущество, повезли мы съ Панаевымъ уже два ящика бабочекъ на показъ Фуксу. Профессоръ разсыпался въ похвалахъ нашему искусству и особенно удивлялся маленькимъ сумеречнымъ бабочкамъ, которыя были также хорошо разложены, какъ и большія. Онъ очень жалѣлъ, что мы не собирали и другихъ насѣкомыхъ.

Между тѣмъ лѣто вступало въ права свои. Прошла весна. Соловей допѣлъ свои послѣднія пѣсни, да и другія пѣвчія птички почти всѣ перестали пѣть. Только варакушка еще передразнивала и перевирала голоса и крики всякихъ птицъ, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, вися гдѣ-то въ небѣ, невидимые для глазъ человѣческихъ, разсыпали съ высоты свои мелодическія трели, оживляя сонную тишину знойнаго, молчаливаго лѣта. Да, прошла голо-

---

1) Несеніе неоплодотворенныхъ яицъ, изъ которыхъ развивались гусеницы, было давно извѣстно и впервые подмѣчено у *тли* и очень маленькой породы бабочекъ Psyche. Но мы тогда ничего этого не знали. Одновременно съ открытіемъ подобнаго явленія, о которомъ сейчасъ будетъ сказано, оно было замѣчено у шелковичной бабочки. *С. А.*

2) Брошюра: „Три открытія въ Естественной Исторіи пчелы", написанная незабвеннымъ, такъ рано погибшимъ, даровитымъ профессоромъ Московскаго университета, К. Ф. Рулье, напечатанная въ Москвѣ 1857 года. *С. А.*

спстая весна, пора беззаботнаго веселья, пѣсенъ, любви! Прошли „лѣтніе повороты“, то-есть 12-ое іюня; поворотило солнышко на зиму, а лѣто на жары, какъ говоритъ русскій народъ; наступила и для птицъ пора дѣловая, пора неусыпныхъ заботъ, безпрестанныхъ опасеній, инстинктивнаго самозабвенія, самопожертвованія, пора родительской любви. Вывелись дѣти у пѣвчихъ птичекъ, надобно ихъ кормить, потомъ учить летать и ежеминутно беречь отъ опасныхъ враговъ, отъ хищныхъ птицъ и звѣрей. Пѣсенъ уже нѣтъ, а есть крикъ; это не пѣсня, а рѣчь: отецъ и мать безпрестанно окликаютъ, зовутъ, манятъ своихъ глупыхъ дѣтенышей, которые отвѣчаютъ имъ жалобнымъ, однообразнымъ пискомъ, разѣвая голодные рты. Такая перемѣна, совершившаяся въ какія-нибудь двѣ недѣли, въ продолженіи которыхъ я не выходилъ за-городъ, сильно поразила и даже опечалила меня, когда я, во второй половинѣ іюня, вмѣстѣ съ неразлучнымъ моимъ спутникомъ Панаевымъ, рано утромъ вышелъ въ тѣнистый Неёловскій садъ. — Въ прежніе годы я не замѣчалъ такой перемѣны.

На сей разъ добыча наша была незначительна. Вообще это посѣщеніе Неёловскаго сада осталось памятно для насъ неудачами и обманутыми надеждами: Панаевъ видѣлъ Кавалера, но не могъ поймать; а я совершенно испортилъ превосходную розовую ночную бабочку, названія которой не знаю, но которую очень помню, особенно потому, что впослѣдствіи имѣлъ ее въ рукахъ. Неёловская розовая бабочка была замѣчательной величины, втрое больше розовой свѣчной, тоже ночной бабочки, которая очень обыкновенна и часто налетаетъ на горящую свѣчку и обжигаетъ свои крылушки; а испорченная мною была рѣдкая бабочка: яркаго алаго цвѣта бархатная пыль покрывала всѣ ея крылья, головку и туловище, но яркость эта уменьшалась тѣмъ, что вся бабочка была исчерчена тоненькими желтыми жилками. Я взялъ ее очень бережно, подавилъ грудку и какъ-то уронилъ въ траву; отыскивая, я наступилъ на нее ногой — и уничтожилъ прелестное созданіе. Смѣшно вспомнить, какъ я былъ огорченъ этой потерей и какъ долго не могъ утѣшиться. Въ 1810 году, гуляя въ Петербургѣ, въ Лѣтнемъ саду, я увидѣлъ точно такую бабочку, сидящую подъ широкимъ листомъ вѣкового клена. По старой охотѣ, я поймалъ, разложилъ, высушилъ и подарилъ одному любителю натуральной исторіи.

Время лѣчитъ всякія язвы, и мы съ Панаевымъ примирились съ мыслью, что у насъ нѣтъ Кавалера, а можетъ быть и не будетъ. Тимьянскій также примирился съ общимъ мнѣніемъ, что наши бабочки лучше, и утѣшился тѣмъ, что онъ собираетъ всѣхъ насѣкомыхъ, а мы только часть ихъ, что цѣлое гораздо важнѣе части.

У насъ въ университетѣ шли экзамены, которые не имѣли и не могли имѣть формы и условій настоящихъ университетскихъ экзаменовъ. Это были семейныя, дружескія испытанія, или, лучше сказать, это было обозрѣніе всего того, что профессора успѣли прочесть, а студенты—усвоить себѣ изъ выслушаннаго ими. Раздѣленія предметовъ на факультеты не было, а слѣдовательно не было ни курсовъ, ни переходовъ на нихъ. Конечно, это было дѣтство возникающаго университета, но тѣмъ не менѣе тутъ было много добрыхъ, благотворныхъ началъ, прочно подвигавшихъ на пути образованности искренно желавшихъ учиться; немного было пріобрѣтено свѣдѣній научныхъ, но за то они вошли въ плоть и кровь учащихся, вполнѣ были усвоены ими и способствовали самобытному развитію молодыхъ умственныхъ силъ. Предметы преподаванія до того были перепутаны и совѣтъ испытателей смотрѣлъ на это такъ не строго, что, напримѣръ, адъюнктъ-профессоръ И. И. Запольскій, читавшій опытную физику (по Бриссону), показывалъ на экзаменѣ наши сочиненія (и заставилъ читать вслухъ) о предметахъ философскихъ, а иногда чисто литературныхъ, и это никому не казалось страннымъ. И. И. Запольскій любилъ пофилософствовать, онъ былъ послѣдователь и поклонникъ Канта; на каждой лекціи о физикѣ онъ какъ нибудь припутывалъ „Критику чистаго разума“. Одинъ разъ разговорился о дѣйствующей и конечной причинѣ и потомъ предложилъ намъ, чтобы каждый изъ насъ, кто понялъ его слова и кому предметъ нравится, написалъ о немъ хоть что нибудь и показалъ ему. Написали человѣкъ десять, въ томъ числѣ и я; и каково же было мое удивленіе, когда въ числѣ студентскихъ сочиненій, читанныхъ на экзаменѣ, попались и мои три странички о дѣйствующей и конечной причинѣ! Вѣроятно, это было самое ребячье и поверхностное пониманіе предмета. Адъюнктъ россійскаго краснорѣчія Л. С. Левицкій, читавшій по программѣ философію и логику, уже давно незанимавшійся своими лекціями и почти переставшій ѣздить въ университетъ,

притащился однако кое-какъ на экзаменъ и перепугалъ насъ своимъ болѣзненнымъ видомъ. Вмѣсто россійской словесности, онъ произвелъ экзаменъ въ логикѣ, которую прежде проходилъ съ нами по рукописной тетрадкѣ, въ самомъ сокращенномъ объемѣ: разумѣется, онъ предувѣдомилъ насъ, чтобы мы приготовились къ экзамену изъ логики. Фуксъ торжествовалъ съ своей натуральной исторіей, и наши бабочки и гусеницы, и другія насѣкомыя, всѣ пошли въ дѣло. Тимьянскій отличился обширностью своихъ знаній и латинскимъ языкомъ; но и мнѣ досталось разсказать о моихъ наблюденіяхъ надъ воспитаніемъ червей, превращеніемъ ихъ въ хризалиды и бабочки. Всѣ меня похвалили, даже и тѣ профессора, которые не знали ни одного русскаго слова, а я говорилъ, разумѣется, по-русски. Лучшимъ экзаменомъ безъ сомнѣнія былъ математическій, у Г. И. Карташевскаго, но я не повиненъ былъ въ этомъ блескѣ и даже не являлся на экзаменъ. Этотъ предметъ у насъ шелъ блистательно.

По случаю экзаменовъ, заботы о собираніи бабочекъ были оставлены, да къ тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился съ старшими братьями Панаева, съ которыми прежде всегда былъ очень друженъ; одинъ изъ нихъ, именно старшій, такъ меня обидѣлъ какимъ-то грубымъ и дерзкимъ словомъ, что я вспылилъ и въ горячности далъ торжественное обѣщаніе не быть у нихъ въ домѣ до тѣхъ поръ, покуда виноватый предо мною товарищъ не попроситъ у меня прощенія. Панаевъ (Николай) и не думалъ просить у меня прощенія, и я цѣлую недѣлю къ нимъ не ѣздилъ. Другъ мой, Александръ Панаевъ, бывалъ у меня почти каждый день, и своими извѣстіями о старшихъ братьяхъ только усиливалъ мое оскорбленіе. Мнѣ было особенно досадно на Ивана Панаева, нашего перваго лирика: онъ былъ прекрасный товарищъ, добрый и правдивый, очень меня любилъ, въ семьѣ своей онъ считался главнымъ—и онъ не заступился за меня, не заставилъ брата извиниться передо мною, а еще его оправдывалъ. Но великія событія именно совершаются тогда, когда всего менѣе можно ожидать ихъ, и мгновенно разрубаютъ крѣпко затянутые узлы, которые безъ того не скоро, а можетъ быть и никогда не были бы распутаны.

Въ самыхъ послѣднихъ числахъ іюня, когда наши экзамены приходили къ окончанію, воротился я изъ университета

на свою квартиру, и по какому-то странному побужденію, еще не пообѣдавъ, взялъ рампетку и, несмотря на палящій зной, пошелъ въ овраги, находившіеся неподалеку отъ моего флигеля. Мнѣ захотѣлось обойти ихъ передъ обѣдомъ; почему? для чего?—и теперь не понимаю. Лишь только дошелъ я до половины ближайшаго лѣваго оврага, задыхаясь отъ жару и духоты, потому что вѣтерокъ не попадалъ въ это ущелье, какъ увидѣлъ, въ двухъ шагахъ отъ себя, пересѣвшаго съ одного цвѣтка на другой великолѣпнаго Кавалера... Я такъ былъ пораженъ неожиданностью, что не вдругъ повѣрилъ своимъ глазамъ, но, опомнившись, съ судорожнымъ напряженіемъ смахнулъ рампеткой бабочку съ вершины еще цвѣтущаго репейника... Кавалеръ исчезъ; смотрю завернувшійся мѣшечекъ рампетки—и ничего въ немъ не нахожу: онъ пустъ! Мысль, что я брежу на-яву, что я видѣлъ сонъ, мелькнула у меня въ головѣ—и вдругъ вижу, въ самомъ сгибѣ флероваго мѣшка, безцѣнную свою добычу, желаннаго, прошенаго и моленаго Кавалера, лежащаго со сложенными крыльями, въ самомъ удобномъ положеніи, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнилъ, и, не помня себя отъ восторга, не вынимая бабочки изъ рампетки, побѣжалъ домой. Какъ изступленный закричалъ я, еще издали, своему дядькѣ Евсеичу, который ожидалъ меня у крыльца: „дрожки, дрожки!“ Добрый мой Евсеичъ, испуганный моимъ голосомъ и страннымъ видомъ, побѣжалъ ко мнѣ навстрѣчу. Но я поспѣшилъ объяснить ему, въ чемъ состояло дѣло, и просилъ, умолялъ, чтобы онъ велѣлъ поскорѣе заложить мнѣ лошадь. Евсеичъ, успокоенный, покачалъ головой, улыбнулся, но пошелъ исполнять мое приказаніе. Я вошелъ въ комнату, положилъ рампетку на столъ, поглядѣлъ внимательно на свою добычу, и, кажется, тутъ только повѣрилъ, что это не мечта, не призракъ, что вотъ онъ, дѣйствительный Кавалеръ, пойманъ и лежитъ передо мною. Изъ предосторожности, я въ другой разъ пожалъ грудку моему Подалиріусу, бережно опустилъ его въ картонный ящичекъ, накрылъ бумажкой, а остальное пространство заложилъ хлопчатой бумагой, чтобы отъ ѣзды бабочка не могла двигаться. Евсеичъ вернулся со словами: „сейчасъ заложатъ“ и съ прежней улыбкой. Тутъ-то высказалъ я свою радость моему доброму дядькѣ, обнявъ и расцѣловавъ его предварительно. Хотя Евсеичъ зналъ меня вдоль и поперекъ, какъ говорится, но безумный мой восторгъ

смутилъ его. Всѣ мои увѣренія и доказательства въ важности пріобрѣтенія Кавалера, въ необычайности событія, что онъ залетѣлъ въ середину большого города, что я пошелъ безъ всякой причины гулять по жару въ овраги,—дядька мой выслушалъ съ совершеннымъ равнодушіемъ. Онъ уже не улыбался, а все качалъ головой и наконецъ сказалъ: „нѣтъ, соколикъ, больно молодо, больно зелено, — надо долго еще учиться; ну, куда тебѣ на службу!“ Стукъ подкатившихся дрожекъ прервалъ поучительную рѣчь Евсеича, и черезъ минуту я уже скакалъ на Черное Озеро, прямо къ Панаеву. Я живо представилъ себѣ его удивленіе и радость, особенно потому, что мы съ полчаса какъ разстались. Долгимъ днемъ показалась мнѣ четверть часа ѣзды до Панаева. Вотъ онъ, наконецъ, бѣлый, засаленный, хорошо знакомый домъ. Взбѣгаю на крыльцо, на лѣстницу, отворяю дверь въ залу, и вижу друга моего Александра Панаева, выбѣгающаго изъ гостиной, съ окровавленнымъ лицомъ, зажавшаго одинъ глазъ рукою... „Что съ тобой?“ закричалъ я. — „Я пропалъ! съ отчаяніемъ отвѣчалъ Панаевъ:—братъ Петя нечаянно попалъ въ самый зрачокъ глаза фарфоровымъ верешкомъ. Если я окривѣю—я застрѣлюсь. Я бѣгу къ колодцу, чтобы обмыть мой глазъ холодной водой“. Мы побѣжали вмѣстѣ. Панаевъ такъ боялся увѣриться, что глазъ у него испорченъ, что красота его погибла (онъ дѣйствительно былъ красавецъ), что не вдругъ рѣшился отнять руку и промыть раненый глазъ; я упросилъ его это сдѣлать, и къ великой моей, и еще большей его радости, я увидѣлъ, что разсѣчена только нижняя вѣка, и слегка оцарапанъ глазной бѣлокъ. Въ самую ту минуту, какъ я обнималъ и поздравлялъ моего друга съ благополучнымъ окончаніемъ такой бѣды, прибѣжали его испуганные братья, кромѣ виноватаго; я поспѣшилъ ихъ успокоить, что никакой важности нѣтъ, да они и сами въ томъ сейчасъ убѣдились. Радость была общая, мы всѣ обнялись дружески и послали за Петей, который съ испугу и съ горя залѣзъ въ какой-то чуланъ. Вдругъ Александръ Панаевъ меня спросилъ: „какъ это случилось, мой другъ, что ты пріѣхалъ въ самую ту минуту, когда разразилась было надо мной эта страшная гроза? Вѣрно сердце тебѣ сказало, и ты, забывъ все, прискакалъ на помощь къ своему отчаянному другу“. Тутъ только я вспомнилъ, что я въ ссорѣ съ братьями Панаева, что я пересталъ къ нимъ ѣздить и

что я поймалъ Кавалера.—„Нѣтъ, мой другъ, отвѣчалъ я:—на этотъ разъ сердце мнѣ ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть всѣ неудовольствія: съ полчаса какъ я поймалъ у себя въ оврагѣ чудеснѣйшаго Кавалера. Вотъ онъ“. И я побѣжалъ въ залу, гдѣ оставилъ свой картонный ящичекъ на столѣ. Всѣ Панаевы съ радостными восклицаніями послѣдовали за мной, и когда я, открывши ящичекъ, показалъ имъ, лежащаго въ томъ-же положеніи, въ самомъ дѣлѣ необыкновенно большого и великолѣпнаго Подалиріуса, раздался новый залпъ радостныхъ восклицаній. Само собою разумѣется, что я не одинъ разъ разсказалъ, какъ совершилось это счастливое событіе. Другъ мой Александръ, примочивъ глазъ розовой водой и завязавъ его весьма щеголевато батистовымъ платочкомъ, сейчасъ сѣлъ раскладывать Кавалера, который оказался совершенно цѣлымъ и нигдѣ не потертымъ. „Ну, теперь наше собраніе бабочекъ несравненно выше Тимьянскаго“, сказалъ онъ съ торжествующей улыбкой. Онъ аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы всѣ пятеро, тѣсно окруживъ его, не сводя глазъ и не смѣя свободно дышать, слѣдили за каждымъ движеніемъ его искусныхъ рукъ. Напрасно Панаевъ кричалъ, что мы ему мѣшаемъ, что ему отъ насъ тѣсно, жарко, чтобы мы отошли прочь,—никто не трогался съ мѣста. Наконецъ раскладка совершилась благополучно, и я вспомнилъ, что еще не обѣдалъ. Панаевы уже успѣли пообѣдать. Не было и тѣни неудовольствія между нами; они упрашивали меня не ѣздить домой, желая угостить оставшимися блюдами; но я не могъ исполнить ихъ желанія: я не видѣлъ сегодня еще своихъ червячковъ и хризалидъ! Можетъ быть тамъ что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнилъ также, что для завтрашняго экзамена мнѣ надобно прочесть одну тетрадку. Мнѣ самому не хотѣлось разстаться въ эту минуту съ Панаевыми и (надобно признаться) съ пойманнымъ мною Кавалеромъ. Я примирилъ всѣ обстоятельства тѣмъ, что обѣщалъ въ полчаса осмотрѣть своихъ червячковъ и хризалидъ, пообѣдать и, захвативъ тетрадку съ собою, воротиться къ нимъ. Не одинъ разъ дружескіе голоса товарищей заставляли меня повторить обѣщаніе, что черезъ часъ я буду съ ними. Какъ весело сѣлъ я въ дрожки и поѣхалъ въ свой уединенный флигелекъ!

Пословица говоритъ: „пришла бѣда — отворяй ворота“,

что, къ сожалѣнію, не рѣдко и случается; но за то часто бываетъ и наоборотъ: вслѣдъ за одной радостью скоро наступаетъ другая. Воротясь домой, только что я раскрылъ ящикъ съ хризалидами, какъ представилась мнѣ прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся вѣроятно еще ночью, потому что крылушки ея были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я могъ признать ее Крушинною (ligustri) сумеречною бабочкою, названною имъ такъ потому, что водится на растеніи крушинѣ, испанскомъ бузнякѣ, но я ее не опредѣляю и не называю положительно; верхнія ея крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впослѣдствіи я убѣдился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живетъ преимущественно на крыжовникѣ и барбарисѣ. Крылья у ней верхнія темно-сѣраго цвѣта, съ бѣлыми пятнами, или матово-бѣлыя съ темными пятнами: я потому говорю *или*, что обоихъ цвѣтовъ находится поровну, и я не знаю, который изъ нихъ признать основнымъ; нижнія крылья красныя, какъ-будто кровяныя, съ тремя черными перевязками; туловище также красное, съ черными ободочками по всему брюшку,—это довольно вѣрно описано и у Блуменбаха. Послѣ мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тѣхъ поръ ее не видывалъ и она показалась мнѣ чудомъ красоты. Да и какъ было не обрадоваться первой сумеречной бабочкѣ, выведшейся у меня изъ найденныхъ мною хризалидъ! По величинѣ и темному цвѣту куколки я считалъ ее ночною. Поздно, но весело сѣлъ я обѣдать. Евсеичъ прислуживалъ мнѣ по обыкновенію. Я замѣтилъ, что давнишняя, не совсѣмъ обыкновенная улыбка не сходила съ его губъ. Онъ отъ времени до времени подтрунивалъ надъ моей охотой ловить бабочекъ и возиться съ червями, отъ которыхъ гадко воняетъ, и я отъ души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообѣдавъ, я повезъ свою новорожденную сумеречную красавицу, со всѣми предосторожностями, чтобы не помрачить первороднаго блеска чудныхъ ея красокъ, къ другу моему Панаеву. Онъ принялъ ее почти съ такой же радостью, какъ и знаменитаго Кавалера, и немедленно разложилъ. Она должна была придать новый блескъ нашему собранію.

На другой же день поутру весь университетъ зналъ о нашихъ новыхъ необыкновенныхъ пріобрѣтеніяхъ, и хотя

всѣ были, болѣе или менѣе, заняты и озабочены продолжавшимися экзаменами, но приняли живое участіе въ нашихъ новыхъ бабочкахъ. Тимьянскій былъ даже озадаченъ и смущенъ, особенно когда увидѣлъ ихъ. „Ну ужъ счастливцы! говорилъ онъ намъ.—Для васъ Кавалеръ и въ Казань прилетѣлъ. Вотъ смѣялись надъ тобой, Аксаковъ, что ты возишься по пустякамъ съ червями, а пойди-ка, достань такую сумеречную Крушинную бабочку совершенно свѣжую и не потертую!.. такъ нигдѣ не достанешь!“

Университетскіе экзамены кончились, а гимназическіе еще оканчивались. Семеро студентовъ, въ томъ числѣ и я, продолжали ходить въ высшій русскій классъ къ Ибрагимову (прежде въ гимназіи у него былъ средній, а высшій занималъ Л. С. Левицкій) и должны были явиться на гимназическій экзаменъ, назначенный послѣднимъ, заключительнымъ. Товарищи мои обижались этимъ, а я напротивъ былъ очень доволенъ. Гимназическіе экзамены вообще шли полнѣе, стройнѣе и соотвѣтственнѣе своему назначенію. У Ибрагимова-же русскій экзаменъ былъ его блестящимъ торжествомъ: мы читали свои сочиненія, говорили о старой и новой литературѣ и критически оцѣнивали лучшихъ нашихъ писателей. Мое декламаторство также было употреблено въ дѣло. Всѣ, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженнаго тѣмъ, что его не сдѣлали адъюнктомъ, и поздравляли съ блестящими успѣхами его учениковъ. Никогда не забуду свѣтящихся удовольствіемъ татарскихъ глазъ и раздвинутаго улыбкою до ушей большого рта незабвеннаго для меня Николая Михаиловича Ибрагимова, воспоминаніе о которомъ всегда сливается въ моей памяти съ самыми отрадными воспоминаніями юношескихъ учебныхъ годовъ. „Благодарствуйте, Аксаковъ! говорилъ онъ: — мнѣ всегда было пріятно заниматься съ вами, вы отблагодарили меня достойнымъ образомъ“. Я обнималъ его, увѣряя, что очень чувствую и никогда не забуду, какъ много ему обязанъ.

Наконецъ всѣ экзамены кончились. Надобно было ѣхать на лѣтнюю вакацію: мнѣ въ Симбирскую губернію, въ Старое Аксаково, гдѣ жило этотъ годъ мое семейство, а Панаевымъ въ Тетюшскій уѣздъ Казанской губерніи, гдѣ жила ихъ мать и сестры. Въ первый разъ случилось, что радостное время поѣздки на вакацію въ деревню, къ семейству, было смущено въ душѣ моей посторонней заботой. По совѣту Фукса, бабо-

чекъ мы оставляли въ гимназической библіотекѣ, подъ надзоромъ ея смотрителя. Но что же было дѣлать съ моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиковъ и три стеклянныя банки нельзя было везти съ собою въ простой ямской кибиткѣ: въ одни сутки червяковъ бы затрясло, а хризалидъ оторвало съ мѣста и вообще все-бы разстроилось [1]), да и просто некуда было помѣстить эти громоздкія вещи; оставить-же безъ призора мое воспитательное заведеніе—также было невозможно. Да и на кого же могъ я положиться? Въ Казани оставался только мой кучеръ съ лошадью. Кто могъ замѣнить меня? Признаюсь также, что жаль мнѣ было оторваться отъ этого постояннаго наблюденія, попеченія, заботъ и ожиданій, которыя я уже привыкъ устремлять на жизнь моихъ питомцевъ, безпрестанно ожидая новыхъ превращеній и наконецъ послѣдняго полнаго превращенія въ какую-нибудь неизвѣстную мнѣ чудную бабочку. Но дѣлать было нечего, и съ этою мыслью я уже примирился. Оставалось только рѣшить, кому поручить ихъ. Я готовъ уже былъ избрать въ попечители о моихъ гусеницахъ и хризалидахъ остававшагося жить въ моемъ флигелѣ Александра Германа, который невольнымъ образомъ уже присмотрѣлся къ этому дѣлу и не отказывался отъ него; но онъ былъ очень вѣтренъ и неблагонадеженъ. Вдругъ пришелъ мнѣ въ голову Тимьянскій: ему не къ кому, не куда было ѣхать и онъ оставался вакацію въ университетѣ, какъ и многіе другіе. Почему не попросить его? По моему мнѣнію, наше соперничество не мѣшало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, къ которымъ онъ, какъ натуралистъ, не могъ быть совершенно равнодушенъ. Я не ошибся. Лишь только я заговорилъ о моемъ затруднительномъ положеніи, Тимьянскій сейчасъ искренно и добродушно вызвался самъ присмотрѣть за моими питомцами. Я сказалъ Тимьянскому, что хотѣлъ просить его объ этомъ и былъ заранѣе увѣренъ, что онъ не откажется одолжить и успокоить товарища, и что я сердечно ему благодаренъ. Точно гора свалилась у меня съ плечъ! Я зналъ, что цѣлая комната, возлѣ нашего физическаго кабинета, то есть кабинета съ физическими инструментами, находились въ его распоряженіи для сушки бабочекъ и насѣкомыхъ, и даже аудиторія, въ которой читалъ

[1]) Такъ мы думали тогда, но ошибались: червяковъ въ травѣ и листьяхъ, и особенно хризалидъ въ хлопчатой бумагѣ можно везти безопасно. *С. А.*

Фуксъ и отъ которой онъ имѣлъ ключъ: слѣдовательно, ему было гдѣ размѣститься; свѣжихъ же листьевъ и травъ для корма червей онъ могъ ежедневно доставать въ саду, который находился при сосѣдственномъ домѣ, купленномъ въ казну для университета. И такъ, поблагодаривъ еще разъ отъ всей души добраго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчасъ же отправился къ Панаеву, чтобы сообщить ему это пріятное извѣстіе. Другъ мой принялъ его не такъ, какъ я ожидалъ. Онъ былъ немножко недовѣрчивъ и даже подозрителенъ, и хотя не предполагалъ никакого дурного намѣренія у Тимьянскаго, но не ожидалъ слишкомъ усерднаго попеченія объ умноженіи и украшеніи нашего собранія бабочекъ. Впрочемъ онъ соглашался, что въ настоящемъ нашемъ положеніи— это самое лучшее, чего можно было желать. Въ тотъ же день мы съ Панаевымъ бережно перевезли бабочекъ въ библіотеку, а моихъ гусеницъ и хризалидъ въ особую комнату возлѣ физическаго кабинета, назначенную для кабинета натуральной исторіи, гдѣ и сдали ихъ съ рукъ на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убѣдительно просилъ и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и онъ обѣщалъ, но по своему обыкновенію и нраву обѣщалъ очень холодно, такъ что я не полагалъ на него никакой надежды, въ чемъ, однако, къ большому моему удовольствію, совершенно ошибся. Кайсаровъ былъ какъ-то сухъ и необщителенъ. Я не знаю, былъ ли у него въ цѣломъ университетѣ не только другъ, но короткій пріятель; съ Тимьянскимъ тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда онъ сдѣлался его помощникомъ въ собираніи бабочекъ и насѣкомыхъ. При прощаніи Тимьянскій сказалъ намъ: „Послушайте, господа! я стану усердно смотрѣть за вашими червяками и хризалидами, но вѣдь я за успѣхъ не ручаюсь. Легко быть можетъ, что гусеницы и хризалиды поколѣютъ до своего превращенія, такъ чуръ, за это на меня не сердиться. Всѣхъ бабочекъ, которыя выведутся, я разложу, какъ умѣю, высушу и сохраню.... Да кстати: сухія бабочки часто пропадаютъ отъ моли,—это сказалъ мнѣ Фуксъ, и совѣтовалъ напоить ихъ туловище камфорою, то есть намазать и покапать на нихъ съ кисточки камфарнымъ спиртомъ. Не худо вамъ сдѣлать это сейчасъ съ вашими бабочками, которыхъ вы оставляете въ библіотекѣ. Вотъ вамъ и кисточка, и камфарный

спиртъ.“ Такая заботливость убѣдила и друга моего Панаева въ совершенномъ доброжелательствѣ Тимьянскаго. Мы съ благодарностью воспользовались его предложеніемъ и сейчасъ побѣжали въ библіотеку. Еще разъ взглянули и простились съ нашими чудесными бабочками, помазали камфарнымъ спиртомъ, заперли ящики, и ключики отдали, на всякій случай, Тимьянскому. Мы простились съ нимъ дружески, искренно увѣряя, что во всемъ на него полагаемся, и что бы ни случилось, за все будемъ благодарны. Простились также со всѣми товарищами, оставшимися въ университетѣ, и, напутствуемые ихъ добрыми желаніями, отправились домой сначала къ Панаевымъ, гдѣ я простился съ другомъ моимъ Александромъ и съ его братьями. Лошади у нихъ были давно запряжены; ждали только возвращенія Александра и ужъ побранивали насъ, особенно меня, за возню съ червями и хризалидами,—такъ нетерпѣливо хотѣлось имъ ѣхать въ деревню! Да и какъ не хотѣть, какъ не рваться послѣ десятимѣсячной школьной жизни, лѣтомъ, изъ города пыльнаго, душнаго и всегда чѣмъ нибудь вонючаго, въ чистое, душистое поле, въ тѣнистые лѣса, въ прохладу, къ семейству, на родину, или по крайней мѣрѣ туда, гдѣ прошли дѣтскіе, незабвенные года. Панаевы при мнѣ же уѣхали, помѣстившись всѣ пятеро въ старинной линейкѣ, на присланныхъ за ними своихъ лошадяхъ. Александръ сѣлъ съ порядочнымъ ящикомъ въ рукахъ, въ которомъ находилось десятка два бабочекъ, собранныхъ имъ изъ дубликатовъ: онъ везъ ихъ подарить сестрамъ, но двое меньшихъ братьевъ, сидѣвшихъ съ нимъ рядомъ, громко возопіяли на него, утверждая, что отъ ящика имъ будетъ тѣсно.... Стукъ и дребежжанье старой линейки, тронувшейся съ мѣста, заглушили ихъ дѣтскіе голоса. Панаевы собирались и кормить и ночевать въ полѣ; съ ними были и удочки и даже ружье—мнѣ стало грустно и завидно. На этотъ разъ приказано мнѣ было пріѣхать на почтовыхъ, въ иростой, ямской повозкѣ; а главное, я долженъ былъ ѣхать не въ милое и дорогое мнѣ, богатое водами, лугами, болотами и отдѣльными рощами Оренбургское Аксаково, а въ скучное, безводное, кругомъ лѣсное, старое Симбирское Аксаково, гдѣ и дома порядочнаго не было.

Воротясь въ свою квартиру, я нашелъ также все готовымъ къ отъѣзду. Ямскія лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчикъ позвякивалъ отъ каждаго движе-

нія коренной, люди, одѣтые по дорожному, съ картузами въ рукахъ, ждали меня на крыльцѣ.... Покуда я переодѣвался также въ дорожное легкое платье, мысль о близкомъ свиданіи съ семействомъ, особенно съ другомъ моимъ сестрицей, которая ждала меня съ живѣйшимъ нетерпѣніемъ, мелькнула въ моей головѣ и радостно взволновала мое сердце; а запахъ дегтя и рогожи, которымъ пахнуло на меня отъ кибитки, мгновенно перенесъ меня въ деревню, и стало легко и весело у меня на душѣ. Евсеичъ сѣлъ со мной въ повозку, Иванъ Малышъ вскочилъ на козлы, ямщикъ тронулъ вожжами, свистнулъ и тройка полетѣла.

Когда мы выбрались изъ Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко и великолѣпный лѣтній вечеръ повѣялъ прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывалъ настоящимъ образомъ удовольствія скорой, почтовой ѣзды, и когда ямщикъ, чтобъ потѣшить молодого барина и заслужить на водку, пустилъ во весь опоръ, во весь духъ свою лихую тройку, я почувствовалъ неизъяснимое и неизвѣстное мнѣ, какое-то раздражающее наслажденіе.... Евсеичъ мой тоже очень былъ доволенъ.—„Что, соколикъ, каково закатываетъ? говорилъ онъ, улыбаясь. А вѣдь лошадки-то, поглядѣть—дрянь! Да ты не боишься-ли?“ продолжалъ онъ, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвѣчаю. Мнѣ ужасно стало досадно; но я переломилъ себя и ласково старался увѣрить моего дядьку, что напротивъ мнѣ очень весело, что у меня сердце бьется отъ радости и какъ будто духъ замираетъ. Это было совершенно справедливо, я говорилъ прерывающимся отъ волненія голосомъ. Я чувствовалъ такое нервное, невыразимое сладкое раздраженіе, такое внутреннее стремленіе впередъ, что желалъ бы самъ полетѣть, какъ птица! Между тѣмъ опускался вечеръ. Длиннѣе и длиннѣе становились тѣни отъ скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русскою пѣснею. Тѣни блѣднѣли постепенно и наконецъ смѣшались съ потемнѣвшей землей. Все это вмѣстѣ сильно подѣйствовало на меня, я чувствовалъ какое-то волненіе и не умѣлъ понять, что со мною дѣлается. Мнѣ не захотѣлось пить чаю на станціи, хотя Евсеичъ проворно разложилъ погребецъ, а Иванъ Малышъ наложилъ дорожный самоварчикъ. Мой отказъ отъ чаю очень смутилъ добраго дядьку. Прежде

этого никогда не случалось, а здѣсь была особенная приманка: на столѣ стоялъ горшокъ густыхъ, сморщившихся, холодныхъ сливокъ, которыя я очень любилъ. Евсеичъ подумалъ, что я нездоровъ, сталъ приставать съ разспросами, и для его успокоенія я съѣлъ цѣлую тарелку сливокъ съ казанскими кренделями. Лошади были готовы и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался отъ скорой ѣзды, не выходила изъ головы Евсеича; онъ не велѣлъ шибко ѣхать, чтобъ ночью какъ нибудь не опрокинуться, и ужасно надоѣлъ мнѣ своими докучными разспросами и разсужденіями. Я закрылъ глаза, хотя это было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящимъ, даже всхрапывалъ, покуда не заснулъ самъ, наблюдавшій меня, мой попечительный дядька. Я напротивъ не спалъ долго и послѣ восхожденія солнца, и много новыхъ ощущеній и наслажденій доставила мнѣ эта безсонная ночь съ своей вечерней и утренней зарею. Не скоро, и какъ-то нечаянно, сонъ овладѣлъ мною; но за то я заснулъ уже такъ крѣпко, что не слыхалъ, какъ перемѣнили лошадей на станціи, и проснулся часовъ въ девять утра, разбуженный громовымъ ударомъ. Опомнившись и оглядѣвшись, я увидѣлъ, что надъ нашими головами быстро неслось большое грозовое облако, прямо къ тучѣ, которая синѣла и чернѣла, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба съ правой стороны и у которой одинъ край былъ бѣлеватъ. Тамъ уже рубилъ дождевой ливень; глухой, какой-то зловѣщій шумъ и свѣжая влажность неслась оттуда.—„Никакъ, градъ? сказалъ Евсеичъ. Господи спаси и помилуй! Послѣдній хлѣбецъ выбьетъ у мужичковъ“.—Казалось, туча шла стороною; но вдругъ поворотила и стала нагибать прямо на насъ; крупныя капли дождя зашлепали по пыльной дорогѣ и по моей рогожной, также пыльной кибиткѣ. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самимъ прикрыться. Евсеичъ велѣлъ ѣхать шагомъ, говоря, что въ грозу скакать опасно. Скоро накрыла насъ туча. Засверкали змѣистыя, ослѣпительныя молніи и мгновенно вслѣдъ за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякій разъ казалось, что громъ ударилъ возлѣ нашей повозки. Сначала Евсеичъ, Иванъ Малышъ и ямщикъ снимали шапки и крестились при блескѣ каждой молніи, но когда она сдѣлалась почти безпрерывною, то и креститься перестали.... Вдругъ налетѣла буря съ крупнымъ частымъ градомъ и проливнымъ дождемъ, и воздухъ превратился

въ бѣлую водяную пыль. Должно признаться, что я не безъ страха смотрѣлъ на эту величественную, но грозную картину. Гнѣвъ стихій ужасенъ. Въ ту минуту онъ такъ могущественно проявлялъ свои разрушительныя силы, и ничтожность, беззащитность человѣческой природы такъ явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не могъ оставаться спокойнымъ; притомъ я въ дѣтствѣ былъ напуганъ громомъ и тогда еще не освободился отъ этого тяжелаго впечатлѣнія. Признаюсь, чувство невыразимо отраднаго спокойствія и радости разлилось въ душѣ моей, когда удары грома начали становиться рѣже и отдаленнѣе. Туча провалила съ полудня на западъ и уже голубое небо засверкало съ правой стороны. Мы съ Евсеичемъ уцѣлѣли, а Иванъ Малышъ и ямщикъ были до костей промочены дождемъ. Но яркое, лѣтнее солнце уже спѣшило выкатиться на очищенное отъ тучъ небо и принялось сушить мокраго ямщика и Малыша, которые весело подсмѣивались другъ надъ другомъ. Намъ показалось, что туча самой серединой прошла надъ нашими головами; но подвигаясь, уже рысью, впередъ, мы увидѣли, что тамъ и дождь и градъ были гораздо сильнѣе, а громовые удары ближе и разрушительнѣе: лужи воды стояли на дорогѣ, скошенныя луговины были затоплены, какъ весною; крупный градъ еще не растаялъ и во многихъ мѣстахъ, особенно по долочкамъ, лежалъ бѣлыми полосами. Мы проѣзжали мимо хлѣбовъ, которые всѣ были, болѣе или менѣе, побиты градомъ, а нѣкоторыя десятины такъ выколочены, какъ будто бы долго пасли на нихъ стадо мелкаго скота; не только колосья—солома, казалось, была втоптана въ грязь. Въ добавокъ ко всему, въ одной окольной деревнѣ виднѣлись два столба дыма, означавшіе безъ сомнѣнія пожары отъ молніи, а въ ближнемъ лѣсу дымилось нѣсколько расколотыхъ деревьевъ, зажженныхъ тоже молніей. Этотъ ужасный слѣдъ быстро промчавшейся грозы былъ особенно поразителенъ при ясномъ небѣ, тишинѣ освѣженнаго воздуха и яркомъ солнечномъ освѣщеніи.—„Ну вотъ гдѣ была настоящая гроза, говорилъ Евсеичъ:—а насъ видно туча только крылушкомъ задѣла“. Выбитыя десятины хлѣба возбуждали особенное участіе въ моихъ спутникахъ; ямщикъ самъ былъ изъ той деревни, куда мы ѣхали, и зналъ даже, кому принадлежали эти десятины; какъ нарочно, хозяева ихъ были бѣдные люди, и такая потеря окончательно раззоряла ихъ. Нѣсколько времени всѣ трое толковали о печальномъ

событіи, и въ словахъ моего дядьки слышалась его искренняя, неподдѣльная доброта. „Ахъ, Господи! говорилъ онъ:— кабы я былъ богатый, вотъ и пособилъ бы имъ; а то что? убытку тутъ на сотни, на тысячи рублевъ, такъ копѣйками не поможешь“. Мы скоро пріѣхали на станцію и привезли печальное извѣстіе о хлѣбныхъ поляхъ. Никто не чаялъ такой бѣды: въ деревнѣ и граду не было, а слышали только шумъ. Между старухами и бабами поднялся вой и плачъ, и нѣкоторыя сейчасъ пошли въ поля, чтобы собственными глазами удостовѣриться въ своемъ несчастьѣ. Евсеичъ признался мнѣ потомъ, что отдалъ свои копѣйки одному самобѣднѣйшему семейству.

На слѣдующей станціи мы перемѣнили лошадей въ такомъ селеніи, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатлѣніе: это были Татары, перекрещенные въ православное вѣроисповѣданіе, какъ мнѣ сказали, еще при царѣ Иванѣ Васильевичѣ. И мужчины и женщины одѣвались и говорили по-русски; но на всей ихъ наружности лежалъ отпечатокъ чего-то печальнаго и суроваго, чего-то потеряннаго, безпріютнаго и безпорядочнаго; платье на нихъ сидѣло какъ-то не такъ и какая-то робость была видна во всѣхъ движеніяхъ; они жили очень бѣдно, тогда какъ вокругъ и татарскія, и русскія, и мордовскія, и чувашскія деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеичъ зналъ прежде эту деревню и зналъ такихъ же перекрещенцевъ въ другихъ деревняхъ. Онъ говорилъ мнѣ, что они всѣ на одинъ ладъ и всѣ бѣдны: отъ своего отстали, а къ нашему не пристали; „такъ и маятся, какъ какіе-то Каины“, прибавилъ онъ въ заключеніе. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промѣшкалъ на станціи лишняго полчаса, стараясь внимательно вглядѣться и разговориться съ хозяевами. Я говорилъ также и съ сосѣдями ихъ, со стариками и старухами, а также съ мальчиками. Впрочемъ, въ дѣтяхъ менѣе было замѣтно той грустной и непріятной особенности, которая лежала на всѣхъ взрослыхъ: дѣти были живѣе и веселѣе. Типъ татарской физіономіи еще не истребился, но уже повыродился: никто не брилъ головы, но и длинныхъ волосъ никто не носилъ; всѣ казались какими-то сейчасъ остриженными, взятыми изъ крестьянъ въ рекруты или на господскій дворъ. Они отчасти понимали свое положеніе и считали невозможностью изъ него выйти. Между ними ходило преданіе, что праотцы ихъ,

въ бѣлую водяную пыль. Должно признаться, что я не безъ страха смотрѣлъ на эту величественную, но грозную картину. Гнѣвъ стихій ужасенъ. Въ ту минуту онъ такъ могущественно проявлялъ свои разрушительныя силы, и ничтожность, беззащитность человѣческой природы такъ явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не могъ оставаться спокойнымъ; притомъ я въ дѣтствѣ былъ напуганъ громомъ и тогда еще не освободился отъ этого тяжелаго впечатлѣнія. Признаюсь, чувство невыразимо отраднаго спокойствія и радости разлилось въ душѣ моей, когда удары грома начали становиться рѣже и отдаленнѣе. Туча провалила съ полудня на западъ и уже голубое небо засверкало съ правой стороны. Мы съ Евсеичемъ уцѣлѣли, а Иванъ Малышъ и ямщикъ были до костей промочены дождемъ. Но яркое, лѣтнее солнце уже спѣшило выкатиться на очищенное отъ тучъ небо и принялось сушить мокраго ямщика и Малыша, которые весело подсмѣивались другъ надъ другомъ. Намъ показалось, что туча самой серединой прошла надъ нашими головами; но подвигаясь, уже рысью, впередъ, мы увидѣли, что тамъ и дождь и градъ были гораздо сильнѣе, а громовые удары ближе и разрушительнѣе: лужи воды стояли на дорогѣ, скошенныя луговины были затоплены, какъ весною; крупный градъ еще не растаялъ и во многихъ мѣстахъ, особенно по долочкамъ, лежалъ бѣлыми полосами. Мы проѣзжали мимо хлѣбовъ, которые всѣ были, болѣе или менѣе, побиты градомъ, а нѣкоторыя десятины такъ выколочены, какъ будто бы долго пасли на нихъ стадо мелкаго скота; не только колосья—солома, казалось, была втоптана въ грязь. Въ добавокъ ко всему, въ одной окольной деревнѣ виднѣлись два столба дыма, означавшіе безъ сомнѣнія пожары отъ молніи, а въ ближнемъ лѣсу дымилось нѣсколько расколотыхъ деревьевъ, зажженныхъ тоже молніей. Этотъ ужасный слѣдъ быстро промчавшейся грозы былъ особенно поразителенъ при ясномъ небѣ, тишинѣ освѣженнаго воздуха и яркомъ солнечномъ освѣщеніи.—„Ну вотъ гдѣ была настоящая гроза, говорилъ Евсеичъ:—а насъ видно туча только крылушкомъ задѣла“. Выбитыя десятины хлѣба возбуждали особенное участіе въ моихъ спутникахъ; ямщикъ самъ былъ изъ той деревни, куда мы ѣхали, и зналъ даже, кому принадлежали эти десятины; какъ нарочно, хозяева ихъ были бѣдные люди, и такая потеря окончательно раззоряла ихъ. Нѣсколько времени всѣ трое толковали о печальномъ

много было мертвыхъ и даже высохшихъ, много было потертыхъ бабочекъ, но довольно нашлось и такихъ, которыхъ я сейчасъ принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привезъ съ собой. Я просилъ мою добрую сестру не смотрѣть на раскладку, говоря, что ей будетъ жалко; но она не хотѣла со мной разстаться, да и любопытно ей было поглядѣть, какъ это дѣлается; прижиганье на свѣчкѣ заставило ее убѣжать, и она долго не могла равнодушно смотрѣть и на высушенныхъ бабочекъ.

Между тѣмъ въ домѣ всѣ проснулись. Я не стану говорить объ общей семейной радости и объ особенной радости моей матери, которая видѣла во мнѣ теперь настоящаго студента, уже не мальчика, а молодого человѣка, живущаго самобытною жизнью. Видѣла въ то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравовъ. Добрый мой отецъ также былъ очень мною доволенъ и хотя онъ мнѣ ничего такого не говорилъ, но я видѣлъ, съ какимъ удовольствіемъ онъ смотрѣлъ на меня, когда я съ жаромъ описывалъ свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорамъ и взаимнымъ разсказамъ. Я услыхалъ много новаго и, въ житейскомъ существенномъ отношеніи, очень много важнаго и пріятнаго. Съ своей стороны я разсказалъ о своихъ новыхъ и старыхъ профессорахъ, о новыхъ предметахъ ученія, о нашихъ студентскихъ спектакляхъ, о литературныхъ занятіяхъ и затѣяхъ на будущее время и наконецъ о моей страсти къ собиранію бабочекъ и о пользѣ, которая можетъ произойти для науки отъ подобныхъ собираній. Потомъ съѣздили мы къ друзьямъ нашимъ Миницкимъ, къ двоюродной сестрѣ моей А. И. Веригиной, бывшей воспитанницѣ Н. И. Куроѣдовой, жившей теперь уже своимъ домомъ въ своей деревенькѣ; съѣздили и къ другимъ сосѣдямъ.

Когда всѣ разъѣзды были кончены, деревенская жизнь съ возможными, по тамошней мѣстности, удовольствіями пошла по своей обыкновенной колеѣ. Что и говорить—не было никакого сравненія между Старымъ и Новымъ Аксаковымъ! Тамъ была рѣчка, огромный прудъ, купанье, уженье и самая разнообразная стрѣльба, а здѣсь воды совсѣмъ почти не было, даже воду для питья привозили за двѣ версты изъ родниковъ; охота съ ружьемъ, правда, была чудесная, но лѣсная, для меня еще недоступная, да и легавой собаки не было. Впрочемъ, отецъ возилъ меня нѣсколько разъ на охоту за

выводками глухихъ тетеревовъ, которыхъ тамошній охотникъ, крестьянинъ Егоръ Филатовъ, умѣлъ находить и поднимать безъ собаки; но все это было въ лѣсу, и я не успѣвалъ поднять ружья, какъ всѣ тетеревята разлетались въ разныя стороны, а отецъ мой и охотникъ Егоръ всякій разъ однако умудрялись какъ-то убивать по нѣскольку штукъ; я же только одинъ разъ убилъ глухого тетеревенка, имѣвшаго глупость сѣсть на дерево. Вальдшнеповъ было великое множество, но для нихъ еще не наступила пора. Впрочемъ Егоръ приносилъ иногда старыхъ и молодыхъ вальдшнеповъ: молодыхъ онъ ловилъ руками, съ помощью своей звѣровой собаки, а какъ онъ ухитрялся убивать старыхъ—я и теперь не знаю, потому что онъ въ летъ стрѣлять не умѣлъ. Около моховыхъ болотъ, окруженныхъ лѣсомъ, жило множество бекасовъ, старыхъ и молодыхъ; но я рѣшительно не умѣлъ ихъ стрѣлять, да и болотные берега озеръ подъ ногами такъ тряслись и опускались, „ходенемъ ходили“, какъ говорили крестьяне, что я, по непривычкѣ, и ходить тамъ боялся. Ѣзжали мы иногда въ лѣсъ, цѣлой семьей, за ягодами, за грибами, за орѣхами; но эти поѣздки мало меня привлекали. И такъ, по неволѣ, единственнымъ моимъ наслажденіемъ было—собираніе бабочекъ; на него-то устремилъ я все свое вниманіе и дѣятельность. Бабочекъ, по счастію, въ Старомъ Аксаковѣ оказалось очень много и самыхъ разнообразныхъ породъ; особенно же было много бабочекъ ночныхъ и сумеречныхъ. Гусеницъ попадалось уже мало, да и я не занимался ими, потому что выводиться было имъ уже некогда или поздно: наступалъ августъ мѣсяцъ. При первыхъ моихъ поискахъ, и въ старомъ плодовитомъ саду, и на поникшей рѣчкѣ Майнѣ, и около маленькихъ родничковъ, которые кое-гдѣ просачивались по старому руслу рѣки, и на полянахъ между лѣсами, я встрѣтилъ не только бабочекъ, водившихся въ окрестностяхъ Казани, но много такихъ, о которыхъ я не имѣлъ понятія. Сумеречныхъ бабочекъ я караулилъ всегда въ сумерки или отыскивалъ въ лѣсномъ сумракѣ, даже середи дня, гдѣ онѣ, не чувствуя яркаго солнечнаго свѣта, перепархивали съ мѣста на мѣсто. Ночныхъ же бабочекъ, кромѣ отыскиванія ихъ днемъ въ дуплахъ деревъ или въ расщелинахъ заборовъ и старыхъ строеній, я добывалъ ночью, приманивая ихъ на огонь. Я сдѣлалъ себѣ маленькій фонарь и привязывалъ его на вершину смороднинаго или барбарисоваго куста, или на

синель или невысокую яблонь. Привлеченныя свѣтомъ, бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, неподвижно возлѣ него съ готовой рамкеткой, подхватывалъ ихъ на-лету. Въ непродолжительномъ времени я поймалъ около двадцати новыхъ экземпляровъ; трудно было опредѣлить ихъ названія по Блуменбаху, какъ мы ни хлопотали надъ нимъ вмѣстѣ съ сестрой. Не ручаюсь даже за точность именъ, принятыхъ мною по нѣкоторымъ признакамъ и сходству въ описаніи. Я заимствовалъ ихъ изъ нашего нѣмецкаго руководителя и они казались мнѣ тогда вѣрными. Разкажу о самыхъ замѣчательныхъ бабочкахъ по порядку, какъ онѣ мнѣ доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать къ породѣ не настоящихъ сумеречныхъ бабочекъ, потому что признаки въ ней были смѣшанные. Мнѣ казалось, что ее можно отнести къ одному изъ многочисленныхъ видовъ моли, принадлежащихъ къ породѣ ночныхъ бабочекъ; но въ описанныхъ у Блуменбаха ее нѣтъ, да она и крупна для породъ моли. Это была бабочка нѣсколько менѣе среднихъ, но и не маленькая; крылушки у ней круглыя, какъ снѣгъ бѣлыя, покрытыя длиннымъ пухомъ, который на головѣ, спинкѣ и брюшкѣ еще длиннѣе; на этомъ бѣломъ пуху ярко выдаются черные, какъ уголь, глазки, такого же цвѣта длинный волосяной хоботокъ, толстые усики и ножки [1]). Когда я увидѣлъ ее въ первый разъ, тихо вьющуюся около какого-то дерева въ лѣсу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумалъ, что это летаетъ пухъ въ душномъ, недоступномъ продольному вѣтерку, лѣсномъ воздухѣ. Но когда въ другой разъ увидѣлъ я эту точно косматую пушинку, прильнувшую къ древесному листку, тогда, подойдя поближе, къ великой моей радости, я разглядѣлъ, что это бабочка. Много предстояло мнѣ хлопотъ. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ея пушистыхъ крылушекъ. Вторую бабочку поймалъ я и назвалъ по Блуменбаху Иперантъ (Hyperanthus). Она принадлежала по величинѣ къ породѣ среднихъ бабочекъ; на всѣхъ ея четырехъ темносизыхъ, вырѣзныхъ, угольчатыхъ крыльяхъ находятся бѣленькія точки, а на изнанкѣ нижнихъ крыльевъ по три свѣтлыхъ очка или кружечка: она была довольна кра-

[1]) Н. П. В. полагаетъ вѣроятнымъ, что это была Ивовая сумеречная бабочка (Liparis Salicis). *С. А.*

сива, или, правильнѣе сказать, необыкновенна. Потомъ поймалъ я Атропу или Мертвую Голову; въ ея названіи ошибиться нельзя—признакъ слишкомъ очевиденъ: возлѣ самой ея головки, на спинкѣ, находится нѣчто похожее на человѣческій черепъ и двѣ кости, сложенныя подъ нимъ крестообразно. Верхнія крылья у нея свѣтлобурыя, а заднія желтыя, съ двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое съ черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха въ числѣ сумеречныхъ бабочекъ, но мы признавали ее за ночную, по величинѣ ея крыльевъ и толщинѣ туловища [1]). Очень была красива узоромъ и замѣчательна относительной величиной своей *Настоящая сумеречная бабочка*, у которой крылушки верхнія и нижнія были совершенно клѣтчатыя: кофейныя клѣточки лежали по бѣлому полю. Маленькія въ этомъ родѣ бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встрѣчалъ. Она ночью залетѣла въ комнату моей сестры и усѣлась очень низко въ углу. Я замѣтилъ ее поутру и подумалъ, что это лоскуточекъ клѣтчатаго ситца или кисеи присталъ какъ нибудь къ стѣнѣ — и Боже мой, какъ обрадовался, когда разглядѣлъ, что это бабочка! У Блуменбаха ее вовсе нѣтъ. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся свѣтло-бурая, у которой на крыльяхъ лежала діагональная полоса бѣловато-розоваго цвѣта, такъ что когда я разложилъ ее и поднялъ вверхъ длинноватыя и угловатыя ея крылья, то конецъ перевязки на верхнемъ сошелся съ началомъ перевязки на нижнемъ крылѣ и они составили бы треугольникъ, еслибы продолжить ихъ сходящіеся концы. У Блуменбаха есть нѣкоторое сходство съ нею въ описаніи *Огородной ночной бабочки*. Впрочемъ, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольникъ. Но самыми драгоцѣнными пріобрѣтеніями, изъ которыхъ каждое въ свою очередь привело меня въ восторгъ, были двѣ бабочки: Кавалеръ *Махаонъ* и Большой Павлинъ. Вотъ какимъ образомъ достались мнѣ эти сокровища. Шелъ я однажды по изсохшему руслу рѣчки Майны и увидѣлъ въ небольшомъ углубленіи, вѣроятно высохшаго отъ жаровъ, родничка, дно котораго было еще мокровато, цѣлую кучу бѣлыхъ, простыхъ капустныхъ бабочекъ. Многія

[1]) Очевидно, что мы ошибались: въ числѣ ночныхъ бабочекъ находятся самыя мелкія породы моли. *С. А.*

изъ нихъ лежали уже мертвыя или умирали, другія сидѣли въ кучкѣ, сложивъ свои крылья, ползали, но уже не летали, остальныя вились надъ ними. Подобныя явленія для меня были не новость. Я видѣлъ, какъ нѣкоторыя породы бабочекъ, какъ напримѣръ бѣлыя маленькія, голубыя и маленькія же свѣтло-коричневыя, съ точками на заднихъ крыльяхъ, собираются въ кучи, чтобы вмѣстѣ умирать [1]). Я подошелъ однако изъ любопытства, потому что подобныя необъяснимыя явленія всегда любопытны. Вдругъ вижу, что въ числѣ сидящихъ и ползающихъ сидитъ одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее разсмотрѣть—и пришелъ въ такой восторгъ, который трудно передать моимъ читателямъ. Эта бабочка была Кавалеръ, и не Подалиріусъ, потому что широкія сверху и узенькія внизу, поперечныя черныя полосы ясно изображались и на исподней сторонѣ ея верхнихъ крыльевъ, чего совсѣмъ нѣтъ у Подалиріуса, да и концы шпоръ были совершенно другіе. Итакъ, это Кавалеръ Махаонъ!... Необычайность такого счастія отуманила меня... Какъ бы для полнаго моего удостовѣренія, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила ихъ. По рисункамъ и по одному экземпляру у Фукса, я зналъ хорошо отличительныя особенности Махаона, и у меня не осталось сомнѣнія, что это онъ. Я накрылъ его поспѣшно рампеткой, и, успокоившись отъ волненія, вздохнувъ свободнѣе, сталъ думать, какъ бы взять бережнѣе мою драгоцѣнную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтобъ она взлетѣла и чтобъ я могъ завернуть ее въ мѣшечкѣ рампетки; но она не двигалась съ мѣста. Тутъ я догадался, что она находится въ такомъ же полусонномъ или болѣзненномъ предсмертномъ состояніи, какъ и окружавшія ея бѣлыя бабочки; я подпустилъ правую руку подъ рампетку, преспокойно взялъ двумя пальцами Кавалера за грудку, сжалъ и, не выпуская изъ рукъ, поспѣшилъ домой. Раскладывая Махаона, я къ

---

[1]) Такая необъяснимая особенность замѣчается и въ другихъ породахъ животныхъ: я читалъ, что слоны имѣютъ общее кладбище. Во время жемора на зайцевъ, я самъ нахаживалъ до десятка заячьихъ труповъ, иногда на одной небольшой полянкѣ. Вотъ какъ объясняетъ это явленіе г. Вагнеръ: „Бабочки собираются около лужицъ, сырыхъ мѣстъ по дорогамъ и пьютъ воду. Многія изъ нихъ прилетаютъ послѣ акта оплодотворенія, за которымъ у самцевъ непосредственно слѣдуетъ смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившія яйца), мучимые жаждою, слетаются къ лужамъ и оканчиваютъ здѣсь свою жизнь“. *С. А.*

моему огорченію увидѣлъ, что верхняя сторона лѣваго нижняго крыла была потерта. Вообще, при внимательномъ разсмотрѣніи можно было замѣтить, что бабочка уже много жила и много потеряла цвѣтной своей пыли, слѣдовательно потеряла яркость и свѣжесть своихъ красокъ, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалеръ Махаонъ могъ назваться драгоцѣнной добычей.

Здѣсь я считаю кстати объяснить недоразумѣніе, въ которомъ мы находились тогда относительно обоихъ Кавалеровъ, то-есть Подалиріуса и Махаона.

Имѣя въ рукахъ Блуменбаха, Озерецковскаго и Раффа (двое послѣднихъ тогда были извѣстны мнѣ и другимъ студентамъ, охотникамъ до натуральной исторіи), имѣя въ настоящую минуту передъ глазами высушенныхъ и нарисованныхъ Кавалеровъ, разсмотрѣвъ все это съ особеннымъ вниманіемъ, я увидѣлъ странную ошибку: Махаона мы называли Подалиріусомъ, а Подалиріуса—Махаономъ. Правда, что съ перваго взгляда они нѣсколько похожи другъ на друга; но не сходство этихъ бабочекъ, а профессоръ Фуксъ ввелъ насъ въ это заблужденіе. Онъ назвалъ Махаона Подалиріусомъ, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описаніе Блуменбаха, Озерецковскаго и Руффа. И такъ первые Кавалеры, пойманные Тимьянскимъ и мною, были Махаоны. Вотъ описаніе послѣдняго съ натуры, по возможности подробное и точное. Махаонъ принадлежитъ къ числу крупныхъ нашихъ бабочекъ; крылья имѣетъ не круглыя, а довольно длинныя и остроконечныя, по желтому основанію испещренныя черными пятнами, жилками и клѣтками; переднія крылья перевиты по верхнему краю тремя черными, короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой коймѣ, лежатъ отдѣльно, въ видѣ оторочки, желтые полукружечки, числомъ восемь; къ туловищу, къ корнямъ крыльевъ, примыкаютъ черные углы въ полпальца шириною; вездѣ по желтому полю разсыпаны черныя жилки, а всѣ черныя мѣста какъ будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижнія крылья овально-кругловаты, по краямъ вырѣзаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, съ шестью желтыми полукружечками, болѣе крупными, чѣмъ на верхнихъ крыльяхъ; непосредственно за ними слѣдуютъ черныя, широкія, дугообразныя полосы, также съ шестью, но уже синими кружками, неясно отдѣляющимися; седьмой

кружекъ, самый нижній, красно-бураго цвѣта, съ бѣлымъ оттѣнкомъ къ верху, послѣ второго желтаго кружечка снизу, или какъ будто изъ него, идутъ длинные, черные хвостики, называемые шпорами, на которыя они очень похожи. Подалиріусъ же цвѣтомъ также желтый, но гораздо блѣднѣе, съ черными пестринками, на верхнихъ своихъ крыльяхъ имѣетъ широкія, сначала черныя перевязки, идущія съ верхняго края до нижняго, но внизу оканчивающіяся уже узенькой ниточкой; на нижнихъ крыльяхъ у Подалиріуса лежатъ кровавые, небольшіе ободочки, съ синей серединой; синею же каймою оторочены нижнія крылья съ наружнаго края; шпоры имѣетъ такія же длинныя и черныя съ желтыми оконечностями. Вообще Подалиріусъ въ объемѣ уже Махаона. Для меня онъ даже красивѣе.

Ночная бабочка Павлинъ, рѣдкой величины и красоты, залетѣла ко мнѣ сама. Недѣли за двѣ до моего отъѣзда, были у насъ гости. Часовъ въ девять вечера всѣ сидѣли въ гостиной около самовара и пили чай: моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окна были открыты; четыре свѣчи горѣли въ комнатѣ. Взглянувъ нечаянно вверхъ, я увидѣлъ на самомъ потолкѣ мелькающую тѣнь отъ чего-то летающаго. Я сейчасъ подумалъ, что это летучая мышь: ихъ водилось тамъ очень много и онѣ часто по вечерамъ влетали на огонь въ горницы. Мать моя имѣла къ нимъ непреодолимое отвращеніе, и я хотѣлъ уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгонимъ незванную гостью. Но вглядѣвшись попристальнѣе, я замѣтилъ, что это была не летучая мышь, а бабочка: бабочка огромная и непремѣнно почная. Я поднялъ страшный крикъ и бросился затворять двери и окна. Всѣ были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь отъ волненія, указывая вверхъ рукою, умоляющимъ голосомъ выговорилъ: „бабочка, огромнѣйшая, чудеснѣйшая бабочка! позвольте мнѣ ее поймать“... всѣ расхохотались, и мать, знавшая мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мнѣ поймать залетѣвшую къ намъ бабочку, *огромнѣйшую и чудеснѣйшую*, по моимъ словамъ. Но это было не такъ легко сдѣлать. Она летала подъ самымъ потолкомъ и садилась иногда отдыхать на карнизѣ. Я сбѣгалъ за самой длинной рампеткой, поставилъ на столъ стулъ и вскарабкался на него. Мать ушла съ гостями въ залу, чтобы я могъ возиться на просторѣ, а сестра

и отецъ остались помогать мнѣ. Отецъ придерживалъ стулъ, на которомъ я стоялъ, а сестрица взлѣзла на столъ и, держа въ рукахъ двѣ горящія свѣчи(остальныя двѣ мы потушили), вытянувъ руки вверхъ и стоя на цыпочкахъ, свѣтила мнѣ и приманивала бабочку на огонь. Распоряженія мои увѣнчались успѣхомъ: бабочка стала кружиться около меня и я скоро поймалъ ее. Это была бабочка Большой Павлинъ, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и какъ я былъ счастливъ тогда! Объ огромномъ Павлинѣ, какъ о великой рѣдкости, наслышался я отъ Фукса; безъ всякаго сомнѣнія, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описаніе ея совершенно недостаточно, а въ отношеніи къ образованію крыльевъ вовсе не вѣрно. Вотъ его описаніе: „Ночная бабочка Павлинъ (Pavonia) съ гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленныя, сѣровато-мутныя, съ нѣкоторыми (?) повязками, а на нихъ нѣсколько прозрачныхъ глазокъ“. Пойманная же мною бабочка, признанная впослѣдствіи за настоящаго Большого Павлина [1]) и профессоромъ Фуксомъ, имѣла крылья не округленныя, а нѣсколько продолговатыя и по краямъ съ маленькими, чуть замѣтными вырѣзками. Пожалуй, можно ихъ назвать сѣровато-мутными, но это не даетъ настоящаго понятія о цвѣтѣ ея крыльевъ; они были прекраснаго цвѣта, съ темноватыми и бѣловатыми по краямъ полосками или струями, съ оттѣнками и переливами такого красиваго узора, что можно было на нихъ заглядѣться. Нижнія крылья были также хороши, но какого-то мутнаго, пепельнаго цвѣта; на всѣхъ четырехъ крыльяхъ находилось по большому кружку или глазку, блиставшему цвѣтомъ павлиныхъ перьевъ, то есть глазковъ, находящихся на длинныхъ перьяхъ въ хвостѣ самца павлина, отчего, вѣроятно, и бабочка названа Павлиномъ. Исподъ крыльевъ просто сѣрый, съ бѣлыми жилками, но глазки обозначались и тамъ очень красиво, хотя не такъ ярко, съ примѣсью блѣдно-пунцоваго цвѣта, котораго на верхней сторонѣ совсѣмъ не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневномъ свѣтѣ, но я побоялся отложить эту операцію по двумъ причинамъ: если Павлинъ умретъ отъ сжатія грудки, то можетъ высохнуть къ утру [2]);

[1]) Бабочекъ Павлиновъ находится три рода: большой, средній и малый. *G. A.*

[2]) Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухихъ бабочекъ, размачивая ихъ надъ сырымъ пескомъ въ закрытомъ сосудѣ. *G. A.*

если же отдохнетъ, то станетъ бйться и можетъ стереть цвѣтную пыль съ своихъ крыльевъ. И такъ я рѣшился разложить ее сейчасъ, зажегъ нѣсколько свѣчъ и въ присутствіи всѣхъ гостей и моего отца, смотрѣвшихъ съ любопытствомъ на мою работу, благополучно разложилъ чудеснаго Павлина.

Само собою разумѣется, что у меня давно уже былъ сдѣланъ прекрасный ящикъ со стекломъ, оклеенный внутри бѣлою бумагою, съ мягкимъ липовымъ дномъ для удобнаго втыканія булавокъ съ бабочками. Мало-по-малу ящикъ наполнился, по истинѣ, прекрасными и даже рѣдкими экземплярами бабочекъ; но теперь предстоялъ вопросъ: какъ его довезти до Казани на почтовыхъ, въ ямской кибиткѣ? Булавки могутъ повыскакать отъ тряски и тогда одинъ вывалившійся экземпляръ перепортитъ множество другихъ. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящикъ въ рукахъ; ѣзды было всего сутки, можно ночку и не поспать!

13-го августа утромъ я уже скакалъ по казанской дорогѣ, именно съ ящикомъ въ рукахъ. На каждой станціи я пробовалъ, крѣпко ли держатся булавки. Бодро не спалъ всю ночь, и только на другой день поутру уступилъ просьбамъ моего Евсеича, который, вызвавшись подержать моихъ бабочекъ, уговорилъ меня „соснуть часокъ-другой“. Къ обѣду пріѣхалъ я благополучно въ Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не пріѣзжали. Я немедленно отправился въ университетъ, разумѣется, съ ящикомъ бабочекъ. Я нашелъ Тимьянскаго выздоравливающимъ отъ болѣзни. Онъ, бѣдный, прохворалъ почти все лѣто лихорадкой. Наши бабочки, хранившіяся въ библіотекѣ, и хризалиды и гусеницы находились въ совершенномъ порядкѣ: во все это время неусыпно смотрѣлъ за ними Кайсаровъ,—я не зналъ, какъ и благодарить его! Почти всѣ червяки превратились въ хризалиды, а остальные померли, многіе изъ прежнихъ хризалидъ превратились въ бабочекъ; замѣчательныхъ не оказалось; но всѣ до одной были разложены. Мое деревенское собраніе бабочекъ привело въ восхищеніе Тимьянскаго, Кайсарова и другихъ студентовъ, принимавшихъ болѣе или менѣе участіе въ этомъ дѣлѣ. Почти всѣ студенты, уѣзжавшіе на вакацію, воротились къ 15-му августа, потому что 16-го начинались лекціи. Собраніе насѣкомыхъ Тимьянскаго мало пріобрѣло новаго со времени моего отъѣзда: сколько отъ его болѣзни, столько и отъ того, что ближайшія окрестности Казани не представ-

ляли особенныхъ удобствъ къ добыванію новыхъ разнообразныхъ и рѣдкихъ насѣкомыхъ. Что же касается бабочекъ, то не оставалось никакого сомнѣнія, что наше съ Панаевымъ собраніе, не принимая въ разсчетъ того, что привезъ мой товарищъ, было несравненно лучше собранія Тимьянскаго. Съ мучительнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я возвращенія друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажетъ онъ, взглянувъ на моихъ бабочекъ? Я безпрестанно посылалъ узнавать, не пріѣхали ли Панаевы, и самъ нѣсколько разъ ѣздилъ освѣдомляться о томъ же. Наконецъ 15-го августа вечеромъ прислали сказать мнѣ изъ дому Панаевыхъ, что „молодые господа сейчасъ пріѣхали“—и черезъ нѣсколько минутъ я былъ уже на Черномъ Озерѣ. Ящикъ съ бабочками, конечно, былъ со мною; но я завязалъ его платкомъ, чтобъ показать вдругъ съ большимъ эффектомъ тогда уже, когда общее вниманіе будетъ устремлено безъ помѣхи на мои драгоцѣнныя пріобрѣтенія. Послѣ первыхъ радостныхъ объятій и восклицаній, мы оба съ Александромъ въ одинъ голосъ спросили другъ друга: „ну, что же ты привезъ?“ Я отвѣчалъ многозначительно, что „привезъ кое-что, чѣмъ онъ будетъ доволенъ“. Панаевъ отвѣчалъ въ такомъ же родѣ съ самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпѣли и всѣ четверо вдругъ начали разсказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, „конечно, ничего подобнаго нѣтъ“.—„Ну такъ показывайте“, сказалъ я.—„Нѣтъ, покажи напередъ ты!“ возразилъ Панаевъ. Въ такихъ перекорахъ прошло нѣсколько минутъ. Наконецъ я уступилъ и открылъ свой ящикъ. Панаевы были поражены, уничтожены; Александръ въ радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалиріуса, и Павлина никто не ожидалъ. „Ну, сказалъ Александръ Панаевъ, разсмотрѣвъ внимательнѣе моихъ бабочекъ:—послѣ этого нашихъ нечего и показывать! Да и какъ ты сталъ хорошо раскладывать, не хуже меня!“ прибавилъ онъ. Но это было несправедливо. Я сталъ лучше прежняго раскладывать—это правда; до Панаева же мнѣ было далеко. Послѣ онъ разглядѣлъ, да я и самъ указалъ ему многіе мои грѣхи, происшедшіе отъ неловкости и нетерпѣнія. Наконецъ Александръ принесъ свой ящикъ. Цѣльность экземпляровъ, красота и чистота раскладки по истинѣ были изумительны; но, конечно, такихъ рѣдкихъ бабочекъ, какъ Махаонъ и Павлинъ, у него не было. Онъ привезъ

около двухъ десятковъ новыхъ экземпляровъ и нѣсколько дубликатовъ прежнимъ нашимъ бабочкамъ въ превосходнѣйшемъ видѣ. Лучшія бабочки его были слѣдующія: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (Polichloros) по Блуменбаху, значительной величины; она имѣла крылья угловатыя, желтокрасныя, съ черными пятнами; на верхнихъ крыльяхъ сверху находились четыре черныя, крупныя точки, идущія отъ конца крылушка къ туловищу. Она имѣла нѣкоторое сходство съ крапивной бабочкой. Другая денная бабочка, которую съ грѣхомъ пополамъ мы назвали Пафія, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имѣла зубчатыя, оранжево-желтыя, съ темно-синими блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но „съ-исподи на крыльяхъ серебряныхъ поперекъ чертъ“, какъ пишетъ Блуменбахъ, никакихъ не оказалось. Впрочемъ, это могло происходить отъ случайной причины. Изъ ночныхъ, замѣчательными можно было назвать двухъ бабочекъ: одна изъ нихъ Антиква, довольно большая, имѣвшая крылья очень плоскія, *хорошаго*, то есть, яркаго темно-краснаго цвѣта; на переднихъ или верхнихъ ея крыльяхъ, у задняго угла, находилось по бѣлой лункѣ или пятну. Другая новая бабочка, признанная всѣми за Смородинную Геометру (Crossula ariata), имѣла крылья бѣлесоватыя, испещренныя кругловатыми черными пятнышками; на переднихъ крыльяхъ были замѣтны желтыя черточки или желтыя оторочки черныхъ крапинокъ. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречныя бабочки. Первую изъ нихъ признали мы по Блуменбаху за Сфинкса (Celerio): у ней были верхнія сѣрыя и дымчатыя крылья съ продольною чертою, или лучше сказать, двумя чертами, вмѣстѣ соединенными: одна половина черты была черная, а другая бѣлая, заднія крылушки къ корню или туловищу были красныя, каждое съ шестью точками или пятнышками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится въ виноградѣ; но тамъ, гдѣ его нѣтъ, вѣроятно она водится по другимъ кустарникамъ или растеніямъ [1]). Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (Stellatarum), по необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и заднимъ красновато-желтымъ крылушкамъ; верхнія же

[1]) Бабочка эта, то есть Сфинксъ, Celerio, не водится въ Россіи, по словамъ г. Вагнера. И такъ надобно предположить, что мы приняли за нее какого нибудь другого Сфинкса. *С. А.*

крылья не сходны съ описаніемъ Блуменбаха: они не бѣлыя и черныя, какъ онъ говоритъ, а самаго простого сѣраго цвѣта, какъ у всѣхъ обыкновенныхъ свѣчныхъ, ночныхъ бабочекъ. Остальныхъ сумеречныхъ, тоже очень красивыхъ, не часто попадающихся бабочекъ, пойманныхъ Панаевымъ, мы опредѣлить и назвать не могли.

Когда мы соединили наши четыре ящика и привели ихъ въ надлежащій порядокъ, то есть, расположили бабочекъ по родамъ, выставили нумера, составили регистръ съ названіями и описаніями, то по истинѣ наше собраніе можно было назвать превосходнымъ во многихъ отношеніяхъ, хотя, конечно, не полнымъ. Всѣ студенты соглашались безпрекословно, и уже не было никакого спора, чье собраніе лучше: наше или Тимьянскаго. Можно сказать, что мы съ Панаевымъ торжествовали.

Между тѣмъ начались лекціи, и я, чувствуя себя нѣсколько отставшимъ, потому что съ самой весны слишкомъ много занимался бабочками, принялся съ жаромъ догонять моихъ товарищей, Панаевъ тоже. Черезъ недѣлю однако мы рѣшились съ нимъ, по старой привычкѣ и неостывшей еще охотѣ, выйти за городъ, чтобы посмотрѣть, не попадется ли намъ какая-нибудь новая, неизвѣстная порода бабочекъ. Но не только не попалось намъ новой, даже извѣстныхъ бабочекъ встрѣтилось мало, потому что наступилъ уже конецъ августа и погода очень похолодѣла. Съ этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время отъ учебныхъ занятій мы посвятили литературѣ, съ великимъ жаромъ издавая письменный журналъ, подъ названіемъ: „Журналъ нашихъ занятій“. Я же сверхъ того сильно увлекся театромъ. У насъ въ университетѣ составлялись спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй планъ, но мы съ Панаевымъ еще каждый день смотрѣли ихъ, любовались ими, вспоминали съ удовольствіемъ, какъ доставались намъ лучшія изъ нихъ, и какъ мы были тогда счастливы. Потомъ эти воспоминанія день ото дня становились рѣже и блѣднѣе. Бабочки забывались понемногу и страсть ловить и собирать ихъ начала казаться намъ слишкомъ молодымъ или дѣтскимъ увлеченіемъ. Такъ казалось особенно мнѣ, который былъ привязанъ къ этой охотѣ несравненно горячѣе и страстнѣе Панаева.

Въ непродолжительномъ времени судьба моя была рѣшена моимъ отцемъ и матерью: черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ началѣ 1807 года, я долженъ былъ выйти изъ университета для поступленія въ статскую службу въ Петербургъ.

Въ университетѣ въ это время царствовалъ воинственный духъ. Большая часть казенныхъ студентовъ желала, хотя безнадежно, вступить въ военную службу, чтобъ принять личное и дѣятельное участіе въ войнѣ съ Наполеономъ. Другъ мой Александръ Панаевъ съ братомъ своимъ Иваномъ, нашимъ университетскимъ лирикомъ, также воспламенились браннымъ жаромъ и рѣшились выйти немедленно изъ университета и опредѣлиться въ кавалерію. Они ожидали согласія матери. Воинственному настроенію въ Казанскомъ университетѣ была особенная причина, кромѣ любви къ отчизнѣ и любви къ народной славѣ. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петръ Семеновичъ Балясниковъ. Онъ былъ отличный студентъ по математикѣ; пылкій, неустрашимый, предпріимчивый и въ то же время человѣкъ съ желѣзной волей—онъ бы надѣлалъ много славнаго, если бы смерть не пресѣкла рановременно его жизни. При переправѣ Наполеона черезъ Березину, Балясниковъ былъ уже полковникомъ и командовалъ батареей конной артиллеріи; онъ простудился и умеръ горячкой. Этотъ-то Балясниковъ, всегда имѣвшій сильное вліяніе на своихъ товарищей, воспламенялъ теперь всѣхъ воинскимъ жаромъ. Онъ увлекъ даже и тѣхъ, которые, повидимому, не имѣли и, по своему слабому здоровью и мирному настроенію духа, не могли имѣть никакого расположенія къ военной службѣ. Никто, конечно, не думалъ, чтобы маленькій, тщедушный Михайло Ѳоминъ, студентъ необыкновенно умный, дѣльный, тихій, преимущественно занимавшійся литературою, или дорогой мой товарищъ по театру, необыкновенный комическій талантъ, тоже худощавый и кроткій по своимъ наклонностямъ, Петръ Зыковъ—пошли въ военную службу! Но именно такъ случилось на дѣлѣ. Тимьянскій и Кайсаровъ остались однако вѣрными своему ученому назначенію.

Прежде поступленія на службу въ Петербургѣ, мнѣ предстояло еще встрѣтить весну въ деревнѣ, въ моемъ любимомъ Аксаковѣ. Прилетъ птицы приводилъ меня въ восторгъ при одномъ воспоминаніи о той веснѣ, которую я провелъ тамъ, будучи еще восьмилѣтнимъ мальчикомъ; но теперь, когда я

могъ встрѣтить весну съ ружьемъ въ рукахъ, прилетъ птицъ казался мнѣ такимъ желаннымъ и блаженнымъ временемъ, что дай только Богъ терпѣнья дожить до него и силъ пережить его. При такомъ настроеніи, не было уже мѣста бабочкамъ въ мечтахъ и желаніяхъ, кипѣвшихъ въ то время въ моей головѣ и душѣ. Сначала я подарилъ свою половину бабочекъ Панаеву, Панаевъ же подарилъ мнѣ прекрасные рисунки лучшихъ изъ нихъ, снятыхъ имъ съ натуры съ большимъ искусствомъ и точностью; а какъ потомъ Панаевъ задумалъ въ военную службу, то мы отдали бабочекъ въ вѣчное и потомственное владѣніе Тимьянскому. Остались ли онѣ его собственностью или онъ пожертвовалъ ихъ въ университетскій кабинетъ натуральной исторіи? — ничего не знаю.

Быстро, но горячо прошла по душѣ моей страсть—иначе я не могу назвать ее—ловить и собирать бабочекъ. Она доходила до излишествъ, до крайности, до смѣшного; можетъ быть, на нѣсколько мѣсяцевъ она помѣшала мнѣ внимательно слушать лекціи... но нужды нѣтъ! Я не жалѣю объ этомъ. Всякое безкорыстное стремленіе, напряженіе силъ душевныхъ, нравственно полезно человѣку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминаніе этого времени, многихъ счастливыхъ, блаженныхъ часовъ. Ловля бабочекъ происходила подъ открытымъ небомъ, она была обстановлена разнообразными явленіями, красотами, чудесами природы. Горы, лѣса и луга, по которымъ бродилъ я съ рампеткою; вечера, когда я подкарауливалъ сумеречныхъ бабочекъ, и ночи, когда на огонь приманивалъ я бабочекъ ночныхъ, какъ будто не замѣчались мною; все вниманіе, казалось, было устремлено на драгоцѣнную добычу; но природа, незамѣтно для меня самого, отражалась на душѣ моей вѣчными красотами своими, а такія впечатлѣнія, ярко и стройно возникающія впослѣдствіи,— благодатны, и воспоминаніе о нихъ вызываетъ отрадное чувство изъ глубины души человѣческой.

Москва. Петровскій Паркъ.
1858 года, 21 іюля.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Оглавленіе четырехъ нумеровъ журнала:

„АРКАДСКІЕ ПАСТУШКИ“, 1804 ГОДА.

(Къ страницѣ 320).

Мѣсяцъ мартъ:

„Осень“ (стихи Ириса). „Нынѣшняя дружба“ (стихи Ириса). „Швейцарія въ Казани“ (проза Дафниса). „Стихи къ Н...“ съ французскаго (Дафниса). „Письмо къ другу“ (стихи Аминта). „Къ кокеткамъ“ (стихи Ириса). „Лиса и курятникъ“, басня въ стихахъ (Ириса). „Черта изъ жизни Генриха IV-го“ съ французскаго (проза Нереиса).

Мѣсяцъ май:

„Тоска по родныхъ“ (стихи Ириса). „Чувствованіе на послѣдній день 1804 года“ (проза*...). „Моя слава — слава Россовъ“ (стихи Ириса). „Сонета изъ Петрарка“ (проза...). „Похвала женщинамъ“ (стихи Ириса). „Черта изъ жизни Генриха IV-го“ (проза, съ французскаго, Нереиса). „Прощаніе“ (проза Дафниса).

Мѣсяцъ іюнь:

Ода Государю Императору Александру Павловичу, по случаю извѣстія объ основаніи университета въ Казани

(Ириса). „Новый годъ“ (проза Меналка). „Гласъ надежды“ (стихи неизвѣстнаго). „Прогулка“ (проза Аминта). „Житель береговъ Біотійскихъ“ (проза Дамона).

Мѣсяцъ августъ:

Ода „Раздоръ“ (стихи Беліандра). „Деревенскія удовольствія“ (проза Палемона). „Мое счастіе“ (стихи Палемона). „Осень“ (стихи Палемона). „Путешествіе въ Болгары“ (проза Дафниса). „Святки“ (стихи Палемона).

Такого же рода піесы составляли содержаніе и другихъ нумеровъ; вотъ нѣкоторые отрывки стиховъ и прозы.

ИЗЪ ОДЫ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ.

Воззри, монархъ, Ты на блаженство
Россіи и сыновъ Твоихъ;
Во всемъ Ты узришь совершенство.
Но мало, мало словъ моихъ,
Чтобы всю истину представить
И такъ какъ должно бы прославить
Творца блаженства, счастья ихъ.
Ты намъ въ Себѣ его являешь
И радость въ сердцѣ ощущаешь
Въ награду добрыхъ дѣлъ Своихъ.

*

Подъ мирною Твоей державой
Цвѣтетъ обиліе вездѣ:
Ужъ грады большей блещутъ славой,
Ужъ недостатковъ нѣтъ нигдѣ.
Ты снялъ невѣжества оковы,
Ты храмы музамъ зиждешь новы,
И покровительствуешь имъ.

Ирисъ (*Иванъ Панаевъ*).

ОСЕНЬ.

Минуло красное лѣто;
Мрачная осень,
Крылья расширя, несется
Съ юга на сѣверъ.

Бурно ея дуновенье
Все премѣняетъ;
Въ нашихъ странахъ пожелтѣли
Листья зелены;
Травки, цвѣточки поблекли,
Скрылися птички,
Лишь облака темносизы
Носятся бурей.
Скоро природа надѣнетъ
Бѣлую ризу.
Все успокоится, снова
Чтобъ обновиться весною.
Лишь человѣкъ невозвратно
Вянетъ навѣки...
Нѣтъ, мы умремъ, но въ надеждѣ
Лучшія жизни.

Палемонъ (*Петръ Алехинъ*).

ШВЕЙЦАРІЯ ВЪ КАЗАНИ.

„Въ концѣ минувшаго лѣта, вставши гораздо ранѣе обыкновеннаго, я пошелъ ходить по окрестностямъ Казани, имѣя съ собою незабвеннаго Карамзина, и—въ задумчивости зашелъ въ мѣста совсѣмъ мнѣ неизвѣстныя,— останавливаюсь и... удивляюсь пріятному мѣстоположенію... потомъ сажусь отъ усталости на мураву,—вынимаю изъ кармана Письма русскаго путешественника,—раскрываю и... начинаю читать... въ мысляхъ своихъ странствую съ нимъ по городамъ Швейцаріи, останавливаюсь у пастуховъ для подкрѣпленія себя пищею, они подаютъ мнѣ молоко, сыръ, плоды... Постой, блуждающее воображеніе! Ты завело сѣвернаго жителя слишкомъ далеко, въ счастливыя страны Гельвеціи! Ахъ! я въ Казани... Пріятная мечта, ты исчезаешь, ты увлекаешь за собою тѣ прелестные, неподражаемые ландшафты величественной натуры, коими ты недавно питала мою душу!... .

Тутъ я перестаю читать, сравниваю описаніе Швейцаріи съ сими мѣстами и... кажется, нахожу нѣкоторое сходство; кажется, вижу тотъ *чортовъ мостъ*, тѣ стремнины, гдѣ безсмертный по своимъ побѣдамъ Россійскій Геркулесъ переходилъ съ войскомъ, пылающимъ усердіемъ и ревностью къ своему отечеству, подвергающимъ себя охотно опасностямъ

и бѣдствіямъ въ чужой землѣ, на неприступныхъ горахъ, окруженныхъ отовсюду пропастями;—но Россы не страшились, съ ними былъ мужественный, отважный Константинъ! Съ ними былъ непобѣдимый Суворовъ!

Далѣе, встаю, осматриваю прочія мѣста, и мнѣ представляется, что я стою на землѣ, принадлежащей отечеству храбраго патріота, Вильгельма Телля!... Долго я ходилъ тутъ, восхищаясь часъ отъ часу различными видами... но наконецъ величественный царь міровъ совершилъ полдневное свое теченіе... Стало жарко! и... я рѣшился возвратиться домой обѣдать. Положивъ въ карманъ милаго моего спутника [1]), спѣшилъ по узенькой тропинкѣ, которая пролегала между двухъ глубокихъ пропастей, и дивился самъ себѣ, какъ могъ я, будучи занятъ другими предметами, пройти по ней такъ счастливо!.. По дорогѣ мнѣ попадались разныя березки, расположенныя самою натурою въ пріятномъ, плѣняющемъ видѣ, а иныя шли аллеей и составляли прекрасную перспективу. Я примѣтилъ, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ были надписи... вѣрно какой-нибудь чувствительный меланхоликъ, посѣщая сію несравненную окрестность Казани, написалъ ихъ!..

При окончаніи сей прогулки, принесшей столько для меня удовольствія, я разсказалъ друзьямъ моимъ; они, вмѣстѣ со мною, хвалили мѣста сіи, и съ общаго согласія мы назвали ихъ „*Казанской Швейцаріей*“.

Нереисъ (Николай Панаевъ).

Вотъ какимъ образомъ родилось названіе Швейцаріи въ окрестностяхъ Казани. Отыскавъ это гористое и живописное мѣстоположеніе позади урочища *Полека,* на которомъ стоялъ архіерейскій домъ, Александръ Панаевъ мнѣ первому сообщилъ объ этомъ открытіи. Наши разсказы привлекли другихъ, и гимназисты окрестили это мѣсто именемъ „Казанской Швейцаріи“. Теперь оно сдѣлалось любимымъ мѣстомъ гулянья для всего города. Тамъ настроены домики, бесѣдки, и, кажется, есть даже кондитерская; самое мѣсто раздѣлилось на два гулянья: одна половина называется нѣмецкою, а другая русскою Швейцаріею.—Вотъ еще отрывокъ изъ „Путешествія въ Болгары“.

---

[1]) Сочинитель называетъ милымъ своимъ спутникомъ книгу, которая съ нимъ тогда находилась.

Издатель.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ БОЛГАРЫ.

Жить такъ не далеко отъ Болгаръ, отъ такого достопамятнаго въ Россіи мѣста, жить и не побывать тамъ, было бы непростительно. Я очень любопытенъ, особенно на вещи такого рода, которыя съ удовольствіемъ осматриваю. Оставалось переѣхать Волгу, побѣдить пятнадцать верстъ и потомъ совершенно удовлетворить своему желанію. Я не утерпѣлъ, велѣлъ осѣдлать лошадь, простился и, переплывши бурливую стихію, поскакалъ по широкой дорогѣ болгарской,—березовыя рощицы поминутно мелькали въ глазахъ моихъ. Иныя подавались назадъ, а другія стремились впередъ, и, казалось, старались догнать меня; пространные луга, усѣянные разными цвѣточками, то показывались, то скрывались за мрачною густотою лѣса. Однимъ словомъ, предметы то и дѣло перемѣнялись въ виду моемъ, такъ что, не успѣвая бросить взгляда на одну сторону, принужденъ былъ тотчасъ обратить взоры на другую; но наконецъ я достигъ цѣли своего желанія—увидѣлъ Болгары—увидѣлъ издали тѣ величественныя готическія строенія, коимъ удивлялся всякій проѣзжающій. Увидѣлъ—и давъ шпоры моей лошади, въ одну минуту былъ уже подлѣ одного изъ минаретовъ. Я взглянулъ на верхъ онаго, и изумленнымъ взорамъ моимъ представился тотъ желѣзный обручъ, который былъ надѣтъ на него по повелѣнію мудраго Монарха нашего, великаго Петра. Сей знаменитый любитель древности хотѣлъ сохранить для поздняго потомства сію достопамятную древность. Долго я смотрѣлъ на этотъ памятникъ и любопытство мое часъ отъ часу возрастало. Я желалъ быть на самой вершинѣ сего столба,—желалъ видѣть Волгу, ея окрестности. Однимъ словомъ, желалъ быть тамъ, куда рѣдкіе, очень рѣдкіе, отваживались всходить,—Я зналъ, что многіе съ половины своего пути въ страхѣ возвращались назадъ. Я зналъ сіе и все еще хотѣлъ удовлетворить своему намѣренію;—видѣлъ, что столбъ уже покосился отъ времени,—видѣлъ и, сошедши съ лошади, направилъ шаги мои туда, куда влекло меня мое стремленіе. Нѣсколько разъ принимался я всходить на изломанную каменную лѣстницу;но какой-то необычайный трепетъ въ сердцѣ моемъ останавливалъ мое шествіе! Наконецъ я рѣшился, и по развалившимся ступенямъ пустился вверхъ, сопротивляясь всѣмъ препятствіямъ, встрѣчающимся мнѣ въ семъ трудномъ

пути. Иногда мнѣ надлежало карабкаться перпендикулярно по высунувшимся каменьямъ, а иногда обступаться и взбираться по отпавшимъ глыбамъ. Однако-же я успѣлъ преодолѣть всѣ опасности и—очутился на верхней площадкѣ минарета!.. Ахъ! какое зрѣлище представилось глазамъ моимъ! Съ одной стороны протекала вдали великолѣпная Волга, на хребтѣ коей въ разныхъ мѣстахъ показывались суда съ распущенными парусами. Правый берегъ рѣки сей ограничивался цѣпью утесистыхъ горъ, на отлогости коихъ, въ пріятной долинкѣ, видны были *Тетюши*, съ своею желтою церковью, съ другой-же пролегали обширныя поля, на которыхъ въ пріятномъ видѣ перемѣшаны были орѣховые кусточки и мрачныя руины. Ахъ! сей восхитительный ландшафтъ, конечно, стоилъ въ сію минуту неподражаемой кисти безсмертнаго Сальватора-Розы; и сколько бы могъ онъ собрать здѣсь прелестныхъ идей для своихъ пейзажей, достойныхъ удивленія и восторговъ. Такимъ образомъ, предаваясь различнымъ удовольствіямъ, которыя чувствовалъ, взирая на величественныя красоты натуры, я сѣлъ отдохнуть: солнце начинало склоняться къ западу и жаръ его не былъ уже тотъ жаръ знойнаго полудня, который опаляетъ молодыя растенія, который принуждаетъ нѣжныхъ овечекъ утолять свою жажду въ прозрачныхъ источникахъ, который повелѣваетъ безпечнымъ, скромнымъ пастухамъ искать убѣжища подъ сѣнью мирнаго крова шалашей своихъ; лучи его, играя въ серебристыхъ струяхъ тихаго источника, казалось, готовы были въ нихъ исчезнуть, и яркимъ своимъ блескомъ показывали приближеніе сумраковъ. Мнѣ хотѣлось еще побывать и у другихъ остатковъ царства Болгарскаго. Я всталъ съ своего мѣста, спустился внизъ и пошелъ далѣе по зелено-бархатному лугу, встрѣчая множество различныхъ цвѣточковъ, которые пріятнымъ своимъ видомъ такъ меня заняли, что я не чувствовалъ, какимъ образомъ приблизился къ такому же точно столбу, какой незадолго передъ симъ видѣлъ: но жалко, что верхъ его уже обрушился. Впрочемъ, онъ почти ничѣмъ не разнился отъ прежняго и лѣстница его въ такомъ же направленіи шла къ верху. По достовѣрнымъ преданіямъ народа и по нѣкоторымъ довольно справедливымъ догадкамъ другихъ, можно сказать утвердительно, что они служили нѣкогда Мусульманамъ тѣми возвышенными мѣстами, съ коихъ предвозвѣстники молитвы созывали ихъ въ мечеть!.. Въ мрачномъ, меланхолическомъ молчаніи удивлялся

я чудеснымъ древнимъ зданіямъ. Я взиралъ на окружающіе печальные, представшіе глазамъ моимъ предметы!.. Слѣды яростнаго, неумолимаго времени! Что можетъ устоять противъ острой, все погубляющей косы его? Что можетъ притупить острое лезвіе сего ужаснаго орудія?.. Вздохи тѣснили грудь мою—слезы сожалѣнія навертывались на глазахъ моихъ... Нѣкогда и я долженъ буду покориться сему неизмѣнному закону природы и составъ бреннаго моего тѣла также долженъ будетъ такъ разрушиться. Черныя тучи начинали покрывать горизонтъ и вѣтеръ часъ отъ часу усиливался... а я все еще, стоя на одномъ мѣстѣ, предавался въ безмолвіи моей задумчивости".

(Продолженіе впредь).

Адонисъ (Александръ Панаевъ).

Если немножко поправить эти строки, списанныя съ дипломатическою точностью, то онѣ ничѣмъ не будутъ хуже прозы Владиміра Измайлова и князя Шаликова, людей, которые въ свое время имѣли свою славу.

ОСЕНЬ.

Уже не раздаются
Пернатыхъ голоса,
Ихъ гнѣздышки не вьются,
Не падаетъ роса,

*

Котора оживляла
Предъ симъ поля и лѣсъ,
И свѣжесть разливала
Подъ чистый сводъ небесъ.

*

Ужъ нѣту и листочковъ
Совсѣмъ на деревахъ,
И миленькихъ цвѣточковъ
Не видно на поляхъ.

*

Лишь эхо раздается
Въ ущелинахъ горы,

Какъ быстрый токъ несется
Ручья черезъ бугры;
*
Какъ сильный дождикъ съ шумомъ
Творитъ изъ свѣта мракъ;
Или градъ крупный съ громомъ
Наводитъ нѣкій страхъ.
*
Какъ сильный вѣтеръ мчится,
Вертя засохшій листъ,—
Иль въ воздухѣ струится
Осенней птицы свистъ.
*
Земля оледенѣла,
Свирѣль совсѣмъ глуха
И крыша посѣдѣла
Избушки пастуха.
*
Лишь дымъ изъ трубъ курится,
На гумнахъ слышенъ цѣпъ—
Крестьянинъ всякой тщится
Въ амбаръ убрать свой хлѣбъ.
*
Ахъ, скоро ль обновится
Природа снова вся
И радость водворится
Опять съ весной въ меня!...
*
Но должно все съ терпѣньемъ
Всегда переносить,
Чтобъ съ большимъ утѣшеньемъ
Веселіе вкусить!..,

Ирисъ (*Иванъ Панаевъ*).

Иванъ Панаевъ славился у насъ впослѣдствіи одами, изъ коихъ нѣкоторыя, по тогдашнему времени, были очень не дурны; но къ сожалѣнію ихъ у меня нѣтъ. Его піесу „Осень“ я помѣстилъ для того, чтобъ показать, какъ неудачно писалъ онъ стихи въ другомъ родѣ, о чемъ у насъ были большіе толки, и въ чемъ нашъ лирикъ никогда не хотѣлъ сознаться.

Оглавленіе трехъ нумеровъ

„ЖУРНАЛА НАШИХЪ ЗАНЯТІЙ“, 1806 ГОДА.

(Къ страницѣ 346).

Эпиграфъ.

„Многіе пишутъ для славы, мы пишемъ для удовольствія; пріятная улыбка на устахъ нашихъ товарищей и друзей есть для насъ драгоцѣнный вѣнокъ награды“.

А...ъ.

Мѣсяцъ іюль:

„Война“, ода И. П. „Лаузій и Лидія“. „О поединкахъ“ изъ Журнала des dames et des modes.

Мѣсяцъ ноябрь:

„Ода“ (писанная на случай публичнаго испытанія студентовъ въ Казанскомъ университетѣ) И. П. „Дмитрій при рѣкѣ Донѣ“, проза Ѳомина. „Сцены изъ жизни Брутовой“ (окончаніе) А. П. „Смерть“, проза Ѳомина.

Мѣсяцъ декабрь:

„Къ ручью“, стихи И. П. „Загадка“, стихи И. П. „О распространеніи и пользѣ Русской литературы“, проза А. П. „Эпиграмма“ П. А. „Дружба, уединеніе и любовь“ (неоконченная, а потому неизвѣстно чья).

Вотъ и нѣкоторые отрывки:

ДВѢ ПЕРВЫЯ СТРОФЫ ОДЫ „ВОЙНА“.

Почто война людей терзаетъ,
Почто лiется смертныхъ кровь,
Что адскій вымыслъ сей питаетъ,
Гдѣ-жъ къ ближнимъ кроется любовь!
Скажи, скажи ты мнѣ, Беллонна,
Пріятна-ль купленна корона
Злодѣйствомъ, гибелью людей?—
Гдѣ жалость, гдѣ тогда бываетъ,
Когда братъ брата забываетъ
Для славы варварской своей?...

*

Гдѣ святость, вѣра и законы?
Гдѣ ты, къ отечеству любовь?
Я внемлю только вопль и стоны
Тобой, война, сраженныхъ вновь!
Тамъ руки мочныя съ мечами,
Главы съ отверстыми очами
Въ крови отрублены плывутъ;
Ногой ихъ дерзкій попираетъ,
Ударитъ громъ! — Онъ упадаетъ—
И вмѣстѣ съ ними гибнетъ тутъ.

Такого рода стихами долго писали въ Россіи, и долго получали похвалы за нихъ наши лирическіе поэты: что-жъ мудренаго, что за пятьдесятъ лѣтъ сочинитель ихъ считалъ себя истиннымъ талантомъ, а его товарищи, семнадцатилѣтняя молодежь, видѣли въ немъ будущаго Ломоносова или Державина.

ДМИТРІЙ ПРИ РѢКѢ ДОНѢ.

„Когда Россія стенала подъ игомъ татарскимъ и когда никто изъ князей русскихъ не могъ управлять своимъ народомъ безъ грамоты гордыхъ хановъ, тогда Дмитрій осмѣлился пренебречь сіе поносное для Россіи обыкновеніе и взошелъ на престолъ безъ воли царя татарскаго.

Честолюбивый Мамай воспылалъ гнѣвомъ за сію непокорность и ворвался въ предѣлы россійскіе: смерть повсюду распростерла зѣвъ свой; зазвучали цѣпи на старцахъ и вопль обезчещенныхъ дѣвъ донесся до первопрестольнаго града Москвы.

Дмитрій возстеналъ, услышавъ бѣдствія своихъ подданныхъ. Онъ повелѣваетъ собраться народу передъ дворцомъ своимъ: „Народъ! Тебѣ извѣстны опустошенія, варварства, распространяемыя Мамаемъ. Воспряни отъ сна бездѣйственнаго и, призвавъ на помощь Бога и мужество отцовъ нашихъ, изощри мечи свои на погибель враговъ отечества“. Такъ вѣщалъ Дмитрій—и по стѣнамъ московскимъ раздавалось „побѣда или смерть“; и на лицахъ гражданъ видны были мужество и радость умереть, спасая отечество;—всѣ брали оружіе. Пересвѣтъ, горя нетерпѣніемъ оказать новыя

услуги Дмитрію, въ одеждѣ монашеской и съ копьемъ въ рукѣ, явился къ его легіонамъ.

На разсвѣтѣ прекраснѣйшаго дня, архіепископъ Троицкій именемъ Всевышняго благословилъ воинство и оно, подъ повелѣніями храбрыхъ вождей, при звукѣ трубъ двинулось къ странамъ, орошаемымъ Дономъ. Шумъ оружія, величественное молчаніе воиновъ составляли противоположность, распростирающую ужасъ по мѣстамъ окружнымъ.

Солнце оканчивало уже свое дневное теченіе, какъ забѣлѣли шатры татарскіе, лучи его умирали на позлащенномъ шпицѣ ставки Мамаевой. Едва Дмитрій установилъ свое воинство, раздалъ повелѣнія, какъ вѣстникъ хановъ предсталъ предъ нимъ съ сими словами: „Князь Россійскій! Повелитель мой не желаетъ всеобщаго кровопролитія; но отдаетъ рѣшеніе судьбы на единоборство двухъ воиновъ...“

Дмитрій согласился, далъ знакъ, и со стороны Русской Пересвѣтъ, вооруженный однимъ копьемъ, явился передъ своимъ противникомъ. Какъ разъяренные львы сошлись они, сразились — и оба пали мертвы. Тутъ замерцало оружіе и рѣки крови смѣшались съ Дономъ. Два раза Дмитрій собиралъ разсѣянное воинство; наконецъ съ отчаяніемъ и любовію къ отечеству ударилъ на враговъ своихъ, и мужество истребило варваровъ многочисленныхъ.

Съ честью возвратился побѣдитель въ свою столицу; вѣнки лавровые сыпались на главы избавителей отечества; радость была всеобщая; дѣти обнимали отцовъ своихъ, матери сыновей и супруги своихъ супруговъ!

При звукѣ колоколовъ и при благословеніяхъ соотчичей погребено было тѣло храбраго Пересвѣта.—Да почтитъ память его потомство!..“

М. Ѳоминъ.

Эта, ничего особеннаго въ себѣ не содержащая, статейка Ѳомина, студента впрочемъ очень остроумнаго и дѣльнаго, не знаю почему пользовалась у насъ общимъ одобреніемъ. Сравнивая ее съ другими прозаическими статьями, я рѣшительно не могу отдать ей значительнаго преимущества; и такъ надобно приписать ея успѣхъ *счастью*, которое до сихъ поръ нерѣдко сопровождаетъ появленіе и книгъ и статей. Разумѣется, подъ словомъ: „счастье“ должно понимать стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ и причинъ, незамѣтныхъ для человѣка.

ВЫПИСКА ИЗЪ СТАТЬИ:

„О РАСПРОСТРАНЕНІИ И ПОЛЬЗѢ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ".

„Наконецъ явился незабвенный Карамзинъ, преобразователь русской прозы, которая до него находилась у насъ въ самомъ жалкомъ положеніи; уродливыя выраженія, скучные и продолжительные періоды, принужденный смыслъ, все такъ сказать утомляло тогда читателей нашихъ, но онъ явился— и чистота слога одушевила сочиненія наши, и тьма подражателей старались наперерывъ превосходить другъ друга въ подражаніи, и множество молодыхъ людей захотѣли заниматься отечественною литературою. Отсюда-то, можно смѣло сказать, слѣдуетъ эпоха усовершенствованія нашей словесности,—отсюда-то вкусъ къ любословію началъ у насъ приходить въ лучшее состояніе—и изданіе журналовъ было самое полезнѣйшее намѣреніе къ достиженію онаго; извѣстнѣйшіе изъ нихъ были тогда: „*Чтеніе для вкуса, разума и чувствованій*", „*Московской журналъ*", „*Пріятное и полезное препровожденіе времени*", „*Ипокрена или утѣхи любословія*", а послѣ и „*Вѣстникъ Европы*", который и понынѣ продолжаетъ издавать г. Каченовскій, если не съ такимъ успѣхомъ, какъ г. Карамзинъ, то по крайней мѣрѣ сей послѣдній журналъ будетъ всегда въ моихъ глазахъ превосходнѣе всѣхъ „*Сѣверныхъ Вѣстниковъ*", „*Новостей литературы*", „*Лицеевъ*" и проч.... Покойный Новиковъ, имѣющій всѣ права на нашу признательность, и котораго память должна быть столько для насъ священна, для пользы просвѣщенія своихъ соотечественниковъ отпускалъ даромъ при газетахъ „Листочки ежемѣсячныхъ и еженедѣльныхъ изданій", выходившихъ при немъ въ свѣтъ. Разумѣется, что всякій, получающій или неполучающій Вѣдомости, любопытствовалъ знать, что въ нихъ находится, отъ любопытства непримѣтно родилась охота къ чтенію, а отъ чтенія напослѣдокъ и собственное упражненіе. Молодые люди отваживались уже выпускать въ журналы свои мелочныя произведенія; узнавая же, что публика принимаетъ ихъ съ удовольствіемъ и одобреніемъ, продолжали дѣлать дальнѣйшіе успѣхи въ словесности и, шествуя мало-по-малу по трудному и терніемъ усѣянному пути, достигали наконецъ авторскаго достоинства.

Но намъ извѣстно, что человѣкъ, желающій быть въ семъ классѣ людей *непослѣднимъ*, непремѣнно долженъ знать по-

рядочно хотя одинъ иностранный языкъ; ибо сравнивая оный съ своимъ, онъ наблюдаетъ, такъ сказать, лучшія принадлежности каждаго, и потому, если грубое и непріятное выраженіе русское ему не нравится въ его твореніи, то онъ, примѣняя его къ чужеземному, дѣлаетъ другой оборотъ и тѣмъ самымъ даетъ ему новую силу — новую жизненность. Я умалчиваю уже, что и чтеніе хорошихъ иностранныхъ книгъ также бы не безполезно было — хотя это старо и истерто, но за то истинно. Тутъ разумѣется знаніе историческихъ происшествій, характеръ слога и проч.

А посему, если большая часть нашихъ читателей будутъ такимъ образомъ трудиться, то въ самомъ дѣлѣ слогъ нашъ въ короткое время можетъ дойти до высочайшей степени совершенства (если еще не дошелъ). — Да и кто можетъ сравнить древнюю литературу съ теперешней. Книгу, написанную нынѣ, въ состояніи бываетъ понимать всякій молодой воспитанникъ, если ему будетъ извѣстенъ, хотя мало, предметъ оной. Возьмите же какого-нибудь Тредьяковскаго: я думаю, и въ совершенномъ возрастѣ человѣкъ, человѣкъ съ познаніями, нерѣдко бываетъ принужденъ прочитать у него нѣсколько разъ одинъ періодъ, чтобы сыскать настоящій смыслъ онаго. Напротивъ, читая слово Екатеринѣ II-й г. Карамзина, кто мысленно не переносился въ прежній Римъ? Кто не думалъ, что онъ внимаетъ великому Цицерону? Да и кто можетъ меня увѣрить, что сей послѣдній превосходилъ въ піитическомъ краснорѣчіи перваго... Довольно прочитать только одинъ его приступъ, чтобы отдать совершенно должную справедливость неподражаемому перу сѣвернаго оратора.—Въ его громкихъ періодахъ плавность слога подобна величественному теченію спокойной, обширной рѣки, а трогательная гармонія словъ очаровываетъ, восхищаетъ чувства наши и воображенье!

Вотъ каково дѣйствіе быстрыхъ успѣховъ словесности!— И вотъ какую пользу приноситъ намъ упражненіе въ оной!“

А. П.

Я помню, что въ этой дѣтски-молодой статьѣ было несравненно больше преувеличенныхъ, безусловныхъ и восторженныхъ похвалъ Карамзину, и что только изъ уваженія въ моимъ настоятельнымъ требованіямъ, Панаевъ согласился кое-что убавить. Что же касается до мысли и выраженій, то развѣ издатель „Московскаго Меркурія“ (г-нъ Макаровъ), да и другіе поклонники и послѣдователи Карамзина, не такими же мыслями и выраженіями опровергали грубыя, иногда натянутыя, но всего чаще справедливыя осужденія Шишкова?

DK 37.8 .A3 A27 1895
Semeinaia khronika i vospomina
Stanford University Libraries
3 6105 041 464 566

DK
37.8
A3A27
1895

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D MAR 30 1997
DEC 1997
DEC MAR 05 1997
DEC 05 1998